D15 5/10
X

25 Р
Ф15 5/10

Петръ Струве

PATRIOTICA.

Политика, культура, религія, соціализмъ.

Сборникъ статей за пять лѣтъ

(1905—1910 гг.).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Д. Е. Жуковскаго.
1911.

Гос. Историч. Научн. Б-ка
НКП РСФСР
Инвен. № 466853
"____" _____ 193 г.

Типографія т-ва „Общественная Польза“, Больш. Подъяческая, 39.

PATRIOTICA.

ОТЪ АВТОРА.

Выпускаемый сборникъ статей объединенъ однимъ настроеніемъ. Это настроеніе выражено въ заглавіи. Въ текстѣ оно еще точнѣе выражено словами: патріотическая тревога. Я увѣренъ, что многіе русскіе люди съ такимъ же настроеніемъ, какое владѣетъ авторомъ, слѣдятъ за ходомъ нашего общественнаго и государственнаго развитія.

Основное содержаніе и смыслъ сборника „Вѣхи" заключался въ критикѣ русскаго интеллигентскаго сознанія и той русской общественности, которая построена на этомъ сознаніи. Ту же критику читатель найдетъ въ предлагаемомъ собраніи статей одного изъ участниковъ „Вѣхъ". Но рядомъ съ этой критикой русской интеллигенціи и общественности въ моихъ „Patriotica", я думаю, не менѣе рѣзко звучитъ критическая нота по отношенію къ реальному образу русской государственности и къ тѣмъ силамъ, которыя запра-

вляютъ судьбами государства. Между пороками русской общественности и пороками русской государственности есть роковая внутренняя связь, своего рода историческая круговая порука. Всякая критика, обращенная въ одну сторону, неизбѣжно недостаточна и односторонняя. Возрожденіе и обновленіе Россіи должно быть начинаемо и осуществляемо съ двухъ концовъ: общественности и государственности. Критика русской общественности необходимо восходитъ къ тому, можетъ быть, суровому, но, я полагаю, здоровому религіозному индивидуализму, который призываетъ къ идеямъ личной отвѣтственности и личной годности. Критика русской государственности восходитъ къ идеѣ права, признаніе которой исключаетъ всякій абсолютизмъ власти, чѣмъ бы онъ ни прикрывался и какъ бы онъ ни оправдывался.

Политическіе взгляды автора неразрывно связаны съ его философскими воззрѣніями. И этимъ естественно опредѣляется соединеніе въ одномъ сборникѣ статей политическихъ и культурно-философскихъ. Самое распредѣленіе матеріала по двумъ главнымъ рубрикамъ „Политика“ и „Культура, религія, соціализмъ“ въ извѣстной мѣрѣ условно и произвольно.

Въ сборникъ вошли статьи, написанныя въ періодъ времени съ ноября 1905 г. по декабрь

1910 г. Только одна статья относится къ болѣе раннему времени: эта статья была напечатана въ сборникѣ „Проблемы идеализма“. Но далеко не всѣ статьи, написанныя за указанное пятилѣтіе, перепечатываются въ „Patriotica“. Такъ по внѣшнимъ соображеніямъ я, къ сожалѣнію, не включилъ въ настоящее собраніе большинства статей, напечатанныхъ въ 1905—1906 гг. въ Полярной Звѣздѣ; цѣлый рядъ газетныхъ статей опущенъ по другимъ соображеніямъ.

Февраль 1911 г.

Содержаніе.

Политика.

стр.

Скорѣе за дѣло! 1
Наканунѣ новаго (1906) года 5
Русская идейная интеллигенція на распутьѣ 7
Черносотенный соціализмъ 13
Памяти М. Я. Герценштейна 18
Изъ размышленій о русской революціи 20
I. „Современность“ и „элементарность“ русской революціи 20
II. Консерватизмъ интеллигентской мысли 32
Двѣ потери 44
I. В. Ю. Скалонъ 44
II. Графъ П. А. Гейденъ 46
Легенда и трагедія. По поводу смерти генерала Трепова . 49
Тактика или идеи? Изъ размышленій о русской революціи. 52
Памяти А. А. Бакунина и П. А. Корсакова 65
Великая Россія. Изъ размышленій о проблемѣ русскаго могущества 73
Отрывки о государствѣ. 97
Споръ съ Д. С. Мережковскимъ 109
I. Первый отвѣтъ 109
II. Кто изъ насъ максималистъ? Нѣкоторые итоги спора. 119

стр.

Современное международное положеніе подъ историческимъ угломъ зрѣнія. 128
Культура и дисциплина. Въ родѣ новогодняго размышленія. 141
Поверхъ текущаго момента 146
Неестественный режимъ 152
Экономическія программы и „неестественный режимъ“. . 157
Гипнозъ страха и политическій шантажъ. 164
Клевета и на предковъ, и на конституцію 173
„Профессоръ“ Шварцъ и „курраторъ“ Мелиссино 179
Русскій шантажистъ и нѣмецкій патріотъ 183
I. Новая проба политическаго шантажа. 183
II. Означаетъ ли идеалъ „Великой Россіи“ проповѣдь войны? 185
За султана и Кесаря 189
Тревога и безголовье 194
Униженіе Россіи 197
Размышленія на политическія темы. 200
I. Пессимизмъ и оптимизмъ 200
II. Нѣчто о моемъ импрессіонизмѣ 202
III. Мнимая пропасть 204
IV. Чрезмѣрность полиціи и къ чему она приведетъ? 208
V. Славянскіе дни 213
VI. „Академическая“ безграмотность 217
VII. Два слова по поводу полемики о „національномъ лицѣ“ 219
VIII. Русско-германскія отношенія 220
IX. „Улица“ и „комната“ 225
X. О „Вѣхахъ“ 228
XI. За неимѣніемъ Наполеона.—Россія собирается . 232
XII. „Общественная реакція“ или борьба съ реакціей?—Призывъ къ покаянію или призывъ къ собиранію силъ? 236
XIII. Двѣ конверсіи.—Истина не только соціологическая, но и полицейская 243
XIV. По поводу смерти О. Я. Пергамента 246
Физіологія одного превращенія. „Незнакомецъ“ и „Новое Время“. 248
Оффиціальное (?) разъясненіе о дѣлѣ Азефа 255

стр

17-го октября 1909 г.

А. И. Гучковъ и П. А. Столыпинъ.—Что такое государственный человѣкъ? — Вопросъ о русской конституціи 259

Политика внутренняя и политика внѣшняя. Соотношеніе между политикой внутренней и внѣшней.—Какъ ведетъ себя сильная государственная власть?—Угрожающіе признаки государственнаго безсилія.—Рождающаяся отсюда патріотическая тревога 274

Два націонализма. Какъ были разбиты иллюзіи октябристовъ?—Соціалъ-демократы въ роли октябристовъ.—Фикція „внутринадѣльнаго разверстанія".—Маленькій актъ 3-го іюня, направленный противъ октябристовъ.—Противорѣчія оффиціальнаго націонализма.—Онъ является либо творцомъ, либо пестуномъ національныхъ сознаній и притязаній угнетаемыхъ народностей.—Два націонализма: открытый, или завоевательный и замкнутый, или оборонительный.—Какая національная политика можетъ создать Великую Россію?—Націонализмъ для того, чтобы быть сильнымъ, долженъ имѣть народную основу.—Роковое безсиліе нашего оффиціальнаго націонализма. 289

Нѣкоторыя черты нашего времени. Общественная безчувственность и общественная безформенность.—Безчувственность не есть настоящее успокоеніе.—Почему въ настоящее время не можетъ быть общей амнистіи?—Амнистію можетъ дать только внутренне сильная, увѣренная въ себѣ власть. 305

Культура, религія, соціализмъ.

Къ характеристикѣ нашего философскаго развитія.

По поводу книги С. П. Ранскаго „Соціологія Н. К. Михайловскаго". С.-Петербургъ 1901 г. 315

Интеллигенція и революція 339

Интеллигенція и народное хозяйство 362

Интеллигенція и національное лицо 370

Полемическіе зигзаги и несвоевременная правда 375

стр.

Слабонервность или игра на слабыхъ нервахъ? 380

На разныя темы.

I. Крушеніе „направленства“.—Религіозный максимализмъ.—Отъ народническаго максимализма къ хамскому поруганію народа.—Къ характеристикѣ Н. К. Михайловскаго. 384

II. Синдикализмъ и махаевщина (по поводу статьи Н. М. Минскаго).—Къ спору о „Великой Россіи“ . 402

III. Три нападенія 413

IV. Отвѣтъ г. Пѣшехонову.—А. И. Эртель, какъ религіозный типъ и воплощеніе идеи личной годности.—Борьба за вѣру и борьба за догматъ (нѣсколько словъ о Д. С. Мережковскомъ) 423

V. „Вѣхи“ и „Письма“ А. И. Эртеля.—По поводу статьи кн. Д. И. Шаховского. 443

VI. Превосходная сентенція и иллюстрація къ ней.—Фармацевтическое пониманіе религіи, прописывающее „деизмъ“.—О томъ, что слова слѣдуетъ употреблять съ извѣстнымъ смысломъ.—Основныя мысли книги М. О. Гершензона.—Космическій порядокъ и раціоналистическое сознаніе.—Всякая этическая религія раціоналистична. — „Народъ“ у славянофиловъ, Толстого и Гершензона.—Почему невозможно даже философское возрожденіе славянофильства? 465

VII. Раціонализмъ и догматизмъ. (Нѣсколько словъ по поводу отвѣта М. О. Гершензона) 483

VIII. В. В. Розановъ, большой писатель съ органическимъ порокомъ 492

IX. Толстой и „мы“.—Толстой и „соціальная революція“.—Жестокая поговорка и извращенная психологія.—Что же такое Россія? 506

Герценъ 525

Левъ Толстой 531

I. Смыслъ жизни 531

II. Смыслъ смерти 553

Роковые вопросы. По поводу статьи Л. Н. Толстого „Неизбѣжный переворотъ“ 556

стр.

Индивидуализмъ и соціализмъ. Отрывокъ 564
Facies hippocratica. Къ характеристикѣ кризиса въ современномъ соціализмѣ 575
Религія и соціализмъ 597
Памяти Людвига Гумпловича 612

Политика.

Скорѣе за дѣло [1])!

„Много дренажа требуютъ наши черноземы“. Эти слова великаго русскаго публициста, сказанныя 40 лѣтъ тому назадъ,—увы!—до сихъ поръ звучатъ жизненной правдой. Въ томъ возбужденіи, которое охватило страну, еще не свободную, но уже освобождающуюся, господствуетъ страшная трагическая путаница. Культура и безкультурность сталкиваются другъ съ другомъ въ причудливыхъ, хаотическихъ сочетаніяхъ. Проклятая сложность положенія сковываетъ мысль и запечатываетъ уста. Но ужасающая серьезность этого положенія обязываетъ безстрашно продумать его до конца и смѣло выговорить свою мысль.

Что всего страшнѣе для страны? Что ей всего нужнѣе? Вотъ два вопроса.

Общество пугаютъ требованіями, выставляемыми крайними партіями. Слова, какъ таковыя, въ настоящее время есть вещь самая неважная, самая безобидная. И тѣ, кто пугаетъ ими, говорятъ сущіе пустяки. Не страшна намъ и реакція бравыхъ и небравыхъ генераловъ самодержавія. Страшна прежде всего хозяйственная дезорганизація страны, потому что на этой почвѣ можетъ вырасти реакція, застой и паденіе культуры.

Въ виду этого стихійно надвинувшагося врага всѣ мы

---

[1]) Русскія Вѣдомости, 13 ноября 1905 г. № 299.

обязаны отбросить доктринальныя формулы, партійныя мѣрки, кружковыя пристрастія и антипатіи и начать разсуждать по существу. По существу странѣ нужна равная для всѣхъ свобода и равныя политическія права всѣхъ. По существу странѣ нужно нормальное теченіе хозяйственной жизни и прочныя соціальныя реформы. Въ сумятицѣ хозяйственной дезорганизаціи могутъ быть забыты и дѣйствительно забываются и право и права. „Черная сотня“ есть живое ужасное воплощеніе этого забвенія. „Черносотенцы“ попираютъ чужое право и топчутъ въ грязь и заливаютъ кровью всякія права, даже свои собственныя. Всего менѣе понятно, что хозяйственную дезорганизацію страны готовы какъ-будто возвести въ принципъ соціалисты. Соціализмъ есть идея хозяйственной организаціи, идея соціальнаго порядка. И нашъ долгъ сказать: въ хаосѣ хозяйственной дезорганизаціи могутъ быть смяты и раздавлены не только соціалисты,—самая идея соціализма можетъ быть на долгое время погублена. Объ этомъ стоитъ задуматься соціалистамъ.

Октябрьская политическая забастовка была великимъ событіемъ и дѣломъ (если только она была вообще чьимъ-либо дѣломъ). Русскіе люди смѣло могутъ назвать ее достославной забастовкой. Но не будемъ себѣ дѣлать кумира ни „иного подобія“ изъ этого могучаго разрушительнаго орудія. Сегодня спасительная и достославная, завтра забастовка можетъ явиться губительной и преступной. Забастовка минувшаго была велика въ своей стихійной силѣ. Но постараемся, но напряжемъ всѣ свои силы для того, чтобы поскорѣе выйти изъ-подъ власти стихій. Изъ народной стихіи должна скорѣе родиться нація, сознательная и самоопредѣляющаяся, нація, какъ совокупность свободныхъ и соглашающихся между собой гражданъ. Создать націю и пронести чрезъ тяжелый кризисъ русскую культуру не умаленною и ослабленною, а умноженною и укрѣпленною, — вотъ что

должно быть теперь лозунгомъ всѣхъ русскихъ гражданъ. Если это такъ, то намъ необходимо какъ можно скорѣе покончить съ процессомъ культурной дезорганизаціи, охватившимъ наше высшее и среднее образованіе. Молодежь возбуждена, она не можетъ учиться, — говорятъ намъ. Пусть такъ, но мы обязаны сказать молодежи, что она не можетъ, не должна своего возбужденія возводить въ принципъ отношенія къ наукѣ и научной культурѣ. Диктатура политики надъ культурой несостоятельна, потому что революція не можетъ стать противокультурной, не рискуя подорвать самое себя. Вотъ почему мы во имя революціи должны протестовать и активно бороться противъ методовъ революціонизма, подрывающихъ революцію. Культура никогда, даже въ самые революціонные моменты, не бываетъ несущественной мелочью.

Въ атмосферѣ русской жизни виситъ диктатура: диктатура тѣхъ, кого именуютъ „черной сотней“, и тѣхъ, кто себя именуетъ „революціоннымъ пролетаріатомъ“. Мы скажемъ, и тѣмъ и другимъ, что странѣ не нужна и противна всякая диктатура, что она нуждается, что она жаждетъ только права, свободы и хозяйственнаго возрожденія. И никому такъ не нужно хозяйственное возрожденіе, какъ именно тѣмъ, кто стихійнымъ возбужденіемъ вовлеченъ въ процессъ экономической дезорганизаціи и соціальной анархіи: рабочему классу и крестьянству. Фабриканты могутъ уйти отъ хозяйственной дезорганизаціи, заколотивъ фабрики и переселившись за границу вмѣстѣ со своими капиталами. Рабочіе и крестьяне со своими женами и дѣтьми могутъ уходить отъ нея только—въ могилу. Мы должны прочувствовать этотъ ужасный балансъ жизни и смерти для того, чтобы смѣло стряхнуть съ себя гипнотизирующее иго формулъ и фразъ и разсуждать и дѣйствовать по существу.

Время не терпитъ. Мы должны сейчасъ же активною,

*

организаціонною и творческою работой вступить въ борьбу съ хозяйственною дезорганизаціей страны, въ чемъ бы она ни выражалась, съ идеями и вожделѣніями диктатуры и захвата, откуда бы они ни исходили. Ни о какомъ компромиссѣ направо отъ права, свободы и политическаго равенства при этомъ не можетъ быть и рѣчи. Крайнія лѣвыя партіи мы не станемъ убѣждать безполезными рѣчами. Мы должны поставить ихъ лицомъ къ лицу съ нашими дѣйствіями, — единственный методъ, гарантирующій успѣхъ. Итти въ массы и дать имъ свободную, не навязанную политическую и экономическую организацію,—таковъ долженъ быть нашъ тактическій лозунгъ. Мы понесемъ въ массы программу политической демократіи и широкихъ демократическихъ соціальныхъ реформъ. Эта программа диктуется не партійными соображеніями, а всѣми интересами націи и культуры.

Время страшно серьезное, критическое. Мы не должны ни дать себя смять въ общемъ переполохѣ, ни забиваться въ уголъ „избранной“ и привилегированной интеллигенціи, отрѣзанной отъ народа. Мы должны вмѣшаться въ самую гущу жизни, смѣло и твердо занявъ въ ней свою позицію, не поддаваясь никакимъ внушеніямъ ни справа, ни слѣва.

Скорѣе за дѣло!

Наканунѣ новаго (1906) года [1]).

Новый 1906 годъ Россія встрѣчаетъ нерадостно. Совершился великій переворотъ, но прошлое, которое еще не отошло въ исторію, наложило на него свою печать. Le mort saisit le vif! Старый порядокъ умеръ, но ядъ его силенъ и дѣйствуетъ губительно. Мы всѣ отравлены имъ.

Бываютъ историческіе моменты, когда сила можетъ быть только въ холодномъ самообладаніи, въ выдержкѣ, въ упорствѣ, когда размахъ обнаружилъ бы только слабость. Въ такой моментъ роковымъ ходомъ событій втиснута теперь вся сознательная Россія. Жестокіе удары, обрушившіеся на насъ, могутъ однихъ, всегда плывущихъ по теченію, привести къ постыдной капитуляціи, другихъ лишить всякаго самообладанія и довести до изступленія. Въ сущности эти различныя по своимъ внѣшнимъ проявленіямъ состоянія тождественны, ибо они имѣютъ одинъ глубокій внутренній источникъ—утрату душевнаго равновѣсія.

Между тѣмъ, какъ ни тяжелы удары, не можетъ быть мѣста ни отчаянію жалкой трусости, ни отчаянію всезабывающаго умоизступленія. Мы твердо стоимъ на завоеванной исторической позиціи, и на ней мы можемъ принять любую битву. Позиція эта—актъ 17-го октября, незыблемый краеугольный камень новаго государственнаго строя Россіи.

---

[1]) Русскія Вѣдомости 1 января 1906 г. № 1.

Не мы завоевали эту позицію. Въ борьбѣ за нее палъ длинный рядъ поколѣній. На ея шанцахъ каждое изъ этихъ поколѣній оставило своихъ лучшихъ людей. Если мы вспомнимъ, что сюда, къ 17-му октября, ведетъ „скорбный путь“ многихъ и многихъ славныхъ, мы поймемъ, чего мы добились и какъ мы сильны.

Я хорошо знаю, что въ то время, когда я пишу это, 17-е октября стало знаменемъ людей, въ душахъ которыхъ ужасы гражданской войны родили только испугъ. 17-е октября стало лозунгомъ все той же бюрократіи и ея откровенныхъ и прикровенныхъ приспѣшниковъ.

Тѣмъ хуже для нихъ, тѣмъ лучше для насъ и нашего дѣла! Этотъ историческій маскарадъ будетъ такъ или иначе разоблаченъ, и онъ долженъ быть разоблаченъ какъ можно скорѣе.

Въ новый годъ —сказалъ я — Россія вступаетъ нерадостно. Мы всѣ настроены, если не горестно, то во всякомъ случаѣ торжественно-серьезно. Переломъ народной жизни ломаетъ и ранитъ каждаго изъ насъ. Но какъ ни ужасны картины гражданской войны, оглядываясь на истекающій 1905 годъ, мы можемъ и должны съ гордостью сказать: страна свершила великое дѣло; родилась русская свобода, созданъ русскій гражданинъ. Никакія безумства ослѣпленныхъ людей, никакія преступленія слугъ стараго порядка, никакіе подлоги не вычеркнутъ этого дня изъ русской исторіи, не упразднятъ всенароднаго подвига обновленія, родившагося отъ „великой любви“ и „святаго гнѣва“ цѣлыхъ поколѣній борцовъ за русское освобожденіе.

Русская идейная интеллигенція на распутьѣ [1]).

Когда въ странѣ, которая имѣетъ свои духовныя традиціи и не имѣетъ политическаго опыта свободной гражданской жизни, образуются впервые партіи не литературныя, а политическія,—въ ихъ образованіи неизбѣжно участвуютъ не только и не столько непосредственная нужда жизни и ея внушенія, сколько унаслѣдованныя формулы и навыки теоретической мысли. Теоретическая мысль, если она лишена печати творчества, сама по себѣ всегда консервативнѣе мысли практической—это можетъ показаться парадоксомъ, а между тѣмъ это такъ. Только тогда, когда теоретическая мысль, разрывая оковы теоретической же традиціи, становится дерзаніемъ, — она дѣлается революціонной, разрушаетъ старыя перегородки и творитъ новое дѣло. Практическая же мысль въ политикѣ всегда дерзаетъ хотя-бы слегка, всегда разрушаетъ хотя-бы немного, всегда дѣлаетъ хоть что-нибудь.

Вотъ почему мы въ исторіи нашего освободительнаго движенія такъ часто наблюдаемъ полнѣйшее безплодіе самыхъ радикальныхъ замысловъ и поразительные результаты скром-

---

[1]) Полярная Звѣзда № 7. 27 января 1906 г. „Замѣтки публициста“.

ныхъ, чисто „оппортунистическихъ“ попытокъ. 9-е января и роль Гапона тому яркое доказательство.

Интеллигенція наша еще не освоилась съ этимъ реальнымъ соотношеніемъ идеи и факта въ политикѣ, которое Марксъ нѣкогда уловилъ въ словахъ: реальный шагъ впередъ стоитъ дюжины программъ. Она еще слишкомъ вѣритъ въ программы и она слишкомъ плохо наблюдаетъ и слишкомъ низко цѣнитъ факты. Коллективная политическая мысль нашей интеллигенціи находится еще въ состояніи наивности, почти младенчества. И—какъ это ни странно—именно это младенчество интеллигентской политической мысли обусловливаетъ собой столь часто болѣзненное расхожденіе ея съ тоже младенческой политической мыслью широкихъ народныхъ массъ. Таковъ, напримѣръ, наивный республиканизмъ нашихъ „крайнихъ“ фракцій, стоящій въ рѣжущемъ противорѣчіи съ наивнымъ монархизмомъ массъ.

Политическая мысль интеллигенціи наивна еще въ томъ отношеніи, что ей чужда идея политической отвѣтственности. Идея эта опирается на строгій учетъ психологическихъ дѣйствій извѣстной проповѣди. Кому не чужда политическая отвѣтственность, тотъ не станетъ вкладывать въ свою политическую проповѣдь все, что онъ лично считаетъ правильнымъ, независимо отъ того, какъ отразится въ умахъ слушателей или читателей такая проповѣдь и какіе реальные плоды она можетъ дать. Идея и чувство политической отвѣтственности создаютъ особый видъ „оппортунизма“, который, будучи нѣкоторыми поверхностными чертами сходенъ съ безпринципностью, на самомъ дѣлѣ имѣетъ глубокіе моральные корни и полное нравственное оправданіе. Сознаніе политической отвѣтственности свидѣтельствутъ не о безпринципности, а, наоборотъ, о чрезвычайно строгомъ, принципіально-моральномъ отношеніи къ политической дѣятельности. И, если это сознаніе отсутствуетъ у русской идей-

ной и, въ особенности, у нашей „революціонной“ интелли генціи, въ общемъ и цѣломъ морально чрезвычайно чуткой, то это объясняется именно ея политической наивностью и неопытностью. Въ этомъ соотношеніи между политической безотвѣтственностью и политической наивностью обнаруживается глубокая и въ тоже время тонкая связь между политической моралью и политическимъ пониманіемъ. Болѣе высокая степень политическаго пониманія обусловливаетъ болѣе высокую мораль политической дѣятельности.

Вопросъ о политической отвѣтственности ставится въ Россіи такъ рѣзко именно потому, что народныя массы до сихъ поръ весьма нерѣдко пребываютъ въ состояніи политическаго младенчества и чрезвычайно наивно, дѣтски-довѣрчиво относятся ко всякой проповѣди, идущей навстрѣчу либо ихъ нуждамъ и желаніямъ, либо ихъ суевѣріямъ.

Вотъ почему тѣмъ русскимъ политическимъ дѣятелямъ, у которыхъ развито чувство политической отвѣтственности, такъ трудно получить доступъ къ умамъ и сердцамъ народныхъ массъ. Въ то время какъ, съ одной стороны, массамъ рисуютъ — въ результатѣ осуществленія „захватнаго права“—самыя соблазнительныя перспективы, а, съ другой стороны, въ тѣхъ же массахъ разжигаютъ, при помощи суевѣрій самыя противокультурныя страсти,—политически зрѣлая и отвѣтственная мысль морально обязана отстаивать до конца свою позицію, позицію суровой выдержки и послѣдовательнаго созиданія политической и соціальной культуры страны культурными средствами.

Въ настоящій моментъ самая важная задача организованныхъ демократическихъ группъ и ихъ прессы заключается въ томъ, чтобы убѣдить всю русскую идейную интеллигенцію стать на эту точку зрѣнія и такимъ образомъ тактически дисциплинировать и организовать ее для организаціонной работы въ народныхъ массахъ.

„Революціонная“ тактика въ дѣлѣ воздѣйствія на народныя массы себя исчерпала; она обезсилила и народъ, и интеллигенцію и доставила только торжество отступившему на „заранѣе приготовленныя позиціи“ бюрократическому правительству. Тактика эта глубочайшимъ образомъ противорѣчила и истинному демократизму, и здравымъ началамъ политическаго воспитанія и самовоспитанія. Она хотѣла созидать политическую культуру приказомъ и гипнозомъ свыше и извнѣ. Въ основѣ этой тактики лежала политическая наивность, доходившая до вѣры въ политическія чудеса и стремившаяся двигать людьми, какъ автоматами, а не учить ихъ двигаться.

Теперь неудачи этой тактики на лицо и должно наступить отрезвленіе. Въ этотъ моментъ обязанность всѣхъ убѣжденныхъ демократовъ поддержать въ интеллигенціи политическое одушевленіе и, безпощадно вскрывая ошибки „революціонныхъ“ программъ и „революціонной“ тактики, всячески проповѣдовать неутомимую организаціонную работу въ народныхъ массахъ—во имя идеаловъ демократіи и соціальной справедливости.

Такова основная задача конституціонно-демократической партіи, задача, на которой она должна объединить всю идейную интеллигенцію. И въ осуществленіи этой задачи къ конституціонно-демократической партіи такъ или иначе должны будутъ примкнуть и всѣ тѣ элементы „крайнихъ“ партій, которые способны учиться у событій и воспитываться неудачами.

Проникая въ народныя массы, созидая организаціонной работой въ нихъ несдвигаемыя основы органической политической культуры въ странѣ, конституціонно-демократическая партія должна будетъ по своему соціальному составу стать партіей народной, т.-е. крестьянско-рабочей. Въ созданіи широкаго и глубокаго народнаго демократическаго

движенія лежитъ великая задача русской идейной интеллигенціи. И мы всегда думали, что осуществленіе этой задачи входитъ въ закономѣрный „планъ“ русской исторіи. Многіе читатели „Освобожденія“, навѣрное, помнятъ, что ту же самую программную и тактическую точку зрѣнія мы развивалъ и въ нашей заграничной литературной дѣятельности. Какъ тогда, такъ и теперь мы твердо убѣждены, что тактика „революціонизма“ не совмѣстима съ широкой организаціонной и созидательной работой въ народныхъ массахъ.

Господство бюрократіи и владѣльческаго класса надъ народомъ можно побѣдить не бунтами и не земельными захватами, не политическими забастовками и не вооруженными возстаніями, а лишь упорною созидательною работою. И какъ бы это ни казалось многимъ парадоксальнымъ, мы полагаемъ, что революціонная интеллигенція должна въ настоящее время — во имя революціи! — итти въ народъ съ проповѣдью порядка. Она должна усвоить себѣ ту тактику, систематическое проведеніе которой дало германской соціалдемократіи возможность сломить исключительный законъ о соціалистахъ. Но она смогла бы провести эту тактику по существу еще глубже и еще искреннѣе. Крестьянскія массы составляютъ такое огромное большинство въ странѣ, что организованное и проведенное въ полномъ порядкѣ обнаруженіе ихъ просвѣтленной политическимъ и соціальнымъ сознаніемъ воли будетъ означать полный переворотъ всѣхъ отношеній въ странѣ.

Трудная, но великая и единственная въ своемъ родѣ задача стоитъ теперь передъ идейной интеллигенціей страны. Ради нея стоитъ задуматься надъ „революціонной“ традиціей и начать переучиваться политическимъ пріемамъ.

Въ огромной перестройкѣ всего народнаго быта, происходящей въ современной Россіи, культурнымъ побѣдителемъ выйдетъ то политическое направленіе, которое соединитъ

въ себѣ революціонный энтузіазмъ съ мудрымъ уваженіемъ къ самодѣятельности народа, отрицающимъ творческую силу приказовъ и внушеній.

Чѣмъ раньше вся русская идейная интеллигенція станетъ на эту точку зрѣнія, тѣмъ кратковременнѣе будетъ торжество реакціи и тѣмъ полнѣе и прочнѣе будетъ побѣда русской демократіи.

Черносотенный соціализмъ [1]).

Выше мы печатаемъ статью А. С. Изгоева о русской революціи. [2]) Здѣсь читатель найдетъ не декламаціи, а прошедшую чрезъ изученіе фактовъ и ихъ осмысливаніе критическую мысль.

Въ расчлененіи бурнаго и смутнаго потока русской революціи авторъ останавливается на „третьемъ элементѣ“, въ которомъ онъ видитъ силу, призванную быть въ обновленной Россіи правительствомъ. Къ этому „третьему элементу“ онъ относитъ нарочито и тѣхъ представителей русскаго дворянства, которые вошли въ демократическія партіи.

Противъ нихъ, какъ руководителей Государственной Думы, выступилъ недавно публицистъ „Народнаго Вѣстника“ г. М. Энгельгардтъ. Г. Энгельгардтъ и его писанія—типичный образчикъ того паденія, до котораго дошла въ нѣкоторыхъ своихъ современныхъ развѣтвленіяхъ русская соціалистическая мысль. Это полная безшабашность, теоретическая и моральная.

Указывая на то, что въ Думѣ засѣдаютъ „дворяне больше либеральные“ этотъ красночерный писатель подчеркиваетъ, что они „составляютъ ядро кадетской партіи и даютъ ей тонъ, а черезъ нее и всей Думѣ,... такъ что дворянство и здѣсь ухитрилось явиться первенствующимъ“. Для того,

---

[1]) Свобода и культура № 8, 31 мая, 1906 г. „Замѣтки публициста“.

[2]) Статья эта перепечатана теперь въ извлеченіи въ сборникѣ „Русское общество и революція“, (Изд. „Русской мысли“ Москва, 1910 г.). Стр. 235 и сл.

чтобы натравить „мужиковъ“ на „господъ“, г. Энгельгардтъ не стѣсняется, вопреки исторіи и очевидности, утверждать, что въ Россіи „дворянство, и именно старое родовое дворянство... самый живучій, цѣпкій и политически сильный классъ“.

„Въ теченіе столѣтій его представители держались наверху, дѣйствуя, гдѣ можно — нахрапомъ, гдѣ нужно — ползкомъ, гдѣ можно съ передняго, гдѣ нужно — съ задняго крыльца, изворачиваясь, кувыркаясь, приспособляясь, мѣняя кожу, воюя, кланяясь, требуя, прося, пуская въ ходъ всѣ дозволенныя и недозволенныя средства... Въ теченіе столѣтій они вели ожесточенную борьбу за первыя мѣста и лучшіе куски; все слабое, неумѣлое безпощадно выпалывалось, падало внизъ и исчезало,—оставались только цѣпкіе, проворные, ловкіе и... передавали эти свойства потомкамъ. Была татарщина, было московское собиранье, былъ Иванъ Грозный, поставившій своей задачей извести этотъ классъ, было смутное время—всеобщій хаосъ и кавардакъ,—былъ Петръ, наконецъ, стоившій смутнаго времени, и все это они выдержали и остались наверху! Въ результатѣ этого процесса естественно должна была подобраться неимовѣрно живучая, энергическая раса, характеризующаяся, главнымъ образомъ, замѣчательной способностью къ приспособленію. И точно, эта способность къ приспособленію всегда характеризовала ее и нынѣ характеризуетъ. Вонъ она, какъ ловко приспособилась къ духу времени: обернулась, кувыркнулась, и глядишь— водрузила стягъ, шутка сказать, „народной свободы“! И собрала подъ этотъ стягъ крестьянъ и интеллигентовъ и ведетъ ихъ, куда вздумаетъ. А какая ужъ тамъ народная свобода! Пусть-ка правительство уступитъ, да приметъ кадетское или кадетообразное министерство, а крестьяне поднимутъ такое же аграрное возстаніе, какъ осенью,—узнаютъ они, какъ умѣютъ „поддерживать общественный порядокъ и спокойствіе“ новые властители! Кое-какіе намеки на это уже были въ „Правѣ“, „Полярной Звѣздѣ“ и проч.

Либеральное дворянство заставляетъ себѣ служить и интеллигенцію: разныхъ „свѣтилъ“ науки, адвокатуры и проч. Эти-то мудрятъ отъ большого ума и великой учености—и перемудрятъ; такое ужъ ихъ свойство. Коффингаль сказалъ въ эпоху Великой революціи: „*Республика не нуждается въ ученыхъ!*“ Этими словами возмущаются потому, что они пародоксальны; но въ нихъ есть зерно правды, которую вложили въ нихъ обстоятельства времени и мѣста. Для революціи опасны „дѣти солнца“, которыя будутъ отмахиваться отъ нея платочкомъ (какъ уже продѣлывалъ это г. Струве въ „Полярной Звѣздѣ“), а видя, что платочекъ не помогаетъ, схватятся за что-нибудь и посерьезнѣе...

Говорятъ о крестьянскомъ недовѣріи къ помѣщикамъ и дѣйствительно лозунгъ „пановъ не выбирать“ раздался по всей Россіи во время выборовъ. Однако жъ выбирали! Поповъ не выби-

рали, промышленниковъ не выбирали, а „пановъ“ напустили въ думу до пропасти. Крестьянинъ хочетъ не довѣрять и не можетъ: „хорошіе господа“ его гипнотизируютъ. Въ этомъ легко могъ убѣдиться всякій, кому случалось близко наблюдать отношенія крестьянъ и помѣщиковъ.

Да чего же больше, когда даже трудовую группу вначалѣ партія народной свободы чуть-чуть не подчинила своему вліянію... А между тѣмъ программа трудовой группы вовсе не совпадала съ кадетской. Кадетамъ всего страшнѣе „конфликтъ“, всего невыносимѣе мысль о революціи. Революція!.. Нѣтъ, нѣтъ: „tout ce que vous voudrez, mais pas ça!“ Удайся имъ соглашеніе съ правительствомъ, они обратятся непосредственно противъ революціи; если оно не удастся, будутъ мудрить и политиканить, оттягивая развязку, пока не скомпрометируютъ Думу окончательно. Они-то вѣдь собственно отъ этого ничего не потеряютъ, такъ какъ въ глазахъ „хорошихъ господъ“ это, во всякомъ случаѣ, лучше переворота. Лучше скомпрометировать дѣло народа, чѣмъ допустить, чтобы все перевернулось вверхъ дномъ...

Задача крестьянства и рабочаго пролетаріата не осуществима безъ „конфликта“; стало быть, ихъ представителямъ нечего бояться конфликта. Линія ихъ поведенія опредѣляется совсѣмъ иначе, чѣмъ кадетская...

Теперь наступаетъ критическій моментъ въ дѣятельности Думы. Дальнѣйшая нерѣшительность и политиканство будутъ прямо-таки измѣной народному дѣлу.

Но представителямъ крестьянства и рабочихъ мудрить нечего. Они должны итти прямо къ цѣли. Они должны забыть дрянную пословицу: „прямо только вороны летаютъ“. Вонъ наши либералы столько лѣтъ ползли кривыми путями, а куда приползли? А какъ выступилъ народъ, да повалилъ прямикомъ, такъ дѣло то иначе повернулось. Такъ и продолжать нужно его представителямъ“ [1]).

Мы нарочно привели эту длинную выдержку какъ образецъ черносотеннаго соціализма, которому и исторія, и культура нипочемъ, лишь бы поосновательнѣе стравить „баръ“ и „мужиковъ“. Въ самомъ дѣлѣ, культурно-историческія изліянія г. Энгельгардта могутъ конкуррировать съ любой черносотенной телеграммою въ культуроненавистничествѣ.

Тѣхъ, на кого г. Энгельгардтъ нападаетъ съ такимъ поистинѣ черносотеннымъ азартомъ, г. Изгоевъ относитъ къ „третьему элементу“, отводя всей этой соціальной группѣ почетную роль въ народной революціи.

---

[1]) Газета „Народный Вѣстникъ“ № отъ 26-го мая.

Въ нападкахъ г. Энгельгардта, несмотря на ихъ безшабашность или, пожалуй, именно въ силу этой безшабашности, скрыта цѣлая философія. Разсужденія эти интересны именно тѣмъ, что они указуютъ тотъ пунктъ, на которомъ нашъ народническій соціализмъ перекрещивается съ черносотенствомъ, образуя съ нимъ нѣкоторое внутреннее духовное единство. Сущность и бѣлаго, и краснаго черносотенства заключается въ томъ, что образованное (культурное) меньшинство народа противополагается народу, какъ враждебная сила, которая была, есть и должна быть культурно чужда ему. Подобно тому, какъ марксизмъ есть ученіе о классовой борьбѣ въ обществахъ,—черносотенство обоихъ цвѣтовъ есть своего рода ученіе о борьбѣ культурной. Марксизмъ, въ особенности въ той его чистой научной формѣ, въ которой онъ выступалъ въ Россіи въ дореволюціонную эпоху, всегда разсматривалъ культурную или духовную рознь между „образованными“ классами и народомъ, какъ наслѣдіе азіатчины и какъ великое зло, съ которымъ надлежитъ всячески бороться.

Ученіе о классовой борьбѣ, которое проповѣдывалъ марксизмъ, всегда сочеталось съ признаніемъ того, что дѣйствительное развитіе общественныхъ отношеній ведетъ къ созданію во всемъ обществѣ культурнаго единства и что необходимо бороться за скорѣйшее установленіе такого единства.

Нельзя отрицать, конечно, того, что и марксизмъ, какъ въ своей абсолютной теоретической формѣ, такъ, въ особенности, въ своихъ практическихъ проявленіяхъ, подчеркивая соціальную рознь классовъ, неизбѣжно нѣкоторыми своими сторонами поддерживалъ и культурную розчь классовъ, которая въ русской жизни тѣсно сплетается съ соціальными антагонизмами. Но марксизмъ дѣлалъ и дѣлаетъ это, такъ сказать, попутно, мимоходомъ (конечно, мы не говоримъ о такихъ псевдомарксистскихъ направленіяхъ, какъ

„большевики“, въ ученіяхъ и тактикѣ которыхъ уже давно испарился всякій марксизмъ). Марксизмъ не могъ бы съ улыбочкой одобренія процитировать варварскія слова: „республика не нуждается въ ученыхъ“, наоборотъ, марксисты Запада никогда не уставали твердить бэконовскія слова о томъ, что „въ знаніи сила“ [1]). Въ нашемъ соціалдемократизмѣ черносотенство, несмотря на его формальную близость къ ученію о классовой борьбѣ, есть идейно несущественный придатокъ: нашъ соціалдемократизмъ отправляется отъ чисто западническаго, противонароднического представленія о культурномъ единствѣ, какъ необходимомъ условіи прогресса и самой классовой борьбы на русской почвѣ.

Въ другомъ положеніи оказывается народническій соціализмъ—въ своей чистой, свободной отъ западническаго яда, формѣ онъ можетъ, какъ это мы видимъ на примѣрѣ г. Энгельгардта, философски совпадать съ чистѣйшимъ черносотенствомъ.

---

[1]) Одна изъ наиболѣе извѣстныхъ агитаціонныхъ брошюръ Либкнехта озаглавлена „Wissen ist Macht“.

Памяти М. Я. Герценштейна [1]).

Трагическая смерть М. Я. Герценштейна наполняетъ душу скорбью, негодованіемъ и тревогой. Отъ насъ отнятъ человѣкъ, стоявшій въ расцвѣтѣ силъ, которыя были такъ нужны для великой только еще начинавшейся строительной работы. Герценштейнъ еще не успѣлъ показать себя во весь свой ростъ въ Государственной Думѣ, ибо несомнѣнно, что сила такихъ людей, какъ онъ, заключается въ положительной работѣ, въ творчествѣ, а не въ критикѣ и не въ отрицаніи. Онъ рвался къ этой положительной работѣ, и чисто политическая борьба была для него тяжелымъ долгомъ, который онъ выполнялъ какъ очередную задачу, возложенную на каждаго изъ насъ, но къ которой онъ не чувствовалъ, по своей натурѣ, настоящаго призванія. И жизнь эта оборвана такъ же безсмысленно, какъ жизнь того большого цѣлаго, въ составъ котораго онъ вошелъ, повинуясь чувству долга и призыву согражданъ...

Къ Михаилу Яковлевичу его товарищи по партіи нерѣдко съ ласковой шутливостью въ голосѣ прилагали эпитетъ: „мудрый“. И въ самомъ дѣлѣ это былъ настоящій спокойный и въ то же время не равнодушный, а стойкій до упорства мудрецъ. Самая наружность покойнаго, съ которой онъ запечатлѣлся въ памяти всѣхъ его видѣвшихъ,— наружность нестараго, бодраго и сильнаго человѣка съ

[1]) „Русскія Вѣдомости“, 20 іюля 1906 г.

обличіемъ старика, убѣленнаго сѣдинами,—какъ-то удивительно гармонировала съ его душевнымъ типомъ „мудре“. Есть что-то безсмысленно-роковое и ужасное въ томъ, что первой жертвой политическаго фанатизма, распаленнаго безславнымъ торжествомъ реакціи, палъ именно такой человѣкъ. Пишущему эти строки пришлось не разъ послѣ 9-го іюля встрѣчаться и обмѣниваться мыслями съ покойнымъ. Среди всеобщаго возбужденія, среди поголовной нервности поражала и въ то же время ободряла его спокойная ясность и твердость. Вѣрный себѣ, онъ оставался одинаково чуждъ и трусливаго пессимизма, и мечтательнаго оптимизма. Такіе люди были и остаются страшно нужны въ наше трудное время, исполненное борьбы и обильное всѣми ея превратностями.

Я сказалъ, что насильственная смерть Герценштейна внушаетъ тревогу. Въ самомъ дѣлѣ, что означаетъ убійство изъ-за угла этого невооруженнаго никакой властью, кромѣ власти ума и знаній, человѣка? Не ясно ли, что кризисъ въ политической жизни страны переходитъ въ еще болѣе острую стадію и что тотъ актъ, отъ котораго непризванные спасители отечества ждали успокоенія страстей, ведетъ только къ неслыханному, отвратительному разгулу насильниковъ, почуявшихъ, что на ихъ улицѣ праздникъ?

Герценштейна убили за то, чѣмъ онъ былъ и что дѣлалъ. Убійца, въ ночное время пустившій свою пулю въ депутата Москвы, думалъ въ лицѣ покойнаго убить научную мысль и гражданскій долгъ. Это—безумный вызовъ, брошенный гражданскому сознанію русскаго общества. И оно обязано въ трудный и отвѣтственный часъ новой напряженной борьбы за права отвѣтить на такой вызовъ національнымъ негодованіемъ и національнымъ чествованіемъ памяти павшаго на славномъ посту гражданина-ученаго.

Изъ размышленій о русской революціи.

I. «Современность» и «элементарность» русской революціи [1]).

Русская революція—словосочетаніе это становится уже истасканнымъ, оно многимъ пріѣлось, и, быть можетъ, читатель перевернетъ страницы, на которыхъ взоръ его увидитъ размышленія о предметѣ, всѣхъ истомившемъ и никого не удовлетворившемъ.

Тѣмъ не менѣе я рискую предъявить читателямъ Русской Мысли рядъ мыслей, которыя, безъ всякаго преувеличенія, могу назвать плодомъ „ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ“.

Русская революція, какъ я уже отмѣчалъ въ другомъ мѣстѣ [2]), представляетъ явленіе, чрезвычайно своеобразное въ силу того, что въ немъ сочетались два условія: 1) то, что можно назвать „современностью“ и 2) то, что можно назвать „элементарностью“.

Я употребляю слово „современность“ за неимѣніемъ въ русскомъ языкѣ выраженія, соотвѣтствующаго западно-европейскому „modern“.

Русская революція—весьма „модернъ“. Вотъ одинъ изъ признаковъ: въ ней страшно много говорятъ о борьбѣ клас-

---

[1]) „Русская Мысль“ январь 1907 г.

[2]) Въ нѣмецкомъ сборникѣ Russen über Russland.

совъ и о соціализмѣ. Борьба классовъ окрашивала собой и прежнія революціи,—это въ настоящее время общее мѣсто, соціалистическіе токи пронизывали и прежнія революціонныя движенія, но нигдѣ еще ни классовая борьба, ни соціализмъ не были духовными силами, которыя вносились въ живое и живущее общественное движеніе, какъ готовые продукты, какъ давно утвержденные образцы, какъ безспорныя управляющія идеи.

Съ другой стороны, русская революція подняла историческія стихійныя, „элементарныя“ силы. Россія не имѣла сложной, расчлененной культуры средневѣковья, воспитаннаго на духовныхъ богатствахъ античнаго міра; не имѣла ни аристократіи, ни буржуазіи, какъ культурныхъ силъ. Въ ней—къ моменту революціи—оказались только интеллигенція съ „современными“ идеями и народныя массы съ „элементарными“ инстинктами.

Сочетаніе этихъ двухъ моментовъ опредѣляетъ ту особенность русской революціи, надъ которой, мнѣ кажется, ея будущіе историки всего крѣпче задумаются. Рядомъ съ политическимъ безсиліемъ въ этой безсильной революціи огромный упоръ.

Безсиліе—отъ „современныхъ“ идей, отъ того, что онѣ вносятся въ революцію такъ, какъ онѣ существовали въ умахъ интеллигенціи до революціи, какъ онѣ были заготовлены въ прокъ.

Упоръ—отъ „элементарныхъ“ инстинктовъ, отъ страстнаго и стихійнаго стремленія къ освобожденію отъ политическаго гнета и экономическихъ тяготъ. Этому стремленію, отъ лица стараго порядка, не противостоитъ ничего, кромѣ грубой силы, давно извѣстной народнымъ массамъ, давно имъ ненавистной и теперь окончательно идейно оголенной и развѣнчанной.

Послѣ ошибокъ и крайностей революціи, въ которыхъ

обнаружилось ея безсиліе, ничто такъ не можетъ изумлять какъ то же явленіе на противоположномъ полюсѣ, какъ безсиліе реакціи. Поверхностное объясненіе этого явленія сводится къ констатированію элементарнаго факта: правительство столь плохо, что въ пользу его невозможна никакая общественная реакція..

Однако я думаю, что это объясненіе, правильно констатируетъ второстепенный фактъ, по психологически ошибочно, забывая о главномъ. Главное тутъ вовсе не въ правительствѣ, а въ самомъ народѣ, въ мощи и упорствѣ тѣхъ элементарныхъ инстинктовъ, которые пробудились въ революціи. Эти инстинкты дѣлаютъ народъ нечувствительнымъ къ отрицательнымъ сторонамъ революціи. Въ упорѣ революціи такимъ образомъ проявляется тотъ же основанный на нечувствительности или пониженной чувствительности консерватизмъ, которымъ раньше держалось самодержавіе.

Консерватизмъ безъ традицій, безъ идейныхъ скрѣпленій обратился въ революціонную стихію безъ творческой идеи и безъ организаціонной дисциплины, но съ тѣмъ же прежнимъ огромнымъ упоромъ. Такова формула превращенія самодержавной Россіи въ Россію революціонную.

Формула эта, если она вѣрна, представляетъ интересъ и имѣетъ значеніе не только для философіи, но и для политики революціи. Ибо въ одинъ прекрасный день упоръ революціонныхъ силъ можетъ ослабѣть и, пожалуй, такъ же внезапно, какъ ослабѣлъ въ свое время упоръ самодержавія.

Это не значитъ, что возстанетъ вновь самодержавіе. Въ какую бы полосу даже широкой общественной реакціи мы ни вошли, отъ берега самодержавія мы навсегда отстали. Вѣрнѣе, онъ уже смытъ и потонулъ въ волнахъ послѣднихъ двухъ лѣтъ. Въ объективномъ смыслѣ безповоротнаго рѣшенія, перелома всей государственной жизни, русская ре-

волюція з а в е р ш и л а с ь. Къ ней вполнѣ примѣнимы слова, сказанныя Мирабо въ разгаръ французской революціи: „революція завершилась (est consommée), но конституціи еще нѣтъ“ [1]).

Безсиліе русской революціи, какъ совокупности революціонныхъ дѣйствій, рядомъ съ грандіозностью и силою ея же, какъ національнаго и мірового явленія, отчасти объясняется именно тѣмъ, что дѣйствующіе на авансценѣ актеры революціи, „революціонеры“ просмотрѣли самый фактъ ея объективнаго завершенія, и въ силу этого объективное завершеніе революціи отнюдь не устранило ея субъективнаго продолженія.

Когда я въ концѣ октября въ качествѣ амнистированнаго зарубежнаго журналиста попалъ въ Петербургъ, ничто меня такъ не поразило, какъ полное непониманіе совершившагося переворота революціонерами. На манифестъ 17 октября они отвѣчали проповѣдью вооруженнаго возстанія. Въ этомъ вопіюще нелѣпомъ поведеніи была своя доля доктринерства. Русская жизнь, создавъ грандіозное явленіе октябрской забастовки, нарушила установленную схему политическаго развитія. Но дѣло тутъ было не только въ доктринерствѣ и въ непониманіи. Не въ области разсудочной, а въ области чувствъ лежитъ разгадка этого поведенія.

Абсолютная монархія начисто отрицала всякій компромиссъ съ новыми началами и образованіями общественной и государственной жизни. „Никакихъ уступокъ“—было ея девизомъ. Акты 12 декабря 1904 г., 18 февраля, 6 августа, 17 октября 1905 г. были конечно актами компромисса съ новыми требованіями. Они пришли однако слишкомъ поздно: въ активныхъ элементахъ націи эпоха самодержавнаго отрицанія компромисса атрофировала всякую психическую

---

[1]) Цитирую, къ сожалѣнію, на память.

способность къ компромиссу. Ботъ почему послѣ 17 октября уступки внушали мысль не о перемиріи и размежеваніи, а о томъ, чтобы какъ можно скорѣе доканать врага, пользуясь его слабостью.

Но этимъ не исчерпывалась эмоціональная основа субъективнаго продолженія объективно завершившейся революціи. Былъ еще другой психическій мотивъ, еще болѣе могущественный и еще болѣе ирраціональный. Это чувство ненависти и жажда возмездія.

Въ № 2 журнала Перевалъ М. А. Волошинъ напечаталъ стихотвореніе, въ которомъ съ замѣчательной силой подчеркнутъ этотъ мотивъ русской революціи:

Народу русскому: я—скорбный Ангелъ мщенія.
Я въ раны черныя, въ распаханную новь
Кидаю сѣмена. Прошли вѣка терпѣнья,
И голосъ мой—набатъ. Хоругвь моя какъ кровь.
На буйныхъ очагахъ народнаго витійства
Какъ призраки взрощу багряные цвѣты.
Я въ сердце дѣвушки вложу восторгъ убійства
И въ душу дѣтскую кровавыя мечты.
И духъ возлюбитъ смерть, возлюбитъ крови алость.
Я грезы счастія слезами затоплю,
Изъ сердца женщины святую выну жалость
И тусклой яростью ей очи ослѣплю.
О, камни мостовыхъ, которыхъ лишь однажды
Коснулась кровь... Я вѣдаю вамъ счетъ.
Я камни закляну заклятьемъ вѣчной жажды,
И кровь за-кровь безъ мѣры потечетъ...
Скажу возставшему: я злую ѣдкость стали
Придамъ въ твоихъ рукахъ картонному мечу...
На стогнахъ городовъ, гдѣ женщинъ истязали,
Я „знаки Рыбъ“ на стѣнахъ начерчу.
Я синимъ пламенемъ пройду въ душѣ народа,
Я краснымъ пламенемъ пройду по городамъ.
Устами каждаго воскликну я: „Свобода!“
Но разный смыслъ для каждаго придамъ
Я напишу: „Завѣтъ мой справедливость!“

И врагъ прочтетъ: „пощады больше нѣтъ!“
Убійству я придамъ манящую красивость
И въ душу мстителя вольется страстный бредъ.
Мечъ Справедливости—провидящій и мстящій,
Отдамъ во власть толпѣ, и онъ въ рукахъ слѣпца
Сверкнетъ стремительный, какъ молнія разящій...
Имъ сынъ зарѣжетъ мать. Имъ дочь убьетъ отца.
Я каждому скажу: Тебѣ ключи надежды,
Одинъ ты видишь свѣтъ. Для прочихъ онъ потухъ.
И будетъ онъ рыдать и въ горѣ рвать одежды
И звать другихъ... но каждый будетъ глухъ.
Не сѣятель сберетъ колючій колосъ сѣва.
Поднявшій мечъ погибнетъ отъ меча.
Кто разъ испилъ хмѣльной отравы гнѣва,
Тотъ станетъ палачемъ иль жертвой палача.

Я напишу: „завѣтъ мой Справедливость!“
И врагъ прочтетъ: „пощады больше нѣтъ“.

Въ этой „справедливости“, передъ которой „нѣтъ пощады“ врагу, т.-е. несогласно мыслящему, схвачена психическая сущность многихъ явленій русской революціи, накопившей внутри себя такой огромный капиталъ ирраціональнаго недовѣрія и озлобленія.

„Одинъ ты видишь свѣтъ. Для прочихъ онъ потухъ“—это сознаніе своей личной и групповой непогрѣшимости тоже въ высшей степени характерно для русской революціи. Сомнѣніе въ своей абсолютной личной правотѣ или непогрѣшимости есть основа человѣчнаго отношенія къ другимъ людямъ и соглашенія съ ними. Тамъ, гдѣ отсутствуетъ эта основа, открывается просторъ для пожиранія однихъ людей другими, сперва идейнаго, а потомъ и фактическаго.

Соглашеніе, или компромиссъ недоступенъ больнымъ политической злобой, насквозь пропитаннымъ „хмѣльной отравой гнѣва“ душамъ.

Когда я произношу и пишу слово: компромиссъ, я знаю

что это слово имѣетъ въ нашемъ радикальскомъ просторѣчіи смыслъ чего-то презрѣннаго и безнравственнаго. Подъ компромиссомъ разумѣютъ безнравственную сдѣлку со зломъ, приспособленіе къ неправой силѣ.

Между тѣмъ по своей идейной сущности компромиссъ есть какъ разъ обратное: нравственная основа общежитія, какъ такового. Соглашенію, или компромиссу въ человѣческомъ общежитіи противостоитъ либо принужденіе другихъ людей, направленныхъ на то, чтобы подчинить ихъ волю моей, либо отчужденіе отъ другихъ людей, неприступность, отрѣзанность моей воли отъ ихъ воли. Противниками компромисса являются либо деспотизмъ, или насиліе, либо пустынничество, столпничество, безсиліе въ міру. Сектантство же есть нѣчто среднее между деспотизмомъ и столпничествомъ.

Въ чемъ заключается задача общественнаго устроительства? Въ согласованіи воль. А для него нужна какая-нибудь согласительная формула. Справедливость, доступная людямъ, ихъ удовлетворяющая, имъ дорогая, для нихъ живая справедливость, психологически всегда была, есть и будетъ не что иное, какъ формула соглашенія, или компромисса.

Когда жизнь отметаетъ справедливость, какъ мертвое, отвлеченное, ей чуждое, ее насилующее начало? Когда справедливость не способна исполнить свою важнѣйшую функцію—быть формулой соглашенія, или компромисса, когда она говоритъ: „врагу пощады нѣтъ!“

Классовая борьба, популярнѣйшая идея русской революціи, потому и пришлась ей такъ ко двору, что русскіе люди менѣе чѣмъ кто-либо воспитаны въ компромиссѣ и къ компромиссу. Современный, такъ называемый научный соціализмъ, ставя во главу угла идею классовой борьбы, будущее общежитіе динамически, эволюціонно обосновываетъ

на началѣ принужденія, въ противоположность началу соглашенія. Въ этомъ—основная идейная противокультурность и противообщественность,—я бы сказалъ противосоціалистичность научнаго соціализма.

Съ другой стороны, ученіе о классовой борьбѣ, какъ готовая теоретическая форма, въ сущности только облегла и оформила то чувство ненависти и возмездія, которое воспиталъ въ русскомъ человѣкѣ старый порядокъ. Ненавидѣлъ и жаждалъ возмездія крестьянинъ, въ которомъ вѣка угнетенія взростили эти чувства; ненавидѣлъ и жаждалъ возмездія рабочій, который къ унаслѣдованной деревенской, крестьянской ненависти присоединилъ городскую, пролетарскую; отравленъ ненавистью былъ интеллигентъ, въ которомъ рядомъ съ печальникомъ за народъ росъ мститель за народъ и за себя; ненавидѣлъ, наконецъ, еврей и вообще всякій инородецъ.

Русско-японская война истребила послѣднія добрыя чувства, ихъ послѣднее убѣжище: ненависть и жажда возмездія проникли въ душу обывателя.

На другомъ полюсѣ то же самое. Глубочайшая психическая причина неспособности современной русской власти къ реформамъ заключается въ томъ, что она пошла на компромиссы по принужденію, оставаясь попрежнему чуждой самаго духа соглашенія. Въ ней тоже глубоко залегла ненависть, и ненависть эта только распалялась отъ каждой попытки революціи—нанести исторической власти смертельный ударъ. Русская революція и русская реакція какъ-то безнадежно грызутъ другъ друга, и отъ каждой новой раны, и отъ каждой капли крови, которыми онѣ обмѣниваются, растетъ мстительная ненависть, растетъ неправда русской жизни.

И нѣтъ пока остановки этому ужасному наростанію! Роспускъ Думы со всѣмъ, что за нимъ послѣдовало, былъ ужасенъ не самъ по себѣ, а тѣмъ, что онъ нанесъ страшный

ударъ идеѣ нравственнаго соглашенія и подкрѣпилъ идею физическаго состязанія.

Въ недавнихъ спорахъ о политическихъ убійствахъ какъ-то забывалось самое важное. Сопоставлялись убійства съ казнями, но забывалось, что властью совершалось нѣчто худшее, чѣмъ казни. 17 октября создало новое право, но власть убивала это право. Говорили, что это оправдывается дѣйствіями революціонеровъ. Меня всегда изумлялъ цинизмъ этой точки зрѣнія. Правонарушенія со стороны отдѣльныхъ лицъ никогда не могутъ быть приравниваемы къ правонарушеніямъ власти. Власть обязана не просто подчиняться праву, какъ отдѣльныя лица, она обязана б л ю с т и п р а в о. И когда власть—по соображеніямъ политической выгоды—нарушаетъ право, это, по моральному вреду для общества, превосходитъ и всѣ казни, и всѣ убійства. Такой образъ дѣйствій выполняетъ пресловутую программу „непрерывной революціи“, ибо нарушеніе права на одномъ полюсѣ неизбѣжно должно родить нарушеніе права на другомъ. Такъ создается цѣпь революціонныхъ, внѣправовыхъ событій.

Положить предѣлъ революціи, какъ состязанію физическихъ силъ, можно только утвержденіемъ права. Такъ какъ революціонеры суть либо отдѣльныя лица, либо частныя организаціи, а власть есть государство въ дѣйствіи, то не можетъ быть и спора о томъ, что принципіально, по существу, обязанности власти въ отношеніи къ праву совсѣмъ иныя, чѣмъ обязанности частныхъ лицъ и организацій. Правонарушеніе въ области государственной для власти, какъ таковой, должно было бы быть такъ же невозможно, какъ невозможно для нея воровство или мошенничество.

Съ этой точки зрѣнія то, что пережито Россіей послѣ 9 іюля, есть, безъ всякаго преувеличенія, самая мрачная страница русской исторіи. Пока существовала въ Россіи неограниченная монархія, не могло быть того ужаснаго про-

тиворѣчія между признаннымъ властью правомъ и ея образомъ дѣйствій, какимъ отмѣчено время послѣ 17 октября и, въ особенности, послѣ 9 іюля. Съ этой точки зрѣнія режимъ Столыпина хуже режима Плеве, хотя г. Столыпинъ вовсе не обладаетъ свойствами Плеве, его цѣльной и жестокой въ своей цѣльности волей: онъ человѣкъ слабый, онъ достойная всяческаго сожалѣнія, малосознательная жертва того органическаго государственнаго молчалинства, которымъ, точно наслѣдственнымъ сифилисомъ, глубоко разъѣдена вся наша дворянско-сановная среда.

Идея классовой борьбы творчески безплодна въ русской революціи. Она разъединяетъ націю, вмѣсто того чтобы сплачивать ее. И безплодна она именно, какъ отвлеченная идея, въ своемъ доктринальномъ видѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ основѣ русской революціи лежитъ соціальный переворотъ огромной важности, процессъ болѣзненнаго перемѣщенія соціальной силы изъ кучки привилегированныхъ, изъ дворянской „господчины“, по выраженію Родичева, въ народъ. Этотъ процессъ, конечно, если угодно, тоже есть своего рода случай классовой борьбы.

Но такой случай, въ которомъ классу противостоитъ нація. Наши же доктринеры классовой борьбы проводятъ линію не между классомъ и націей, а внутри націи—и тѣмъ, ослабляя націю, поддерживаютъ противостоящій ей реакціонный классъ.

Идея классовой борьбы оказалась въ русской революціи тѣмъ болѣе творчески безплодной, что она обнаружила въ извѣстныхъ предѣлахъ несомнѣнную организующую силу. Не давая организоваться націи, она организовала во имя классовъ и классовой борьбы враждующія политическія партіи.

При этомъ молчаливо признавалось, что эти партіи,

стремясь къ объективно одинаковой цѣли—таковой признавалось утвержденіе демократической конституціи—могутъ дѣйствовать различными способами, итти не одними путями. Идея особыхъ „тактическихъ“ путей разныхъ классовъ и партій стала чѣмъ-то вродѣ не подлежащей ни доказыванію, ни оспариванію аксіомы. Эта идея нанесла огромный вредъ дѣлу русскаго государственнаго преобразованія. Она внесла въ него разъединяющее и разслабляющее начало.

Теперь, когда страна вновь стоитъ передъ выборами, надлежитъ ясно понять, что въ борьбѣ со старымъ порядкомъ необходимо единство въ дѣйствіяхъ. Оно нужно въ реальномъ смыслѣ; еще болѣе нужно оно въ смыслѣ моральномъ. Необходимо, чтобы каждый отрядъ освободительной арміи могъ нести отвѣтственность за другіе, и невозможно допустить, чтобы они, вмѣсто того, чтобы итти на врага, ударяли другъ другу въ тылъ. Мнимо-„классовое“ раздробленіе и „классовое“ взаимопожираніе разныхъ элементовъ націи есть издѣвательство надъ великой задачей созданія русской демократіи. Въ этомъ кромсаніи націи реально заинтересованы только тѣ, кто желаетъ раздѣлять и властвовать.

Народная душа вся трепещетъ мыслью о томъ, какъ противопоставить единую могучую національную волю тяготѣющему надъ ней чиновно-владѣльческому игу. И въ такой моментъ съ трибунъ публичныхъ собраній ежедневно раздаются призывы къ взаимному недовѣрію и озлобленію внутри націи.

Элементарный инстинктъ націи, вовлеченной историческими силами въ огромный соціальный переворотъ, творитъ изъ нея въ великой борьбѣ едину душу и едино тѣло, и въ это время ослѣпленные люди проповѣдуютъ идеи и и идейки и всячески силятся извратить здоровый инстинктъ націи.

Подъ дѣйствіемъ переживаемаго я коснулся самой современной, самой послѣдней темы и, вмѣсто размышленій, у меня вылились негодующія строки. Трудно въ настоящую минуту избѣгнуть этого...

Ужасные годы утомили насъ и мы какъ-то привыкли жить въ эпоху великаго переворота и не ощущать его значенія.

Происходитъ это отъ того, что мы какъ въ густомъ туманѣ ничего не видимъ передъ собой.

Мы видимъ ясно среднюю линію, по которой должна пойти жизнь, и въ то же время съ ужасомъ и тоской мы видимъ, какъ неимовѣрно трудно поставить жизнь именно на эту линію. Въ силу этого нами болѣе чѣмъ когда либо владѣетъ чувство жуткой неизвѣстности. Мы знаемъ, куда Россія придетъ, но какъ, какими путями и съ какими жертвами,—это дѣло совершенно темное.

Я сказалъ выше, что революція объективно завершилась, и что ошибка революціонеровъ заключалась въ томъ, что они просмотрѣли этотъ фактъ. Но ту же, буквально ту же ошибку совершало и совершаетъ правительство, и эти двѣ ошибки, питая одна другую, поддерживаютъ страну въ томъ ужасномъ состояніи, въ которомъ она находится. Въ силу этого, хотя русская революція завершилась въ своемъ существѣ, въ своей основѣ,—теперь никто еще не можетъ указать предѣловъ, до которыхъ, въ силу поведенія правительства, могутъ дойти революціонныя событія. Личная необезпеченность, въ которой живетъ теперь всякій русскій человѣкъ, есть отраженіе въ индивидуальной жизни огромнаго, зловѣщаго факта полной политической необезпеченности, въ которой живетъ вся страна.

II. Консерватизмъ интеллигентской мысли [1]).

Мы отброшены назадъ—объ этомъ не можетъ быть и спора. Мы отброшены назадъ не только внѣшними силами, но и самою внутреннею логикой „движенія". Какъ ни велика горечь отъ сознанія такого положенія вещей, нельзя предаваться унынію.

Въ эпохи пораженій есть могучее средство противъ унынія. Средство это—критика и самокритика.

Русская революція должна представляться намъ, современникамъ, событіемъ, совершенно исключительнымъ по своей внезапности. Историки, конечно, докажутъ, что все случилось именно тогда, когда въ силу исторической необходимости должно было случиться, отнюдь не раньше. Но мы знаемъ: было время до революціи, и очень незадолго до ея начала, когда разсказъ о ней, какъ о чемъ-то близкомъ, показался бы всѣмъ здравомыслящимъ людямъ наборомъ баснословій политическаго фантазера. Такъ наша мысль, и именно мысль реалистическая, была реально не подготовлена къ тому, что наступило. Въ такой неподготовленности реалистической мысли къ событіямъ не слѣдуетъ видѣть ея слабости; наоборотъ, теперь умѣстно подчеркнуть, что въ этой неподготовленности заключалось предостереженіе, мимо котораго мы прошли безъ вниманія, такъ какъ событія ослѣпили насъ. Ошибка наша заключалась въ томъ, что мы въ „событіяхъ" слѣпо, безъ всякой критики повѣрили тому, чему за нѣсколько мѣсяцевъ, недѣль, дней не вѣрили бы въ „мечтахъ" и „разсказахъ", какъ явному баснословію. Мы дали ослѣпительнымъ событіямъ подрѣзать въ насъ тотъ скептицизмъ и то основан-

---

1 „Русская Мысль", іюль 1908 г.

ное на немъ здравомысліе, безъ которыхъ не создаются въ политикѣ никакіе прочные успѣхи.

Въ публикѣ довольно много говорили и говорятъ о статьѣ С. Елпатьевскаго. „Облетѣли цвѣты, догорѣли огни“, помѣщенной въ № 5 Русскаго Богатства. Статья эта направлена противъ конституціонно-демократической партіи. Г. Елпатьевскій доказываетъ, что г. Зурабовъ въ своей достаточно извѣстной рѣчи не произнесъ никакого оскорбленія арміи, но за симъ, впрочемъ, самъ оговаривается, что онъ, г. Елпатьевскій, „не понимаетъ самаго выраженія: оскорбленіе арміи“.

Я не буду спорить съ г. Елпатьевскимъ, который такъ хорошо знаетъ, когда именно, въ какой моментъ началось у членовъ партіи народной свободы негодованіе по поводу рѣчи г. Зурабова. Habeat sibi!..

Меня въ настоящій моментъ интересуетъ другое.

Для г. Елпатьевскаго инцидентъ съ г. Зурабовымъ только примѣръ; основная тема его статьи—разсказъ о томъ, какъ „кадеты“ въ русскую революцію „выскочили“ изъ себя, жили, говорили и дѣйствовали по новому — такъ было въ первой Думѣ и вскорѣ послѣ нея — а затѣмъ, когда тѣ же люди вошли во вторую Думу и стали работать въ ней, оказалось, что „облетѣли цвѣты, догорѣли огни“, или, выражаясь иначе, кадеты „вернулись домой“.

„Они пришли опять на то мѣсто, изъ котораго вышли... Они были во временной отлучкѣ, странствовали по чужимъ краямъ, плавали по нездѣшнимъ морямъ, одѣтые въ костюмы, которые приняты тамъ, за границей, въ хорошихъ заграничныхъ домахъ, говорили на языкахъ тѣхъ странъ и усвоили манеры и красивые жесты тѣхъ странъ, а потомъ вернулись домой, пришли въ свое мѣсто. Сняли съ себя чужестранную одежду, заговорили на своемъ родномъ языкѣ, и мистеръ Джонъ сталъ опять тѣмъ же Иваномъ Ивано-

вичемъ, котораго мы хорошо помнимъ, котораго мы хорошо знаемъ. Люди вернулись къ своей исконной старой психологіи, къ своимъ прежнимъ чувствамъ, къ старому методу дѣйствій. Только и всего... Ходатайства, соглашенія,—парламентскій путь и только парламентскій путь и опять робкая мечта объ увѣнчаніи зданія".

Въ разсужденіи г. Елпатьевскаго, повидимому, господствуетъ строгая логика. На самомъ же дѣлѣ уже въ самыхъ посылкахъ царитъ полная путаница, и потому нашъ авторъ, какъ слѣпой, не видитъ того знаменательнаго процесса, который творился и творится вокругъ него.

Путаница—говорю я—обрѣтается въ самыхъ посылкахъ и заключается она вотъ въ чемъ. То, что г. Елпатьевскій называетъ новой психологіей, была именно старая психологія, и наоборотъ. Неудача конституціонно-демократической партіи во второй Думѣ обусловливалась именно тѣмъ, что, хотя партія и нашла въ себѣ рѣшимость и способность стать на почву новой психологіи, но, когда она стала на эту почву, другіе факторы—назовемъ ихъ „лѣвыми" и „правительствомъ"—оказались всецѣло въ плѣну у старой психологіи.

Замѣчательно, что г. Елпатьевскій самъ это понимаетъ. Про правительство онъ прямо говоритъ, что „оно также вернулось домой, къ старому, на то мѣсто, откуда оно вышло,—къ старой психологіи и тактикѣ".

Значитъ, по признанію самого г. Елпатьевскаго, былъ моментъ, когда правительство сошло со старой позиціи, поддалось новой психологіи, и только постепенно оно „вернулось на старое мѣсто".

Любопытно, что такія путешествія со старыхъ мѣстъ на новыя и обратно г. Елпатьевскій приписываетъ только „кадетамъ" и „правительству", но не „лѣвымъ". „Лѣвые", „революціонеры" или даже сама „революція", занимаютъ

совсѣмъ особое мѣсто: они не вернулись на старыя позиціи, къ старой психологіи. Какъ настоящій русскій интеллигентъ-радикалъ, г. Елпатьевскій вѣритъ, что именно имъ, „революціоннымъ силамъ", принадлежитъ истинное представительство нуждъ и запросовъ страны и потому прямо говоритъ: „нужно думать, что въ „домашній старый споръ" правительства и кадетовъ вмѣшается въ видѣ судьи такъ или иначе страна, народъ, который не вернулся и не хочетъ вернуться къ старой психологіи, на старыя позиціи, къ которымъ вернулись правительство и кадеты".

Въ моемъ пониманіи рисуется совсѣмъ не та схема „психологической" игры силъ въ русской революціи, которую изображаетъ публицистъ-народникъ. Буду говорить не какъ кадетъ, а какъ Имярекъ.

До 17 октября указанная психологическая игра силъ сложилась иначе, чѣмъ послѣ этой исторической даты.

Успѣхъ, ею знаменуемый, не только не послужилъ толчкомъ для перехода „революціи" къ новой психологіи, но, наоборотъ, закрѣпилъ старую психологію и даже, если можно такъ выразиться, ожесточилъ ее. Это выразилось въ томъ, что немедленно послѣ 17 октября начались проповѣдь и практика вооруженнаго возстанія. Извѣстно, къ чему это привело.

Русскую революцію погубилъ консерватизмъ ея психологіи. Русскіе интеллигенты вообще едва ли не самая консервативная порода людей въ мірѣ.

Они консервативны въ мысляхъ и еще болѣе въ чувствахъ. Тѣмъ, что правительство „вернулось къ старому, на то мѣсто, откуда оно вышло, — къ старой психологіи и тактикѣ" мы обязаны не гг. Дурново и Дубасову, не кознямъ и вѣроломству отдѣльныхъ людей, мы обязаны этимъ консерватизму русской революціонной интеллигенціи. Когда она изъ консерватизма своихъ мыслей и чувствъ рѣшила,

*

что 17 октября 1905 г. ничего особеннаго не случилось, и что à l'ordre du jour—вооруженное возстаніе и прочія „активныя выступленія"—она закладывала основы той реакціи, въ жертву которой отдана теперь страна. Мысля и чувствуя по старому, она оживила старое и умирающее.

Когда-то въ 70-хъ годахъ Ю. Ѳ. Самаринъ и Ѳ. М. Дмитріевъ выковали по адресу нашего помѣщичьяго реакціонерства крылатое слово „революціонный консерватизмъ". Они говорили о „логической беззаконности совокупленія" этихъ противорѣчивыхъ понятій. Нашему времени, съ его тоже великими событіями и еще болѣе потрясающими перемѣнами суждено было въ другомъ сочетаніи, въ другомъ смыслѣ, въ другихъ формахъ и въ другомъ масштабѣ узрѣть такую же „логическую беззаконность",—„консервативную революціонность".

Самъ г. Елпатьевскій отмѣчаетъ, что въ царствѣ „революціи прежде не все обстояло благополучно". Но въ то время какъ кадеты заодно съ правительствомъ возвратились на старыя позиціи и погрязли въ старой психологіи, въ „странѣ", въ „народѣ" происходитъ не замиреніе, „а „углубленіе революціи", которая „идетъ правильно". „И рядомъ идетъ раздумье, глубокое, серьезное раздумье. Повидимому, совершается пересмотръ стараго, переоцѣнка прошлаго, раздумье надъ будущимъ! ... Странные слухи доносятся изъ разныхъ мѣстъ. Говорятъ, что значительно потеряли престижъ ораторы прошлогодняго типа, со всесокрушающими фразами, съ несомнѣвающимися опредѣленіями. Говорятъ, что старыя фразы, вызывавшія годъ тому назадъ бурю восторговъ, съ раздраженіемъ выслушиваются теперь той же толпой... Нельзя говорить объ одномъ,—о томъ, что возвращаются старыя чувства и вновь оживаютъ старыя иллюзіи, что заростаютъ только-что протоптанныя тропы и люди возвращаются на старый проложенный исторіей трактъ, къ

старому центру, что люди идутъ назадъ къ тому мѣсту, откуда вышли. Несомнѣнно одно, что изъ трехъ ходячихъ поговорокъ послѣдняго времени: „дальше итти некуда“, „такъ жить дольше нельзя“ и „къ прошлому возврата нѣтъ“ безусловно справедлива только послѣдняя. Дальше итти можно еще довольно далеко вправо и очень далеко влѣво, такъ мы жили и раньше и не такъ будемъ жить дольше только потому, что вѣрно третье — къ прошлому возврата нѣтъ. Нѣтъ, потому что порвалась желѣзная цѣпь, связывавшая избу съ Петербургомъ, центръ съ периферіей, потому что нѣтъ старыхъ чувствъ, погибли старыя иллюзіи, на которыхъ держалось старое. Несомнѣнно одно, что Россія не возвратилась и не возвратится на то мѣсто, откуда вышла, и въ этомъ отношеніи психологія кадетовъ рѣзко расходится съ психологіей Россіи“.

Мы думаемъ, что психологія кадетовъ не разойдется съ психологіей Россіи именно постольку, поскольку, „страна“ или народъ пойметъ, что къ прошлому возврата нѣтъ, но что для созданія новаго нужно „раздумье надъ будущимъ“.

Старый порядокъ на всѣ запросы страны отвѣчалъ: „лупи!“, его противники изъ революціонеровъ-консерваторовъ на манифестъ 17 октября не нашли другого отвѣта, кромѣ того же „лупи!“ Таковъ былъ—увы!—стереотипный смыслъ „старыхъ всесокрушающихъ фразъ, вызывавшихъ годъ назадъ бурю“. „Глубокая переоцѣнка прошлаго“, „усталость отъ старыхъ словъ и лозунговъ“, „разочарованіе въ старыхъ методахъ“, „серьезное раздумье надъ будущимъ“, все это прежде всего относится къ тому лозунгу, которымъ „революціонная Россія“ отвѣтила на манифестъ 17 октября и который былъ вовсе не новымъ словомъ, а старымъ лозунгомъ стараго порядка: „лупи!“ Говоря „революціонная Россія“, я не разумѣю ни страны, ни народа, а именно то, что въ народъ стремилась

вложить и, до извѣстной степени, сумѣла вложить „революціонная“ интеллигенція.

Русской интеллигенціи въ 1905 и 1906 гг. необыкновенно повезло. Тѣ надежды и чаянія, которыя она носила въ себѣ годы, надежды на то, что въ народѣ загорится лучъ политическаго сознанія, исполнились съ необыкновенной быстротой, которая намъ, людямъ, и видѣвшимъ, и пережившимъ другія времена, казалась фантастической.

Вмѣсто того, чтобы пестовать и воспитывать драгоцѣнный даръ, создать для него гранитное ложе конституціонныхъ навыковъ, укрѣплять его органической работой на основѣ учрежденій, стали обострять и ожесточать это вновь родившееся политическое сознаніе, не жалѣя для этого ни матеріальныхъ, ни моральныхъ силъ народа (во что обошлась одна стачечная пропаганда!). Подъ руками „революціонной“ интеллигенціи, ея стараніями благородное вино революціи изъ крѣпящей влаги національнаго возрожденія превратилось въ дурманящій, ядовитый уксусъ національнаго разложенія. Началось гніеніе революціи.

На этомъ пути русская интеллигенція растратила свой диковинный историческій выигрышъ, — призъ, о которомъ мечтали цѣлыя поколѣнія, и который былъ взятъ съ головокружительной быстротой, благодаря тому, что изъ Мукдена, Портъ-Артура, Цусимы родилось стихійное патріотическое негодованіе и патріотическій стыдъ.

Говорятъ, что во всемъ виновато правительство. Я не имѣю ни малѣйшей охоты и ни малѣйшаго призванія защищать правительство. Но тѣ, кто отрицаютъ всякіе компромиссы съ правительствомъ, тѣмъ самымъ теряютъ право обвинять его въ чемъ-либо, дѣлаютъ его передъ собою безотвѣтственнымъ. Обвиненія правительства революціонерами, которые вели съ нимъ войну, имѣютъ такой же смыслъ, какой имѣли бы обвиненія японцевъ русскими въ томъ, что

побѣдили японцы. Революціонеры нападали, правительство защищалось; такова единственная возможная съ „военной“ точки зрѣнія логика. Мы, люди конституціоннаго компромисса, можемъ и должны разсуждать и говорить иначе, мы можемъ винить и обличать правительство, но это право дается намъ именно нашей точкой зрѣнія.

Г. Елпатьевскій въ статьѣ о кадетахъ „Почему имъ не вѣрятъ?“, помѣщенной въ Русскомъ Богатствѣ еще за прошлый годъ, искренно возмущался словами: „крамола“, „внутренній врагъ“, которыя произносились въ укорительномъ и полемическомъ смыслѣ умѣренными представителями русской оппозиціи до кадетовъ включительно; онъ упрекалъ этихъ людей въ томъ, что они боятся страшнаго слова: „революція“.

Слова эти и страхи имѣли, конечно, почти всегда полицейскій привкусъ. Но, право, слова эти были бы совершенно безобидны, если бы сама „революціонная“ интеллигенція не вложила въ нихъ—увы! — вполнѣ опредѣленный политическій и морально-политическій смыслъ.

Въ Освобожденіи я въ свое время упрекалъ покойнаго князя С. Н. Трубецкаго за то, что онъ въ своей исторической петергофской рѣчи, употребилъ слово „крамола“. Я и теперь думаю, что это слово было въ той рѣчи не нужно, но теперь я вынужденъ признать, что тактика русской „революціи“ послѣ 17 октября создала такія событія и развернула такія перспективы, передъ которыми совершенно блѣднѣютъ такія слова, какъ „крамола“. Между княземъ С. Н. Трубецкимъ и его истинными единомышленниками—съ одной стороны, и большевиками, эсэрами, максималистами и проч.—съ другой стороны, раскрылась такая пропасть, всей глубины которой полуполицейское и полуархаическое слово „крамола“ совершенно не выражаетъ.

Есть въ этомъ расхожденіи моральное содержаніе и мо-

ральный смыслъ. Но мнѣ хотѣлось бы тутъ сказать нѣсколько словъ только о смыслѣ—политическомъ. Я сказалъ, что революціонеры съ такимъ же правомъ могутъ обвинять въ неудачахъ освободительнаго движенія правительство, съ какимъ адмиралъ Алексѣевъ могъ бы обвинять въ дальневосточномъ пораженіи Того и Ояму. Въ этомъ сопоставленіи японской войны и русской революціи, которое на первый взглядъ имѣетъ только логическій смыслъ, на самомъ дѣлѣ заключается смыслъ историческій и политическій. Русская революція есть своего рода травестія русско-японской войны. Въ ней сказались тѣ же свойства расы [1]) и воспитанія. Роль правительства и генералитета сыграла революціонная интеллигенція. Та же самонадѣянность и та же бездарность. И какъ японская война, такъ и большевистско-эсэровская революція выросла изъ безпредѣльнаго политическаго авантюризма и потерпѣла фіаско отъ того, что операціонная база была за тридевять земель, т.-е. ея въ сущности вовсе не было. Севастополь, Москва и Свеаборгъ — съ чисто военно-политической точки зрѣнія—тѣ же Тюренченъ, Мукденъ и Портъ-Артуръ. Это вѣрно подъ какимъ угодно угломъ зрѣнія, даже чисто революціоннымъ.

Г. Елпатьевскій хоронитъ кадетовъ подъ пышнымъ заглавіемъ: „Облетѣли цвѣты, догорѣли огни“. Я готовъ согласиться, что кадеты во многомъ виноваты. Когда я послѣ 17 октября вернулся изъ-за границы, я бывалъ, въ качествѣ слушателя и зрителя, на хорахъ залы Вольнаго Экономическаго Общества, когда тамъ засѣдалъ совѣтъ рабочихъ депутатовъ. Я вынесъ тогда убѣжденіе, что изъ этихъ разговоровъ ничего, кромѣ повторенія іюньскихъ дней и Кавеньяка, не выйдетъ. Такъ и случилось. Вышли московскіе

---

[1]) Расу тутъ я понимаю не въ этническомъ, а въ культурномъ смыслѣ.

декабрскіе дни, впрочемъ, столь же отличающіеся отъ іюньскихъ, какъ адмиралъ Дубасовъ отличается отъ генерала Кавеньяка, полковники Минъ и Риманъ — отъ генераловъ Бреа и Дювивье, митрополитъ Владиміръ—отъ монсиньора Аффра [1]).

Въ дни ноябрскаго опьяненія революціонными рѣчами вся та интеллигенція, которая находилась внѣ кадровъ присяжной „революціи“, и въ томъ числѣ и кадеты, должны были не стоять въ сторонѣ и мудро качать головой, а въ мертвой схваткѣ сразиться съ революціоннымъ безуміемъ, повести— передъ народнымъ сознаніемъ—б е з п о щ а д н у ю борьбу съ нимъ. Люди, которые такъ думали и такъ чувствовали въ то время, находились, къ сожалѣнію, въ полномъ одиночествѣ.

Ихъ, какъ Винкельрида, сразу пронзили бы пиками,— пошлыми обвиненіями въ „предательствѣ“ и „измѣнѣ“.

Вина кадетовъ не тамъ, гдѣ ее видитъ г. Елпатьевскій, а на противоположномъ полюсѣ: кадеты тоже отдали слишкомъ обильную дань старой интеллигентской психологіи, вмѣстѣ со всей интеллигенціей оказывались весьма часто консерваторами, хотя и не столь безнадежно упорными.

Когда они встали рѣшительно на новый путь, силы были уже растрачены, историческій призъ былъ проигранъ: актъ 3 іюня подвелъ только итоги политическому банкротству русской интеллигенціи и ея психологіи.

Вотъ въ какомъ смыслѣ „облетѣли цвѣты, догорѣли огни“, не кадетскіе, не партійные. Кончилась цѣлая полоса русской исторіи. „Къ старому строю возврата нѣтъ — пи-

---

[1]) Одно радикальное издательство недавно объявило выпускъ въ свѣтъ русскаго перевода „Исторіи революціи 1848 г.“ Даніеля Стерна. Мы рекомендуемъ читателю, незнакомому съ исторіей іюньскихъ дней, прочесть блестящія главы книги Стерна, посвященныя этимъ днямъ. Тогда ему станутъ совершенно понятны наши сопоставленія.

шетъ г. Елпатьевскій—и это понимаетъ даже г. Столыпинъ". Но кризисъ гораздо глубже, чѣмъ выражаетъ этотъ довольно истрепанный афоризмъ. Всѣмъ станетъ вскорѣ ясно, что послѣ Мукдена и Портъ-Артура русской революціи нѣтъ возврата и къ старому строю интеллигентской мысли. Крушился старый порядокъ, крушилась революція, а съ нею вмѣстѣ и старый строй мыслей.

Консерватизмъ русской революціонной интеллигенціи сказался въ томъ, что въ идейномъ отношеніи наша революція всецѣло была во власти славянофильски-народнической теоріи: русскій народъ есть народъ избранный въ соціальномъ и политическомъ отношеніи; мы можемъ и должны перескочить черезъ отвергаемыя нашимъ интеллигентскимъ сознаніемъ „буржуазныя" фазы; мы какъ бы уполномочены исторіей шествовать по пути прогресса быстрѣе другихъ народовъ.

Консерватизмъ русской интеллигентской мысли забавно потѣшился надъ русской соціалъ-демократіей. Родившаяся какъ протестъ противъ славянофильско-народнической идеологіи, она въ революціонномъ угарѣ сложила передъ этой идеологіей все свое марксистское оружіе, теоретически самое себя опустошила и, опроставъ себя отъ всякаго теоретическаго содержанія, пошла самымъ глупѣйшимъ образомъ „дѣлать" революцію, надъ чѣмъ всѣ марксисты всегда смѣялись. Курьезно, что даже нѣкоторые европейскіе марксисты—подъ вліяніемъ русскихъ событій—стали въ указанномъ смыслѣ славянофилами и склонны были узрѣть въ нашей революціи какъ бы Мессію всеобщаго соціальнаго и политическаго переворота. Реальный ходъ русской революціи безпощадно вскрылъ однако всю фантастичность и вздорность этого соціалистическаго славянофильства и мессіанизма. Русская революція изгнала славянофильство въ этомъ смыслѣ изъ его послѣдняго убѣжища; она есть его оконча-

тельное опроверженіе par le fait. При этомъ исторія зло подшутила надъ нами и тѣмъ, что даже тѣ объективныя возможности политическихъ и соціальныхъ успѣховъ, которыя были заключены въ дѣйствительно особенныхъ условіяхъ нашего экономическаго и государственнаго развитія, были парализованы и даже разрушены мессіанистическимъ бѣшенствомъ большевиковъ и эсэровъ.

Удастся ли кадетамъ и инымъ презрѣннымъ „буржуа“ возстановить эти возможности?

„Облетѣли цвѣты, догорѣли огни“!

Но чьи?

Двѣ потери [1]).

I.

В. Ю. Скалонъ.

(Родился въ 1846 г., умеръ 19 апрѣля 1907 г.)

Умершій этой весной Василій Юрьевичъ Скалонъ былъ земцемъ. Онъ принадлежалъ къ той формаціи русскаго образованнаго общества, которая дала цѣлый рядъ выдающихся либераловъ-народниковъ, дѣйствовавшихъ въ земствѣ и въ литературѣ. Онъ былъ въ 80-хъ гг. редакторомъ замѣчательной газеты Земство, издававшейся ветераномъ славянофильства Кошелевымъ.

Эта унія стараго славянофила-земца съ земцами-либералами вродѣ Скалона доказывала, что подъ доктринальными разногласіями лежало глубокое единство практическихъ задачъ, то единство, которое, съ той же исторической необходимостью, въ наше время привело въ либерально-конституціонный лагерь такихъ людей, какъ Д. Н. Шиповъ.

Въ литературѣ о земствѣ и въ земской публицистикѣ Скалонъ занималъ одно изъ первыхъ мѣстъ.

Въ Русской Мысли печатался цѣлый рядъ его статей по земскимъ вопросамъ, вошедшихъ потомъ въ отдѣльные сборники, ставшіе руководящими книгами въ литературѣ этихъ вопросовъ. Въ рядѣ этихъ статей былъ написанъ

---

1) „Русская Мысль“, іюль, 1907 г.

очеркъ „Мнѣнія земскихъ собраній о современномъ положеніи Россіи“, посвященный земско-конституціонному движенію начала 80-хъ гг. XIX в. Цензура „вырѣзала“ изъ книжки Русской Мысли эту статью, которая увидѣла свѣтъ въ нелегальномъ берлинскомъ изданіи (1882 г.) и надолго явилась лучшей для своего времени, прямо драгоцѣнной справкой по исторіи земско-политическаго движенія конца царствованія Александра II и начала царствованія Александра III. По этой статьѣ Скалона (напечатанной анонимно) молодежь 80-хъ и 90-хъ гг. знакомилась съ историческими фактами первостепенной важности, о которыхъ въ теченіе болѣе, чѣмъ 20 лѣтъ, цензура не позволяла говорить въ русской литературѣ.

Судьба выбросила Скалона изъ семьи активныхъ земскихъ работниковъ, но и въ качествѣ редактора „Трудовъ вольнаго экономическаго общества“, и въ качествѣ ближайшаго сотрудника-издателя Русскихъ Вѣдомостей онъ не переставалъ быть прежде всего земскимъ человѣкомъ.

Въ новѣйшемъ политическомъ движеніи В. Ю. Скалонъ не игралъ активной роли. Онъ, казалось, съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ и скептицизмомъ взиралъ на взбаломученное море политическихъ страстей и партійной борьбы и не находилъ себѣ въ немъ мѣста. Нельзя не сказать, что это недоумѣніе и скептицизмъ имѣли свои глубокія основанія и что въ нихъ чувствовалась больше здоровая критика умудреннаго опытомъ дѣятеля, чѣмъ старческая усталость и желаніе покоя.

II.

Графъ П. А. Гейденъ.

(† 15 іюня 1907 г. въ Москвѣ, 67 лѣтъ.)

Смерть графа П. А. Гейдена, пріобрѣтшаго въ качествѣ праваго члена первой Государственной Думы всероссійское имя, произвела сильнѣйшее впечатлѣніе въ самыхъ широкихъ кругахъ русскаго общества. Почувствовалось, что ушелъ человѣкъ, въ которомъ съ удивительной красотой и законченностью сочетались свойства и черты, драгоцѣнныя для нашего времени.

Покойный выдвинулся въ качествѣ президента Императорскаго вольно-экономическаго общества въ то время, когда министры внутреннихъ дѣлъ Горемыкинъ, Сипягинъ, Плеве—при блакосклонномъ участіи министра земледѣлія А. С. Ермолова—вели безсмысленную, мелочную и политически безгромотную борьбу съ возникшимъ въ нѣдрахъ этого общества объединеніемъ общественно-политическихъ и просвѣтительныхъ силъ. Въ отстаиваніи правъ и интересовъ вольнаго экономическаго общества и связаннаго съ нимъ комитета грамотности графъ Гейденъ показалъ себя непреклоннымъ законникомъ и послѣдовательнымъ либераломъ.

Мы хорошо знаемъ и помнимъ дѣятельность графа, какъ президента вольнаго экономическаго общества: уже тогда фигура этого благороднаго старца, всегда твердаго и всегда деликатнаго, всегда прямого и всегда сдержаннаго, вызывала во всѣхъ чуткихъ людяхъ чувства неподдѣльнаго восхищенія и глубочайшаго уваженія. Въ одномъ изъ опубли-

кованныхъ В. В. Хижняковымъ [1]) писемъ покойнаго графа послѣдній пишетъ (въ 1903 г.):

„Теперь нѣтъ гражданскихъ убѣжденій, а вездѣ пошелъ хамъ [2]). И хамы ведутъ, не вѣдая того, Россію къ погибели. Не можетъ человѣкъ зависимый имѣть честныхъ и смѣлыхъ убѣжденій. Не можетъ кастрированное общество полезно работать. Но пока свободу смѣшиваютъ съ революціей, ничего путнаго не выйдетъ".

У графа Гейдена былъ, дѣйствительно, во всемъ его существѣ тотъ стиль свободы и независимости, который дѣлалъ непереносимымъ для него всякій рабій образъ и всякое хамство.

Его одинаково отталкивали и холопство толпы, и хамство революціонно-интеллигентское, и хамство помѣщичье-бюрократическое. Сторонникъ честнаго компромисса на правовой почвѣ, онъ всей душой отвергалъ то государственное молчалинство, съ помощью котораго вчерашніе самодержавщики такъ удобно примиряютъ конституцію съ абсолютизмомъ.

Въ современномъ кризисѣ нужны эти люди, которые въ политическомъ движеніи являются представителями разума и мѣры, твердости и сдержанности. „Можетъ быть, я и отсталый,—писалъ графъ тому же В. В. Хижнякову,—но я думаю, что народъ идетъ впередъ не нутромъ, а зрѣлымъ разсудкомъ. Я искренно желаю моей родинѣ движенія впередъ и проникновенія въ массы истиннаго понятія о свободѣ" [3]).

Политическія реакціи знаменуютъ отсрочки и пересрочки историческихъ рѣшеній. Въ такія эпохи подготовляются въ обществѣ силы и способности для разрѣшенія задачъ,

---

1) См. *Товарищъ* № 296, отъ 19 іюня.
2) Курсивъ нашъ. *П. С.*
3) Тамъ же, курсивъ нашъ. *П. С.*

которыя оказались неразрѣшимыми для „бури и натиска“. Въ такое время общество нуждается въ живыхъ примѣрахъ и урокахъ политической мудрости, и потому-то русское общество съ такой единодушной скорбью отозвалось на кончину графа П. А. Гейдена.

Намъ обѣщаны для Русской Мысли воспоминанія о гр. П. А. Гейденѣ одного изъ свидѣтелей его новѣйшей политической дѣятельности въ глухой провинціи. Въ этихъ воспоминаніяхъ передъ читателями возстанетъ въ живыхъ очертаніяхъ привлекательный образъ славнаго старца [1]).

---

1) Воспоминанія эти были напечатаны въ „Русской Мысли“ за 1907 г.

Легенда и трагедія [1]).

По поводу смерти генерала Трепова.

Д. Ѳ. Треповъ умеръ отъ „грудной жабы“. Такимъ образомъ этотъ человѣкъ, за которымъ террористы форменно охотились, человѣкъ, въ одномъ изъ покушеній на котораго участвовала его близкая родственница, покинулъ сей міръ въ томъ же общемъ „порядкѣ“, въ какомъ это дѣлаетъ огромное большинство людей. И какъ это ни странно, именно это обстоятельство дѣлаетъ изъ его смерти не политическое недоразумѣніе, а глубоко трагическій эпизодъ переживаемой нами политической исторіи.

Роль Трепова непосредственно послѣ событій 9-го января и затѣмъ въ октябрьскіе дни („патроновъ не жалѣть!“) создала о немъ легенду, какъ о какомъ-то могущественномъ, по вліянію, реакціонерѣ, какъ о какомъ-то, я бы сказалъ, извергѣ реакціи. Ничѣмъ подобнымъ онъ не былъ. Но легенда сложилась и постоянно угрожала ему. Еще недавно за эту басню ген. Козловъ поплатился жизнью.

Я никогда не видѣлъ Трепова и о немъ не имѣю никакихъ непосредственныхъ личныхъ представленій (даже чисто внѣшнихъ), но почти съ самаго начала образованія легенды о Треповѣ, загадка или, если угодно, проблема этой лич-

---

[1]) Московскій Еженедѣльникъ № 28 отъ 16 января 1906 г.

ности занимаетъ меня. Теперь Треповъ покончилъ всѣ свои счеты съ землей, его фигура формально принадлежитъ исторіи, и о ней можно говорить совершенно свободно. „Проблема Трепова“ имѣетъ, однако, далеко не одинъ только біографическій или историческій интересъ. Въ этой проблемѣ лежитъ ключъ къ пониманію нѣкоторыхъ психологическихъ чертъ современности. Дѣйствительность гораздо интереснѣе и многозначительнѣе той легенды, за которой она скрыта.

Треповъ не былъ вовсе реакціонеромъ по убѣжденіямъ. Достаточно сказать, что введеніе университетской автономіи и опубликованіе манифеста 17 октября состоялись благодаря вліянію Трепова. Было бы смѣшно въ этихъ историческихъ актахъ видѣть полицейскую провокацію. Но изъ участія въ нихъ Трепова вовсе не слѣдуетъ, чтобы Треповъ былъ либераломъ. Изъ этого участія не слѣдуетъ, наконецъ, чтобы Треповъ, не будучи ни реакціонеромъ, ни либераломъ, обладалъ особенной политической дальновидностью, которая ставила бы его рядомъ съ государственными людьми крупнаго калибра, въ родѣ Бисмарка.

Ничего подобнаго. Треповъ былъ просто неглупымъ, хотя малообразованнымъ гвардейскимъ офицеромъ, служившимъ по полиціи, а потомъ состоявшимъ при дворѣ.

Но онъ не былъ, повидимому, все-таки настоящимъ полицейскимъ; онъ, конечно, достаточно неразборчиво пускалъ въ ходъ различныя полицейскія средства, когда это казалось ему нужнымъ, но самодовлѣющею цѣлью „полиція“ для него не была. Для того, чтобы быть настоящимъ полицейскимъ, онъ, думается мнѣ, былъ слишкомъ искренъ и слишкомъ безкорыстенъ въ своемъ монархизмѣ и въ своей преданности Монарху. По этой же причинѣ онъ врядъ ли былъ настоящимъ придворнымъ: въ немъ не было хищнаго и наглаго сервилизма этой породы людей.

Вліятельный придворно-полицейскій генералъ аа послѣд-

нее время—какъ о томъ упорно говорили—потерялъ политическое вліяніе. Почему? Лучше зададимъ другой вопросъ. Что долженъ былъ испытывать искренній и безкорыстный монархистъ Треповъ, если—какъ это можно предполагать—онъ началъ чувствовать, хотя бы смутно, что придворный идеалъ—опереть монархію на полицейскую силу, подкрѣпляемую фальсификаціей несуществующихъ патріархальныхъ чувствъ—есть безнадежная утопія? Онъ самъ все это продѣлалъ; онъ пестовалъ Зубатова, онъ командировалъ рабочихъ въ Зимній дворедъ, онъ пользовался услугами г. Рачковскаго и онъ, быть можетъ, протежировалъ ротмистру Будаговскому и его союзникамъ, „истинно-русскимъ людямъ“. Онъ видѣлъ крушеніе всего этого, и безразличный въ нравственномъ смыслѣ въ выборѣ тѣхъ или другихъ средствъ, онъ могъ и пожалуй, долженъ былъ, какъ неглупый человѣкъ, понять тщету придворно-полицейскаго или, что то же, „истинно-русскаго“ идеала русской монархіи.

Онъ, кажется, понялъ это.

Онъ умеръ во́ время.

Ему не придется видѣть въ еще большемъ масштабѣ повторенія его же собственныхъ ошибокъ и новаго крушенія тѣхъ пріемовъ, которые онъ, повидимому, исчерпалъ.

Этотъ человѣкъ, который одно время былъ „der bestgehasste Mann“, самымъ ненавидимымъ человѣкомъ въ Россіи, котораго считали исчадіемъ полицейскаго режима, сходитъ въ могилу трагическимъ символомъ его конца и разложенія.

Кажется, и этотъ символъ останется неразгаданнымъ тѣми, для кого онъ такъ полонъ значительнаго и прямо рокового смысла.

Тактика или идеи? [1])

Изъ размышленій о русской революціи.

Размышленія мои о консерватизмѣ интеллигентской мысли вызвали разнаго рода отклики въ прессѣ. На газету Товарищъ они произвели „тяжелое, гнетущее впечатлѣніе“ [2]). Снисходительно относясь ко мнѣ, очевидно, за мою „искренность“, критикъ признаетъ меня „слѣпымъ“: не я владѣю своей точкой зрѣнія съ полнымъ разумѣніемъ границъ ея приложенія, а „она владѣетъ“ мною. Я не подтасовываю фактовъ и не искажаю ихъ, я ихъ просто не понимаю—таковъ приговоръ Товарища. Къ сожалѣнію, я не могу принять отъ критика никакого личнаго снисхожденія въ свою пользу и долженъ указать ему, что, снисходительный къ моему лицу, но суровый къ моимъ мыслямъ, онъ весьма далекъ отъ ихъ пониманія.

Я этому не удивляюсь. Правда, я ожидалъ, что критикъ (данный или вообще всякій интеллигентскій) пойметъ меня лучше и потому гораздо суровѣе, чѣмъ это случилось, обрушится на меня. Но это была сангвиническая надежда: интеллигентская мысль консервативнѣе, чѣмъ я полагалъ.

Критикъ меня не понялъ и этимъ далъ еще одно лишнее доказательство въ пользу тезиса моей статьи.

---

1) „Русская Мысль“, VIII кн. 1 1907 года.

2) Передовая статья въ № 327, отъ 25 іюля.

Во-первыхъ, онъ усмотрѣлъ сущность моихъ разсужденій въ поискахъ виновниковъ „крушенія надеждъ," словомъ,—въ ихъ субъективно-элегической нотѣ. Все прошлое, конечно, произошло въ силу того, что называется исторической необходимостью, и проливать слезы надъ совершенными „ошибками" само по себѣ безплодно и даже неинтересно.

Поэтому я готовъ вполнѣ согласиться съ моимъ критикомъ, что „теперь нужно не виновниковъ искать, а стремиться къ тому, чтобы понять прошлое, дабы извлечь изъ него уроки".

Но для того, чтобы понимать прошлое, нужна мысль, нужны идеи и критеріи. Къ сожалѣнію, именно мысль моя—да позволитъ мнѣ мой оппонентъ сказать ему это съ той ясностью и прямотой, которая диктуется убѣжденіемъ—осталась ему непонятной потому, что она слишкомъ революціонна по отношенію къ интеллигентскому канону. Критикъ полагаетъ, что „какъ революціонерами владѣла точка зрѣнія „вѣры въ методы", такъ и г. Струве весь находится подъ ея же вліяніемъ. Онъ одержимъ вѣрой, безумной, слѣпой вѣрой въ конституціонный компромиссъ".

Къ сожалѣнію, я совсѣмъ не нахожусь въ томъ блаженномъ состояніи сладкой вѣры въ конституціонный компромиссъ, которую мнѣ приписываетъ Товарищъ. Жизнь, вѣроятно, найдетъ компромиссный выходъ изъ того тупика, въ который ее завели реакціонные навыки одной стороны и консервативная революціонность другой стороны, но мы въ настоящее время можемъ говорить объ этомъ компромиссѣ только какъ о нѣкой отдаленной цѣли, къ которой должно прійти политическое развитіе страны. Мы перестали быть полномощными творцами такого компромисса, и въ настоящее время идея политическаго компромисса съ исторической властью — я согласенъ — звучитъ теоретической

наивностью, какъ всякая «Zukunftsmusik». Методически эта идея, конечно, попрежнему остается единственно-правильной для всякаго разсуждающаго политика; однако она уже не можетъ быть провозглашаема съ прежнею практическою увѣренностью въ ея непосредственномъ значеніи въ моментъ, когда насъ прежде всего гнететъ сознаніе, что мы не способны развернуть всей творческой, устрояющей силы этой идеи и этого метода.

Но центръ тяжести моихъ мыслей лежитъ вовсе не въ политическомъ методѣ. Критикъ Товарища вычиталъ, а журнальный обозрѣватель газеты процитировалъ изъ моей статьи только то, что относится къ политическому методу, къ политической „тактикѣ“.

„Методы“, или, что̀ то же, „тактика“ начинаетъ пріобрѣтать какое-то злосчастное значеніе въ развитіи русской политической мысли.

„Изъ-за „тактики“ забываютъ мысль, методы заслоняютъ и вытѣсняютъ идеи.

Загипнотизированный „тактикой“, мой критикъ какъ-то не замѣчаетъ центральной мысли моихъ разсужденій: „крушеніе надеждъ“ означаетъ также, что крушился старый строй интеллигентской мысли.

Это поважнѣе и поинтереснѣе тактическихъ ошибокъ „лѣвыхъ партій послѣ 17 октября“. Ибо и самая тактика вырастаетъ изъ идей и отмираетъ вмѣстѣ съ ними.

Я уже согласился съ моимъ критикомъ, что „теперь нужно не виновниковъ искать, а стремиться къ тому, чтобы понять прошлое, дабы извлечь изъ него уроки“. Это весьма вѣрно, хотя и не очень глубоко. Далѣе у моего критика слѣдуетъ цѣлое философическое разсужденіе.

„Нужно понять не поверхностный, скоропреходящій, мелькающій калейдоскопъ явленій; нѣтъ, нужно понять сущность того процесса, той соціально-экономической передвижки, которая

вызвала революцію, но которая ее же и убила. Въ этомъ процессѣ нѣтъ ни вооруженныхъ возстаній, ни компромиссовъ. Онъ можетъ быть исчисленъ съ математическою точностью путемъ учета дѣйствующихъ въ немъ реальныхъ силъ. И дѣйствуютъ ли эти силы путемъ возстаній, или путемъ компромисса — результатъ, конечный итогъ его будетъ одинъ и тотъ же, если тѣ цѣли, которыхъ этими двумя различными путями хотятъ достигнуть, еще не назрѣли къ осуществленію; если сила, противодѣйствующая этимъ цѣлямъ, крупнѣе силы, борющейся за нихъ: возстаніе будетъ подавлено, компромиссъ не будетъ заключенъ. И затѣмъ наступитъ реакція, наступитъ торжество побѣдителя надъ побѣжденными".

Это метафизика, и притомъ очень плохая.

Она не выдерживаетъ ни малѣйшей теоретической критики. Всякій историческій процессъ ирраціоналенъ и индивидуаленъ. Поэтому онъ никогда не можетъ—ни ante factum, ни post factum—„быть исчисленъ съ математической точностью путемъ учета дѣйствующихъ въ немъ реальныхъ силъ". Пониманіе индивидуальности и ирраціональности историческаго процесса есть едва ли не самое важное пріобрѣтеніе философской мысли XIX вѣка. Медленно въ теченіе всего вѣка эта идея созрѣвала въ нѣмецкой и французской философіи. У Канта и даже у Фихте она была еще темнымъ предчувствіемъ. Потребовалась работа цѣлыхъ поколѣній для того, чтобы разграничить „естествознаніе" и „исторію", какъ двѣ области знанія, въ основѣ которыхъ лежатъ два различныхъ способа пониманія міра [1]).

Та метафизика, въ тискахъ которой бьется мысль моего критика, въ настоящее время относится къ разряду преодолѣнныхъ философскихъ воззрѣній, я бы сказалъ, почти къ разряду предразсудковъ.

---

1) Въ переведенной А. М. Воденомъ и изданной Е. Д. Кусковой книгѣ Риккерта „О предѣлахъ естественно-научнаго образованія понятій" подведены итоги огромной работѣ, произведенной философской мыслью XIX вѣка надъ различеніемъ „естествознанія" и „исторіи".

Но даже если бы философія эта была и болѣе состоятельна въ теоретическомъ отношеніи, — практически она все таки была бы не только совершенно безплодна, но и прямо вредна. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, думать, что политика какой либо исторической эпохи, въ данномъ случаѣ 1905—1907 гг.—а для политическихъ дѣятелей историческій процессъ есть ихъ политика!—есть не только пережитая психологическая дѣйствительность, а какая-то рѣшенная механическая задача на дѣйствіе „реальныхъ силъ"?

Люди поклонялись ложнымъ богамъ, люди надѣлали рядъ чудовищныхъ психологическихъ и моральныхъ ошибокъ, но все это несущественно; если бы люди дѣйствовали совершенно правильно, никакого иного результата не получилось бы, ибо соотношеніе реальныхъ силъ все заранѣе предопредѣлило.

Эта плохая книжная мудрость, эта литературщина не соотвѣтствуетъ ни теоретической истинѣ, ни жизненной правдѣ.

Политикъ не простыми вычисленіями и суммированіями реальныхъ силъ занимается; онъ строитъ изъ реальныхъ силъ.

Товарищъ, при помощи своей механической теоріи реальныхъ силъ, даетъ одинъ отвѣтъ на вопросъ о томъ, что создало реакцію. Отвѣтъ, этотъ гласитъ: „кадетское принудительное отчужденіе отбросило весь огромный правый лагерь въ сторону отъ реформъ... Именно программа к.-д. партіи въ аграрномъ вопросѣ затрогивала могущественные интересы класса землевладѣльцевъ и именно она вызвала реакцію".

Какая огромная и поучительная страница русской исторіи насильственно втиснута въ эту безкровную, якобы соціологическую схему!

Я не буду говорить пока о томъ, что революціонная

интеллигенція всячески дискредитировала и кадетъ, какъ „господскую“ партію, и „кадетскую“ программу аграрной реформы, какъ обманную попытку помѣщиковъ провести крестьянъ. На этой плачевно-нелѣпой смутѣ умовъ революціонная интеллигенція соорудила такъ называемую трудовую группу.

Безмысленно-радикальное програмное заостреніе аграрнаго вопроса, какъ вопроса экономическаго, нашей воинствующей интеллигенціей, какъ оно ни было глупо и преступно по существу, было, по крайней мѣрѣ, ловкой демагогіей. Оно послужило, по крайней мѣрѣ, къ временному идейному сплоченію извѣстныхъ элементовъ крестьянства въ странѣ. Но — съ точки зрѣнія соотношенія реальныхъ силъ, т.-е. съ точки зрѣнія достиженія практическаго результата, въ которомъ только и было заинтересовано крестьянство—было уже совершенно безсмысленно осложнять радикальную экономическую пропаганду въ крестьянствѣ чисто революціонной политической пропагандой, прямо направленной противъ монархіи. Въ этой „тактикѣ“, въ которой вылилась вся огромная интеллигентская, накопившаяся десятилѣтіями ненависть противъ исторической власти, лежитъ корень и разгадка реакціи, разгадка того, что не „огромный“, а въ дѣйствительности ничтожный правый лагерь такъ легко повернулъ историческую власть противъ народа. Можно сказать, что только эта „тактика“ создала „союзъ русскаго народа“, какъ реальную силу. Если до 17 октября истинно-русскіе люди существовали сами по себѣ, то послѣ 17 октября они суть всецѣло созданіе эсъ-эровъ и эсъ-дэковъ.

Такова моя точка зрѣнія на ту конкретную соціально-политическую задачу, которую Товарищъ выдвинулъ противъ меня. Для судебъ аграрной проблемы рѣшающее значеніе имѣла та дѣйствительная психологическая обстановка,

въ которой передъ „реальными силами", монархіей, 130 тысячами помѣщиковъ, сотнями милліоновъ крестьянъ и интеллигенціей предсталъ аграрный вопросъ. Эту психологическую обстановку создала и ее всячески поддерживала революціонная интеллигенція.

Не аграрная реформа погубила политическую революцію, а политическій революціонизмъ погубилъ или задержалъ аграрную реформу — вотъ формула, въ которой мы резюмируемъ практическое пониманіе наступившаго реакціоннаго поворота. Это—политическій революціонизмъ русской соціалистической интеллигенціи связалъ аграрную реформу съ утопіями книжнаго доктринальнаго „соціализма", это онъ къ вѣковому стволу элементарныхъ инстинктовъ, недовѣрія и ненависти, царившихъ въ душѣ крестьянства, прививалъ свое эсъ-эрство и эсъ-дэкство. Объективный плодъ этой „тактики" въ государственной жизни на лицо: избирательный законъ 3 іюня, отнявшій у нашего представительства народный характеръ.

Психологически-политическимъ результатомъ этого банкротства революціонизма можетъ быть или сильная самопроизвольная политическая реакція въ народѣ противъ революціонной интеллигенціи (или даже противъ интеллигенціи вообще), или же перевоспитаніе самой интеллигенціи и работа въ народѣ въ новомъ духѣ. Самопроизвольная реакція въ народѣ противъ революціонной интеллигенціи таила бы въ себѣ огромныя политическія и моральныя опасности, ибо такое движеніе не могло бы удержаться въ разумныхъ рамкахъ идейной переоцѣнки ложныхъ цѣнностей революціонизма. Но такая реакція и невозможна: присоединеніе къ революціонной идеологіи совершилось въ крестьянской душѣ безсознательно — не можетъ быть поэтому и сознательной реакціи противъ этой идеологіи. Въ сущности для крестьянъ никакой идеологіи и не существо-

вало. Для нихъ дѣйствовалъ только одинъ мотивъ: „не господъ“ и „противъ господъ“.

И этимъ лозунгомъ ихъ поймали на воистину господскія, барскія выдумки революціонизма.

Вотъ иллюстрація, которую я заимствую изъ наблюденій одного радикальнаго публициста:

„Дальше сидятъ крестьяне изъ трудовой группы и крестьянскаго союза... Межъ ними есть убѣжденные трудовики и тѣ, кого телеграфное вѣдомство опредѣляло какъ безпартійныхъ умѣренныхъ, безпартійныхъ монархистовъ, безпартійныхъ православныхъ... Я разговаривалъ съ нѣкоторыми изъ этихъ „православныхъ“. Напримѣръ, два пензенскіе депутата, Василій Торгашевъ и Григорій Львовъ... Одинъ высокій, служилъ въ гвардіи, потомъ былъ офиціантомъ въ княжескомъ домѣ, другой низенькій, съ прямыми волосами, жилъ въ деревнѣ, обоимъ подъ сорокъ.

„Насъ и выбрали, не знай какъ,—разсказывали они,—только бы дворянъ провалить. Мы по партіямъ ходимъ, ничего этого понять не можемъ...—„Чего же вы хотите добиваться?“—„Землицы,—сказали оба въ одинъ голосъ.—Жить негдѣ, тѣснота одолѣла, а у помѣщиковъ земли большія тысячи десятинъ“.—„Что же, вы хотите взять всю землю?“—испытывалъ я.—„Намъ хоть бы частку,—сказалъ одинъ,—все бы передохнули“.—„Нѣ, у насъ тѣсно,—сказалъ другой,—намъ надо всю“.

„Мы сами понимаемъ, что и безъ выплаты нельзя,—поспѣшно прибавили оба.—Примѣрно, взять у нихъ землю, надо имъ по правдѣ тоже дать что-нибудь въ руки. Безъ этого куда они пойдутъ? Но не столько, сколько они требуютъ, а скажемъ такъ, чтобы грѣхъ пополамъ. Еще министровъ надо взять подъ отчетъ. Чтобъ все было на виду и чтобъ Гурки не было“...

Однимъ словомъ, двѣ основныя идеи освободительнаго движенія: новое надѣленіе землей и отвѣтственное правительство — и притомъ въ самой умѣренной, почти кадетской формѣ.

— А кадеты баллотировались у васъ?—спросилъ я.

— „А какъ же!—сказалъ высокій,—мы имъ, кошкиной матери, всѣмъ налѣво валили“.—„Отчего же не голосовали за кадетовъ“?—Высокій сдѣлалъ удивленные глаза.—„А оттого, видится, что они сытые, а мы голодные. Намъ за нихъ голосовыя записки бросать не приходится“.—„Мы противъ нихъ стояли“,—подтвердилъ ни-

зенькій.—„А они говорятъ: „не дадимъ земли. А ежели вы коснетесь земли въ Государственной Думѣ, то мы устроимъ противъ васъ вооруженное возстаніе, землю кровью зальемъ“...—„Что такое? Я ничего не понимаю...—“У насъ все тихо, мирно. — продолжалъ низенькій. — Бунтовъ нѣтъ. Были стражники, теперь ихъ всѣхъ уничтожили, въ другое мѣсто увели.—Что за сумбуръ? „А доктора Маркова зачѣмъ выбирали“?—„Какъ его не выбрать? Онъ крестьянскаго званія, самъ въ бѣдности выросъ, онъ всякое состояніе можетъ хорошо понимать. А на собраніихъ такъ онъ ихъ рѣзалъ, такъ крошилъ“... “Да вы знаете, что такое кадеты?“—„Какъ не знать,—сказалъ высокій,—знаемъ очень хорошо. Мы къ нимъ не пойдемъ. Мы пойдемъ къ трудовымъ“ [1]).

Развѣ это не холерный бунтъ въ политикѣ? Развѣ это не та же темнота и безграмотность? Но въ отличіе отъ простого холернаго бунта, въ которомъ народъ избиваетъ „докторовъ“ по своей собственной иниціативѣ, здѣсь въ этомъ политическомъ холерномъ бунтѣ вдохновителями и подстрекателями являлись доктора и прочіе интеллигенты. Картина, списанная г. Таномъ съ натуры во второй Думѣ, есть микрокосмъ интеллигентской революціи съ ея думскимъ продолженіемъ въ лицѣ сперва „трудовой группы“, а потомъ и другихъ думскихъ „малыхъ“. Думскіе анекдоты г. Тана о „православныхъ эсъ-эрахъ“ годились бы въ юмористическій журналъ, если бы въ нихъ не была заключена вся ужасная внутренняя трагедія послѣднихъ лѣтъ. Кто ею изо дня въ день терзался во второй думѣ, какъ пишущій эти строки, тотъ разсуждаетъ не просто „отъ логики“, тотъ далекъ отъ „доктринерскаго анализа“ [2]).

Наше старое народничество много говорило о долгѣ интеллигенціи передъ народомъ. Если когда-либо настало время интеллигенціи сознать свой долгъ и, болѣе того,

---

1) Танъ: „Вторая Дума“. Русское Богатство, февраль, 1907 г., стр. 121—122.

2) Выраженія Товарища.

грѣхъ передъ народомъ, то именно теперь, когда съ такой потрясающей ясностью налицо моральные и политическіе плоды революціонизма.

Исправить грѣхъ революціонизма и въ то же время окончательно преодолѣть старый порядокъ интеллигенція можетъ только собственнымъ перевоспитаніемъ.

Необходимо ли такое перевоспитаніе, т.-е. переоцѣнка чувствъ и идей, внутренній судъ надъ своимъ душевнымъ строемъ?

Матеріалъ для отвѣта на этотъ вопросъ мы находимъ въ статьяхъ той самой газеты, на которую мои іюльскія размышленія произвели „тяжелое гнетущее впечатлѣніе". Въ „Политическихъ наброскахъ" Е. К. (напечатанныхъ въ № 28 Товарища отъ 26 іюля) есть такая характеристика послѣ-октябрьскаго времени. "Въ послѣ-октябрьской жизни не было — въ демократическихъ кругахъ — мѣста для группъ, призывающихъ къ творческой органической работѣ; въ ней было мѣсто только для группъ, проповѣдующихъ работу разрушительную. Таковъ фактъ — и ни таланты, ни образованіе, ни смѣлость мысли, ни страстность убѣжденія не могли остановить этого процесса жизни. Онъ шелъ стихійно, какъ пожаръ, онъ отталкивалъ все, что призывало къ созиданію, подбиралъ и возвеличивалъ все, что призывало къ разрушенію. Ему, этому процессу, нужны были иные люди, иные таланты. Всѣмъ, жаждавшимъ работать въ демократическихъ кругахъ, оставалось одно: безсильно смотрѣть, иногда вмѣшиваться со своимъ „старческимъ благоразумiемъ", какъ его называли тогда, и... ждать, когда наступитъ время иной работы".

Вопреки этому разсужденію, мы нисколько не сомнѣваемся, что сплоченная, единодушная и немилосердная борьба съ разрушительной „стихіей безумія" дала бы весьма

ощутительные и благодѣтельные результаты. Но насъ въ настоящее время интересуетъ не это, а характеристика душевнаго строя того времени, когда революціонная волна достигла своего апогея. Совершенно невѣрно приписывать этотъ душевный строй некультурной толпѣ, „народнымъ массамъ“. Тутъ невольно припоминаются гетевскія слова:

Was ihr den Geist der Zeiten heisst,
Das ist im Grund der Herren eigener Geist.

Душевный строй, который характеризуется неспособностью къ органической созидательной работѣ не могъ сложиться въ „стихію безумія“, не могъ сдѣлаться достояніемъ народныхъ массъ, иначе какъ подъ сильнѣйшими интеллигентскими воздѣйствіями и внушеніями. А эти внушенія въ свою очередь плодъ цѣлаго воспитанія русской интеллигенціи

Пусть не говорятъ здѣсь о „тактикѣ“. Дѣло тутъ не въ „тактикѣ“. Отсутствіе политическаго и историческаго смысла, доходившее до бѣшенства стремленіе къ разрушенію, это не тактика, это цѣлый душевный строй, которому предшествовало цѣлое идейное воспитаніе.

Вотъ почему рѣчь въ настоящее время можетъ итти не о перемѣнѣ „тактики“, которая не есть же простое собраніе рецептовъ изъ поваренной книги политической кухни, а о болѣе глубокой и радикальной задачѣ. Изъ политическаго тупика, въ который мы зашли, страну можетъ вывести только политическое и моральное перевоспитаніе русской интеллигенціи. Политическая „тактика“, которая вырисовывалась и вырисовывается передо мной какъ антитеза тактикѣ „революціонной“, есть лишь приложеніе къ политикѣ этой культурно-философской идеи...

Намъ нужны не только „тактическія директивы“, не простое искусство политическаго компромисса, намъ нужны

для новой полосы русской исторіи идеи, которымъ была бы присуща воспитывающая сила [1]).

Въ полемику Товарища со мной вмѣшалась газета Слово. Она, такъ же какъ Товарищъ, только съ другой стороны, приняла мои взгляды на русскую революцію за чисто „тактическіе". Не раздѣляя идеи и плана аграрной реформы по программѣ партіи народной свободы, Слово считаетъ эту реформу тоже порожденіемъ интеллигентскаго революціонизма. Въ этомъ пунктѣ, какъ читатель, конечно, могъ понять изъ хода настоящихъ размышленій, я радикально расхожусь съ газетой Слово. Я считаю коренную аграрную реформу въ духѣ партіи народной свободы не только требованіемъ здравой экономической политики, но и нравственно-политической необходимостью. Дѣло, конечно, не въ тѣхъ или другихъ частностяхъ реформы, а въ ея идеѣ—ликвидаціи господчины путемъ передачи земли трудящемуся на немъ крестьянству. Въ осуществленіи этой реформы—ключъ къ нравственному и политическому оздоровленію нашей страны. Ибо „господчина" и та безграмотная „противогосподчина", которую революціонизмъ соорудилъ изъ элементарныхъ инстинктовъ народной массы, неразрывно связаны одна съ другой. Обѣ онѣ одинаково заражаютъ и отравляютъ русскую жизнь, и обѣ могутъ быть только заодно съ корнемъ изъ нея вырваны.

Позволю себѣ закончить эти размышленія нѣсколькими замѣчаніями pro domo sua. Тѣ мысли, которыя составляютъ идейную основу развиваемой мною критики революціи, въ существѣ своемъ созрѣли раньше, чѣмъ было основано Освобожденіе. Въ предъ-октябрьское время, онѣ есте-

---

1) Ср. мой докладъ объ идейныхъ основахъ партіи народной свободы, напечатанный въ „Вѣстникѣ народной свободы" и перепечатанный изд. „Народное право" отдѣльной брошюрой подъ заглавіемъ „Идеи и политика въ современной Россіи"

ственно нѣсколько отступили для меня передъ той боевой задачей, которую преслѣдовалъ заграничный органъ. Теперь отъ стараго порядка въ его прежней ненарушимости мы ушли страшно далеко впередъ. Старый порядокъ идейно разрушенъ. Но, съ другой стороны, огромный историческій опытъ, воплотившійся въ событіяхъ послѣднихъ лѣтъ, показалъ весь великій жизненный смыслъ идей и идейнаго воспитанія. Этого можно, этого слѣдовало ожидать. Но это сказалось раньше и рѣзче, чѣмъ я еще недавно предполагалъ.

Въ русской революціи съ удивительной мощью обнаружилась—вопреки метафизикамъ „реальныхъ силъ“,—сила идей и ихъ носительницы—интеллигенціи. Но, съ другой стороны, въ крушеніи этихъ идей столь же ярко обнаружилась ихъ внутренняя несостоятельность. Историческая роль идей напоминаетъ намъ объ ихъ огромномъ значеніи какъ фактора въ созиданіи культуры, крушеніе тѣхъ же идей вынуждаетъ насъ къ ихъ радикальной переоцѣнкѣ по содержанію.

Переоцѣнка традиціонной идеологіи русской интеллигенціи является для меня лично продолженіемъ работы, начатой до основанія Освобожденія и лишь прерванной „освобожденскимъ“ періодомъ моей литературной дѣятельности. Нить эта для меня идейно никогда не была оборвана. На матеріалѣ политическихъ событій послѣднихъ лѣтъ и критическія и положительныя идеи лишь оформились и отвердились.

Не знаю, пойметъ ли меня критикъ изъ Товарища. Но я ему задамъ вопросъ: о чемъ споримъ мы, о тактикѣ или объ идеяхъ?

Памяти А. А. Бакунина и П. А Корсакова [1]).

I.

Въ лицѣ скончавшагося 10 мая на 87 году жизни Александра Александровича Бакунина сошелъ въ могилу послѣдній изъ братьевъ Бакуниныхъ.

Это былъ человѣкъ, вступившій въ сознательную жизнь еще въ 40-хъ гг. и на всемъ своемъ обликѣ носившій печать той эпохи.

Онъ былъ выдающимся общественнымъ дѣятелемъ, и слѣды дѣятельности его и его братьевъ неизгладимы въ исторіи тверского земства, а, стало быть, и русскаго земства вообще. Но мнѣ хотѣлось бы помянуть здѣсь А. А. Бакунина не какъ дѣятеля въ узкомъ смыслѣ слова, а отмѣтить эту своеобразную личность, какъ духовный типъ, какъ выразителя извѣстнаго культурнаго слоя и теченія въ русской умственной исторіи.

Лично Александръ Александровичъ былъ человѣкомъ съ сильнымъ, быть можетъ, даже страстнымъ темпераментомъ: имъ владѣли чувства, почти неукротимыя. Но этотъ человѣкъ чувства отчасти получилъ отъ окружающей среды, отчасти самъ себѣ выработалъ философію, въ которой религіозное начало было освобождено отъ всякой чрезмѣрности

1) Русская Мысль, VI, 1907 г.

и даже отъ всякаго субъективизма, было до конца раціонализировано. Внѣ всякаго сомнѣнія, онъ былъ гегельянцемъ. Отъ Канта и его ученія, которое онъ понималъ въ субъективномъ смыслѣ, у него было сильнѣйшее отталкиваніе.

Но будучи гегельянцемъ, А. А. былъ имъ на свой ладъ. Ему чуждо и даже антипатично было преклоненіе передъ государственностью. Это не значитъ, чтобы онъ былъ противникомъ и ненавистникомъ государственности.

Но надъ нею, превыше ея глазахъ Бакунина стояло свободное начало общественности, которое для него сливалось съ религіей, ее выражало и ею освѣщалось.

Въ рядѣ писемъ, обращенныхъ къ его постоянной корреспонденткѣ А. С. Петрункевичъ и отчасти вызванныхъ появленіемъ Полярной Звѣзды и посвященныхъ обсужденію ея содержанія [1]), покойный постоянно возвращался къ понятію религіи, какъ основы общественности. „Какъ постановленія „Союза освобожденія“ и имъ же вдохновляемыхъ собраній, такъ и Полярная Звѣзда имѣютъ для меня значеніе не программы обособленной партіи, а программы перехода какъ отъ интеллигентной, такъ и всякой другой обособленности къ дѣйствительно общественному объединенію и къ созданію могущественнаго общественнаго союза, на основаніи истинно общественнаго убѣжденія, не какъ теоріи только, а какъ религіи, союза, обнимающаго поэтому не поверхностно интеллигентное и достаточное общество, или публику, а весь народъ. Требованіе осуществленія такого союза, какъ осуществленія религіи, присуще какъ народу, такъ и каждому отдѣльному человѣку во всѣ времена. При современныхъ же какъ частныхъ, такъ и

---

1) Приношу искреннѣйшую благодарность А. С. за сообщеніе этихъ писемъ.

общественныхъ обстоятельствахъ осуществленіе этого требованія стало уже неотложно и настоятельно необходимо. По крестьянской поговоркѣ: громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится. Для насъ же, но и не для насъ однихъ, а для всего народа, громъ уже грянулъ, и пора вспомнить о Богѣ и перекреститься. Но не для бездѣйствія, а чтобы взяться за дѣло, т.-е. за созданіе упомянутаго общественнаго союза, о которомъ говоритъ и П. Б. Струве, только подъ названіемъ не союза, а общественной власти".

Непосредственно за этимъ А. А. переходитъ къ „союзамъ и партіямъ, основаніемъ для которыхъ служитъ ихъ профессіональная или классовая обособленность, а потому и ихъ же программа, опредѣляемая не убѣжденіемъ, а тактическими условіями борьбы". Объ этихъ политическихъ группахъ идеалистъ Бакунинъ высказываетъ такое сужденіе: „можно съ полной увѣренностью предвидѣть, что самою силою вещей они будутъ обращены или въ орудіе или въ жертвы стихійно совершающихся переворотовъ въ народномъ существованіи". И онъ продолжаетъ въ духѣ своей излюбленной идеи: „Стать въ уровень съ стихійными силами естественныхъ переворотовъ или же съ роковыми историческими событіями можетъ только человѣкъ, мыслящій и дѣйствующій на основаніи своего разума и своего же истиннаго общественнаго убѣжденія въ смыслѣ религіи". Выражая свое идейное сочувствіе изданію Полярной Звѣзды, А. А. мотивировалъ это сочувственное отношеніе именно своимъ предположеніемъ, что въ основу изданія положена „не теоретическая только программа, а истинно общественная программа въ смыслѣ религіи" [1]).

Убѣжденный, горячій сторонникъ идеи общественности, А. А. Бакунинъ, будучи практически земскимъ либера-

---

[1]) Письмо къ А. С. Петрункевичъ изъ с. Прямухина отъ 4 января 1906 г.

ломъ, не только не отрицалъ начисто идеи соціализма, но, наоборотъ, видѣлъ и въ ней выраженіе все той же своей излюбленной идеи. Обсуждая статью Э. Д. Гримма въ № 9 Полярной Звѣзды, онъ признаетъ невозможнымъ „отдѣлить въ революціи ея политическое значеніе отъ соціальнаго". „На дѣлѣ... оказывается, какъ о томъ свидѣтельствуетъ какъ европейская, такъ и наша исторія, что такое отдѣленіе невозможно. Какъ въ Европѣ, такъ и у насъ соціализмъ, не въ смыслѣ классовой розни и борьбы, а въ смыслѣ осуществленія общества въ его идеальномъ значеніи, въ самомъ существованіи всегда былъ и всегда будетъ истиннымъ основаніемъ всякаго общественнаго совершенствованія или прогресса, а потому и всякой революціи, въ случаѣ встрѣчи этимъ прогрессомъ классовыхъ, сословныхъ или государственныхъ препятствій, основанныхъ на общественной розни и противорѣчіяхъ" [1]).

Привлекательный для Бакунина соціализмъ былъ, конечно, не классовый соціализмъ, а именно соціализмъ въ его противоположеніи классовой борьбѣ, соціализмъ, основанный на идеѣ общественной солидарности.

Таковы были общественно-философскія убѣжденія стараго тверского земца, одного изъ ветерановъ русскаго либерализма. Иногда покойный доходилъ въ выведеніи своихъ практическихъ взглядовъ изъ основныхъ философскихъ посылокъ до доктринерства, не обращавшаго вниманія на реальныя отношенія и силы. Такъ, было время, когда А. А.—во имя религіи—отстаивалъ церковно-приходскія школы (я слышалъ объ этомъ отъ И. И. Петрункевича). Такъ, мнѣ самому пришлось слышать рѣчь покойнаго въ тверскомъ губернскомъ земскомъ собраніи, въ которой онъ—во

---

1) Письмо къ А. С. Петрункевичъ изъ с. Прямухина отъ 17 февраля 1906 г.

имя общественности и личной свободы!—возражалъ противъ мелкой земской единицы. Но при всѣхъ увлеченіяхъ покойнаго, въ философской цѣльности его идей и въ той глубокой страстности, которую онъ вкладывалъ въ защиту этихъ идей, было нѣчто прямо обаятельное.

Этотъ высокій и красивый старецъ, на восьмомъ и девятомъ десяткѣ лѣтъ остававшійся физически крѣпкимъ и духовно бодрымъ, былъ оригинальной личностью, духовные корни которой уходили въ самую блестящую эпоху нашей дворянской культуры, но которая не потеряла въ то же время самой живой и сознательной связи съ современностью.

Не могу не сказать, что встрѣчи и бесѣды съ А. А. произвели на меня, человѣка, отдѣленнаго отъ покойнаго не однимъ поколѣніемъ, совершенно особое, чарующее и несравненное впечатлѣніе. Казалось, что возстаетъ въ поразительно живомъ и достойномъ образѣ эпоха Станкевича-Бѣлинскаго, та эпоха, философскія увлеченія которой были такъ плодотворны для русской культуры и въ духовномъ творчествѣ которой знаменитый братъ А. А. Михаилъ Александровичъ Бакунинъ сыгралъ такую крупную роль [1]). Думается мнѣ, что традиціи и идеи этой эпохи, живымъ и бодрымъ носителемъ которыхъ былъ отошедшій отъ насъ А. А., имѣютъ не только культурно-историческій интересъ. Имъ присуща вѣчная цѣнность, и она-то яркими лучами сіяла въ красивой личности прямухинскаго старца-мыслителя.

---

[1]) Ср. чрезвычайно содержательную и цѣнную статью С. А. Венгерова „Бакунинско-гегельянскій періодъ жизни Бѣлинскаго“ въ т. IV его „Полнаго собранія сочиненій В. Г. Бѣлинскаго“.

II.

Скончавшійся 8 мая Павелъ Асигкритовичъ Корсаковъ такъ же, какъ А. А. Бакунинъ, былъ виднымъ дѣятелемъ тверского земства. Но его сила лежала въ совершенно другой области. А. А. Бакунинъ былъ человѣкъ отвлеченныхъ идей; П. А. Корсаковъ былъ человѣкъ практическаго дѣланія. Это не абсолютныя различія, но это различные душевные типы, различные лики и облики людей.

Сперва судебный дѣятель, затѣмъ видный чисто дѣловой земецъ, далѣе образцовый администраторъ финансоваго вѣдомства и, наконецъ, руководитель крупнаго банковаго учрежденія, П. А. Корсаковъ всегда былъ равенъ и вѣренъ себѣ въ своемъ дѣловомъ существѣ. Я рѣдко сталкивался съ покойнымъ, но мнѣ всегда импонировала и всегда казалась особенно цѣнной для русской жизни та дѣловая и дѣловитая сила, которая чувствовалась въ этомъ человѣкѣ. Его суровый реализмъ не былъ вовсе безъидейностью. Наоборотъ, въ немъ, въ этомъ реализмѣ, думается мнѣ, была скрыта серьезная и плодотворная идея. Онъ ее не излагалъ и не проповѣдывалъ, онъ ею дышалъ и жилъ. Это—идея трудовой дисциплины и личной отвѣтственности въ ея значеніи для общественной жизни. У насъ принято трактовать эту идею, какъ „буржуазную“ ветошь, съ которой долженъ распроститься „передовой“ міръ. Такіе люди, какъ Корсаковъ, были живымъ протестомъ противъ этого дешеваго радикализма, одного изъ симптомовъ нашей духовной и культурной незрѣлости...

Въ качествѣ дѣятеля финансоваго вѣдомства—Корсаковъ передъ своей отставкой былъ управляющимъ петербургской казенной палатой—покойный былъ образцовымъ чиновникомъ въ лучшемъ, „прусскомъ“ смыслѣ этого слова.

Когда тверское губернское земское собраніе приняло въ декабрѣ 1894 г. знаменитый, предложенный Ѳ. И. Родичевымъ, всеподданнѣйшій адресъ, въ числѣ земскихъ гласныхъ, участвовавшихъ въ этомъ достопамятномъ актѣ, былъ и П. А. Корсаковъ.

Тонъ и стиль тверского адреса—съ современной точки зрѣнія—таковы, что т е п е р ь подъ нимъ могли бы подписаться не только умѣренные правые, но даже и т. н. крайніе правые. Но въ 1894—1895 гг. этотъ адресъ былъ актомъ гражданскаго мужества и былъ оцѣненъ, какъ „крамола". С. Ю. Витте, въ качествѣ высшаго начальства покойнаго, по собственной ли иниціативѣ, или уступая давленію министерства внутреннихъ дѣлъ, предложилъ П. А. Корсакову подать въ отставку. Финансовое вѣдомство лишилось такимъ образомъ крупной рабочей силы по милости реакціоннаго ослѣпленія.

Извѣстная иронія и, если угодно, Немезида исторіи заключалась въ томъ, что министръ, уволившій одного изъ способнѣйшихъ своихъ подчиненныхъ за адресъ, въ которомъ содержался лишь робкій намекъ на конституцію, самъ черезъ 10 лѣтъ явился иниціаторомъ гораздо болѣе радикальнаго, несомнѣнно конституціоннаго манифеста 17 октября.

Къ широкимъ чаяніямъ и увлеченіямъ эпохи, центральной датой которой является именно день 17 октября, суровый реалистъ Корсаковъ относился скептически. Его смущала стремительность и неподготовленность тѣхъ перемѣнъ, которыхъ такъ бурно требовало руководящее общественное мнѣніе того времени. Покойный П. А. не вѣрилъ въ быстро-стремительные перевороты; ему не импонировали „буря и натискъ". Въ его сужденіяхъ всегда чувствовалась та нота, которую съ блестящимъ юморомъ выразилъ еще Герценъ въ своихъ афоризмахъ: „сыроватъ русскій

фебринъ-церебринъ“ и „много дренажу требуютъ русскіе черноземы“.

Часто мнѣ приходилось слышать отзывы о П. А. Корсаковѣ, въ особенности послѣ того, какъ онъ сталъ банковскимъ дѣятелемъ, какъ о типичномъ „буржуа“. Я думаю, что покойный не отрекся бы отъ этого прозвища; скорѣе онъ подхватилъ бы его и присвоилъ бы себѣ. И, я думаю, онъ былъ бы правъ. Онъ былъ „буржуа“ въ томъ смыслѣ, въ которомъ извѣстныя „буржуазныя“ черты неотъемлемы отъ всякой культуры, основанной, съ одной стороны, на дисциплинѣ и личной отвѣтственности, съ другой стороны— на стремленіи къ наивысшей производительности труда. А можетъ ли быть какая-нибудь культура внѣ этихъ началъ?

Какъ ни мало походили другъ на друга идеалистъ Бакунинъ и реалистъ Корсаковъ, развѣ случайно то обстоятельство, что эти разнородныя натуры сходились на одной и той же культурной работѣ, на той земской работѣ, которая и идейно, и практически подготовила государственное обновленіе Россіи?

Въ смѣломъ полетѣ Бакунина и въ трезвомъ дѣланіи Корсакова было нѣчто объединяющее. Я позволю себѣ назвать это объединяющее истиннымъ либерализмомъ. Это— тотъ либерализмъ, который, опираясь на идеи дисциплины, долга и отвѣтственности, видитъ вѣнецъ общественности въ свободномъ осуществленіи человѣческой солидарности.

Великая Россія [1]).

Изъ размышленій о проблемѣ русскаго могущества.

Посвящается Николаю Николаевичу Львову.

Одну изъ своихъ рѣчей въ Государственной Думѣ, а именно програмную рѣчь по аграрному вопросу П. А. Столыпинъ закончилъ слѣдующими словами: „Противникамъ государственности хотѣлось бы избрать путь радикализма, путь освобожденія отъ историческаго прошлаго Россіи, освобожденія отъ культурныхъ традицій. Имъ нужны великія потрясенія, намъ нужна великая Россія“ [2]).

Мы не знаемъ, оцѣнивалъ ли г. Столыпинъ все то значеніе, которое заключено въ этой формулѣ: „Великая Россія“. Для насъ эта формула звучитъ не какъ призывъ къ старому, а, наоборотъ, какъ лозунгъ новой русской государственности, государственности, опирающейся на „историческое прошлое“ нашей страны и на живыя „культурныя традиціи“, и въ то же время творческой и, какъ все творческое, въ лучшемъ смыслѣ революціонной.

Обычная, я бы сказалъ, банальная точка зрѣнія благонамѣреннаго, корректнаго радикализма разсматриваетъ внѣшнюю политику и внѣшнюю мощь государства какъ досадныя осложненія, вносимыя расовыми, національными

---

1) Русская Мысль, I, 1908 г.

2) Государственная Дума. Стенографическій отчетъ. Сессія II, засѣданіе 36, 10, V, 1907 г.

или даже иными историческими моментами въ подлинное содержаніе государственной жизни, въ политику внутреннюю, преслѣдующую истинное существо государства, его „внутреннее“ благополучіе.

Съ этой точки зрѣнія всемірная исторія есть сплошной рядъ недоразумѣній довольно сквернаго свойства.

Замѣчательно, что съ банальнымъ радикализмомъ въ этомъ отношеніи совершенно сходится банальный консерватизмъ. Когда радикалъ указаннаго типа разсуждаетъ: внѣшняя мощь государства есть фантомъ реакціи, идеалъ эксплоататорскихъ классовъ, когда онъ, исходя изъ такого пониманія, во имя внутренней политики отрицаетъ политику внѣшнюю,—онъ въ сущности разсуждаетъ совершенно такъ же, какъ разсуждалъ В. К. фонъ-Плеве. Какъ извѣстно, фонъ-Плеве былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые толкали Россію на войну съ Японіей, толкали во имя сохраненія и упроченія самодержавно-бюрократической системы.

Государство есть „организмъ“—я нарочно беру это слово въ ковычки, потому что вовсе не желаю его употреблять въ доктринальномъ смыслѣ так. наз. „органической“ теоріи—совершенно особаго свойства.

Можно какъ угодно разлагать государство на атомы и собирать его изъ атомовъ, можно объявить его „отношеніемъ“ или системой „отношеній“. Это не уничтожаетъ того факта, что психологически всякое сложившееся государство есть какъ бы нѣкая личность, у которой есть свой верховный законъ бытія.

Для государства этотъ верховный законъ его бытія гласитъ: всякое здоровое и сильное, т. е. не только юридически „самодержавное“ или „суверенное“, но и фактически самимъ собой держащееся государство желаетъ быть могущественнымъ. А быть могущественнымъ значитъ обла-

дать непремѣнно „внѣшней“ мощью. Ибо изъ стремленія государствъ къ могуществу неизбѣжно вытекаетъ то, что всякое слабое государство, если оно не ограждено противоборствомъ интересовъ государствъ сильныхъ, является въ возможности (потенціально) и въ дѣйствительности (de facto) добычей для государства сильнаго.

Отсюда явствуетъ, на мой взглядъ, какъ превратна та точка зрѣнія, на которой банальный радикализмъ объединяется съ банальнымъ консерватизмомъ или, скорѣе, съ реакціонерствомъ и которая сводится къ подчиненію вопроса о внѣшней мощи государства вопросу о такъ или иначе понимаемомъ его „внутреннемъ благополучіи“.

Русско-японская война и русская революція, можно сказать, до конца оправдали это пониманіе. Карой за подчиненіе внѣшней политики соображеніямъ политики внутренней былъ полный разгромъ старой правительственной системы въ той сферѣ, въ которой она считалась наиболѣе сильной, въ сферѣ внѣшняго могущества. А съ другой стороны, революція потерпѣла пораженіе именно потому, что она была направлена на подрывъ государственной мощи ради извѣстныхъ цѣлей внутренней политики. Я говорю: „потому, что“, но, быть можетъ, правильнѣе было бы сказать: „постольку, поскольку“.

Такимъ образомъ и въ этой области параллелизмъ между революціей и старымъ порядкомъ обнаруживается прямо поразительный!

Разсужденіе банальнаго радикализма слѣдуетъ поставить вверхъ ногами.

Отсюда получается тезисъ, который для обычнаго русскаго интеллигентскаго слуха можетъ показаться до крайности парадоксальнымъ:

Оселкомъ и мѣриломъ всей т. н. „внутренней“ политики какъ правительства, такъ и партій долженъ служить

отвѣтъ на вопросъ: въ какой мѣрѣ эта политика содѣйствуетъ т. наз. внѣшнему могуществу государства?

Это не значитъ, что „внѣшнимъ могуществомъ“ исчерпывается весь смыслъ существованія государства; изъ этого не слѣдуетъ даже, что внѣшнее могущество есть верховная цѣнность съ государственной точки зрѣнія; можетъ быть, это такъ, но это вовсе не нужно для того, чтобы нашъ тезисъ былъ вѣренъ. Если однако вѣрно, что всякое здоровое и держащееся самимъ собой государство желаетъ обладать внѣшней мощью, то въ этой внѣшней мощи заключается безошибочное мѣрило для оцѣнки всѣхъ жизненныхъ отправленій и силъ государства, и въ томъ числѣ и его „внутренней политики“.

Относительно современной Россіи не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что ея внѣшняя мощь подорвана. Весьма характерно, что руководитель нашей самой видной „націоналистической“ газеты въ новогоднемъ „маленькомъ письмѣ“ утѣшается тѣмъ, что насъ никто въ предстоящемъ году не обидитъ войной, такъ какъ мы „будемъ вести себя смирно“. Трудно найти лозунгъ менѣе государственный и менѣе національный, чѣмъ это: „будемъ вести себя смирно“. Можно собирать и копить силы, но великій народъ не можетъ — подъ угрозой упадка и вырожденія—сидѣть смирно среди движущагося впередъ, растущаго въ непрерывной борьбѣ міра. Давая такой пароль, наша реакціонная мысль показываетъ, какъ она изумительно безпомощна передъ проблемой возрожденія внѣшней мощи Россіи.

Для того, чтобы рѣшить эту проблему, — нужно ее поставить правильно, т.-е. съ полной ясностью и въ полномъ объемѣ.

Ходячее воззрѣніе обвиняетъ русскую внѣшнюю политику, политику „дипломатическую“ и „военно-морскую“, въ

томъ, что мы были не подготовлены къ войнѣ съ Японіей. Мнѣ неоднократно, во время самой войны на страницахъ Освобожденія и позже, приходилось указывать, что ошибка нашей дальневосточной политики была гораздо глубже, что она заключалась не только въ методахъ, но—что́ гораздо существеннѣе—въ самыхъ цѣляхъ этой политики. У насъ до сихъ поръ не понимаютъ, что наша дальневосточная политика была логическимъ вѣнцомъ всей внѣшней политики царствованія Александра III, когда реакціонная Россія, по недостатку истиннаго государственнаго смысла, отвернулась отъ Востока Ближняго.

Въ перенесеніи центра тяжести нашей политики въ область, недоступную реальному вліянію русской культуры, заключалась первая ложь, πρῶτον ψεῦδος нашей внѣшней политики, приведшей къ Цусимѣ и Портсмуту. Въ трудностяхъ веденія войны это сказалось съ полной ясностью. Японская война была войной, которая велась на огромномъ разстояніи и исходъ которой рѣшался на далекомъ отъ сѣдалища нашей національной мощи морѣ. Этими двумя обстоятельствами, вытекшими изъ ошибочнаго направленія всей приведшей къ войнѣ политики, опредѣлилось наше пораженіе.

Тѣ же самыя обстоятельства, которыя въ милитарномъ отношеніи обусловили конечный итогъ войны, опредѣлили полную безсмысленность нашей дальневосточной политики и въ экономическомъ отношеніи. Осуществлять пресловутый выходъ Россіи къ Тихому океану съ самаго начала значило, въ смыслѣ экономическомъ,—travailler pour l'empereur de Japon. Успѣхъ въ промышленномъ соперничествѣ на какомъ-нибудь рынкѣ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, опредѣляется условіями транспорта. Совершенно ясно, что, производя товары въ Москвѣ (подразумѣвая подъ Москвой весь московско-владимірскій промышленный районъ), въ Петербургѣ,

въ Лодзи (подразумѣвая подъ Лодзью весь польскій районъ), нельзя за тысячи верстъ желѣзнодорожнаго пути конкурировать не только съ японцами, но даже съ нѣмцами, англичанами и американцами. Гг. Абаза, Алексѣевъ и Безобразовъ „открывали“ Дальній Востокъ не для Россіи, а для иностранцевъ. Это вытекало изъ географической „природы вещей“. Въ своемъ заграничномъ органѣ я категорически возставалъ противъ дискредитированія нашей арміи на основаніи тѣхъ неудачъ, которыя она терпѣла, и указывалъ на то, что политика задала арміи, какъ своему орудію, задачу, по существу невыполнимую [1]).

Теперь пора признать, что для созданія Великой Россіи есть только одинъ путь: направить всѣ силы на ту область, которая дѣйствительно доступна реальному вліянію русской культуры. Эта область — весь бассейнъ Чернаго моря, т.-е. всѣ европейскія и азіатскія страны, „выходящія“ къ Черному морю.

Здѣсь для нашего неоспоримаго хозяйственнаго и экономическаго господства есть настоящій базисъ: люди, каменный уголь и желѣзо. На этомъ реальномъ базисѣ — и только на немъ—неустанною культурною работой, которая во всѣхъ направленіяхъ должна быть поддержана государствомъ, можетъ быть создана экономически мощная Великая Россія. Она должна явиться не выдумкой реакціонныхъ политиковъ и честолюбивыхъ адмираловъ, а созданіемъ народнаго труда, свободнаго и въ то же время дисциплинированнаго. Въ послѣднюю эпоху нашего дальневосточнаго „расширенія“ мы поддерживали экономическую жизнь Юга отчасти нашими восточными предпріятіями.

---

[1]) Въ особенности рѣзко выражено это было въ передовой статьѣ № 47 Освобожденія отъ 2-го мая 1904 г., гдѣ я писалъ: „русская армія побѣждала не разъ, но, если она тутъ не побѣдитъ, знайте, что передъ ней была нелѣпая задача“.

Отношеніе должно быть совершенно иное. Нашъ Югъ долженъ излучать по всей Россіи богатство и трудовую энергію. Изъ черноморскаго побережья мы должны экономически завоевать и наши собственныя тихо-океанскія владѣнія.

Основой русской внѣшней политики должно быть, такимъ образомъ, экономическое господство Россіи въ бассейнѣ Чернаго моря. Изъ такого господства само собой вытечетъ политическое и культурное преобладаніе Россіи на всемъ такъ называемомъ Ближнемъ Востокѣ. Такое преобладаніе именно на почвѣ экономическаго господства осуществимо совершенно мирнымъ путемъ. Разъ мы укрѣпимся экономически и культурно на этой естественной базѣ нашего могущества, намъ не будутъ страшны никакія внѣшнія осложненія, могущія возникнуть помимо насъ. Въ этой области мы будемъ имѣть великолѣпную защиту въ союзѣ съ Франціей и въ соглашеніи съ Англіей, которое въ случаѣ надобности можетъ быть соотвѣтствующимъ образомъ расширено и углублено. Историческое значеніе соглашенія съ Англіей, состоявшагося въ новѣйшее время и связаннаго съ именемъ А. П. Извольскаго, въ томъ и заключается, что оно, несмотря на свою кажущуюся новизну, по существу является началомъ возвращенія нашей внѣшней политики домой, въ область, указываемую ей и русской природой, и русской исторіей. Съ традиціями, которыя потеряли жизненные корни, необходимо рвать смѣло, не останавливаясь ни передъ чѣмъ. Но традиціи, которыя держатся сильными, здоровыми корнями, слѣдуетъ поддерживать. Къ такимъ живымъ традиціямъ относится вѣковое стремленіе русскаго племени и русскаго государства къ Черному морю и омываемымъ имъ областямъ. Донецкій уголь, о которомъ Петръ Великій сказалъ: „сей минералъ, если не намъ, то нашимъ потомкамъ весьма полезенъ будетъ“,—такой фундаментъ этому стремленію, который зна-

читъ больше самыхъ блестящихъ военныхъ подвиговъ. Безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что только на этомъ черномъ „минералѣ“ можно основать Великую Россію.

Изъ такого пониманія проблемы русскаго могущества вытекаютъ важные выводы, имѣющіе огромное значеніе для освѣщенія нѣкоторыхъ основныхъ вопросовъ текущей русской политики. Это относится какъ къ вопросамъ внутренне-политическимъ, въ томъ числѣ такъ называемымъ „національнымъ“, а въ сущности „племеннымъ“, такъ и къ вопросамъ внѣшне-политическимъ, съ вытекающими изъ нихъ проблемами военно-морскими. Вся область этихъ вопросовъ освѣщается совершенно новымъ свѣтомъ, если ее разсматривать подъ угломъ зрѣнія Великой Россіи. Этотъ уголъ зрѣнія позволяетъ видѣть лучше и дальше, чѣмъ обычныя позиціи враждующихъ направленій и партій.

Сперва — о политикѣ общества, а потомъ о политикѣ власти.

Политика общества опредѣляется тѣмъ духомъ, который общество вноситъ въ свое отношеніе къ государству. Въ другомъ мѣстѣ я покажу, какъ, въ связи съ разными вліяніями, въ русскомъ обществѣ развивался и разливался враждебный государству духъ. Дѣло тутъ вовсе не въ революціи и „революціонности“ въ полицейскомъ смыслѣ. Можетъ быть революція во имя государства и въ его духѣ; такимъ революціонеромъ-государственникомъ былъ Оливеръ Кромвель, самый мощный творецъ англійскаго государственнаго могущества. Враждебный государству духъ сказывается въ непониманіи того, что государство есть „организмъ“, который, во имя культуры, подчиняетъ народную жизнь началу дисциплины, основному условію государственной мощи. Духъ государственной дисциплины былъ чуждъ русской революціи. Какъ носители власти до сихъ поръ смѣшиваютъ у насъ себя съ государствомъ,—

такъ большинство тѣхъ, кто боролся и борется съ ними, смѣшивали и смѣшиваютъ государство съ носителями власти. Съ двухъ сторонъ, изъ двухъ, повидимому, противоположныхъ исходныхъ точекъ, пришли къ одному и тому же противогосударственному выводу.

Это обнаружилось въ „забастовочной“ т а к т и к ѣ, усвоенной себѣ русской революціей въ борьбѣ съ самодержавно-бюрократическимъ правительствомъ. Основываясь на успѣхѣ, который имѣла стихійная „забастовка“, повлекшая за собой манифестъ 17 октября, стали параличъ хозяйственной жизни упражнять какъ тактическій пріемъ. Что означала эта „тактика“? Что средствомъ въ борьбѣ съ „правительствомъ“ можетъ быть разрушеніе народнаго хозяйства. Извѣстный манифестъ совѣта рабочихъ депутатовъ и примкнувшихъ къ нему организацій призывалъ прямо къ разрушенію государственнаго хозяйства.

Теперь должно быть ясно, что эти дѣйствія и лозунги не были „тактическими ошибками“, „нерасчитанной“ пробой силъ и т. п. Они были внушены духомъ, враждебнымъ государству, какъ таковому, потому что они подрывали не правительство, а, ради подрыва правительства, разрушали хозяйственную основу государства и тѣмъ самымъ государственную мощь.

Эти дѣйствія и лозунги были внушены духомъ, враждебнымъ культурѣ, ибо они подрывали самую основу культуры,—д и с ц и п л и н у т р у д а. Если можно въ двухъ словахъ опредѣлить ту болѣзнь, которою пораженъ нашъ народный организмъ, то ее слѣдуетъ назвать исчезновеніемъ или ослабленіемъ дисциплины труда. Въ безчисленныхъ и многообразныхъ явленіяхъ жизни обнаруживается эта болѣзнь.

Политика общества и должна н а ч а т ь съ того, чтобы на всѣхъ пунктахъ національной жизни противогосудар-

ственному духу, не признающему государственной мощи и съ нею не считающемуся, и противокультурному духу, отрицающему дисциплину труда, противопоставить новое политическое и культурное сознаніе. Идеалъ государственной мощи и идея дисциплины народнаго труда—вмѣстѣ съ идеей права и правъ—должны образовать желѣзный инвентарь этого новаго политическаго и культурнаго сознанія русскаго человѣка.

Характеризуемая такимъ образомъ правильная политика общества есть проблема не тактическая, а идейная и воспитательная, на чемъ я уже настаивалъ въ своей статьѣ „Тактика или идеи?“ [1]). Великая Россія для своего созданія требуетъ отъ всего народа и прежде всего отъ его образованныхъ классовъ признанія идеала государственной мощи и начала дисциплины труда. Ибо созидать Великую Россію значитъ созидать государственное могущество на основѣ мощи хозяйственной.

Политика власти начертана ясно идеаломъ Великой Россіи. То состояніе, въ которомъ находится въ настоящее время Россія, есть—приходится это признать съ величайшей горечью—состояніе открытой вражды между властью и наиболѣе культурными элементами общества. До событій революціи власть могла ссылаться—хотя и фиктивно—на сочувствіе къ ней молчальника-народа. Послѣ всего, что произошло, послѣ первой и второй Думы, подобная ссылка невозможна. Разрывъ власти съ наиболѣе культурными элементами общества есть въ то же время разрывъ съ народомъ. Такое положеніе вещей въ странѣ глубоко ненормально; въ сущности, оно есть тотъ червь, который всего сильнѣе подтачиваетъ нашу государственную мощь. Неудивительно, что политика, которая упорно закрываетъ глаза

1) См. выше стр. 52 и сл.

на эту основную язву нашей государственности, вынуждена давать лозунгъ: „будемъ вести себя смирно“. Государство, которое разъѣдаемо такой болѣзнью, можетъ сказать еще больше: „будемъ умирать“. Но государство сильнаго, растущаго, хотя бы больного народа не можетъ умереть. Оно должно жить.

Положеніе осложняется еще разноплеменностью населенія, составляющаго наше государство. Съ одной стороны, если бы населеніе Россіи было одноплеменнымъ, чисто-русскимъ, существованіе власти, находящейся въ открытомъ разрывѣ съ народомъ, врядъ ли было бы возможно. Съ другой стороны, нашихъ „инородцевъ“ принято упрекать въ томъ, что они заводчики революціи. Объективно психологически слѣдуетъ признать, наоборотъ, что вся наша реакція держится на существованіи въ Россіи „инородцевъ“ и имъ питается. „Инородцы“ — послѣдній психологическій рессурсъ реакціи.

Изъ вопросовъ „инородческихъ“ два самыхъ важныхъ— „еврейскій“ и „польскій“. Разсмотримъ ихъ съ точки зрѣнія проблемы русскаго могущества.

По отношенію къ вопросу „еврейскому“ власть держится „политики страуса“. Она не признаетъ предмета, котораго не желаетъ видѣть. Центръ тяжести политическаго рѣшенія еврейскаго вопроса заключается въ упраздненіи такъ называемой черты осѣдлости. Съ точки зрѣнія проблемы русскаго могущества, „еврейскій вопросъ“ вовсе не такъ несущественъ, какъ принято думать въ нашихъ soit-disant консервативныхъ кругахъ, пропитанныхъ „нововременствомъ“. Если вѣрно, что проблема Великой Россіи сводится къ нашему хозяйственному „расширенію“ въ бассейнѣ Чернаго моря, то для осуществленія этой задачи и вообще для хозяйственнаго подъема Россіи евреи представляютъ элементъ весьма цѣнный. Въ томъ экономическомъ завое-

ваніи Ближняго Востока, безъ котораго не можетъ быть создано Великой Рсссіи, преданные русской государственности и привязанные къ русской культурѣ евреи прямо незамѣнимы въ качествѣ піонеровъ и посредниковъ [1]). Такимъ образомъ, намъ, ради Великой Россіи, нужно создавать такихъ евреевъ и широко ими пользоваться. Очевидно, что единственнымъ способомъ для этого является послѣдовательное и лояльное осуществленіе „эмансипаціи“ евреевъ. По существу, среди всѣхъ „инородцевъ“ Россіи—несмотря на всѣ антисемитическіе вопли—нѣтъ элемента, который могъ бы легче, чѣмъ евреи, быть поставленъ на службу русской государственности и ассимилированъ съ русской культурой.

Съ другой стороны, нельзя закрывать себѣ глаза на то, что такая реформа, какъ „эмансипація“ евреевъ, можетъ совершиться съ наименьшимъ психологическимъ треніемъ въ атмосферѣ общаго хозяйственнаго подъема страны. Нужно, чтобы создался въ странѣ такой экономическій просторъ, при которомъ всѣ чувствовали бы, что имъ находится мѣсто „на пиру жизни“. Разрѣшеніе „еврейскаго вопроса“ такимъ образомъ неразрывно связано съ экономической стороной проблемы Великой Россіи: „эмансипація“ евреевъ психологически предполагаетъ хозяйственное возрожденіе Россіи, а съ другой стороны явится однимъ изъ орудій созданія хозяйственной мощи страны.

„Польскій вопросъ“, съ той точки зрѣнія, съ которой мы разбираемъ здѣсь вообще вопросы русской государственности, является вопросомъ политическимъ или международно-политическимъ par excellence. Что бы тамъ ни говорили, въ хозяйственномъ отношеніи Царство Польское ну-

---

1) Любопытно, что это недавно доказывалось въ весьма обстоятельной статьѣ офиціальнаго Вѣстника Финансовъ. См. статью „Ближневосточные рынки“ въ № 45 за 1907 г.

ждается въ Россіи, а не наоборотъ. Русскимъ экономически почти нечего дѣлать въ Польшѣ. Россія же для Польши ея единственный рынокъ.

Принадлежность Царства Польскаго къ Россіи есть для послѣдней чистѣйшій вопросъ политическаго могущества. Всякое государство до послѣднихъ силъ стремится удержать свой „составъ", хотя бы принудительныхъ хозяйственныхъ мотивовъ для этого не было. Для Россіи, съ этой точки зрѣнія, необходимо сохранить въ „составѣ" Имперіи Царство Польское. А разъ оно должно быть сохранено въ составѣ Имперіи, то необходимо, чтобы населеніе его было довольно своей судьбою и дорожило связью съ Россіей, было морально къ ней прикрѣплено. Это было бы важно во всякомъ случаѣ для „внутренняго" спокойствія этой части Имперіи. Но эта сторона дѣла, съ точки зрѣнія проблемы могущества, отступаетъ даже на задній планъ передъ значеніемъ, принадлежащимъ польскому вопросу въ виду того международнаго „положенія", въ которое, волею исторіи вдвинута Россія.

Существуетъ въ широкой публикѣ мнѣніе, что на Царство Польское можетъ посягнуть въ удобный моментъ Германія. Это недоразумѣніе, основанное на полномъ незнакомствѣ съ политическими отношеніями Германіи. Германіи не нужно ни пяди земли, населенной польскимъ народомъ. Для Германіи было бы безуміемъ ввести въ свой нѣмецкій государственный составъ новые милліоны поляковъ—и безъ того Пруссія не можетъ переварить Познани. Германія, съ ея историческими традиціями, не можетъ превратиться въ государство съ сильнымъ инородческимъ элементомъ. Болѣе того, она не можетъ превратиться въ государство съ преобладающимъ католическимъ населеніемъ. Вотъ почему Германія не можетъ (и не желаетъ) поглотить нѣмецкія земли Австріи. Такое поглощеніе измѣнитъ

соотношеніе культурныхъ силъ, дастъ католикамъ рѣшающую силу въ Германіи.

Польская политика Пруссіи, съ точки зрѣнія международнаго положенія Германіи, представляетъ грубѣйшую ошибку, на что неоднократно указывалъ Гансъ Дельбрюкъ въ своихъ Preussische Jahrbücher. Эта ошибка проходитъ Германіи даромъ только потому, что русское правительство ведетъ политику, съ точки зрѣнія государственной мощи и государственной безопасности Россіи, еще болѣе ошибочную. Пруссія стремится—per fas et nefas—германизовать Познань; идея руссификаціи Польши въ томъ смыслѣ, въ какомъ нѣмцы германизуютъ (или, вѣрнѣе, стремятся германизовать) свои польскія области, совершенно несбыточная утопія. Денаціонализація русской Польши недоступна ни русскому народу, ни русскому государству. Между русскими и поляками на территоріи Царства Польскаго никакой культурной или національной борьбы быть не можетъ: русскій элементъ въ Царствѣ представленъ только чиновниками и войсками.

Обладаніе Царствомъ Польскимъ есть для Россіи вопросъ не національнаго самосохраненія, а политическаго могущества.

Польская политика Россіи, съ этой точки зрѣнія, должна быть совершенно ясна. Опираясь на экономическую прикрѣпленность Польши къ Россіи, мы должны воспользоваться ея принадлежностью къ Имперіи для того, чтобы черезъ нее скрѣпить наши естественныя связи съ славянствомъ вообще и западнымъ въ частности. Польская политика должна служить нашему сближенію съ Австріей, которая теперь является по преимуществу державой славянской. Либеральная польская политика въ огромной степени подыметъ нашъ престижъ въ славянскомъ мірѣ и психологически совершенно естественно создастъ, впервые въ исто-

ріи, моральную связь между нами и Австріей, какъ государствомъ.

Въ экономическомъ отношеніи мы будемъ даже конкурентами на Ближнемъ Востокѣ, но эта конкуренція будетъ смягчаться и сглаживаться морально-политической солидарностью.

Такова та положительная миссія, которая принадлежитъ разумной польской политикѣ Россіи въ дѣлѣ укрѣпленія ея внѣшней мощи. Но гораздо важнѣе ея отрицательная миссія или функція. Всякое здоровое, сильное государство—сказали мы выше—желаетъ быть могущественнымъ. Австрія, съ великой избирательной реформой, вступила въ періодъ своего внутренняго укрѣпленія, которое будетъ означать и ростъ внѣшней мощи Австро-Венгріи. Славянскій характеръ Австріи вовсе не гарантируетъ насъ отъ нападенія съ ея стороны, если мы будемъ оставаться слабы, такъ же какъ культурное и политическое преобладаніе германскаго элемента въ Австріи до 1866 г. не спасло ея отъ разгрома Пруссіей. Если русская Польша будетъ по прежнему очагомъ недовольства, имѣющимъ тѣснѣйшую морально-культурную связь съ австрійскими поляками, если Россія, вмѣсто того, чтобы экономически и культурно укрѣпляться въ бассейнѣ Чернаго моря, будетъ строить ни для чего ненужный линейный флотъ, предназначенный для Балтійскаго моря и Тихаго Океана, въ одинъ прекрасный день въ Европѣ на западной границѣ можетъ назрѣть для насъ великая бѣда.

Теперь еще идея борьбы не на животъ, а на смерть съ поляками торжествуетъ въ Пруссіи, но дни ея сочтены. Идея эта свершитъ свой кругъ и—хотя бы ради сохраненія своей entente съ Австріей—Германія принуждена будетъ отказаться отъ своей польской политики. Не слѣдуетъ также упускать изъ виду, что вообще крушеніе реакціи и

торжество либерализма во внутренней политикѣ Германіи должно наступить съ безошибочностью естественнаго процесса. Въ этотъ моментъ, если мы не разрѣшимъ своего польскаго вопроса, не создадимъ по всей линіи и во всей странѣ дѣйствительнаго, прочнаго примиренія власти съ народомъ, мы можемъ и неизбѣжно получимъ жестокій ударъ уже не съ Востока, а съ Запада. У насъ въ широкой публикѣ, а также въ военныхъ сферахъ существуетъ къ Австріи такое же легкомысленное отношеніе, какое до войны было къ Японіи. Мы склонны упиваться суворовской фразой: „австрійцы имѣютъ проклятую привычку быть всегда битыми“, и можемъ на собственномъ тѣлѣ испытать всю условность подобныхъ афоризмовъ. Неудачная война съ Австріей—при недоброжелательномъ нейтралитетѣ Германіи—въ лучшемъ случаѣ будетъ имѣть для Россіи своимъ результатомъ потерю Царства Польскаго, которое отойдетъ къ Австріи, и потерю Прибалтійскаго края, который отойдетъ къ Германіи. Если обладаніе русской Польшей не нужно и совершенно неинтересно для Германіи, то этого нельзя сказать о Прибалтійскомъ краѣ. Войдя въ составъ Германской имперіи, онъ сравнительно легко можетъ быть завоеванъ или, въ извѣстномъ смыслѣ, отвоеванъ для германской культуры. Латыши и эсты будутъ либо германизованы, либо оттѣснены на территорію Россіи, куда они и безъ того до сихъ поръ выселяются въ значительномъ числѣ.

Я вовсе не сомнѣваюсь въ полнѣйшемъ миролюбіи Германіи и Австріи и ихъ правительствъ. Но слѣдуетъ же понимать, что столкновенія государствъ между собой въ основѣ вытекаютъ изъ конфликовъ интересовъ и изъ соотношеній могущества, а вовсе не изъ международнаго бреттерства правительствъ. Мы должны были бы научиться этому изъ опыта нашей войны съ Японіей. Не говоря уже

о Бисмаркѣ, даже Наполеонъ III не былъ вовсе политическимъ бреттеромъ.

Можно сказать, что всѣ нарисованныя нами перспективы суть только комбинаціи и предположенія. Но то, что слабыя государства дѣлаются добычей государствъ болѣе сильныхъ, если не ограждены противоборствомъ ихъ интересовъ, это уже не комбинація. Это—своего рода „законъ исторіи". А въ столкновеніи слабой Россіи съ сильной Австро-Венгріей, при недоброжелательномъ къ намъ нейтралитетѣ заинтересованной въ нашемъ пораженіи Германіи, ни одинъ палецъ въ Европѣ не пошевелится въ нашу защиту.

Можетъ ли явиться поводъ для такого столкновенія? Мы вѣдь въ наилучшихъ отношеніяхъ и съ Австріей, и съ Германіей. Съ первой мы вмѣстѣ дѣйствуемъ на Балканахъ, какъ главныя великія державы, заинтересованныя въ турецкихъ дѣлахъ. Неужели изъ кооперації можетъ возникнуть конфликтъ? По этому поводу достаточно на справку напомнить, что конфликту Пруссіи съ Австріей предшествовала кооперація этихъ государствъ противъ Даніи, что войнѣ Японіи съ Россіей предшествовала наша съ Японіей кооперація противъ Китая.

Поводъ всегда найдется, если будетъ продолжаться ослабленіе государственной мощи Россіи, которое есть неизбѣжный результатъ того, что за разрухой японской войны и революціи слѣдуетъ не возрожденіе страны конституціей, а разложеніе ея реакціей.

Сигнализировать во-время эту опасность передъ общественнымъ сознаніемъ есть патріотическій долгъ независимой русской печати. Мы можемъ ошибаться въ томъ или другомъ конкретномъ указаніи, но суть нашего анализа—увы!—соотвѣтствуетъ дѣйствительному положенію вещей.

Изъ международно-политическихъ перспективъ, которыя мы начертали, вытекаетъ тотъ выводъ, что наша „внутрен-

няя“ политика должна быть поставлена такъ, чтобы—безъ ущерба для нашихъ интересовъ, нашей мощи и нашего достоинства—психологически устранить самую возможность войны съ Австро-Венгріей или (худшій для насъ случай!) войны съ Австро-Венгріей и Германіей. Конечно, Россія можетъ просто добровольно сдѣлаться вассаломъ или сателлитомъ Германіи, но только—пожертвовавъ исторической миссіей, мощью и достоинствомъ государства. Такой выходъ будетъ мнимымъ рѣшеніемъ проблемы Великой Россіи. Ключъ къ дѣйствительному ея рѣшенію лежитъ въ урегулированіи русско-польскихъ отношеній. Тутъ обычно выдвигается пугало Германіи. Германія-де не потерпитъ либеральнаго рѣшенія польскаго вопроса. Не говоря уже о томъ, что принципіально никакое вмѣшательство въ наши внутреннія дѣла не терпимо, гораздо важнѣе то, что одна Германія безъ Австро-Венгріи ничего противъ Россіи предпринять не можетъ. Противъ Германіи, если она не въ союзѣ съ Австро-Венгріей, Россія, даже безъ всякихъ формальныхъ союзовъ и соглашеній, ipso facto существующаго противоборства интересовъ, имѣетъ за себя и Францію (первоклассная сухопутная держава!) и Англію (рѣшающая сила на морѣ!).

Изъ сказаннаго выше слѣдуетъ, что неурегулированность польскаго вопроса, стоящая вообще въ связи съ реакціоннымъ характеромъ нашей внутренней политики, ставитъ насъ совершенно à la merci Германіи. Мы либо вынуждены въ международныхъ дѣлахъ и внутренней политикѣ слѣпо, какъ вассалъ, слѣдовать ей, либо будемъ всегда находиться подъ угрозой того, что въ удобный и желательный для себя моментъ она выдвинетъ противъ насъ Австро-Венгрію. Не слѣдуетъ—повторяемъ—въ этомъ случаѣ предаваться иллюзіямъ, что славянскій характеръ Австро-Венгріи гарантируетъ насъ отъ такого оборота дѣлъ.

Пока мы не ведемъ настоящей славянской политики, пока мы держимъ Польшу въ „подвластномъ“ положеніи, пока мы не исполняемъ своей исторической миссіи на Черномъ морѣ, гдѣ находится естественная экономическая основа Великой Россіи,—Австро-Венгрія, даже какъ славянская держава или, вѣрнѣе, именно какъ таковая, обязана стремиться къ „расширенію“ на нашъ счетъ.

А Германія изъ двухъ возможностей, каковыми являются: 1) одновременный политическій ростъ двухъ славянскихъ державъ, Австро-Венгріи и Россіи, и 2) возвышеніе на счетъ Россіи Австро-Венгріи, во всякомъ случаѣ менѣе славянской, гораздо ближе стоящей къ германскому міру державы—изъ этихъ двухъ политическихъ возможностей Германія обязана, повинуясь здравому государственному эгоизму, выбрать вторую, для нея гораздо болѣе выгодную.

Не слѣдуетъ также думать, что Германія, держава консервативная съ строго „легитимными“ традиціями, будетъ—вопреки своимъ государственнымъ интересамъ—церемониться съ консервативной Россіей. Съ „легитимными“ традиціями современной Германіи дѣло обстоитъ весьма своеобразно. Несмотря на весь свой прусскій легитимизмъ, Бисмаркъ упразднилъ нѣсколько весьма легитимныхъ нѣмецкихъ троновъ—и гессенъ-дармштатскій тронъ уцѣлѣлъ въ разгромѣ 1866 г. исключительно благодаря заступничеству Александра II! [1])—и въ борьбѣ съ Австріей не смущался даже перспективой союза съ венгерской революціей.

Всякая истинно государственная политика, хотя бы она и была во внутреннихъ вопросахъ весьма консервативна, въ борьбѣ за могущество не останавливается передъ такими мелочами, какъ „легитимность“.

---

1) Ср. H. von Sybel. Die Begründung des deutschen Reiches. and V (München u. Leipzig, 1890), въ особ. стр. 391—394.

Изъ даннаго нами освѣщенія вопроса о Великой Россіи вытекаютъ совершенно ясные выводы относительно волнующей въ настоящее время общество морской проблемы. Въ войнѣ съ Австріей или съ Австріей и Германіей вмѣстѣ такой флотъ намъ ни въ чемъ существенномъ не поможетъ. Ни для Германіи, ни еще менѣе для Австріи дѣйствія на морѣ, противъ насъ не будутъ имѣть рѣшающаго значенія.

Отсюда ясно, что балтійскій флотъ, какъ это ни странно, всего менѣе нуженъ Россіи.

Великой Россіи, на настоящемъ уровнѣ нашего экономическаго развитія, необходимы сильная армія и такой флотъ, который давалъ бы намъ возможность десанта на любомъ пунктѣ Чернаго моря и въ то же время абсолютно обезпечивалъ бы насъ отъ вражескаго десанта въ этой области. Другими словами, мы должны быть господами на Черномъ морѣ. Совершенно ясно, что это осуществимо только при томъ условіи, если мы изъ числа крупныхъ морскихъ державъ будемъ имѣть своимъ противникомъ тамъ въ худшемъ случаѣ одну Германію, противъ которой у насъ будетъ всегда „покрытіе“, въ лицѣ Англіи и Франціи. Противъ Англіи мы и тамъ бороться никогда не сможемъ. Но вѣдь вообще реальная политика утвержденія русскаго могущества на Черномъ морѣ неразрывно связана съ прочнымъ англо-русскимъ соглашеніемъ, которое для насъ не менѣе важно, чѣмъ франко-русскій союзъ. Вообще это соглашеніе и этотъ союзъ суть безусловно необходимыя внѣшнія гарантіи созданія Великой Россіи.

Внутреннее содержаніе этой проблемы можетъ быть дано только сочетаніемъ правильной внѣшней политики съ разумнымъ разрѣшеніемъ нашихъ внутреннихъ вопросовъ.

Интеллигенція страны должна пропитаться тѣмъ духомъ государственности, безъ господства котораго въ обра-

зованномъ классѣ не можетъ быть мощнаго и свободнаго государства.

„Правящіе круги“ должны понять, что, если изъ великихъ потрясеній должна выйти Великая Россія, то для этого нуженъ свободный, творческій подвигъ всего народа. Въ народѣ, пришедшемъ въ движеніе, въ народѣ, конституція котораго родилась вовсе не изъ навѣяннаго извнѣ радикализма, а изъ потрясеннаго тяжкими государственными уронами патріотическаго духа,—въ этомъ народѣ нельзя уже ничего достигнуть простымъ приказомъ власти. Изъ скорбнаго историческаго опыта послѣднихъ лѣтъ народъ нашъ вынесъ пониманіе того, что государство есть личность „соборная“ и стоитъ выше всякой личной воли. Это огромное неоцѣнимое и неистребимое пріобрѣтеніе и оправданіе пережитыхъ нами „великихъ потрясеній“.

Теперь задача истинныхъ сторонниковъ государственности заключается въ томъ, чтобы понять и расцѣнить всѣ условія, созидающія мощь государства. Только государство и его мощь могутъ быть для настоящихъ патріотовъ истинной путеводной звѣздой. Остальное—„блуждающіе огни“.

Государственная мощь невозможна внѣ осуществленія національной идеи. Національная идея современной Россіи есть примиреніе между властью и проснувшимся къ самосознанію и самодѣятельности народомъ, который становится націей. Государство и нація должны органически срастись.

Въ новѣйшей европейской исторіи есть замѣчательный и поучительный примѣръ такого сращенія.

Въ 60-хъ годахъ между націей и властью въ руководящей германской державѣ Пруссіи возгорѣлся жесточайшій конфликтъ, грозившій политической катастрофой. Власть, благодаря Бисмарку, вышла побѣдительницей изъ этого конфликта, овладѣвъ національной идеей, чего не сумѣли сдѣлать ни Стюарты въ Англіи, ни Бурбоны во

Франціи. Побѣда власти, однако, не была ни униженіемъ народа, ни разрушеніемъ права. Величіе Бисмарка, какъ государственнаго дѣятеля, заключалось, между прочимъ, въ томъ, что онъ никогда не смѣшивалъ государства ни съ какими лицами. Власть и народъ примирились на осуществленіи національной идеи, и объединенная Германія, утверждающая свою внѣшнюю мощь, сумѣла органически сочетать историческія традиціи съ новыми государственными учрежденіями на демократической основѣ всеобщаго избирательнаго права.

Объединеніе Германіи подъ предводительствомъ Пруссіи, выбрасывающей Австрію изъ Германіи и затѣмъ набрасывающейся на Францію и отнимающей у нея завоеванія Людовика XIV [1]), было рядомъ событій, въ которыхъ и современникъ, и всякій изучающій ихъ теперь, не можетъ не чувствовать дѣйствія какой-то роковой силы.

У Бисмарка, когда онъ ковалъ германскую имперію, вовсе не было готоваго, до подробностей выработаннаго плана. Творецъ событій, онъ въ то же время былъ влекомъ ими. Но онъ, по крайней мѣрѣ, въ каждый данный моментъ выполнялъ свою волю и осуществлялъ дорогую ему идею. О Вильгельмѣ I нельзя сказать даже этого. Прусскій король, если бы дѣла совершались по его волѣ, никогда бы не былъ германскимъ императоромъ. Но онъ долженъ былъ стать имъ. Самая незамѣтная и въ то же время самая трудная и почетная борьба, которую велъ Бисмаркъ во имя государства, велась имъ не противъ оппозиціи парламента, не противъ внѣшняго врага и его дипломатіи,

---

1) Когда Тьеръ, въ знаменитой своей поѣздкѣ по столицамъ Европы во время войны, встрѣтившись въ Вѣнѣ со своимъ другомъ историкомъ Ранке, спросилъ его, съ кѣмъ Германія послѣ паденія Наполеона ведетъ войну, Ранке отвѣчалъ: „съ Людовикомъ XIV“.

а противъ главы государства. И онъ, а съ нимъ вмѣстѣ германская государственность оказались побѣдителями въ этой борьбѣ.

Такова сила національной идеи, нашедшей себѣ орудіе въ государствѣ, которое стремится увеличить свою мощь. Или, наоборотъ, такова сила государства, поставившаго себѣ на службу національную идею. Это—двѣ силы, которыя, для того, чтобы перевернуть судьбы народовъ, должны найти одна другую и дѣйствовать въ полномъ союзѣ.

Часто смотрятъ на эти событія съ „отвлеченной“ точки зрѣнія. Революціонеры видятъ въ объединеніи Германіи не торжество національной идеи, а лишь возвышеніе консервативной прусской державы—такъ понимали событія многіе старые нѣмецкіе радикалы 40-хъ гг.; такъ оцѣниваютъ ихъ до сихъ поръ нѣкоторые соціалъ-демократы. Легитимисты видятъ въ этомъ объединеніи, поглотившемъ нѣсколько легитимныхъ троновъ и въ современной Германіи утопившемъ патріархально-консервативную Пруссію съ ея старыми государственными традиціями, не столько торжество государственности, сколько побѣду страннаго, противорѣчиваго союза военно-монархической мощи съ революціонной идеей—такъ смотрѣли на событія не только ганноверскіе легитимисты; такъ чувствовали и представители стараго прусскаго духа, вродѣ генерала Роона и даже самого Вильгельма I.

Первые заблуждаются въ томъ, что не видятъ связи національной идеи съ государственной мощью. Вторые фантазируютъ о возможности поставить государственной мощи, окрыленной національной идеей, „легитимныя“ и „традиціонныя“ границы.

Государство должно быть революціонно, когда и поскольку этого требуетъ его могущество. Государство не

можетъ быть революціонно, когда и поскольку это подрываетъ его могущество.

Это „законъ“, который властвуетъ одинаково и надъ династіями, и надъ демократіями. Онъ низвергаетъ монарховъ и правительства; и онъ же убиваетъ революціи.

Понять это значитъ понять государство въ его истинномъ существѣ, заглянуть ему въ лицо, которое, какъ ликъ Петра Великаго, по слову величайшаго русскаго поэта, „прекрасно“ и „ужасно“.

Только, если русскій народъ будетъ охваченъ духомъ истинной государственности и будетъ отстаивать ее смѣло въ борьбѣ со всѣми ея противниками, гдѣ бы они ни укрывались,—только тогда, на основѣ живыхъ традицій прошлаго и драгоцѣнныхъ пріобрѣтеній живущихъ и грядущихъ поколѣній, будетъ создана—Великая Россія [1]).

---

[1]) Приписка. Статья „Великая Россія“ вызвала довольно много отзывовъ въ русской и иностранной печати. Изъ русскихъ отзывовъ укажу здѣсь рѣзко-полемическую статью Д. С. Мережковскаго въ „Рѣчи“, отвѣтъ на которую читатель найдетъ ниже, и статью А. Р. (А. М. Рыкачева) въ „Нашей Газетѣ“. Любопытныя сужденія были также въ „Новомъ Времени“ и въ „Россіи“. Въ иностранной печати отмѣчу подробные критическіе отчеты: 1) берлинскаго проф. Т. Шимана (Theodor Schiemann) въ „Kreuz-Zeitung“ (перепечатано въ сборникѣ того же автора „Deutschland und die grosse Politik anno 1908“. Berlin 1909. Verlag von G. Reimer) и 2) Filippo Naldi. La „grande Russia“ (Oltre la crisi). Estratto della „Liberta economica“ del 10 juglio 1908 (Bologna 1908).

Отрывки о государствѣ [1]).

I.

Обычный консерватизмъ и обычный радикализмъ въ пониманіи государства одинаково страдаютъ близорукостью. Ихъ ошибка состоитъ въ томъ, что они стремятся всѣ перемѣны въ государственной жизни объяснять разумомъ или, наоборотъ, неразумiемъ, причемъ мѣриломъ разумности служатъ тѣ начала нравственности и цѣлесообразности, которыя кладутся въ основу при оцѣнкѣ поведенія отдѣльнаго человѣка, или индивида. Давно уже признано, что ни общество, ни государство не есть простая сумма индивидовъ. Но эта истина не познана и не продумана еще во всемъ ея объективномъ значеніи для пониманія государства, для политики. Лучше понимаютъ ее историки. Историки давно замѣтили, что разумъ, интересъ, цѣли отдѣльныхъ индивидовъ и ростъ государства и его могущества могутъ находиться въ непримиримомъ противорѣчіи.

---

1) Русская Мысль 1908 г., V. Настоящіе отрывки первоначально написаны для той, задуманной мною, цѣлой книги размышленій о государствѣ и революціи, одна глава изъ которой подъ заглавіемъ „Великая Россія“ напечатана выше, другая вошла въ сборникъ „Вѣхи“ и перепечатывается ниже. Отрывки эти были, въ связи съ полемикой о „Великой Россіи“, прочитаны въ петербургскомъ женскомъ клубѣ и черезъ газетные отчеты отчасти проникли въ столичную и провинціальную печать, гдѣ вызвали цѣлый рядъ откликовъ.

Отдѣльный человѣкъ въ своемъ стремленіи къ самосохраненію живетъ для себя, и это значитъ, что его взора хватаетъ на весьма опредѣленный и очень ограниченный промежутокъ времени. Государство во много долговѣчнѣе индивида, и съ точки зрѣнія индивида и его разума—оно сверхразумно и внѣразумно.

Это можно выразить такъ:

Государство есть существо мистическое.

Констатированіе этого факта, однако, не только не мистично, а въ высшей степени позитивно. Мы не желаемъ сейчасъ спорить о томъ, хорошо или худо государство. Но оно таково, и это фактъ. Идея вѣчнаго мира потому утопична, что она противорѣчитъ мистической природѣ государства. Война есть самое видное, самое яркое, самое безспорное обнаруженіе мистической природы государства. Когда войны исчезнутъ, государство сблизится съ „людьми“, очутится на землѣ. Будетъ ли это когда нибудь?

Стессель, сдавая Портъ-Артуръ японцамъ, Небогатовъ дѣлая то же со своей эскадрой послѣ цусимскаго боя, поступали весьма „разумно“, весьма „человѣчно“, но не государственно и не патріотично. Наоборотъ, когда японцы подготовляли и вели войну съ Россіей, когда они покрывали склоны портъ-артурскихъ горъ десятками тысячъ труповъ, они—ради государства—истребляли людей и поступали—съ человѣческой точки зрѣнія—весьма неразумно и даже отвратительно. Въ высшей степени сомнительно даже, станетъ ли „лучше жить“ даже будущимъ поколѣніямъ японцевъ отъ того, что современное поколѣніе цѣною множества человѣческихъ жертвъ завоевало Портъ-Артуръ и подчинило совершенно Корею. Но могущество японскаго государства отъ этого въ огромной степени возросло. И это фактъ. Люди погибли, но флагъ взвился.

Мистичность государства обнаруживается въ томъ, что

индивидъ иногда только съ покорностью, иногда же съ радостью и даже съ восторгомъ приноситъ себя въ жертву могуществу этого отвлеченнаго существа. Ницше говорилъ о холодѣ государства. Наоборотъ, слѣдуетъ удивляться тому, какъ это далекое существо способно испускать изъ себя такое множество горячихъ, притягивающихъ лучей и такъ ими согрѣвать и наполнять человѣческую жизнь. Въ этомъ именно и состоитъ мистичность государства, что, далекое индивиду, оно заставляетъ жить въ себѣ и собою. Говоря это, я имѣю въ виду не тѣ техническія приспособленія государства, какъ упорядоченнаго общежитія, которыя служатъ индивиду, а сверхъиндивидуальную и сверхразумную сущность государства, которой индивидъ служитъ, ради и во имя которой онъ умираетъ.

Мистичность заключается именно въ этой полнѣйшей реальности сверхразумнаго.

Развѣ не ясна мистичность государства въ словахъ Петра Великаго, которыми онъ призывалъ Сенатъ думать о Россіи и не заботиться о немъ, о Петрѣ? Петръ, погубившій столько человѣческихъ жизней, говоря о Россіи думалъ не о „людяхъ“, не о своихъ подданныхъ и не о „человѣкѣ“, не о себѣ. Умственный взоръ его былъ прикованъ къ государству.

Выражаясь по человѣчески, антропоморфически, государство желаетъ быть могущественнымъ. Эта черта государства есть все то же обнаруженіе его сверхразумной природы. Ибо могущество государства не есть вовсе ни сила, ни счастье составляющихъ его лицъ.

Между силой отдѣльной личности и отдѣльныхъ личностей и мощью государства существуетъ извѣстное необходимое соотношеніе, но это соотношеніе покоится не на раціональныхъ, а на религіозныхъ началахъ.

Личность, особность государства проявляется въ отно-

*

шеніяхъ его къ другимъ государствамъ. Поэтому могущество государства есть его мощь во-внѣ. Обычное раціоналистическое воззрѣніе, господствующее въ публикѣ и въ публицистикѣ нашихъ дней, ставитъ внѣшнее могущество государства въ зависимость отъ его внутренняго устройства и отъ развитія внутреннихъ отношеній. Но мистичность государства и заключается въ томъ, что власть государства надъ „людьми“ обнаруживается въ ихъ подчиненіи далекой, чуждой, отвлеченной для огромнаго большинства идеѣ внѣшней государственной мощи. Говоря о подчиненіи, я имѣю въ виду не внѣшнее и насильственное, а внутреннее и моральное подчиненіе, признаніе государственнаго могущества, какъ общественной цѣнности.

Обычное воззрѣніе характеризуетъ „разумное“ или „свободное“ признаніе государства, какъ „внутреннее“ „моральное“ и противопоставляетъ его „неразумному“, „внѣшнему“ и „насильственному“. Но всякое признаніе государства, какъ такового, какъ мистическаго объединенія, ирраціонально, и именно самое свободное, самое внутреннее, идущее изъ глубины души, а потому самое нравственное подчиненіе государству и раствореніе въ немъ—въ высокой степени „неразумно“.

Жизнь государства состоитъ, между прочимъ, во властвованіи однихъ надъ другими. Давно замѣчено, что власть и властвованіе устанавливаютъ между людьми такую связь которая нераціональна и сверхразумна, что власть есть своего рода очарованіе или гипнозъ. Наблюденіе это совершенно вѣрно, поскольку власть не есть просто необходимое орудіе упорядоченія общежитія, средство раціональнаго распорядка общественной жизни. Поэтому прежде всего и полнѣе всего оно примѣнимо къ власти, какъ орудію государственной мощи.

Вотъ почему мистичность власти обнаруживается такъ

ясно, такъ непререкаемо на войнѣ, когда раскрывается мистическая природа самого государства, за которое, отстаивая его мощь, люди умираютъ по приказу власти.

Мы сказали, что власть есть орудіе внѣшней мощи государства и что въ качествѣ такового, она держитъ въ подчиненіи себѣ людей. Переставая исполнять это самое важное, наиболѣе тѣсно связанное съ мистической сущностью государства назначеніе, власть начинаетъ колебаться и затѣмъ падаетъ.

Обычно въ публицистикѣ это называютъ зависимостью внѣшней политики отъ внутренней, но, конечно, въ дѣйствительности тутъ соотношеніе какъ разъ обратное тому, которое принимается вульгарнымъ воззрѣніемъ и которое должно было бы существовать, если государство сверхъ своихъ раціональныхъ элементовъ, не было бы мистично.

То, что въ новѣйшее время называютъ имперіализмомъ, есть болѣе или менѣе ясное постиженіе того, что государство желаетъ быть и—поскольку государство цѣнно для личности—должно быть могущественно.

Всякое живое государство всегда было и будетъ проникнуто имперализмомъ въ этомъ смыслѣ.

Англичане всегда были и, я думаю, останутся имперіалистами. Если подъ имперіализмомъ разумѣть заботу о внѣшней мощи государства, а подъ либерализмомъ заботу о справедливости въ его внутреннихъ отношеніяхъ, то XIX в. и начало XX в. характеризуется тѣмъ, что торжествуютъ вездѣ тѣ государства, въ политикѣ которыхъ наиболѣе полно слились и воплотились обѣ эти идеи. А внутри отдѣльныхъ государствъ надъ традиціоннымъ раціональнымъ либерализмомъ торжествуетъ весь проникнутый идеей мощи государства имперіализмъ. Беззащитный передъ судомъ „разума“ и основанной на немъ нравственности, онъ торжествуетъ потому, что за нимъ стоитъ властвующая надъ людьми

мистическая природа государства. Таково историческое значеніе Бисмарка и философскій смыслъ его дѣятельности.

II.

Національное начало тѣсно связано съ государственнымъ и раздѣляетъ съ нимъ его сверхразумный или мистическій характеръ. Такъ же какъ никакой человѣческой раціональностью или цѣлесообразностью нельзя объяснить, почему ради государства Ивану Сидорову надлежало умирать подъ Плевной, а какому-нибудь Ота Нитобе сложить свою голову подъ Портъ-Артуромъ, точно также нельзя раціональными мотивами объяснить, почему французу надлежитъ всегда оставаться французомъ, нѣмцу—нѣмцемъ, поляку—полякомъ. Въ этомъ не сомнѣваются и объ этомъ не разговариваютъ. Это тотъ „черноземъ мысли“, о которомъ говорилъ Потебня, „нѣчто, о чемъ больше не разсуждаютъ“ [1]).

Языкъ и его произведенія—самое живое и гибкое, самое тонкое и величественное воплощеніе національности, таинственно связанное съ ея таинственнымъ существомъ. Это такъ хорошо понималъ великій и стыдливый реалистъ-мистикъ Тургеневъ, величіе русскаго народа чувствовавшій въ нашемъ языкѣ. Ту же мысль въ объективно-научной формѣ высказалъ знаменитый языковѣдъ Вильгельмъ Гумбольдтъ въ предисловіи къ своему переводу Эсхилова Агамемнона: „Мнѣ всегда казалось, что тотъ способъ, какимъ въ языкѣ буквы соединяются въ слоги и слоги въ слова, и какимъ эти слова въ рѣчи сопрягаются между собою, сообразно

---

[1]) Изъ записокъ по теоріи словесности. Харьковъ, 1905 г. стр. 196.

своей длинѣ и своему тону, что этотъ способъ опредѣляетъ или указуетъ умственныя и въ значительной мѣрѣ моральныя и политическія судьбы націи“ [1]).

Вотъ почему, когда на стволѣ государственности развился языкъ, какъ органъ и выраженіе національности и ея культуры, смерть государственности не убиваетъ національности. Она стремится создать государственность, въ нѣкоторыхъ случаяхъ хочетъ создать ее въ новой, болѣе мощной формѣ (Италія), и удается ей это или нѣтъ, она во всякомъ случаѣ продолжаетъ жить и выносить самыя неблагопріятныя условія (польская національность). Идеи—въ связи съ нѣкоторыми благопріятствующими внѣшними условіями и психологическими комбинаціями—могутъ создать государственность даже помимо національнаго начала и вопреки ему. Такъ идея свѣободы, перенесенная пуританами въ лѣса Сѣвѣрной Америки, создала тамъ новую государственность. Ея высшая связь въ настоящее время заключается въ ея исторіи, т.-е. коренится въ началахъ личной свободы и общественнаго самоопредѣленія.

Съ другой стороны—соотношеніе между государствомъ и націей можетъ быть исторически совершенно иное. Итальянская и германская національность создались гораздо раньше германскаго и итальянскаго государства Нація есть, прежде всего, культурная индивидуальность, а самое государство является важнымъ дѣятелемъ въ образованіи націи, поскольку оно есть культурная сила.

Въ основѣ націи всегда лежитъ культурная общность въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ, общее культурное наслѣдіе, общая культурная работа, общія культурныя чаянія. Это было ясно еще въ классической древности, гдѣ эллинство было широкой національной идеей, не умѣщав-

---

[1]) Цитирую по *Haym*. „Wilhelm von Humboldt“. Berlin, 1856. S. 240.

шейся въ государственныя рамки. Съ успѣхами въ „мышленіи и краснорѣчіи“ Исократъ связывалъ самую идею эллинской культуры (παίδευσις): „Эллинами называются скорѣе тѣ, кто участвуютъ въ нашей культурѣ, чѣмъ тѣ, кто имѣютъ общее съ нами происхожденіе“. Нѣкоторые современные шарлатаны развязно выбросили за бортъ эту старую истину.

Цѣнность и сила націи есть цѣнность и сила ея культуры, измѣряемая тѣмъ, что можно назвать культурнымъ творчествомъ.

Всякая крупная нація стремится создать себѣ государственное тѣло. Но идея и жизнь націи всегда шире, богаче и свободнѣе идеи и жизни государства. Гете несомнѣннѣе Бисмарка, сказалъ бы Тургеневъ, какъ онъ сказалъ, что Венера Милосская несомнѣннѣе принциповъ 1789 г. Въ націи, которая есть лишь особое, единственное выраженіе культуры, нѣтъ того жесткаго начала принужденія, которое неотъемлемо отъ государства. Ибо культура и по своей идеѣ, и въ своихъ высшихъ реальныхъ воплощеніяхъ означаетъ всегда духовныя силы человѣчества въ ихъ свободномъ ростѣ и объединеніи. Національное начало мистично такъ же, какъ государственное, но съ другимъ оттѣнкомъ, болѣе мягкимъ и внутреннимъ, въ силу котораго оно безъ всякаго принужденія владѣетъ человѣкомъ.

Можно ненавидѣть свое государство, но нельзя ненавидѣть свою націю. Ненавидя ее, человѣкъ тѣмъ самымъ отъ нея отдѣляется. Сѣверо-американскіе поселенцы, возставъ противъ метрополіи, перестали быть англичанами въ смыслѣ british subjects, но не перестали быть англичанами въ смыслѣ англосаксовъ. Французы привыкли употреблять слово „нація“ въ политическомъ смыслѣ, и это объясняется національной цѣльностью населенія французскаго государства—могъ же Наполеонъ гордо сказать: les Français n'ont point de natio-

nalité, т. е. принадлежать къ французскому государству значитъ быть французомъ. И прошлое, и современная намъ эпоха свидѣтельствуютъ о томъ, что нація, какъ культурное понятіе, не укладывается въ границы понятія „государство". Государство есть продуктъ гораздо болѣе условный, менѣе органическій и потому менѣе устойчивый и могущественный, чѣмъ нація и національность. Есть вюртембергское государство, но нѣтъ вюртембергской націи. Съ большой натяжкой можно говорить о бельгійской націи, настолько общность части бельгійцевъ и французовъ въ области языка и литературы опредѣляетъ культурное ихъ единство съ французами. Австрійское государство есть великая держава, могущество которой, какъ мнѣ кажется, будетъ возрастать, но австрійской націи и австрійской культуры нѣтъ.

Своей высшей мистичности государственное начало достигаетъ имено тогда, когда сплетается и сростается съ національнымъ. Спаянныя въ нѣчто единое, эти начала съ страстной силой захватываютъ человѣка въ порывахъ патріотизма.

III.

Я сказалъ, что указаніе на мистическую природу государства ничуть не мистично. Наоборотъ, оно позитивно. Мнѣ могутъ возразить, что въ процессѣ человѣческаго развитія мистическій или, что́ то же, религіозный характеръ государственности ослабляется или вовсе отметается. Это вѣрно, но не безусловно. Съ успѣхами культуры несомнѣнно дѣлаетъ успѣхи раціонализація человѣческой жизни вообще, общественной въ частности. Но есть границы этой раціонализаціи, и нѣтъ никакихъ основаній думать, что она поглотитъ собой мистику государства и національности.

Къ государству и національности прикрѣпляется неискоренимая религіозная потребность человѣка. Въ религіи человѣкъ выходитъ изъ сферы ограниченнаго, личнаго существованія и пріобщается къ болѣе широкому, сверхъиндивидуальному бытію. Но развѣ индивидуализмъ не можетъ создать своей религіи личности, и развѣ эта религія не можетъ преодолѣть мистицизма государственности и національности?

Вопросъ можетъ показаться празднымъ въ наше время, когда индивидуализмъ получилъ такое широкое распространеніе и въ то же время далъ прежнему позитивному отрицанію государственности и національности религіозный отпечатокъ (религіозный анархизмъ). Положительный отвѣтъ на этотъ вопросъ, повидимому, самъ собой подразумѣвается.

И тѣмъ не менѣе дѣло обстоитъ вовсе не такъ просто.

Индивидуализмъ, который въ центрѣ всего ставитъ личность, ея потребности, ея интересъ, ея идеалъ, ея содержаніе, есть, какъ религія, самая трудная, самая малодоступная, самая аристократическая, самая исключительная религія. Трудно человѣку глубоко религіозному поклоняться просто человѣческой личности или человѣчеству. Индивидуализмъ, какъ религія, учитъ признавать безконечно достоинство или цѣнность человѣческой личности. Но для того, чтобы эту личность провозгласить мѣриломъ всего, или высшей цѣнностью, для этого необходимо ей поставить высочайшую задачу. Она должна вобра́ть въ себя возможно больше цѣннаго содержанія, возможно больше мудрости и красоты. И не только вобра́ть. Личность не есть складочное мѣсто. Личность, какъ религіозная идея, означаетъ воплощеніе цѣннаго содержанія, отмѣченное своеобразіемъ, или единственностью, энергіей, или напряженностью. Только индивидуализмъ, ставящій себѣ такую высочайшую задачу, можетъ быть религіозенъ. Но что означаетъ и что совершаетъ

такой религіозный индивидуализмъ? Отъ религіи государства и національности такой индивидуализмъ уводитъ человѣка, но онъ вовсе не приближаетъ его къ эмпирическимъ условіямъ человѣческаго существованія, къ пользѣ и выгодѣ отдѣльнаго человѣка или цѣлаго общества, а удаляетъ отъ нихъ въ область, еще болѣе далекую и высокую.

Это означаетъ, что такой индивидуализмъ преодолѣваетъ мистицизмъ государственности и національности не простымъ его отрицаніемъ. Въ концѣ-концовъ высшая форма отношенія къ міру есть сочетаніе въ одномъ художественно-религіозномъ, всегда личномъ и единственномъ, и всегда объективномъ и обязательномъ содержаніи величайшей способности переживать, воспроизводить въ себѣ міръ съ полной свободой отношенія ко всему въ этомъ мірѣ: „къ самому себѣ, къ своимъ предвзятымъ идеямъ и системамъ, даже къ своему народу, къ своей исторіи“,—какъ говоритъ по другому поводу Тургеневъ въ одномъ изъ своихъ безподобныхъ писемъ. Религіозный индивидуализмъ есть художественное отношеніе къ міру, въ которомъ величайшій субъективизмъ единственныхъ чувствованій соединяется съ полнѣйшимъ объективизмомъ общеобязательнаго воспріятія, мистицизмъ—съ реализмомъ, личное—съ всеобщимъ.

Объ индивидуалистѣ такого типа можно сказать опять-таки словами Тургенева объ объективномъ писателѣ, что онъ „беретъ на себя большую ношу. Нужно, чтобы его мышцы были крѣпки“.

Вотъ почему религіозный индивидуализмъ не можетъ быть ни предписываемъ, ни тѣмъ менѣе пропагандируемъ. Пропаганда и прозелитизмъ или, что́ то же, популяризація убиваетъ его. Вотъ почему въ истинныхъ своихъ представителяхъ онъ ничего не исключаетъ, кромѣ пошлости, и никому себя не навязываетъ. При всей своей свободѣ, религіозный индивидуалистъ сдержанъ и соблюдаетъ мѣру.

При всемъ своемъ мистицизмѣ онъ не только не болтаетъ цвѣтистымъ и искусственнымъ языкомъ о тайнахъ своей души, наоборотъ, живя и питаясь ими, онъ стыдливъ въ сообщеніи ихъ другимъ. Зато онъ жадной душой вбираетъ въ себя міръ и, если способенъ творить, то расточительной рукой раздаетъ собранное всѣмъ и каждому. Своей религіи онъ не выставляетъ напоказъ; если онъ художникъ, онъ можетъ въ образахъ, краскахъ и звукахъ дать ее почувствовать созвучнымъ душамъ; если онъ мыслитель, онъ можетъ ее философски оправдать; если онъ дѣятель, онъ вложитъ въ практическое дѣло всю свою убѣжденность и всю свою терпимость. Но онъ не будетъ носиться со своей религіей.

Итакъ, индивидуализмъ, какъ религія, есть самое трудное, наименѣе доступное для большинства людей, самое интимное пониманіе міра и жизни. Въ своей потребности объективнаго отношенія ко всѣмъ сторонамъ жизни онъ становится надъ государственностью и національностью и въ то же время способенъ видѣть и ихъ правду и потому не можетъ начисто ихъ отрицать.

Никто не способенъ лучше, чѣмъ религіозный индивидуалистъ, уразумѣть, что чести и величію государства можно пожертвовать жизнью своей и другихъ людей; никто не можетъ ярче почувствовать неотразимую силу національной идеи и понять, что, хотя полякамъ въ Познани „разумнѣе“ и практичнѣе становиться нѣмцами, они, любя свою національность, должны за нее бороться.

Онъ не боится признавать „предразсудокъ“, потому что онъ знаетъ не только силу, но и слабость разсудка.

Споръ съ Д. С. Мережковскимъ.

I. Первый отвѣтъ [1]).

Есть два вида полемики. Одинъ—полемика ради уничтоженія противника. Другой—полемика ради раскрытія всѣхъ схожденій и расхожденій мысли, полемика „по существу".

Въ своемъ нападеніи на меня Д. С. Мережковскій отдалъ дань и первому, и второму типу полемики.

Лучше, чтобы перваго не было... Но разъ онъ есть, то необходимъ и въ этомъ направленіи отпоръ со стороны того, кто испыталъ нападеніе. Къ тому же у полемическихъ эксцессовъ Мережковскаго есть своя хорошая сторона, о которой я скажу ниже.

Никакой ни проповѣди, ни даже оправданія „звѣрства" въ моей статьѣ не было. Я разсматривалъ проблему государственнаго могущества подъ угломъ зрѣнія государственности. Для того, чтобы это доказать, необходимо и достаточно привести то мѣсто изъ статьи „Великая Россія", въ которомъ я формулирую основной ея тезисъ:

„Можно какъ угодно разлагать государство на атомы и собирать его изъ атомовъ, можно объявить его „отношеніемъ" или системой „отношеній". Это не уничтожаетъ того факта, что психологически всякое сложившееся государство есть какъ бы нѣкая личность, у которой есть свой верховный законъ бытія.

Для государства этотъ верховный законъ его бытія гласитъ: всякое здоровое и сильное, т. е. не только юридически „самодержав-

[1]) Газета Рѣчь 1908 г. № 47 отъ 24 февраля.

ное“ или „суверенное“, но и фактически самимъ собой держащееся государство желаетъ быть могущественнымъ. А быть могущественнымъ значитъ обладать непремѣнно „внѣшней“ мощью. Ибо изъ стремленія государствъ къ могуществу неизбѣжно вытекаетъ то, что всякое слабое государство, если оно не ограждено противоборствомъ интересовъ государствъ сильныхъ, является въ возможности (потенціально) и оказывается въ дѣйствительности (de facto) добычей для государства сильнаго.

Отсюда получается девизъ, который для обычнаго русскаго интеллигентскаго слуха можетъ показаться до крайности парадоксальнымъ;

Оселкомъ и мѣриломъ всей т. н. „внутренней“ политики какъ правительства, такъ и партій долженъ служить отвѣтъ на вопросъ: въ какой мѣрѣ эта политика содѣйствуетъ т. наз. внѣшнему могуществу государства.

Это не значитъ, что „внѣшнимъ могуществомъ“ исчерпывается весь смыслъ существованія государства; изъ этого не слѣдуетъ даже, что внѣшнее могущество есть верховная цѣнность съ государственной точки зрѣнія; можетъ быть это такъ, но это вовсе не нужно для того, чтобы нашъ тезисъ былъ вѣренъ.

Но, если вѣрно, что всякое здоровое и держащееся самимъ собой государство желаетъ обладать внѣшней мощью,—въ этой внѣшней мощи заключается безошибочное мѣрило для оцѣнки всѣхъ жизненныхъ отправленій и силъ государства, и въ томъ числѣ и его внутренней политики“.

Очертивъ такими границами свой тезисъ, я не касался проблемы отношенія государства къ культурѣ и нравственности. Это и не было для меня нужно, въ виду моихъ практическихъ выводовъ. Если бы я въ своей статьѣ доказывалъ государственную необходимость угнетенія поляковъ и евреевъ,—я былъ бы обязанъ тутъ же показать какъ подобные выводы изъ моей государственной идеи относятся къ идеямъ культуры и нравственности. Но ничего подобнаго я не доказывалъ, и потому мнѣ не приходилось расширять своей темы.

Нѣтъ въ моей статьѣ ни малѣйшаго намека и на ту мысль, которую мнѣ приписываетъ Мережковскій, а именно,

что „въ преобладаніи внѣшней политики надъ внутренней, силы меча надъ силой духа, государственной мощи надъ мощью культурной заключается залогъ государственнаго величія“

Проблема государства въ окончательной своей постановкѣ соприкасается для меня въ настоящее время съ проблемой не только культуры, но и религіи. И потому „напоминанія“ Мережковскаго о „силѣ духа“ отскакиваютъ отъ меня. Они мнѣ не нужны, какъ прописи, ибо я знаю, что ни культурно-историческія, ни религіозно-философскія проблемы не выясняются и не разрѣшаются прописями. Когда Мережковскій посрамляетъ меня „зооологическимъ патріотизмомъ“, то это тоже отскакиваетъ отъ меня. Съ „зоологическимъ патріотизмомъ“ я давно сосчитался не только, какъ практическій дѣятель, но и идейно, еще въ той, посвященной памяти Владиміра Соловьева, статьѣ „Что же такое истинный національнизмъ?“ [1]), съ которой у меня связаны одни изъ самыхъ драгоцѣнныхъ, незабываемыхъ переживаній моей личной и политической жизни, въ статьѣ, которою я прощался съ родиной, отправляясь въ добровольное изгнаніе... Съ тѣхъ поръ я многое пережилъ и многому научился. И если я сталъ отчетливо понимать и ощущать, что такое государство,—то этому научила меня не „превратная эстетика чудовищнаго“, „не картонный ницшеанскій инвентарь“, а живая и пережитая мною исторія русской революціи.

Нападеніе Мережковскаго на меня, навѣрное, встрѣтитъ сочувствіе и вызоветъ даже восторгъ въ тѣхъ кругахъ, которымъ не нравится моя критика русскаго интеллигент-

1) По цензурнымъ соображеніямъ—я находился въ то время въ административной высылкѣ—она была напечатана подъ псевдонимомъ П. Борисова въ Вопросахъ философіи и психологіи за 1901 г.; перепечатана въ сборникѣ моихъ статей „На разныя темы“.

скаго сознанія, которые видятъ въ этой критикѣ „реакціонерство“ и „черносотенство“. Она увеличитъ мое духовное и политическое одиночество въ той средѣ, которую обычно зовутъ интеллигенціей. Мережковскій смѣло сближаетъ меня съ... Меньшиковымъ. Какъ ни неудобно въ практическомъ отношеніи, какъ ни тягостно подобное непосредственно-политическое и почти личное обостреніе культурно-философскаго спора, оно имѣетъ свои хорошія стороны въ идейномъ отношеніи. Имъ подчеркивается глубочайшее расхожденіе идей.

Въ статьѣ „Великая Россія, я говорилъ не только о балтійскомъ и черноморскомъ флотѣ, о сближеніи Россіи съ Англіей и т. п. Я отправлялся отъ идей. И я благодаренъ Мережковскому за его рѣзкое нападеніе, потому что оно показываетъ, что я затронулъ больное идейное мѣсто Въ самомъ дѣлѣ, суть моей статьи вовсе не въ рецептахъ внѣшней политики и не въ тактическихъ директивахъ, а въ идеяхъ.

Къ этому я и перехожу.

Мережковскій со смѣлостью, достойною всяческаго признанія, исповѣдуетъ свойственный всей русской интеллигенціи „враждебный государству духъ“ и въ свидѣтели этого духа призываетъ Лермонтова, Герцена и Льва Толстого. „Эти три столь крайнія и противоположныя точки— Лермонтовъ, Герценъ и Толстой — показываютъ всю площадь противугосударственной заразы, съ которою борется Струве: эта площадь такъ велика, что истребить заразу— значитъ истребить едва ли не всю русскую интеллигенцію“.

Страннымъ образомъ Мережковскій назвалъ людей, въ сущности, вовсе или почти вовсе не принадлежащихъ къ русской интеллигенціи“ въ культурно-философскомъ смыслѣ. Я не буду здѣсь характеризовать Лермонтова и Герцена въ въ этомъ смыслѣ. Скажу только: Лермонтовъ и Герценъ

были противогосударственниками скорѣе всего съ точки зрѣнія 3-го отдѣленія.

А Толстой, вѣдь онъ не только отрицаніе государственности, онъ—воплощенное отрицаніе и русской „интеллигенціи".

Для русской „интеллигенціи"—въ другомъ мѣстѣ я покажу это подробно—характерно противогосударственное отщепенство, но отщепенство безрелигіозное и во имя о б щ е с т в е н н о с т и. Толстой же р е л и г і о з н о отрицаетъ государство, во имя л и ч н а г о подвига, отвергая общественность.

Въ этомъ огромная, неизмѣримая разница между русской „интеллигенціей" и Толстымъ. Съ легкой руки Владиміра Соловьева, Волжскаго, Мережковскаго религіозность русской революціонной „интеллигенціи" стала общимъ мѣстомъ, но не сдѣлалась отъ этого истиной.

Религіозности у „интеллигенціи" не можетъ быть внѣ религіозныхъ идей. Религіозныхъ идей у русской „интеллигенціи" никогда не было. Религіозность русской революціонной „интеллигенціи" есть благочестивая легенда. „Враждебный государству духъ" питается у Толстого и у самого Мережковскаго изъ религіозныхъ источниковъ. Но у русской-то „интеллигенціи" этотъ духъ лишенъ всякаго религіознаго питанія. Поэтому-то онъ такъ безпомощенъ, убогъ и противокультуренъ. Мережковскій—повторяю—самъ идейно стоитъ внѣ русской „интеллигенціи". Болѣе того, онъ самъ—„истребляетъ" ее. Ибо въ чемъ его мечта и жизненное дѣло? Въ томъ, чтобы привить русской „интеллигенціи" религію. Ну, а если есть въ Россіи „фантастичнѣйшая сказка, отвлеченнѣйшая утопія", такъ это мечта—привить русской „интеллигенціи" религію, не истребивъ идейно „интеллигенцію". Религіозная „интеллигенція" есть твердая жидкость, contradictio in adjecto. Возможны разные компромиссы, но не такіе.

Безрелигіозное противогосударственное отщепенство выступаетъ въ духовной исторіи русской „интеллигенціи“ въ двухъ формахъ: какъ абсолютное и какъ относительное. Въ абсолютномъ видѣ оно является въ анархизмѣ, въ отрицаніи государства и всякаго общественнаго порядка, какъ таковыхъ (Бакунинъ и кн. Кропоткинъ). Относительнымъ это же отщепенство является въ разныхъ видахъ русскаго революціоннаго радикализма, къ которому я отношу прежде всего разныя формы русскаго соціализма. Исторически это различіе между абсолютнымъ и относительнымъ отщепенствомъ несущественно (хотя анархисты на немъ настаиваютъ) ибо принципіальное отрицаніе государства анархизмомъ есть нѣчто въ высокой степени отвлеченное, такъ же, какъ принципіальное признаніе необходимости общественной власти (т. е., въ сущности государства) революціоннымъ радикализмомъ носитъ тоже весьма отвлеченный характеръ и стушевывается передъ враждебностью къ государству во всѣхъ его конкретныхъ опредѣленіяхъ. Поэтому въ извѣстномъ смыслѣ марксизмъ съ его ученіемъ о классовой борьбѣ и о государствѣ, какъ организаціи классоваго господства, былъ какъ бы обостреніемъ и завершеніемъ интеллигентскаго противогосударственнаго отщепенства [1]).

Присоединяя себя къ „враждебному государству духу“. проникающему русскую революціонную общественность, Мережковскій вмѣстѣ съ ней становится передъ тупикомъ. Государстоо есть важнѣйшее орудіе созданія культуры въ общественной формѣ.

Съ точки зрѣнія общественной культуры самое пресдолѣніе государства мыслимо только въ формахъ государства

---

1) Приписка къ отдѣльному изданію. Это мѣсто было мною заимствовано изъ написанной въ 1907 г. статьи, которая потомъ вошла въ сборникъ „Вѣхи“ и перепечатывается ниже.

Враждебность интеллигенціи къ государству есть психологически величайшій тормазъ развитія культуры.

Въ этой враждебности, приравнивающей „государство“ къ „начальству“ и отечество къ „его превосходительству“, „государственное начало“ къ „старому“ или „существующему порядку“ сказывается рабья психологія, образовавшаяся въ невольной отчужденностя отъ государства, которая стала привычнымъ, нормальнымъ, единственнымъ „приличнымъ“ къ нему отношеніемъ. Это — въ то же время полицейская психологія навыворотъ.

Толстой на почвѣ своего внѣисторическаго противогосударственнаго міровоззрѣнія вполнѣ правъ, отрицая государство. Но, какъ Мережковскій, прославляющій и проповѣдующій общественность, можетъ это дѣлать? Этого я не понимаю. Отрицаніе государства есть программа либо „недѣланія“, либо разрушенія, но не культурнаго творчества.

Пусть отреченіе Мережковскаго отъ родины не есть бутада банальнаго радикализма,—во всякомъ случаѣ, это не общественная программа, а личный вопль политическаго и культурнаго безсилія. Этому воплю я противопоставляю строгія и мужественныя слова Тургенева, вложенныя имъ въ уста Лежнева:

„Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ, двойное горе тому, кто, дѣйствительно, безъ нея обходится. Космополитизмъ—чепуха, космополитъ—нуль, хуже нуля; внѣ народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ. Безъ физіономіи нѣтъ даже идеальнаго лица; только пошлое лицо возможно безъ физіономіи“.

Возражая мнѣ, Мережковскій все танцуетъ отъ печки „существующаго“ или „стáраго порядка“. Но вѣдь въ томъ-то и центръ моихъ разсужденій, что „враждебный государ-

ству духъ" „интеллигенціи" есть порожденіе „стараго порядка". И оба они живы лишь другъ другомъ.

„Всечеловѣчность" русской интеллигенціи, въ которую такъ вѣритъ Мережковскій, восторжествуетъ, по его ученію [1]), тогда, когда Россія вовлечетъ старый западный міръ въ свою „абсолютную" и „универсальную" революцію.

Все это старая революціонная перелицовка славянофильства и его мессіанизма.

Перефразируя Мережковскаго, я скажу: меня, стараго западника, на этой славянофильской мякинѣ не проведешь.

Я западникъ и потому—націоналистъ.

Я западникъ и потому—государственникъ.

При всемъ моемъ націонализмѣ, я настолько уважаю религію и государство, что Оливера Кромвеля ставлю выше Стеньки Разина и Карлейля выше Бакунина. Мнѣ даже стало неловко отъ сравнительной степени, мною употребленной при сопоставленіи этихъ именъ.

Мережковскій изливаетъ моральное негодованіе и иронію на то, что я якобы „благоговѣю" передъ „величіемъ" Бисмарка. У насъ принято въ широкой публикѣ считать Бисмарка „хищникомъ", а Чемберлэна — прямо „мошенникомъ". Боюсь, что Мережковскій близокъ къ такому историческому пониманію, хотя ему и чужда та наивно-націоналистическая точка зрѣнія, съ которой производятся подобныя оцѣнки. Для меня „величіе" Бисмарка есть въ извѣстномъ смыслѣ историческій фактъ, и, я думаю, что Мережковскій лучше понималъ бы этотъ фактъ, если бы

---

[1]) Изложенному имъ—совмѣстно съ З. Н. Гиппіусъ и Дм. В. Философовымъ—въ ихъ французской книжкѣ, о которой въ „Рѣчи" уже писалъ А. С. Изгоевъ.

сквозь „хищничество“ Бисмарка разсмотрѣлъ его религію. Ея хватило бы на милліонъ Бакуниныхъ. Историческое величіе Бисмарка остается фактомъ, хотя бы мы къ его имени приписали слово „хищникъ“ или даже „Звѣрь“ съ большой буквы. „Всѣ мировые хищники,—пишетъ Мережковскій,—оказывались желѣзными колоссами на глиняныхъ ногахъ“. Для политической оріентировки въ дѣлахъ современности слѣдовало бы условиться только, кого признавать „хищниками“. Если—какъ это часто принято опять-таки въ широкой публикѣ, гдѣ банальный радикализмъ идетъ рука объ руку съ наивнымъ націонализмомъ—„міровыми хищниками“ считать Германію (Бисмарка) и Англію (Чемберлэна), то я бы—въ порядкѣ „феноменальномъ“, а не „ноуменальномъ“, или апокалиптическомъ—предостерегалъ бы отъ вѣры въ глиняный составъ ногъ этихъ колоссовъ.

Идеи Мережковскаго — послѣдняя яркая вспышка славянофильства и въ то же время послѣдній идейный якорь русскаго революціонизма.

Далеко заброшенъ этотъ якорь: въ христіанскій апокалипсисъ. Есть что-то трогательно дѣтское въ этомъ сочетаніи апокалипсиса и революціоннаго соціализма. Это самая художественная и въ то же время самая дѣтская, самая наивная форма славянофильства и революціонизма. По точности методовъ и осторожности Герценъ, въ сравненіи съ Мережковскимъ, какой-то Ньютонъ, Бакунинъ—какой-то Дарвинъ. Долженъ сознаться, апокалиптическихъ теорій Мережковскаго о русской революціи я на французскомъ языкѣ не могъ читать безъ улыбки. Блестящій русскій стиль скрадываетъ наивность мысли. Переводъ убиваетъ стиль, и дѣтскость мысли забавно выступаетъ наружу.

Въ то же время Мережковскій и его друзья живо чувствуютъ и чтутъ культуру. Мережковскій, одинъ изъ самыхъ

„воспитанныхъ“ русскихъ писателей, весь пропитанъ культурой. Это—несмотря на весь апокалиптическій революціонизмъ вчерашняго мистическаго поклонника самодержавія—сближаетъ Мережковскаго съ нами, „ка-детами“, „либералами“, „умѣренными“.

Марксистъ Невѣдомскій [1]) съ великолѣпнымъ, истинно „классовымъ“ чутьемъ въ сотрудничествѣ Мережковскаго въ „ка-детскихъ“ изданіяхъ усмотрѣлъ молчаливый „контръреволюціонный“ заговоръ; офиціозная „Россія“, наоборотъ, можетъ быть, въ томъ же фактѣ завтра усмотритъ заговоръ „революціонный“. Пусть оба лагеря успокоятся. Насъ съ Мережковскимъ и людьми подобнаго типа сближаетъ одинъ только заговоръ—заговоръ въ защиту культуры. Эта тяга къ культурѣ заставила Мережковскаго найти на Западѣ „праведное, мудрое, доброе, с в я т о е мѣщанство“, и возвысить голосъ въ его защиту противъ стараго русскаго „варварства“ и, „новаго русскаго хулиганства“ [2]). Такъ уваженіе къ культурѣ сбиваетъ Мережковскаго съ его славянофильской позиціи. И, если бы онъ къ „соціально-славянофильской брагѣ“ [3]) Герцена не примѣшалъ еще болѣе опьяняющей апокалиптической эссенціи, онъ самъ былъ бы просто „добрымъ европейцемъ“ изъ сословія „святыхъ мѣщанъ“ и хорошимъ русскимъ... западникомъ.

Да, такова логика идей и игра исторіи. Самодержавіе протянуло жизнь и славянофильству, и революціонизму. И до сихъ поръ оно ихъ поддерживаетъ и создаетъ новыя ихъ сочетанія.

Тургеневъ въ 1867 г. писалъ Герцену: „Дай Богъ про-

---

1) См. С о в р е м е н н ы й М і р ъ, февраль. 1908 г.

2) См. Р ѣ ч ь отъ 11 февраля 1908 г.

3) Выраженіе Тургенева въ его письмѣ къ Герцену отъ 8 ноября 1862 г.

жить тебѣ сто лѣть и ты умрешь послѣднимъ славянофиломъ". Теперь Герцену было бы почти сто лѣтъ. Я, въ 1908 г., желаю Мережковскому тоже прожить сто лѣтъ, но въ такомъ случаѣ ручаюсь, что онъ умретъ не славянофиломъ, и перестанетъ въ Великой Россіи и въ русской государственности видѣть — волка. Конечно, если онъ будетъ не только жить, но и переживать исторію.

II. Кто изъ насъ „максималистъ"? [1])

Нѣкоторые итоги спора.

Мы не можемъ убѣдить другъ друга. Но зато мы могли бы обозначить для читателя свои позиціи съ полной ясностью, не допускающей никакихъ сомнѣній. Къ сожалѣнію, отвѣтъ Мережковскаго снова запутываетъ и затемняетъ истинное соотношеніе нашихъ идейныхъ позицій. Конечно, не намѣренно, а въ силу неспособности Мережковскаго понять иное отношеніе къ вещамъ, кромѣ „максималистскаго".

Поэтому, вмѣсто того, чтобы признаться въ своемъ религіозно-общественномъ максимализмѣ, онъ мнѣ приписываетъ максимализмъ „религіозно-государственный". Самъ онъ, правда, чувствуетъ какую-то неувѣренность въ этомъ и какъ будто готовъ признать меня не максималистомъ, а прямой противоположностью такого типа, скептикомъ. Но возражаетъ онъ мнѣ, какъ религіозно-государственному максималисту. Иронію мою насчетъ Бисмарка, какъ „Звѣря съ большой буквы", онъ, очевидно, не понялъ какъ не понялъ и того, что моя точка зрѣнія не требуетъ вовсе „преклоненія" ни передъ какими идолами Бога или Звѣря.

[1]) Газета Рѣчь 1908 г. № 66 отъ 18 марта.

Мережковскій, при всемъ своемъ замѣчательномъ историческомъ образованіи, при всей своей художественной интуиціи отдѣльныхъ историческихъ эпохъ, какъ настоящій религіозно-общественный максималистъ, вѣрующій въ апокалипсисъ, неспособенъ ощущать исторію и мыслить исторически. Онъ вѣритъ въ измѣненія катастрофами, скачками, разрывами. Въ этихъ разрывахъ: революція—реакція, Богъ—Звѣрь противопоставляются другъ другу съ остротой отвлеченныхъ понятій, между которыми не можетъ быть никакого иного отношенія, кромѣ противоборства. „Превратить реакцію въ революцію сверху—это такое же чудо, какъ превратить камни въ хлѣбъ, змѣю въ рыбу". Отрицаніе „чуда" странно звучитъ въ устахъ Мережковскаго. Но по существу гораздо важнѣе, что исторія полна такими „чудесами", которыя отрицаетъ Мережковскій. И г. Столыпинъ—пусть онъ просто напросто реакціонеръ, водворяющій старый порядокъ—былъ бы величайшимъ чудотворцемъ, если бы онъ могъ предотвратить ходъ вещей въ такомъ направленіи. Я не считаю г. Столыпина чудотворцемъ. Величіе Бисмарка состояло именно въ томъ, что онъ съ геніальной смѣлостью и мощью превратилъ реакцію въ революцію сверху. Но такія „чудеса" — безъ всякихъ геніальныхъ людей—съ исторической неизбѣжностью совершались и будутъ совершаться постоянно въ творческомъ процессѣ живой исторіи народовъ. Манифестъ объ освобожденіи крестьянъ былъ optima forma изданъ впервые 31 іюля 1774 года Емельяномъ Ивановичемъ Пугачевымъ. Это былъ актъ несомнѣнно революціонный, за которымъ въ исторіи послѣдовала жестокая реакція, длившаяся почти сто лѣтъ, пока манифестомъ 19 февраля 1861 г. эта реакція не превратилась въ революцію сверху. Я думаю, что никакая революція сверху не совершается безъ революціи

снизу, но, съ другой стороны, никакая революція снизу ни къ чему не приводитъ, не захвативъ верховъ.....

Пусть исторія требуетъ для разрѣшенія и завершенія своихъ процессовъ мучительно-долгихъ сроковъ. Но и апокалипсиса пока еще не обѣщаютъ намъ безъ всякихъ сроковъ; до сихъ поръ онъ заставлялъ себя ждать и въ своей богоматеріалистической и даже въ своей соціалистической версіи: ни конца міра вообще, ни конца міра буржуазнаго еще не видится.

Я прекрасно вижу, что пониманіе государства какъ „соборной личности“ связано съ теоретическими и практическими опасностями; эти опасности указаны въ моей статьѣ „Въ чемъ же истинный націонализмъ?“ [1]). Но все-таки это пониманіе правильное и плодотворное, и изъ-за опасностей, съ нимъ связанныхъ, нельзя живую ткань государства, отъ колыбели до могилы объемлющую личность и несомнѣнно питающуюся глубочайшими религіозными переживаніями, превращать въ мертвое орудіе, въ безжизненный механизмъ. Это то варварское противоорганическое и противоисторическое воззрѣніе, на которое еще въ 1800 г. съ такимъ паѳосомъ возсталъ въ своихъ „Монологахъ“ Шлейермахеръ. Конечно, культура и національность не создаются только государственностью. Но многіе драгоцѣннѣйшіе плоды культуры и національности выросли именно на стволѣ государственности.

Отрицаніе государства Мережковскимъ апокалиптично и максималистично; мое признаніе гтсударства исторично и органично. Совершенно вѣрно, что соотношеніе между государственностью и культурой чрезвычайно сложно. Но развѣ можно сказать, что македонская государственность просто понизила уровень эллинской культуры? Ясно, кажется,

---

[1]) Въ сборникѣ „На разныя темы“.

что македонская государственность была повивальной бабкой универсальной фазы эллинской культуры, эллинизма.

А христіанство есть если не болѣе, то столько же твореніе этой фазы эллинской культуры, сколько и еврейской. „Шиллеръ и Гете невозможны послѣ Бисмарка въ объединенной Германіи". Почему? Только потому, что они вообще не могутъ повториться. Но Германія Бисмарка дала Вагнера и Ницше. Важнѣе однако для исторической оцѣнки связи между культурой и государствомъ то, что Бисмаркъ и объединенная Германія были невозможны безъ Гете, Шиллера, Канта, Фихте, Вильгельма ф. Гумбольдта и Гегеля, безъ романтики, что великая національная культура духовно предвосхитила и подготовила великое государственное объединеніе, что германское „Weltbürgertum" есть материнское лоно національно-государственной идеи. „Ангелы" культуры родили „Звѣря" государственности. Такова исторія. Религіозный мессіанизмъ всечеловѣческаго, универсалистическаго характера былъ воспріемникомъ итальянскаго націонализма и итальянскаго объединенія (Джіоберти). Если государственность несущественна для культуры и націонализма, то чѣмъ Мережковскій объяснитъ жгучую „тоску по государству" безгосударственныхъ національностей, нѣмцевъ и итальянцевъ до объединенія, а въ наше время поляковъ? Культура универсальнѣе государственности; національность мягче ея. Но отношеніе между ними не есть отношеніе ни антагонизма, ни механическаго подчиненія. Кн. Е. Н. Трубецкой *). уже указалъ Мережковскому, что „всечеловѣчность" и признаніе національнаго начала, сочетающагося съ государственностью, не противорѣчатъ другъ другу.

Универсализмомъ, идеей объективнаго всемірно-историческаго призванія одухотворенъ и столь часто поносимый

---

[1]) Московскій Еженедѣльникъ, № 11. 1908 г.

англійскій имперіализмъ, который, вопреки мнѣнію кн. Трубецкого, въ общемъ и цѣломъ есть движеніе прогрессивное и проникнутое идеализмомъ.

Я хорошо знаю, что „Апокалипсисъ сочетался съ революціей“ у солдатъ Кромвеля. Но тутъ опять-таки въ исторіи „Богъ“ родилъ „Звѣря“ или даже прямо „Богъ“ трудился для „Звѣря“—я говорю о “Богѣ“ и „Звѣрѣ“ съ точки зрѣнія Мережковскаго. Изъ пуританскаго духа англійской революціи—какъ это съ поразительной ясностью показалъ въ своихъ замѣчательныхъ изслѣдованіяхъ Максъ Веберъ—родился капиталистическій духъ и экономическая дисциплина англійской буржуазіи, а Кромвель былъ творцомъ „Великой Британіи“ и ея военно-морского могущества.

Ясно, что съ апокалиптическими категоріями „Богъ“—„Звѣрь“, которыми орудуетъ Мережковскій, нельзя подступиться ни къ одному историческому явленію. А потому—при помощи этихъ категорій — нельзя понимать и оцѣнивать и живыхъ, совершающихся при нашемъ участіи, процессовъ исторіи.

Въ спорѣ Мережковскаго со мною апокалиптическое и отвлеченное пониманіе противостоитъ пониманію историческому и живому.

Но этимъ не исчерпывается наше разногласіе. Оно идетъ еще глубже. Мы разную носимъ въ себѣ религію. Мы разно понимаемъ религію и разно ощущаемъ Бога. Апокалиптическая религія основана на вѣрѣ въ сверхъестественую матеріализацію Царства Божія. Это тотъ христіанскій „богоматеріализмъ“, который въ Россіи философски основанъ Владиміромъ Соловьевымъ. Но есть другая религія, которая изъ христіанства взяла въ качествѣ основной, опредѣляющей мысли: „Царство Божіе внутри васъ есть“. Это разное пониманіе религіи опредѣляетъ различное отношеніе къ русской революціи и „интеллигенціи“. Съ ре-

волюціей и интеллигенціей Мережковскаго и субъективно-психологически, и объективно-догматически связываетъ тотъ матеріализмъ, который заключенъ въ его богоматеріалистической религіи. На мѣсто болѣе скромной соціально-экономической фееріи капиталистическаго Zusammenbruch'a, вѣрой въ которую живутъ соціалисты, онъ лишь ставитъ роскошную космическую феерію христіанскаго апокалипсиса. Но то иное, „внутреннее" пониманіе религіи не знаетъ вѣры ни въ какія фееріи, ни въ соціально-экономическую, ни въ апокалиптическую. Поэтому, какъ это ни странно, оно гораздо ближе къ подлинному мистицизму, чѣмъ богоматеріализмъ. Ибо мистицизмъ состоитъ въ прикосновеніи къ тайнѣ, а не въ раскрытіи ея, не въ матеріальномъ и всецѣломъ овладѣніи ею. Богоматеріализмъ развертываетъ религію въ матеріализованные догматы, мистицизмъ таитъ ее въ интимныхъ переживаніяхъ. Міръ объятъ тайной, но ее никто не можетъ преподнести мнѣ ни на какомъ апокалиптическомъ блюдѣ. Поэтому мистицизмъ всегда сродни тому, что всяческій догматизмъ, и въ томъ числѣ богоматеріализмъ, едва ли не презрительно именуетъ скепсисомъ: великіе тому примѣры въ литературѣ свободные отъ догматизма мистики — Гете и Тургеневъ. Подлинный мистицизмъ отличается тѣмъ, что есть нѣкоторая моральная аналогія здороваго умственнаго скепсиса: стыдливостью и мѣрой. Это необходимо подчеркнутъ въ наше время, когда именемъ мистицизма прикрываются безстыдство и наглая чрезмѣрность.

Философскій итогъ нашего спора можно формулировать такъ: апокалипсисъ противъ исторіи, богоматеріализмъ противъ мистицизма. Два различныя пониманія историческаго процесса и религіи стоятъ одно противъ другого. Между ними не можетъ быть никакого идейнаго примиренія.

Я не буду опровергать воззрѣнія Мережковскаго на русское государство, какъ на „полупризрачное тѣло химеры“. Воззрѣніе это, какъ общая формула, столь неисторично, что противъ него не стоитъ и спорить. Въ этомъ воззрѣніи, конечно, выражается не „химеричность“ самого русскаго государства, а лишь глубокій противогосударственный или негосударственный духъ, разлитой въ русскомъ обществѣ. Согласенъ, что этотъ духъ — огромная реальная опасность для самаго бытія государства. Готовъ допустить, что онъ разлитъ не только въ образованномъ обществѣ но и въ народныхъ массахъ. Отсюда, однако, для меня вытекаетъ лишь еще бо̀льшая обязанность проповѣдывать идею „Великой Россіи“ и работать надъ ея созиданіемъ. Вѣдь и самая государственность, если ее понимать не механически, а органически, есть лишь общественное воплощеніе другой болѣе общей идеи: идеи дисциплины. А безъ дисциплины невозможна культура.

Что касается печи Навуходоносора, то я не желаю сажать Россію ни въ какую печь. Но въ случаѣ эмпирическаго осуществленія апокалиптической программы Мережковскаго дѣло не обойдется безъ „огненной печи“. Недаромъ „бѣлое каленіе въ мистикѣ даетъ красное каленіе въ политикѣ“. А послѣднее неизбѣжно дастъ „бѣлое каленіе“ уже снова и въ „политикѣ“.

И со „сковороды“ такимъ порядкомъ мы попадемъ въ цѣлое пекло или даже въ послѣдовательныя пекла разныхъ степеней каленія.

Основная ошибка Мережковскаго заключается въ томъ, что онъ ведетъ споръ сразу въ двухъ плоскостяхъ: въ плоскости конечныхъ философскихъ вопросовъ и въ плоскости текущей политики, въ плоскости „Бога—Звѣря“ и въ плоскости... г. Столыпина. Большинству читателей Мережковскаго доступна и интересна только вторая плоскость.

Апокалиптическія чаянія и предвидѣнія Мережковскаго имѣютъ для этихъ читателей только эмпирическій, практически-политическій смыслъ и „вкушаются“ ими только съ этой точки зрѣнія (см. разныя „Свободныя Мысли“ и т. п.). Но эмпирическое осуществленіе какой бы то ни было революціи только отодвигаетъ во времени, а не устраняетъ тѣ политическія и культурныя проблемы, которыя я выдвинулъ въ своей статьѣ.

Проблема „Великой Россіи“ станетъ въ извѣстномъ смыслѣ еще несомнѣннѣе и рѣзче передъ сознаніемъ русской націи, когда исчезнетъ политическая злоба текущаго дня.

Споръ мой съ Мережковскимъ ведется, конечно, не объ „его превосходительствѣ“, а объ „отечествѣ“, не о г. Столыпинѣ, а о русскомъ государствѣ. Кстати, формула „Великая Россія“ взята въ моей статьѣ изъ рѣчи г. Столыпина, но если она откуда-нибудь мною дѣйствительно заимствована, какъ лозунгъ, то вовсе не изъ этой рѣчи, а изъ книги англичанина Сили „Расширеніе Англіи“, изданной еще въ 1903 г. въ русскомъ переводѣ по моей иниціативѣ 1). Эти классическія лекціи кембриджскаго профессора-историческое евангеліе англійскаго имперіализма, оказали на родинѣ автора огромное вліяніе на умы. У насъ онѣ—въ эпоху успѣха разной макулатуры и полумакулатуры — залежались въ книжномъ складѣ издательства и даже въ переводѣ извѣстны только немногимъ спеціалистамъ...

Но если споръ идетъ не о начальствѣ текущаго дня, не о министрѣ внутреннихъ дѣлъ, а о русскомъ государствѣ и, въ конечномъ счетѣ, о государствѣ вообще, то кто же изъ насъ „максималистъ“? Тотъ ли, кто, какъ Мережков-

---

1) Изданіе О. Н. Поповой, переводъ В. Я. Герда подъ редакціей В. А. Герда.

скій, въ государствѣ видитъ „Звѣря“, или тотъ, для кого, какъ для меня, государство есть великая культурная сила, въ борьбѣ за которую, средствами которой нація упорнымъ, дисциплинированнымъ трудомъ подымается съ одной ступени историческаго бытія на другую?

Современное международное положеніе подъ историческимъ угломъ зрѣнія [1]).

Русское общество въ послѣднее время стало обнаруживать интересъ къ внѣшней политикѣ, и этотъ интересъ носитъ въ значительной мѣрѣ иной характеръ, чѣмъ былыя увлеченія освобожденіемъ славянъ. Правда, эти увлеченія снова всплыли, но современная обстановка, и внутренняя и внѣшняя, настолько отличается отъ 70-хъ годовъ, что въ старыя формы облекается новое содержаніе и съ одинаковыми словами сопрягается различный смыслъ.

Съ начала XVII вѣка—если не забираться далѣе въ глубь—судьбы міра и въ особенности его восточнаго полушарія вращаются около одного основного пункта. Это—взаимоотношеніе между континентомъ и единственной островной державой Европы, Англіей.

Со временъ борьбы за американскую независимость Англія не была ни разу побѣждена, и ея государственное могущество непрерывно возрастало. Пока только англосаксы—въ лицѣ англо-американскихъ колонистовъ—могли побѣдоносно противостоять Англіи. Новая Англія побѣдила старую и воздвигла новое мощное государственное зданіе

[1]) Русская Мысль, 1909 г. II.

Но изъ этого пораженія старая Англія въ сущности вышла обновленной и окончательно развернулась въ Великую Британію, въ Британскую Имперію.

Въ началѣ XIX вѣка взаимоотношеніе между континентомъ и Англіей достигаетъ наивысшаго драматизма. Какъ политическая сила, возрождается послѣ революціи Франція, и начинается титаническая борьба между Британіей и революціонно-имперіалистской Франціей. Въ настоящее время не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что эта борьба была состязаніемъ двухъ имперій и двухъ имперіализмовъ. Въ обычномъ представленіи и пониманіи рѣшающихъ событій той эпохи, въ особенности среди русской публики, Наполеонъ и Александръ, Франція и Россія, выступаютъ, какъ самые сильные, самые яркіе образы этого разыгрывающагося на міровой сценѣ противоборства. Но какъ это, быть можетъ, ни обидно звучитъ для нашего патріотизма, въ томъ, опредѣлившемъ всю послѣдующую исторію Европы, состязаніи не Александръ и не Россія противостояли Наполеону и Франціи, какъ равноцѣнныя силы. Боролись Франція и Англія, а Россія была объектомъ и орудіемъ въ великомъ противоборствѣ другихъ силъ [1]). Континентальная гегемонія Франціи была сломлена, и съ нею отпалъ основной мотивъ для острой вражды между Англіей и Франціей. Даже возрожденіе французскаго имперіализма въ эпоху второй Имперіи уже неспособно было угрожать Англіи и ея могуществу. Наполеонъ III былъ не только авантюристомъ, онъ былъ мечтателемъ и романтикомъ; въ качествѣ такового, онъ былъ неопасенъ Англіи.

Въ XIX вѣкѣ англичанами овладѣваетъ съ гипниотческой силой страхъ передъ русской опасностью. Сразивъ и добивъ при помощи русской арміи Наполеона, англичане

---

[1]) Извѣстный историкъ Александра I генералъ Шильдеръ въ сущности такъ и понимаетъ дѣло.

почувствовали страхъ передъ своимъ союзникомъ въ этомъ рѣшающемъ всемірно-историческомъ состязаніи. Въ сущности то были старыя чувства. Въ XVIII вѣкѣ англичане презирали русскихъ, какъ варваровъ, и, имѣя въ виду свою „левантскую“ торговлю, подозрительно смотрѣли на неудержимое стихійное, экономическое и политическое, расширеніе Россіи на югъ, на захватъ ею всего сѣвернаго побережья Чернаго моря. Въ 60-хъ годахъ XVIII вѣка екатерининскіе дипломаты, ведшіе съ англійскими государственными дѣятелями переговоры о союзѣ между Россіей и Англіей, тщетно старались убѣдить англичанъ, что при заключеніи этого союза русско-турецкая война должна быть обязательно признана за casus foederis [1]). Въ этомъ расхожденіи взглядовъ на Ближній Востокъ, ясно обозначившемся уже въ XVIII в., заключалась вся позднѣйшая англо-русская вражда, закончившаяся крымской кампаніей и вмѣшательствомъ Англіи въ ликвидацію войны 1877—1878 г. Въ отличіе отъ англо-французской вражды у вражды англо-русской реальныхъ основаній никогда не было. Тутъ дѣйствовало сильнѣйшее психологическое отталкиваніе, обусловленное цѣлымъ рядомъ причинъ. Любопытно, что рядомъ съ политической враждебностью, періодически характеризующей отношенія Россіи и Англіи въ XVIII в., идетъ тѣснѣйшая экономическая связь, выражающаяся въ тщательномъ культивированіи торговыхъ отношеній, закрѣпляемыхъ торговыми трактатами, создающими для англійскихъ торговцевъ привилегированное, почти монопольное положеніе въ Россіи и впервые въ русской торгово-политической практикѣ устанавливающими дифференціальное таможенное обложеніе товаровъ одной страны.

Какъ бы то ни было, послѣ ликвидаціи наполеоновскаго

---

1) Ср. „Собраніе трактатовъ и конвенцій“, изд. Мартенсомъ т. IX (X).

владычества почти весь XIX вѣкъ заполненъ англо-русской враждой. Она не только нераціональна, она прямо является какимъ-то темнымъ и затемняющимъ сознаніе чувствомъ, но въ то же время это—реальная сила, на которую русское государство наталкивалось вплоть до японской войны.

Въ англійской политической жизни, конечно, и въ XVIII вѣкѣ, и въ XIX вѣкѣ всегда давала себя знать „руссофильская" струя и тенденція, связанная въ особенности съ именами, славными въ исторіи англійскаго либерализма. Достаточно назвать Фокса, бюстъ котораго, по порученію императрицы Екатерины [1]), искалъ купить русскій посланникъ, Ричарда Кобдена, руссофильство котораго вызывало неистовыя нападки противъ него Карла Маркса на англійскомъ языкѣ [2]), Джона Брайта и, наконецъ, Вилліама Гладстона. Но это руссофильство всетаки въ общемъ и цѣломъ пасовало передъ руссофобствомъ. И только самое новѣйшее время принесло рѣшительный поворотъ въ англійской политикѣ. Многіе англичане теперь видятъ, что продиктованная враждебностью къ Россіи англійская политика ослабленія Россіи, которою характеризуется весь XIX вѣкъ была ошибочной, что расширеніе Россіи никогда не противорѣчило жизненнымъ интересамъ Англіи, и что теперь приходится жалѣть о политической слабости Россіи.

Россія казалась Англіи послѣ паденія Наполеона и вознесенной имъ Франціи самымъ сильнымъ соперникомъ въ мірѣ. И на самомъ дѣлѣ, въ царствованіе Николая I и Александра II (въ особенности послѣ крушенія второй Имперіи) Россія была самой сильной изъ тѣхъ слабыхъ

---

[1]) Ср. „Собраніе трактатовъ и конвенцій, заключенныхъ Россіею съ иностранными державами", изд. Мартенсомъ, т. IX (X), стр. 352.

[2]) Ср. сборникъ его англійскихъ статей по восточному вопросу: „The Eastern question", London. 1897, pp. 232—236.

*

экономически и культурно державъ, съ которыми приходилось тогда считаться Англіи.

Въ наше время создалось совершенно другое положеніе. Франція размежевалась окончательно съ Англіей и обладая очень значительными колоніальными владѣніями, съ которыми колоніи Германіи не могутъ итти ни въ какое сравненіе, всетаки рядомъ съ Британской имперіей есть держава слабая. Населеніе ея не растетъ; экономически она въ значительной мѣрѣ замкнулась въ себѣ, будучи, однако, неспособна монополизировать въ своихъ рукахъ эксплоатацію своихъ колоніальныхъ богатствъ, Россія ослаблена по всѣмъ статьямъ.

Зато на континентѣ явилась сила, которая работаетъ другими методами, въ другой обстановкѣ, съ другими традиціями, чѣмъ наполеоновская Франція. Но соотношеніе между нею и Британской Имперіей поразительно напоминаетъ соотношеніе между Англіей и наполеоновской Франціей въ эпоху титанической борьбы конца XVIII и начала XIX вѣка.

Это указаніе не принадлежитъ пишущему эти строки: его дѣлаетъ извѣстный берлинскій историкъ Гансъ Дельбрюкъ [1]) въ рецензіи на второе изданіе біографіи Наполеона I, принадлежащей перу другого берлинскаго историка Макса Ленца [2]). Въ чемъ слѣдуетъ видѣть источникъ борьбы Наполеона съ Англіей? „Мы знаемъ это теперь; всѣ его позднѣйшія войны съ Австріей, съ Россіей, съ Пруссіей, съ Испаніей суть не порожденія ненасытимой жажды могущества, нѣтъ, каждый конфликтъ съ необходимостью

---

1) Ср. „Preussische Jahrbücher. Januar.“ 1909, S 144—147 и его же политическое обозрѣніе. тамъ же, стр. 163—182.

2) *Max Lenz.* „Napoleon“. Zweite verbesserte Auflage. (Monographien zur Weltgeschichte, herausgeg. von Heyck), Bielefeld u. Leipzig, 1908.

раждается изъ другого и все въ концѣ-концовъ приводитъ къ возобновленію войны съ Англіей въ 1803 г., источникъ которой лежитъ въ соперничествѣ англичанъ и французовъ изъ-за владычества на моряхъ".

„Ничто не можетъ—продолжаетъ Дельбрюкъ — быть болѣе поучительнымъ въ смыслѣ болѣе глубокаго проникновенія въ кризисъ, который мы переживаемъ теперь въ Европѣ, чѣмъ изученіе происхожденія этого конфликта который сперва привелъ Наполеона на высоту его славы, но затѣмъ завершился плѣномъ на островѣ Св. Елены и далъ англичанамъ владычество на моряхъ, которое они до сихъ поръ удерживаютъ за собой... Взглядъ Ранке, что борьба съ Англіей, т.-е. борьба за морское и колоніальное господство, была основнымъ пунктомъ постоянно сызнова возникавшихъ конфликтовъ, что Наполеонъ былъ правъ, говоря: „Англичане принуждаютъ меня завоевывать континентъ",—и тутъ улавливалъ истинное существо дѣла. Нельзя достаточно внимательно изучать эту эпоху: аналогіи и выводы, имѣющіе значеніе для современности, бросаются въ глаза".

Пишущій эти строки въ статьѣ „Великая Россія" и въ нѣкоторыхъ своихъ газетныхъ статьяхъ, въ существѣ, такъ же оцѣнивалъ создавшуюся комбинацію международныхъ отношеній. Фокусъ, откуда могутъ исходить потрясенія, это—англо-германскій антагонизмъ.

Но современная ситуація, будучи въ общемъ и цѣломъ поразительно аналогична ситуаціи начала XIX вѣка, въ то же время въ существенныхъ пунктахъ отъ нея отличается.

Въ настоящее время вооруженное столкновеніе между Англіей и Германіей не можетъ произойти съ такой легкостью, съ какой Англія и Франція воевали въ эпоху Наполеона. Но и не въ непосредственной опасности столкновенія Германіи и Англіи—характерная черта современной

эпохи. Она состоитъ въ томъ, что снова, какъ во времена Наполеона, рядомъ съ Британіей подымается равноцѣнная ей великая держава, у которой огромная потребность въ экономическомъ и политическомъ расширеніи.

Міръ оказался подѣленнымъ къ тому моменту, когда возросла экономическая и политическая мощь Германіи. Германіи достались если не крохи колоніальнаго богатства, то во всякомъ случаѣ такіе куски, которые несравнимы съ тѣмъ, что досталось на долю Англіи и Франціи. Между тѣмъ сила ни одного государства Европы въ новѣйшее время не росла такъ быстро, какъ Германіи, и соотвѣтственно этому не только возросла ея потребность въ помѣщеніи избыточныхъ товаровъ и людей, но—и это главное—возросло чувство собственной силы, чувство не только естественное, но и весьма законное. Дельбрюкъ вполнѣ правъ, подчеркивая что въ основѣ англо-германскаго антагонизма лежитъ не только и не столько экономическое, сколько политическое соперничество. „Конечно — говоритъ онъ—Германія въ настоящее время и отдаленно не занимаетъ того могущественнаго положенія, которое занимала Франція въ 1803 г., она также отнюдь не питаетъ тѣхъ стремленій, которыми была проникнута въ ту эпоху Франція—но не будемъ скрывать отъ себя: они намъ приписываются. То въ Даніи, то въ Голландіи, то въ Швейцаріи подымаются голоса, предостерегающіе собственный народъ и всю Европу отъ нашего честолюбія. Такія настроенія—самая благопріятная почва, какая только можетъ быть для воинственныхъ рѣшеній“. Характерное признаніе! Соотвѣтственно такому пониманію современнаго международнаго положенія замѣчательный берлинскій публицистъ-историкъ серьезно и детально обсуждаетъ возможность военнаго столкновенія двойственнаго союза Германіи и Австро-Венгріи съ союзомъ 4 великихъ державъ: Англіи, Франціи, Россіи и Италіи. Эти

державы антагонистичны либо Германіи (Англія и Франція), либо Австріи (Россія и Италія).

Ближайшую опасность для мира Дельбрюкъ видитъ въ Сербіи и въ ея аспираціяхъ, питаемыхъ общественнымъ мнѣніемъ всѣхъ враждебныхъ Австро-Венгріи великихъ державъ. Солидарность же интересовъ Австро-Венгріи и и Германіи для Дельбрюка превыше всякаго сомнѣнія. „Для германской политики нѣтъ высшаго закона, чѣмъ вѣрность Австріи. Именно потому, что судьба вынудила насъ въ 1866 г. вытѣснить изъ Германской имперіи нашихъ нѣмецкихъ братьевъ въ Австріи, на насъ лежитъ сугубая обязанность вступиться за нихъ въ международномъ соперничествѣ и прикрыть имъ тылъ. Наша собственная національная будущность связана съ Австріей и ея нѣмецкимъ элементомъ. Такимъ образомъ, если Россія и Италія вступятся за Сербію противъ Австріи, то мы будемъ стоять рядомъ съ Австріей, и тогда, какъ однажды выразился Бисмаркъ, французскія ружья начнутъ сами собой стрѣлять; Англія же будетъ блокировать наши берега и достигнетъ того, чего она желала. Всеобщая коалиція противъ Германіи будетъ совершившимся фактомъ: четыре великихъ державы будутъ противостоять двумъ“.

Дельбрюкъ подвергаетъ интересному анализу условія возможнаго возникновенія и хода такой войны и приходитъ къ выводу, что не дипломатія, а народныя страсти, ненависти и страхи могутъ ее зажечь. Но въ ходѣ этой войны должна обнаружиться внутренняя непрочность такой коалиціи, и послѣдняя въ процессѣ самой борьбы должна распасться. А если для задачи преодолѣнія Германіи и Австро-Венгріи не соединятся четыре державы, то самая война невозможна: три державы недостаточно сильны для того, чтобы побороть двойственный союзъ. Мимоходомъ отмѣчу то любопытное обстоятельство, что выходъ Италіи изъ

„тройственнаго союза“, основаннаго Бисмаркомъ, и разложеніе этого союза Дельбрюкъ трактуетъ какъ совершившійся фактъ—это и вѣрно, ибо никакіе реальные интересы теперь уже болѣе не привязываютъ Италіи къ Германіи и Австро-Венгріи. Балканскіе вопросы клиномъ вошли между этими державами.

Предположеніе войны коалиціи 4 великихъ дэржавъ противъ Германіи и Австро-Венгріи представляется намъ фантастическимъ. Дельбрюкъ самъ говоритъ—и онъ правъ въ этомъ отношеніи—что такая коалиція не будетъ обладать прочнымъ сцѣпленіемъ, что она расползется. На мой взглядъ она просто не можетъ образоваться. И тутъ я перехожу къ самому важному.

Вопреки мнѣнію нѣмецкихъ публицистовъ [1]) не антагонизмъ двухъ такихъ сильныхъ державъ, какъ Англія и Германія, взятый самъ по себѣ, составляетъ опасность современнаго международнаго положенія, Англія и Германія въ вооруженной борьбѣ рискуютъ страшно многимъ. Военный и торговый флотъ Германіи будетъ уничтоженъ въ такомъ столкновеніи. Но и Англія потерпитъ огромный ущербъ въ своей торговлѣ, $^1/_6$ которой приходится на торговый оборотъ съ Германіей. Для Франціи, этого государства-рантье, государства-кредитора, міровая война будетъ означать огромное потрясеніе всего ея экономическаго положенія. Поэтому ни Англія, ни Франція ни въ какую войну не могутъ быть легко втянуты. Тотъ фактъ, что сильныя державы противостоятъ другъ другу (хотя бы съ

---

[1]) Рядомъ съ Дельбрюкомъ тутъ слѣдуетъ назвать его помощника по редакціи Preussiche Jahrbücher, приватъ-доцента берлинскаго университета Ролофа. См., напримѣръ, его статью „Deutschland zwischen England und Russland“ въ Preussische Jahrbücher. Juli, 1908.

различными интересами), не опасенъ для мира. Сила нейтрализуетъ силу. Опасность положенія заключается въ томъ, что рядомъ съ противоборствомъ сильныхъ государствъ существуютъ теперь государства, политически и милитарно слабыя, на счетъ которыхъ могутъ разрядиться электрическія напряженія, накапливающіяся въ современной политической атмосферѣ.

Современное международное положеніе характеризуется тремя моментами. Во-первыхъ, антагонизмомъ сильной Англіи и сильной Германіи. Во-вторыхъ, тѣмъ, что Ближній Востокъ въ связи съ турецкой революціей пришелъ въ движеніе, и въ каждую данную минуту можетъ стать очагомъ серьезныхъ осложненій. И, въ-третьихъ—и это самое важное—тѣмъ, что рядомъ съ сильной Англіей и сильной Германіей стоитъ милитарно и политически слабая Россія. Слабая Россія со всей позиціей, со всѣмъ прошлымъ, со всѣми традиціями великой державы! Положеніе тѣмъ болѣе опасное, опасное до трагизма, что—хотя Дельбрюкъ это отрицаетъ—по существу Германія, поставленная между Англіей и Россіей въ началѣ XX в.,—сильнѣе чѣмъ была Наполеоновская Франція, поставленная между тѣми же державами въ началѣ XIX вѣка; Россія же въ современной комбинаціи значительно слабѣе.

Можно было бы думать, что передъ лицомъ противоборствующихъ Англіи и Германіи слабая Россія можетъ сохранить извѣстную политически независимую, самостоятельную позицію. Къ сожалѣнію, дѣло обстоитъ не такъ. И это стоитъ въ связи, съ одной стороны—съ великодержавнымъ положеніемъ Россіи, съ другой—съ ея финансовымъ положеніемъ, съ ея задолженностью. Какъ великая держава, Россія не можетъ не увеличивать или, по крайней мѣрѣ, не поддерживать на прежнемъ уровнѣ своихъ вооруженныхъ силъ. Ради этого—не говоря уже о

внутреннихъ потребностяхъ и о хронически неблагопріятномъ платежномъ балансѣ—она должна занимать деньги за границей. Изъ этого финансово-экономическаго положенія Россіи вытекаетъ необходимость для нея и политически опираться на ту или другую, но опредѣленную систему политическихъ силъ, представляемую извѣстными богатыми капиталомъ великими державами. Система внѣшнихъ займовъ у богатыхъ странъ въ наше время представляетъ по существу извѣстную политическую аналогію съ той системой субсидій въ XVШ и началѣ XIX в., которую такъ широко практиковала Англія и при помощи которой она распоряжалась вооруженными силами своихъ континентальныхъ союзниковъ. При современномъ напряженномъ политическомъ положеніи, которое можетъ очень не скоро разсѣяться, Россія должна выбирать между Франціей-Англіей и Германіей. Въ сущности выборъ уже сдѣланъ. Ввести Россію въ фарватеръ германской политики уже невозможно, и это противорѣчило бы жизненнымъ интересамъ Россіи. Вопросъ финансовой, а тѣмъ самымъ политической зависимости рѣшенъ. Помимо этого, если бы Россія захотѣла пойти на буксирѣ у Германіи, такой оборотъ дѣла, навѣрное, только вынудилъ бы кровавое разрѣшеніе англо-германскаго конфликта, ибо побудилъ бы Англію какъ можно скорѣе нанести ударъ этой угрожающей ея жизненнымъ интересамъ комбинаціи.

Но финансово-политическая зависимость отъ Англіи-Франціи, въ свою очередь, нисколько не гарантируетъ Россію отъ нападенія со стороны Германіи. Здѣсь слѣдуетъ оставить всѣ сантиментальности и посмотрѣть дѣйствительности въ лицо. Возможна комбинація условій, при которыхъ государственные интересы и именно положеніе Германіи по отношенію къ Англіи толкнутъ ее на этотъ путь такъ же, какъ они толкнули Наполеона I на походъ

1812 г. Нельзя утверждать, что такъ будетъ непремѣнно, но это есть возможность, и въ этой возможности, въ сущности, и заключается аналогія между современнымъ международнымъ положеніемъ и военно-политической ситуаціей начала XIX вѣка. Однако—и въ этомъ заключается трагизмъ положенія—нападеніе Германіи на Россію вовсе не будетъ для Англіи обязательнымъ casus foederis,—въ отличіе отъ 1812 г., когда нападеніе Наполеона на союзную съ нимъ Россію осуществило сейчасъ же англо-русскій союзъ. Борьба соединенныхъ Германіи и Австро-Венгріи съ Россіей, несмотря на существованіе франко-русскаго союза, отнюдь не явится casus foederis даже для Франціи, т.-е. возможно, что Россіи одной придется бороться съ враждебными ей западными державами.

Такимъ образомъ опасность и сигнатура современной международной ситуаціи въ томъ, что слабая Россія находится между сильными и соперничающими Германіей и Англіей. Это положеніе можетъ не только создать тѣ комбинаціи, которыя самому Дельбрюку кажутся аналогичными взаимоотношенію Англіи, Россіи и Франціи въ началѣ XIX вѣка; при этомъ положеніи Россія—какъ я указывалъ уже въ статьѣ „Великая Россія“ [1])—всегда можетъ быть въ извѣстномъ смыслѣ отброшена назадъ въ XVII вѣкъ и низведена на ту ступень, которую она занимала до великой сѣверной войны.

Россія должна быть сильной для того, чтобы не могла возникнуть и тѣнь такой опасности.

А для этого ей нужна внутренняя политическая и экономическая крѣпость. Эта крѣпость недостижима безъ окончательнаго торжества конституціи надъ тѣмъ неесте-

---

[1]) См. выше, стр. 73.

ственнымъ и гибриднымъ режимомъ, въ которомъ подъ формами народнаго представительства скрывается старый абсолютизмъ, доведшій страну до пораженія на Дальнемъ Востокѣ.

Культура и дисциплина [1]).

Въ родѣ новогодняго размышленія.

Русское общество вступаетъ теперь въ періодъ, когда общественная мысль обязана вновь усиленно производить внутреннюю работу самоуглубленія и самопровѣрки. Нѣтъ ничего болѣе ошибочнаго, чѣмъ думать, что наши надежды и упованія разбиты какой-то внѣшней силой. Между тѣмъ въ нѣкоторыхъ кругахъ склонны именно такъ понимать все то, что произошло и—въ качествѣ лѣкарства противъ зла—выдвигать т. н. „объединеніе всѣхъ оппозиціонныхъ силъ". Такое поверхностное пониманіе и такая упрощенная рецептура свидѣтельствуютъ о томъ, что уроки исторіи скользнули по поверхности сознанія и не встревожили его глубинъ.

Несомнѣнно, что необходимо объединеніе силъ въ борьбѣ съ реакціей. Но такое объединеніе возможно и принесетъ пользу только въ томъ случаѣ, если оно произойдетъ на извѣстныхъ идейныхъ основахъ, которыя закрѣпятъ въ сознаніи уроки, вынесенные нами изъ исторіи русской революціи. Внѣ признанія такихъ основъ всякое „объединеніе" будетъ лишь вредной иллюзіей, за которой должно послѣдовать горькое разочарованіе. Основную ошибку, моральную и политическую, бурнаго періода, пережитаго нами,

1) Московскій Еженедѣльникъ. № 1 за 1908 г.

можно было бы формулировать такъ: люди перестали разсуждать по существу [1]). Значительная часть вообще не разсуждала и, открѣпившись отъ традиціи, понеслась стремительно по психологическому теченію, не отдавая себѣ отчета ни въ чемъ. Другіе „считались“ съ этой „психологіей“, т. е. уступали теченію, съ которымъ внутренно не были согласны. Лучшая, наиболѣе отборная часть русскихъ образованныхъ людей обнаружила въ революціи 1905—1906 гг., по отношенію къ ея психологіи оппортунизмъ, оказавшійся пагубнымъ для дѣла свободы и вообще для общественнаго воспитанія.

Въ интересахъ этого воспитанія впредь не должно быть дѣлаемо никакихъ „психологическихъ“ уступокъ такимъ направленіямъ и настроеніямъ, которыя угрожаютъ подорвать культуру и дисциплину націи. Великій индивидуалистъ Ибсенъ, обращаясь къ норвежскимъ женщинамъ, чествовавшимъ его въ 1898 г., сказалъ имъ: „моей задачей всегда было содѣйствіе поднятію страны и народа до высшей ступени міросозерцанія. Этому же могутъ содѣйствовать два фактора—культура и дисциплина, и женщинамъ-матерямъ предстоитъ напряженнымъ и долгимъ трудомъ привить народу сознательное чувство культуры и дисциплины. Надо прививать это чувство отдѣльнымъ людямъ: тогда только удастся поднять уровень всего народа“ [2]).

Эти слова человѣка, котораго трудно (хотя это, кажется, и удалось г. Плеханову) заподозрить въ „буржуазности“ и

---

[1]) Это была основная мысль статьи, болѣе двухъ лѣтъ тому назадъ, въ ноябрѣ 1905 года, напечатанной въ „Русскихъ Вѣдостяхъ“. См. выше стр. 1 и сл.

[2]) Полное собраніе сочиненій Генрика Ибсена. Переводъ А. и П. Ганзенъ, томъ VIII. (Статьи, рѣчи, письма). Москва, 1906, стр. 105.

который былъ въ исторіи XIX в. однимъ изъ самыхъ яркихъ борцовъ противъ культурнаго „мѣщанства“, какъ будто сказаны не для норвежцевъ 10 лѣтъ тому назадъ, а сегодня, для насъ, русскихъ: они въ краткой формулѣ выражаютъ всю ту программу культурно-политическаго возрожденія націи, на которой можетъ объединиться все честное и живое въ Россіи.

Только выполненіе такой программы, являясь живымъ и глубокимъ преодолѣніемъ обанкрутившихся интеллигентски-революціонныхъ традицій, внутренно побѣдитъ и упразднитъ реакцію. Ибо и для побѣдъ надъ реакціей гораздо важнѣе всякаго внѣшняго, дипломатическаго, оппортунистическаго „объединенія“ общественныхъ силъ ихъ внутреннее оздоровленіе въ духѣ культуры и дисциплины.

Въ духѣ культуры и дисциплины!

Я не буду говорить здѣсь о томъ, что такое культура. Въ сотрудничествѣ съ С. Л. Франкомъ я когда-то попытался освѣтить проблему культуры и отсылаю читателя къ этому опыту [1]). Всякій образованный человѣкъ приблизительно чувствуетъ, что такое культура, точно такъ же какъ всякій человѣкъ вообще чувствуетъ, что такое жизнь.

Что же такое дисциплина, это, пожалуй, не только полезно, но и необходимо сказать, въ настоящемъ контекстѣ, съ надлежащей ясностью и конкретностью. Дисциплина для личности и общественныхъ группъ означаетъ сознательное подчиненіе извѣстнымъ общеобязательнымъ нормамъ, вытекающимъ изъ существа той или другой объективной культурной задачи. Тамъ, гдѣ жива идея дисциплины, тамъ невозможно, чтобы студенты командовали профессо-

[1]) „Что такое культура?“ въ „Очеркахъ философіи культуры“, напечатанныхъ въ № 2 Полярной Звѣзды отъ 22 декабря 1905 г.

рами; чтобы рабочіе „явочнымъ порядкомъ“ выбрасывали и упраздняли предпринимателей (что есть не соціализмъ и даже не классовая борьба, а хулиганство); чтобы во главѣ людей стояли тѣ, кто умѣютъ къ нимъ подлаживаться и имъ льстить, а не тѣ, кто знаетъ надлежащій путь и смѣло указываетъ его. Въ обществѣ, въ которомъ есть дисциплина политическаго поведенія, максимумъ политическаго авторитета для „толпы“ пріобрѣтали такіе люди, какъ Гладстонъ и Дизраэли; въ обществѣ, въ которомъ отсутствовала всякая тѣнь подобной дисциплины, максимумъ авторитета доставался у „толпы“ на долю Гапоновъ и Аладьиныхъ. Дисциплина связана съ культурой такъ же тѣсно, какъ порядокъ съ государствомъ. Это-то и понималъ Ибсенъ, который, при всемъ своемъ индивидуализмѣ, доходившемъ почти до анархической напряженности, до отрицанія государства, во имя культуры идейно и практически отстаивалъ дисциплину [1]).

Въ исторіи русскаго общества не въ первый разъ наступаетъ эпоха самокритики. Но никогда еще проблема критическаго очищенія общественнаго сознанія не ставилась русской исторіей въ такихъ грандіозныхъ рамкахъ, на такой широкой и глубоко взрытой почвѣ.

Прежде русскому образованному слою [2]) приходилось рѣшать основныя культурныя проблемы п р о с е б я и д л я с е б я, рѣшать ихъ, такъ сказать, подготовительно.

---

[1]) Ср. съ этой точки зрѣнія въ цитированномъ уже томѣ любопытныя сужденія о дисциплинѣ въ театральномъ дѣлѣ (стр. 218—219) и о деморализаціи въ 1870 г. французовъ, на основаніи наблюденій надъ французскими плѣнниками въ Дрезденѣ (стр. 230).

[2]) Я нарочно употребляю терминъ „образованный слой“ для того, чтобы не говорить „интеллигенція“. Въ это слово я вкладываю совершенно особый историческій смыслъ, который я разъясню въ другомъ мѣстѣ.

Событія послѣднихъ лѣтъ въ огромной мѣрѣ раздвинули границы сознательнаго культурнаго творчества и возвысили его значеніе привлеченіемъ на историческую сцену широкихъ народныхъ массъ. Культурное творчество и культурная борьба пріобрѣтаютъ въ такихъ условіяхъ отвѣтственный и, въ извѣстномъ смыслѣ, окончательный характеръ.

Этого мы, русскіе образованные люди, все еще какъ-то не понимаемъ; мы все еще какъ-то остаемся загипнотизированными вчерашнимъ, подготовительнымъ „чисто-политическимъ“ характеромъ культурной борьбы. Послѣ всего, что пережито нами, безнадежно отправляться отъ идеи „борьбы съ правительствомъ“ какъ момента, могущаго опредѣлить и исчерпать культурно-политическое творчество русскаго общества. Между тѣмъ, какъ часто приходится убѣждаться, что мысль многихъ и многихъ способна танцовать только отъ этой печки! Карѳагенъ абсолютизма — поскольку онъ еще уцѣлѣлъ—конечно, долженъ быть разрушенъ. Но никакое культурное творчество не можетъ быть управляемо отрицательной идеей. И для того, чтобы разрушить Карѳагенъ абсолютизма, русскому обществу гораздо важнѣе внутренне поздоровѣть и окрѣпнуть въ положительномъ творчествѣ, чѣмъ въ каталептическомъ состояніи приковать всю свою духовную силу къ образу „исконнаго врага“. Ибо „исконный врагъ“ живъ только нашей культурной слабостью, тѣмъ, что съ такой потрясающей ясностью обнаружила революція: отсутствіемъ чувства культуры и дисциплины.

Поверхъ текущаго момента [1]).

И въ умственной, и въ политической жизни націи въ настоящее время наблюдается разбродъ и чувствуется разноголосица, которые всегда характерны для „реакціонныхъ“ эпохъ. Ощущается утомленіе и апатія. Обыкновенно такія эпохи зовутся „безвременьемъ“; ихъ принято обличать и поносить за то, что въ нихъ тяжело живется. И это вѣрно. Но у такихъ эпохъ есть свои задачи и притомъ весьма широкія и глубокія. Необходимо ихъ осознать и ими овладѣть.

Какова же задача настоящаго момента? Да будетъ позволено выразить ее въ краткой формулѣ: смотрѣть и жить поверхъ текущаго момента.

Внѣ всякаго сомнѣнія „текущая“ жизнь не только скудна на своей поверхности, но и до послѣдней степени тягостна. Однако, если я предлагаю отвлечься отъ текущаго момента, то не съ точки зрѣнія ослабленія непріятныхъ ощущеній. Дѣло не въ ощущеніяхъ, а въ выборѣ такой позиціи, съ которой мы могли бы получить возможность посмотрѣть на настоящее въ широкой перспективѣ.

Надежды, которыя связывались съ эпохой обновленія,

---

[1]) Московскій Еженедѣльникъ 1909 г. № 2 отъ 10 января.

оказались развѣянными. Даже „побѣдители“ должны чувствовать, что страна ведетъ какое то промежуточное существованіе, что въ ней нѣтъ устойчиваго равновѣсія, что „побѣда“ искусственна и въ высшей степени непрочна. Поэтому радоваться нечему и побѣдителямъ, если только они способны сколько-нибудь „толковать созвѣздія“. Но и мы изъ промежуточнаго характера переживаемой эпохи не можемъ извлечь никакой радости, никакого указанія на лучшее будущее. Ибо на отрицательныхъ перспективахъ нельзя ничего построить. Изъ хаоса можетъ и должна получиться буря, а изъ бури снова—хаосъ. Очевидно, въ этой смѣнѣ степеней неустройства національной жизни, самихъ по себѣ, не можетъ заключаться никакого устрояющаго начала, а безъ такого устрояющаго начала Россія будетъ оставаться игралищемъ ничтожныхъ кучекъ и слѣпыхъ силъ. Сегодняшній день на поверхности принадлежитъ первымъ, въ глубинахъ же работаютъ вторыя.

Гдѣ же національное сознаніе?

Ради его воспитанія и укрѣпленія мы и должны смотрѣть и жить поверхъ текущаго момента. Это дастъ намъ духовную свободу отъ всего того, что производится ради сегодняшняго дня, отъ оппортунистическихъ сдѣлокъ съ тѣмъ, чему этотъ день принадлежитъ. Это относится одинаково и къ реакціи и къ тому, что не можетъ не быть естественнымъ порожденіемъ реакціи, къ возрождающемуся радикализму, который думаетъ, что онъ потерпѣлъ пораженіе только—„тактическое“.

Необходимо культурное творчество на принципіальношироком фундаментѣ, возвести который можетъ только свободная и объективная мысль, разсуждающая по существу. Работа эта вовсе не есть бездѣйствіе. Въ историческомъ процессѣ часто бываютъ моменты, когда позиція спокойнаго выжиданія и углубленной подготовки является въ

гораздо большей мѣрѣ дѣломъ, чѣмъ нервныя дѣйствія, упреждающія мощные молекулярные процессы. Такую эпоху переживаемъ мы теперь, эпоху собиранія и дисциплинированія положительныхъ общественныхъ силъ.

Революціонная эпоха ознаменовалась проникновеніемъ въ народныя массы старыхъ лозунговъ интеллигенціи, но сама интеллигенція и даже большинство вообще образованнаго класса скорѣе обѣднѣло въ эту эпоху идеями, чѣмъ обогатилось ими. Переживъ революцію, мы ясно видимъ теперь, что къ отвѣтственному политическому творчеству и массы народа, и образованный классъ оказались идейно неподготовленными. Это вполнѣ естественно, но на констатированіи этого факта нельзя успокоиться.

„Спокойное выжиданіе“ и „углубленная подготовка“, о которыхъ мы говоримъ, означаютъ идейное воспитаніе, духовное перерожденіе прежде всего т. н. образованныхъ элементовъ націи, а черезъ нихъ и всей націи. Эта задача не тождественна съ простымъ механическимъ накопленіемъ знаній; еще менѣе — съ пропагандой политическихъ и соціальныхъ лозунговъ.

Не слѣдуетъ дѣлать себѣ иллюзій: въ исторической обстановкѣ, въ которую вдвинуло насъ все предшествующее развитіе, такое идейное воспитаніе означаетъ трудную и суровую идейную борьбу. Съ кѣмъ? У защитниковъ стараго порядка я не вижу никакихъ идей. Былъ идейный флагъ, но онъ спущенъ и теперь вмѣсто него изувѣрство Дубровина, озорство Пуришкевича и—висѣлицы. Ибо нельзя же сказать, что „личная собственность“, „хуторское хозяйство“ и прочія практическія мѣропріятія вытекали бы изъ идей, сколько-нибудь связанныхъ со старымъ порядкомъ, съ бюрократическимъ абсолютизмомъ. Сами по себѣ эти мѣропріятія, каковы бы ни были намѣренія, въ нихъ вкладываемыя, имѣютъ совершенно другой смыслъ, они являются

элементами какого-то новаго порядка, существенно отличнаго отъ того, который господствовалъ въ нашей странѣ и оффиціально признавался въ ней единоспасающимъ до 17-го октября.

Націонализмъ? Но теперь уже ясно, что русскій либерализмъ гораздо національнѣе и, если живое отстаиваніе національнаго быта во всей его полнотѣ мы условимся называть націонализмомъ, гораздо націоналистичнѣе реакціи. Націонализмъ реакціи есть антисемитизмъ, антиполонизмъ, антиарменизмъ etc. etc., и совершенно послѣдовательно въ духѣ этого націонализма поступаетъ г. Меньшиковъ, когда онъ, документируя это воззрѣніе, выискиваетъ иностранныя фамиліи для того, чтобы обрушиваться на ихъ носителей. Я говорю объ этомъ не для того, чтобы полемизировать съ такого рода „мыслями“, а лишь для того, чтобы подчеркнуть идейное убожество тѣхъ, кто отстаиваетъ дѣло реакціи.

Направо отъ послѣдовательнаго либерализма (или конституціонализма) нѣтъ въ Россіи никакихъ идейныхъ силъ. А съ пустымъ мѣстомъ не можетъ быть никакой идейной борьбы. Для перемѣщенія идейныхъ силъ, совершившагося въ Россіи, нѣтъ ничего болѣе характернаго, какъ политическое мѣсто, занимаемое теперь единственнымъ общественнымъ дѣятелемъ, котораго можно назвать безупречнымъ преемникомъ стараго славянофильства—Д. Н. Шиповымъ. Изъ сторонника „идеальнаго самодержавія“, какимъ онъ былъ еще во времена Плеве, онъ сталъ конституціоналистомъ, которому нѣтъ и не можетъ быть мѣста въ станѣ теперешнихъ побѣдителей. Шиповъ исключительно общественный дѣятель. Но возьмемъ дѣятеля науки. Развѣ не столь же характерна та категорически либеральная позиція, которую, насколько мнѣ извѣстно, занимаетъ единственный оставшійся въ живыхъ славянофилъ-ученый академикъ В. И. Ламанскій?

Изъ сказаннаго явствуетъ, что подобная работа и борьба, на необходимости которой мы настаиваемъ, отнюдь не совпадаетъ съ тѣмъ, что въ настоящее время считается дѣломъ политической „оппозиціи“. Послѣднее необходимо, какъ необходима всякая текущая работа. Но того упрощенія проблемъ, какое наступило теперь въ политикѣ,—въ развитіи идей и въ культурномъ творчествѣ быть не должно. Да и въ политикѣ развѣ не ясно, что только безграничный оппортунизмъ тѣхъ, кто въ настоящее время ведетъ т. н. октябристовъ, создалъ вполнѣ естественное при такихъ условіяхъ, но, вообще говоря, совершенно неестественное объединеніе всѣхъ „оппозиціонныхъ“ элементовъ въ Государственной Думѣ? Этотъ оппортунизмъ всего лучше характеризуетъ полную безъидейность реакціи и всѣхъ ея пособниковъ. Не можетъ быть ничего болѣе жалкаго, чѣмъ та неспособность разсуждать по существу, которую проявляютъ „побѣдители“, ослѣпленные ненавистью къ „кадетамъ“. Тамъ, гдѣ критеріемъ истины становится „за или противъ кадетовъ?“—кончается всякая мысль, всякое разсужденіе, это—психологія раба чужого велѣнія или, что̀ еще хуже, раба своего страха.

Ничто не могло бы быть болѣе пагубно для послѣдовательнаго, идейнаго русскаго либерализма, твердо стоящаго на государственной почвѣ, какъ если бы онъ ту идейную работу, которая требуется отъ него въ настоящій моментъ, замѣнилъ политиканствомъ à la октябристы, чтобы критеріемъ истины для него стало въ свою очередь: „за или противъ правительства?“ Очень можетъ быть соблазнительно пользоваться такими упрощенными критеріями, но нечего и говорить что они не соотвѣтствуютъ той огромной внутренней, критической и созидательной работѣ, которую обязаны произвести независимыя общественныя силы Россіи.

Правительство прейдетъ, Россія и нація останутся.

Я взираю отнюдь не оптимистически на политическое будущее, оно окрашивается для меня вовсе не въ розовый цвѣтъ. Но тѣмъ болѣе, думается мнѣ, обязаны мы разсуждать по существу и быть далеки отъ всякаго безпринципнаго политиканства.

Необходимо смотрѣть поверхъ текущаго момента, поверхъ т. н. „тактики“; необходимы идейное воспитаніе и идейная твердость.

Политическіе кризисы приходятъ скоро и нерѣдко „аки тать въ нощи“, и условія ихъ наступленія не поддаются предвидѣнію. Чувство и идея политической отвѣтственности налагаютъ на насъ обязанность внутренне подготовиться къ выполненію извѣстныхъ культурныхъ, соціальныхъ и политическихъ задачъ совершенно независимо отъ того, въ какой формѣ исторія намъ ихъ преподнесетъ. Это самое важное, вѣрнѣе, единственно важное въ настоящее время дѣло. Все остальное, вся „тактика“ суть подробности, которыя сами по себѣ не имѣютъ никакого значенія.

Когда исполнятся „времена“, когда пройдетъ туманъ промежуточныхъ, гибридныхъ порядковъ мнимаго конституціонализма, тогда начнется рѣшительная борьба идей внутри націи. И эта внутренняя и идейная борьба гораздо важнѣе тѣхъ стычекъ, которыя теперь „оппозиція“ ведетъ съ „правительствомъ“ и его парламентской опорой.

Неестественный режимъ [1]).

„Сколько бѣдствій, сколько крови можно было бы сберечь, если бы правители державъ, точнѣе наблюдая движеніе общественнаго духа, сообразовались ему въ началахъ политическихъ системъ и не народъ приспособляли къ правленію, но правленіе къ состоянію народа".

Сперанскій въ „Введеніи къ уложенію государственныхъ законовъ" 1809 г.

Дѣло провокатора Азефа, котораго въ угрожающихъ выраженіяхъ берутъ подъ свою защиту „истинно-русскіе люди" съ ихъ органомъ „Русскимъ Знаменемъ" во главѣ, это изумительное дѣло, вѣроятно, превзошло все самое баснословное въ лѣтописяхъ конспираторства, сожительствующаго съ тайной полиціей, или, наоборотъ, тайной полиціи, сожительствующей съ конспираторствомъ. У Дегаева и Судейкина были грандіозные планы, но они никогда даже въ

[1]) Московскій Еженедѣльникъ, 1909 годъ, № 5 отъ 31 января.

незначительной долѣ не были осуществлены. Иначе обстоитъ дѣло тутъ. И если Судейкинъ былъ полный великихъ замысловъ провокаторъ, а Дегаевъ былъ несомнѣнно прежде всего весьма предпріимчивый революціонеръ, то совмѣщающій въ одномъ лицѣ революціонера и провокатора Азефъ является какой-то двойственной фигурой. Возможно и даже весьма вѣроятно—я лично въ этомъ увѣренъ,—что исходной точкой дѣятельности Азефа являлась не служба полиціи, а служеніе революціи, и во всякомъ случаѣ матеріальный балансъ его дѣятельности гораздо болѣе плачевенъ для „правительства“, чѣмъ для „революціи“. Мы употребляемъ тутъ кавычки; развѣ можно, въ самомъ дѣлѣ, пользоваться этими словами въ данномъ случаѣ безъ кавычекъ?

Революціонно-провокаціонная феерія взбудоражила общество, несмотря на то, что нервы его до послѣдней степени притуплены. Всѣ эти переодѣванія, въ которыхъ „охрана“, „боевая организація“ и какіе то „истинно-русскіе“ люди переплелись и сплелись въ нѣкое отвратительное полицейски-революціонное чудовище, не должны однако закрывать передъ нами сути дѣла. Разоблаченія объ Азефѣ способны поселить неправильное представленіе о томъ, что терроръ, какъ извѣстное „органическое“—нельзя безъ нѣкотораго ужаса примѣнять это слово къ такому явленію, но приходится—порожденіе русской жизни, есть только созданіе провокаціи. Наоборотъ, въ исторической дѣйствительности сперва данъ терроръ и затѣмъ уже къ нему для того, чтобы использовать его въ своихъ цѣляхъ, прикрѣпляется провокація.

Тѣмъ условіемъ, которое съ исторической необходимостью породило и порождаетъ революціонный терроръ, является въ нашей странѣ безсиліе общественнаго мнѣнія, закона и права. Другими словами: власть мнитъ себя чѣмъ-то самодовлѣющимъ и стоящимъ надъ обществомъ. Это воз-

зрѣніе власти на самое себя, возведенное въ систему, является болѣзненнымъ извращеніемъ идеи государственности и оно фатально приводитъ къ тому, что періодически въ обществѣ возникаютъ такія настроенія, подъ вліяніемъ которыхъ необходимое во всякомъ здоровомъ обществѣ психическое давленіе общественнаго мнѣнія на власть признается неосуществимымъ, утопичнымъ, и на его мѣсто ставится гораздо болѣе простая и „практичная“ идея примѣненія физической силы, какъ метода понужденія. Таковъ общій и весьма глубокій психическій источникъ революціоннаго террора. И съ такой же психологической неизбѣжностью, съ какой терроръ рождается изъ безсилія общественнаго мнѣнія, изъ террора рождается провокація. Совершенно независимо отъ полицейскихъ сыскныхъ цѣлей, провокація, прикрѣпляющаяся къ террору, имѣетъ другой болѣе глубокій историческій смыслъ. Терроръ революціонный стремится устрашить и физически понудить власть въ своемъ смыслѣ и въ своемъ интересѣ; провокація, воспринимая, расширяя и усиливая практику террора, стремится этимъ способомъ запугать власть въ своемъ смыслѣ и въ своемъ интересѣ.

Революціонный терроръ стремится испугомъ власти восполнить безсиліе общественнаго мнѣнія и его нормальныхъ психическихъ способовъ воздѣйствія. Провокація стремится усилить этотъ испугъ, довести его до степени всепоглощающаго, опредѣляющаго всю государственную дѣятельность чувства, но направить его въ другую сторону. Терроризуя власть, она стремится окончательно уединить ее отъ общества, укрѣпить ее въ воззрѣніи на себя, какъ на какую-то самодовлѣющую силу, и тѣмъ совершенно обезсилить общественное мнѣніе, отрѣзать власть отъ него и его отъ власти.

Вотъ почему „Русское Знамя“ и отстаиваетъ Азефа: азефщина нужна для того испуга, въ которомъ этой поли-

тической группѣ нужно хронически держать власть, отчужденную и отрѣзанную отъ общества.

Дѣло Азефа—и въ этомъ его громадное историческое значеніе—бьетъ и нравственно уничтожаетъ и систему революціоннаго террора, и тѣсно связанную съ нею систему реакціоннаго терроризированія.

Но если „провокація“ въ ея обрисованномъ нами выше, подлинномъ смыслѣ есть система, то вѣдь революціонный терроръ не только и не всегда система. Когда революціонный терроръ превращается въ систему, онъ вступаетъ неизбѣжно въ связь съ провокаціей и внутренне разлагается. Послѣ дѣла 1-го марта, этого самаго систематическаго и самаго губительнаго для системы террора дѣла, неизбѣжно явился Дегаевъ, а послѣ Дегаева партіи „Народной Воли“, какъ моральнаго единства и моральной силы, уже не существовало. Партіи соціалистовъ-революціонеровъ въ этомъ смыслѣ послѣ азефщины тоже больше не существуетъ. Это — слѣдуетъ сказать, не обинуясь—огромный моральный выигрышъ въ смыслѣ оздоровленія русской политической жизни, но самая основа террора, какъ политическаго зла, этимъ банкротствомъ системы террора отнюдь не колеблется.

Основа эта—безсиліе общественнаго мнѣнія, основа эта въ томъ, что—несмотря на существованіе формы народнаго представительства—власть разсматриваетъ себя какъ нѣчто самодовлѣющее, а общественное мнѣніе, наоборотъ, какъ нѣчто, что должно къ власти приспособляться или быть приспособляемо. Вся третья Государственная Дума есть грандіозный опытъ такого ложнаго, въ корнѣ противоестественнаго приспособленія.

Въ этомъ соотношеніи власти и общественнаго мнѣнія вся неестественность и вся непрочность того режима, подъ которымъ мы живемъ. Совершенно независимо отъ того,

хорошо, или худофункціонируетъ этотъ режимъ, у него нѣтъ здороваго фундамента, и потому онъ несостоятеленъ.

При такихъ условіяхъ, конечно, наличность конституціонныхъ „формъ“ (даже когда содержаніе этихъ формъ дается озорствомъ и безстыдствомъ Пуришкевичей и Половцевыхъ) гарантируетъ въ извѣстной мѣрѣ мирное развитіе страны. Но и только. Это лишь вексель на будущее.

Моральное и организаціонное банкротство революціоннаго террора, какъ той системы устрашенія власти, которая родила изъ себя — я настаиваю на такой исторической связи!—провокацію, какъ силу, сознательно творящую въ интересахъ реакціи государственный испугъ, тоже, конечно, означаетъ очищеніе морально-политической атмосферы и просвѣтлѣніе общественнаго сознанія.

Но и только. Остается основная государственная проблема: какъ установить здоровое соотношеніе между властью и общественнымъ или народнымъ мнѣніемъ? Ибо изъ факта безсилія мнѣнія всегда рождается и имъ непрерывно питается идея, что физическая сила есть единственная вершительница судебъ государства. Эта идея можетъ сегодня казаться устоемъ. Но устой этотъ—внутри совершенно полый и завтра онъ можетъ оказаться... начиненнымъ порохомъ.

Никакой режимъ не можетъ быть прочнымъ и почитаться нормальнымъ, если онъ противорѣчитъ тому началу, которое въ словахъ, взятыхъ нами въ качествѣ эпиграфа, такъ превосходно выразилъ единственный до сихъ поръ въ русской исторіи геніальный министръ, предостерегавшій отъ того, чтобы „народъ приспособляли къ правленію“.

Экономическія программы и „неестественный режимъ“ [1]).

Недавно происходившій обмѣнъ мнѣній между предсѣдателемъ Московскаго Биржевого Комитета Г. А. Крестовниковымъ и министромъ финансовъ В. Н. Коковцевымъ вскрылъ важное и основное разногласіе, существующее между руководящими людьми нашего торговопромышленнаго міра и руководителемъ финансовъ русскаго государства относительно общаго характера и направленія той финансово-экономической политики, которую должно вести государство. Недавно засѣдавшій съѣздъ представителей торговли и промышленности всецѣло присоединился къ программнымъ идеямъ г. Крестовникова. Комплименты, раздававшіеся по адресу г. Коковцева изъ устъ нѣкоторыхъ дѣятелей съѣзда, не могутъ скрыть этого обстоятельства.

Программа промышленниковъ и программа министра расходятся въ одномъ пунктѣ. Министръ озабоченъ прежде и больше всего бюджетной экономіей. Промышленники настойчиво подчеркиваютъ необходимость подъема производительныхъ силъ при помощи займовъ. Тутъ собственно даже не разногласіе въ полномъ смыслѣ слова, а именно различная „точка“ зрѣнія. Бюджетную экономію промышлен-

[1]) Московскій Еженедѣльникъ, 1909 г. № 50, отъ 19 декабря.

ники, конечно, не отрицаютъ, но они полагаютъ, что въ процессѣ экономическаго обновленія и возрожденія страны экономія въ государственномъ хозяйствѣ есть лишь отрицательное условіе, а не какая-либо положительная творческая сила. Главное положительное значеніе въ этомъ отношеніи должно принадлежать усиленному, при содѣйствіи государства, оплодотворенію народнаго хозяйства капиталомъ, непосредственно направляемымъ на хозяйственныя цѣли.

Программа промышленниковъ по существу совпадаетъ съ той программой, которую осуществлялъ графъ Витте въ бытность свою министромъ финансовъ. Слабая сторона дѣятельности и системы Витте состояла не въ этой программѣ, а въ сочетаніи ея, во-первыхъ, съ общей реакціонной внутренней политикой, политикой полицейской опеки надъ всѣми сторонами народной жизни, и, во-вторыхъ, съ авантюризмомъ во внѣшней политикѣ, приведшимъ къ японской войнѣ. (Лично Витте не былъ повиненъ, какъ авторъ, ни въ томъ ни въ другомъ, но онъ терпѣлъ и то и другое и исторически отвѣтственъ за это).

Этой программѣ въ нашей либеральной печати обычно противопоставляется не та довольно простая, сухая, безцвѣтная и скучная программа бюджетной экономіи, которую представляетъ г. Коковцевъ, а программа государственныхъ затратъ на производительныя цѣли, понимаемыя въ болѣе широкомъ смыслѣ: на развитіе народнаго образованія и на разные виды содѣйствія мелкому хозяйству. Впрочемъ, программа промышленниковъ включаетъ въ себя и эти пункты, и докладъ г. Вольскаго на послѣднемъ промышленномъ съѣздѣ усиленно ихъ подчеркивалъ. Но все-таки въ программѣ промышленниковъ удареніе стоитъ не на этой сторонѣ дѣла, а программа либеральнаго общественнаго мнѣнія выдвигаетъ именно ее.

Итакъ, передъ нами три различныя экономическія про-

граммы. Не то чтобы каждая изъ нихъ вполнѣ исключала двѣ другія, но все-таки это—программы, такъ сказать, различныхъ красокъ, сообразно тому, какая система мѣропріятій ставится во главу угла.

Программа бюджетной экономіи, при всемъ своемъ здравомыслiи, къ сожалѣнію именно для русскаго народнаго и государственнаго хозяйства болѣе чѣмъ недостаточна. Россія не можетъ ни перестать быть великой державой, ни пріостановить роста своихъ многообразныхъ культурныхъ потребностей. Въ силу этого простой „экономіи“ поставлены очень узкія границы. Тѣмъ болѣе, что Россія является страной съ хроническимъ пассивнымъ платежнымъ балансомъ, ради котораго она вынуждена притягивать деньги изъ-за границы. Одно уже это обстоятельство исключаетъ возможность сведенія финансово-экономической политики государства къ бюджетной экономіи.

Можетъ ли та программа, которую выдвигаетъ либеральное общественное мнѣніе, замѣнить собой программу промышленниковъ? На этотъ вопросъ приходится отвѣтить отрицательно. Поднятіе народнаго образованія необходимо во всякомъ случаѣ. Но непосредственные экономическіе эффекты такого поднятія—на этотъ счетъ не слѣдуетъ дѣлать себѣ иллюзій!—не могутъ быть очень велики въ сколько-нибудь обозримомъ будущемъ. Пока они скажутся, страна можетъ долгое время пребывать въ состояніи хозяйственнаго угнетенія. Вопросъ же о воспособленіи разнымъ формамъ мелкаго хозяйства въ высшей степени сложенъ, именно съ точки зрѣнія „финансированія народнаго труда“. Тому, кто разрѣшитъ не на словахъ, а на дѣлѣ задачу—направить въ русское мелкое хозяйство, прежде всего земледѣльческое, потокъ капиталовъ, такъ чтобы этотъ капиталъ не былъ поглощенъ потребленіемъ, не былъ „съѣденъ“, а пошелъ на производительныя цѣли,—

можно было бы дать большую премію. Но именно никакой „выдумкой“ эта задача не можетъ быть разрѣшена. Трудности ея разрѣшенія, въ сущности, сводятся не болѣе не менѣе какъ къ трудности хозяйственнаго воспитанія нашего крестьянина. Процессъ этотъ затяжной и отъ степени быстроты его зависитъ все наше экономическое и культурное развитіе. Тѣмъ, кто повторяетъ слова объ „интенсификаціи“ хозяйства, о „кооперації“ и проч., слѣдовало бы это твердо помнить. Не нужно забывать, что Россія, будучи въ экономическомъ отношеніи страной молодой, есть въ то же время страна въ очень многомъ отсталая, къ невыгодѣ своей отличающаяся отъ такихъ молодыхъ колоніальныхъ странъ, какъ Соединенные Штаты, Канада и даже Аргентина.

Есть только одно болѣе или менѣе быстро дѣйствующее средство оживленія хозяйственной дѣятельности въ странѣ. Это помѣщеніе (или „инвестированіе“) большихъ капиталовъ въ разнаго рода „сооруженія“, на первомъ мѣстѣ въ желѣзныя дороги, и во всѣ области т. н. „производства“. Въ странахъ богатыхъ это происходитъ изнутри; страны бѣдныя, къ каковымъ принадлежитъ Россія, должны прибѣгать и всегда прибѣгаютъ къ привлеченію капиталовъ извнѣ.

Слѣдуетъ разъ навсегда ясно понять, что другого способа быстраго и ощутимаго воздѣйствія на экономическую жизнедѣятельность страны нѣтъ и быть не можетъ. Тѣ, кто думаетъ, что можно непосредственно создать экономическое процвѣтаніе или подъемъ какими-нибудь неэкономическими, общекультурными или политическими, средствами, предаются иллюзіямъ, и притомъ иллюзіямъ, врядъ ли полезнымъ для жизни. Конечно, основнымъ дѣятелемъ и рѣшающей силой въ экономической жизни является всегда человѣкъ. И капиталъ силенъ только въ соединеніи съ

человѣкомъ. Но если бы у русскаго человѣка уже были налицо въ развитомъ видѣ тѣ свойства, которыми въ экономическомъ отношеніи силенъ богатый Западъ, самаго вопроса объ усиленномъ привлеченіи извнѣ капиталовъ къ нашему народному хозяйству не ставилось бы вовсе. Вопросъ объ экономическомъ возрожденіи Россіи есть прежде всего вопросъ о созданіи новаго экономическаго человѣка. Эта задача, по существу, для своего разрѣшенія требуетъ экономическихъ средствъ, въ числѣ которыхъ едва ли не самую важную роль играетъ именно усиленное привлеченіе капиталовъ.

Она требуетъ, конечно, *не только* экономическихъ средствъ—и вотъ почему незыблемое утвержденіе конституціоннаго правопорядка со всѣми его слѣдствіями и распространеніе и углубленіе народнаго образованія имѣютъ огромное значеніе и для экономическаго развитія Россіи. Система Витте игнорировала эту истину и потому и постольку она потерпѣла фіаско.

Кромѣ того, для самаго оживленія національнаго производства первостепенное значеніе имѣетъ состояніе настоящаго, неискусственнаго „успокоенія“. Такое состояніе можетъ существовать лишь тамъ, гдѣ „правительство“ не есть чуждая, стоящая надъ обществомъ сила, однимъ попускающая, другихъ карающая и отъ всѣхъ живыхъ общественныхъ силъ равно далекая. Таковъ однако тотъ „неестественный режимъ“, подъ которымъ живетъ Россія [1]).

Въ то время, какъ я дописываю эту статью, мнѣ попадается на глаза номеръ „Новаго Времени“, въ которомъ этотъ архичуткій къ рѣшающимъ вѣяніямъ въ нашей „правящей“ средѣ органъ читаетъ представителямъ русской

---

[1]) См. мою статью „Неестественный режимъ“ въ № 5 *Московскаго Еженедѣльника* за 1909 г. [Перепечатана выше].

промышленности цѣлый рядъ наставленій, звучащихъ необыкновенно либерально и демократично.

Въ этой нотаціи интересно и поучительно, однако, не ея содержаніе, которое могло бы появиться въ любой газетѣ совсѣмъ иного лагеря, напр. въ „Рѣчи“ или въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“, а ея тонъ и тотъ духъ, которымъ она продиктована. Его всего лучше обличаетъ вступительная фраза, въ которой представителямъ русской промышленности и торговли совершенно недвусмысленно дается понять, что „образованіе у насъ торговопромышленнаго парламента по образцу нѣмецкаго гандельстага“ совершилось милостивымъ попущеніемъ правительства. Въ другой статьѣ та же газета прямо говорила, что „подъ именемъ съѣзда представителей промышленности и торговли въ порядкѣ верховнаго управленія (былъ) допущенъ союзъ союзовъ, запрещаемый только-что изданнымъ тогда закономъ о собраніяхъ и обществахъ“.

Надо полагать: конституціонное правосознаніе настолько развито въ нашей торговопромышленной средѣ, что возможность организовать свое представительство она считаетъ вовсе не милостью и попущеніемъ какого-либо „правительства“ или „начальства“, а смотритъ на нее, какъ на свое неотъемлемое гражданское право, которое она будетъ рѣшительно отстаивать противъ всякихъ полицейски-демагогическихъ посягательствъ слугъ „неестественнаго режима“.

Прошло время, когда промышленниковъ можно было трактовать какъ „людишекъ“, для воздѣйствія на которыхъ достаточно прикрикнуть или угрожающе двинуть бровями.

Одно ясно: организаціи промышленниковъ и либеральный духъ, охватившій эту среду, которая еще недавно была испугана призрачной революціей, ненавистны представителямъ и выразителямъ „неестественнаго режима“

и тѣхъ могущественныхъ теченій въ нашей правящей средѣ, которыя поддерживаютъ и усугубляютъ этотъ режимъ.

Ради борьбы съ этимъ независимымъ общественнымъ духомъ враги свободной общественности не прочь драпироваться даже въ демократическую мантію и выступать на защиту интересовъ „народныхъ массъ“ противъ „магнатовъ промышленности“. Это—старый пріемъ. Слуги русскаго абсолютизма всегда любили смѣшивать красный цвѣтъ съ голубымъ и гримировать подъ революцію жандармскія вожделѣнія.

Но этотъ полицейскій маскарадъ съ отряженными мужичками, я увѣренъ, никого не обманетъ и не остановитъ живыя общественныя силы въ ихъ борьбѣ за право.

Гипнозъ страха и политическій шантажъ [1]).

„Разбойникъ и вымогатель дѣйствуютъ явно вопреки закону и волѣ принуждаемаго; шантажистъ прикрывается личиною законности. Его угроза, поэтому, можетъ принимать формы мягкія; въ наибольшей степени замѣчаніе это относится къ шантажистамъ печати".

Изъ комментарія къ уголовному уложенію.

Положеніе, въ которомъ находится наканунѣ новаго года Россія, само по себѣ не можетъ внушать никакихъ радостныхъ чувствъ. Не можетъ подлежать сомнѣнію, что настоящаго общественнаго умиротворенія нѣтъ и въ поминѣ. Но гораздо хуже, что его не можетъ быть и въ будущемъ.

Неудачи освободительнаго движенія было бы наивно приписывать внѣшнимъ препятствіямъ. Корень неудачъ въ томъ ужасающемъ, подготовленномъ всей предшествующей исторіей, недостаткѣ правового воспитанія народа и интелли-

[1]) Слово отъ 23 декабря 1907 г.

генціи, который обнаружился въ русской революціи. Это есть первый и самый важный урокъ, который общественная мысль должна извлечь изъ всего, что произошло въ послѣдніе бурные годы. Неуваженіе къ праву и къ правамъ внутренно подточило и обезсилило движеніе.

Теперь противная сторона въ другихъ формахъ, съ другимъ знакомъ повторяетъ то же самое. Это стало общимъ мѣстомъ, къ которому всѣ привыкли и которое не производитъ никакого впечатлѣнія. Вниманіе общества притупилось и скользитъ по фактамъ, не вникая въ ихъ смыслъ.

Между освободительнымъ движеніемъ и идущей сверху реакціей въ этой области обнаруживается поразительная аналогія. Революція и контръ-революція одинаково вырождаются—отъ центра къ периферіи. Въ особенности это ясно по отношенію къ контръ-революціи.

Правовая безпринципность революціи выражалась въ формулѣ: всякое дѣйствіе допустимо, если оно полезно для революціи. По недомыслію, хорошо извѣстному логической теоріи, все вредное для правительства приравнивалось къ полезному для революціи, и, такимъ образомъ, къ морально чудовищной посылкѣ присоединялись допущенія, фактически нелѣпыя. Какимъ реальнымъ содержаніемъ исторія наполнила эту логику, достаточно извѣстно.

Правовая безпринципность контръ-революціи выражается въ формулѣ: всякое административное дѣйствіе допустимо, если оно наноситъ вредъ „крамолѣ“, На линіи этого разсужденія можетъ лежать всякое преступленіе. Но самое ужасное это—то, что такое разсужденіе въ корнѣ упраздняетъ всякое правосознаніе.

Этимъ подготовляется не умиротвореніе страны, а возрожденіе съ новой силой тождественной формулы съ революціоннымъ знакомъ.

Говоря такъ, я имѣю въ виду не отдѣльные акты, а

именно цѣлый духъ управленія. Съ этой точки зрѣнія всего болѣе характерны не важные акты центральнаго правительства, а та административная практика мѣстныхъ властей, которая расцвѣла на почвѣ исключительныхъ положеній. Недавно всѣ газеты обошло извѣстіе о томъ, что нѣкій губернаторъ оштрафовалъ мѣстную газету за напечатаніе обвинительнаго акта по дѣлу о выборгскомъ воззваніи. Русскіе люди привыкли ко всему, и это распоряженіе никого даже не удивило. Между тѣмъ, дѣйствіе этого администратора таково, что безъ всякаго преувеличенія его нельзя квалифицировать иначе, какъ озорство. Обвинительный актъ суда, гласно разбирающаго какое-либо дѣло, есть—по существу дѣла—документъ дѣятельности судебныхъ учрежденій, дѣйствующихъ „по указу Его Императорскаго Величества". Есть власти, которыя могутъ по закону закрыть двери судебнаго засѣданія; разъ они не закрыли этихъ дверей, все, что оглашено въ судебномъ засѣданіи, входитъ, какъ часть, въ составъ публичнаго дѣйствія надлежаще уполномоченнаго органа государственной власти. Такимъ образомъ въ общей формулѣ упомянутое административное дѣйствіе означеннаго губернатора можно выразить такъ: органъ мѣстной администраціи запретилъ оглашеніе публичнаго акта другого независимаго отъ него органа власти, на всемъ пространствѣ Имперіи дѣйствующей—какъ гласитъ торжественная формула—по указу Монарха.

Достаточно разсказать приведенные факты, скажемъ, на нѣмецкомъ языкѣ, чтобы сейчасъ же былъ поставленъ важнѣйшій вопросъ: былъ ли означенный администраторъ немедленно по телеграфу смѣщенъ; не былъ ли онъ подвергнутъ оффиціальному освидѣтельствованію на предметъ установленія его умственныхъ способностей?

Я выбралъ одинъ примѣръ, но имя административнымъ дѣйствіямъ, формально тождественнымъ съ описаннымъ,

легіонъ. Извѣстны, напримѣръ, случаи, когда выборы по волостямъ въ Государственную Думу не состоялись потому, что губернаторъ—на основаніи исключительныхъ положеній—запрещалъ созывъ волостныхъ сходовъ для производства выборовъ.

Всюду одно и то же. Объемъ полномочій, присваиваемыхъ себѣ на основаніи исключительныхъ положеній мѣстной администраціей, не ограничивается никакими законными рамками. При помощи исключительныхъ положеній прямо или косвенно можно пріостановить дѣйствіе всякаго закона. Всякій законъ отмѣнимъ въ порядкѣ управленія, если его отмѣна наноситъ вредъ тому, что признается за крамолу. Таково то положеніе, въ которомъ находится теперь Россія. Совершенно ясно, что недопустимость такого положенія права и правъ въ странѣ—съ формально-юридической точки зрѣнія—не зависитъ даже отъ рѣшенія вопроса, что же такое нашъ государственный строй, или, что́ то же, отъ вопроса есть ли въ Россіи „конституція". Такое положеніе вещей принципіально нетерпимо во в с я к о м ъ благоустроенномъ государствѣ, независимо отъ государственной формы. Болѣе того: оно упраздняетъ всякое единство управленія.

На чемъ же держится эта система? На психологической иллюзіи, что она спасительна для власти. Тутъ создалась цѣлая сѣть психологическихъ воздѣйствій, дѣйствующихъ безошибочно. Можетъ ли предсѣдатель совѣта министровъ, если бы онъ захотѣлъ, пресѣчь разрушительную по отношенію къ праву и правамъ дѣятельность мѣстныхъ администраторовъ? Нѣтъ, ибо сейчасъ же г. Меньшиковъ въ „Новомъ Времени" напишетъ, что г. Столыпинъ „кадетствуетъ", а „кадетство" есть, какъ извѣстно, разновидность „крамолы". Когда г. Гучковъ осмѣлился быть въ теченіе нѣкотораго времени октябристомъ въ смыслѣ манифеста

17 октября, на него была наложена печать отверженія, какъ на „полукадета“. Такъ вѣдь всякій губернаторъ и даже урядникъ можетъ оказаться сильнѣе предсѣдателя совѣта министровъ, если онъ докажетъ, что онъ благонамѣреннѣе его съ точки зрѣнія борьбы съ „крамолой“.

Вся роль „союза русскаго народа“, достаточно извѣстная и достаточно характерная, покоится на томъ гипнозѣ, въ которомъ идея борьбы съ „крамолой“ держитъ власть. До чего можно дойти на этомъ пути, объ этомъ каждый день газеты приносятъ краснорѣчивыя свидѣтельства. Когда я читаю, какъ замалчиваются, даже доходящія до суда, дѣла „благонамѣренныхъ“ погромщиковъ, какъ—во имя идеи борьбы съ „крамолой“—оставляются безнаказанными тяжкія преступленія, мнѣ изъ моихъ историческихъ „отмѣтокъ“ припоминаются два факта изъ эпохи... Николая I.

Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ XIX вѣка населеніе Россіи волновалось по случаю „пожаровъ, принимавшихъ иногда эпидемическій характеръ. Простой народъ обыкновенно приписывалъ постигшее его несчастье поджогамъ, въ которыхъ винилъ внѣшнихъ враговъ Россіи, чаще всего поляковъ“ [1]).

На этой почвѣ въ г. Кузнецкѣ, Саратовской губ., въ 1839 г. изъ мѣстныхъ „нотаблей“ (предводитель дворянства, городской голова, соборный протоіерей и т. д.) составился „комитетъ для борьбы съ зажигателями“. Комитетъ этотъ подъ покровительствомъ губернатора развилъ обширную полицейскую дѣятельность и даже открылъ слѣдственную комиссію для розыска виновныхъ въ поджигательствѣ. Комитетъ „открыто, оффиціально объявилъ всюду, будто поджигаютъ евреи, подкупленные поляками; что пожары готовятся и въ другихъ городахъ. Евреевъ и другихъ

---

[1]) Историческій обзоръ дѣятельности комитета министровъ, т. I, ч. II. СПБ. 1902, стр. 59 и сл.

людей, заподозрѣнныхъ въ поджигательствѣ, члены комитета сѣкли, били кулаками и колѣнками и грозили имъ смертью въ присутственной комнатѣ полицейскаго управленія, гдѣ стояло зерцало; дѣлалось это съ цѣлью вынудить сознаніе въ преступленіи, въ чемъ отчасти члены комитета и успѣли". Мѣстный губернаторъ одобрилъ распоряженія кузнецкаго комитета и дозволилъ ему продолжать его дѣятельность.

Когда свѣдѣнія объ этомъ дошли до шефа жандармовъ Бенкендорфа, онъ, считая, что въ данномъ случаѣ „частные люди захватили власть, имъ не принадлежащую, такъ сказать, въ правительствѣ устроили другое правительство, внесъ это дѣло на обсужденіе комитета министровъ". Въ результатѣ разбора дѣла въ названномъ высшемъ государственномъ учрежденіи послѣдовала, по отношенію къ саратовскому военному губернатору, такая резолюція Николая I: „Генералъ-маіору Бибикову сдѣлать строгій выговоръ черезъ министра внутреннихъ дѣлъ и уволить отъ должности".

Другой случай былъ въ 1847 г. въ Костромѣ. Подозрѣніе въ поджогѣ опять пало на поляковъ, и начались энергичныя дѣйствія по искорененію крамолы. Изъ Петербурга въ Кострому былъ командированъ флигель-адъютантъ для разслѣдованія. Обнаружилось, что унтеръ-офицеръ полякъ Ярушевичъ, заподозрѣнный въ поджогѣ, при допросѣ въ квартирѣ начальника губерніи былъ жестоко сѣченъ розгами. Въ объясненіе своихъ дѣйствій губернаторъ заявилъ, что „во время бывшихъ въ Костромѣ пожаровъ и при всеобщемъ смятеніи онъ самъ было повѣрилъ народной молвѣ о виновности Ярушевича и прочихъ поляковъ, почему дѣйствительно наказалъ его и другого рядового Щитковскаго, надѣясь исторгнуть у нихъ признаніе и открыть злоумышленія, полагая этотъ случай выходящимъ изъ пре-

дѣловъ закона". (Это мѣсто донесенія Николай I подчеркнулъ и отмѣтилъ тремя восклицательными знаками). Какъ выяснило далѣе разслѣдованіе, „другіе нижніе чины также были наказываемы начальникомъ губерніи въ его квартирѣ, а потомъ всѣмъ имъ и старшему лекарю Ходаровичу дана была очная ставка съ мальчишками-обвинителями; ставка эта ничего не обнаружила". Но, несмотря на это, послѣ нея обвиняемые, для успокоенія народа были торжественно, подъ конвоемъ, по городу отведены въ острогъ. „Подобными распоряженіями и арестомъ разныхъ лицъ по маловажнымъ причинамъ умы населенія были взволнованы, и утвердилось общее мнѣніе въ виновности поляковъ до такой степени, что въ настоящее время въ городѣ подозрѣваютъ слѣдственную комиссію въ умышленныхъ дѣйствіяхъ въ пользу обвиняемыхъ" [1]).

На рапортѣ фл.-адъютанта Брина о дѣйствіяхъ костромского губернатора Николай I сдѣлалъ надпись: „Пред-

---

[1]) Въ доказательство того, какъ преувеличивались въ Костромѣ толки, флигель-адъютантъ Бринъ приложилъ копію съ предписанія начальника губерніи слѣдственной комиссіи: „До свѣдѣнія моего дошло,—писалъ губернаторъ,—что штабсъ-лекарь Ходаровичъ, во время послѣдняго пожара, происшедшаго отъ поджога дома помѣщика Вавилова, стоялъ на улицѣ близъ того дома и разговаривалъ съ какимъ-то неизвѣстнымъ лицомъ, подъѣхавшимъ къ нему на дрожкахъ, запряженныхъ вороною лошадью. Ходаровичъ, разговаривая съ означеннымъ лицомъ, стоялъ безъ шляпы съ четверть часа. Столь почтительное положеніе доказываетъ, что Ходаровичъ имѣлъ къ тому лицу глубокое уваженіе, отчего губернаторъ и заключилъ, не было ли это таинственное лицо польскимъ магнатомъ, разъѣзжающимъ по Россіи съ цѣлями смуты?"—По справкѣ,—удостовѣрилъ флигель-адъютантъ фонъ-Бринъ,—это таинственное лицо оказалось мѣстнымъ помѣщикомъ Лермонтовымъ, пріѣзжавшихъ звать Ходаровича къ своей больной женѣ.

ставить сегодня же въ комитетъ министровъ и послать фельдъегеря арестовать губернатора и привезти сюда, гдѣ и предать военному суду подъ арестомъ".

Костромской губернаторъ былъ приговоренъ судомъ къ лишенію чиновъ и орденовъ и къ отдачѣ въ рядовые [1]).

А между тѣмъ онъ боролся съ „крамолой"!

Какое счастье для Императора Николая I и даже для шефа жандармовъ графа Бенкендорфа, что они „внѣ досягаемости" для публицистическихъ строкъ г. Меньшикова. Онъ обвинилъ бы ихъ въ „кадетствѣ", въ потаканіи „полякамъ" и „жидамъ", притянулъ бы ихъ къ своему суду за то, что они „тянутъ влѣво".

Я охарактеризовалъ то положеніе, въ которое—благодаря психозу и гипнозу страха—власть встала къ праву и къ правамъ. Принципіально это положеніе есть шагъ назадъ даже по сравненію съ режимомъ чистаго абсолютизма при Николаѣ I, когда страхъ передъ „крамолой" не закрывалъ глаза на преступленія, чинимыя во имя борьбы съ крамолой.

Заключительнымъ звеномъ этой системы, ея финальнымъ аккордомъ въ стилѣ модернъ является политическій шантажъ, практикуемый въ печати и практикуемый—слѣдуетъ прямо признать—съ истинной виртуозностью.

„Новое Время" въ лицѣ г. Меньшикова систематически шантажируетъ предсѣдателя совѣта министровъ и его товарищей по кабинету обвиненіемъ ихъ въ „кадетствѣ".

Кому-то нужно „свалить" г. Герарда, г. Кауфмана и, можетъ быть, еще кого-нибудь—и для этого лучшимъ средствомъ признается пугать „кадетствомъ", угнѣздившимся въ самомъ правительствѣ.

---

1) Черезъ три года губернаторъ Григорьевъ, по ходатайству мягкосердечнаго кн. Суворова, былъ помилованъ.

Въ подобнаго рода дѣлахъ корни и нити всегда остаются темны. Но суть дѣла ясна, ибо отъ нея буквально разитъ шантажемъ. Обвиненіями въ кадетствѣ гг. Меньшиковы (и стоящіе за ихъ спиной разные истинные „консерваторы"), очевидно, хотятъ заставить г. Столыпина: въ какомъ-то вопросѣ se soumettre ou se demettre.

Воздѣйствіе ведется по извѣстному, испытанному методу „инсинуаціи"—introduire doucement, par degrès. Вотъ схема этого воздѣйствія:

№ I. Г. Столыпинъ—„умѣренный октябристъ".

№ II. Покойный (и г. Меньшикову слѣдовало бы прибавить: такъ кстати для моего вранья умершій) Философовъ „примыкалъ къ кадетской партіи".

№ III. „Такого же склада мыслей, повидимому, А. П. Извольскій, Кауфманъ и нѣкоторые (sic) другіе".

№ IV. „Сравнительно молодой дѣятель сдѣлавшій нечаянную карьеру, г. Столыпинъ... изъ чувства скромности склоненъ поддаваться вліянію болѣе заслуженныхъ членовъ кабинета".

№ V. Министерство Столыпина—„кадетская кампанія", тѣмъ болѣе, что „въ качествѣ октябриста" и г. Столыпинъ—„кадетъ 2-го сорта".

Постепенно—„кадетское министерство"—lege artis—инсинуировано.

Заключительный аккордъ: „Къ чему насъ приведетъ кадетское правительство?"

На все это наглое хитросплетеніе позволительно отвѣтить встрѣчнымъ вопросомъ: къ чему приведетъ насъ политическій шантажъ, эксплуатирующій чувство страха и слабые нервы?

Клевета и на предковъ, и на конституцію [1]).

Общій признакъ, по которому можно отличать пестрыхъ людей, состоитъ въ томъ, что они совѣсть свою до дыръ износили. А взамѣнъ выросло у нихъ во рту по два языка, и оба лгутъ иногда по очереди, а иногда—это еще постыднѣе—оба за-разъ.

Салтыковъ.

Припертый къ стѣнѣ, г. Меньшиковъ пустилъ оба языка за-разъ. Онъ не защищаетъ „стараго порядка"—упаси Боже! Да и старый порядокъ, въ сущности, давно уже отошелъ въ вѣчность и ни за что изъ новѣйшихъ несчастій и мерзостей не отвѣтственъ. При „старомъ порядкѣ" Петръ Великій побѣждалъ шведовъ, поэтому старый порядокъ не при чемъ въ Мукденѣ и Цусимѣ. Это все Струве, „озлобленный дурачокъ изъ подполья", налгалъ. Виновата во всѣхъ несчастіяхъ, вродѣ Цусимы и Мукдена, наоборотъ, „конституція", которая, оказывается, „давнымъ-давно введена въ Россіи".

---

[1]) Слово отъ 3 января 1908 г.

Не только Плевна и Портъ-Артуръ, но даже Севастополь—„продуктъ работы новыхъ „освободительныхъ“ поколѣній, живущихъ почти полвѣка въ зданіи неувѣнчанномъ, которое, наконецъ, увѣнчано“.

Какъ это ни омерзительно, но необходимо пестраго человѣка поймать за оба языка. Одинъ изъ этихъ языковъ тянетъ къ отвѣту за „Севастополь“ Бѣлинскаго, Грановскаго, Герцена, Хомякова и Аксаковыхъ. Онъ же за Мукденъ и Цусиму хочетъ судить насъ, самыя „новѣйшія освободительныя поколѣнія“. Но другой языкъ тянетъ за тотъ же позоръ и за тѣ же несчастья къ отвѣту „режимъ, сравнительно очень новый, именно тотъ самый, что предшествовалъ войнѣ“.

Въ логикѣ всѣ кунстштюки Меньшиковыхъ давно описаны. Но не только люди, искушенные въ анализѣ софизмовъ, увидятъ сразу, что тутъ играютъ словами не хуже, чѣмъ Кречинскій игралъ картами. „Режимъ“ отождествляется съ „поколѣніями“. а въ „поколѣніяхъ“ въ одинъ котелъ бросаютъ Радищева и Шешковскаго, декабристовъ и Аракчеева, Бѣлинскаго и Дуббельта. Но, позвольте, никакая игра самыхъ талантливыхъ Кречинскихъ вдохновенной публицистики, какъ бы ловко она ни велась, не заставитъ насъ брать на себя отвѣтственность за „сравнительно очень новый режимъ“. Солидарность съ нимъ и отвѣтственность за него должно было бы чувствовать „Новое Время“, если бы у него въ нужный моментъ память не оказывалась такъ безнадежно слаба. Никакая историческая мудрость пестрыхъ людей не можетъ установить такого „чрезвычайнаго“ положенія, которое навязало бы мнѣ нравственную и политическую отвѣтственность за адмираловъ Алексѣева, Рожественскаго, Абазу, за тайнаго совѣтника Безобразова и штальмейстера Вонлярлярскаго и проч. и проч.

Я увѣренъ, что Бѣлинскій и Иванъ Аксаковъ, если бы

они могли услышать историческія разсужденія г. Меньшикова, сказали бы: „Тяжело, невыносимо было въ наши „николаевскія“ времена, но извѣстныя перья врали простодушнѣе и честнѣе. Старый порядокъ былъ въ этомъ отношеніи лучше самаго новаго. Въ тѣ времена относились къ покойному Алексѣю Андреевичу Аракчееву почтительно, просто какъ къ графу и генералъ-адъютанту, но никто не намекалъ, что и онъ содѣйствовалъ развитію въ Россіи конституціоннаго духа“,

Позволительно спросить пестрыхъ людей: почему за то, что великій самодержецъ Петръ I побѣждалъ шведовъ, а великій статсъ-секретарь Сперанскій (какъ извѣстно, не вполнѣ благополучно для себя) созидалъ „конституціонные устои“, я обязанъ уважать г. Меньшикова и его вдохновителей? Тѣмъ болѣе позволительно задать этотъ вопросъ, что и г. Меньшиковъ, и его вдохновители „гораздо ближе къ нашему настоящему, чѣмъ къ прошлому“, т.-е. гораздо ближе къ Мукдену и Цусимѣ, чѣмъ къ Полтавѣ и Гангуту, и къ „дней Александровыхъ прекрасному началу“.

И откуда взяли вы, что я клевещу на нашихъ предковъ, которыми гордится Россія? Не вы ли клевещете на сошедшія въ могилу „освободительныя поколѣнія“, взваливая на нихъ вины ихъ тюремщиковъ и гонителей? Вы именно клевещете на нашихъ предковъ, боровшихся за конституцію, смѣшивая ихъ въ одну кучу и объединяя ихъ круговой порукою съ насильниками, лихоимцами и хамами, за которыхъ Россія расплачивалась кровавой цѣной.

Хамы... У Салтыкова есть изумительное, быть можетъ, неосознанное имъ самимъ пророчество о русской революціи, пророчество, заключающее въ себѣ цѣлую философію новой русской исторіи. Въ томъ послѣднемъ „Пестромъ письмѣ“, въ которомъ онъ даетъ характеристику въ числѣ прочихъ „пестрыхъ людей“ карьериста-охранителя Семена

Скорнякова, Салтыковъ влагаетъ въ уста „выжившему изъ ума члену англійскаго клуба, князю Селищеву“ такую тираду:

„Нынче, куда ни посмотришь—вездѣ хамы, да крапивное сѣмя. Прежде были Кочубеи, Панины, Долгорукіе, Голицыны, а нынче—Скорняковы да Боголѣповы. Хамъ онъ, вашъ Скорняковъ, оттого ему и везетъ! А скоро придетъ пора—и санкюлоты явятся. Ça ira... Я ужъ десять лѣтъ въ деревню не ѣзжу и дѣтей за границей держу“.

Въ шуточной формѣ „княжеской бутады“ геніальный сатирикъ высказалъ глубочайшую мысль-пророчество. Хамъ подготовилъ санкюлота. И если, съ санкюлотской стороны, въ русской революціи обнаружилось ужасающее отсутствіе государственной мысли,—то такъ же безпомощенъ и бездаренъ въ государственномъ отношеніи и Хамъ. Онъ хочетъ укрыть Мукденъ и Цусиму за славными именами Полтавы и Гангута.

Но развѣ Хамъ можетъ увѣрить кого-нибудь, что онъ похожъ на Якова Долгорукова? Современный Хамъ ничего, кромѣ аргумента изъ извѣстной басни о гусяхъ, предъявить націи не можетъ. Хамъ такъ же мало смыслитъ въ государствѣ, какъ и санкюлотъ, но, въ придачу, онъ безконечно низокъ и лживъ. Въ немъ обнаруживается все вырожденіе „режима“.

Г. Меньшиковъ такъ горячо вступился 1 января 1908 г. за честь Полтавы и Гангута, какъ символовъ „стараго порядка“. Это дѣлается, очевидно, для того, чтобы читатели забыли, какъ онъ 22-го декабря 1907 г. глубокомысленно доказывалъ преимущество Н. М. Аничкова, въ качествѣ главы учебнаго вѣдомства, надъ Н. П. Боголѣповымъ и корилъ г. Герасимова за то, что тотъ выбросилъ изъ этого вѣдомства слугъ стараго режима.

Не знаю, станетъ ли теперь послѣ новогодней статьи

г. Меньшикова г. Аничковъ считать себя участникомъ славы „Полтавы и Гангута“ или, наоборотъ, обидится на нововременскаго публициста за не вполнѣ почтительный отзывъ о „сравнительно очень новомъ режимѣ, томъ самомъ, что предшествовалъ войнѣ“. Впрочемъ, можетъ быть новый хозяинъ вѣдомства г. Шварцъ всѣхъ помиритъ.

Но мнѣ великолѣпныя размышленія г. Меньшикова надъ тѣмъ, кто въ 1900 г. былъ болѣе нуженъ Россіи въ качествѣ министра народнаго просвѣщенія, Н. М. Аничковъ или Н. П. Боголѣповъ, напомнили одинъ остроумный отвѣтъ незабвеннаго графа П. А. Гейдена. Когда кто-то спросилъ П. А., какую программу, соціалъ-демократовъ или соціалистовъ-революціонеровъ, онъ предпочитаетъ, и съ какой изъ этихъ партій онъ скорѣе былъ бы согласенъ вступить въ союзъ, покойный, ни мало не задумываясь, отвѣтилъ: на вашъ вопросъ я такъ же затрудняюсь отвѣчать, какъ на вопросъ, изъ какого этажа я предпочитаю выброситься на улицу, изъ четвертаго или изъ пятаго. Такое же затрудненіе должно было испытывать русское общество передъ еще теперь волнующимъ г. Меньшикова вопросомъ Аничковъ или Боголѣповъ?

Одна газета выразила недоумѣніе по поводу того, что я считаю нужнымъ „сражаться“ съ г. Меньшиковымъ и съ „Новымъ Временемъ“ вообще.

Я этого недоумѣнія не понимаю. И, я думаю, мое расхожденіе въ этомъ вопросѣ съ газетой „Товарищъ“ объясняется глубокимъ различіемъ въ міровоззрѣніи.

По всему своему міровоззрѣнію вообще и въ частности политическому я очень далеко отошелъ отъ того строя воззрѣній, которымъ традиціонно живетъ русская интеллигенція. Я твердо убѣжденъ, что русское политическое сознаніе переживаетъ въ настоящее время глубочайшій кризисъ. И величайшимъ препятствіемъ для выработки новаго госу-

дарственно-національнаго сознанія я считаю тѣ ужасныя фальсификаціи государственности и національнзма, которыми „Новое Время“ продолжаетъ отравлять своихъ читателей. Прикрываясь началами государственности и національности, оно могущественнымъ вѣяніямъ минуты приноситъ въ жертву государственную будущность Россіи. Въ области общественнаго мнѣнія „Новое Время“—это тотъ „старый порядокъ“, который уготовалъ намъ Мукденъ и Цусиму и готовитъ ихъ повтореніе, отстаивая реакцію—я позволю себѣ сдѣлать заимствованіе у г. Меньшикова—„бездарнѣйшую, какъ стоптанная калоша“ съ ногъ гр. Дм. А. Толстого.

Г. Меньшиковъ совсѣмъ не „дурачокъ“. Онъ прекрасно понимаетъ, какое идейное оружіе опасно для нововременскаго духа. Вотъ почему я получилъ отъ него званіе „озлобленнаго дурачка изъ подполья“.

Изъ этихъ четырехъ словъ г. Меньшиковъ—я это предвижу—сдѣлаетъ превосходное употребленіе.

„Профессоръ“ Шварцъ и „кураторъ“ Мелиссино [1]).

Г. Меньшиковъ привѣтствовалъ новаго министра народнаго просвѣщенія г. Шварца соотвѣтствующимъ внушеніемъ: разгромить университетскую автономію и властной рукой разжечь въ нашей школѣ, и въ особенности въ школѣ высшей, пламя „внутренней войны“. Бываютъ у исторіи странныя причуды! То лицо, которое теперь поставлено во главѣ учебнаго вѣдомства и къ которому несутся вопли разъяреннаго г. Меньшикова и его вдохновителей, своимъ именемъ и своимъ происхожденіемъ напоминаетъ объ одномъ изъ первыхъ университетскихъ „погромовъ“, произведенныхъ въ Россіи властной рукой.

„Въ одно утро пришелъ ко мнѣ нѣмчикъ, съ которымъ я, поговоря, сдѣлался, во всю жизнь до самой его смерти, неразлучнымъ“. Такъ Н. И. Новиковъ разсказывалъ о своей встрѣчѣ съ Іоанномъ Георгомъ Шварцемъ, основателемъ „Дружескаго Общества“ и „ординарнымъ профессоромъ философіи“ московскаго университета, избраннымъ на эту должность конференціей университета. Этотъ Иванъ Егоровичъ Шварцъ, выжитый за вредное направленіе изъ московскаго университета „кураторомъ“ по-

[1]) Рѣчь отъ 5 января 1908 г.

*

слѣдняго Мелиссино, былъ прадѣдомъ новаго министра народнаго просвѣщенія. Шварцъ подвергся гоненію, за „масонство“. „Масонство“, въ то время претило полицейскому обонянію также сильно, какъ теперь „ка-детство“. Гоненія, которыя обрушились на І. Г. Шварца, были предвѣстьемъ того разгрома, которому подверглось черезъ нѣсколько лѣтъ огромное культурное дѣло его друга Новикова.

Прошло болѣе столѣтія со смерти славнаго дѣятеля русскаго просвѣщенія Іоанна Георга Шварца, и въ грозовые дни 1905 г. другой „ординарный профессоръ философіи“ московскаго университета отправился въ Петербургъ для того, чтобы добыть автономію для русской высшей школы. То былъ князь Сергѣй Николаевичъ Трубецкой. Ему удалось это, повидимому, безнадежное предпріятіе.

Теперь обнаглѣвшіе до полнаго бѣшенства „шакалы и гіены“ реакціи призываютъ правнука Іоанна Георга Шварца разрушить то дѣло, въ которое отдаленный преемникъ его прадѣда по кафедрѣ вложилъ послѣднія силы своего надорваннаго патріотическою мукой сердца.

У исторіи бываютъ странныя причуды! „Кураторъ“ Мелиссино воскресъ для того, чтобы у правнука своей жертвы вымогать разгромъ все того же университетскаго дѣла.

„Шакалы“ по своему звѣриному нраву ждали отъ насъ скрежета зубовнаго по поводу назначенія г. Шварца на мѣсто г. Кауфмана. Напрасно,—это событіе заставило насъ прежде всего вспомнить, выражаясь современнымъ скернымъ газетнымъ языкомъ, объ „инцидентѣ“ „профессора“ І. Г. Шварца и „куратора“ Мелиссино.

А засимъ, назначеніе проф. А. Н. Шварца министромъ народнаго просвѣщенія вполнѣ естественно наводитъ и на другія размышленія. Я имѣю въ виду совсѣмъ не тотъ фактъ, что г. Шварца какіе-то „истинно-русскіе люди“

сдуру привѣтствовали въ качествѣ своего милаго союзника и протрубили о томъ, что онъ—ужасный „черносотенецъ“. Этимъ насъ не напугаешь. Мудрое изреченіе: „цыплятъ по осени считаютъ“ оправдывается и на политической судьбѣ русскихъ сановниковъ. Вспомните, какъ Герценъ встрѣтилъ назначеніе Я. И. Ростовцева въ руководители крестьянской реформы и какъ онъ его проводилъ въ могилу. Какое недоумѣніе вызвало назначеніе П. С. Ванновскаго, а все-таки онъ, въ качествѣ министра народнаго просвѣщенія, сыгралъ совсѣмъ не ту роль, которой отъ него ожидали. Съ другой стороны, И. Д. Деляновъ былъ ужаснымъ либераломъ въ роли попечителя учебнаго округа въ 60-хъ гг. и даже изъ либерализма оставилъ попечительство, а въ 80-хъ и 90-хъ гг. онъ же, при всей своей личной добротѣ, оказался жалкой маріонеткой жестокой и тупой реакціи и, правда нехотя, но, по наускиванію Толстого и Каткова, стряпалъ злоополучный университетскій уставъ 1884 г. Радикальный криминалистъ, мировой судья перваго призыва, Н. А. Неклюдовъ кончилъ тѣмъ, что былъ юридическимъ перомъ реакціи царствованія Александра III.

Даже „кураторъ“ Мелиссино въ 1767 г., въ качествѣ оберъ-прокурора святѣйшаго синода, выступилъ съ проектомъ радикальной церковной реформы. Въ какомъ духѣ будетъ, въ концѣ концовъ, дѣйствовать А. Н. Шварцъ,—въ духѣ ли І. Г. Шварца или же, наоборотъ, въ духѣ Мелиссино-Меньшикова, этого никто не можетъ сказать. Даже самъ г. Меньшиковъ, къ счастью, объ этомъ не берется гадать...

Когда классикъ-филологъ становится во главѣ учебнаго вѣдомства въ Россіи, это не можетъ, однако, не наводить на грустныя размышленія о судьбѣ классическаго образованія въ нашемъ отечествѣ. Долженъ признаться въ „старомодности“ своихъ воззрѣній. Ни гр. Дмитрій Андреевичъ Толстой, ни Александръ Ивановичъ Георгіевскій не истре-

били во мнѣ почтенія къ классическому образованію, какъ къ факту и фактору міровой культуры. И на мой взглядъ, нѣтъ болѣе печальнаго свидѣтельства объ ударахъ, понесенныхъ культурою въ Россіи, чѣмъ судьба въ ней классическаго образованія. Захваченное въ свои руки тупою реакціей, оно, извращенное и скомпрометированное, безславно и, кажется, окончательно погибло въ странѣ, не давъ съ 70-хъ гг., со времени своего оффиціальнаго расцвѣта, рѣшительно ничего національной культурѣ...

Я принадлежалъ къ тому послѣднему гимназическому выпуску, который засталъ еще въ университетѣ Дм. Ив. Менделѣева. Я слышалъ ту, каждый годъ очаровывавшую слушателей, первую лекцію его курса „основъ химіи", въ которой доминирующей нотою была глубокая вражда къ классическому образованію. Несмотря на свою юность,—я первокурсникомъ-студентомъ понялъ, какая въ этой враждѣ заключена культурная трагедія.

Но эта трагедія русской образованности—большая тема. Теперь же на очереди у всѣхъ насъ текущая злоба дня окажется ли „профессоръ" А. Н. Шварцъ—по внушенію г. Меньшикова—„куратором" Мелиссино для автономнаго русскаго университета?

Русскій шантажистъ и нѣмецкій патріотъ [1]).

I. Новая проба политическаго шантажа.

На полемику профессора Шимана со мной откликнулся г. Меньшиковъ.

„Совершенно легендарное"—какъ уже отмѣтило „Слово"—указаніе г. Шимана на мою „близость" къ министру иностранныхъ дѣлъ А. П. Извольскому, оказалось сейчасъ же подхваченнымъ публицистомъ „Новаго Времени".

Тотъ, кто дѣлаетъ и распространяетъ подобныя указанія, обязанъ доказать ихъ основательность. Я же скажу только, что у меня въ жизни была всего-на-всего одна встрѣча съ г. Извольскимъ, лишенная совершенно всякой таинственности и въ свое время оглашенная въ печати. Г. Извольскій—вмѣстѣ со своими подчиненными—давалъ объясненія въ бюджетной комиссіи 2-й Государственной Думы. Я, какъ членъ Гос. Думы, предлагалъ г. Извольскому вопросы, онъ какъ министръ мнѣ отвѣчалъ. Вотъ и все.

Я настолько „реальный политикъ", что отчетливо понимаю, почему г. Извольскій непріятенъ Теодору Шиману, нѣмецкому публицисту и эксперту германскаго императора.

---

[1]) Слово отъ 27 февраля 1908 г.

Г. Шиманъ, какъ прусско-нѣмецкій патріотъ, обязанъ, конечно, вести борьбу съ политикой г. Извольскаго, автора русско-англійскаго соглашенія. И „Слово“ уже правильно отмѣтило, что однимъ изъ средствъ такой борьбы можетъ являться компрометированіе русскаго министра иностранныхъ дѣлъ указаніемъ на его мнимую близость съ оппозиціей.

Къ тому же г. Шиманъ, какъ иностранецъ, конечно, самъ имѣетъ довольно туманныя представленія о нѣкоторыхъ русскихъ дѣлахъ и отношеніяхъ. Такъ, онъ полагаетъ, что я теперь ближе къ „октябристамъ“, чѣмъ къ „кадетамъ“.

Но то орудіе борьбы, употребленіе котораго если не позволительно, то простительно г. Шиману, какъ иностранцу, пекущемуся прежде всего объ интересахъ своего государства,—въ рукахъ г. Меньшикова становится инструментомъ излюбленнаго имъ политическаго шантажа.

Г. Шиманъ — патріотъ Пруссіи и Германіи, съ нимъ можно спорить и не соглашаться.

Г. Меньшиковъ, укрывающійся за г. Шимана,—прислужникъ низкихъ интригъ между лицами, которыя въ разныхъ темныхъ закоулкахъ ведутъ борьбу за высокіе посты. Словомъ, г. Меньшиковъ рыцарь политическаго шантажа на службѣ у бюрократической интриги. Прочтите статью Шимана и вы увидите, что и Шиманъ относится къ Меньшикову съ заслуженнымъ презрѣніемъ. Если „Слово“ въ своей передовицѣ о полемикѣ Шимана со мной не отмѣтило этой черточки, то просто потому, что презрѣніемъ къ г. Меньшикову въ Россіи никого не удивишь. Я уже въ свое время заклеймилъ эту публицистику политическаго шантажа и заниматься ею вновь не намѣренъ. Тутъ не о чемъ и не для чего больше спорить. Пусть г. Меньшиковъ называетъ меня „легковѣснымъ дѣятелемъ“, „еврейскимъ наемникомъ“, пусть онъ обвиняетъ меня въ томъ, что я—въ интересахъ „революціи“ — агитирую въ пользу грандіозной

европейской войны и т. п. Во всемъ этомъ глупость соперничаетъ съ низостью, и я предвижу день, когда за нестерпимую глупость эта низость будетъ съ позоромъ выгнана даже изъ „Новаго Времени“.

II. Означаетъ ли идеалъ „Великой Россіи“ проповѣдь войны?

Г. Шиманъ убѣжденъ, что начертанная мною программа укрѣпленія русскаго могущества неизбѣжно приведетъ къ войнѣ съ Турціей и, черезъ нее, съ другими державами, т. е., съ Австро-Венгріей и Германіей.

Я, несомнѣнно, стою за „активную“ политику всегда и во всемъ, но означаетъ ли та активная политика, которую я проповѣдую, неизбѣжность войны?

Да будетъ мнѣ позволено воспроизвести основныя мысли моей статьи. Вотъ что я писалъ въ ней:

„Для созданія Великой Россіи есть только одинъ путь: направить всѣ силы на ту область, которая дѣйствительно доступна реальному вліянію русской культуры. Эта область — весь бассейнъ Чернаго моря, т.-е. всѣ европейскія и азіатскія страны, „выходящія“ къ Черному морю.

Здѣсь для нашего неоспоримаго хозяйственнаго и экономическаго господства есть настоящій базисъ: люди, каменный уголь и желѣзо. На этомъ реальномъ базисѣ—и только на немъ—неустанною культурною работой, которая во всѣхъ направленіяхъ должна быть поддержана государствомъ, можетъ быть создана экономически мощная Великая Россія. Она должна явиться не выдумкой реакціонныхъ политиковъ и честолюбивыхъ адмираловъ, а созданіемъ народнаго труда, свободнаго и въ то же время дисциплинированнаго. Въ послѣднюю эпоху нашего дальне-восточнаго „расширенія“ мы поддерживали экономическую жизнь Юга отчасти нашими дальне-восточными предпріятіями. Отношеніе должно быть совершенно иное. Нашъ Югъ долженъ излучать по всей Россіи богатство и трудовую энергію. Изъ черноморскаго побережья мы должны экономически завоевать и наши собственныя тихо-океанскія владѣнія.

Основой русской внѣшней политики должно быть, такимъ образомъ, экономическое господство Россіи въ бассейнѣ Чернаго моря. Изъ такого господства само собой вытечетъ политическое и культурное преобладаніе Россіи на всемъ такъ называемомъ Ближнемъ Востокѣ. Такое преобладаніе именно на почвѣ экономическаго господства осуществимо совершенно мирнымъ путемъ. Разъ мы укрѣпимся экономически и культурно на этой естественной базѣ нашего могущества, намъ не будутъ страшны никакія внѣшнія осложненія, могущія возникнуть помимо насъ. Въ этой области мы будемъ имѣть великолѣпную защиту въ союзѣ съ Франціей и въ соглашеніи съ Англіей, которое, въ случаѣ надобности, можетъ быть соотвѣтствующимъ образомъ расширено и углублено. Историческое значеніе соглашенія съ Англіей, состоявшагося въ новѣйшее время и связаннаго съ именемъ А. П. Извольскаго, въ томъ и заключается, что оно, несмотря на свою кажущуюся новизну, по существу является началомъ возвращенія нашей внѣшней политики домой, въ область, указываемую ей и русской природой, и русской исторіей. Съ традиціями, которыя потеряли жизненные корни, необходимо рвать смѣло, не останавливаясь ни передъ чѣмъ. Но традиціи, которыя держатся сильными здоровыми корнями, слѣдуетъ поддерживать. Къ такимъ живымъ традиціямъ относится вѣковое стремленіе русскаго племени и русскаго государства къ Черному морю и омываемымъ имъ областямъ. Донецкій уголь, о которомъ Петръ Великій сказалъ: „сей минералъ, если не намъ, то нашимъ потомкамъ весьма полезенъ будетъ“,—такой фундаментъ этому стремленію, который значитъ больше самыхъ блестящихъ военныхъ подвиговъ. Безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что только на этомъ черномъ „минералѣ“ можно основать Великую Россію“.

Неужели это пропаганда войны и милитарнаго наступленія?

Въ качествѣ экономиста, я ставилъ проблему Великой Россіи, прежде всего, какъ проблему хозяйственную. Наши отношенія съ Англіей и Франціей должны были бы, на мой взглядъ, быть использованы, въ первую голову, въ цѣляхъ экономическаго укрѣпленія Россіи на Ближнемъ и Среднемъ Востокѣ. Съ этой точки зрѣнія я разсматривалъ и еврейскій вопросъ.

Заключалась ли какая-нибудь пропаганда войны въ томъ, что я писалъ о польскомъ вопросѣ?

Пусть судятъ читатели.

Вотъ мои подлинныя слова.

„Польская политика Россіи должна быть совершенно ясна. Опираясь на экономическую прикрѣпленность Польши къ Россіи, мы должны воспользоваться ея принадлежностью къ Имперіи для того, чтобы черезъ нее скрѣпить наши естественныя связи съ славянствомъ вообще и западнымъ въ частности. Польская политика должна служить нашему сближенію съ Австріей, которая теперь является по преимуществу державой славянской. Либеральная польская политика въ огромной степени подыметъ нашъ престижъ въ славянскомъ мірѣ и психологически совершенно естественно создастъ, впервые въ исторіи, моральную связь между нами и Австріей, какъ государствомъ. Въ экономическомъ отношеніи мы будемъ даже конкурентами на Ближнемъ Востокѣ, но эта конкуренція будетъ смягчаться и сглаживаться морально-политической солидарностью".

Г. Шиманъ—не въ примѣръ г. Меньшикову (я вообще долженъ извиниться за невольное сопоставленіе имени почтеннаго берлинскаго историка съ именемъ человѣка, который отдалъ свое перо на службу грязнымъ интригамъ)—читалъ мою статью и обильно цитируетъ ее. Тѣмъ многозначительнѣе тотъ выводъ, къ которому онъ приходитъ.

Если, по его мнѣнію, мирное укрѣпленіе русскаго могущества въ бассейнѣ Чернаго моря и морально-политическое сближеніе Россіи съ западнымъ славянствомъ, если осуществленіе обѣихъ этихъ задачъ означаетъ войну Турціи, Австріи и Германіи съ Россіей, то не значитъ ли это, что между органическимъ укрѣпленіемъ русскаго могущества и интересами германской политики существуетъ непримиримое противорѣчіе?

Я думаю, что интересы Германіи и Россіи на Ближнемъ Востокѣ антагонистичны. Но, на мой взглядъ, изъ этого антагонизма только въ томъ случаѣ вытечетъ военное

столкновеніе, если сильной, могущественной Германіи будетъ противостоять Россія слабая, разъединенная внутри, раздираемая племенными антагонизмами, забывшая о своемъ славянскомъ призваніи, Россія, изнывающая подъ полицейскимъ гнетомъ и отравленная его неизбѣжнымъ спутникомъ, противогосударственнымъ духомъ. Создать сильную, воистину великую Россію можно только полнымъ оздоровленіемъ народа и власти въ духѣ истинной государственности. Вотъ конечный выводъ моей статьи, и я врядъ ли ошибусь, если выскажу предположеніе, что не только моя подпись, но именно проникающій статью государственный духъ, смутившій многихъ русскихъ „интеллигентовъ", заставилъ нѣмецкаго историка и публициста обратить вниманіе на мои практически-политическіе выводы, непріятные для германскаго патріотизма.

Не думаю, чтобы вступленіе г. Меньшикова въ мой споръ съ Шиманомъ было полезно и пріятно послѣднему. Печать лживости и низости слишкомъ явственно лежитъ на писаніяхъ г. Меньшикова. Но, съ другой стороны, нѣмецкій патріотизмъ г. Шимана, къ которому я, какъ ко всякому искреннему патріотическому убѣжденію, отношусь съ величайшимъ почтеніемъ, еще менѣе можетъ быть à la longue полезенъ для тѣхъ интригъ, которыми вдохновляется перо г. Меньшикова. Слишкомъ уже ясно, что если для г. Шимана его политическій и патріотическій долгъ—travailler pour le roi de Prusse, то для г. Меньшикова та же самая задача диктуется совсѣмъ не столь возвышенными мотивами. Въ борьбѣ съ идеаломъ „Великой Россіи" г. Меньшикову, какъ бы онъ ни заметалъ слѣды бюрократическихъ и иныхъ переднихъ, не повезетъ. Въ результатѣ всякій пойметъ, что г. Меньшиковъ — публицистическій символъ г. Шванебаха или чего-нибудь еще похуже.

За Султана и Кесаря [1]).

Безсмысленная, тянувшаяся десятилѣтіями распря Англіи съ Россіей изжита, и англійское покровительство турецкому султану отошло въ область исторіи, которая уже не можетъ вернуться въ жизнь и стать живой силой. Этотъ поворотъ въ міровой политикѣ, имѣющій необозримое всемірно-историческое значеніе, г. Меньшиковъ и вдохновляющіе его господа стараются представить „кадетской интригой", цѣль которой ввергнуть Россію въ войну съ Германіей и вызвать—во славу революціи – европейскій пожаръ. На столбцахъ „Новаго Времени", того „Новаго Времени", которое въ семидесятыхъ годахъ завоевало себѣ мѣсто и положеніе рѣзкимъ отстаиваніемъ исторической освободительной миссіи Россіи на Ближнемъ Востокѣ, теперь восхваляется „завидная твердость" турецкаго султана по отношенію къ подвластнымъ ему христіанамъ, и въ ужасахъ персидской революціи обвиняется христіанское племя,— армяне.

Трудно сдержать негодованіе и стыдъ, читая эти жалкія апологіи турецкаго султана, это холопское прислуживаніе къ германскому кесарю. Вѣдь что-нибудь одно. Или гг. Меньшиковы въ-серьезъ боятся еврейско-армянской „революціи", и потому изъ сознанія полной государственной слабости

[1]) Слово отъ 20 іюня 1908 г.

Россіи, готовы склонить ея выю заразъ и передъ султаномъ, и передъ кесаремъ. Или же они просто считаютъ жалкой ветошью традиціи русской политики на Ближнемъ Востокѣ, тѣ немногія традиціи, на которыхъ въ лучшія минуты русское общество и русское правительство объединялись въ національномъ порывѣ и національномъ дѣланіи. Что-нибудь одно: или—безъ сотрудничества съ султаномъ и безъ покорности передъ кесаремъ—Россію растащутъ на клочки, или же на все наше историческое прошлое въ „турецкомъ“ вопросѣ мы должны плюнуть, какъ на скверную ошибку.

Бо̀льшаго презрѣнія къ своему народу и къ своему государству, чѣмъ то, которое, вопреки всѣмъ фразамъ о „достоинствѣ“ и „могуществѣ“ Россіи обнаружилъ г. Меньшиковъ въ статьѣ „Плечо къ плечу“ („Новое Время“ отъ 14 іюня), трудно себѣ представить.

Онъ говоритъ, что „въ Россіи походъ противъ Германіи ведетъ не національная (sic!), а, главнымъ образомъ, кадетская еврейско-польская пресса“. Похода противъ Германіи въ Россіи никто не ведетъ, но вся дѣйствительно независимая русская пресса—мы увѣрены—будетъ, какъ одинъ человѣкъ, протестовать противъ того, чтобы Россію пугали обязательствами, которыя Германія имѣетъ передъ Турціей изъ-за Багдадской желѣзной дороги, и чтобы насъ стращали „тевтонскимъ бѣшенствомъ“, furor teutonicus И не естественно ли, что пріятную для нѣмцевъ статью Меньшикова по телеграфу въ чрезвычайно сочувственной редакціи сообщила нѣмцамъ даже такая газета, какъ „Frankfurter Zeitung“, какъ бы давая тѣмъ самое выразительное опроверженіе любезной г. Меньшикову легендѣ о мнимомъ революціонномъ космополитизмѣ евреевъ? Кто же не знаетъ, что „Frankfurter Zeitung“, газета, основанная евреемъ и всегда отстаивающая интересы евреевъ? Въ

вопросѣ русско-нѣмецкихъ и нѣмецко-турецкихъ отношеній въ Германіи различій между партіями и направленіями почти нѣтъ. Всѣ почти нѣмцы думаютъ какъ г. Меньшиковъ. Тѣмъ лучше для нѣмцевъ, тѣмъ хуже для г. Меньшикова,—скажемъ мы: разница между г. Меньшиковымъ и нѣмцами только та, что къ счастью для себя и для насъ, нѣмцы не такъ вѣрятъ въ свое всемогущество, какъ увѣровалъ въ него г. Меньшиковъ.

Я сказалъ: всѣ почти нѣмцы думаютъ какъ г. Меньшиковъ. Говоря такъ, я имѣлъ сейчасъ въ виду одно интересное исключеніе. Редакторъ „Zukunft“ Максиміліанъ Гарденъ, влюбленный въ Бисмарка и его память, ядовитый критикъ Вильгельма II, вовсе не увѣренъ въ томъ, что политика германскаго кесаря—политика охраны Турціи, во что бы то ни стало—будетъ имѣть больше успѣха и болѣе реалистична, чѣмъ противоположная политика англійскаго короля Эдуарда. И съ гораздо бо́льшимъ основаніемъ, чѣмъ г. Меньшикову русско-французскій, Гардену представляется расшатаннымъ тройственный союзъ.

Я лично не думаю вовсе, чтобы Германія окончательно связала свою судьбу съ такой сомнительной „фигурой“, какъ современная Турція. Вѣдь, даже „Berliner Tageblatt“ въ статьѣ Гедке, опираясь на авторитетные источники, рисуетъ въ самомъ плачевномъ видѣ состояніе турецкой арміи; правда, авторъ называетъ Турцію прямо „союзникомъ“ Германіи, но я сильно сомнѣваюсь въ томъ, чтобы Германія приняла уже теперь обязательства „durch dick und dünn“ итти съ Турціей,—помочь Турціи, напримѣръ, въ случаѣ столкновенія ея съ Болгаріей. Россія же безконечно далека отъ того, чтобы помышлять о войнѣ на Балканахъ, и это хорошо знаютъ и на Wilhelmstrasse, и въ Ильдизъ-Кіоскѣ. Выходитъ такъ, что г. Меньшиковъ попусту пугаетъ Россію нѣмецко-турецкимъ союзомъ. По-

пусту, но не спроста. Англо-русское сближеніе есть ножъ острый для той жалкой реакціонной клики, которую обслуживаетъ своимъ перомъ г. Меньшиковъ и которая не переваритъ даже третьей октябристской Думы, а Кавказъ желала бы вернуть къ временамъ—недоброй памяти!—князя Голицына. Вотъ почему г. Меньшиковъ „завидную твердость“ турецкаго султана противопоставляетъ „слащавому безвластью“ русскаго намѣстника.

Гарденъ въ своей послѣдней статьѣ, посвященной македонскому вопросу [1]), напоминаетъ о союзномъ договорѣ, когда-то, въ 1490 г., заключенномъ между Иваномъ III и кесаремъ Максимиліаномъ, противъ Польши и Турціи. Теперь времена перемѣнились. Тотъ императоръ, котораго скорѣе можно считать по существу преемникомъ кесарей, царствовавшихъ надъ „священной римской имперіей германской націи“, является протекторомъ Турціи и ея султана. Пусть себѣ, но намъ нечего склоняться ни передъ кесаремъ, ни передъ султаномъ, какъ того хочетъ русскій—съ позволенія сказать „націоналистъ“—Меньшиковъ.

Австрійскій императоръ, „ветхій деньми“, многое на своемъ вѣку перевидавшій человѣкъ, и какъ государственная величина совсѣмъ не похожъ на преемника ни римскихъ императоровъ, ни кесарей священной римской имперіи. Германскій кайзеръ, наоборотъ, очевидно, чувствуетъ себя таковымъ. Недаромъ онъ самъ заказалъ скульптору Шотту статую, изображающую его въ видѣ римскаго императора, и въ такомъ же видѣ представилъ его извѣстный живописецъ Эберлейнъ, на конѣ, въ позѣ, напоминающей Петра Великаго на знаменитомъ памятникѣ Фальконета. Все это дѣйствуетъ на фантазію и, если угодно, въ изображеніи Эберлейна на лицѣ Вильгельма

---

[1]) „Makedonien“ въ „Zukunft“ отъ 14 (27) Іюня.

можно прочесть furor teutonicus. Но намъ, русскимъ, отъ этого furor'a вовсе не обязательно ни падать въ обморокъ, ни даже жаться къ „плечу" сосѣда.

Конечно, не личное стремленіе Вильгельма II воскресить въ своемъ лицѣ кесаря, а неотвратимыя силы исторіи опредѣляютъ и опредѣлятъ ходъ событій. И съ этой точки зрѣнія англо-русское сближеніе—повелительная необходимость. На такихъ разсужденіяхъ, какъ тѣ, которыя предлагаютъ русской публикѣ Меньшиковъ и его вдохновители, лежитъ печать не только двойственности, но и прямо логической нелѣпости. Эти люди хотятъ, но не рѣшаются прямо сказать, что Англія и ея король, привлекая на свою сторону Россію, дѣлаютъ это въ цѣляхъ войны съ Германіей. Намекая на это или, вѣрнѣе, инсинуируя въ этомъ смыслѣ, г. Меньшиковъ въ то же время пугаетъ насъ тѣмъ, что Франція промѣняетъ или уже промѣняла союзъ съ Россіей на союзъ съ Германіей. Но, значитъ, въ такомъ случаѣ рухнетъ ея сближеніе съ Англіей, которое, однако, для Англіи столь же (если не болѣе) существенно, какъ соглашеніе съ Россіей, и безъ котораго она врядъ ли можетъ рисковать войной съ Германіей.

Всѣ эти разсужденія гг. Меньшиковыхъ диллетантская болтовня, въ которой не сведены даже концы съ концами. Эти наѣзды въ область внѣшней политики были бы вообще непонятны, если не видѣть ихъ подлиннаго существа, т. е. не разсматривать ихъ, какъ публицистическія орудія бюрократической интриги. Дружба Россіи съ султаномъ нужна Меньшиковымъ для того, чтобы съѣсть гр. Воронцова-Дашкова и, главное, армянъ; покорность Россіи кесарю нужна для другихъ, болѣе широкихъ и глубокихъ плановъ той же интриги.

Берлинъ, 16 Іюня 1908 г.

Тревога и безголовье [1]).

Въ послѣднее время разные элементы русскаго общества обуяла какая-то тревога. Тревога эта особенно рѣзко выражается въ тѣхъ алармистскихъ статьяхъ, которыя возвѣщаютъ періодически то объ одной, то о другой опасности, угрожающей могуществу, цѣлости и даже безопасности нашего государства. Самымъ яркимъ образцомъ этой тревожной публицистики являются писанія г. Меньшикова. Несомнѣнно, что подобныя настроенія не чужды и сферамъ, которымъ принадлежитъ въ политикѣ руководящее значеніе. Нельзя сказать, чтобы эти тревожныя настроенія были совершенно лишены всякой связи съ реальными фактами.

Безсознательно, инстинктивно въ нихъ сказывается скорбное чувство ослабленной государственной мощи. Изъ этого чувства рождается тревога.

Въ нездоровой атмосферѣ произвола и неуваженія къ праву и къ человѣческимъ правамъ тревога эта въ свою очередь рождаетъ болѣзненныя представленія и явно нецѣлесообразныя дѣйствія.

Намъ угрожаютъ, говорятъ, заразъ Турція, Японія, Австрія, Германія, поляки, евреи, финляндцы. Словомъ, со всѣхъ сторонъ Россію и русскихъ окружаютъ враги. Поз-

---

1) Слово отъ 7 февраля 1908 г.

вольте, господа, въ такомъ случаѣ единственной цѣлесообразной государственной и національной политикой является—свести до минимума всѣ плоскости тренія, обратить своимъ образомъ дѣйствій часть враговъ въ друзей, концентрировать національныя усилія на самомъ важномъ и нужномъ. Но тѣ самые люди, которые бьютъ въ набатъ по поводу Турціи, кричатъ о неминучей опасности на Кавказѣ, указываютъ на козни Австріи и Германіи, тѣ же самые люди желаютъ согнуть въ бараній рогъ финляндцевъ, окрутить поляковъ, окончательно довести до отчаянія евреевъ и едва ли не мечтаютъ о реваншѣ по отношенію къ Японіи.

Всюду видятъ враговъ и со всѣми обращаются, какъ съ врагами. Это не проповѣдь государственной политики, а какое-то истерическое безголовье, которое неспособно разобраться въ реальной обстановкѣ, расположить всѣ вопросы въ надлежащей перспективѣ (sérier les questions, какъ говорилъ Гамбетта) и направить всѣ силы на одну точку, а мечется изъ угла въ уголъ не только въ безплодномъ, но прямо деморализующемъ возбужденіи.

Такова травля Финляндіи; таковы безсмысленныя нападки на поляковъ и евреевъ; таковы попытки разжечь потухшій ложный „манчжурскій патріотизмъ“. Все это не патріотизмъ, а истерическое безголовье, которое къ добру не приведетъ.

Если бы у насъ была сильная и единая государственная политика, это, выдающее себя за патріотизмъ неврастеническое метаніе, всюду отыскивающее государственныя опасности, было бы безобиднымъ спортомъ спекулирующихъ на сенсацію перьевъ. Но у насъ такой политики нѣтъ, у насъ разные доморощенные консерваторы успѣшно агитируютъ за упраздненіе даже того единства управленія, которое пока установлено почти исключительно на бумагѣ, но

*

которое есть необходимое условіе всякой осмысленной и отвѣтственной политики. А въ такихъ условіяхъ спортъ спекулирующихъ на сенсацію перьевъ самъ становится подлинной государственной опасностью.

Россія, какъ великая держава, переживаетъ трудное, прямо тяжкое время. Ей нужно огромное напряженіе силъ, величайшая ихъ экономія и концентрація. Въ это время всякія неврастеническія метанія, которыя, въ сущности, суть не что иное, какъ возвратъ къ старой, осужденной исторіей политикѣ, могутъ обойтись государству страшно дорого.

Задачи нашей внѣшней политики такъ ясны, что всякое уклоненіе отъ нихъ, всякая растрата силъ въ сторону отъ этихъ задачъ означаетъ принесеніе государственныхъ интересовъ въ жертву призракамъ капризнаго и больного воображенія.

Униженіе Россіи [1]).

Больна ли Россія? Есть ли у нея государственная мощь, соотвѣтствующая ея прошлому, ея возможностямъ, ея задачамъ и чаяніямъ? Новѣйшій оборотъ международныхъ дѣлъ, кажется, даетъ на эти вопросы такой недвусмысленный отвѣтъ, отъ котораго нельзя никуда укрыться.

Извѣстіе о томъ, что Россія признаётъ аннексію Босніи и Герцеговины, дѣйствуетъ ошеломляюще. Это національный позоръ. Дѣло вовсе не въ самомъ фактѣ. Къ нему можно относиться различно. Если смотрѣть на Австрію, какъ на державу, которая должна все больше и больше ославяниваться, всякое обрастаніе ея славянскими землями слѣдуетъ по существу привѣтствовать. Если считать, что Австрія всегда—при всѣхъ объективныхъ условіяхъ—останется германскимъ форпостомъ, что славянство и Россія отъ указаннаго „обрастанія“ Австріи только теряютъ,—и фактъ будетъ имѣть иное значеніе.

Но дѣло въ данномъ случаѣ не въ этомъ. Произошло нѣчто совершенно особое и нестерпимое. Россія, выдвинувшая предложеніе созыва международной конференціи для рѣшенія балканскихъ дѣлъ, могла, конечно, не дѣлать этого предложенія. Но разъ она его сдѣлала и поддерживала въ теченіе мѣсяцевъ, она съ нимъ связала себя и свою честь. Австрія и Германія, не желая итти на такую

---

[1]) Слово отъ 22 марта 1908 г. Эта статья была одновременно напечатана въ Московскомъ Еженедѣльникѣ.

конференцію, могли просто отклонить это предложеніе, это было бы прямо и ясно.

Произошло совсѣмъ не то. Австрія, а за ея спиной Германія угрозами, адресованными формально къ Сербіи, а по существу къ Россіи, систематически требовали отъ нашего правительства того безусловнаго признанія аннексіи Босніи и Герпеговины, котораго оно давать не хотѣло.

И они достигли этого, Россія совершила этотъ шагъ не какъ свободная договаривающаяся сторона, а какъ держава, которая настолько утратила свое великодержавное положеніе, что ее достаточно напугать для того, чтобы достигнуть отъ нея всего желаемаго.

Пусть интересы Сербіи не суть интересы Россіи. Но честь Россіи есть ея честь. Этимъ моральнымъ народнымъ благомъ велась и ведется игра съ такой безцеремонностью, которая безпримѣрна въ исторіи отношеній между великими державами. Съ современной Россіей разговаривали и разговариваютъ хуже, чѣмъ въ моменты величайшаго опьянѣнія своимъ могуществомъ Наполеонъ I говорилъ съ Александромъ I, а Наполеонъ III—съ Вильгельмомъ I.

Въ то время, какъ Франція и Англія соблюдаютъ свое достоинство, Россія не находитъ для этого достаточно рѣшимости.

Мы думаемъ, что въ этомъ безпредѣльномъ самоуничиженіи заключается величайшая ошибка. Дѣло не въ томъ чтобы преувеличивать матеріальныя силы Россіи. Мы этого вовсе не желаемъ. Но, чѣмъ больше мы будемъ показывать нашу слабость, тѣмъ слабѣе мы будемъ.

Въ настоящее время положеніе таково: нашихъ антагонистовъ, Австрію и Германію, никакой уступчивостью не своротишь съ пути. Единственное, что можетъ положить предѣлъ ихъ домогательствамъ, это, наоборотъ, твердость и увѣренность въ своей правотѣ.

Правительство, которое пожелаетъ и сумѣетъ морально опереться на націю, сможетъ проявить такую твердость и увѣренность. И если въ чемъ обнаруживается вся ужасающая неестественность того режима, подъ которымъ мы живемъ, такъ именно въ томъ, что правительство, окончательно спустившее въ угоду реакціи знамя 17 октября, не желаетъ вовсе такой опоры. Поэтому и только поэтому Россія, какъ съ злорадствомъ констатируютъ турецкія газеты, перестала въ качествѣ великой державы итти въ счетъ. Для того, чтобы сохранить неестественный режимъ, при которомъ русская конституція существуетъ лишь для m-r Пишона, но ея нѣтъ ни для русскаго народа, ни для русской власти, принесены въ жертву великодержавное положеніе Россіи и ея честь.

Таковъ голый фактъ. Его нельзя устранить никакими софизмами.

Но тотъ фактъ, что отъ Россіи можно было добиться всего угрозами,—пусть руководители нашей внутренней и внѣшней политики поймутъ это,—по существу гораздо страшнѣе для нихъ и для насъ, чѣмъ всѣ и всяческія угрозы иностранныхъ державъ.

Въ этомъ униженіи и самоуничиженіи Россіи заключается злѣйшій ядъ для всего нашего государственнаго и національнаго бытія.

Но поймутъ ли это руководители нашей политики? Не утрачена ли тамъ, гдѣ охраняютъ „неестественный режимъ“, всякая подлинная мысль объ отечествѣ, всякій дѣйствительный патріотизмъ и не наступилъ ли вновь разгулъ того противогосударственнаго духа, для котораго не власть посвящаетъ себя „служенію“ государству, а государство есть вотчина власти, отданная ей въ „услуженіе“?

Размышленія на политическія темы.

I. Пессимизмъ и оптимизмъ [1]).

Въ настоящее время въ русскомъ обществѣ борятся другъ съ другомъ два настроенія: одно пессимистическое, другое оптимистическое.

Недавно мнѣ пришлось бесѣдовать съ однимъ изъ мудрѣйшихъ и ученѣйшихъ русскихъ людей. Я поразился тому, какъ мрачно онъ смотритъ на судьбы Россіи, какими безъисходными противорѣчіями полна для него современная наша политическая жизнь.

Человѣкъ этотъ стоитъ какъ бы на высокой горѣ, съ которой ему несомнѣнно лучше, чѣмъ кому-либо, видно прошлое, съ которой передъ нимъ, можетъ быть даже яснѣе, чѣмъ передъ другими, развертывается будущее, но которая въ то же время отдѣляетъ его отъ настоящаго. Правъ ли онъ? Я этого не знаю. Противорѣчія русской жизни могутъ разростись въ огромную язву, которая сама потребуетъ наиболѣе „героическаго“ лѣченія; они могутъ разсосаться и сгладиться безъ всякихъ катастрофическихъ кризисовъ.

Но во всякомъ случаѣ, когда поднимаешься отъ обы-

[1]) Слово отъ 15 апрѣля 1908 г.

денщины, отъ жизни изо дня въ день и погружаешься въ размышленія историческаго характера, противорѣчія эти выростаютъ во всей своей жуткой громадности и бросаютъ зловѣщія тѣни.

Въ только-что вышедшемъ III томѣ „Русской Исторіи" В. О. Ключевскаго авторъ мастерскою рукой очерчиваетъ глубочайшія историческія противорѣчія, напоминающія тотъ періодъ русской исторіи, гранями котораго является вступленіе на престолъ Михаила Романова (1613) и смерть Николая I (1855).

„Это не просто историческій періодъ, а цѣлая цѣпь эпохъ, сквозь которую проходитъ рядъ важныхъ фактовъ, составляющихъ глубокую основу современнаго склада нашей жизни,—основу, правда разлагающуюся, но еще не замѣненную. Это повторяю, не одинъ изъ періодовъ нашей исторіи. Это—вся наша новая исторія". Противорѣчіями этого періода болѣемъ и страдаемъ мы: они нами не изжиты и не преодолѣны.

Ими питается тотъ ужасный пессимизмъ, который такъ часто охватываетъ самыхъ чуткихъ русскихъ людей.

Старый государственный порядокъ разложился, но его формы и методы мышленія, его импульсы и инстинкты оказываются еще весьма живучими въ правящихъ кругахъ. Съ другой стороны, соотвѣтствующій старому государственному порядку тяжкій сонъ народнаго ума безвозвратно нарушенъ. Такимъ образомъ, съ одной стороны, власть окаменѣвшихъ старыхъ формъ и привычекъ властвованія, съ другой стороны,—то бурное, то медленное, но безостановочное движеніе народнаго ума, проснувшагося къ самочинному умствованію.

И поверхъ этого глубокаго и язвеннаго противорѣчія слабый, тонкій обручъ новыхъ государственныхъ учрежденій. Спасетъ ли эта новизна, дастъ ли она окрѣпнуть новой

государственной ткани или и подъ ней гніеніе будетъ продолжаться, язва будетъ расти?

Я понимаю оптимистовъ, вѣрящихъ въ обручъ, но я также хорошо понимаю и пессимистовъ, видящихъ язву.

Я тѣмъ болѣе понимаю пессимистовъ, что самое пробужденіе народное было и остается до сихъ поръ болѣзненнымъ. Жестокія противорѣчія зіяютъ не только между дѣятельностью государства и интересами народа, въ самой общественности далеко еще не преодолѣны анархическіе инстинкты, тѣ же самые „тушинскіе“ инстинкты, которые такимъ яркимъ пламенемъ вспыхнули въ русской смутѣ конца XVI и начала XVII вѣка. Было бы смѣшно предаваться на этотъ счетъ какимъ-либо иллюзіямъ.

Для того, кто видитъ и это, будущее еще болѣе заволакивается тучами. Передъ его умственнымъ взоромъ язва выростаетъ, повязка утончается.

Спасетъ ли повязка? Или она окажется на громадной язвѣ жалкимъ пластыремъ?

II. Нѣчто о моемъ импрессіонизмѣ [1]).

Обозрѣватель печати въ „Рѣчи“ (см. вчерашній номеръ) упрекаетъ меня въ импрессіонизмѣ за то, что я подчеркнулъ наличность въ душѣ многихъ русскихъ людей глубокаго пессимизма и призналъ, что для этого настроенія есть реальныя причины, не видѣть которыхъ нельзя. Обозрѣватель напрасно думаетъ, что книга Сили навела меня—да еще „недавно“—на идею „Великой Россіи“ [2]), и также на-

---

[1]) Рѣчь отъ 18 апрѣля 1908 г.

[2]) Книга Сили, переведенная по моей иниціативѣ на русскій языкъ, вышла въ 1903 г., т. е. въ то время, когда я въ Штутгартѣ издавалъ „Освобожденіе“.

прасно полагаетъ онъ, что „Русская Исторія“ Ключевскаго повергла меня въ пессимизмъ. Я въ своей статьѣ не сказалъ даже, въ какую сторону для меня лично склоняется балансъ пессимизма и оптимизма; отчасти я этого не сдѣлалъ потому, что мой скептицизмъ по отношенію ко всякаго рода бурнымъ общественнымъ процессамъ и ко всякаго рода чрезмѣрностямъ вообще достаточно извѣстенъ. Говоря о пессимизмѣ и его жизненныхъ корняхъ,—я констатировалъ фактъ.

Пессимизмъ, о которомъ шла рѣчь въ моей статьѣ въ „Словѣ“, питается тѣми особенностями русскаго политическаго развитія, которыхъ не можетъ отрицать ни одинъ внимательный наблюдатель. Современная русская реакція—увы!—въ одномъ очень существенномъ отношеніи очень мало похожа на прусскую: послѣдняя, борясь съ радикализмомъ и революціей, не боялась твердой ногой стать на открыто конституціонную почву.

Съ другой стороны, нигдѣ въ мірѣ дѣйствительно умѣренные прогрессивные элементы не имѣли и не имѣютъ такъ мало авторитета, какъ у насъ. Въ эпохи подъема они въ общественномъ мнѣніи стушевываются предъ крайними теченіями (когда послѣднія имѣютъ возможность высказываться и вліять открыто на умы); въ эпохи реакціи власть практически не ставитъ ихъ ни во что. Не слѣдуетъ себѣ дѣлать иллюзій въ этомъ отношеніи: такое положеніе вещей можетъ создавать огромныя опасности для государства.

Достаточно поставить вопросъ, былъ ли, напримѣръ, въ Пруссіи мыслимъ когда-нибудь генералъ Думбадзе, и еще болѣе—мыслимо ли было бы пребываніе его у власти послѣ того запроса о немъ, который внесла парламентская партія, поддерживающая правительство, — достаточно поставить этотъ вопросъ для того, чтобы понять, о чемъ

я говорю, и понять также, какъ изъ подобныхъ фактовъ рождается самый мрачный пессимизмъ.

Современная русская жизнь—вопреки мнѣнію обозрѣвателя „Рѣчи"—конечно, несравненно богаче „противорѣчіями" въ этомъ смыслѣ слова, чѣмъ жизнь западно-европейская. Вѣрнѣе, въ западно-европейской жизни такихъ противорѣчій нѣтъ и даже быть не можетъ. Съ другой стороны, недавно газеты обошло извѣстіе, что лицо, извѣстное въ спеціальной литературѣ статьями по теоріи познанія, участвовало въ вооруженномъ нападеніи съ цѣлью грабежа и по приговору военнаго суда повѣшено за убійство.

Все это—факты, и какъ я ни далекъ отъ какихъ-либо чрезмѣрностей, въ такихъ фактахъ и я не могу не видѣть признаковъ тяжелыхъ болѣзненныхъ процессовъ, которыми поражено и государство и общество въ Россіи.

Эти болѣзненные процессы и явленія, къ сожалѣнію, несравнимы съ тѣми противорѣчіями, которыми „полна западно-европейская жизнь" и о которыхъ говоритъ мой оппонентъ. Выражаясь медицинскимъ терминомъ, наши противорѣчія „злокачественны".

Въ такомъ признаніи нѣтъ „импрессіонизма", а есть лишь—думается мнѣ—ясное сознаніе дѣйствительности.

III. Мнимая пропасть [1]).

Читатели „Слова" помнятъ еще, конечно, фельетонъ З. Н. Гиппіусъ объ „интеллигентщинѣ" [2]). Я не успѣлъ написать о немъ по свѣжимъ слѣдамъ, но теперь наверстываю упущенное.

---

[1]) Слово отъ 20 апрѣля 1908 г.

[2]) № отъ 6 апрѣля.

Основная мысль разсужденій З. Н. Гиппіусъ — старая мысль объ огромной розни между интеллигенціей и народомъ. Читая Гиппіусъ, иногда думаешь, что имѣешь передъ собой статьи Ивана Аксакова, который, со свойственнымъ ему риторическимъ блескомъ, трактовалъ эту тему въ 80-хъ гг. Тогда слову „интеллигенція“ уже окончательно былъ усвоенъ тотъ особый, правда, слишкомъ расплывчатый, культурно-философскій смыслъ, какой мы придаемъ ему теперь. Прежде оно употреблялось въ болѣе простомъ смыслѣ, напр., когда помѣщикъ откупщикъ въ тургеневской „Странной исторіи“ говорилъ: „У насъ смирно, губернаторъ меланхоликъ, губернскій предводитель холостякъ, а впрочемъ послѣ завтра въ дворянскомъ собраніи большой балъ. Совѣтую съѣздить: здѣсь не безъ красавицъ. Ну, и всю нашу интеллигенцію вы увидите“. Лицо, отъ котораго ведется разсказъ Тургенева считало слово „интеллигенція“ выраженіемъ „ученымъ“ и объясняло употребленіе откупщикомъ такого выраженія тѣмъ обстоятельствомъ, что „занятіе откупами вмѣстѣ съ солидностью развивало въ людяхъ нѣкоторое глубокомысліе“. Какія то были идилическія времена, когда интеллигенціей считались люди, которыхъ можно было увидѣть въ сборѣ на балу въ дворянскомъ собраніи!

Въ сущности, однако, какъ тогда не было особой культурной пропасти между народомъ и дворянской „интеллигенціей“, такъ нѣтъ ея и теперь между народомъ и интеллигенціей несословной.

Теперь пропасть еще меньше, чѣмъ прежде, потому что интеллигенція въ значительной мѣрѣ перестала быть „господской“ средой. Именно русская революція показала, что у народа нѣтъ своего особаго „стержня“, своей „основы“, своего „цвѣта“, отличнаго отъ стержня, основы и цвѣта интеллигенціи. Меня никто не можетъ упрекнуть, что я особенно пристрастенъ къ русской „интеллигенціи“, и не

изъ пристрастія къ ней говорю я это. Просто, это историческій фактъ. Грѣхи русской революціи — грѣхи, общіе интеллигенціи и народу. Разница только въ томъ, что интеллигенцію мы всегда мыслимъ, какъ субъектовъ (физическихъ или собирательныхъ), которымъ ихъ дѣйствія могутъ и должны быть вмѣнены, тогда какъ къ „народу" понятіе вмѣненія непримѣнимо. И процессъ духовнаго и культурнаго лѣченія долженъ быть начинаемъ съ „интеллигенціи". Но лекарствомъ она не можетъ позаимствоваться отъ народа. Народъ самъ нуждается не менѣе ея въ томъ же лѣченіи.

Мы такъ привыкли, что культурныя, прогресивныя и т. п. идеи были долгое время исключительнымъ достояніемъ небольшой кучки выходцевъ преимущественно изъ высшихъ слоевъ населенія, что обнаружившееся такъ ярко въ революціи сближеніе между „интеллигенціей" и народомъ представляется намъ какимъ-то чудомъ.

Но чудо это подготовлялось вѣками, и въ русской революціи начала XX вѣка едвали не столько же стародавняго, сколько и новаго. Отъ нея вѣетъ смутой XVII вѣка. Какъ эта смута была первымъ рожденіемъ націи, такъ революція XX вѣка была ея вторымъ рожденіемъ.

И оба раза нація оказывается не въ силахъ раздвинуть въ полную мѣру своего роста рамки государственнаго бытія.

Тѣмъ не менѣе формально она оба раза дѣлаетъ все таки огромный шагъ впередъ. Я говорю: формально, потому что идей и идеальныхъ началъ въ точномъ смыслѣ этого слова русская революція не произвела. Эту работу предстоитъ еще совершить. И на порогѣ къ этой работѣ мы встрѣчаемъ проповѣдь мистическаго или религіознаго народничества, идущую отъ Мережковскаго и его друзей.

Я сильно раскаиваюсь въ томъ, что, хотя и съ опаской

примѣнилъ къ своимъ идеямъ опредѣленія, образованныя отъ словъ „мистика“ и „религія“. „Мистика“ такъ, какъ ее теперь производятъ ad usum большой публики, есть не стыдливое проникновеніе тайной, а какая-то назойливая и непристойная погоня за нею. То же и съ религіей. Тутъ совсѣмъ забыто то правило „мудрѣйшаго изъ людей“, о которомъ напоминалъ въ своей рѣчи Карлейль: „Если ты ищешь великихъ вещей, не ищи ихъ“. И ужъ, конечно, не предлагай ихъ на всѣхъ перекресткахъ, какъ одоль или помаду отъ выпаденія волосъ. Быть можетъ, поворотъ къ осуществленію великихъ вещей начнется именно съ прекращенія болтовни и рекламы о нихъ. Это замѣчаніе не относится къ Мережковскому и его кругу. Но не скрою: досадно, что ихъ мысль какъ то болѣзненно вращается въ области чистѣйшихъ фантасмагорій, вродѣ „народной сущности“, „невидимой“ для интеллигенціи, а потому для нея „непостижимой“ и „недостижимой“. Русскій народъ создалъ русское государство, а насъ хотятъ увѣрить, что идеи „государственности“ нѣтъ въ самой „основѣ“ русскаго народа! Въ такихъ построеніяхъ сказывается лишь тотъ историческій и исторически условный фактъ, что русское государство до сихъ поръ еще недостаточно народно, а русскія народныя массы (вмѣстѣ съ интеллигенціей) еще недостаточно государственны. Но вѣдь и правительство наше еще недостаточно государственно. Все это значитъ, что нація еще не отвердѣла, что она находится еще въ жидкомъ, расплавленномъ состояніи. Но зачѣмъ же увѣрять и себя, и другихъ, что это такъ и слѣдуетъ?

Воззрѣнія Мережковскаго и Гиппіусъ на русскій народъ во многомъ удивительно совпадаютъ съ воззрѣніями... „союза русскаго народа“. Это то же самое фантастическое пониманіе русскаго народа только съ обратнымъ знакомъ, пониманіе не „бѣлое“, а „красное“.

Я твердо увѣренъ, что бѣлыя и красныя фантасмагоріи—плодъ болѣзненнаго состоянія, въ которомъ находятся духовныя силы русскаго народа; я увѣренъ также, что такіе писатели, какъ Мережковской и его друзья, уже излѣчившіеся отъ декаденства, избавятся и отъ мистическаго народничества. Скоро, я думаю, начнется на всемъ фронтѣ русской мысли поворотъ къ здравому смыслу и вообще къ здоровью.

Тутъ я соприкасаюсь съ темой, которую въ другой разъ разовью подробнѣе и на которую меня навелъ рядъ наблюденій. Если русская революція дала выкидышъ, то всего болѣе—отъ недостатка физическаго и психическаго здоровья. Я знаю даже одного русскаго антрополога-психіатра, который съ этой точки зрѣнія поставилъ крестъ на всемъ русскомъ народѣ, какъ безповоротно выродившемся. Это, конечно, огромное преувеличеніе, такъ же какъ преувеличеніе—теорія того же лица о революціонныхъ преступленіяхъ, какъ продуктѣ форменнаго... слабоумія (dementia). Но въ этомъ отчаянномъ взглядѣ на русскій народъ и на русскую революцію есть зерно правды, вопіющей къ небу. Многія явленія новѣйшей духовной жизни Россіи носятъ на себя явную психопатическую печать.

Плоть и духъ Россіи больны не въ томъ иносказательномъ смыслѣ, который недавно имѣлъ въ виду Бердяевъ въ своей статьѣ „Больная Россія“, а въ самомъ подлинномъ, точномъ, „позитивномъ“ смыслѣ.

Это—горькая истина, которую надо прочувствовать и продумать до конца.

IV. Чрезмѣрность полиціи и къ чему она приведетъ? [1]).

Пренія въ Государственной Думѣ по бюджету министерства внутреннихъ дѣлъ, затронувшія режимъ т. н. исклю-

---

[1]) Слово отъ 7 мая 1908 г.

чительныхъ положеній, развернули главный вопросъ русской политической жизни.

Въ этомъ вопросѣ правительство и его органы упорно поддерживаютъ основную неясность или... неискренность и на ней строятъ всю защиту своей политики. Когда говорятъ о вредѣ (политическомъ, культурномъ и моральномъ) исключительныхъ положеній, то въ отвѣтъ на это ссылаются на убійства, разбои, грабежи и проч. и увѣряютъ, что исключительныя положенія направляются только противъ преступной дѣятельности общаго, если угодно, общеуголовнаго свойства. Между тѣмъ, именно въ борьбѣ съ этими явленіями исключительныя мѣры или излишни, или безполезны. Онѣ были-бы совершенно излишни, если бы нормальный государственный аппаратъ функціонировалъ сколько-нибудь удовлетворительно, и кажется, что въ началѣ XX в. въ упорядоченномъ государствѣ уголовный судъ долженъ былъ бы являться достаточнымъ орудіемъ въ борьбѣ съ общей преступностью.

Если этого нѣтъ, то, значитъ, исключительныя положенія, какъ методъ борьбы съ преступностью, есть testimonium paupertatis, выдаваемое правительствомъ русской юстиціи. А въ то же время ясно, что весь аппаратъ исключительныхъ мѣръ, конечно, самъ по себѣ еще болѣе безсиленъ бороться съ преступностью, чѣмъ общая юстиція.

Но дѣло, конечно, не въ неудовлетворительности суда, а въ томъ, что исключительныя мѣропріятія призваны бороться вовсе не съ преступными дѣйствіями, а по прежнему—съ „вредными направленіями,“ независимо отъ того, выражаются ли они въ какихъ-либо преступныхъ или хотя бы только запрещенныхъ закономъ дѣйствіяхъ, или нѣтъ. Не для борьбы съ общей преступностью, а для борьбы съ „вредной“ общественной самодѣятельностью существуютъ исключительныя мѣропріятія.

Это совершенно ясно, и въ этомъ заключается одинъ изъ трагическихъ тупиковъ, въ которые зашла русская жизнь.

Современная русская дѣйствительность—съ ея послѣреволюціоннымъ упадкомъ общественной жизни—можетъ быть въ политическомъ отношеніи охарактеризована двумя словами; чрезмѣрность полиціи. Въ вѣчныхъ исключительныхъ положеніяхъ и ихъ практикѣ эта чрезмѣрность управляетъ всей русской жизнью и совершенно неотвратимо готовитъ себѣ на смѣну чрезмѣрность въ противоположномъ духѣ.

Нѣтъ страны, въ которой было бы такъ много полиціи, какъ въ Россіи, и нѣтъ страны, въ которой такъ мало признавали бы полицію даже въ мѣру ея дѣйствительной необходимости.

Это стоитъ одно въ связи съ другимъ. Режимъ „исключительныхъ положеній“ увѣковѣчиваетъ чрезмѣрность полиціи и въ то же время чрезмѣрность ея отрицанія.

Это то самое противорѣчіе, въ которомъ запутался и на которомъ далъ трещину старый порядокъ. И ничто не свидѣтельствуетъ такъ ярко о томъ, что старый порядокъ не отошелъ въ вѣчность, какъ именно возрожденіе этого противорѣчія.

Съ другой стороны, въ спорахъ объ исключительныхъ положеніяхъ не видятъ самаго главнаго, а именно того, что только въ странѣ, въ которой, какъ теперь въ Россіи, хозяйственная жизнь подорвана и угнетена, возможна вообще подобная практика управленія при томъ состояніи умовъ, въ которомъ находятся массы населенія. Если бы въ Россіи вмѣсто хронической депрессіи хозяйства, связанной съ безработицей и голоданіемъ населенія, начался экономическій подъемъ—исчезла бы самая возможность поддерживать исключительныя положенія и управлять въ ихъ духѣ. Режимъ этотъ возможенъ только по отношенію къ странѣ, находящейся въ состояніи экономическаго оцѣпенѣнія.

Самая преступность, противъ которой борются воен-

ными судами и смертными казнями—число ихъ въ Россіи для новѣйшаго культурнаго государства представляетъ нѣчто неслыханное!—есть, конечно, прежде всего, явленіе, тѣсно связанное съ экономическимъ оцѣпенѣніемъ.

Между тѣмъ Россія д о л ж н а быть вырвана изъ этого оцѣпенѣнія. Если есть задача, общая для правительства и самыхъ крайнихъ его противниковъ, не утратившихъ здраваго смысла, то она сводится къ экономическому возрожденію и оздоровленію Россіи, къ подъему ея производительныхъ силъ. И задача эта можетъ и должна быть формулирована именно въ такой о б щ е й формулѣ. Ибо можно спорить о „принудительномъ отчужденіи“, быть за общину или противъ нея, но о томъ, что съ десятины земли, кому бы она ни принадлежала, необходимо собирать возможно больше хлѣба, о томъ, что въ народное хозяйство должно быть въ какой бы то ни было формѣ брошено возможно больше капитала,—объ этомъ между здравомыслящими людьми спора быть не можетъ.

Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что въ Россіи не въ очень отдаленномъ будущемъ наступитъ все-таки хозяйственный, и, въ частности, промышленный подъемъ. И вотъ я ставлю вопросъ: если исключительныя положенія, общественно-психологическимъ условіемъ которыхъ является хозяйственное оцѣпенѣніе страны, не будутъ во-время отмѣнены, они—съ огромнымъ ущербомъ для власти и порядка—будутъ р а з о р в а н ы или превращены въ нѣчто, смѣхотворное и роняющее власть самымъ процессомъ экономическаго подъема. Такъ было послѣ Плеве, такъ будетъ послѣ Столыпина и Макарова. И далѣе, если исключительныя положенія не будутъ во-время отмѣнены, то съ какой подготовкой, съ какой соціально-психологической дисциплиной вступятъ широкія массы въ эту полосу подъема? Развѣ не исключительныя положенія воспитываютъ массы въ навыкахъ не-

уваженія къ порядку, въ чувствахъ ненависти къ власти, вражды ко всякому авторитету? Развѣ чрезмѣрность полиціи не есть атмосфера, благопріятствующая анархическому духу и въ отдѣльныхъ личностяхъ, и въ массахъ? Развѣ, когда власть становится надъ правомъ и внѣ права,—это не укрѣпляетъ подвластныхъ въ мысли, что—при удобной комбинаціи обстоятельствъ—и имъ слѣдуетъ перешагнуть черезъ право и взять свое „захватнымъ порядкомъ"?

Все это представляется отвлеченнымъ разсужденіемъ только тѣмъ, кто живетъ сегодняшнимъ днемъ. Сегодняшній день Россіи плачевенъ не только и не столько тѣмъ, что торжествуетъ „реакція". Общественной реакціи въ странѣ нѣтъ, т. е. нѣтъ ея въ широкихъ массахъ. Вся же политическая реакція держится на атоніи и анеміи хозяйственной жизни страны. Въ этомъ слабость позиціи правительства, поскольку оно отстаиваетъ неконституціонный порядокъ управленія, ибо—какъ бы ни было реакціонно правительство—оно, въ общемъ и цѣломъ, хотя бы ради усиленія финансовъ государства, вынуждено будетъ содѣйствовать хозяйственному подъему страны.

Преодолѣніе политической реакціи возможно только въ процессѣ оживленія хозяйственной жизни страны. Проблема русскаго политическаго прогресса стоитъ для меня теперь, въ 1908 г., принципіально такъ же, какъ она ставилась мною въ 1894 г. въ „Критическихъ Замѣткахъ". И въ самомъ дѣлѣ: мертвая точка абсолютизма была въ 1904—1905 гг. преодолѣна не только на отрицательной почвѣ,—не только бладодаря жестокимъ урокамъ русско-японской войны, но и на положительной почвѣ всего того усложненія экономической жизни, которое дала эра Витте.

И только такъ будетъ преодолѣна и мертвая точка лжеконституціонализма, народнаго представительства, окруженнаго чрезвычайными охранами.

Изъ такого пониманія условій развитія русской государственности и общественности вытекаетъ опредѣленная линія поведенія независимыхъ общественныхъ силъ.

Объ этой проблемѣ, экономической проблемѣ „Великой Россіи“—въ другой разъ.

V. Славянскіе дни [1]).

По личнымъ обстоятельствамъ мнѣ, къ сожалѣнію, не пришлость участвовать въ „славянскихъ дняхъ“ и видѣть кого-либо изъ славянскихъ гостей. Но, судя по тому, что я прочелъ въ газетныхъ отчетахъ и что инымъ путемъ дошло до меня, я вижу, что эти дни не были безсодержательной шумихой, что они оставятъ свой слѣдъ, и очень крупный, въ настроеніи русскаго общества.

Прежде всего: русское общество могло живо почувствовать на этотъ разъ, какое значеніе имѣютъ для внутреннихъ дѣлъ, для внутренняго самочувствія и самоопредѣленія международныя проблемы. Постановка славянскаго сближенія на очередь совершенно дѣловымъ образомъ сблизила разныя русскія политическія группы, смягчила рѣзкія отталкиванія, утвердила нѣкоторую общность. Такимъ образомъ, благодаря славянамъ и ради славянъ, произошла нѣкоторая внутренняя détente.

А въ связи съ этимъ общественное мнѣніе почувствовало себя, ощутило свою силу и—безъ всякихъ рѣзкихъ и враждебныхъ жестовъ, ipso facto нѣкотораго общественнаго объединенія—показало эту силу правительству. Въ этомъ не заключается ни малѣйшаго преувеличенія: славянскіе дни—большая побѣда независимой русской общественности надъ всѣми темными силами, ее стерегущими.

---

[1]) Слово отъ 18-го мая 1908 г.

И потому, прежде всего, большое и искреннее спасибо славянскимъ гостямъ за то, что они своимъ пріѣздомъ показали, что независимая русская общественность, на которой только и можетъ быть укрѣплена русская государственность, есть не только сила растущая, но уже и теперь выросшая.

Г. Меньшиковъ въ „Новомъ Времени“ провожаетъ славянскихъ гостей и, въ частности „австрофила“ д-ра Крамаржа карканіемъ о гибели и распадѣ Австріи.

Политическій диллетантизмъ неисправимъ. Съ какимъ бы знакомъ, революціоннымъ или реакціоннымъ, онъ ни выступалъ, онъ всюду чуетъ сенсаціи, coups de théatre, и не можетъ оторваться отъ ихъ чарованія. Политическій распадъ Австріи это—вродѣ той соціально-экономической гибели, которую въ 1850 г. Ледрю-Роллэнъ пророчилъ Англіи въ своей книгѣ „De la decadence de l'Angleterre“, или вродѣ того государственнаго банкротства, которое цѣлый рядъ публицистовъ уже десятки лѣтъ пророчитъ Россіи—въ послѣднее время пресловутыя публикаціи извѣстнаго нѣмецкаго регирунгсрата Мартина особенно популяризовали эту мысль.

Жизнь сложнѣе и интереснѣе подобныхъ карканій. Растащить Австрію по кускамъ не такъ просто, какъ кажется г. Меньшикову, даже таможенное отдѣленіе Венгріи отъ Австріи наталкивается на огромныя экономическія трудности.

Г. Меньшиковъ думаетъ, что легко выкроить нѣмцевъ изъ Австріи (или даже изъ Австро-Венгріи), „вѣдь существуютъ этнографическія карты и статистическій матеріалъ по которому совсѣмъ не трудно отдѣлить одну народность отъ другой“. Какая наивность или какое невѣжество! Вѣдь выкроить нѣмцевъ изъ Австріи—значить дѣйствительно раздробить ее и тѣмъ самымъ на мѣсто политически и

экономически сильной державы создать нѣсколько слабыхъ, экономически захудалыхъ, разъединенныхъ государствъ. Кто же осмѣлится или сможетъ совершить это убійство стародавняго государства? Даже могущественная Германія не сдѣлаетъ этого и не сможетъ сдѣлать.

Я понимаю, что подобныя фантастическія перспективы не увлекаютъ д-ра Крамаржа. Онъ не политическій диллетантъ.

Съ его именемъ я встрѣтился впервые, когда студентомъ въ началѣ 90-хъ годовъ заинтересовался подготовлявшейся въ то время австрійской валютной реформой.

Одинъ изъ способнѣйшихъ учениковъ Адольфа Вагнера—д-ръ Крамаржъ въ 80-хъ годахъ написалъ весьма цѣнную книгу по исторіи австрійскихъ бумажныхъ денегъ.

Человѣкъ съ такимъ экономическимъ образованіемъ и съ такимъ политическимъ опытомъ, какъ Крамаржъ, не можетъ ни строить, ни раздѣлять плановъ „справедливаго раздѣла“ Габобургской монархіи. Это—скверныя бредни, осуществленіе которыхъ, явившись убійственнымъ для силы австрійскаго славянства, только усилило бы германизмъ Г. Меньшиковъ самъ, дѣлая обязательный комплиментъ „умному германскому императору“, проговаривается въ этомъ смыслѣ: „для крупныхъ державъ наиболѣе выгодное сосѣдство—маленькія державы, и если бы послѣднія возникли въ центрѣ Европы, это обезпечило бы германское на нихъ вліяніе крѣпче, чѣмъ присоединеніе“, и, добавимъ отъ себя, конечно, крѣпче, чѣмъ объединеніе славянскихъ народовъ въ австрійской монархіи. Къ счастью, то присоединеніе къ Германской Имперіи католическихъ нѣмецкихъ областей Австріи, безъ котораго неосуществимъ проектируемый г. Меньшиковымъ „справедливый раздѣлъ“ этой державы, непріемлемо для современной протестантской по большинству своего населенія Германіи.

Оно означало бы для Германіи цѣлый культурный пе-

реворотъ. Политическая и, еще болѣе, экономическая жизнь вообще консервативнѣе, чѣмъ это представляется гг. Меньшиковымъ.

Когда Пруссія не пускала Австрію въ „Таможенный союзъ", она создавала ее какъ особое экономическое тѣло, отдѣльное отъ Германіи и ей въ извѣстныхъ отношеніяхъ противополагающееся. Разрѣзать теперь это тѣло на части, однѣ пришить къ Германіи, другія превратить въ маленькіе государственные клочки—это легко сдѣлать на бумагѣ газеты, но не въ реальной жизни. Въ будущемъ слѣдуетъ ждать не политическихъ катастрофъ, а органическаго роста.

Славяне должны овладѣть Австріей и укрѣпить ее, какъ славянское государство. При условіи прочнаго русско-польскаго примиренія у Австріи будетъ и славянская политика. Г. Меньшиковъ совершенно вѣрно говоритъ, что „такова... славянская комбинація послѣднихъ лѣтъ". Кстати это та комбинація, противъ которой онъ еще такъ недавно вслѣдъ за прусскимъ публицистомъ Шиманомъ, билъ въ набатъ, въ отвѣтъ на мою статью „Великая Россія". Теперь г. Меньшиковъ выражаетъ этой комбинаціи сочувствіе—онъ только не вѣритъ въ ея успѣхъ. Она не осуществима по его мнѣнію—„при нынѣшнемъ ослабленіи Россіи".

Но почему же Россія должна вѣчно оставаться слабой? И развѣ нѣтъ средствъ—укрѣпить Россію? Средства эти есть. И первое изъ нихъ: это—придать независимымъ творческимъ силамъ націи ту бодрость и жизненность, безъ которыхъ невозможно оздоровленіе національнаго организма. Въ „славянскіе дни" черезъ русскую общественную жизнь прошла именно струя такой умиротворяющей и укрѣпляющей бодрости. За то, что они вызвали эту струю еще разъ спасибо нашимъ славянскимъ гостямъ!

VI. «Академическая» безграмотность [1]).

Юбилей А. С. Суворина вызвалъ цѣлый рядъ привѣтствій ему. Я не собирался читать ихъ, такъ какъ литература юбилейныхъ привѣтствій гораздо менѣе интересна даже, чѣмъ столбцы объявленій, да и тѣ читаешь лишь со спеціальными цѣлями. Но случайно мой взглядъ упалъ на привѣтствіе „Отъ общаго собранія русской академической корпораціи". Названная корпорація, если не ошибаюсь, притязаетъ быть представительницей т. н. „у ч а щ е й с я" молодежи, которая противополагаетъ себя молодежи, т. н. „н е у ч а щ е й с я".

Это привѣтствіе, если А. С. Суворинъ прочелъ его, должно было повергнуть его въ изумленіе и огорченіе. Дѣйствительно оно должно всякаго человѣка, безъ различія направленій и партій, дорожащаго интересами русскаго просвѣщенія, навести на самыя грустныя размышленія. Вотъ молодые люди, которые „прежде всего дорожатъ университетомъ какъ храмомъ науки", и, обращаясь къ уважаемому ими журналисту, пишутъ во всѣхъ смыслахъ безграмотно. „Ровно 50 лѣтъ назадъ, когда наша публицистическая литература не имѣла того прямого опредѣленнаго направленія, которое регулировало бы ея общественную жизнь (общественная жизнь публицистической литературы! П. С.), вы первый направили ея (чьи? П. С.) силы на осуществленіе тѣхъ принциповъ, на коихъ покоится наша русская государственность". Я не знаю, о какихъ принципахъ говорятъ молодые люди, но они могли бы знать, что 50 лѣтъ тому назадъ А. С. Суворинъ не въ качествѣ „перваго" просто сталъ писать въ періодическихъ изданіяхъ. Кромѣ того,

---

1) С л о в о отъ 24 мая 1908 г.

представителямъ русской академической корпораціи, говорящимъ о „принципахъ, на коихъ покоится... русская государственность“, приличествовало бы знать, что прежде чѣмъ А. С. Суворинъ „направилъ силы“, жилъ въ Москвѣ человѣкъ по имени М. Н. Катковъ, что тамъ же дѣйствовалъ нѣкій И. С. Аксаковъ, наконецъ, что раньше чѣмъ А. С. Суворинъ прославился въ качествѣ фельетониста въ русской „публицистической литературѣ“, выдвинулся защитой „государственныхъ“ принциповъ профессоръ Б. Н. Чичеринъ. Я нарочно привожу имена писателей съ сильно выраженной государственно-національной складкой, которой не могутъ не сочувствовать гг. академисты (Чичеринъ въ первой половинѣ 60-хъ гг. былъ именно руководящимъ русскимъ консервативнымъ публицистомъ-мыслителемъ, стоявшимъ „правѣе“ Каткова).

Гг. „академисты“ говорятъ еще А. С. Суворину: „вы п е р в ы й (курсивъ мой. П. С.) заявили обществу, что искренное, безкорыстное служеніе обществу есть высшая награда для истиннаго патріота“. Г. Суворинъ можетъ сказать молодымъ людямъ: „помилосердствуйте, господа, я писалъ фельетоны и памфлеты, но я никогда не писалъ, да еще „первый“... прописей. Вы меня обижаете своей безвкусицей, своимъ безграмотствомъ, своимъ невѣжествомъ. Поучитесь, господа“.

Обратить вниманіе на этотъ изумительный по безграмотству адресъ „русской а к а д е м и ч е с к о й корпораціи“ А. С. Суворину, слѣдуетъ, конечно, не для того, чтобы посмѣяться надъ молодыми людьми и надъ юбиляромъ. Это нисколько не соблазнительно и не интересно. Въ такихъ фактахъ для насъ должна быть важна не ихъ забавная, а ихъ серьезная сторона. Гг. академисты борются за „храмъ науки“ и гордо подымаютъ знамя „ученія“. Но вотъ плодъ ихъ собственной „образованности“. Судите о немъ не съ

точки зрѣнія политической, не подъ угломъ партій и направленій, а просто съ точки зрѣнія грамматики и извѣстнаго обязательнаго минимума образованности.

Право, и издатель „Новаго Времени“ заслужилъ, по крайней мѣрѣ, чтобы его прославляли съ соблюденіемъ русскаго синтаксиса и хотя бы съ самымъ поверхностнымъ знаніемъ исторіи русской печати. Право, А. С. Суворинъ не заслужилъ того, чтобы русская „учащаяся молодежь“ подносила ему вѣнки изъ цвѣтовъ безграмотности да еще „академической“.

Гг. „академисты“, ради А. С. Суворина, а кстати и „храма науки“, станьте грамотны!

VII. Два слова по поводу полемики о „національномъ лицѣ“ [1]).

Обсужденіе національной проблемы, поставленной статьями, появившимися въ „Словѣ“, нельзя продолжать въ плоскости чисто полемической.

Проблема слишкомъ серьезна для того, чтобы дать ея жизненному смыслу исчезнуть въ звонѣ скрещиваемыхъ газетныхъ шпагъ, въ литературномъ фехтованіи, гдѣ часто существо дѣла приносится въ жертву эффектному сближенію или расчитанному на слабые нервы полуистерическому выкрику, или же, наконецъ, любезному нѣкоторой части публики забавному подхихикиванію съ примѣсью ловко пущенной инсинуаціи. Изъ вторичныхъ откликовъ на мою статью [2]) серьезные вопросы ставятъ статьи Д. А. Левина въ „Рѣчи“ и „Открытое письмо“ М. М. Винавера. Не потому ли, что въ этихъ статьяхъ моихъ

---

1) Тамъ же.

2) Рѣчь идетъ о статьѣ „Интеллигенція и національное лицо“, перепечатываемой ниже.

оппонентовъ-евреевъ чувствуются живое національное чувство и какая-то подлинная скорбь? Наоборотъ, передовица „Нашей Газеты“ производитъ гнетущее и даже безотрадное впечатлѣніе. Такой „проекціи“ моихъ мыслей я не предвидѣлъ; я не предвидѣлъ, что люди этого лагеря будутъ съ такой легкостью соблазнены „Новымъ Временемъ“ и „Россіей“ и станутъ смаковать ихъ смакованіе, что они будутъ въ такой жалкой мѣрѣ несвободны въ своихъ сужденіяхъ. Отъ этого смакованія нововременскихъ „проекцій“ одинъ шагъ до того, что сказала газета „Вечеръ“, вытащившая по этому случаю для увеселенія публики эпизодъ съ „чашкой чая на Елагиномъ островѣ“...

Такъ превращенная въ турниръ полемика сразу обмелѣла до пошлости. Въ этой плоскости, по моему, нечего дѣлать ни писателю, ни читателю, если они чего-нибудь ищутъ. Но существо дѣла заслуживаетъ обсужденія, и я отнюдь не намѣренъ уклониться отъ него. Разъ поставлены такія сложныя проблемы, къ которымъ прикрѣпляются столь сильныя и глубокія чувства, ихъ нельзя и не слѣдуетъ замалчивать.

VIII. **Русско-германскія отношенія** [1]).

Ревельское свиданіе и отношеніе къ нему общественнаго мнѣнія Россіи продолжаютъ быть предметомъ живѣйшаго обсужденія и у насъ, и за границей. Всѣ русскія газеты уже отмѣтили статью профессора Шимана въ „Neue Freie Presse“, и мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ на тему этой статьи. Тѣмъ болѣе, что въ новѣйшее время по всей нѣмецкой прессѣ усиленно шелъ разговоръ о травлѣ противъ Германіи въ русской печати и недавняя статья „Россіи“ о русско-германскихъ отношеніяхъ разсматрива-

---

1) **Слово** отъ 5 іюня 1908 г.

лась какъ оффиціозное внушеніе правительственныхъ сферъ, сдѣланное русскому общественному мнѣнію. Пусть, впрочемъ, германское общественное мнѣніе не преувеличиваетъ по старому вліянія и значенія подобныхъ заявленій—русское общественное мнѣніе уже переросло и оффиціозныя, и оффиціальныя внушенія: оно есть самостоятельная сила, которую уже ничто не можетъ ни подавить, ни согнуть.

Пишущему эти строки чужда всякая противонѣмецкая тенденція. Будучи русскимъ по воспитанію и чувствамъ, я чувствую сильное притяженіе къ мощной нѣмецкой культурѣ; не только происхожденіемъ, но и множествомъ духовныхъ нитей я связанъ съ ней: нѣмецкая наука и нѣмецкая литература мнѣ не только знакомы, онѣ мнѣ дороги и милы. Вотъ почему, мнѣ думается, я могу безъ враждебнаго предубѣжденія, съ полнымъ пониманіемъ того, что сами нѣмцы называютъ „Deutsches Wesen“, сказать нѣсколько словъ о той несомнѣнной натянутости, которая установилась въ русско-германскихъ политическихъ отношеніяхъ (поскольку рѣчь идетъ объ общественномъ мнѣніи Россіи и Германіи).

Постараюсь по пунктамъ выяснить, чего хочетъ, какъ мнѣ думается, русское общественное мнѣніе.

Русское общественное мнѣніе, безъ различія направленій, желаетъ, чтобы русская политика на Ближнемъ Востокѣ и, въ частности, на Балканахъ, продолжала свои славныя традиціи освобожденія христіанскихъ народовъ. Это не значитъ, что эта политика должна быть направлена противъ Германіи и нѣмцевъ. Но это значитъ, что она не можетъ мириться съ неприкосновенностью существующаго турецкаго режима на Ближнемъ Востокѣ. Ничто не иллюстрируетъ столь ярко разногласія между русскимъ общественнымъ мнѣніемъ и тѣмъ нѣмецкимъ общественнымъ мнѣніемъ, представителемъ котораго является проф. Шиманъ, какъ то, что главныхъ виновниковъ смуты на

Балканскомъ полуостровѣ нѣмецкое общественное мнѣніе, очевидно, усматриваетъ не въ турецкихъ порядкахъ, а въ христіанскихъ народахъ—болгарахъ, сербахъ и грекахъ. Г. Шиманъ такъ прямо и говоритъ: прежде всего слѣдуетъ пожелать, „чтобы въ вопросѣ о македонскихъ разгромахъ дѣйствія державъ (die Aktion der Mächte) направились противъ виновниковъ смуты, терзающей несчастную провинцію, а именно противъ болгаръ, сербовъ и грековъ, ведущихъ на этой почвѣ преступную игру». Ipsissima Verba! Русское общественное мнѣніе (и, думается мнѣ, и русское правительство) къ такому турецко-полицейскому рѣшенію македонскаго и иныхъ „турецкихъ вопросовъ“ присоединиться не можетъ. Когда Англія охраняла неприкосновенность турецкихъ порядковъ, вся Россія—безъ различія партій—была противъ Англіи. Теперь англичане, я думаю, окончательно сознали фактическую и моральную ошибку, заключавшуюся въ ихъ руссофобіи и туркофильствѣ. Объективно этотъ поворотъ началъ осуществляться давно. Когда Россія совершила по отношенію къ Болгаріи цѣлый рядъ ошибокъ, завершившихся разрывомъ дипломатическихъ сношеній, Англія стала поддерживать по отношенію къ той же Болгаріи русскую освободительную программу, получившую свое выраженіе въ опротестованномъ другими державами санъ-стефанскомъ договорѣ. Теперь англичане окончательно излѣчились отъ своего руссофобскаго туркофильства. Этимъ закончился тотъ многолѣтній процессъ оздоровленія англійскаго общественнаго мнѣнія, зачинателемъ и мощнымъ выразителемъ котораго былъ никто иной, какъ Гладстонъ. Джонъ Морлей, сотрудникъ и біографъ Гладстона, не даромъ считаетъ борьбу противъ англійскаго туркофильства однимъ изъ главныхъ подвиговъ „великаго старца“ [1]).

[1]) Life of Gladstone vol III, p. 538.

Если Германія теперь заняла по отношенію къ Турціи старое традиціонное мѣсто Англіи, покинутое послѣдней, то Россія и ея общественное мнѣніе не могутъ не находиться съ германской политикой въ извѣстномъ, скрытомъ или явномъ, антагонизмѣ.

Для туркофильства такихъ людей, какъ почтенный профессоръ Шиманъ, характерно, что въ его словахъ по поводу англорусскаго соглашенія объ Афганистанѣ и Персіи звучитъ что то вродѣ угрозы по адресу Англіи и Россіи недовольствомъ, даже ненавистью мусульманскаго міра, которая теперь съ Франціи и Англіи будетъ распространяться и на Россію.

Съ другой стороны, Германія, конечно, можетъ какъ ей угодно рѣшать свои внутренніе вопросы и устраивать свои внутреннія дѣла. Но общественное мнѣніе Россіи какъ страны славянской, не можетъ не сочувствовать прусскимъ полякамъ въ ихъ стойкой борьбѣ противъ германизма за національное самосохраненіе. Пусть намъ не указываютъ на русскую политику въ Царствѣ Польскомъ. Во-первыхъ, русское общественное мнѣніе никогда не одобряло и не одобряетъ этой близорукой политики. А, во-вторыхъ, какъ ни превратна эта политика, даже она не задается цѣлью д е н а ц і о н а л и з а ц і и поляковъ и, по условіямъ экономическимъ и культурнымъ, была бы безсильна осуществить эту задачу. Между тѣмъ прусская политика въ Познани именно и направлена на эту цѣль.

Нѣмцы должны сами хорошо понимать это: пусть они вспомнятъ, какъ еще недавно ихъ отношеніе къ Англіи окрашивалось ихъ „пробурствомъ“, убѣжденіемъ, что англичане несправедливо обижаютъ южно-африканскихъ голландцевъ. Убѣжденіе это—какъ показалъ дальнѣйшій ходъ событій, превратившій бурскихъ вождей, боровшихся противъ англійскихъ войскъ, въ лойяльныхъ англійскихъ под-

данныхъ и въ должностныхъ лицъ англійскаго короля въ самоуправляющейся колоніи Британской Имперіи—было недоразумѣніемъ (я лично его никогда не раздѣлялъ). Но оно отчасти диктовалось тѣми же мотивами, которые—увы!—справедливо заставляютъ теперь весь цивилизованный міръ осуждать прусскую политику въ польскихъ областяхъ. Если прибавить къ этому, что въ русскомъ общественномъ мнѣніи—основательно или нѣтъ, другое дѣло—крѣпко засѣло убѣжденіе, что прусская политика въ польскомъ вопросѣ бросаетъ свою тѣнь на русскую политику по отношенію къ полякамъ, то станетъ ясно, какъ этотъ пунктъ болѣзненно вліяетъ на русско-германскія общественныя отношенія.

Г. Шиманъ чрезвычайно отрицательно относится къ тому, что онъ называетъ „паломничествомъ австрійскихъ славянскихъ вождей въ Петербургъ и Варшаву“. Ему кажется, что тутъ „подъ флагомъ культурной взаимности дѣлалась попытка объединенія всѣхъ славянъ противъ нѣмцевъ въ Германіи и Австріи“. Онъ утѣшаетъ себя, однако, тѣмъ, что въ данномъ случаѣ воздвигается „фетишъ“, а не создается дѣйствительно „живая сила“.

Конечно, разсуждая въ столь различныхъ плоскостяхъ, я затрудняюсь спорить на эту тему съ г. Шиманомъ. Но мнѣ думается, что и англо-русское сближеніе, и славянскіе дни суть обнаруженіе именно новой живой силы, которая, никому не угрожая, никому не наступая на ноги, прокладываетъ новые пути и творитъ новыя формы жизни. Эта новая живая сила есть формирующееся въ конституціонной Россіи крѣпкое государственно-національное сознаніе. Возвращаясь къ русско-германскимъ отношеніямъ, поскольку въ нихъ участвуетъ русское общественное мнѣніе, я могу резюмировать свои мысли такъ. Какъ бы русское общественное мнѣніе ни относилось къ нѣмецкой

культурѣ, которой русскіе очень многимъ обязаны, оно не можетъ сочувствовать той Германіи, которая стоитъ на стражѣ неприкосновенности турецкихъ порядковъ и стремится согнать даровитое славянское племя съ родной почвы, облитой его потомъ и кровью.

XI. „Улица“ и „комната“ [1]).

Читатели, быть можетъ, помнятъ, мой разсказъ о томъ глубокомъ пессимизмѣ въ оцѣнкѣ нашего политическаго положенія, который мнѣ въ прошломъ году пришлось встрѣтить у одного изъ самыхъ глубокихъ и ученыхъ знатоковъ русской исторіи; это ученый, на котораго всѣ, и спеціалисты, и неспеціалисты, привыкли смотрѣть, какъ на первый авторитетъ въ области изученія историческихъ судебъ нашего народа. Приходится теперь констатировать, что этотъ пессимизмъ въ послѣднее время, получивъ новую пищу, сталъ настроеніемъ болѣе общимъ, охватившимъ широкія и притомъ дѣловыя сферы. Прошлое воскресенье закончились въ этомъ сезонѣ происходящія въ Москвѣ экономическія собесѣдованія представителей промышленности и экономической жизни, извѣстныя преимущественно подъ кличкой „коноваловскихъ бесѣдъ“. На этихъ бесѣдахъ не занимаются политикой и, вообще говоря, избѣгаютъ слишкомъ близко подходить къ темамъ, могущимъ затрагивать партійныя разногласія. Тѣмъ знаменательнѣе тѣ угрюмыя настроенія, которыя прорвались сквозь кору общей сдержанности, сквозь дѣловыя разсужденія, и были, пожалуй, всего болѣе замѣтны не у тѣхъ элементовъ, которые имѣютъ за собой бурное политическое прошлое, а, наоборотъ,

---

1) Слово отъ 23 апрѣля 1909 г.

у тѣхъ, для которыхъ политическая жизнь въ подлинномъ смыслѣ открылась чуть ли не съ 17 октября 1905 года. Ясно, что вся столь явная неустойчивость нашей политической жизни, бьющимъ въ носъ показателемъ которой являются и новѣйшіе успѣхи гг. Марковыхъ, и то торжествующія, то задирательныя заявленія гг. Меньшиковыхъ, производитъ на самые „солидные“, не склонные къ политическимъ увлеченіямъ, вовсе не нервозные круги прямо удручающее впечатлѣніе.

Въ связи съ этимъ настроеніемъ, я полагаю, что заявленіе, въ которомъ союзъ 17 октября взываетъ къ общественному мнѣнію противъ интригъ крайнихъ правыхъ, подкапывающихся подъ конституціонный строй, и то существующій пока лишь въ обѣщаніи и въ принципѣ,—даже у лицъ, весьма далекихъ отъ октябристовъ, возбуждаетъ не злорадство, а сознаніе опасности и глубокой ненормальности такого положенія вещей, когда вся политическая жизнь страны уподобилась какому-то моховому болоту съ ежеминутными провалами. Пусть союзъ 17 октября самъ разнуздалъ звѣря реакціи, который теперь такъ безцеремонно желаетъ выбросить за бортъ „октябризмъ“ за „младотуречество“ и „полукадетство“. Какъ ни велики моральныя и политическія ошибки октябристовъ, такому обороту дѣлъ ни одинъ отвѣтственный политикъ не можетъ радоваться. Можетъ быть, совершенно отвлеченное чувство справедливости или, наоборотъ, ни въ чемъ не разбирающаяся жажда возмездія способна въ такихъ случаяхъ получать удовлетвореніе, но политически зрѣлое сужденіе не можетъ и не должно поддаваться такимъ настроеніямъ. Можно говорить, съ послѣдовательно-либеральной точки зрѣнія, что катастрофа октябризма имъ заслужена, но нельзя не вѣрить, что такая катастрофа будетъ знаменовать собой подлинную катастрофу и во всей политической жизни страны. „Октя-

бристы", поставленные, по существу дѣла, на положеніе „кадетовъ" или даже только „мирнообновленцевъ", А. И. Гучковъ хотя бы на положеніи Д. Н. Шипова, будутъ живымъ свидѣтельствомъ полнаго краха системы П. А. Столыпина.

П. А. Столыпинъ уступалъ и, кажется, все уступилъ, что могъ, не жертвуя послѣдними остатками своего политическаго лица, не обращаясь въ полное безличіе. Фіаско политическаго противника можетъ вызывать злорадство. Но я думаю, что даже у самыхъ рѣшительныхъ противниковъ и личныхъ враговъ настоящаго премьера, когда они возвышаются надъ чувствомъ вражды и соображеніями политическаго расчета, не можетъ не шевелиться другое чувство и не всплывать иное отношеніе къ переживаемому въ нашихъ правительственныхъ сферахъ кризису. Въ немъ есть что-то трагическое и роковое.

Конечно, разныя оффиціозныя и полуоффиціозныя перья будутъ отрицать наличность самаго кризиса и изображать его выдумкой „лѣвой" печати. Но вѣдь эти перья—въ отличіе отъ Хлестакова — ни на одну минуту даже самимъ себѣ не вѣрятъ.

Одно время можно было думать, что страна попала во власть слѣпой и ослѣпленной „у л и ц ы".

Въ этотъ моментъ политическіе элементы, которые держали руль государственнаго корабля, за улицей не разсмотрѣли страны и отошли отъ нея. Этотъ шагъ былъ опасенъ, но самъ по себѣ никакими катастрофами не угрожалъ. Когда Бисмаркъ повернулся противъ парламента,— онъ не только и не просто ограждалъ установленную власть, онъ подготовлялъ осуществленіе національной задачи. Когда правительство въ 1906 г. повернулось противъ первой Думы и въ 1907 г. противъ второй Думы,—оно могло еще, дѣлая это, ссылаться на то, что оно приведетъ страну въ

*

какую-то новую лучшую „гавань“, осуществитъ національную задачу постепеннаго упроченія конституціоннаго строя. Актъ 3 іюня этимъ только и „оправдывался“. Лучшіе „октябристы“ такъ и думали. Послѣ третьей Думы, дальше третьей Думы, нѣтъ и не можетъ быть никакой гавани. Остается не гавань, а кладбище. А на историческихъ кладбищахъ, на которыя ссылаютъ живыхъ людей, куда водворяютъ живую страну, зрѣютъ только ураганы...

Я сказалъ о слѣпой и ослѣпленной „улицѣ“, которая угрожала захватить власть надъ страной. Быть можетъ, это была мнимая опасность. Теперь выдвигается, очерчивается, оформливается другая опасность: слѣпая и ослѣпленная „комната“. Трагедія П. А. Столыпина, его личная и политическая трагедія состоитъ въ томъ, что, восторжествовавъ цѣною, величину которой страшно выговорить, надъ улицей, онъ рискуетъ каждую минуту пасть отъ закулисной интриги.

Совсѣмъ не нужно быть поклонникомъ г. Столыпина для того, чтобы видѣть въ этомъ финалѣ нѣчто катастрофическое. Дѣло вовсе не въ томъ, что „Россія лишится П. А. Столыпина“. Дѣло въ томъ, что одинъ путь окажется исхоженнымъ до конца. Этому можно радоваться или объ этомъ можно сожалѣть, но нужно быть совершенно слѣпымъ, чтобы не понимать, что это значитъ.

X. О „Вѣхахъ“ [1]).

Въ „Новомъ Времени“ публицистъ А. А. Столыпинъ, сообщая въ своей обычной манерѣ читателямъ газеты о сборникѣ „Вѣхи“, цитируетъ изъ него, какъ „самую безпо-

[1]) Слово отъ 25 апрѣля 1909 г.

щадную и самую характерную для происходящаго нынѣ интеллигентскаго самосуда", слѣдующую фразу М. О. Гершензона: „Каковы мы есть, намъ не только нельзя мечтать о сліяніи съ народомъ, бояться его мы должны пуще всѣхъ казней власти, и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждаетъ насъ отъ ярости народной".

Это та самая фраза изъ статьи М. О. Гершензона, о которой я въ недавнемъ засѣданіи (21 апрѣля) религіозно-философскаго общества, возражая обрушившемуся на „Вѣхи" Д. С. Мережковскому, сказалъ: „ужасная фраза Гершензона есть ужасная мережковская фраза". Эта фраза можетъ быть „безпощадна", хотя я охотнѣе послѣ предлога „безъ" выговорилъ бы другое слово, но она отнюдь не „характерна" для „Вѣхъ", т. е. не характерна для существа ихъ содержанія. Слѣдуетъ отмѣтить, что сборникъ „Вѣхи" никѣмъне „редактировался", и я, и нѣкоторые другіе его участники съ статьями другихъ авторовъ ознакомились только послѣ выхода въ свѣтъ книжки. Наша кооперація въ „Вѣхахъ" была совершенно свободной, за отдѣльныя фразы того или другого автора никто изъ насъ не несетъ отвѣтственности и потому мы можемъ свободно критиковать другъ друга. Стараясь осмыслить для себя „характерную" фразу М. О. Гершензона, я прихожу къ убѣжденію, что она морально и политически невѣрна и исторически несообразна. И точнѣе: она морально и политически невѣрна, потому что она исторически совершенно несообразна.

Въ самомъ дѣлѣ: наиболѣе неожиданной и наиболѣе замѣчательной чертой эпохи, въ которую мы вступили съ 1904 года, является та легкость взаимнаго пониманія, которая установилась между „интеллигенціей", критикуемой въ „Вѣхахъ", и „народными массами". „Взаимное пониманіе" тутъ, можетъ быть, нѣсколько слишкомъ сильное въ

одномъ, слишкомъ слабое въ другомъ отношеніи выраженіе. „Пониманія“, можетъ быть, ни съ той, ни съ другой стороны не было, но была органическая солидарность, которая въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ важнѣе и значительнѣе всякаго „пониманія“. Интеллигенція оказалась „революціонно-народнической“, а народъ—„народникомъ-революціономъ“. Поэтому въ революціи „штыки и тюрьмы“, если что и „ограждали“ отъ „ярости народной“, то не „интеллигенцію“, а владѣющіе классы и самую правительственную власть. Это просто—историческій фактъ, въ сопоставленіи съ которымъ фраза М. О. Гершензона представляется явной несообразностью.

Я говорю это совершенно объективно. Я не „народникъ“ и не „революціонеръ“. Ни ту легкость, съ которой на „народническую“ проповѣдь интеллигенціи откликался и откликается „народъ“, ни то легкомысліе, съ которымъ „интеллигенція“ соціальные инстинкты массъ въ ихъ, въ сущности, наиболѣе примитивной формѣ превратила въ свои „ученія“ и „программы“, я не считаю историческимъ счастьемъ для Россіи. Но факты,—нравятся намъ они или не нравятся—остаются фактами.

И факты таковы: аграрные погромы, происходившіе подъ извѣстнымъ воздѣйствіемъ революціонной проповѣди, фактически-психологически для прямо или косвенно прикосновенной къ нимъ „интеллигенціи“, были „сліяніемъ“ съ народомъ“, а актъ 9-го ноября есть также фактически-психологически подлинное насиліе надъ народомъ. Пусть это насиліе благодѣтельно, пусть оно двинетъ впередъ культуру, какъ, вѣроятно, думаетъ А. А. Столыпинъ и, навѣрное, убѣжденъ П. А. Столыпинъ. Меня въ настоящій моментъ оцѣнка фактовъ не интересуетъ. Отъ нашей оцѣнки „фактическая“ природа фактовъ не мѣняется.

Русская революція тѣмъ и была революціей, что въ ней

закрылась та пропасть между „интеллигенціей“ и „народомъ“, о которой столько лѣтъ твердили „славянофилы“. Этимъ создались въ русской жизни совершенно новые факты и традиціи, разрушившія былыя формулы, въ томъ числѣ и формулу „уваровскую“.

Когда Д. С. Мережковскій и Д. В. Философовъ въ своихъ докладахъ въ религіозно-философскомъ обществѣ выступили противъ „Вѣхъ“, я въ своемъ возраженіи указалъ, что они въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ преувеличили идейное единство этого сборника. Въ „Вѣхахъ“, все-таки сохранился и явственно виденъ старый водораздѣлъ русской мысли тотъ, который отдѣлялъ „западничество“ и „славянофильство“. Гершензонъ, пускающій въ ходъ „славянофильскія“ идеи, а также, можетъ быть, Булгаковъ, въ извѣстномъ идейномъ отношеніи ближе къ Мережковскому и къ Философову, чѣмъ къ Франку, къ Кистяковскому, къ Изгоеву и ко мнѣ. Ибо вѣдь и Мережковскій и въ особенности такіе его ученики, какъ Ал. Блокъ, не отрицаютъ, а, наоборотъ, утверждаютъ мистическую рознь между „интеллигенціей“ и „народомъ“. Я отчасти объясняю это тѣмъ, что они (и Гершензонъ) въ сущности не пережили революціи съ ея поразительнымъ, исторически почти чудеснымъ сліяніемъ этихъ двухъ элементовъ.

На „славянофильствѣ“ Гершензона и Блока лежитъ отпечатокъ чего-то нежизненнаго, надуманнаго. Это—литература. Вообще, по своему содержанію „славянофильство“ въ значительной мѣрѣ стало именно литературой. Нѣкоторыя его существенныя предпосылки разрушены.

И не характерно ли, что публицистъ, сочувственно цитирующій „славянофильскую“ фразу Гершензона, стоящую въ вопіющемъ противорѣчіи съ развернувшимися на нашихъ глазахъ историческими фактами, носитъ имя Столыпина, которое войдетъ въ исторію, какъ имя разрушителя общи-

ны? И опять таки повторяю: для «фактовъ» безразлично, какъ оцѣнивать самое разрушеніе общины.

Говоря, что критикъ „Вѣхъ“ въ извѣстномъ отношеніи преувеличиваетъ ихъ идейное единство,—я не думаю самъ вовсе отрицать такое единство. Оно есть и имъ въ значительной мѣрѣ обусловливается значеніе этого сборника. Самое отсутствіе единства вытекло изъ идейной свободы, которую участники „Вѣхъ“ напередъ предоставили другъ другу, условившись о самомъ главномъ. А это главное—въ томъ, что въ „Вѣхахъ“ подчеркнуто и показано на критикѣ „интеллигенціи“ основное значеніе для жизни религіознаго начала. Если такова основная идея „Вѣхъ“, то странна и, скажу откровенно, скудна и безпомощна та критика, которая, минуя эту основную идею, устремляетъ вниманіе на тѣ или иные политическіе выводы, которые можно сдѣлать изъ нашихъ разсужденій. Вообще основное въ „Вѣхахъ“ основнѣе и шире всякой политики, какъ таковой. Что этого не понимаютъ тѣ, кто ничего, кромѣ политики, неспособны видѣть,—нисколько неудивительно, но что этого не поняли Д. В. Философовъ и Д. С. Мережковскій, принявшіеся критиковать „Вѣхи“ sub specie Меньшикова, это достаточно печально.

Такая критика неизбѣжно обречена на безыдейность и, въ сущности, на оппортунизмъ. Она есть сознательно или безсознательно „тактика“, въ примѣненіи къ основнымъ вопросамъ жизни, „тактика“ въ вопросахъ „религіи“.

XI За неимѣніемъ Наполеона.—Россія собирается [1]).

Наши „комнатные“ публицисты не знаютъ, чего имъ желать для Россіи. Г. Меньшиковъ призываетъ Наполеона.

---

[1]) Слово отъ 3 мая 1909 г.

„Если кто-либо могъ бы повліять на растерянные и озлобленные умы, то это, пожалуй, человѣкъ лишь наполеоновскаго типа, вождь геніальный и безпощадный. Явится ли онъ у насъ? Вѣрнѣе, сложатся ли условія, которыя позволяли бы ему занять надлежащее мѣсто?“

Ахъ, какъ эти господа забавны и глупы въ своихъ призывахъ Наполеона!

Пусть Россіи нужны люди того склада, о которомъ говоритъ г. Меньшиковъ. Пожалуй, я готовъ съ этимъ согласиться. Но развѣ, если бы такой человѣкъ явился, онъ могъ бы предаться „меньшиковщинѣ“, развѣ могъ бы онъ по-молчалински отдать себя на послуги?

Вѣдь вся бѣда—и еще больше—вся вина П. А. Столыпина заключается въ томъ, что онъ свой недюжинный, сильный характеръ размѣнялъ именно на это. Развѣ даже заклятые враги г. Столыпина могутъ только злорадствовать по поводу того, что министръ, политикѣ котораго дана отставка, остался на своемъ посту? Оффиціозныя перья могутъ называть этотъ оборотъ дѣлъ „крушеніемъ реакціи“ и „утвержденіемъ конституціи“, но вѣдь кто же имъ вѣритъ?

Наполеонъ на послугахъ у жалкаго и мелкаго легитимизма, который ведетъ страну черезъ реакцію къ крушенію—неужели такое нелѣпое чудовище можетъ явиться во плоти? Неужели мы увидимъ Пегаса, у котораго вмѣсто красивой мужественной и честной головы коня, сильнаго собой, своею волей, будетъ какая-то скверная рабья морда съ заискивающими глазами?

Такое историческое чудо невозможно. Въ такихъ пропорціяхъ, съ такими намѣреніями природа не творитъ геніальной подлости или подлой геніальности. Это не по силамъ даже ей.

Для воскресенія мертвецовъ не возстанетъ никакой На-

полеонъ. Что такое Наполеонъ? Это—сила. „Энергія есть жизнь души и главный источникъ силы сужденія... Душевныя движенія спартанца были движеніями сильнаго человѣка... Безъ силы, безъ энергіи нѣтъ ни добродѣтели, ни счастья“,—такъ писалъ самъ Наполеонъ.

И вдругъ сила вселится въ трупъ, эту высочайшую степень слабости?

Поистинѣ, безсмысленное мечтаніе!

И что такое Наполеонъ для того мнимаго національнаго, который нуженъ Меньшиковымъ?

Наполеонъ—инородецъ, котораго съ „Великой Франціей“ примирила Великая революція. Она, революція, сдѣлала изъ корсиканца француза. „Я родился, когда мое отечество умирало“,—въ такихъ геніально отчеканенныхъ словахъ онъ самъ охарактеризовалъ историческій моментъ своего появленія на свѣтъ. До революціи Наполеонъ оставался пламеннымъ корсиканскимъ патріотомъ, мечтавшимъ объ освобожденіи своего отечества отъ французскаго ига. Въ 1786 г. онъ писалъ, что корсиканцы имѣли право свергнуть иго генуэзцевъ и „могутъ сдѣлать то же съ игомъ французовъ. Аминь!“ Только революція сдѣлала изъ патріота корсиканскаго патріота французскаго. Инородецъ и революціонеръ—сталъ національнымъ героемъ и воплотилъ въ себѣ французскій національный духъ съ такой силой, какой, быть можетъ, ни одинъ французъ не обнаружилъ въ области чисто государственной. Какой парадоксъ съ точки зрѣнія того, поистинѣ, дурацкаго національнаго, который принадлежность къ націи опредѣляетъ по фамиліи, производитъ генеалогическій розыскъ и сыскъ, и вдобавокъ наличность русскаго духа провѣряетъ по свидѣтельству о благонадежности, выдаваемому въ участкѣ! Въ лицѣ желѣзной фигуры Наполеона подлинный государственный національнымъ смѣется надъ тѣмъ тупымъ и въ то же время

дряблымъ лженаціонализмомъ, который ни во что не ставитъ націю, ея живыя силы, ея права и чаянія. Государственный націонализмъ собираетъ страну, а не раздробляетъ ее.

За неимѣніемъ Наполеоновъ на службѣ у участка, насъ приглашаютъ склониться передъ маленькими, совсѣмъ маленькими божками. Едва ли даже не идольчиками. Увы! Они намъ совсѣмъ не импонируютъ, съ каждымъ днемъ они передъ нами умаляются даже въ своемъ и безъ того маленькомъ размѣрѣ, меркнутъ въ своихъ и безъ того поблекшихъ краскахъ. Въ нихъ нѣтъ ничего титаническаго, а сердцу они ничего не говорятъ.

Не только Наполеонъ, но и Бисмаркъ не могъ бы оказаться сродни средѣ, въ которой слабое привыкло командовать, помыкать сильнымъ. Сильное и большое не можетъ безнаказанно подчиниться слабому и маленькому, не извращаясь въ своей природѣ. Воспитывать силу—значитъ творить свободно отъ рабьей покорности передъ условными цѣнностями.

Нужно большое мужество, чтобы въ такое, поистинѣ, „подлое“ время, какъ наше, не ощутить полнаго отчаянія въ душѣ. Но все-таки Россія жива.

Подъ звуки маршей, которыми сопровождается торжество современныхъ побѣдителей, вопреки имъ, совершается новый созидательный и собирательный процессъ. Именно собирательный. Передъ возрожденіемъ Россіи послѣ крымской кампаніи кн. Горчаковъ написалъ свою знаменитую фразу: La Russie se recueille. Современной оффиціальной Россіи, которая несмотря на краснорѣчивые уроки, преподанные исторіей, не захотѣла войти въ тѣ рамки, которыя ей указывала исторія, мы можемъ о подлинной, неофиціальной, народной Россіи сказать: она собирается...

И въ отличіе отъ извѣстныхъ плачевной памяти ге-

роевъ легитимизма къ этому можно будетъ прибавить; она ничего не забудетъ и всему научится.

Пока это еще не исполнилось. Она еще не всему научилась. Но о томъ, чтобы она ничего не забыла,—объ этомъ съ изумительнымъ усердіемъ позаботились гг. Меньшиковы и ихъ вдохновители. А позаботиться о томъ, чтобы она всему научилась, познала и измѣрила свои слабости, поняла, что для „силы“ необходима „мѣра“, позаботиться объ этомъ нашъ долгъ и наше дѣло.

Россія подождетъ: она собирается.

XII. «Общественная реакція» или борьба съ реакціей?—Призывъ къ покаянію или призывъ къ собиранію силъ? [1]).

Въ оцѣнкѣ „Вѣхъ“ наступаетъ въ нашей прогрессивной печати поворотъ, который нельзя не признать большимъ шагомъ впередъ. Озлобленіе и обида за оскорбленное величество интеллигенціи смѣняется критикой по существу, и въ серьезныхъ устахъ уже не слышатся нелѣпыя обвиненія въ „реакціонности“.

Въ другомъ мѣстѣ [2]) я указываю, на какую наклонную плоскость становятся наши противники, выдвигая подобныя обвиненія. Такая полемика дѣйствуетъ отупляющимъ образомъ на сознаніе. Во-1-хъ, она увѣковѣчиваетъ верхоглядство, поверхностную, да позволено будетъ сказать, чисто полицейскую точку зрѣнія на идеи. Во-2-хъ,—и это второе связано съ первымъ—она стремится погасить всякую работу мысли „одіозными“, т.-е. внушающими недобрыя чувства, обвиненіями. „Реакція“, „реакціонеръ“—значитъ его

---

[1]) Слово, 7 мая 1909 г.

[2]) См. ниже въ отдѣлѣ „На разныя темы“.

нечего слушать не только теперь, но и вообще. Въ стадномъ обществѣ дѣйствіе всякой смѣлой, дерзающей мысли необычайно легко пресѣкается такими обвиненіями. Этотъ методъ полемики наноситъ огромный вредъ, отражаясь на всемъ духовномъ складѣ общества. Онъ приноситъ дурные плоды и въ цѣломъ рядѣ частныхъ практическихъ случаевъ, ибо онъ извращаетъ всѣ общественныя оцѣнки даже въ отношеніи отдѣльныхъ лицъ. Въ послѣднемъ историческомъ итогѣ, конечно, все это потонетъ, „исторія“ во всемъ разберется, но въ каждый данный моментъ это можетъ означать довольно крупный ущербъ.

При той безшабашной легкости, съ которой у насъ раздаются и воспринимаются широкой публикой подобныя политическія аттестаціи, смѣлые и независимые люди попадаютъ въ „подозрѣніе“, а люди, умѣющіе думать и говорить такъ, какъ это нравится „большинству собранія“, люди, мыслящіе и чувствующіе въ мѣру настроенія толпы, становятся авторитетами и вершителями. Т.-е. въ корнѣ извращается и подрывается та духовная и моральная основа, на которой можетъ держаться авторитетъ, какъ нѣчто здоровое и законное, какъ нѣкоторое главенство, утверждаемое на моральномъ и духовномъ превосходствѣ, авторитетъ— истинный, а не облыжный.

У насъ принято говорить, что все дѣло освобожденія провалилось, потому что не было геніальныхъ и хотя бы талантливыхъ „вождей“. Помимо того, что въ этомъ обвиненіи повторяется забавная старая исторія: всякая эпоха считаетъ самое себя самой глупой, самой бездарной, самой развращенной,—въ немъ интересно полное извращеніе истиннаго соотношенія между „ведущими“ и „ведомыми“ въ эпоху русской революціи.

Кто имѣлъ въ русскомъ освободительномъ движеніи наибольшее личное обаяніе и, въ силу того, могъ имѣть наи-

большее вліяніе и сконцентрировать въ себѣ наибольшую сумму авторитета? Именно люди, которые имѣли наименьшія права на авторитетъ. Русская „толпа“,—толпа въ самомъ широкомъ смыслѣ, сама создавала себѣ авторитеты. Не подчинялась авторитету, какъ нѣкоему объективному превосходству, а превращала въ авторитетъ то, что угождало и „служило“ ей, толпѣ. Вотъ почему до 17 октября единственнымъ дѣйствительно вліятельнымъ человѣкомъ въ массовомъ народномъ движеніи былъ Гапонъ. Вотъ почему самымъ популярнымъ въ широкихъ кругахъ дѣятелемъ первой Думы былъ г. Аладьинъ.

Въ разное время мнѣ приходилось подолгу говорить съ Гапономъ. Въ другой разъ я разскажу болѣе подробно объ этихъ встрѣчахъ. Это былъ человѣкъ, при всей своей сметливости, духовно совершенно ничтожный и глубоко безчестный. Но въ итогѣ встрѣчъ съ этой любопытной „исторической“ фигурой я понялъ и теперь совершенно ясно вижу, что не вопреки отмѣченнымъ свойствамъ, а именно б л а г о д а р я имъ, онъ въ свое время явился авторитетомъ и пріобрѣлъ такое вліяніе на умы.

Я могъ бы иллюстрировать другими менѣе яркими примѣрами свою мысль. Вотъ эта ужасная неспособность къ качественнымъ оцѣнкамъ людей, а не отсутствіе людей обусловило отсутствіе настоящихъ авторитетовъ въ движеніи. „Толпа“ не умѣла ни различать, ни признавать истиннаго авторитета. Именно въ этомъ сказалась политическая и, общѣе, духовная незрѣлость всего народа, и въ томъ числѣ интеллигентнаго общества. Въ дни свободъ такого человѣка, какъ Д. Н. Шипова, въ широкихъ кругахъ трактовали едва ли не какъ реакціонера. К. К. Арсеньевъ тогда же навлекъ на себя нападки и долженъ былъ выйти изъ партіи народной свободы потому, что усомнился въ правильности метода „прямыхъ“ выборовъ въ русскихъ условіяхъ

Въ обществѣ съ такимъ духовнымъ складомъ выдвигать противъ идей и писателей обвиненія въ „реакціонности“ значитъ не только увѣковѣчивать его верхоглядство, но и всячески поддерживать въ немъ черту, которая оказалась едва ли не самой пагубной для торжества новыхъ государственныхъ порядковъ. Въ настоящую минуту и въ связи съ чисто литературнымъ явленіемъ это соображеніе, быть можетъ, лишено той видимой остроты, которая была ему присуща въ другихъ случаяхъ. Но принципіальное его значеніе очень велико, и вотъ почему, когда съ такой полемикой противъ „Вѣхъ“ выступаютъ такіе люди какъ кн. Д. И. Шаховской [1]), приходится изумляться тому, какіе важные уроки недавняго прошлаго остались ими не усвоенными и какъ беззаботны они насчетъ политическаго воспитанія русскаго общества.

Та идейная работа, которую дѣлаютъ авторы „Вѣхъ“, не есть „общественная реакція“, а есть борьба съ реакціей въ ея подлинномъ убѣжищѣ, въ нашей собственной слабости, въ нашихъ недостаткахъ, возводимыхъ къ ихъ самымъ общимъ и глубокимъ источникамъ. Любопытно, что нашимъ противникамъ изъ лагеря „кадетскаго“ или, общѣе, „либеральнаго“ нечего возразить противъ практически-политическихъ выводовъ, отчасти дѣлаемыхъ нами, отчасти вырисовывающихся изъ нашихъ разсужденій. А въ то же время мотивы ихъ разногласія врядъ ли уже отвлеченно-философскіе. Вѣдь высылаютъ же они противъ насъ, между прочимъ, Д. С. Мережковскаго, съ которымъ у нихъ самихъ нѣтъ идейно ничего общаго. Когда Д. С. Мережковскій споритъ противъ меня въ „Рѣчи“ и во имя „апокалипсиса“ обличаетъ меня въ реакціонности, это, можетъ

---

[1]) Въ статьѣ „Слѣпые вожди слѣпыхъ“, напечатанной въ „Ярославскомъ Голосѣ“ въ № отъ 3 апрѣля.

быть, эффектно съ точки зрѣнія газетной сервировки, но по существу смѣхотворно и въ то же время производитъ отчаянную путаницу, настоящій хаосъ въ умахъ читателей. Идейное воспитаніе приносится тутъ въ жертву какой-то тактикѣ, смыслъ которой мнѣ мало понятенъ.

Я сказалъ выше, что въ спорѣ о „Вѣхахъ“ наступаетъ поворотъ. Спокойно, быть можетъ, слишкомъ спокойно, пишетъ объ этихъ темахъ въ „Вѣстникѣ Европы“ всегда уравновѣшенный, всегда соблюдающій мѣру К. К. Арсеньевъ.

Онъ понимаетъ смыслъ сборника, „какъ призывъ къ покаянію“.

Для меня, долженъ сказать, вовсе не въ этомъ его смыслъ. Если это—„призывъ“, то призывъ къ собиранію силъ, къ свободному и въ то же время проникнутому чувствомъ «мѣры» творчеству жизни.

Насъ обвиняли въ аггрессивномъ тонѣ противъ интеллигенціи, въ прокурорскомъ усердіи и проч. Боюсь, что даже такіе спокойные наши оппоненты, какъ уважаемый К. К. Арсеньевъ, наоборотъ, впадаютъ въ роль „апологетовъ“ и даже „защитниковъ“ въ процессуальномъ смыслѣ. Такъ, цитируя мои слова о томъ, что „суть дѣла не въ томъ, что революцію дѣлали плохо, а въ томъ, что ее вообще д ѣ л а л и“, „когда вся задача состояла въ томъ, чтобы всѣ усилія сосредоточить на политическомъ воспитаніи и самовоспитаніи“, почтенный редакторъ „Вѣстника Европы“ спрашиваетъ: „Слыханное ли дѣло, чтобы въ такія критическія минуты, какія переживала Россія въ 1904—1906 гг., общественное вниманіе сосредоточивалось на вопросахъ воспитанія и самовоспитанія?“ Обращенный противъ меня вопросъ этотъ въ устахъ К. К. Арсеньева представляетъ ужъ слишкомъ формальную „защиту“, если не простое недоразумѣніе. Ибо я подъ политическимъ воспитаніемъ и

самовоспитаніемъ, противопоставляя его „дѣланію“ революціи [1]), противополагалъ одинъ видъ, одинъ методъ политическаго дѣйствія другому. Это совершенно ясно изъ продолженія той же цитаты: „Война раскрыла глаза народу, пробудила національную совѣсть, и это пробужденіе открывало для работы политическаго воспитанія такія широкія возможности, которыя обѣщали самые обильные плоды. И вмѣсто этого что же мы видѣли? Двѣ всеобщія стачки съ революціоннымъ взвинчиваніемъ рабочихъ массъ (совѣтъ рабочихъ депутатовъ!), рядъ военныхъ бунтовъ, безсмысленныхъ и жалкихъ, московское возстаніе, которое было гораздо хуже, чѣмъ оно представилось въ первый моментъ, бойкотъ выборовъ въ первую Думу и подготовка (при участіи провокаціи!) дальнѣйшихъ вооруженныхъ возстаній, разразившихся уже послѣ роспуска Государственной Думы“.

Мысль моя тутъ совершенно ясна, и меня удивляетъ, почему К. К. Арсеньевъ съ нею споритъ. Конечно, все случившееся (и въ томъ числѣ московское возстаніе) было въ извѣстномъ смыслѣ исторически неизбѣжно, но, тѣмъ не менѣе, съ той общей точки зрѣнія, на которой стоимъ мы оба, и К. К. Арсеньевъ, и я, совершенно ясно, что участіе въ выборахъ въ первую Г. Думу было дѣломъ политическаго воспитанія и самовоспитанія, а пропаганда возстаній и всеобщихъ стачекъ была дѣломъ прямо противоположнымъ. Впрочемъ, это настолько вѣрно въ объективномъ смыслѣ, что противъ этого нельзя въ настоящее время спорить даже и подъ чисто революціоннымъ угломъ зрѣнія.

Если К. К. Арсеньевъ разсматриваетъ „Вѣхи“ преиму-

---

[1]) Удареніе лежитъ тутъ на словѣ „дѣлать“ и это значитъ на конкретныхъ примѣрахъ вотъ что: первая всеобщая стачка „произошла“, „случилась“, вторая и третья были „сдѣланы“.

щественно съ точки зрѣнія правильности и опредѣленности заключающихся въ сборникѣ „обвиненій“, то съ этой точки зрѣнія въ томъ пунктѣ, котораго я сейчасъ касаюсь, мое „обвиненіе“ болѣе правильно и опредѣленно, чѣмъ его „защита“. Оно направлено противъ опредѣленныхъ группъ и говоритъ о совершенно опредѣленныхъ дѣйствіяхъ. Обвиненіе въ данномъ случаѣ гораздо точнѣе защиты. Мой почтенный оппонентъ, по свойственной ему мягкости, увлекся въ сторону „апологетики“.

Но вообще суть дѣла, конечно, не въ обвиненіяхъ, не въ томъ, кому вмѣнять, а что вмѣнять. Суть дѣла не въ оцѣнкѣ людей, которые сошли или сойдутъ со сцены, а въ оцѣнкѣ идей, міровоззрѣній и дѣйствій, независимо отъ того, кому они могутъ и должны быть приписаны или вмѣнены.

Міровоззрѣнія, идеи и дѣйствія гораздо долговѣчнѣе и могущественнѣе людей. Не слѣдуетъ къ состязанію идей подходить съ „процессуальными“ мѣрками и критеріями, искать въ немъ обвиненіе и защиту. Состязаніе идей совсѣмъ особый судъ, гдѣ нѣтъ ни прокуроровъ, ни защитниковъ.

Не слѣдуетъ также такое состязаніе приравнивать къ исповѣди или покаянію.

Состязаніе идей есть борьба и собираніе духовныхъ силъ.

Въ одномъ частномъ разговорѣ мнѣ пришлось услышать про „Вѣхи“; это—не мужественная книга. Да, для тѣхъ, кому слышится въ ней только призывъ къ покаянію, она можетъ казаться немужественной и недѣйственной. Но я съ этимъ согласиться не могу: для меня это—призывъ къ собиранію силъ, къ созданію новаго духовнаго закала, призваннаго воплощаться въ жизни и въ дѣйствіи.

XIII. Двѣ конверсіи.—Истина не только соціологическая, но и полицейская [1]).

Я отнюдь не имѣю въ виду размышлять о государственныхъ займахъ. „Конверсіи“ бываютъ не только въ этой области.

Въ русской жизни нѣкоторые круги страдаютъ какой-то особой нервной болѣзнью, какимъ-то соединеніемъ крайней чувствительности съ полной безчувственностью. Галлюцинаціями слуха и глухотой. Отъ всего падаютъ въ обморокъ и по-истуканскиничему не изумляются. Обыкновенныхъ преступниковъ вѣшаютъ—и притомъ, это едва ли не самое ужасное, безъ всякой надобности—съ легкостью, свидѣтельствующей о полной нервной развинченности. А въ то же время зрѣютъ не только безвозбранно, но, можно сказать, въ оранжерейной обстановкѣ такія силы и организаціи, которыя могутъ весь свѣтъ поставить вверхъ ногами и изумить его неслыханными подвигами, передъ творцами которыхъ Азефы окажутся мальчишками и щенками.

Только этой чувствительной безчувственностью можетъ объясняться то обстоятельство, что новѣйшія разоблаченія о союзѣ русскаго народа и его дѣятеляхъ вызвали только юмористическій фельетонъ А. А. Столыпина подъ заглавіемъ „Профессоръ Пироксилиновъ“.

Мнѣ эта юмористика напомнила „Зеленаго Какаду“ Шницлера. Тамъ тоже все шутили, шутили, и вдругъ дошутились и досмѣялись: шуточки превратились въ реальность и засмѣялись такимъ хохотомъ, отъ котораго морозъ по кожѣ прошелся у смѣявшихся.

Что такое союзъ русскаго народа? Говорятъ, самая благонамѣренная организація, какъ бы добровольная и естественная полиція безопасности. Есть люди, которые въ это

---

[1]) Слово отъ 9 Мая 1909 г.

твердо вѣрятъ. Я имъ завидую, ибо всякая вѣра есть состояніе въ высшей степени пріятное, нѣкое погруженіе въ младенческую невинность. Но въ то же время я полагаю, что младенческая вѣра представляется въ этомъ случаѣ роковымъ затемненіемъ сознанія.

Что желаетъ произвести союзъ русскаго народа?

Его задача—конверсія историческихъ чиселъ и государственныхъ началъ. 17 октября 1905 года онъ желаетъ конвертировать въ 17-ое января 1895 г.. конституціонную монархію въ неограниченное самодержавіе. Это просто, ясно и потому ужасно соблазнительно, конечно для „Союза".

Но что такое самъ союзъ русскаго народа? Когда-то кто-то сказалъ это, истолковывая иниціалы союза: соціалисты-революціонеры навыворотъ. Этому остроумію смѣялись. Но это вовсе не bon mot, не острословіе, а соціологическая и историческая истина. И еще хуже и еще важнѣе: это истина полицейская. Мѣхъ внутрь, мѣхъ наружу,—шуба одна. Суть обернется туда, куда ей будетъ нужно.

Г. Зубатовъ, фигурировавшій на процессѣ Азефа, состоитъ нынѣ надворнымъ совѣтникомъ въ отставкѣ. Въ этомъ званіи каждое слово символъ. Вотъ не живой свидѣтель, а, такъ сказать, тѣлесная оболочка исторической конверсіи. Это двуногое воплощеніе той полицейской истины, о которой я говорилъ выше. Сегодня Зубатовъ, послѣ-завтра Гапонъ—таковы политическія конверсіи, совершающіяся роковымъ образомъ.

Чѣмъ „теплѣе" будетъ атмосфера, въ которой будетъ расти союзъ русскаго народа, тѣмъ раньше и легче совершится его конверсія въ соціалистовъ-революціонеровъ. Для осуществленія этого не потребуется никакой чрезвычайной сверхчеловѣческой воли; это произойдетъ само собой или почти само собой. Можетъ быть даже почти сразу.

Несмотря на свидѣтельство въ полицейской безупречно-

сти, выданное г. Азефу, прокуроромъ Корсакомъ, на основаніи документовъ, неизвѣстныхъ мнѣ, а впрочемъ и ему самому, я продолжаю думать, что сей столпъ былъ гораздо болѣе соціалистомъ-революціонеромъ, чѣмъ „охранникомъ". Но я признаю, что конвертировать „охрану" въ „эсъ-эрство" есть задача трудная, ибо первая есть, хотя и нѣчто весьма неформальное и совсѣмъ неподотчетное, но все таки нѣкое „учрежденіе" и даже „казенное мѣсто".

Тутъ не можетъ быть той свободы и того благодушія, какъ въ вольномъ „союзѣ", куда всякій можетъ прійти, гдѣ всякій можетъ преклонить голову. И если сообразить, что истинные „союзники" трусливы и неумны, то что они смогутъ противопоставить любому смѣлому, умному и предпріимчивому варягу изъ „эсъ-эровъ"?

И главное: такая конверсія будетъ не только и не столько технической выдумкой, сколько естественнымъ процессомъ для котораго какой-нибудь грандіозный техническій coup или truc будетъ лишь вѣнцомъ.

„Союзъ" есть, по самой своей сути лишь большой приготовительный классъ для „эсъ-эрства". По мнѣнію знатоковъ листки Почаевской лавры нужно лишь слегка ретушировать, чтобы получить эсъ-эрскія прокламаціи о землѣ, а свѣдущія въ украинскихъ дѣлахъ люди увѣряли меня, что написанныя на малороссійскомъ языкѣ прокламаціи этого учрежденія объективно подготовляютъ украинское возрожденіе въ самомъ демократическомъ стилѣ.

„Союзъ русскаго народа", какъ всякое демагогическое учрежденіе, хочетъ и долженъ жить сообразно своей природѣ. И онъ ее раскроетъ.

Это — истина, повторяю, не только историческая и соціологическая, но и полицейская. Въ качествѣ послѣдней, она можетъ оказаться доступной даже тѣмъ, кто къ другимъ

видамъ истины не только совершенно равнодушенъ, но даже враждебенъ.

XIV. По поводу смерти О. Я. Пергамента [1]).

Смерть О. Я. Пергамента должна подѣйствовать на общество не только какъ потеря выдающагося дарованіями и полезнаго общественнаго дѣятеля.

Помимо этого общественнаго, „утилитарнаго“ значенія надъ этимъ случаемъ витаетъ что-то гораздо болѣе общее, болѣе глубокое, болѣе трагическое. Я преодолѣваю нѣкоторое, весьма естественное смущеніе, потому что всякое прикосновеніе тутъ болѣзненно, даже мучительно, но пройти мимо невозможно. И, можетъ быть, именно постороннему человѣку, ничѣмъ личнымъ не связанному съ покойнымъ, можно и должно сказать объ этомъ нѣсколько словъ.

Пергаментъ не снесъ уголовнаго обвиненія, къ нему предъявленнаго.

Оно убило этого человѣка. Обвиненіе это, по отзыву компетентныхъ лицъ, во мнѣ не возбуждающему сомнѣній, было юридически совершенно вздорно.

Въ самомъ обвиненіи не было состава преступленія по категорическому мнѣнію такого юриста, какъ В. А. Маклаковъ. Болѣе того. Каково бы ни было это обвиненіе въ юридическомъ отношеніи, его источники были самые мутные: они лежали въ отвратительномъ, заслуживающемъ величайшаго презрѣнія предательствѣ лицъ, защитникомъ которыхъ согласился быть покойный. Пергаментъ палъ жертвою своей благородной доброты. Чѣмъ неосторожнѣе была эта доброта, тѣмъ больше было въ ней благородства и тѣмъ трагичнѣе весь случай.

---

[1]) Слово отъ 19 мая 1909 г.

Итакъ, что же? Человѣческая жизнь погибла отъ вздорнаго обвиненія, основаннаго на самомъ низменномъ предательствѣ, чисто личномъ. И, въ довершеніи всего, тутъ, конечно, примѣшалась „политика“. Ей оказалось полезнымъ пустить въ ходъ такое обвиненіе, и она пустила. Получилось сцѣпленіе обстоятельствъ, при которомъ сильный и жизнерадостный человѣкъ не могъ жить. И все это одно и то же. Когда „ради политики“ тащатъ на эшафотъ кратчайшимъ „юридическимъ“ путемъ убійцъ, разбойниковъ, воровъ (это называется смертной казнью)— человѣческая жизнь ликвидируется казенно-грубо, съ удивительной простотой, отъ которой вѣетъ ужасомъ. Но такимъ же, нѣтъ, большимъ, ужасомъ вѣетъ и отъ того рафинированнаго убійства, которое „сцѣпленіе обстоятельствъ“ произвело надъ Пергаментомъ. Тутъ все было весьма тонко и даже безобидно сравнительно съ конечнымъ результатомъ—смертью. Въ томъ предательствѣ, которымъ отплатили Пергаменту за его доброту люди, искавшіе у него юридической защиты, было нѣчто отвратительно-трусливое, но развѣ за нимъ видѣлось лицо смерти? Въ услужливости слѣдственной власти, ухватившейся за предательство, это лицо тоже было скрыто.

Но тонкая принаряженная неправда такъ же чревата разрушеніемъ и смертью, какъ и грубая неправда, разгуливающая по русской землѣ въ образѣ палача.

Судьба О. Я. Пергамента съ потрясающей ясностью повѣдала намъ объ этомъ. И потому въ этомъ событіи больше чѣмъ потеря, въ немъ—суровый судъ надъ той неправдой, которая даже тогда, когда она ходитъ на цыпочкахъ и съ видомъ Тартюфа благоговѣйно раскрываетъ „Сводъ законовъ“ или умиленно цитируетъ Священное Писаніе, несетъ съ собой мерзость разрушенія, смерть...

Физіологія одного превращенія [1]).

«Незнакомецъ» и «Новое Время».

„Я помню даже и ваши хорошія статьи, которыя являлись метеорами въ смрадной и тягостной ночи вашей дѣятельности".

Изъ письма А. С. Суворина къ М. Н. Каткову.

„Совершается нѣчто неожиданное россійскими пророками, именно—отъ сѣвера возстаетъ мужъ, равный вамъ по силѣ, и этотъ мужъ—я... Будемъ дѣйствовать дружно, будемъ вмѣстѣ вызывать разные призраки, и уловлять ими соотечественниковъ. На нашу долю еще хватитъ легковѣрныхъ и глупцовъ среди 70-милліоннаго народа русскаго... Не хотите?... Вы отворачиваете свою голову убѣленную сѣдинами, въ ту сторону, гдѣ стоитъ вашъ соратникъ, г. Леонтьевъ..."

Такъ иронически писалъ въ 1870 г. А. С. Суворинъ въ

[1]) Рѣчь отъ 27 февраля 1909 г.

своемъ публичномъ обращеніи къ М. Н. Каткову [1]). Такъ иронически и такъ пророчески.

Мужъ возсталъ, вѣрнѣе не мужъ, а цѣлое публицистическое облако, имя которому „Новое Время“. Кто могъ предсказать независимому и либеральному бѣдняку „Незнакомцу“, громившему „Кіевлянинъ“ и „Московскія Вѣдомости“, „плутократію“ и „аристократическую партію въ дворянствѣ“, что онъ станетъ именно тѣмъ самымъ мужемъ, иже „возстаетъ отъ сѣвера“, что онъ созиждетъ „великую державу“ въ русской періодической печати и явитъ изъ себя ея второго Каткова и перваго Креза?

Кто могъ предречь такую дивную судьбу?

И, однако, это превращеніе, свершившееся, какъ выразился когда-то „Незнакомецъ“ о Лѣсковѣ-Стебницкомъ, „даже не по правиламъ, изложеннымъ у Овидія“, произошло съ такой же несомнѣнностью, съ какой населеніе Россійской Имперіи, со временъ ироническаго предсказанія „Незнакомца“, удвоилось въ числѣ.

Г. Суворину будутъ, по случаю его юбилея, писать панегирики и воскурять фиміамы. Намъ хотѣлось бы по этому поводу дать нѣчто въ родѣ „ф и з і о л о г і и“, какъ говорилось въ доброе старое время, того баснословнаго превращенія, которое ликъ независимаго публициста „Незнакомца“ скрыло въ облакѣ „Новаго Времени“, издаваемаго А. С. Суворинымъ.

„Новое Время“ и „Незнакомецъ“! Въ томъ, что „великая держава“ русской прессы обезличила, изуродовала и поглотила талантливаго публициста—въ этомъ было нѣчто роковое.

---

[1]) „Очерки и картинки“. Собраніе разсказовъ, фельетоновъ и замѣтокъ Незнакомца (А. Суворина). Книга вторая. Спб. 1875. Стр. 260.

„Новое Время“ поднялось на волнахъ того общественнаго возбужденія, которое ознаменовалось постановкой въ 70-хъ гг. славянскаго вопроса на историческую очередь и войной 1877—1878 гг. „Незнакомецъ“ въ эти годы зачерпнулъ и вволю хлебнулъ общественнаго вліянія и вышелъ изъ нихъ... Суворинымъ, шефомъ первой по вѣсу и распространенію русской газеты.

Широкое общественное вліяніе, доставшееся ему на долю въ эпоху національнаго возбужденія, было подготовлено блестящими литературными дебютами, въ которыхъ не лишенный художественнаго таланта и одаренный подлиннымъ темпераментомъ журналиста-бойца писатель заслужилъ себѣ шпоры остроумными либеральными нападками на реакціонныя силы того времени.

Когда національное возбужденіе спало,—общественное вліяніе должно было неминуемо ускользнуть. Для него не было на лицо никакихъ условій. Русская пресса ежилась и никла въ тискахъ графа Дмитрія Андреевича Толстого. Главные либеральные органы погибли.

Что же сталось съ „Незнакомцемъ“, который въ 1870 г. писалъ о себѣ, что онъ „въ скромной своей дѣятельности не зависитъ рѣшительно ни отъ кого и высказываетъ только то, что думаетъ“?

Съ яснымъ ли расчетомъ или влекомый силою вещей и слабостью своей нравственной природы, все равно, бывшій „Незнакомецъ“ не смогъ отказаться отъ того вліянія, котораго онъ такъ много хлебнулъ въ годы возбужденія и войны.

Онъ вступилъ въ сдѣлку съ реакціей. Общественное вліяніе независимаго публициста онъ промѣнялъ на вліяніе газетнаго аптрепренера, приспособляющаго общественное мнѣніе къ мѣняющимся воззрѣніямъ и потребностямъ силъ, стоящихъ внѣ общества и диктующихъ ему свою волю. За великодержавное положеніе „Новаго Времени“ онъ продалъ

свою публицистическую шпагу „рѣшительно ни отъ кого независящаго“—„Незнакомца“. Кто теперь не знаетъ „Новаго Времени“? И кто, кромѣ лицъ „литературно образованныхъ“, или, въ качествѣ читателей, помнящихъ прессу 70-хъ гг., знаетъ „Незнакомца“?

Однако, физіологія „превращенія“ „Незнакомца“ въ шефа „Новаго Времени“ не исчерпывается сказаннымъ. Создавать нужный для внѣобщественныхъ силъ суррогатъ общественнаго мнѣнія, для того, чтобы будучи органомъ бюрократіи, являть изъ себя органъ общественный,—это не такъ просто и не такъ легко. Въ откровенной и грубой формѣ это прямо-таки неосуществимая, утопическая затѣя. Времена Булгаковыхъ и Гречей миновали. Нужно было для бюрократіи самодержавія и для самодержавія бюрократіи нащупать питательную жилу, открыть ключъ живой общественной воды.

Открывать, впрочемъ, было нечего. „Великанъ“ Катковъ, къ которому „Незнакомецъ“ адресовалъ свое ироническое обращеніе, не даромъ жилъ. Онъ указалъ путь, онъ вымолвилъ слово, онъ нашелъ ключъ.

„Ваши странныя идеи, которыя вы выдаете постоянно за такъ называемую „національную политику“—такъ непочтительно въ 1870 г. выражался „Незнакомецъ“ объ открытой Катковымъ плодоносной жилѣ политическаго вліянія и общественнаго гипноза. Но то былъ „Незнакомецъ“. А Суворинъ,—опираясь на монопольныя условія концессіонной системы,—для разработки этой самой жилы создалъ цѣлую фабрику общественнаго мнѣнія. Рядомъ съ публицистической фабрикой Суворина „Московскія Вѣдомости“ Каткова всегда являли жалкую кустарную избу.

И духъ въ этой фабрикѣ оказался легкій. Тяжелая, давящая поступь скучнаго и нуднаго шульмейстера „національной политики“—Каткова раздробилась на граціозные,

ласкающіе взоръ, мягкіе пируэты легіона нововременцевъ. Катковъ былъ властной натурой, онъ былъ, по мѣткому слову „Незнакомца“, „указующимъ“ перстомъ, который „разыгрывалъ... роль Провидѣнія“, безъ котораго „правительство не потушило бы пожаровъ, даже, быть можетъ, не увидало бы ихъ, не усмирило бы мятежа, не разыскало бы прокламацій“, рядомъ съ которымъ „правительство являлось только исполнительной властью“. Совсѣмъ не то— эластичное, многоголосое „Нов. Время“. Иногда и оно принимало и принимаетъ катковскіе аллюры суроваго „спасителя отечества“. Но у него это были именно только аллюры, разсчитанные на самыхъ глупыхъ изъ глупыхъ. На самомъ дѣлѣ указующій перстъ былъ за бюрократическими кулисами, откуда шли электрическіе токи въ редакцію. Такъ продолжается и до сихъ поръ.

Но жила „національной политики“ разрабатывалась успѣшно. „Бывшій уѣздный учитель“ Суворинъ, который не безъ горделиваго вида противопоставлялъ себя „бывшему столичному профессору“ Каткову оказался, несомнѣнно, болѣе умѣлымъ педагогомъ, чѣмъ редакторъ „Московскихъ Вѣдомостей“. Катковъ въ своей шульмейстерской прямолинейности пренебрегалъ... евреями. „Новое Время“ сдѣлало изъ нихъ самую выгодную оброчную статью своего „націонализма“.

Разработка „націоналистической жилы“, открытой Катковымъ и въ 80-хъ годахъ взятой на откупъ А. С. Суворинымъ, есть необходимая и, болѣе того, роковая стадія нашего общественнаго сознанія и государственнаго развитія. Чистое самодержавіе византійско-татарско-нѣмецкой бюрократіи не нуждалось ни въ какомъ „націоналистическомъ“ мускусѣ. Но историческое значеніе Каткова въ томъ и состояло, что онъ впрыснулъ изрядную дозу этого мускуса въ жилы дряхлѣющаго абсолютизма.

Историческая миссія того публицистическаго облака, въ которомъ исчезъ талантливый либеральный публицистъ „Незнакомецъ“, заключалась и заключается до сихъ поръ въ поддержаніи обреченнаго на смерть тѣмъ же мускусомъ Иногда къ мускусу примѣшивается кровь, подлинная народная кровь. Мы говоримъ о крови не съ тѣмъ, чтобы обвинять „Новое Время“ въ человѣкоубійствѣ. Но даже „Новое Время“ не можетъ къ своему націоналистическому конфортативу не подмѣшивать подлинныхъ мукъ и воплей русскаго народа...

Moriturus не будетъ спасенъ націоналистическимъ мускусомъ. Національная идея и народная сила преодолѣютъ мертвыя объятія абсолютизма, который, исчерпавъ всѣ свои силы для того, чтобы освѣжить себя и протянуть свою жизнь, въ облыжномъ націонализмѣ ждетъ своего послѣдняго спасенія.

Нѣтъ ничего болѣе яркаго и болѣе поучительнаго для характеристики исторической миссіи „Новаго Времени“, чѣмъ статьи этой газеты въ мучительные дни русско-японской войны. Вмѣсто трезваго и правдиваго слова раздавалась низкая лесть, усыплявшая національную душу и морочившая власть; восхвалялись Алексѣевы и Стессели, тайныя язвы безстыдно заливались мнимо-патріотическими благовоніями, смрадный воздухъ разложенія насыщался холопскими воскуреніями. „Новое Время“, по правдѣ говоря, заслужило себѣ одинъ памятникъ, одно подношеніе, въ которомъ его миссія и роль могли бы быть достодолжнымъ образомъ увѣковѣчены для потомства: нелицепріятную, документальную историческую хрестоматію „Новаго Времени“, въ которой исторія самой вліятельной русской газеты была бы написана ею самою. Никакой памфлетъ не могъ бы по убійственной силѣ сравняться съ такой исторической хрестоматіей.

Давно уже замѣчено, что А. С. Суворинъ лучше „Новаго Времени“ и что онъ, по отношенію къ своей газетѣ, „скорѣе попуститель, чѣмъ творецъ“. Пусть такъ, мы даже увѣрены, что это такъ—въ юбилейное торжество шефа „Новаго Времени“ это вноситъ только лишнюю скорбную ноту. Лично г. Суворинъ скрытъ отъ русскаго общества облакомъ „Новаго Времени“. А исторія „Новаго Времени“ неразрывно сплетена съ исторіей того стараго порядка, который отвергнутъ и проклятъ русскимъ народомъ.

Никакими юбилейными торжествами этой правды не подрумянить и не скрыть.

Офиціальное (?) разъясненіе о дѣлѣ Азефа [1]).

Мы пріучены ко всему, мы пережили, наконецъ, такой фактъ, что думскій обозрѣватель т. н. „частнаго изданія“, издаваемаго подъ названіемъ „Россія“, съ депутатскаго мѣста обнаружилъ цинизмъ, которому нѣтъ ни имени, ни прецедента и... остался, вѣрнѣе, оставленъ въ партіи и фракціи, имѣющей имя... „Союза 17 октября“. Но такого изумительнаго документа, какъ опубликованное сообщеніе „Освѣдомительнаго Бюро“ по дѣлу Азефа, мы никогда еще не читали.

Кѣмъ оно внушено, кѣмъ написано?

Оно говоритъ, что „отставной дѣйствительный статскій совѣтникъ Лопухинъ привлеченъ къ отвѣтственности за разоблаченіе передъ сообществомъ соціалистовъ-революціонеровъ содѣйствія Азефа полиціи въ предупрежденіи террористическихъ замысловъ этого преступнаго кружка, каковымъ дѣяніемъ Лопухинъ устранилъ серьезнѣйшее препятствіе въ выполненіи предпріятій этого сообщества“.

Пусть такъ, хотя вся неоффиціальная и неоффиціозная Россія увѣрена, что именно разоблаченія (отъ кого они идутъ, намъ неизвѣстно), которыми раскрыта роль Азефа,

[1]) Слово отъ 28-го января 1909 г.

создали „серьезнѣйшее препятствіе въ выполненіи“ террористическихъ предпріятій. Но вотъ что прямо-таки невѣроятно. Обвиняя Лопухина въ разоблаченіи подвиговъ Азефа, сообщеніе спокойно говоритъ, что „относительно участія Азефа въ политическихъ убійствахъ никогда въ распоряженіе правительственныхъ органовъ ни малѣйшихъ указаній не поступало“. Это такъ, буквально такъ напечатано. Но какъ же Азефъ могъ въ качествѣ агента, т. е. систематически, разоблачать террористическія предпріятія (т. е. политическія убійства), не участвуя въ нихъ? Это—физическая невозможность и логическая безсмыслица. Другими словами, отрицать участіе Азефа въ политическихъ убійствахъ—значитъ отрицать значеніе разоблаченія, направленнаго противъ Азефа. Ибо никто никогда никого не сможетъ увѣрить, что возможно систематически разоблачать политическія убійства, не участвуя въ нихъ и фактически, и юридически. Итакъ, тотъ фактъ, что Азефъ—въ этомъ почти невозможно сомнѣваться—въ началѣ своей карьеры только въ качествѣ революціонера участвовалъ въ политическихъ убійствахъ— превыше всякаго сомнѣнія. Онъ установленъ обѣими сторонами: и соціалистами-революціонерами, и тѣмъ органомъ администраціи, который внушилъ „Освѣдомительному Бюро“ разбираемое нами сообщеніе.

Такимъ образомъ это сообщеніе, желая устранить „совершенно неосновательное волненіе и недовѣріе къ органамъ власти“, способно, наоборотъ, поселить подлинную тревогу, которую надлежитъ дѣйствительно разсѣять въ корнѣ. Корень этотъ вотъ въ чемъ: Азефа берутъ подъ свою защиту одновременно и „Освѣдомительное Бюро“, и „Русское Знамя“. Второе вполнѣ понятно. Есть вліятельныя политическія группы, которыя—ради своей основной цѣли, окончательнаго возстановленія стараго порядка, существовавшаго въ странѣ до 17-го октября—готовы на все.

Это тѣ группы, о которыхъ въ бесѣдѣ съ авторомъ этихъ строкъ въ эпоху второй Думы не кто иной, какъ П. А. Столыпинъ, сказалъ, что они его, предсѣдателя совѣта министровъ, считаютъ революціонеромъ. Этимъ группамъ и психологически, и технически нужны Азефы, и вполнѣ естественно, что онѣ ихъ защищаютъ. Но вѣдь эти группы стояли и, надо полагать, стоятъ до сихъ поръ внѣ правительства.

Однако, когда „Освѣдомительное Бюро“, находящееся въ рукахъ правительства, начинаетъ отстаивать полезность для государства такихъ методовъ разоблаченія террористическихъ предпріятій, при употребленіи которыхъ министры—въ цѣляхъ благодѣтельнаго государственнаго испуга—могутъ съ легкостью взлетать на воздухъ, тогда становится дѣйствительно жутко. Жутко во всѣхъ смыслахъ. Во-первыхъ, потому что при такомъ взглядѣ на вещи подрывается въ корнѣ всякая общественная безопасность. Это достаточно ясно и достаточно серьезно.

Признаніе, что азефщина допустима—отрицать ее, какъ фактъ, значило бы со стороны правительства, повторяемъ, снять съ А. А. Лопухина то обвиненіе, которое къ нему предъявлено—страшно опасно и въ смыслѣ увѣковѣченія системы террора со стороны революціонеровъ. Для тѣхъ, кто не разбирается въ средствахъ борьбы, является явный соблазнъ эксплоатировать такое отношеніе органовъ правительства къ провокаціи. Ибо Азефы могутъ одинаково легко обманывать и революціонеровъ, и правительство. И кто кого больше обманетъ въ такой игрѣ—зависитъ только отъ ловкости и выдержки ея участниковъ. Провокація морально подрываетъ терроръ, но матеріально его поддерживаетъ и увѣковѣчиваетъ. Нужно быть совершенно глупымъ человѣкомъ, чтобы не понимать этой связи.

Далѣе, когда въ защитѣ азефщины объединяются „Россія“ и „Освѣдомительное Бюро“, съ одной стороны, „Русское Знамя“, — съ другой стороны, правительство, какъ таковое, куда-то улетучивается. Не только оно можетъ въ каждый данный моментъ, при содѣйствіи Азефовъ, физически взлетѣть на воздухъ, — вліятельныя политическія группы, дорожащія Азефами, всегда могутъ на глазахъ изумленныхъ... октябристовъ съ А. И. Гучковымъ во главѣ, выбросить такое правительство за бортъ, какъ выжатый лимонъ и окончательно ввести все въ колею стараго порядка.

Все это внушаетъ тревогу, и правительство обязано разсѣять ее, но не такими сообщеніями „Освѣдомительнаго Бюро“, которыя явно противорѣчатъ и здравому смыслу, и элементарной юридической логикѣ.

17-го Октября 1909 г. [1)]

А. И. Гучковъ и П. А. Столыпинъ.—Что такое государственный человѣкъ?—Вопросъ о русской конституціи.

Общее политическое положеніе характеризуется двумя явленіями: несомнѣннымъ органическимъ ростомъ конституціонной идеи въ населеніи Россіи и въ то же время ростомъ того упорства, съ которымъ правящія силы не желаютъ видѣть этого факта и вытекающихъ изъ него политическихъ необходимостей. Новые частные выборы (въ особенности московскіе) ясно показали, что даже самые умѣренные и въ подлинномъ смыслѣ несомнѣнно консервативные круги русскаго общества освободились отъ peur bourgeoise и рѣшительно не желаютъ участвовать въ нудной игрѣ въ конституціонныя „прятки“. Выборы эти приложили печать къ тому внутреннему пораженію, которое постигло политику П. А. Столыпина и А. И. Гучкова.

Мы называемъ эти два имени рядомъ, хотя роль и положеніе ихъ носителей въ нашей внутренней политикѣ весьма различны во многихъ отношеніяхъ. Тѣмъ не менѣе есть нѣчто и общее въ ихъ судьбѣ. И это общее заключается въ томъ, что оба эти выдающіеся человѣка являютъ

---

1) Русская Мысль 1909 г. Ноябрь.

*

изъ себя, если смотрѣть „поверхъ текущаго момента“ [1]) не виновниковъ, а жертвъ создавшагося положенія.

Что было бы съ П. А. Столыпинымъ, если бы онъ остался вѣренъ той политической линіи, которую онъ самъ намѣчалъ въ 1906 и даже въ 1907 г.? Онъ просто не былъ бы предсѣдателемъ совѣта министровъ, совершенно такъ же, какъ князь Святополкъ-Мирскій въ свое время пересталъ быть министромъ внутреннихъ дѣлъ и какъ генералъ Бекманъ завтра не будетъ финляндскимъ генералъ-губернаторомъ.

Что было бы, если бы А. И. Гучковъ сталъ въ рѣшительную оппозицію противъ новѣйшей политики П. А. Столыпина, состоящей въ подчиненіи противоконституціоннымъ силамъ? Октябристская храмина разсыпалась бы, и А. И. Гучковъ оказался бы не лидеромъ самой многочисленной партіи Государственной Думы, а просто умѣренно-либеральнымъ или либерально-консервативнымъ депутатомъ отъ первой куріи города Москвы съ извѣстнымъ не очень большимъ числомъ единомышленниковъ и даже просто сателлитовъ.

Такимъ образомъ совершенно ясно, что ни тотъ, ни другой не владѣютъ политическимъ положеніемъ, а, наоборотъ, послѣднее владѣетъ и главой правительства, и главой самой сильной думской партіи. Оба они дебютировали въ большой политикѣ—г. Гучковъ гораздо раньше г. Столыпина—настоящими конституціоналистами. И оба они свернули свой конституціонный флагъ. Какъ извѣстно, этотъ фактъ дѣлаетъ и сановника и депутата цѣльбищемъ насмѣшекъ и накопилъ вокругъ ихъ головъ непріязненныя чувства, переходящія въ прямую ненависть. Въ этой ат-

---

[1]) См. мою статью подъ этимъ заглавіемъ въ № 2 Московскаго Еженедѣльника за 1909 г. (перепечатана выше).

мосферѣ насмѣшекъ и ненависти гаснетъ ясное пониманіе того истиннаго соотношенія силъ въ современной внутренней политикѣ Россіи, которое дѣлаетъ изъ гг. Столыпина и Гучкова не виновниковъ, а жертвы политическаго положенія.

Можно, конечно, отрицать, чтобы А. И. Гучковъ свертывалъ когда-либо конституціонный флагъ, ибо въ качествѣ главы даже самой крупной политической группы въ русскомъ парламентѣ онъ не несетъ на себѣ формальной отвѣтственности за дѣйствія правительства. Однако неискренность, глубочайшая внутренняя неправдивость такого отвода бьетъ въ глаза. Въ политикѣ рѣчь идетъ не о формальной отвѣтственности, а о морально-политической солидарности. И эту солидарность между правительствомъ и октябризмомъ, представляемымъ А. И. Гучковымъ, отрицать нельзя. Конечно, эта солидарность вынужденная и чисто тактическая со стороны А. И. Гучкова: онъ хорошо понимаетъ, что если бы за нимъ стояла не чрезвычайно разношерстная, исторически сложившаяся группа, а подлинная политическая партія, опирающаяся на прочно сложившееся конституціоное правосознаніе избирательнаго корпуса, октябристы и его лидеръ всегда могли бы и должны были бы создать въ странѣ настоящій конституціонный кризисъ и тѣмъ заставить правительство измѣнить свою политику. А. И. Гучковъ и по всему ходу своего умственнаго развитія, и по всѣмъ глубочайшимъ органическимъ и эмоціональнымъ основамъ своей личности настоящій конституціоналистъ. И если онъ свернулъ конституціонный флагъ, то въ этомъ фактѣ обнаружилась невозможность въ данный моментъ въ Россіи иного конституціонализма, кромѣ чисто оппозиціоннаго. Внѣ оппозиціи ведется лишь игра въ конституціонныя прятки. Но для А. И. Гучкова перейти въ оппозицію значило бы расколоть и разложить „октябризмъ“

и совершенно потерять то значительное формальное политическое вліяніе, которымъ онъ пользуется въ качествѣ лидера союза 17 октября и которымъ прикрывается его политическое безсиліе по существу, какъ дѣятеля русскаго конституціонализма...

А. И. Гучковъ принадлежитъ къ тому типу политическихъ дѣятелей, самымъ яркимъ примѣромъ которыхъ въ XIX вѣкѣ является Тьеръ. Огромное честолюбіе и огромная, граничащая съ безпринципностью, пластичность. И рядомъ съ этимъ—подлинный органическій и общественный патріотизмъ, яркимъ пламенемъ вспыхивающій въ моменты, когда Гучковъ касается той стороны нашей политической жизни, которая его всего сильнѣе интересуетъ,—вопросовъ государственной обороны. Такія натуры могутъ развертываться и дѣйствовать въ полную мѣру своихъ силъ лишь въ той атмосферѣ, которая создается и поддерживается только конституціоннымъ строемъ. Въ атмосферѣ вынужденныхъ компромиссовъ съ абсолютизмомъ ихъ политическая энергія размѣнивается на интриганство и на „подсиживаніе“ политическихъ противниковъ при помощи разныхъ психологическихъ эффектовъ.

Инымъ совершенно вошелъ въ данную политическую ситуацію и иначе долженъ чувствовать себя въ ней П. А. Столыпинъ. Конституціонализмъ его чисто разсудочный. Онъ хорошо понимаетъ, что откровенное возстановленіе самодержавія, въ томъ смыслѣ, въ какомъ оно отмѣнено манифестомъ 17 октября, т.-е. въ смыслѣ неограниченной власти Монарха, было бы въ своихъ послѣдствіяхъ катастрофически-гибельно для русскаго государства. Но и по своему воспитанію и по своей натурѣ онъ совсѣмъ не конституціоналистъ. Въ этомъ его глубокое отличіе отъ Гучкова. Поэтому-то онъ могъ, навѣрное, гораздо легче, чѣмъ Гучковъ, поступиться всѣмъ содержаніемъ своего разсудочнаго

конституціонализма и оставить неприкосновенной только форму,—Государственную Думу, обезвреженную закономъ 3 іюня. Я бы различіе между конституціонализмомъ Гучкова и Столыпина выразилъ еще такъ: первый любитъ конституцію, эмоціонально съ ней связанъ, и, измѣняя ей, онъ измѣняетъ своей натурѣ, тогда какъ второй конституціи не любитъ и, измѣняя ей, онъ, быть можетъ, становится невѣренъ своему слову или совершаетъ политическую «ошибку», но невѣрнымъ своей натурѣ онъ отъ этого не становится. Монархію онъ любитъ всѣмъ своимъ существомъ, конституцію онъ признаетъ просто какъ необходимость, стремясь свести ее къ возможно болѣе безобидной формѣ, къ той формѣ, въ которой она совмѣстима съ «самодержавіемъ». Не надо забывать, что П. А. Столыпинъ—помѣщикъ и чиновникъ со всѣми сильными и слабыми сторонами, со всей натурой того и другого, Я употребляю эти слова «помѣщикъ» и «чиновникъ» совершенно объективно, какъ обозначенія соціальнаго типа, какъ соціологическія категоріи. Этими обозначеніями для меня характеризуется прежде всего могущественная подсознательная основа дѣятельности г. Столыпина.

И тутъ въ его дѣятельности выступаетъ наружу одно основное и въ то же время совершенно неустранимое противорѣчіе, съ которымъ нынѣшній предсѣдатель совѣта министровъ связалъ и свою судьбу, и свое историческое значеніе.

Конкретное происхожденіе аграрной программы русскаго правительства не вполнѣ ясно, но не можетъ подлежать сомнѣнію, что она является той частью общей правительственной программы, которая всего дороже лично П. А. Столыпину.

Многіе изъ того, что эта программа у самого Столыпина психологически несомнѣнно связана съ его помѣщичьими

симпатіями, выводятъ, что и самая эта программа по своему объективному смыслу является помѣщичьей.

Дѣло обстоитъ какъ разъ наоборотъ. Въ качествѣ акушера мелкой личной собственности П. А. Столыпинъ именно своей аграрной программой является могильщикомъ старопомѣщичьей Россіи, самъ того вовсе не желая— во всякомъ случаѣ онъ всѣхъ огромныхъ соціальныхъ и политическихъ послѣдствій своего дѣла не учитываетъ. Ибо именно его аграрная политика со всѣми ея слѣдствіями стоитъ въ кричащемъ противорѣчіи съ его остальной политикой. Она измѣняетъ экономическій „фундаментъ“ страны, въ то время какъ вся остальная политика стремится сохранить въ возможно большей неприкосновенности политическую „надстройку“ и лишь слегка украшаетъ ея фасадъ.

Въ этомъ отношеніи есть полная аналогія между политикой Витте въ періодъ 1892—1902 гг. и современной политикой Столыпина. Въ политикѣ Витте рядомъ съ казовой консервативностью объективно заключался глубоко революціонный элементъ: его промышленная политика подготовляла элементы новой Россіи. Точно такъ же и аграрная политика Столыпина кажется консервативной, но въ существѣ своемъ она есть попытка перестроить Россію въ самыхъ ея глубинахъ.

Думать, что подобная соціально-экономическая политика можетъ объективно служить основой для поддержанія ублюдочной политической формы конституціоннаго самодержавія, значитъ не понимать условій историческаго развитія народовъ.

Къ сожалѣнію, П. А. Столыпинъ, какъ я уже сказалъ, ч и н о в н и к ъ. Въ Россіи это слово имѣетъ бранный и только бранный смыслъ, хотя даже русское чиновничество представляетъ крупную культурную силу и имѣетъ историческія

заслуги. Но отрѣшаясь даже вовсе отъ браннаго значенія слова, мы должны сказать: чиновникъ есть всегда „субальтернъ“, всегда подчиненное, исполнительное лицо, которое всякое заданіе беретъ изъ чьихъ-то чужихъ рукъ. И тутъ заключается крупнѣйшее органическое противорѣчіе во всей исторической фигурѣ г. Столыпина. Въ немъ есть государственный дѣятель. Для такового въ условіяхъ современной дѣйствительности даже Россіи настоящая конституціонная жизнь есть необходимая среда, въ которой онъ только и можетъ развернуть свои силы и способности. Передъ нами любопытный случай: чувствами и традиціями Столыпинъ совсѣмъ не связанъ съ конституціей и къ ней не привязанъ, но весь масштабъ его личности дѣлаетъ конституціонную жизнь страны безусловно необходимой для полнаго проявленія этой личности. Такимъ образомъ не только по соображеніямъ государственно-разсудочнымъ Столыпинъ держится за конституціонную форму; онъ и непосредственно ею дорожитъ, какъ эстетически (въ самомъ общемъ и въ то же время и самомъ точномъ смыслѣ слова) необходимой рамкой для его личности. Въ прежнія эпохи такую рамку и такую среду могъ давать для государственнаго человѣка и абсолютизмъ. Но въ современной Россіи абсолютизмъ могъ бы существовать лишь въ состояніи полнаго вырожденія и декаданса,—и поскольку онъ существуетъ, онъ носитъ на себѣ именно эти „гиппократовы“ черты.

Съ другой стороны, въ П. А. Столыпинѣ есть чиновникъ-субальтернъ, который подгибаетъ и уже подогнулъ государственнаго дѣятеля подъ ярмо выродившагося абсолютизма.

Такъ же какъ Гучковъ по своему типу изъ западноевропейскихъ примѣровъ всего скорѣе вызываетъ на память образъ Тьера, Столыпина опять-таки по типу всего

скорѣе можно было бы сопоставить съ Бисмаркомъ [1]). Бисмаркъ тоже только разсудочнымъ путемъ пришелъ къ признанію конституціи. Бисмаркъ тоже былъ помѣщикомъ и аграріемъ.

Но въ Бисмаркѣ *не было ни грана чиновника*, и онъ, человѣкъ весь пропитанный тѣмъ, что нѣмцы называютъ „monarchische Treue“, никогда не былъ „субальтерномъ“, никогда не бралъ заданія изъ чужихъ рукъ. Бисмаркъ какъ „служака“ былъ не чиновникомъ, а скорѣе военнымъ, хотя среди настоящихъ активныхъ военныхъ онъ былъ „штатскимъ“. Однако, именно въ его пониманіи осуществленія отвѣтственной власти сказывались нѣкоторыя черты, которыя должны быть присущи военному человѣку въ такомъ положеніи. Любопытно и, навѣрное, неслучайно, что наиболѣе государственное пониманіе отвѣтственной власти въ новѣйшей русской исторіи обнаружили

---

[1]) Я говорю о сопоставленіи типовъ, совершенно оставляя въ сторонѣ сравнительную оцѣнку личностей. Въ настоящее время ни всего историческаго значенія, ни подлинныхъ размѣровъ тѣхъ личностей, о которыхъ идетъ рѣчь, нельзя еще установить. Они наши современники и историческія „дѣла“ о нихъ не закончены. Можетъ быть, у нихъ есть только прошлое и все у нихъ идетъ на убыль, а можетъ быть, при измѣнившихся условіяхъ они пріумножатъ свой историческій активъ и у нихъ окажется будущее. Насколько необходима осторожность въ подобныхъ сужденіяхъ, показываетъ слѣдующая справка. Въ началѣ 60-хъ годовъ большинству интеллигентныхъ нѣмцевъ Бисмаркъ рисовался ординарнымъ реакціонеромъ, и когда одинъ изъ оригинальнѣйшихъ нѣмецкихъ публицистовъ того времени, Константинъ Рёслеръ, написалъ, что-Бисмаркъ создастъ единство Германіи, то по разсказу знаменитаго историка литературы, Вильгельма Шерера, ему на улицѣ Берлина показывали пальцемъ на Рёслера, прибавляя: „вотъ чудакъ, который вѣритъ, что это сдѣлаетъ Бисмаркъ“. Hans Delbrück въ вступительной статьѣ къ Constantin Rösslers ausgewählte Aufsätze. Berlin, 1902. S. XVI.

именно военные: графъ Милютинъ, графъ Лорисъ-Меликовъ, князь Святополкъ-Мирскій и въ послѣднюю эпоху своей дѣятельности даже генералъ Ванновскій.

Что такое государственный человѣкъ—изучить и понять всего лучше можно именно на политической біографіи князя Бисмарка. Для него воля и интересы государства никогда не сливались и не отождествлялись съ чьей-либо личной волею. Когда послѣ Кениггреца въ концѣ іюня 1866 г. шелъ вопросъ о томъ, продолжать ли войну съ Австріей, или закончить ее безъ всякихъ территоріальныхъ пріобрѣтеній на счетъ Австріи, Бисмаркъ, какъ извѣстно, съ совершенно исключительной дальновидностью и столь же исключительнымъ упорствомъ буквально до слезъ [1]) защищалъ послѣднее мнѣніе. Когда король и окружавшая его активно военная среда рѣшительно воспротивились этому, Бисмаркъ не колеблясь во время войны поставилъ вопросъ о своей отставкѣ. Въ конечномъ итогѣ король уступилъ, сдѣлавъ на одномъ изъ донесеній Бисмарка слѣдующую историческую надпись на поляхъ (Marginale): „Послѣ того, какъ выяснилось, что мой министръ-президентъ предъ лицомъ врага покидаетъ меня и я здѣсь лишенъ возможности замѣнить его, я обсудилъ вопросъ съ моимъ сыномъ, и такъ какъ онъ присоединился къ взгляду министра-президента, то я къ своему прискорбію вижу себя вынужденнымъ послѣ столь блестящихъ побѣдъ арміи покориться и принять столь постыдный миръ“ [2]).

---

[1]) Бисмаркъ въ это время былъ боленъ, совѣтъ засѣдалъ въ его помѣщеніи. Послѣ дебатовъ нервы его, какъ онъ самъ разсказываетъ, не выдержали, и съ нимъ сдѣлалась истерика (Weinkrampf)!

[2]) „Nachdem mein Ministerpräsident mich vor dem Feinde im Stiche lässt und ich hier ausser Stande bin, ihn zu ersetzen, habe ich die Frage mit meinem Sohne erörtert und da sich derselbe der Auffassung des Ministerpräsidenten angeschlossen hat sehe ich mich

По существу не менѣе характерны другіе случаи, когда Бисмаркъ просилъ отставки всякій разъ, когда „внѣвѣдомственныя вліянія“ (ausseramtliche Einflüsse) начинали дѣйствовать на волю короля и опредѣлять его рѣшенія. Въ этомъ отношеніи и доктрина, и поведеніе князя Бисмарка отличались той абсолютной ясностью и рѣшительностью, которая проводитъ неизгладимую разграничительную черту между государственнымъ человѣкомъ, съ одной стороны, и чиновникомъ или придворнымъ, съ другой стороны. „Задача—писалъ онъ королю (потомъ императору) Вильгельму въ февралѣ 1869 г.—устанавливать соглашеніе между Вашимъ Величествомъ и восемью министрами и послѣ того, какъ оно достигнуто, поддерживать еще связь съ тремя парламентскими корпораціями, а также надлежащимъ образомъ принимать во вниманіе союзныя и иностранныя правительства, до сихъ поръ могла быть болѣе или менѣе удовлетворительно разрѣшаема. По моему почтительнѣйшему мнѣнію, основное условіе такого разрѣшенія заключалось въ томъ обстоятельствѣ, что Ваше Величество до сихъ поръ ни разу, съ тѣхъ поръ, что я имѣю честь состоять на службѣ у Вашей августѣйшей особы, не подвергали сомнѣнію разъ уже состоявшагося по выслушаніи министровъ рѣшенія“. Далѣе Бисмаркъ жалуется на „внѣвѣдомственныя вліянія“, которыя дѣлаютъ невыносимыми и работу, и положеніе министровъ, и прямо говоритъ, что онъ при такихъ условіяхъ не въ силахъ продолжать борьбу, которая уже навлека на него „немилость высоко-

---

zu meinem Schmerze gerwungen nach so glänzenden Siegen der Armee in diesen sauren Apfel zu beissen und einen so schmachvollen Frieden anzunehmen“. Бисмаркъ цитируетъ эту надпись на память. Ср. Gedanken und Erinnerungen. Volks-Ausgabe. Stuttgart, 1905. Band II. S. 67 (въ главѣ XX „Nikolsburg“).

поставленныхъ особъ и нерасположеніе вліятельныхъ лицъ“ [1]).

Такъ рѣзко и рѣшительно по ничтожному поводу, по сравненію съ которымъ дѣло о штатахъ морского штаба и разъясненіи ст. 96 есть нѣчто по существу огромное, ставилъ Бисмаркъ вопросъ объ условіяхъ осуществленія власти государственнымъ человѣкомъ. И нужно сказать: при всей своей склонности преклонять ухо къ разнымъ „внѣвѣдомственнымъ“ внушеніямъ, король Вильгельмъ I не только отвѣчалъ на указанія и жалобы Бисмарка съ далеко не обычнымъ въ его положеніи человѣческимъ добродушіемъ и привлекательною личною скромностью, но обнаруживалъ при этомъ воистину замѣчательно-мудрое государственное самоограниченіе. И только благодаря этому самоограниченію власть оставалась въ теченіе десятилѣтій въ рукахъ такого сильнаго и геніальнаго человѣка, какъ Бисмаркъ, который вообще могъ упражнять ее только какъ отвѣтственное государственное служеніе, а не какъ чиновничье-исполнительную службу, осуществляющую чужія заданія [2]).

---

[1]) Ср. переписку Бисмарка и Вильгельма. Kaiser Wilhelm. u. Bismarck. Anhang zu den Gedanken u. Erinnerungen I. (Stuttgart 1901). SS. 188—199. Ср. Gedanken u. Erinnerungen, цит. изд. I, 229—236.

[2]) Чрезвычайно характеренъ слѣдующій эпизодъ. Противникъ политики Бисмарка отставной помощникъ статсъ-секретаря Грунеръ былъ опредѣленъ на службу въ министерство двора съ назначеніемъ „дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ“. Этотъ актъ сталъ извѣстенъ имперскому канцлеру и прусскому министру-президенту какъ fait accompli и не былъ контрасигнированъ ни однимъ изъ отвѣтственныхъ министровъ. Бисмаркъ рѣшительно воспротивился опубликованію его въ офиціальной части Правительственнаго Вѣстника Имперіи и Пруссіи. Такъ назначеніе г. Грунера никогда и не было офиціально опубликовано. Объ этомъ эпизодѣ довольно обстоятельно разсказываетъ самъ Бисмаркъ въ своихъ Gedanken und Erinnerungen, цит. изд. II, 226 и сл.

П. А. Столыпинъ въ рѣшающіе моменты очевидно не находилъ и все менѣе и менѣе находитъ въ себѣ силъ—быть государственнымъ человѣкомъ. На этомъ не стоило бы и настаивать, настолько это очевидный и въ русской исторіи ординарный фактъ, если бы въ лицѣ г. Столыпина въ русской служилой средѣ послѣдняго времени не выдвинулся человѣкъ, который по свойствамъ своей личности безспорно превосходитъ обычный бюрократическій уровень, если бы въ главѣ нынѣшняго правительства не было абсолютно никакого «матеріала» для роли настоящаго государственнаго человѣка. Но это, къ сожалѣнію, не такъ. Подобно г. Витте, государственныя дарованія котораго въ извѣстномъ смыслѣ лишь подчеркивались его безпринципностью и отсутствіемъ солиднаго образованія,—г. Столыпинъ по нѣкоторымъ свойствамъ своей личности отнюдь не обыкновенный чиновникъ. Вотъ почему, когда мы оцѣниваемъ его совершенно объективно, намъ видится въ немъ гораздо болѣе жертва, чѣмъ виновникъ того запутаннаго и въ высшей степени неустойчиваго (хотя, быть можетъ, и затяжного) политическаго положенія, въ которомъ находится Россія.

Положеніе это осложняется еще тѣмъ, что внѣшняя политика Россіи, не становясь болѣе активной и энергичной, въ то же время становится болѣе опредѣленной въ отрицательномъ и пассивномъ смыслѣ. Все яснѣе и яснѣе, что въ международной политикѣ складывается новая комбинація: Англія—Франція—Россія—Италія, и что этой комбинаціи противостоитъ все болѣе и болѣе консолидирующійся союзъ Германіи и Австріи. Все международное положеніе опредѣляется соотношеніемъ двухъ руководящихъ и борющихся за европейскую гегемонію державъ: Англіи и Германіи. За послѣднее время Россія довольно опредѣленно движется въ орбитѣ Англіи. Повидимому, это совершенно

неизбѣжно и въ то же время соотвѣтствуетъ интересамъ Россіи. Но не слѣдуетъ забывать, что такое направленіе нашей внѣшней политики несомнѣнно не только не уменьшаетъ, а скорѣе увеличиваетъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, трудность и сложность нашего международнаго положенія и увеличиваетъ рискъ международнаго столкновенія. Однимъ изъ главнѣйшихъ факторовъ міровой политики, котораго нельзя ни на минуту забывать, является внутренняя политическая и финансовая слабость Россіи. Именно эта слабость, какъ мы на это указывали въ другомъ мѣстѣ [1]), есть та черная точка міровой политики, которая можетъ разрастись въ грозовую тучу.

Эта внутренняя слабость, превращающаяся въ слабость международную, есть—какъ ни грустно и ни обидно въ этомъ признаваться—въ то же время одинъ изъ устоевъ нашей конституціи. Споръ о томъ, есть ли въ Россіи конституція, или ея нѣтъ, и если она существуетъ, то не есть ли это существованіе исключительно бумажно-юридическое, этотъ споръ рѣшается не столь просто и однозначно, какъ это обычно дѣлается.

Юридически, или въ правѣ русская конституція несомнѣнно существуетъ, потому что она вписана въ манифестъ 17 октября и въ основные законы. Но съ другой стороны въ правосознаніи фактически властвующихъ, правящихъ силъ въ Россіи конституціи еще не существуетъ.

Фактически, въ жизни конституціи не существуетъ, ибо не только не осуществлены реформы, возвѣщенныя въ манифестѣ 17 октября, но и законодательныя права Думы сведены почти на нѣтъ и широкимъ совершенно не соот-

[1]) См. мою статью „Современное международное положеніе подъ историческимъ угломъ зрѣнія", Русская Мысль, февраль 1909 г. (перепечатана выше).

вѣтствующимъ ея смыслу примѣненіемъ ст. 87 основныхъ законовъ, и новымъ и притомъ одностороннимъ истолкованіемъ ст. 96 тѣхъ же законовъ, и значительнымъ расширеніемъ полномочій совѣта министровъ, и, наконецъ, быть можетъ, всего болѣе тѣмъ огромнымъ значеніемъ, которое пріобрѣли всякія «внѣвѣдомственныя» вліянія: эти вліянія совершенно исключаютъ нормальное, въ правовыхъ рамкахъ движущееся взаимодѣйствіе между правительствомъ и народнымъ представительствомъ. Съ другой стороны, форма и органъ конституціи—Государственная Дума—фактически существуетъ и, хотя правосознаніе рѣшающихъ силъ до конституціи еще не доросло, эта форма неотмѣнима, потому что на ней держится государственный кредитъ Россіи и тѣмъ самымъ ея международная дѣеспособность.

Таковъ сложный рисунокъ нашей политической дѣйствительности: конституція существуетъ въ правѣ (= законѣ) и отсутствуетъ въ правосознаніи правящихъ; конституція отсутствуетъ въ жизни, въ томъ политическомъ воздухѣ, которымъ дышитъ отдѣльный обыватель внутри страны, и она несомнѣнно присутствуетъ въ томъ политическомъ воздухѣ, которымъ, какъ членъ международной семьи, дышитъ все государство. Къ этому слѣдуетъ прибавить, что въ широкихъ слояхъ населенія идея абсолютизма въ корнѣ дискредитирована и прямо ненавистна, что конституціонализмъ сталъ такимъ образомъ въ Россіи уже народной идеей,—пусть нашъ народъ политически неразвитъ и фактическое обладаніе конституціей выпало изъ его неподготовленныхъ рукъ, въ смыслѣ конституціонной идеи онъ достаточно наученъ и проученъ самой жизнью, она стала его органическимъ достояніемъ. Это—фактъ, тоже, къ счастью, неотмѣнимый. Наоборотъ, для нашей правящей среды конституція есть пока лишь внѣшній фактъ, чисто

внѣшнее ограниченіе и стѣсненіе, формальность и докука, а вовсе не внутренне-необходимый и властный фактъ ея собственнаго правосознанія. Послѣднему чужды самые элементы конституціонной идеи. Въ этомъ отношеніи наше политическое развитіе рѣзко отличается отъ политическаго развитія Пруссіи и большинства германскихъ государствъ— тамъ правовое государство и соотвѣтствующее ему правосознаніе было подготовлено въ нѣдрахъ самого абсолютизма, и отчасти тѣми факторами, которые съ точки зрѣнія техники управленія составляли опору абсолютизма, а именно бюрократіей и, въ частности, судебнымъ сословіемъ...

Мы живемъ въ туманѣ всѣхъ этихъ непримиренностей и несообразностей, которыя каждую минуту даютъ себя знать всяческой болью, острой и тупой, общенародной и личной...

Политика внутренняя и политика внѣшняя. [1)]

Соотношеніе между политикой внутренней и внѣшней.—Какъ ведетъ себя сильная государственная власть?—Угрожающіе признаки государственнаго безсилія.—Рождающаяся отсюда патріотическая тревога.

Разбираясь въ текущихъ вопросахъ, полезно время отъ времени отдавать себѣ отчетъ въ тѣхъ общихъ сплетеніяхъ и связяхъ, которыми опредѣляется ходъ политики и культуры вообще. Къ такимъ общимъ проблемамъ относится соотношеніе политики внутренней и внѣшней

При обсужденіи этой проблемы очень легко впасть въ противоположныя крайности, и обычно мы ихъ встрѣчаемъ въ различныхъ пропорціяхъ въ тѣхъ разсужденіяхъ, которыми пробавляется ежедневная печать. Въ частности въ примѣненіи къ Россіи либо всѣ грѣхи нашей внутренней и внѣшней политики берутся за однѣ скобки, либо, наоборотъ, сознательно или безсознательно всѣ размышленія о внѣшней политикѣ ведутся совершенно отвлеченно отъ соображеній о нашемъ внутренемъ строѣ и его противорѣчіяхъ. Между тѣмъ именно современная Россія поставлена въ отношеніи ея внѣшней политики въ совершенно особыя

[1)] Русская Мысль 1910 г. Февраль.

условія, надъ которыми во всемъ ихъ своеобразіи стоитъ задуматься.

Совсѣмъ невѣрно, что страна съ реакціонной внутренней политикой вообще не можетъ дружить съ странами, смѣло идущими по пути демократическихъ, политическихъ и соціальныхъ реформъ. Во внѣшней политикѣ особенности внутренняго строя и внутренней политики непосредственно не идутъ въ счетъ. Достаточно указать, что революціонная Франція въ борьбѣ съ Австріей искала дружбы Турціи; что въ теченіе длиннаго историческаго періода либеральная Англія поддерживала деспотическую Турцію; что еще раньше абсолютистская и католическая Франція поддерживала германскій протестантизмъ. Цезаристская Франція поддерживала Италію въ борьбѣ съ монархической Австріей. „Легитимизъ“ былъ безсиленъ между прочимъ и въ томъ, что онъ сложную систему международныхъ отношеній пытался свести къ простой формулѣ, содержаніе которой давалось охранительной внутренней политикой. На памяти всѣхъ насъ возникъ и процвѣталъ двойственный союзъ между самодержавной Россіей и республиканской Франціей.

Но совершенно невѣрно также, чтобы внутренняя политика не имѣла и никогда не могла имѣть значенія для политики внѣшней. Есть эпохи, есть положенія, когда внѣшне-политическія побѣды возможны только при извѣстномъ характерѣ внутрненей политики. Нѣтъ ничего болѣе ошибочнаго, чѣмъ сводить внѣшнюю политику на дипломатическую борьбу, на противоборство интригъ властителей и ихъ слугъ. Живыя и глубинныя силы народа проявляютъ себя во внѣшней политикѣ иначе, чѣмъ во внутренней, но онѣ проявляютъ себѣ въ ней — и безъ нихъ никакія ухищренія властныхъ людей не могли бы ничего создать. Эти живыя силы не всегда говорятъ на митингахъ и часто совсѣмъ не имѣютъ демократическаго

*

обличія. Но ихъ жизнь и работа опредѣляютъ судьбы народовъ; онѣ движутъ и великими деспотическими личностями, осуществляющими въ исторіи національныя задачи, такими, какъ Петръ Великій, Кромвель, Бисмаркъ. Вотъ почему крупныя „внѣшнія“ событія такъ часто неразрывно связаны съ внутреннимъ развитіемъ, вотъ почему, „строя“ внѣшнюю политику, политическіе умы не могутъ забывать о невѣсомыхъ, но могущественныхъ силахъ внутренней политики. Когда въ концѣ 70-хъ гг. русская власть признавала, что время отказа отъ самодержавія еще не наступило, она подписывала берлинскій трактатъ и отступала отъ воротъ Константинополя.

Всякая историческая эпоха создаетъ вмѣстѣ съ формами и учрежденіями свой духъ, и этотъ духъ имѣетъ не только національное, но и универсальное значеніе. Этотъ универсальный духъ перекидывается изъ одной страны въ другую. Правда, онъ можетъ и, наоборотъ, встрѣтить въ нѣкоторыхъ странахъ неодолимыя препятствія для своего торжества. Когда революціонный духъ соединился съ національнымъ инстинктомъ французовъ и съ ихъ тягой къ міровому могуществу,—этотъ универсальный духъ политическаго освобожденія поднялъ противъ себя мугучее національное чувство англичанъ, и англійскіе „поклонники“ французской революціи должны были смириться передъ анти-якобинскимъ духомъ: Беркъ побѣдилъ Пэна и Макинтоша. Духъ универсальнаго освобожденія погасъ въ той международной борьбѣ, которую подняла сама побѣдоносная революція.

Чѣмъ отмѣчено то новѣйшее политическое развитіе культурнаго міра, въ которое вдвинута и Россія?

Съ одной стороны, соперничествомъ между двумя величайшими европейскими державами, Англіей и Германіей, съ другой стороны,—неудержимымъ торжествомъ демократіи, коренящимся во всей экономической и соціальной эволюціи.

Таково то международное политическое положеніе, въ которое поставлена внутренняя политическая реакція, восторжествовавшая въ Россіи. И таковъ тотъ универсальный духъ, въ міровой атмосферѣ котораго должна она жить.

Когда Александръ III вступалъ въ союзъ съ республиканской Франціей, Россія считалась и была такой силой, съ которой соединиться было во всякомъ случаѣ выгодно. Демократическая Франція искала тогда дружбы самодержавной Россіи. И никто тогда еще не думалъ, что французская демократія будетъ управляться сперва радикаломъ Клемансо, а потомъ даже соціалистомъ Бріаномъ. Въ современной Франціи, во Франціи 1910 г. демократія не формально, а по существу одержала верхъ.

Но еще знаменательнѣе для универсальнаго духа современности тотъ огромный переворотъ, который совершается въ Англіи, гдѣ впервые аристократію вытѣсняетъ демократія, гдѣ подготовляется огромный сдвигъ, который теперь еще составляетъ предметъ партійной борьбы, но завтра заставитъ партіи примѣниться къ себѣ и дѣйствовать на новомъ политическомъ рельефѣ.

А что происходитъ въ Германіи? Медленно, но неуклонно Германія идетъ къ сверженію консервативнаго господства, къ новымъ политическимъ группировкамъ, выражающимъ истинное соотношеніе соціальныхъ силъ и отражающимъ подлинную хозяйственную организацію страны. Процессъ этотъ совершается весьма медленно. Еще до сихъ поръ монархія и ея органъ бюрократія и промышленный пролетаріатъ въ лицѣ соціалдемократіи, ощетинившись, стоятъ другъ противъ друга. Но жизнь ихъ сведетъ, она вставитъ между ними новыя прослойки, сгладитъ „поверхности трения". Германскій либерализмъ, надъ которымъ принято смѣяться, но въ рукахъ и мозгахъ котораго сосредоточены и богатство, и умъ націи, исторически призванъ либерали-

зироватъ и монархію, и соціалдемократію. Осуществленіе этого призванія будетъ торжествомъ демократіи въ Германіи, и это торжество неуклонно близится къ намъ.

Когда руководитель русской внѣшней политики при Николаѣ I, графъ Нессельроде (который, кстати сказать, не былъ столь ограниченъ и бездаренъ, какъ это принято думать), обсуждалъ въ своемъ ежегодномъ всеподданѣйшемъ отчетѣ [1]) итоги 1848 г., онъ отмѣчалъ, что „исторія народовъ представляетъ мало примѣровъ подобныхъ повсемѣстныхъ катастрофъ и столькихъ развалинъ", какъ въ этомъ году. „Первая французская республика и исторія Наполеона I также создали огромныя территоріальныя перемѣны, но онѣ оставили нетронутыми самыя основы общественныхъ порядковъ. 1848 годъ перевернулъ все: государственныя учрежденія, территоріальныя владѣнія, порядки нравственные и политическіе".

То, что въ 1848 г. обозначилось на Западѣ въ патологической и бурной формѣ вулканическихъ изверженій, за которыми слѣдовала эпоха глубокой реакціи,—то въ концѣ XIX и началѣ XX вѣка совершалось и совершается какъ органическій и здоровый процессъ непрерывнаго наростанія новыхъ политическихъ силъ.

Демократія побѣждаетъ по всей линіи въ культурномъ мірѣ. Не та демократія, которая погашаетъ чувство личной отвѣтственности и тѣмъ понижаетъ личную годность, не та демократія, которая мнитъ общественныя несовершенства устранить чудодѣйственными механическими средствами, не та демократія, которая завидуетъ всякой силѣ и косится на нее и которая сама могла бы восторжествовать только

---

[1]) Ср. Ф. Мартенсъ; „Собраніе трактовъ и конвенцій, заключенныхъ Россіей съ иностранными державами". Томъ XV, Спб., 1909 г., стр. 239.

старыми способами насилія. Словомъ, демократія не „уравнительная“ и не „захватная“. Сильна и побѣждаетъ культурная демократія, которая несетъ съ собой общественную солидарность и возможность безграничнаго разнообразія личнаго и общественнаго творчества культуры.

Вотъ универсальный духъ свободы, который окружаетъ со всѣхъ сторонъ русскую реакцію. Она духовно изолирована во всемъ мірѣ.

А въ то же время государство, которымъ овладѣла эта реакція, политически изолировано въ международномъ общеніи,—изолировано своею слабостью. Время, когда на реакціонную Россію взирали съ почтеніемъ, какъ на большую матеріальную силу, когда,не смотря на духовную чуждость этой силы, съ нею искали союза,—миновало. Современная русская реакція, какъ международная величина, не есть самодовлѣющая и импонирующая во внѣ сила, каковою она была въ эпоху Николая I и даже въ царствованіе Александра III. Она есть воплощеніе государственной слабости—и пониманіе этого разлито во всемъ мірѣ.

Эта отчужденность отъ универсальнаго духа свободы и демократіи внѣшне ослабленной и разслабленной государственной реакціи, оффиціально управляющей судьбами Россіи, есть, конечно, залогъ неминуемаго паденія реакціи. Однако къ сознанію этого неминуемаго паденія реакціи,—сознанію, которое само по себѣ могло бы быть только радостнымъ и даже возвышающимъ, ибо чувство справедливости требуетъ, чтобы злу было уготовано паденіе,—примѣшивается горькое и скорбное чувство, что въ свое паденіе реакція можетъ и—при нѣкоторыхъ условіяхъ—неизбѣжно должна вовлечь и самое государство...

Вотъ почему русскими умами такъ неотступно владѣетъ патріотическая тревога,—тревога, подобной которой—я глубоко въ этомъ убѣжденъ—не переживало ни одно русское

поколѣніе. Въ памятные дни японской войны и ей предшествовавшіе не было и не могло быть еще этого чувства. Мы ощущали тогда утраченное нами теперь сознаніе внѣшнеполитической мощи Россіи. То же было и передъ крымской войной, когда, по словамъ А. С. Хомякова, „сила породила гордость“ и „та вещественная сила, которою мы были отличены передъ другими народами, сдѣлалась предметомъ нашей постоянной похвальбы, а увеличеніе ея единственнымъ предметомъ нашихъ заботъ“ [1]). Тогда Россія являла ослѣпленіе силы, въ значительной мѣрѣ всетаки не призрачной, ибо Россія Николая I еще не была той раздвоившейся въ себѣ, ослабленной страной, каковой мы знаемъ ее теперь.

Опаснѣе было уже такое же ослѣпленіе передъ японской войной. Но всетаки даже тогда могло быть извѣстное ощущеніе—пусть то была иллюзія!—международной силы, внѣшне-политическаго могущества Россіи.

Теперь мы видимъ ослѣпленіе безсилія, которое не можетъ почитать себя силой и другими не можетъ быть почитаемо за таковую.

Ослѣпленное государственное безсиліе, лишенное всякой даже субъективной правдивости — таковъ образъ господствующей реакціи. И этотъ образъ не можетъ не внушать величайшей патріотической тревоги.

Всего ярче ослѣпленіе реакціи обнаруживается въ ея отношеніи къ Финляндіи. Можно имѣть разные взгляды на русско-финляндскія отношенія съ точки зрѣнія государственно-правой, но ясно, что методы воздѣйствія русской реакціи на Финляндію непререкаемо свидѣтельствуютъ объ одномъ, о внутреннемъ безсиліи.

---

[1]) Хомяковъ: „Къ сербамъ посланіе изъ Москвы“. Сочиненія т I, изд., 3-е, стр. 381.

Въ свое время на меня сильнѣйшее впечатлѣніе произвело заявленіе одного русскаго государственнаго дѣятеля, что Россія—говорившій, очевидно, имѣлъ въ виду правящую оффиціальную Россію—недостаточно сильна для того, чтобы дать вольности польскому населенію, обитающему на территоріи Царства Польскаго. Это признаніе гораздо искреннѣе и гораздо ближе подходитъ къ истинѣ, чѣмъ попытки представить борьбу съ самоопредѣленіемъ окраинъ, имѣющихъ свою историческую индивидуальность, свое культурно-политическое лицо, какъ проявленіе политической мудрости и государственной силы правительства.

Сила умѣренна. Сила не раздражается и не раздражаетъ. Ей чуждо стремленіе согнуть въ бараній рогъ и придавить своей пятой кого бы то ни было. Для того, чтобы понимать, какъ дѣйствуетъ подлинная государственная сила, каковы ея психологическіе пріемы, слѣдуетъ обратиться къ исторіи англійскихъ колоній послѣ отпаденія Сѣверо-Американскихъ Штатовъ. Тутъ англійская правительственная власть явила поразительные примѣры мудрой умѣренности и создала памятники несравненной государственной мысли [1]).

Англичане отнюдь не космополиты и чувство національной государственности присуще имъ въ высочайшей степени. Но—послѣ отложенія Сѣверной Америки—они поняли, что утвержденіе такой государственности не есть механическая задача, осуществляемая голымъ приказомъ

---

[1]) На первомъ мѣстѣ тутъ слѣдуетъ назвать отчетъ графа Дергема—Report on the affairs of British North America from the Eearl of Durham, Her Majestys High Commissioner (1839 г.).

„Отчетъ Дергема,—говоритъ новѣйшій русскій изслѣдователь баронъ Нольде,—по праву долженъ былъ бы занимать одно изъ первыхъ мѣстъ въ общей исторіи міровой политической литературы, наравнѣ съ твореніями Монтескье и Токвиля, Гоббса и Локка, „Федералистомъ“ и сочиненіями Бенжамена Констана“.

и во всякихъ условіяхъ одинаковыми средствами, въ одинаковыхъ предѣлахъ.

Для утвержденія національной государственности должны быть налицо извѣстныя объективныя и моральныя условія.

Финляндія и Царство Польское неразрывно связаны съ Россійской имперіей и въ то же время эти области никогда не могутъ стать русскими. Не могутъ стать русскими потому, что въ нихъ невозможно вселеніе русскаго элемента и что по своимъ историческимъ судьбамъ каждая изъ этихъ областей создала своеобразную, богатую традиціями культуру, независимую отъ русской и ей не уступающую. Пока эти области входятъ въ составъ большого государственнаго цѣлаго, которое именуется Россійской Имперіей, изъ этого для нихъ неизбѣжно вытекаютъ извѣстныя политическія слѣдствія. Эти слѣдствія общей политической жизни съ огромнымъ цѣлымъ, которое именуется Россійской Имперіей, но которое по своимъ историческимъ судьбамъ и по основной, задающей въ ней тонъ культурѣ есть національное русское государство, должны быть съ честной ясностью и разумной умѣренностью очерчены и національнымъ русскимъ государствомъ, и государственно спаянными съ нимъ, но культурно-независимыми отъ русской національности историко-политическими индивидуальностями, входящими въ составъ имперіи. Такихъ только двѣ—Польша и Финляндія.

Не ради Финляндіи, заботу объ интересахъ которой мы смѣло можемъ предоставить ей самой, а ради государственной мощи національнаго ядра имперіи, со стороны Россіи необходима, прежде всего, мудрая и доброжелательная умѣренность въ устроеніи русско-финляндскихъ отношеній. Внѣшне болѣе сильная сторона—а таковой въ

данной комбинаціи является Россія съ ея вооруженной силой — обязана воздерживаться отъ всякихъ пріемовъ устрашенія и раздраженія. Она обязана т а к ъ вести себя —именно во имя подлиннаго обще-государственнаго интереса внѣшне-политической мощи, ради полной сплоченности всѣхъ частей государства по отношенію ко всему внѣшнему міру.

Та русская политика, которая въ настоящее время афишируетъ себя національной, дѣйствуетъ съ полнымъ пренебреженіемъ къ мудрой идеѣ, классически выраженной въ достопамятной инструкціи лорда Джона Рёсселя канадскому генералъ-губернатору Томсону 14 октября 1839 г. [1]):

„Ея величество не желаетъ поддерживать въ Сѣверной Америкѣ никакой политической системы, осуждаемой общественнымъ мнѣніемъ. Она разсматриваетъ любовь своихъ подданныхъ какъ лучшее обезпеченіе своего господства".

Такую максиму преподавало англійское правительство своему генералъ-губернатору въ провинціи, которая за два года передъ тѣмъ пережила открытое возмущеніе, подавленное вооруженной силой!

И эта максима осуществлялась въ странѣ, в н у т р и которой англійское правительство могло съ легкостью опереться на англійскій націонализмъ. Но ради высшаго имперскаго идеала англійская власть не только не пошла въ союзѣ съ націоналистическимъ ослѣпленіемъ, наоборотъ, взрыву англійскаго общественнаго шовинизма она противопоставила мудрую выдержку сознающей свою силу и правоту государственности. Англійскіе шовинисты разогнали неугодный имъ канадскій парламентъ и сожгли самое его

---

[1]) A l f r e d Z i m m e r m a n n: Die Kolonialpolitik Grossbritanniens. Zweiter Theil. Berlin. 1899. S. 177.

зданіе, а строго конституціоннаго генералъ-губернатора осы́пали и осыпа́ли гнилыми яйцами, грязью и камнями. Тогда наступилъ моментъ, когда англійская государственная власть, безъ всякой позы, въ спокойномъ самообладаніи опирающейся на право моральной силы, сказало шовинистической толпѣ свое настоящее „не запугаете“. Она ни на іоту не отступила ни отъ уваженія къ подлинному общественному мнѣнію, ни отъ исполненія закона и вписанныхъ въ него обязательствъ власти [1]). Въ то же время

[1]) „Кабинетъ Лафонтена внесъ въ парламентъ билль о возмѣщеніи убытковъ, которые населеніе потерпѣло во время возстанія 1837—38 гг. Первоначально, когда вопросъ этотъ впервые былъ поднятъ, еще до генералъ-губернаторства Эльджина, имѣлись въ виду убытки, вызванные дѣйствіями мятежниковъ, но министерство Лафонтена расширило этотъ проектъ и предложило возмѣстить и тѣ убытки, которые произошли отъ дѣйствія войскъ во время подавленія мятежа. Англійское населеніе, принадлежавшее къ торіямъ, усмотрѣло въ этомъ актѣ своего рода награду за мятежъ и подняло страшный крикъ какъ въ стѣнахъ парламента, такъ и внѣ ихъ. Въ парламентѣ не удалось добиться измѣненія билля; послѣдній былъ принятъ большинствомъ голосовъ, и всѣ усилія оппозиціи направились на то, чтобы заставить лорда Эльджина (генералъ-губернатора Канады. П. С.) воспротивиться его введенію въ дѣйствіе. Со всѣхъ сторонъ къ нему стали стекаться самыя рѣзкія рѣшительныя требованія, въ которыхъ говорилось, или что онъ долженъ распустить парламентъ; или что онъ долженъ отказать въ санкціи биллю. Несмотря на эти требованія и на угрозы, въ нихъ заключавшіяся, лордъ Эльджинъ,—въ противность господствовавшему въ оппозиціи убѣжденію, что онъ не рѣшится дать самъ королевскую санкцію (royal assent) закону о возмѣщеніи убытковъ, а передастъ вопросъ на рѣшеніе въ Лондонъ, на что онъ имѣлъ право,—сдѣлалъ это; по обычаю, санкція давалась въ присутствіи парламента чтеніемъ списка утверждаемыхъ биллей. „Когда клеркъ парламента,—повѣствуетъ біографъ лорда Эльджина,—прочелъ названіе: „Актъ объ индемнизаціи населенія, коего собственность разрушена была во время возстанія 1837 и 1838 гг.“, въ палатѣ царило мертвое молчаніе; на минуту присут-

эта власть вовсе не была космополитически равнодушна къ идеалу національно-государственной мощи, но, наоборотъ, твердо и честно блюла этотъ идеалъ.

ствовавшіе затаили дыханіе; потомъ со стукомъ и ропотомъ часть аудиторіи бросилась къ дверямъ. По выходѣ на улицу знаки неодобренія смѣнились криками и гнѣвными возгласами. Передъ зданіемъ парламента быстро собралась толпа. Около шести часовъ, покончивъ съ дѣлами, лордъ Эльджинъ собирался оставить зданіе парламента. Но какъ только онъ показался, толпа съ крикомъ набросилась на него. На короткомъ промежуткѣ 100 ярдовъ отъ кареты онъ былъ засыпанъ гнилыми яйцами, одно изъ нихъ попало ему въ лицо, а другія покрыли его одежду. Его кучеръ, лошади, экипажъ были забросаны грязью, и онъ уѣхалъ, сопровождаемый криками и дождемъ грязи и камней. Около семи часовъ Монреаль находился въ состояніи дикаго возбужденія. Звучалъ набатъ, и крикуны бѣжали по улицамъ, призывая на митингъ на Марсовомъ полѣ въ восемь часовъ... На митингѣ рѣшено было: „Довольно резолюцій мы принимали, настало время дѣйствовать“. Палата имѣла вечернее засѣданіе, и туда около девяти часовъ бросилась толпа. Яркое освѣщеніе оконъ было большой приманкой, и вскорѣ камни посыпались около депутатовъ. Сразу начался всеобщій переполохъ... Толпа вбѣжала въ зданіе и быстро разогнала депутатовъ... Какой-то человѣкъ съ разбитымъ носомъ занялъ кресло спикера и съ смѣшнымъ кромвелевскимъ величіемъ торжественно заявилъ: „Я распускаю эту палату“! Повидимому, толпа не имѣла опредѣленнаго плана, но по случайности или вслѣдствіе заранѣе обдуманнаго намѣренія зданіе скоро загорѣлось. Оно заключало въ себѣ двѣ цѣнныхъ библіотеки и большое количество казенныхъ изданій. Огонь распространился съ такой быстротою, что въ четверть часа зданіе было объято пламенемъ, и лишь немногое удалось спасти... Около одиннадцати часовъ разрушеніе было полное, и толпа разсѣялась.

„Мятежъ самъ по себѣ не имѣлъ послѣдствій; но чувства ненависти по отношенію къ лорду Эльджину, которыхъ выраженіемъ онъ служилъ, улеглись не скоро. Въ одной изъ синихъ книгъ, изданныхъ въ тѣ годы въ Англіи, напечатаны образцы прокламацій, которыя ходили въ Канадѣ среди англійскаго населенія во время монреальскихъ событій; вотъ выдержки изъ воззванія, въ

Какъ на картину этой настоящей сильной власти непохоже то, что развертывается въ настоящее время въ Россіи и связанной съ ней Финляндіи!

Въ нашемъ отечествѣ,—увы!—государственная мысль

которыхъ ярко выражается настроеніе оппозиціонныхъ группъ: „Позоръ Великобританіи завершился! Канада продана и выброшена за бортъ! Билль объ убыткахъ за время возстанія прошелъ. Губернаторъ осыпанъ гнилыми яйцами!.. Конецъ начался. Англосаксы! Вы должны жить для будущаго. Оставаясь вѣрными самимъ себѣ, вы обязаны выше всего поставить свое кровное происхожденіе и свою народность. Вы будете англичанами, хотя бы и не оставаясь британцами. Подданными кого и чего вы являетесь теперь? Пусть каждый отвѣтитъ на это самъ. Кукла въ мантіи (Эльджинъ) должна быть отозвана или изгнана всеобщимъ презрѣніемъ народа...“ Или въ другомъ листкѣ: „Каждая минута, что вы (лордъ Эльджинъ) остаетесь, стоитъ вашей августѣйшей монархинѣ потери преданности одного изъ ея подданныхъ, и, если вы не желаете, чтобы потомки называли васъ сумасшедшимъ, который потерялъ Канаду,—отправляйтесь домой“. Всякое появленіе лорда Эльджина въ Монреалѣ сопровождалось самыми рѣзкими выходками по его адресу; на него сыпались камни и грязь, и всѣ его близкіе подвергались оскорбленіямъ толпы; въ теченіе нѣсколькихъ недѣль лордъ Эльджинъ вынужденъ былъ безвыѣздно находиться въ загородномъ генералъ-губернаторскомъ дворцѣ, и современная карикатура изображаетъ его въ видѣ навсегда удалившагося отъ свѣта отшельника въ пещерѣ“ (барон ъ Б. Э. Нольде: „Англія и ея автономныя колоніи“ въ Вѣстникѣ Европы за 1906 г., сентябрь, стр. 37—39). Баронъ Нольде справедливо подчеркиваетъ, что „картина, которая представляется взору, когда знакомишься со всѣми подробностями этой страницы канадской исторіи, поистинѣ изумательна“: „лордъ Эльджинъ принесъ временный интересъ, связанный съ удовлетвореніемъ мѣстнаго англійскаго шовинизма, въ жертву болѣе высокому интересу—установившагося твердаго конституціоннаго порядка въ странѣ“. Правительство одобрило и поддержало своего генералъ-губернатора.

давно доведена до полнаго испуга и приведена къ молчанію и рабской покорности „гнилыми яйцами“ и грязью нашихъ такъ называемыхъ націсналистовъ. Эти яйца и эта грязь сыпались изъ „Союза русскаго народа“ и со страницъ Новаго Времени и изъ другихъ болѣе потаенныхъ угловъ до тѣхъ поръ, пока не стали руководящей силой нашей внутренней политики.

Это положеніе вещей не можетъ не вызывать жуткаго чувства, не можетъ не пробуждать, повторяемъ, настоящей патріотической тревоги за судьбы самого государства. Государство наше слабо, во-первыхъ, потому, что оно внѣшне ослаблено и, несмотря на всѣ союзы и соглашенія, политически изолировано. Но еще опаснѣе этой чисто политической изолированности та глубокая внутренняя отчужденность отъ всюду торжествующаго универсальнаго духа демократіи и конституціонизма, въ которой реакція держитъ русское государство.

Пока Россія народная не была еще разбужена отъ вѣкового политическаго сна дальне-восточной грозой,—можно было еще равнодушно относиться къ факту этой отчужденности: демократическая и конституціонная Европа могла считать себя, пожалуй, слабѣе единой въ своей косности Россіи, которая въ одинъ прекрасный день дѣйствительно на страхъ всѣмъ недругамъ сверкнетъ непобѣдимой стальной щетиной. Теперь это ощущеніе нашей силы отсутствуетъ и у насъ, и у нашихъ возможныхъ недруговъ. И ко всѣмъ факторамъ нашей слабости и необезпеченности огромной невѣсомой силой присоединяется полная отчужденность офиціальной Россіи отъ универсальнаго духа не только общественной и политической, но даже и моральной культуры современности. Самое послѣд-

нее время дало нѣсколько поразительныхъ доказательствъ этой отчужденности [1]).

Пусть не говорятъ намъ, что эти факты не имѣютъ значенія съ точки зрѣнія внѣшняго могущества и внѣшней безопасности государства. Мы, наоборотъ, думаемъ, что они именно съ этой точки зрѣнія имѣютъ огромное значеніе.

„Внѣшняя мощь“ на самомъ дѣлѣ не есть „нѣчто“ только „внѣшнее“, только вѣсомое и только исчисляемое. Она неразрывно связана съ нравственными силами. И тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ налицо, тамъ нѣтъ силы, а есть безсиліе.

Сила государства опирается вообще на своеобразное сочетаніе внѣшней матеріальной мощи съ нравственной крѣпостью. Нужно и то, и другое, а у насъ пока нѣтъ ни того, ни другого, поскольку государственная жизнь творится официальной Россіей.

---

[1]) Цитируемъ изъ Русскаго Знамени слѣдующее перечисленіе ряда фактовъ, изъ которыхъ нѣкоторые достаточно характерны съ указанной точки зрѣнія:

„Назначены изъ русскихъ душою и сердцемъ людей: — министромъ путей сообщенія Рухловъ и оберъ-прокуроромъ Св. Синода Лукьяновъ.

„Порадовался союзъ русскаго народа оправданію Сенатомъ полицеймейстера г. Пабіаницъ Іонина, который почти 3 года невинно мучился въ жидовскихъ и кадетскихъ когтяхъ.

„Порадовались всѣ вѣрноподданные Всемилостивому рескрипту отъ 27 апрѣля о неутвержденіи законопроекта о морскихъ штатахъ, который пробовали „парламентскія руки“ провести въ „конституціонномъ порядкѣ“. Въ этомъ рескриптѣ даровано съ высоты Престола всѣмъ понятное знаменіе, что у насъ—слава Богу!—нѣтъ конституціи.

„Завершился же минувшій годъ высокорадостнымъ событіемъ: послѣдовало Высочайшее помилованіе невинно осужденныхъ средневѣковымъ шведо-финскимъ судомъ Юскевича-Красовскаго и Половнева“.

Два національнаго націонализма. [1]

Какъ были разбиты иллюзіи октябристовъ?—Соціалъ-демократы въ роли октябристовъ.—Фикція „внутринадѣльнаго разверстанія".—Маленькій актъ 3-го іюня, направленный противъ октябристовъ.—Противорѣчія оффиціальнаго націонализма.—Онъ является либо творцомъ, либо пестуномъ національныхъ сознаній и притязаній угнетаемыхъ народностей.—Два націонализма: открытый или завоевательный и замкнутый или оборонительный.—Какая національная политика можетъ создать Великую Россію?—Націонализмъ для того, чтобы быть сильнымъ, долженъ имѣть народную основу.—Роковое безсиліе нашего оффиціальнаго націонализма.

Пренія по запросу, внесенному соціалъ-демократами, о разъясненіи ст. 96—увы!—всецѣло подтвердили ту характеристику положенія вещей въ обновленной Россіи, которую пишущій эти строки далъ въ ноябрьской книжкѣ Русской Мысли [2]) и за которой одинъ иностранный наблюдатель, скорѣе благосклонный къ нашей правящей средѣ, призналъ «внутреннюю правдивость» [3]).

Не правительство—ибо въ Россіи въ политическомъ смыслѣ нѣтъ ни просто правительства, ни „объединеннаго

---

[1]) Русская Мысль 1910 г. Іюнь.

[2]) См. выше статью „17 октября 1909 г."

[3]) Theodor Schiemann: „Deutschland und die grosse Politik anno 1909", Berlin, 1910.

правительства", а есть колеблемая вѣтромъ коллегія сановниковъ, которой присвоено названіе совѣта министровъ,— а тѣ силы, которымъ принадлежитъ рѣшающій голосъ въ государственныхъ дѣлахъ нашей страны и которыя рѣшаютъ поведеніе и судьбу самого правительства, еще разъ показали, что они не желаютъ имѣть конституціи и въ то же время не могутъ обойтись безъ нея, желаютъ имѣть самодержавіе и не могутъ итти въ этомъ отношеніи до конца, т. е. вернуть страну къ тѣмъ порядкамъ, которые господствовали до осени 1905 г. Эти силы могутъ многое, но не могутъ всего.

Когда совершенъ былъ актъ 3-го іюня, о которомъ ни писаная, ни творимая исторія еще не сказала своего не только послѣдняго, но и перваго слова,—вмѣстѣ съ созданіемъ умѣреннаго народнаго представительства, враждебнаго радикальнымъ политическимъ перемѣнамъ и глубокимъ соціальнымъ преобразованіямъ, казалось, наступила эпоха согласнаго дѣянія правительства и народнаго представительства. То было время, когда Гучковъ и его друзья мечтали о томъ, что въ единеніи съ органами правительства, свободное отъ подозрѣній и ревности, поддерживаемое довѣріемъ другихъ факторовъ власти народное представительство начнетъ историческое строительство во всѣхъ областяхъ и на всѣхъ путяхъ государственной и народной жизни. Особенно манила октябристовъ и ихъ лучшихъ людей задача—приложить руку къ организаціи государственной обороны, изгнать изъ этой сферы рабій духъ молчалинства и тлетворную традицію внѣшней исполнительности, за которыми таится всегда корыстная забота о собственномъ благополучіи, и призвать къ жизни окрыленное творческими замыслами свободное дѣланіе. Не нужно было быть другомъ „октябризма" для того, чтобы съ интересомъ и симпатіей слѣдить за этими замыслами, искренность ко-

торыхъ не могла подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. Но старая власть оказалась ревнива и подозрительна. Ей не нужно свободнаго дѣланія народнаго представительства; въ такомъ дѣланіи ей видится умаленіе ея правъ...

Совѣтъ министровъ, по крайней мѣрѣ его предсѣдатель, вначалѣ раздѣлялъ иллюзіи и мечты октябристовъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ та позиція, которую заняло правительство при первомъ и вторичномъ обсужденіи законопроекта о штатахъ морского генеральнаго штаба въ Государственномъ Совѣтѣ. Законопроектъ провалился при первомъ обсужденіи и вторично внесенный прошелъ голосами министровъ и—не былъ утвержденъ. Логически за этимъ должна была бы послѣдовать отставка правительства. Но правительство осталось на мѣстѣ и, согласно данному ему порученію, разъяснило ст. 96 въ ограничительномъ для правъ Думы смыслѣ. Для октябристовъ, вѣрнѣе, для ихъ лидера А. И. Гучкова—ибо такъ же какъ у насъ нѣтъ объединеннаго правительства, такъ у насъ нѣтъ и объединенной октябристской партіи—возникъ вопросъ, согнуться ли вмѣстѣ съ П. А. Столыпинымъ или выпрямиться и перейти въ оппозицію. А. И. Гучковъ рѣшилъ согнуться, и это рѣшеніе, принятое, вѣроятно, одновременно съ тождественнымъ рѣшеніемъ П. А. Столыпина и въ зависимости отъ этого рѣшенія, предопредѣлило собой парламентское обсужденіе запроса соціалъ-демократовъ о разъясненіи ст. 96, данномъ въ положеніи совѣта министровъ отъ 24 августа 1907 г. Октябристы заранѣе покорились своей участи людей, которымъ внушили не зазнаваться и не предаваться мечтаніямъ, и думскія пренія по запросу, внесенному соціалъ-демократами, изъ парламентскаго суда надъ правительствомъ превратились въ внутри-парламентскій судъ надъ октябристами, какъ конституціонной партіей.

*

Весь ходъ этого дѣла съ полной ясностью показалъ слабость конституціонныхъ началъ въ Россіи.

Запросъ, въ качествѣ протагонистовъ русской конституціи, внесли соціалъ-демократы, для которыхъ конституція есть только вопросъ факта, а не права. Исторія заставила соціалъ-демократовъ играть роль октябристовъ, и нужно сказать по справедливости, они довольно умно и съ извѣстнымъ достоинствомъ сыграли эту нѣсколько странную для нихъ роль. Остальныя оппозиціонныя группы слѣдовали за соціалъ-демократами, и со стороны оппозиціи пренія достигли своего апогея въ блистательной рѣчи московскаго депутата В. А. Маклакова. Главнымъ ораторомъ октябристовъ по существу дѣла оказался П. А. Столыпинъ. Послѣ того какъ волею судебъ соціалъ-демократы и слѣдовавшіе за ними кадеты и прогрессисты взяли на себя миссію октябристовъ, только П. А. Столыпинъ могъ пролить бальзамъ на раны думскаго центра. Онъ самъ уже успѣлъ расправить свои члены послѣ прохожденія черезъ клавдинское иго неутвержденія спасеннаго имъ и его товарищами въ Государственномъ Совѣтѣ законопроекта, и довольно непринужденно убѣждалъ Государственную Думу, что ничего особеннаго не случилось.

Для этой цѣли была создана фикція „внутринадѣльнаго разверстанія“, т. е. теорія, что разъясненіе ст. 96 обращено лишь къ правительству и устанавливаетъ лишь тѣ начапа, которыми «должны руководствоваться органы исполнительной власти и, въ частности, военное и морское вѣдомства при направленіи относящихся къ устройству вооруженныхъ силъ Россіи законодательныхъ предположеній“ [1]).

---

[1]) Цитата изъ журнала совѣта министровъ 26 мая 1909 г., приведенная въ рѣчи П. А. Столыпина въ засѣданіи 31 марта 1910 г.

Эта теорія была создана послѣ неутвержденія законопроекта о морскомъ генеральномъ штабѣ и апрѣльскаго рескрипта на имя П. А. Столыпина—она была призвана создать приличный выходъ изъ того тупика, въ который правительство и октябристовъ завели ихъ конституціонныя иллюзіи.

Въ позиціи, занятой П. А. Столыпинымъ и политически дополнявшимъ его октябристскимъ ораторомъ Савичемъ (все, что говорилъ докладчикъ комиссіи небезызвѣстный октябристъ Шубинскій, носило на себѣ печать угодничества, соединеннаго съ полной безпомощностью юридической мысли и только въ конецъ компрометировало октябристовъ) при отказѣ по существу отъ конституціонной точки зрѣнія, вытекшемъ изъ сознанія необходимости подчиниться силѣ, характерно стремленіе сохранить конституціонную видимость. Большинство октябристовъ, очевидно, признало, что ничего другого они не могутъ добиться, и что необходимо пока утвердиться на фикціи «внутринадѣльнаго разверстанія» и согласиться съ П. А. Столыпинымъ, что никакого умаленія правъ Государственной Думы не произошло. Рядомъ съ осторожной и приличной рѣчью предсѣдателя совѣта министровъ извѣстный психологическій интересъ представляли откровенныя глумленія бывшаго октябриста и чиновника министерства внутреннихъ дѣлъ Половцева надъ русской конституціей. Имѣлъ ли г. Половцевъ тайную миссію дополнить рѣчь г. Столыпина болѣе отровенными заявленіями насчетъ несуществованія русской конституціи, или онъ приватно и въ своихъ собственныхъ видахъ упражнялся въ угодничествѣ? Только будущее дастъ отвѣтъ на этотъ вопросъ.

Истинное положеніе вещей мѣтко охарактеризовалъ правый депутатъ Шечковъ, сказавшій объ октябристахъ: „члены комиссіи, постановляя отклонить запросъ интерпеллянтовъ, на самомъ дѣлѣ въ душѣ съ ними соглашаются, потому

что на дѣлѣ отстаиваютъ тѣ же самыя нелѣпыя прерогативы того же самаго представительства, которыя и тѣ отстаиваютъ; они только менѣе откровенны, чѣмъ интерпелянты, и боятся сказать то, чего не боится сказать членъ Государственной Думы Гегечкори".

Юридически въ самую точку попалъ октябристъ баронъ Мейендорфъ, указавшій въ краткой рѣчи, что разъясненіе ст. 96, изложенное въ положеніи совѣта министровъ отъ 24 августа 1910 г., какъ бы ни относиться къ нему по существу (для барона Мейендорфа оно, повидимому, пріемлемо), по порядку своего изданія является незакономѣрнымъ. Въ этомъ не можетъ быть, конечно, никакихъ сомнѣній для логически разсуждающей юридической мысли [1]). Истолкованіе основныхъ законовъ должно было послѣдовать въ законодательномъ порядкѣ. И тутъ мы подходимъ къ пункту, весьма характерному для психологіи нашихъ правящихъ силъ. Они пуще огня боятся всего, что носитъ характеръ уступокъ, боятся откровеннаго и послѣдовательваго самоограниченія. Между тѣмъ въ неуклонномъ слѣдованіи пути законодательнаго истолкованія основныхъ законовъ заключалось бы именно такое самоограниченіе.

Баронъ Мейендорфъ совершенно правильно указалъ въ своей рѣчи, что правила 24 августа стоятъ формально-юридически на одной линіи съ актомъ 3 іюня. Можно было бы добавить, что это—маленькій актъ 3 іюня, направленный противъ октябристовъ.

Слабость русской конституціи, которую даже г. Гучковъ назвалъ однажды «хилымъ цвѣткомъ», ярко обнаружилась въ политическомъ безсиліи октябристовъ, капиту-

---

[1]) Юридическій анализъ вопроса см. въ статьѣ В. М. Гессена, напечатанной въ іюньской книжкѣ Русской Мысли за 1910 г.

лировавшихъ передъ правилами 24 августа. И покоряясь плохо замаскированному абсолютизму, вся неоппозиціонная часть Государственной Думы въ то же время соперничаетъ съ правительствомъ П. А. Столыпина въ націоналистическомъ рвеніи.

Націонализмъ есть лозунгъ правящей бюрократической Россіи, и этому лозунгу вторятъ и тѣ элементы народнаго представительства, которые идутъ вмѣстѣ съ правительствомъ.

Въ этомъ одновременномъ умаленіи народнаго представительства и превознесеніи національнаго начала заключается цѣлая историческая проблема русскаго развитія.

Весь этотъ официальный націонализмъ неизбѣженъ при современныхъ политическихъ обстоятельствахъ уже потому, что только онъ можетъ психологически скрашивать безсиліе и униженіе народнаго представительства. Онъ наркотизируетъ народное представительство и „оправдываетъ“ абсолютизмъ съ его противолиберальной и противодемократической политикой.

Это съ полной ясностью обнаруживается на земской реформѣ въ Западномъ краѣ. Почему тутъ современному русскому правительству нужны искусственныя мѣропріятія для противодѣйствія польскому элементу? Потому что правительство 3 іюня не можетъ и не желаетъ обратиться къ русской демократіи. Для демократической Россіи поляки не страшны ни въ малѣйшей степени, но Россія, въ которой властвуютъ земельное дворянство и бюрократія, должна защищаться отъ поляковъ искусственными мѣропріятіями, загородками „національныхъ курій“. Официальный націонализмъ вынужденъ прибѣгать къ этимъ методамъ въ странѣ, гдѣ существуетъ несомнѣнное русское большинство, потому что дворянская и бюрократическая Россія не можетъ прикоснуться къ землѣ и черпать силы изъ русской крестьянской демократіи.

Изъ этого основного факта вытекаетъ вся природа, всѣ глубочайшія противорѣчія русскаго оффиціальнаго національнализма.

Онъ вынужденъ дѣйствовать искусственными, а не естественными способами. И это прежде всего сказывается въ учрежденіи для земскаго представительства такъ называемыхъ „національныхъ курій". Національныя куріи суть вездѣ требованія меньшинства, желающаго охранить себя отъ подавленія большинствомъ. А у насъ дѣло обстоитъ иначе, у насъ оффиціальный національнализмъ, ради привилегированнаго класса искусственно пересаженныхъ чиновниковъ-помѣщиковъ искусственно превращая русскую крестьянскую массу изъ большинства въ меньшинство, приходитъ къ учрежденію національныхъ курій съ цѣлью охраненія русскаго національнаго большинства западнаго края отъ польскаго „засилія".

Намъ скажутъ; не все ли это равно, разъ цѣль охраны русской національности будетъ этимъ достигнута? Но существенно именно то, что способъ охраны національности вовсе не безразличенъ для достиженія самой цѣли.

Было бы наивно думать, что національное соперничество между русскимъ и польскимъ элементомъ въ Западномъ краѣ есть лишь оффиціальная выдумка. Это, конечно, не такъ. Но именно потому, что это не такъ, возможна и необходима критика оффиціальнаго національнализма съ точки зрѣнія имъ же самимъ выдвигаемой національнализтической задачи. Эта чисто политическая критика возможна и необходима совершенно независимо отъ моральной критики національнализма, дѣйствующаго мѣрами принудительнаго ограниченія своихъ соперниковъ. Такая критика, оставляя въ сторонѣ вопросъ о моральной правомѣрности насильническаго національнализма, ставитъ вопросъ объ его цѣлесообразности, или дѣйственности.

Отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ быть только отрицательный. Насильническій національнизмъ отмѣченъ тѣмъ глубочайшимъ противорѣчіемъ, что онъ увеличиваетъ, а не уменьшаетъ силы своихъ противниковъ. Онъ создаетъ и выращиваетъ силы сопротивленія самому себѣ. Насильническій національнизмъ является либо творцомъ, либо пестуномъ національныхъ сознаній и притязаній угнетаемыхъ народностей.

Это противорѣчіе принудительнаго національнизма обнаруживается въ томъ, что онъ самъ очень быстро начинаетъ сомнѣваться и отчаиваться въ своей собственной силѣ. На нашемъ оффиціальномъ и оффиціозномъ національнизмѣ это сказывается съ полной ясностью. Этотъ національнизмъ хочетъ непроходимой стѣной отдѣлиться отъ всего нерусскаго и проводитъ взглядъ на нерусскіе элементы, какъ на нѣчто чужеродное, отъ чего необходимо отмежеваться, съ чѣмъ страшно соприкасаться. Этотъ національнизмъ отчаянія въ высокой тепени характеренъ для всей проповѣди г. Меньшикова.

Слѣдуетъ понять и категорически высказать, что есть два національнизма съ діаметрально противоположнымъ отношеніемъ къ окружающей его, враждебной или индифферентной, «средѣ». Одинъ—національнизмъ свободный, творческій и потому открытый и въ подлинномъ и лучшемъ смыслѣ завоевательный. Другой—національнизмъ скованный, пассивный и потому вынужденный бояться другихъ и обособляться отъ нихъ. Это національнизмъ—закрытый, или замкнутый и оборонительный. Классическими историческими носителями перваго, завоевательнаго національнизма являются англосаксы съ тѣхъ поръ, что они отдѣлались отъ своей религіозной, протестантской исключительности. Они ничего не боятся и все покоряютъ. Только такой національнизмъ можетъ создать настоящее „imperium“. Тѣ же черты носила

и римская государственность въ эпоху ея наивысшей мощи и наибольшаго расширенія.

Классическими историческими носителями второго, оборонительнаго національнзма, были въ свое время евреи. Отдѣлившись отъ остальнаго міра и обратившись противъ христіанства, которое было въ средѣ еврейства и для еврейства національнымъ предательствомъ и ренегатствомъ, евреи спасли свою національность. Этотъ закрытый, оборонительный, національнзмъ былъ естественень и даже неизбѣженъ для маленькаго, тѣснимаго и травимаго народца, которому приходилось выбирать либо растворепіе въ христіанизирующемся эллинско-римскомъ мірѣ, либо самосохраненіе путемъ національно-религіознаго обособленія. Еще до появленія христіанства, въ эпоху маккавеевъ евреи героическимъ усиліемъ спасли себя отъ поглощенія эллинствомъ, но тогда натискъ эллинизма въ значительной мѣрѣ былъ внѣшнимъ и поверхностнымъ. Христіанство величайшаго въ исторіи „ренегата“ Савла-Павла было гораздо болѣе опаснымъ врагомъ, чѣмъ язычество Антіоха Епифана. Оно грозило изнутри денаціонализировать евреевъ. Для евреевъ той критической эпохи, когда явилось рожденное въ нѣдрахъ іудаизма христіанство, христіанство означало прозелитизмъ, а прозелитизмъ означалъ растворепіе и отказъ отъ своего національно-религіознаго лица, отъ своего богоизбранничества. Христіанство было мостомъ отъ національнаго іудаизма къ космополитическому эллинизму. Отталкиваніе отъ христіанства опредѣлило собой религіозный національнзмъ евреевъ, а этотъ послѣдній въ свою очередь опредѣлилъ собой то отталкиваніе христіанскаго міра отъ еврейства, которое составляетъ все содержаніе еврейскаго вопроса, какъ міровой культурной проблемы.

Но здѣсь я не занимаюсь историческимъ анализомъ

еврейскаго вопроса. Ссылка на евреевъ эпохи ихъ критической, отчаянной борьбы за самосохраненіе, была мнѣ нужна для того, чтобы ею иллюстрировать историческое явленіе замкнутаго и оборонительнаго національнализма въ отличіе отъ національнализма открытаго и завоевательнаго.

Теперь можно совершенно точно формулировать проблему національной политики русскаго народа. Она гласитъ:

Какой національнализмъ долженъ проводить русскій народъ и русское государство? Національнализмъ новаго англосаксонскаго или стараго еврейскаго типа?

Первый національнализмъ открытъ для всѣхъ, не боится соперничества, сознательно задается прозелитизмомъ, потому что онъ вѣритъ въ то, что онъ не растворится въ морѣ чужеродныхъ элементовъ, а претворитъ ихъ въ себя и, во всякомъ случаѣ, рядомъ съ ними окажется болѣе крѣпкимъ и стойкимъ.

Не можетъ быть никакого сомнѣнія: свободный, открытый, завоевательный національнализмъ есть свидѣтельство силы и здоровья большой націи.

Но не есть ли онъ также условіе и гарантія этой силы и этого здоровья? Вотъ основной и роковой вопросъ русскаго политическаго развитія.

По моему глубокому убѣжденію, это есть вопросъ о томъ, быть или не быть Великой Россіи. И тутъ открывается еще одно противорѣчіе русскаго оффиціальнаго національнализма. Этотъ національнализмъ—не только творецъ и пестунъ національныхъ сознаній и притязаній угнетаемыхъ національностей. Оффиціальный національнализмъ усыпляетъ и разслабляетъ національнализмъ народный. Свободное соперничество и состязаніе національностей есть требованіе національной гигіены.

Въ самомъ дѣлѣ, русскій народъ не въ томъ положеніи, чтобы его приходилось поддерживать такими средствами,

къ какимъ поневолѣ прибѣгаютъ національности, которымъ угрожаетъ или угрожала опасность раствориться въ болѣе могущественной національной и культурной стихіи. Нашъ оффиціальный націонализмъ—парадоксальное, извращенное явленіе потому, что—во имя чуждыхъ и враждебныхъ народу интересовъ—онъ большой силѣ, которая призвана свободно шириться, навязываетъ способы и пріемы не сильнаго, а слабаго, не нападенія, а обороны.

Отгораживаясь отъ другихъ національностей и охраняя себя отъ нихъ государственнымъ щитомъ, русская національность не укрѣпляетъ, а ослабляетъ себя. Она не обогащается, а скудѣетъ. Нѣтъ положенія болѣе безспорнаго, чѣмъ то, что всѣ великія національности—весьма сложнаго этническаго состава. Такова же и русская національность, ассимилировавшая съ славянскимъ ядромъ цѣлое множество другихъ расовыхъ элементовъ. То же продолжается до сихъ поръ, и въ общемъ и цѣломъ только такимъ путемъ можетъ расти, шириться и крѣпнуть русская національность. Не только національная плоть, но и національная душа, культура, у великихъ національностей всегда многосоставная, плодъ сложнаго и длительнаго ассимиляціоннаго процесса. Духъ и политика торжествующаго теперь замкнутаго націонализма стремятся пресѣчь и затруднить этотъ процессъ ассимиляціоннаго роста, которымъ создавалась и до сихъ поръ еще создается русская національность и русская культура. Вѣдь русская національность, такъ же какъ американская, еще творится, она, какъ говорятъ о себѣ американцы, еще in the making.

Идеаломъ, къ которому должна стремиться въ Россіи русская національность, по моему глубокому убѣжденію можетъ быть лишь такая же свободная и органическая гегемонія какую утвердилъ за собой англосаксонскій элементъ въ

Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки и въ Британской Имперіи. Объ этомъ, конечно, не можетъ быть рѣчи ни въ Финляндіи, ни въ Царствѣ Польскомъ, частяхъ Имперіи, имѣющихъ особую судьбу, при которой немыслима никакая ассимиляція. Но этотъ идеалъ—правда, съ большимъ, чѣмъ въ Америкѣ, сохраненіемъ мѣстныхъ, въ извѣстныхъ предѣлахъ тоже національныхъ, особенностей—осуществимъ для всей остальной Имперіи, ибо на всемъ пространствѣ Россійской Имперіи, кромѣ Финляндіи и Польши, пріобщеніе къ русской культурѣ означаетъ подъемъ на высшую ступень (особое положеніе занимала бы нѣмецкая культура въ Прибалтійскомъ краѣ, если бы она не была тамъ культурой тонкаго верхняго слоя населенія, съ которымъ массы народныя находятся въ историческомъ антагонизмѣ).

Насильническій націонализмъ отрѣзываетъ путь къ этому идеалу свободной и органической гегемоніи русской національности и русской культуры. Правда, извѣстное государственное единство возможно безъ органической гегемоніи той или иной національности, но внѣ такой гегемоніи Россія, какъ національное государство, прочно существовать не можетъ.

Вотъ почему—какъ это ни звучитъ парадоксально—торжествующій нынѣ оффиціальный націонализмъ прокладываетъ путь не національно-государственному объединенію, а національному автономизму и федерализму. Онъ не собираетъ, а дробитъ государство. Можно этому радоваться или объ этомъ скорбѣть, но такова внутренняя логика той политики, которая столь настойчиво проводится теперь нашими оффиціальными націоналистами. Это—націонализмъ поверхностный, заботящійся лишь о сегодняшнемъ днѣ и не заглядывающій въ будущее. Объ его „національныхъ куріяхъ“ можно сказать: sic vos non vobis!

И это не случайно. Нашъ офиціальный національнизмъ вовсе не имѣетъ самодовлѣющаго характера. Въ немъ національная идея есть психологическій козырь въ рукахъ дворянско-бюрократической реакціи. Она есть средство, а не цѣль.

Нашъ воинствующій національнизмъ чрезвычайно слабъ, именно потому, что онъ не только не народенъ, но и прямо противонароденъ. Національнизмъ можетъ быть подлинной силой только тамъ, гдѣ онъ опирается на самодѣятельность широкихъ народныхъ массъ. Это вѣрно по отношенію къ угнетеннымъ національностямъ, и еще болѣе вѣрно по отношенію къ такой національности, которая, какъ русская, создала самое государство и играетъ въ немъ первенствующую роль. Поляки въ Познани стали непобѣдимой для германизма силой лишь тогда, когда ихъ національнизмъ съ узкой шляхетской былъ передвинутъ на широкую крестьянскую основу и когда соотвѣтственно этому польская самооборона изъ чисто политической стала культурно-хозяйственной, столпомъ которой является кредитное товарищество. Не политическій эмигрантъ, аристократъ или мечтательный интеллигентъ, не помѣщикъ-депутатъ, а дѣловитый кооператоръ, работающій въ массахъ, организовалъ въ Познани польскую народную силу [1]). До тѣхъ поръ пока главнымъ дѣятелемъ русской культуры въ Западномъ краѣ, задающимъ ей тонъ, будетъ помѣщикъ-чиновникъ,—русская культура, какъ бы ее ни охраняли, будетъ страдать внутренней слабостью. Охранять и ширить національную культуру въ современныхъ условіяхъ экономической и политической жизни можетъ только народъ.

---

[1]) Ср. L. Bernhard: «Das polnische Gemeinwesen im preussischen Staate. Die Polenfrage». Leipzig, 1907. Русскій переводъ этой книги готовится къ печати.

Это не политическая фраза, а соціологическая теорема, лучшимъ опытнымъ доказательствомъ которой является исторія національной самообороны польскаго народа въ прусскомъ государствѣ.

Итакъ, нашъ оффиціальный націонализмъ въ основѣ своей пороченъ, ибо пораженъ глубочайшими внутренними противорѣчіями. Великому народу, создавшему могущественное государство, не только нравственно приличествуетъ, но и интересамъ его здоровья отвѣчаетъ лишь открытый, мужественный, завоевательный націонализмъ, провозглашающій и осуществляющій свободное состязаніе національностей. Не ради гуманности, не изъ соображеній справедливости русскій народъ долженъ держаться такой политики, а изъ чувства національнаго самосохраненія и самоутвержденія, изъ здороваго національнаго эгоизма.

Другимъ порокомъ торжествующаго теперь націонализма является его противонародный характеръ, лишающій его живыхъ питательныхъ соковъ, которые можетъ давать лишь широкая демократическая среда. Этой среды чиновничье-помѣщичій націонализмъ не можетъ призвать къ историческому дѣланію, ибо ея онъ боится.

Неудивительно поэтому, что онъ вѣчно трепещетъ внѣшней опасности. Онъ безсиленъ связать поляковъ съ государствомъ, такъ, какъ это сдѣлала Австрія, нашедшая въ нихъ твердую опору своего государственнаго бытія. И потому онъ боится въ ихъ лицѣ Австріи [1]).

И въ самомъ дѣлѣ нашъ оффиціальный націонализмъ—и въ этомъ его третій порокъ—не только не укрѣпляетъ велико-державнаго положенія Россіи, а, наоборотъ, осла-

---

[1]) См. весьма характерную въ этомъ отношеніи статью глашатая нашего оффиціальнаго націонализма г. Меньшикова „Австропольскіе замыслы“ (Новое Время отъ 6 мая с. г.).

бляетъ его. Это тѣмъ болѣе существенно, что въ то время какъ офиціальная Россія переживаетъ бурный пароксизмъ національнализма, руководящее государство Германіи, Пруссія, повидимому, близка къ тому, чтобы изъ своего политическаго опыта извлечь, наконецъ, надлежащій урокъ и переставить свою польскую политику на новые рельсы. Скоро, быть можетъ, наступитъ время, когда одна только Россія будетъ практиковать политику принудительнаго національнализма. Ибо и въ парламентарной Венгріи эта политика переживаетъ глубочайшій кризисъ и находится наканунѣ великихъ пораженій.

Мы нисколько не сомнѣваемся, что такъ же, какъ въ Венгріи, разрывъ съ принудительнымъ національнализмомъ у насъ будетъ продиктованъ здоровой реакціей всего государства и даже самой монархіи противъ близорукаго расшатыванія политическихъ скрѣпленій государства. Въ Венгріи такое расшатываніе производилось парламентской олигархіей, у насъ оно, подъ тѣмъ же флагомъ національнаго начала, совершается въ интересахъ абсолютизма, бюрократіи и дворянства.

Лишь бы эта реакція не пришла слишкомъ поздно!

Нѣкоторыя черты нашего времени. [1]

Общественная безчувственность и общественная безформенность.—Безчувственность не есть настоящее успокоеніе.—Почему въ настоящее время не можетъ быть общей амнистіи?—Амнистію можетъ дать только внутренне сильная, увѣренная въ себѣ власть.

Для того, кто началъ сознательно относиться къ исторической жизни лѣтъ 20—25 тому назадъ, современный моментъ, несмотря на все различіе въ нѣкоторыхъ очень существенныхъ чертахъ, не можетъ не напоминать уже пережитой эпохи 80-хъ и 90-хъ гг. То же чувство, что пройденъ какой-то важный историческій перегонъ, и то же чувство не индивидуальнаго утомленія и угнетенія, а какой-то чисто-общественной безформенности, ложащейся тяжелымъ гнетомъ на всякую личность. Слова, и самыя лучшія, не то, что „забыты", какъ скорбѣлъ сатирикъ,—они не выходятъ изъ жизни и не входятъ въ нее, какъ живая сила, а идутъ мимо нея, остаются какими-то посторонними звуками.

Этому состоянію соотвѣтствуетъ крайняя безчувственность общества, какъ цѣлаго. Никакія раздраженія, какъ бы они ни были сильны и какъ бы рѣзко ни отзывались они въ душахъ отдѣльныхъ людей,—общественнаго ду-

[1]) Русская Мысль 1910 г. Сентябрь.

ха сильно не затрогиваютъ. Этотъ духъ можно сравнить въ физическомъ мірѣ съ растворомъ, который утерялъ всякую способность къ кристаллизаціи. Прежде мельчайшій брошенный кристаллъ вызывалъ въ немъ сильнѣйшую работу оформленія. Теперь не дѣйствуетъ ничто. Масса такъ и остается вязкой, тягучей, безформенной. Прежде, въ дни возбужденія 1904—1907 гг., она реагировала съ болѣзненной раздражительностью. Теперешняя безчувственность пришла на смѣну противоположной крайности, и обѣ онѣ свидѣтельствуютъ о слабости и незрѣлости общественнаго духа.

Ни въ одной странѣ общественное мнѣніе не было настроено такъ радикально по отношенію къ смертной казни, какъ у насъ въ Россіи въ концѣ XIX и началѣ XX вѣка. Смертная казнь за предумышленное убійство на основаніи вердикта присяжныхъ засѣдателей, сохраняемая въ законодательствѣ такихъ странъ, какъ Англія, Франція и Германія, считалась недопустимымъ ужасомъ, съ которымъ не можетъ мириться общественная совѣсть. И послѣ этого началось и до сихъ поръ не кончилась настоящая оргія смертныхъ казней безъ соблюденія элементарныхъ гарантій правосудія, выработанныхъ вѣковымъ опытомъ человѣчества. Будущій историкъ, навѣрное, въ недоумѣніи остановится передъ этой одновременностью крайняго радикализма общественнаго мнѣнія по вопросу о смертной казни и того, быть можетъ, еще болѣе радикальнаго пренебреженія къ идеѣ даже не милосердія и жалости, а провосудія, которымъ власть съ ея военно-судной юстиціей отвѣтила на радикализмъ общества. Тутъ поразителенъ не только контрастъ между общественнымъ мнѣніемъ и политикой власти, не менѣе поразителенъ и плачевенъ чисто патологическій переходъ отъ крайней раздражимости общественнаго мнѣнія къ полной его практической безчувственности и безсилію.

Такую безчувственность принимаютъ за успокоеніе. Если

понимать слово „успокоеніе“ въ томъ специфическомъ смыслѣ, который присваивается ему на языкѣ полицейскихъ реляцій, противъ этого нельзя спорить. Но въ болѣе глубокомъ и широкомъ смыслѣ именно никакого успокоенія въ состояніи безчувственности быть не можетъ. Настоящее успокоеніе наступаетъ тогда, когда исполнена великая очередная задача національной жизни, и формы ея выполненія удовлетворяютъ нравственное чувство огромнаго большинства націи, создаютъ настроеніе не подавленной покорности и угнетеннаго безсилія, а спокойной и радостной примиренности. Ничего подобнаго у насъ нѣтъ и быть не можетъ.

Несомнѣнно, что объективно въ русской жизни совершился огромный переломъ, вѣрнѣе, два огромныхъ перелома. Фактъ и идея народнаго представительства безповоротно вошли въ русскую жизнь—абсолютизмъ сдалъ позицію непримиримаго отрицанія представительныхъ учрежденій. А въ тоже время онъ продолжалъ отравлять ихъ жизнь своимъ трупнымъ ядомъ. И потому работа народнаго представительства никого не удовлетворяетъ, не ободряетъ, не радуетъ. Для того, чтобы оцѣнить эту работу, какъ фактъ политическаго прогресса, за поддѣлкой и за лицемѣріемъ стряпающихъ политическую кухню людей надлежитъ разсмотрѣть дѣйствіе вѣковыхъ творческихъ силъ народа, нужно имѣть способность и мужество, рѣдко кому дающіяся, взглянуть на современность холоднымъ взоромъ историка.

То же слѣдуетъ сказать, и про огромный сдвигъ, совершающійся въ области аграрныхъ отношеній. Безъ всякой подготовки народному и общественному сознанію была противопоставлена „ставка на сильныхъ“. И это—послѣ того какъ сама власть въ лицѣ и ея наиболѣе жестоковыйныхъ и ея наиболѣе безцеремонныхъ представителей (вспомнимъ, что передъ общиной въ почтительномъ бездѣйствіи останавливались такіе характерные и сильные дѣятели русскаго

*

абсолютизма, какъ гр. Д. А. Толстой и С. Ю. Витте) воспитывала общественное сознаніе въ сантиментальномъ народничествѣ. Та чисто революціонная легкость, съ которой власть своимъ новымъ аграрнымъ законодательствомъ отреклась отъ вѣковыхъ соціальныхъ традицій народа и государства, конечно, не могла войти въ русскую жизнь началомъ подлиннаго успокоенія.

Съ другой стороны, вѣдь по всѣмъ своимъ пріемамъ и задачамъ, по всему своему духу правящіе Россіей люди – представители помѣстнаго дворянства, правятъ они въ его интересахъ и въ его духѣ. Даже самое аграрное законодательство, воплотившееся въ законѣ 9 ноября, замышлено именно какъ шахматный ходъ классовой дворянской политики противъ программы принудительнаго отчужденія. Какой-то ненужной жестокостью исторіи отзывается то, что она величайшій въ русской жизни экономическій переворотъ, который, если бы онъ не осуществился ради политики, совершился бы всетаки вопреки всякой политикѣ, вставила въ такую раздражающую и вызывающую политическую рамку, глубоко противорѣчащую его соціальному смыслу и значенію. Ибо, конечно, никакое „разрушеніе общины“, т.-е. никакое разрушеніе внутриклассовой крестьянской аграрной проблнмы неспособно устранить по существу междуклассовой аграрной проблемы. Быть можетъ, послѣ столыпинскихъ аграрныхъ реформъ принудительное отчужденіе стало навсегда невозможно, но этимъ отнюдь не снята съ очереди ликвидація дворянскаго землевладѣнія, какъ естественный экономическій процессъ. Процессъ этотъ неуклонно совершается, никакая политика не въ силахъ его остановить. И тѣмъ самымъ въ политической жизни страны оставлено въ полной неприкосновенности глубочайшее противорѣчіе между экономической гибелью помѣстнаго дворянства и его политическимъ господствомъ. Жало этого противорѣчія та-

итъ въ себѣ не успокоеніе, а, наоборотъ, хроническое раздраженіе народнаго организма.

Я не говорю уже о томъ, что инородческая политика не способна создавать прочнаго успокоенія. Но это и не ея задача. Въ общей цѣпи правительственныхъ воздѣйствій на русскую жизнь она призвана успокаивать однихъ, коренныхъ русскихъ, тѣмъ, что другіе, инородцы, награждаются сугубыми скорпіонами...

Изумительна и въ политикѣ власти по вопросу о смертной казни та легкость, съ которой была оставлена освященная вѣками традиція. Жестокая репрессія 1906 г. и послѣдующихъ годовъ не ограничилась вовсе областью чисто политическихъ преступленій. Смертная казнь явилась тутъ реакціей и на общую преступность, съ которой русская власть этимъ средствомъ отказалась бороться еще во второй половинѣ XVIII вѣка. На западѣ теперь уже очень рѣдко казнятъ за самыя тяжскія политическія преступленія, а за общія преступленія тамъ казнятъ только съ соблюденіемъ всѣхъ судебныхъ гарантій. У насъ репрессія за политическія преступленія носила и носитъ характеръ мести, а репрессія за тягчайшія общія преступленія—характеръ суммарной расправы. Вся эта практика производитъ впечатлѣніе чего-то болѣзненнаго и загадочнаго, настолько она далека и отъ современныхъ пріемовъ культурныхъ государствъ, и даже отъ полуторастолѣтней практики русскаго государства. Я глубоко убѣжденъ, что историкъ нашей эпохи отмѣтитъ психозъ не только на сторонѣ революціонной. Въ жестокой репрессивности, власти онъ откроетъ признаки неврастенической раздражительности, свидѣтельствующей о государственномъ безсиліи...

Въ такой атмосферѣ идея амнистіи могла родиться только въ газетныхъ кабинетахъ и выйти на свѣтъ Божій лишь какъ пробный шаръ либеральныхъ публицистовъ. Въ этомъ

указаніи не заключается никакого упрека; это—просто констатировеніе факта. Идея амнистіи не могла возникнуть въ нѣдрахъ самого общества, ибо общества, какъ нормально чувствующаго цѣлаго, въ настоящее время не существуетъ. Она не могла родиться въ умахъ людей, которые ведутъ государственное дѣло, ибо представители власти чужды того духа примиренія и компромисса, который въ большихъ политическихъ столкновеніяхъ всегда отличаетъ подлинную силу; они же, наоборотъ, подавлены своимъ внутреннимъ безсиліемъ.

Амнистію можетъ (можетъ не въ смыслѣ нравственнаго права, а въ смыслѣ соціально-психическаго факта) требовать окрѣпшее въ себѣ, способное кристаллизовать свои чувства и придавать своимъ идеямъ волевую упругость общество. Амнистію можетъ давать только внутренно сильная, совершенно уравновѣшенная въ субъективномъ и объективномъ смыслѣ власть, которая не защищается, но просто увѣрена въ себѣ.

Ни такого общества, ни такой власти въ современной Россіи не существуетъ. Когда задумываешься надъ вопросомъ объ амнистіи въ настоящій моментъ русской жизни, невольно приходитъ на память та блестящая характеристика, которую Моммсенъ въ III т. „Римской Исторіи“ даетъ режиму Цезаря и его личности. Чрезвычайная умѣренность въ репрессіи противъ политическихъ враговъ, полная свобода отъ мстительныхъ чувствъ и раздражающихъ дѣйствій, отказъ отъ сыска и раскапыванія прошлыхъ винъ, строгая разборчивость въ средствахъ—такими пріемами подлинная сильная власть человѣка, собственное имя котораго стало наименованіемъ монарховъ, творила успокоеніе въ пережившей революціонныя бури странѣ. Эта власть стояла надъ партіями и никогда не заискивала передъ чернью. Интеллигенціи страны она не только не пыталась

выбрасывать изъ національной жизни, наоборотъ, она тою совокупностью средствъ, которую геніальный историкъ мѣтко обобщилъ въ формулѣ „мягкое принужденіе“, стремилась впрячь всѣ живыя силы націи въ реальную работу возрожденія государства. Великій государственный мужъ заставлялъ своихъ противниковъ быть участниками государства и его текущей жизни. Онъ скупился на репрессіи и казни и не скупился на помилованія и амнистію.

Все это непохоже на политику массовыхъ казней въ упрощенномъ порядкѣ, мстительныхъ прокурорскихъ раскопокъ на пространствѣ цѣлаго пятилѣтія, булавочныхъ уколовъ въ видѣ разныхъ тенденціозныхъ неутвержденій, дисциплинарныхъ преслѣдованій и т. п. цвѣточковъ и ягодокъ „конституціоннаго“ режима обновляемой Россіи. Никто не можетъ насъ увѣрить въ томъ, что такъ должна и можетъ дѣйствовать сильная власть.

Культура, религія, соціализмъ.

Къ характеристикѣ нашего философскаго развитія. [1]

По поводу книги С. П. Ранскаго „Соціологія Н. К. Михайловскаго“ С.-Петербургъ 1901 г.

Передъ нами лежитъ новая книга, посвященная Н. К. Михайловскому. Сочиненіе С. П. Ранскаго будетъ не лишнимъ въ нашей литературѣ, несмотря на существованіе брошюры г. Красносельскаго [2]) и книги Бердяева [3]). Центръ тяжести труда Бердяева заключается не въ изложеніи и даже не въ критикѣ ученій г. Михайловскаго, а въ противопоставленіи имъ иного міросозерцанія [4]); г. Ранскій же, хотя и даетъ критику воззрѣній излагаемаго имъ автора, въ основѣ которой лежитъ, очевидно, болѣе или менѣе опредѣленная положительная точка зрѣнія самого критика,— главную свою задачу, несомнѣнно, видѣлъ въ точномъ и по возможности полномъ изложеніи взглядовъ г. Михайловскаго. Можно признать, что онъ выполнилъ эту задачу очень удовлетворительно, давъ ясное и точное воспроизведеніе основъ соціологіи вліятельнаго русскаго журналиста.

---

[1]) Статья эта была напечатана въ 1902 г. въ извѣстномъ сборникѣ „Проблемы идеализма“ подъ иниціалами П. Г. Въ это время я издавалъ Освобожденіе и печататься подъ своей фамиліей въ Россіи мнѣ было невозможно. Вотъ почему я въ этой статьѣ о себѣ вынужденъ былъ говорить въ третьемъ лицѣ.

[2]) „Міровоззрѣніе гуманиста нашего времени“. Спб. 1901 г.

[3]) „Субъективизмъ и индивидуализмъ въ общественной философіи“. Съ предисловіемъ Петра Струве. Спб. 1901 г.

[4]) Еще болѣе это слѣдуетъ сказать о предисловіи Струве.

Эпиграфъ „Sine ira et studio“ съ полнымъ основаніемъ поставленъ на этой книжкѣ. Она написана вполнѣ безпристрастно и въ то же время, вмѣсто блѣдной и часто смутной передачи, которую мы встрѣчаемъ въ брошюрѣ г. Красносельскаго, о многомъ умалчивающей и многаго не подчеркивающей [1]), въ изложеніи С. П. Ранскаго г. Михайловскій выступаетъ живой и цѣликомъ, со всѣми существенными и яркими чертами своей писательской индивидуальности. Съ извѣстнымъ удовлетвореніемъ можно констатировать по поводу книги г. С. П. Ранскаго, что на нѣкоторыя стороны соціологической доктрины г. Михайловскаго начинаетъ вырабатываться и укрѣпляться устойчивая и вполнѣ объективная точка зрѣнія, которая, очевидно, призвана смѣнить и вытѣснить, съ одной стороны, наивныя восхваленія лицъ, видящихъ въ ученіи издателя „Русскаго Богатства“ предвосхищеніе чуть ли не всѣхъ пріобрѣтеній современной философской и соціологической мысли [2]), съ другой стороны, огульное отрицаніе за нимъ всякаго значенія въ развитіи нашей соціально-философской мысли. Такъ г. Ранскій совершенно независимо отъ Бердяева и Струве [3]), устанавливаетъ, что Михайловскій не только не опровергъ и не отвергъ „органической“ теоріи общества, но гораздо полнѣе и глубже, чѣмъ Спенсеръ и прочіе „органисты“, отдался во власть этой теоріи (стр. 37, 38, 39, 104). Это неопровержимое, а потому и неопровергнутое положеніе, намѣ-

---

[1]) Самое цѣнное, или, вѣрнѣе, единственно цѣнное въ книжкѣ г. Красносельскаго это—заключающійся въ примѣчаніяхъ зародышъ столь необходимаго предметнаго указателя къ сочиненіямъ г. Михайловскаго.

[2]) Образчикъ такой какъ бы сказать..... чрезмѣрности даетъ г. Черновъ въ своихъ недавнихъ статьяхъ, въ „Русскомъ Богатствѣ“.

[3]) Его книга, какъ онъ указываетъ въ предисловіи, написана раньше книги Бердяева-Струве.

ченное, какъ явствуетъ изъ нѣкоторыхъ ссылокъ г. Ранскаго, еще въ 1887 г. г. Филипповымъ (М. М.) и въ 1895 г. довольно ясно высказанное и Бельтовымъ [1]), можетъ послѣ разъясненій, данныхъ въ книгахъ Бердяева-Струве и г. Ранскаго, считаться прочнымъ, окончательно установленнымъ достояніемъ научной критики соціологической доктрины г. Михайловскаго. Оно бросаетъ яркій свѣтъ на объективную цѣнность центральныхъ частей соціологической доктрины г. Михайловскаго и обращаетъ въ ничто вошедшіе чуть не въ традицію взгляды его поклонниковъ о томъ, что онъ „опровергъ“ Спенсера и тѣмъ совершилъ переворотъ въ соціологіи. Точно такъ же начинаетъ устанавливаться—и доказательствомъ этого могутъ служить опять-таки свободныя отъ всякаго полемическаго задора разсужденія г. Ранскаго—отрицательная оцѣнка субъективнаго метода, какъ не продуманнаго и незаконнаго внесенія этической точки зрѣнія въ теоретическое изученіе того, что было, есть и будетъ по закону причинности. Новѣйшая попытка истолкованія субъективнаго метода, которую вынужденъ былъ представить г. Михайловскій въ отвѣтъ на критику Бердяева и Струве сводится — какъ показалъ Струве въ майской книжкѣ „Міра Божія“ (1901 г.) — къ самоупраздненію этого метода. Въ доказательство того, что дѣло представляется такъ не только этому одному оппоненту г. Михайловскаго, можно сослаться на замѣчанія г. Ф. В. Софронова въ его любопытной, хорошо продуманной статьѣ „Механика общественныхъ идеаловъ“ („Вопросы философіи психологіи“ 1901 г., кн. 59). Въ февральской книжкѣ „Русскаго Богатства“ за настоящій годъ—замѣчаетъ г. Софроновъ (ук. статья, стр. 310—312, примѣч.).—г. Михайловскій

---

[1]) „Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію“, стр. 61—67.

говоритъ, что онъ своимъ „субъективнымъ методомъ не думаетъ подчинять интеллектуальную совѣсть этической", а только выясняетъ эту этическую совѣсть и „регулируетъ", въ интересахъ самого познанія, вліяніе неизбѣжнаго соціально-психологическаго факта—давленія этическихъ элементовъ на ходъ изслѣдованія. Но регулировать такое вліяніе въ интересахъ познанія значитъ, по возможности, исключать его — и это было бы самоупраздненіемъ субъективнаго метода [1]). Г. Софроновъ продолжаетъ: „г. Михайловскій этого, конечно, не хочетъ, и у него „регулировка" получаетъ своеобразное значеніе—не исключенія, а введенія этическаго элемента, но только подъ контролемъ сознанія. Къ сожалѣнію, это и есть именно подчиненіе интеллектуальной совѣсти этической", т. е. именно то, отъ чего г. Михайловскій обороняется. Такимъ образомъ, г. Михайловскій— какъ справедливо подчеркиваетъ г. Софроновъ—не можетъ уйти отъ альтернативы: либо упразднить, либо утвердить „субъективный методъ".

Намъ думается, что рано или поздно будетъ признано, войдетъ въ общее сознаніе, что значеніе многолѣтней литературной дѣятельности г. Михайловскаго слѣдуетъ искать не въ области положительной науки и даже не въ публицистикѣ, а въ той, на первый взглядъ неопредѣленной, но по существу ясно очерченной области духовнаго творчества, которая зовется философіей и которая имѣетъ задачей выработку цѣлостнаго міросозерцанія. Научное значеніе написаннаго г. Михайловскимъ весьма невелико, несмотря на совершенно незаурядную остроту его ума и весьма значительную начитанность, просто по той причинѣ, что его умственный складъ характеризуется отсутствіемъ того чисто-теоретическаго интереса, который есть важнѣйшій мотивъ всякой научной работы.

[1]) Курсивъ нашъ.

Въ силу этого труды г. Михайловскаго не могутъ оставить крупнаго слѣда въ положительной наукѣ. Его критика соціологіи Спенсера, его теорія прогресса и теорія борьбы за индивидуальность есть тотъ же, лишь доведенный до крайняго и явно тенденціознаго выраженія „органическій“ взглядъ на общество; его субъективный методъ есть недоразумѣніе, отъ котораго почтенному автору пришлось отказаться. Всего болѣе фактическаго изученія и въ то же время дѣйствительно самобытной мысли блестящій журналистъ положилъ на уясненіе вопроса о „подражаніи“, или, что́ то же (согласно излюбленнымъ выраженіямъ самого г. Михайловскаго), проблемы „героевъ и толпы“. Но и тутъ основной выводъ, къ которому пришелъ г. Михайловскій и который сводится къ отождествленію или, по крайней мѣрѣ, сближенію явленій общественнаго подражанія, или стадности съ индивидуально-психическимъ автоматизмомъ или гипнотизмомъ, обидно скуденъ сравнительно съ затраченнымъ трудомъ и остроуміемъ. Одно загадочное явленіе объясняется другимъ, еще болѣе загадочнымъ.

Г. Михайловскаго нерѣдко называютъ публицистомъ. Слово это обычно употребляется въ такомъ неопредѣленномъ смыслѣ, что подъ него подойдетъ почти все, что не можетъ быть подведено подъ понятія во 1-хъ, научной, во 2-хъ, изящной литературы. Въ этомъ смыслѣ г. Михайловскій, конечно, публицистъ. Но, право, лучше было бы избѣгать такого халатнаго словоупотребленія. Публицистомъ мы назовемъ писателя, который не только не избѣгаетъ, но, наоборотъ, стремится дать и провести въ сознаніе читателей ясныя и точныя формулы очередныхъ общественно-политическихъ задачъ времени. Публицистъ прежде всего и, главнымъ образомъ, п о л и т и к ъ. Его сфера—вопросы публичнаго права и общественныхъ отношеній въ ихъ приложеніи къ реальнымъ и конкретнымъ интересамъ и нуждамъ

даннаго историческаго момента. Публицистика, понимаемая въ такомъ точномъ смыслѣ, занимаетъ въ литературной дѣятельности Н. К. Михайловскаго и съ внѣшней стороны, и внутренне, по существу, очень мало мѣста. Въ 70-хъ г.г. г. Михайловскій далъ очень выразительную и широкую формулу соціальной политики: „законодательное закрѣпленіе общины", но онъ не развилъ, какъ слѣдовало бы настоящему публицисту, всего соціально-политическаго содержанія, заключавшагося въ этой многообъемлющей формулѣ. Въ 80-хъ гг. г. Михайловскій въ нѣсколькихъ статьяхъ съ блескомъ отстаивалъ нѣкоторыя практическія требованія либерализма, но когда „новыя вѣянія" начала 80-хъ г.г. потерпѣли крушеніе, онъ замолкъ, какъ публицистъ. Этого обстоятельства, однако, нельзя объяснять однимъ лишь измѣненіемъ всего хода нашей политической жизни, нельзя цѣликомъ вывести изъ наступленія реакціи. Не меньшую роль сыграли тутъ внутреннія, лежащія въ самомъ г. Михайловскомъ причины, и, прежде всего, отсутствіе того напряженнаго и устойчиваго интереса къ образующимъ содержанія „политики" конкретнымъ и очереднымъ проблемамъ права и хозяйства, который составляетъ движущую силу и характеристическую черту всякой публицистической дѣятельности.

Мы не ставимъ отсутствіе этого публицистическаго интереса въ упрекъ почтенному редактору-издателю «Русскаго Богатства». Мы только констатируемъ несомнѣнный фактъ: въ многочисленныхъ статьяхъ г. Михайловскаго очень мало публицистики въ точномъ и, если угодно, видовомъ смыслѣ этого слова, и даемъ этому факту извѣстное психологическое истолкованіе. Сказанное нами мы покорнѣйше просимъ не понимать въ грубомъ смыслѣ. Г. Михайловскому для того, чтобы быть публицистомъ, не нужно было разбирать по статьямъ ни таможенный тарифъ, ни

даже положеніе о земскихъ учрежденіяхъ. Но публицистъ современной Россіи не можетъ игнорировать, долженъ затронуть и освѣтить—съ принципіальной точки зрѣнія—и протекціонизмъ, и мѣстное самоуправленіе, какъ практическія проблемы, какъ проблемы политики. Впрочемъ, публицистика народничества 70-хъ гг, не могла не страдать отъ двухъ его главныхъ грѣховъ, тѣсно связанныхъ между собой: экономизма и утопизма. Основными считались задачи экономической политики, и въ то же время эти задачи получали утопическую формулировку. Благодаря этому, публицистика самаго радикальнаго русскаго направленія семидесятыхъ годовъ не могла не быть запечатлѣна извѣстной узостью, соединенной съ утопизмомъ и даже фантазерствомъ. Въ самыхъ завѣтныхъ своихъ требованіяхъ она была далека и отъ практичности. Въ 80-хъ годахъ народническая публицистика стала практичнѣе, но не стала идеалистичнѣе, наоборотъ, еще больше удалилась отъ идеализма.

Неудивительно, поэтому, что идеалистическіе запросы и алканія нашли себѣ главное прибѣжище не въ публицистикѣ, а въ области той псевдонаучной соціологіи, въ которой дикарь и гермафродитъ, какъ типы развитія, превозносились надъ культурнымъ человѣкомъ и раздѣльнополой особью. Главнымъ выразителемъ идеалистическихъ алканій явился Н. К. Михайловскій съ его рѣзко выраженнымъ философскимъ интересомъ къ построенію цѣлостнаго міросозерцанія. Не ставъ философомъ-публицистомъ, онъ сдѣлался философомъ-соціологомъ. Но мы уже сказали, что соціологіи Н. К. Михайловскаго нельзя придавать особеннаго научнаго значенія. Можно признать, что онъ войдетъ въ исторію соціологіи, какъ не лишенный оригинальности послѣдователь «органической» теоріи общества и предтеча Тарда.

Но вѣдь это не Богъ знаетъ что въ исторіи науки рѣшительно ничего въ исторіи русскаго философствованія или построенія цѣлостнаго міросозерцанія. Другими словами, если бы г. Михайловскій былъ только соціологомъ-ученымъ, то онъ бы занималъ въ исторіи русской философской мысли приблизительно такое же мѣсто, какъ тѣ его единомышленники по соціологіи, которымъ недостаетъ философскаго захвата, недостаетъ философской энергіи и широты мысли.

Итакъ, крупную величину составляетъ не соціологъ, а философъ Михайловскій. Почему и въ какомъ смыслѣ? Для выясненія этого необходимо обратить вниманіе на моментъ развитія міровой и русской философской мысли и на тотъ вопросъ, который поставилъ г. Михайловскій.

50—60-ые гг. знаменуютъ собой крушеніе философскихъ системъ нѣмецкихъ идеалистовъ и крайнее увлеченіе идеей положительной науки въ отличіе отъ метафизики и въ противоположность ей. Отказъ отъ метафизическихъ проблемъ, отъ ихъ рѣшенія и даже постановки былъ актомъ не просто аскетическаго воздержанія, но и воинствующаго отрицанія. Отвергнутая метафизика, правда, въ лицѣ матеріализма какъ бы съ задняго крыльца вторгалась въ философское и научное мышленіе.

И матеріалистическая метафизика, мнящая себя наукой, и воинствующій позитивизмъ, мнящій себя философіей, имѣютъ въ своей основѣ рядъ догматическихъ предположеній. Постараемся дать краткую, но точную формулировку того, что мы считаемъ основнымъ заблужденіемъ позитивизма. Человѣкъ мыслитъ себѣ все мыслимое въ двухъ основныхъ формахъ или, вѣрнѣе, съ двумя знаками: какъ сущее (бытіе) и какъ должное (долженствованіе). Сущее или бытіе это то, какъ матеріальное, или вещное, такъ и психическое, или духовное, что́ есть, было и будетъ по

закону причинности. Бытіе не вмѣщаетъ въ себя свободы и творчества. Эти понятія чужды бытію. Настоящее цѣликомъ опредѣлено прошлымъ; будущее настоящимъ (и, стало быть, прошлымъ); такимъ образомъ, все опредѣлено или предопредѣлено. Весь міръ сущаго необходимъ: онъ и не могъ, и не можетъ быть инымъ, чѣмъ онъ былъ, есть и будетъ, по неизмѣнному закону своего бытія.

Закономѣрность или необходимость того, что есть, вытекаетъ изъ закономѣрности того, что было; закономѣрность того, что будетъ, обусловливается закономѣрностью того, что есть. Размышляя о томъ, что же такое эта закономѣрность, мы видимъ, что она состоитъ изъ двухъ моментовъ: изъ необходимаго и всецѣлаго сведенія всякаго отдѣльнаго бытія къ другому, какъ его причинѣ, и изъ способа этой зависимости. Необходимо, стало быть, не бытіе чего-либо, какъ таковое, а причинная зависимость этого бытія отъ какого-либо другого бытія и способъ этой зависимости. Мы научно понимаемъ все мыслимое [1]), или сущее поскольку сводимъ одно бытіе къ другому, какъ его причинѣ, и усматриваемъ способъ этой причинной зависимости. Другими словами, научно понимать мы можемъ только, почему и какъ что-нибудь существуетъ.

Когда человѣкъ мыслитъ или переживаетъ нѣчто какъ должное, со знакомъ долженствованія—отношеніе его къ содержанію этого долженствованія совершенно другое, чѣмъ къ содержанію бытія. Эти отношенія несравнимы одно съ другимъ и несводимы одно къ другому. Изъ того, что что-нибудь мыслится мною, какъ должное, не слѣдуетъ, что оно необходимо будетъ. Но точно такъ же изъ того, что что-нибудь есть или необходимо, по законамъ природы,

---

[1]) Мы говоримъ мыслимое—въ смыслѣ того, что мы мыслимъ, или содержимъ въ сознаніи

будетъ, нисколько не слѣдуетъ, что оно есть для меня должное по принимаемому мною нравственному закону.

Между тѣмъ, основная мысль и въ то же время основное заблужденіе позитивизма состоитъ въ подчиненіи должнаго (долженствованія) сущему (бытію) и въ выведеніи перваго изъ второго.

На этомъ подчиненіи покоится чудовищная идея научной этики, не въ смыслѣ психологіи, или, что то же, психологическаго объясненія нравственности, а въ смыслѣ нормальнаго или предписывающаго ученія о должномъ. Точно то, что есть, можетъ обосновывать то, что должно быть! Подчиненіе долженствованія бытію, выведеніе перваго изъ второго коренится въ некритическомъ отношеніи, мы бы сказали, въ идолопоклонствѣ передъ принципомъ причинности. Оно забываетъ, что въ опытѣ, или наукѣ намъ открывается причинность и способъ бытія, но что самое бытіе, какъ таковое, остается для насъ всегда и непознаннымъ, и необъясненнымъ. Объясненіе того, что что-нибудь существуетъ, мы всегда отодвигаемъ, но никогда не заканчиваемъ. Этотъ фактъ, извѣстный подъ названіемъ непознаваемости „конечныхъ“ причинъ, давно указанъ и сталъ общимъ мѣстомъ. Но извѣстно, что общія мѣста пользуются privilegium odiosum не быть продумываемыми. Они не продумываются въ отрицательно-критическомъ смыслѣ, т.-е. принимаются на вѣру безъ достаточныхъ основаній. Но они не продумываются, быть можетъ, еще чаще въ положительно критическомъ смыслѣ, т.-е. ихъ содержаніе остается въ значительной мѣрѣ нераскрытымъ. Такъ мнѣ кажется, что общее мѣсто о непознаваемости конечныхъ причинъ рѣдко продумывается въ направленіи положительно-критическомъ, и зерно этого утвержденія, непознаваемость бытія, какъ такового, остается неяснымъ. Въ опытномъ познаніи или положительной наукѣ мы мол-

чаливо предполагаемъ, что факты, именуемые конечными причинами, стоятъ отъ насъ на какомъ-то безконечно-далекомъ разстояніи, не только съ точки зрѣнія нашего познаванія, но и какъ реальное бытіе. Другими словами, мы предполагаемъ, что такъ назыв. „конечныя“ причины объявились когда-то, но что теперь все происходитъ по „закону“ причинности. Между тѣмъ, непознаваемость бытія, какъ такового, и означаетъ невозможность отрицанія безпричиннаго бытія. Критическая философія показала невозможность, съ точки зрѣнія опыта, ни доказать, ни опровергнуть бытіе Бога. Мнѣ кажется, что критицизмъ съ логической необходимостью долженъ быть продолженъ. Формула такого расширеннаго критицизма будетъ гласить: нельзя вообще отрицать безпричинное бытіе. Оно необъяснимо въ терминахъ опыта и, въ этомъ смыслѣ, непознаваемо, но отрицать его значило бы отрицать самое несомнѣнное, а именно самый фактъ бытія міра. Міръ намъ прежде всего „данъ“. Міръ, какъ цѣлое, продуктъ нашего синтеза изъ множества „данныхъ“. Только незначительная часть ихъ обработана и объяснена съ точки зрѣнія причинности, большая же часть всегда была и остается простыми „данными“, т.-е. подлинными и величайшими тайнами. И самое главное—въ томъ, что міръ и не можетъ быть для насъ ничѣмъ, какъ только даннымъ, потому что, сведя его къ „конечнымъ“ для опыта причинамъ, мы стали бы только лицомъ къ лицу съ абсолютно намъ данной тайной. Въ то же время мы не имѣли бы, какъ не имѣемъ его и теперь, никакого ручательства въ томъ, что такія тайны—„конечныя“ причины или безпричинное бытіе—не возникаютъ постоянно передъ нами, но скрытыя отъ насъ. Мы не хотѣли бы, чтобы наши разсужденія были поняты, какъ фантазерское приглашеніе къ вѣрѣ въ такъ называемыя чудеса. И, съ другой стороны, они не должны

быть понимаемы и въ совершенно отвлеченномъ смыслѣ, отрѣшенномъ отъ задачъ науки и проблемъ жизни.

Кромѣ вѣры въ причинность, вѣры, которая есть руководящее начало опытнаго познанія—и только, нѣтъ никакого другого основанія отрицать безпричинное бытіе, какъ таковое. Безпричинное бытіе, конечно, тайна, но таковою, въ послѣднемъ счетѣ, остается всякое бытіе само по себѣ. Кромѣ вѣры въ причинность, нѣтъ другихъ основаній отрицать творческое бытіе. Правда, съ точки зрѣнія причинности, всякое бытіе всецѣло сводимо къ другому и т. д., и т. д. Но только либо безусловная вѣра въ причинность, либо полнѣйшій религіозный фатализмъ [1]) запрещаютъ остановки въ этомъ прогрессѣ, т.-е. запрещаютъ допускать творческое бытіе, изъ себя и только изъ себя творящее другое бытіе.

Вѣра въ причинность исключаетъ всякую мысль какъ о безпричинномъ, такъ и о творческомъ бытіи. Но можетъ ли эта вѣра быть непререкаемою и общеобязательною? Таковъ вопросъ критическаго сомнѣнія. Намъ думается, что критическое размышленіе не позволяетъ отрицать ни безпричинное, ни творческое бытіе, и что потому нѣтъ никакого философскаго принужденія сводить должное къ причинно-обусловленному. Наоборотъ, философское размышленіе своимъ критическимъ отношеніемъ къ вѣрѣ въ причинность не можетъ не подкрѣплять непосредственнаго сознанія особой природы нравственнаго долженствованія,

---

[1]) Въ спорахъ о свободѣ воли, позитивнымъ мышленіемъ ей всегда противополагалась безусловная причинность, или необходимость, религіознымъ фатализмомъ—всемогущая Божья воля въ смыслѣ предопредѣленія. Параллелизмъ между позитивнымъ детерминизмомъ и религіознымъ фатализмомъ, образчики котораго дали Лютеръ и Кальвинъ, не случаенъ: оба эти вида детерминизма основываются на некритической вѣрѣ.

предполагающаго свободное, или творческое дѣйствованіе. Причинность, конечно, безусловно требуетъ сведенія одного явленія къ другому по неизмѣнному закону. Свободы, самобытности творческой дѣятельности духа причинное объясненіе не только не допускаетъ, но, наоборотъ, совершенно упраздняетъ, какъ мнимыя идеи, неумѣстныя, ничѣмъ не оправдываемыя, недомысленныя остановки человѣческаго ума, идущаго отъ одной причины къ другой. Мы говоримъ не о томъ, что думаютъ тѣ или другіе детерминисты, которые могутъ быть и нелогичны, но о томъ, что думаетъ и не можетъ не думать идея детерминизма. Она, какъ приложеніе причиннаго объясненія къ человѣческому духу, требуетъ сведенія индивидуальнаго и свободно-творческаго къ общему (соціальному) и необходимо-зависимому.

Но какое философское право имѣемъ мы утверждать, что духъ въ формѣ личности, осуществляющій должное, не можетъ быть самобытнымъ въ своей дѣятельности, т.-е. изъ себя творящимъ, самодѣятельнымъ началомъ? Это метафизика, скажутъ намъ. Да, метафизика, но такая, на которую духъ наталкивается и непосредственнымъ сознаніемъ своей творческой функціи, и критическимъ размышленіемъ [1]).

Безграничное увлеченіе идеей всеобъемлющей и все разрѣшающей положительной науки охватило русское мыслящее общество въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ гг., и оно жадно усвоило себѣ выработанныя на Западѣ ученія

---

[1]) Читатель, знакомый съ исторіей философіи, узнаетъ въ выше развитыхъ разсужденіяхъ лишь особую форму нѣкоторыхъ основныхъ положеній нравственной метафизики Канта. [Приписка 1910 г. Сейчасъ, перечитывая эту статью 1901 г., я не могу не видѣть, что нѣкоторые основные мотивы ея совпадаютъ съ пріобрѣтшими такую популярность въ новѣйшее время разсужденіями Бергсона, съ произведеніями котораго я познакомился въ самые послѣдніе годы].

позитивизма и матеріализма. Это усвоеніе сослужило огромную службу дѣлу русской культуры, знаменуя собой, подобно западному просвѣщенію XVIII вѣка, освобожденіе ума отъ подчиненія омертвѣвшей и мертвившей метафизической догмѣ и отъ прямого безмыслія. Но, освобождая отъ однѣхъ путъ, позитивизмъ и матеріализмъ налагали другія. Некритическій позитивизмъ и матеріализмъ оба суть одинаково догматическія построенія, обѣщающія гораздо больше, чѣмъ они могутъ исполнить. Они, всецѣло руководясь категоріей причинности, какъ высшимъ принципомъ объясненія, къ ней сводятъ долженствованіе и свободу, т.-е. упраздняютъ,—и съ своей точки зрѣнія вполнѣ послѣдовательно,—эти основныя понятія нравственности, какъ понятія самостоятельныя. Позитивизмъ становится догматичнымъ, поскольку въ его лицѣ положительная наука, руководящаяся принципомъ причинности, предъявляетъ притязанія на то, чтобы своими опредѣленіями исчерпать всю полноту жизни духа и дать стройное и цѣлостное міросозерцаніе. Съ точки зрѣнія причинности это невозможно, и недаромъ Контъ своей субъективной фазой разорвалъ имъ же самимъ скованное желѣзное кольцо позитивизма и вступилъ въ область подлинной метафизики съ религіознымъ характеромъ. „Вырабатывая на основаніи своего „объективнаго метода“ систему положительной философіи,—говоритъ Вл. Соловьевъ [1]),—Контъ считалъ ее окончательнымъ, высшимъ выраженіемъ духовнаго развитія человѣчества; но по окончаніи работы онъ созналъ ея недостаточность и почувствовалъ, что это умственное построеніе не даетъ даже права своему основателю считаться истиннымъ философомъ, такъ какъ оно представляетъ

[1]) Статья о Контѣ въ „Энциклопедическомъ Словарѣ“ Арсеньева и Петрушевскаго.

только одну сторону дѣйствительнаго человѣка и доступной ему истины. Эту вновь открывшуюся ему сторону бытія Контъ призналъ даже болѣе важною, первенствующею. Во всякомъ случаѣ, позитивная религія и политика не были прямымъ слѣдствіемъ или приложеніемъ позитивной философіи, а совершенно новымъ построеніемъ, на новомъ основаніи („субъективный методъ“) и съ другою задачею (нравственно-практическою). Нѣкоторымъ переходомъ и связью оказывается здѣсь идея человѣчества: позитивная философія приводитъ къ этой идеѣ, а религія и политика изъ нея исходятъ. Но сама эта идея, въ томъ смыслѣ, въ какомъ она является въ послѣднемъ томѣ „Cours de la philosophie positive“, уже не соотвѣтствуетъ объективному методу и, вмѣсто положительно-научнаго, несомнѣнно имѣетъ метафизическій характеръ. То единое человѣчество, о которомъ говоритъ здѣсь Контъ, не существуетъ какъ фактъ внѣшняго опыта и не можетъ быть сведено къ такому факту; понятіе о такомъ человѣчествѣ не могло быть добыто наукой, какъ ее разумѣетъ Контъ, и такъ какъ онъ не заявлялъ притязаній на божественное откровеніе, то остается признать его идею, какъ чисто умозрительную, или метафизическую. Такимъ образомъ въ своемъ собственномъ умственномъ развитіи Контъ подчинился законамъ трехъ стадій, но только въ обратномъ порядкѣ: онъ началъ съ позитивно-научнаго міровоззрѣнія и чрезъ посредство метафизическаго принципа человѣчества пришелъ къ религіозной и прямо теологической стадіи...“

Г. Михайловскій, воспринимая субъективный методъ Конта [1]), тоже разрывалъ рамки позитивизма. Въ предъявленномъ имъ требованіи системы правды, сочетающей

---

[1]) Совершенно правильныя замѣчанія г. Ранскаго объ этомъ на стр. 124—125.

правду-истину съ правдой-справедливостью, онъ формулировалъ недоступную положительной наукѣ философскую проблему цѣлостнаго воззрѣнія, объединяющаго сущее и должное въ одномъ построеніи. Эта проблема по существу своему принадлежитъ метафизикѣ. Ошибка г. Михайловскаго, осудившая его на почти полное философское безплодіе, состояла въ томъ, что онъ метафизическую проблему выражалъ въ понятіяхъ положительной науки и думалъ разрѣшить ея средствами. Соціологія, хотя бы и „субъективная", конечно, не могла дать отвѣта на грандіозный, предъявленный къ ней метафизическій запросъ. Въ лицѣ философствовавшаго г. Михайловскаго оказались два существа, не опознавшія себя и не размежевавшіяся между собой, а потому другъ другу только мѣшавшія. Положительная наука у него безсознательно извращалась метафизикой, а метафизическую мысль тяготило, связывало и обезпложивало ея подчиненіе „положительной наукѣ".

Какъ бы то ни было, г. Михайловскій въ исторіи русской философской мысли займетъ мѣсто рядомъ съ П. Л. Лавровымъ, какъ блестящій выразитель первой смутной, почти безсознательной реакціи неустранимой „метафизической потребности" противъ позитивизма и при томъ—реакціи, вышедшей изъ нѣдръ самого же позитивизма. Только-что сдѣланная характеристика философствованія г. Михайловскаго проливаетъ свѣтъ на философскій смыслъ и значеніе полемики марксизма „противъ субъективной соціологіи". Эта полемика, разсматриваемая со стороны своего философскаго содержанія, была вполнѣ естественной, умѣстной и весьма своевременной реакціей положительно-научной мысли противъ незаконнаго вторженія въ ея сферу метафизически-этическихъ проблемъ, являвшихся подъ флагомъ субъективной соціологіи. Обороняясь отъ этой реакціи, г. Михайловскій и его послѣ-

дователи крайне обезцвѣтили свою точку зрѣнія и въ результатѣ, какъ нами было указано выше, субъективный методъ какъ бы вывѣтрился до самоупраздненія. Его цѣнное метафизическое зерно при этомъ не могло не потеряться. Характерно, съ другой стороны, что одинъ изъ самыхъ видныхъ русскихъ позитивистовъ, П. Н. Милюковъ, въ спорѣ марксистовъ съ субъективистами, съ самаго начала принципіально-философски сталъ на сторону марксизма, конечно потому, что ясно видѣлъ въ марксизмѣ реакцію позитивно-научнаго духа противъ вторгшагося въ науку инороднаго „этическаго“ элемента. Но какъ ни была законна эта реакція, она и въ формѣ метафизической (Н. Бельтовъ: „Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію“), и въ формѣ позитивно-критической (Струве: „Критическія замѣтки къ вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи“) зашла слишкомъ далеко. Говоря это, мы имѣемъ въ виду не преувеличенія и односторонности такъ называемаго экономическаго матеріализма, которыя не имѣютъ принципіальнаго философскаго значенія и съ которыми предстоитъ раздѣлываться положительной наукѣ и спеціальной методологіи. Дѣло въ другомъ. И въ своей позитивно-критической формулировкѣ первоначальный русскій марксизмъ, какъ философское построеніе, впалъ въ основное указанное нами выше заблужденіе позитивизма, установивъ подчиненіе долженствованія, какъ таковаго, бытію и поглощеніе свободы необходимостью, т. е. онъ оказался воззрѣніемъ некритическимъ и догматическимъ. Струве впалъ въ догматизмъ, приспособляя воззрѣнія Риля и Зиммеля къ обоснованію „экономическаго матеріализма“. Самое это приспособленіе было задумано правильно. Но критическій реализмъ Риля и соціальный психологизмъ Зиммеля были неправильно истолкованы въ смыслѣ принципіально-философскаго подчиненія долженствованія бытію.

У Струве недоставало въ то время той принципіальной философской ясности, которая не допускаетъ такого подчиненія. Бельтовъ же, въ своемъ двойномъ качествѣ матеріалиста и гегеліанца съ суверенным презрѣніемъ относящійся къ теоріи познанія и третирующій ее какъ схоластику, былъ и остается чуждымъ вообще всякаго критическаго раздумья. Поэтому онъ не могъ ни отнестись критически къ основному заблужденію позитивизма, ни даже поставить самую проблему въ ея чистомъ видѣ.

Теперь положеніе вещей измѣнилось. Въ самомъ „марксизмѣ“ началась критическая работа, нѣкоторые результаты которой можно уже обозрѣть. Идея г. Михайловскаго о должномъ, какъ категоріи, независимой отъ сущаго въ опытѣ и потому имѣющей самобытную цѣнность, признана тѣми писателями-марксистами, которые отъ критическаго позитивизма пришли или перешли къ метафизикѣ. Но ими же подчеркнуто, что постановка этого вопроса въ рамкахъ положительной науки и въ ея терминахъ незаконна и не имѣетъ смысла, что она есть некритическое смѣшеніе метафизики съ опытнымъ знаніемъ, или положительной наукой. Такимъ образомъ невѣрно, что у такихъ метафизиковъ-идеалистовъ, какъ Струве, нѣтъ ничего общаго въ философскомъ направленіи ихъ мысли съ г. Михайловскимъ, но еще менѣе вѣрно, что это вышедшее изъ марксизма теченіе капитулировало передъ „субъективной соціологіей“. Интересно выяснить и установить, конечно, не то, кто кого побилъ (пусть такими вопросами занимаются фанатическіе „ученики“ Маркса и г. Михайловскаго, или газетные фельетонисты), а то, какъ шла и къ чему пришла—въ лицѣ ея различныхъ представителей—русская философская мысль, какъ расходились и сходились ряды ея развитія. Вглядывясь въ выяснившійся теперь обликъ новѣйшаго метафизическаго идеализма, мы видимъ въ немъ попытку поставить въ чистомъ метафизи-

ческомъ видѣ мнимо упрощенную и разрѣшенную, а въ сущности насильственно упраздненную позитивизмомъ проблему соотношенія между сущимъ и должнымъ, между историческою дѣйствительностью и вѣчнымъ идеаломъ. Новое направленіе почти не пошло дальше критическихъ пролегоменъ (книга Бердяева-Струве) и дало лишь нѣсколько намековъ на положительныя построенія. Передъ нимъ открывается широкая область метафизическаго творчества. Но тутъ оно находитъ передъ собой не пустое мѣсто. Движеніе русской философской мысли съ 1870 г. не исчерпывалось позитивизмомъ, и не позитивизму въ немъ принадлежитъ первое мѣсто. Пока русскій позитивизмъ искалъ рѣшеній то въ объективномъ Контѣ, то въ Контѣ субъективномъ, черпалъ новыя вдохновенія то въ Кантѣ и неокантіанствѣ, то въ соціальномъ матеріализмѣ Маркса, то примирялъ ученіе Маркса къ Кантомъ, Рилемъ, Зиммелемъ, Авенаріусомъ и даже г. Михайловскимъ, то противопоставлялъ его всѣмъ другимъ построеніямъ, какъ едино-спасающее, русская метафизика создала блестящую, оригинальную по обоснованію и формулировкѣ старыхъ религіозныхъ, метафизическихъ и моральныхъ идей, онтологію и этику Владиміра Соловьева, стройную систему Чичерина, богатый возможными выводами панпсихизмъ Козлова и его учениковъ, „конкретный идеализмъ“ кн. С. Н. Трубецкого. Во всѣ эти построенія необходимо вникнуть, со всѣмъ этимъ обязательно считаться новымъ людямъ метафизической потребности, ушедшимъ и даже еще только уходящимъ отъ позитивизма. Русская метафизика въ лицѣ Владиміра Соловьева исполнила и крупное общественное дѣло, давъ впервые идеалистическую критику славянофильства и катковизма, и тѣмъ установивъ, что философскій идеализмъ и государственный позитивизмъ непримиримы по духу. Это — огромная заслуга, часто восхваляемая,

но недостаточно еще оцѣненная по своему философскому смыслу.

Марксизмомъ, породившимъ изъ своихъ нѣдръ метафизику, русскій позитивизмъ закончилъ полный кругъ своего развитія. Контизмъ Вл. Ал. Милютина, матеріализмъ (естественнонаучный) Герцена, Чернышевскаго и Писарева, соціологическій субъективизмъ Лаврова и Михайловскаго, діалектическій марксизмъ Бельтова и позитивно-критическій, сильно окрашенный кантіанствомъ и неокантіанствомъ марксизмъ Струве—вотъ его различныя выраженія и въ то же время этапы, имѣющіе различное содержаніе и потому различную цѣнность, но, по своему философскому зерну, тождественные. Русскій контизмъ и русскій матеріализмъ (естественнонаучный) всего менѣе оригинальны и—что́ въ высшей степени характерно—въ произведеніяхъ своихъ философскихъ представителей почти не осложнены сколько-нибудь цѣннымъ положительно-научнымъ содержаніемъ. Они не дали также ясно выраженной публицистической программы. Главное (и огромное) значеніе Чернышевскаго для его времени коренилось въ томъ, что онъ былъ матеріалистъ и соціалистъ, вылившій свое теоретическое и практическое міросозерцаніе въ столь соблазнительно ясныя и рѣшительныя формулы, какъ никто ни до, ни послѣ него. Но то, что есть въ его политической экономіи своего, не имѣетъ никакой положительно-научной цѣнности; ясной публицистической программы онъ не далъ потому, что соціализмъ какъ таковой ни тогда, ни теперь не могъ дать такой программы. Роль Чернышевскаго аналогична роли г. Михайловскаго. Онъ былъ философомъ своего поколѣнія, но не научнымъ дѣятелемъ; онъ написалъ нѣсколько блестящихъ публицистическихъ статей, но не былъ публицистомъ. Русскій соціологическій субъективизмъ есть, хотя и примыкающая къ Конту, но въ зна-

чительной мѣрѣ оригинальная попытка удовлетворить метафизическую потребность въ предѣлахъ позитивизма. Въ этой попыткѣ цѣненъ философскій замыселъ или, пожалуй, точнѣе, плодотворное философское недоумѣніе, въ ней сказавшееся. П. Л. Лавровъ и Н. К. Михайловскій, думается намъ, никогда не были такими „властителями думъ“ своего поколѣнія, какъ Н. Г. Чернышевскій, но въ качествѣ философовъ и ученыхъ они значительно выше своего болѣе вліятельнаго предшественника, сила вліянія котораго опредѣлялась тѣмъ, что составляло слабость его философствованія и научныхъ опытовъ. Я имѣю въ виду догматическій складъ ума и элементарность самой точки зрѣнія Чернышевскаго.

Марксизмъ, тѣсно примыкая къ Марксу не только какъ къ соціальному реформатору, но и какъ къ научному дѣятелю, сразу какъ бы очутился наслѣдникомъ крупнаго положительно-научнаго достоянія, которое онъ всячески стремился утилизировать и умножить. Заслуги русскаго марксизма въ области положительно-научной, на нашъ взглядъ, весьма значительны. Отмѣтимъ, напримѣръ, одну. Неоднократно марксисты бросали въ лицо своимъ противникамъ упрекъ въ буржуазности, и получали отъ нихъ обратно тотъ же упрекъ. Насъ не занимаютъ здѣсь эти попреки, какъ таковые; пожелаемъ имъ только скорѣе и полностью отойти въ вѣчность. Мы хотѣли бы обратить вниманіе на то обстоятельство, что направленный по адресу марксистовъ упрекъ въ буржуазности заключаетъ въ себѣ намекъ на очень крупную заслугу русскаго марксизма. Послѣдній исполнилъ очень важную задачу: онъ далъ (и неужели въ этомъ можно до сихъ поръ сомнѣваться?!) научное объясненіе исторической необходимости капитализма въ Россіи. Такое объясненіе объемлетъ собой и условно-историческое оправданіе капитализма. Такимъ обра-

зомъ русскій марксизмъ исполнилъ ту задачу, которая вездѣ въ другихъ странахъ выпадала на долю „либеральной“ политической экономіи и притомъ—какъ офиціальной науки. Между тѣмъ русскій марксизмъ „оправдывалъ“ капитализмъ въ прямой полемикѣ не только съ народничествомъ, но и со всею почти офиціальной наукой. Эта работа требовала значительнаго теоретическаго мужества, которое—что̀ часто склонны забывать—всегда имѣетъ большую моральную цѣнность. Рядомъ съ крупнымъ положительно-научнымъ содержаніемъ марксизмъ далъ новую, ясную и практическую публицистическую программу. Мы сказали выше, что Н. К. Михайловскій не былъ публицистомъ. Для него, отчасти опираясь на его же соціологическія идеи, публицистику строили настоящіе „народники“, группировавшіеся между прочимъ около тѣхъ же „Отечественныхъ Записокъ“. Противъ этой публицистики, оказавшейся въ концѣ-концовъ непріемлемой и для самого г. Михайловскаго, русскіе марксисты выставили свою, не менѣе стройную и обдуманную.

Ахиллесову пяту русскаго марксизма составляла его философія. Марксъ былъ вовсе не тотъ имѣющій внутреннее родство съ Кантомъ, Фихте, Шеллингомъ и Гегелемъ философъ критическаго духа, какимъ онъ представляется фантазирующему Вольтману; это былъ догматическій матеріалистъ, вышедшій изъ школы Фейербаха, но болѣе рѣшительно, чѣмъ послѣдній, примкнувшій къ французскому матеріализму XVIII вѣка. Онъ въ этомъ отношеніи прямой продолжатель французскихъ соціалистовъ и коммунистовъ, философски отправлявшихся такъ же, какъ и онъ, отъ матеріализма и сенсуализма. Вотъ почему послѣдовательному или ортодоксальному марксизму, какъ онъ въ нашей литературѣ выразился въ книжкѣ Бельтова, совершенно чуждо то философски-плодотворное недоумѣніе, которое содержится

въ субъективной соціологіи. Метафизическая потребность для этой формы марксизма остается какъ бы за порогомъ сознанія и безсознательно удовлетворяется наивно-догматическимъ матеріализмомъ. Марксизмъ Бельтова, по своему философскому содержанію, есть поэтому возвратъ къ Чернышевскому, т.-е. къ самой элементарной философской точкѣ зрѣнія изъ всѣхъ господствовавшихъ въ русскомъ позитивизмѣ.

Отношеніе позитивно-критическаго марксизма Струве въ его „Критическихъ замѣткахъ“ къ основному заблужденію позитивизма, или, что то же, къ метафизической проблемѣ объ отношеніи должнаго къ сущему (въ опытѣ) совершенно иное: въ немъ нѣтъ и тѣни наивности. Проблема рѣзко формулируется, и гордіевъ узелъ разрубается: должное насильственно-догматически—при помощи соціальной психологіи—сводится къ сущему въ опытѣ. Если у субъективистовъ основное заблужденіе позитивизма вызываетъ противъ себя смутный некритическій протестъ, если у догматиковъ-матеріалистовъ оно составляетъ безсознательное предположеніе ихъ философствованія, то въ этой формѣ марксизма оно открыто провозглашается, съ полнымъ сознаніемъ того, что цѣльное міросозерцаніе не можетъ удовлетвориться въ этомъ пунктѣ просто критическимъ воздержаніемъ, но должно предложить совершенно опредѣленное рѣшеніе. Лишь очень внимательный и чуткій читатель могъ и тогда уже уловить въ рѣзкихъ рѣшеніяхъ Струве скрывавшуюся за ними внутреннюю неувѣренность въ правильности найденнаго исхода, мучившую автора, но имъ не сознанную и заглушенную.

Некритическая насильственность этого исхода должна была, однако, обнаружиться. Пересмотрѣвъ свое рѣшеніе, Струве отъ него отказался и, не признавъ возможнымъ ни критическаго воздержанія, ни психологиче-

скаго субъективизма, — открыто перешелъ къ метафизикѣ, т. е. отпавъ отъ позитивизма, въ философскомъ отношеніи пересталъ быть и марксистомъ. Выраженіемъ этого поворота явилась книга Бердяева, съ предисловіемъ Струве. Бердяевъ обнаруживаетъ въ своей книгѣ еще двойственное отношеніе къ метафизикѣ, Струве рѣшительно отдается ей. Метафизическое недоумѣніе „субъективистовъ", тщетно искавшее себѣ удовлетвореніе въ позитивизмѣ, находитъ выходъ въ метафизикѣ.

Научно-положительные результаты марксизма и цѣнныя пріобрѣтенія его публицистической программы не затрагиваются метафизическимъ поворотомъ. Нельзя однако скрыть отъ себя того, что этотъ поворотъ заключаетъ въ себѣ не только возможность, но и необходимость дальнѣйшаго пересмотра всѣхъ сторонъ самаго молодого изъ выступившихъ у насъ философскихъ міросозерцаній. Его представители, пережившіе и осуществившіе переходъ къ метафизикѣ, какъ нами уже было показано, не прокладываютъ совершенно новаго русла мысли. И всетаки они, думается намъ, внесутъ въ идеалистическое теченіе русской мысли новую струю, новыя думы и настроенія. Приходятъ они не съ пустыми руками или, вѣрнѣе, не съ пустыми душами. Ихъ убѣжденія—плодъ борьбы, которая, происходя на широкой аренѣ литературы, была въ то же время глубокимъ внутреннимъ процессомъ. Такая борьба не только съ противниками, но и съ самимъ собой, способна вырабатывать стойкія убѣжденія и въ то же время придавать имъ особенный тонъ терпимости, свидѣтельствующій не о вялости и безразличіи духа, но о живой и радостной вѣрѣ въ силу истины и крѣпость добра.

Интеллигенція и революція. [1]

Россія пережила до новѣйшей революціи, связанной съ исходомъ русско-японской войны, два революціонныхъ кризиса, потрясшихъ народныя массы: смутное время, какъ эпилогъ котораго мы разсматриваемъ возмущеніе Разина, и пугачевщину. То были крупныя потрясенія народной жизни, но мы напрасно стали бы искать въ нихъ какой-либо религіозной и политической идеи, приближающей ихъ къ великимъ переворотамъ на Западѣ. Нельзя же подставлять религіозную идею подъ участіе раскольниковъ въ пугачевскомъ бунтѣ?! Зато въ этихъ революціяхъ, неспособныхъ противопоставить что-либо исторической государственности и о нее разбившихся, съ разрушительной силой сказалась борьба соціальныхъ интересовъ.

Революція конца XVI и начала XVII вв. въ высшей степени поучительна при сопоставленіи съ пережитыми нами событіями. Обычно послѣ революціи и ея побѣды торжествуетъ реакція въ той или иной формѣ. Смута на-

[1]) Въ Вѣхахъ, гдѣ эта статья была первоначально напечатана въ 1909 г., я снадбилъ ее такимъ примѣчаніемъ: настоящія размышленія представляютъ написанные два года тому назадъ наброски главы изъ той задуманой мною книги, въ которой я хотѣлъ подвести итоги нашего культурнаго и политическаго развитія и дать оцѣнку пережитой нами революціи.

*

чала XVII вѣка представляетъ ту оригинальную черту, что въ этой революціи, какъ таковой, какъ народномъ движеніи, непосредственно, минуя реакцію, одержали верхъ здоровые государственные элементы общества. И съ этой чертой связана другая, не менѣе важная: „смута“ была не только соціальнымъ движеніемъ, не только борьбой за политическую власть, но огромнымъ движеніемъ національно-религіозной самозащиты. Безъ польскаго вмѣшательства великая смута 1598—1613 гг. была бы рядомъ придворныхъ интригъ и переворотовъ, чередующихся съ безсильными и безсвязными бунтами анархическихъ элементовъ тогдашняго общества. Польское вмѣшательство развернуло смуту въ національно-освободительную борьбу, въ которой во главѣ націи стали ея консервативныя общественныя силы, способныя на государственное строительство. Если это была великая эпоха, то не потому, что взбунтовались низы. Ихъ бунтъ не далъ ничего.

Такъ въ событіяхъ смуты начала XVII вѣка передъ нами съ поразительной силой и ясностью выступаетъ неизмѣримое значеніе государственнаго и національнаго началъ. Съ этой точки зрѣнія особенно важенъ моментъ расхожденія и борьбы государственныхъ, земскихъ элементовъ съ противогосударственными, казачьими. За иллюзію общаго дѣла съ „ворами“ первый вождь земства Прокопій Ляпуновъ поплатился собственной жизнью и полнымъ крушеніемъ задуманнаго имъ національнаго предпріятія. Тѣ „послѣдніе люди московскаго государства“, которые по зову патріарха Гермогена встали на спасеніе государства и, подъ предводительствомъ Минина и Пожарскаго, довели до конца дѣло освобожденія націи и возстановленія государства, совершили это въ борьбѣ съ противогосударственнымъ „воровствомъ“ анархическихъ элементовъ. Въ указанномъ критическомъ моментѣ нашей до-петровской „смуты“, въ его

общемъ психологическомъ содержаніи чувствуется что-то современное, слишкомъ современное...

Непосредственные соціальные результаты смуты для низовъ населенія были не только ничтожные, они были отрицательные. Поднявшись въ анархическомъ бунтѣ, направленномъ противъ государства, осѣдлые низы только увеличили свое собственное закрѣпощеніе и соціальную силу „господъ“. И вторая волна соціальной смуты XVII в., движеніе, связанное съ именемъ Стеньки Разина, стоившее множества жертвъ, безсмысленно жестокое, совершенно „воровское“ по своимъ пріемамъ, такъ же безсильно, какъ и первая волна, разбилась о государственную мощь.

Въ этомъ отношеніи пугачевщина не представляетъ ничего новаго, принципіально отличнаго отъ смуты 1598—1613 гг. и отъ разиновщины. Тѣмъ не менѣе соціальный смыслъ и соціальное содержаніе всѣхъ этихъ движеній и, въ особенности, пугачевщины громадны: они могутъ быть выражены въ двухъ словахъ—освобожденіе крестьянъ. Пугачевъ манифестомъ 31 іюля 1774 года противогосударственно предвосхитилъ манифестъ 19-го февраля 1861 г. Неудача его „воровского“ движенія была неизбѣжна: если освобожденіе крестьянъ въ XVIII и въ началѣ XIX в. было для государства и верховной власти по причинамъ экономическимъ и инымъ—страшно труднымъ дѣломъ, то противъ государства и власти осуществить его тогда было невозможно. Дѣло крестьянскаго освобожденія было не только погублено, но и извращено въ свою противоположность „воровскими“ противогосударственными методами борьбы за него.

Носителемъ этого противогосударственнаго „воровства“ было какъ въ XVII, такъ и въ XVIII в. „казачество“. „Казачество“ въ то время было не тѣмъ, чѣмъ оно является теперь: не войсковымъ сословіемъ, а соціальнымъ слоемъ,

всего болѣе далекимъ отъ государства и всего болѣе ему враждебнымъ. Въ этомъ слоѣ были навыки и вкусы къ военному дѣлу, которое, впрочемъ, оставалось у него на уровнѣ организованнаго коллективнаго разбоя.

Пугачевщина была послѣдней попыткой казачества поднять и повести противъ государства народные низы. Съ неудачей этой попытки казачество сходитъ со сцены, какъ элементъ, вносившій въ народныя массы анархическое и противогосударственное броженіе. Оно само подвергается огосударствленію, и народныя массы въ своей борьбѣ остаются одиноки, пока мѣсто казачества не занимаетъ другая сила. Послѣ того какъ казачество въ роли революціоннаго фактора сходитъ на нѣтъ, въ русской жизни зрѣетъ новый элементъ, который—какъ ни мало похожъ онъ на казачество въ соціальномъ и бытовомъ отношеніи—въ политическомъ смыслѣ приходитъ ему на смѣну, является его историческимъ преемникомъ. Этотъ элементъ—интеллигенція.

Слово „интеллигенція“ можетъ употребляться, конечно, въ различныхъ смыслахъ. Исторія этого слова въ русской обиходной и литературной рѣчи могла бы составить предметъ интереснаго спеціальнаго этюда.

Намъ приходитъ на память, въ какомъ смыслѣ объ „интеллигенціи“ говорилъ въ тургеневской „Странной исторіи“ помѣщикъ-откупщикъ: „У насъ смирно; губернаторъ меланхоликъ, губернскій предводитель—холостякъ. А впрочемъ послѣзавтра въ дворянскомъ собраніи большой балъ. Совѣтую съѣздить: здѣсь не безъ красавицъ. Ну, и всю нашу интеллигенцію вы увидите“. Мой знакомый, какъ человѣкъ, нѣкогда обучавшійся въ университетѣ, любилъ употреблять выраженія ученыя. Онъ произносилъ ихъ съ ироніей, но и съ уваженіемъ. Притомъ извѣстно, что занятіе откупами, вмѣстѣ съ солидностью, развивало въ людяхъ нѣкоторое глубокомысліе“.

Мы разумѣемъ подъ интеллигенціей, конечно, не публику, бывающую на балахъ въ дворянскомъ собраніи.

Мы разумѣемъ подъ этимъ наименованіемъ даже не „образованный классъ“. Въ этомъ смыслѣ интеллигенція существуетъ въ Россіи давно, ничего особеннаго не представляетъ и никакой казаческой миссіи не осуществляетъ. Въ извѣстной мѣрѣ „образованный классъ“ составляла въ Россіи всегда нѣкоторая часть духовенства, потомъ первое мѣсто въ этомъ отношеніи заняло дворянство.

Роль образованнаго класса была и остается очень велика во всякомъ государствѣ; въ государствѣ отсталомъ, лежавшемъ не такъ давно на крайней периферіи европейской культуры, она вполнѣ естественно является громадной.

Не объ этомъ классѣ и не объ его исторически понятной, прозрачной роли, обусловленной культурною функціей просвѣщенія, идетъ рѣчь въ данномъ случаѣ. Интеллигенція въ русскомъ политическомъ развитіи есть факторъ совершенно особенный: историческое значеніе интеллигенціи въ Россіи опредѣляется ея отношеніемъ къ государству въ его идеѣ и въ его реальномъ воплощеніи.

Съ этой точки зрѣнія интеллигенція, какъ политическая категорія, объявилась въ русской исторической жизни лишь въ эпоху реформъ и окончательно обнаружила себя въ революцію 1905—07 гг.

Идейно же она была подготовлена въ замѣчательную эпоху 40-хъ гг.

Въ обликѣ интеллигенціи, какъ идейно-политической силы въ русскомъ историческомъ развитіи, можно различать постоянный элементъ, какъ бы твердую форму, и элементъ болѣе измѣнчивый, текучій—содержаніе. Идейной формой русской интеллигенціи является ея отщепенство, ея отчужденіе отъ государства и враждебность къ нему.

Это отщепенство выступаетъ въ духовной исторіи русской интеллигенціи въ двухъ видахъ: какъ абсолютное и какъ относительное. Въ абсолютномъ видѣ оно является въ анархизмѣ, въ отрицаніи государства и всякаго общественнаго порядка, какъ таковыхъ (Бакунинъ и князь Кропоткинъ). Относительнымъ это отщепенство является въ разныхъ видахъ русскаго революціоннаго радикализма, къ которому я отношу прежде всего разныя формы русскаго соціализма. Исторически это различіе между абсолютнымъ и относительнымъ отщепенствомъ несущественно (хотя анархисты на немъ настаиваютъ), ибо принципіальное отрицаніе государства анархизмомъ есть нѣчто въ высокой степени отвлеченное, такъ же, какъ принципіальное признаніе необходимости общественной власти (т.-е. въ сущности государства) революціоннымъ радикализмомъ носитъ тоже весьма отвлеченный характеръ и стушевывается предъ враждебностью къ государству во всѣхъ его конкретныхъ опредѣленіяхъ. Поэтому въ извѣстномъ смыслѣ марксизмъ съ его ученіемъ о классовой борьбѣ и государствѣ, какъ организаціи классоваго господства, былъ какъ бы обостреніемъ и завершеніемъ интеллигентскаго противогосударственнаго отщепенства. Но мы опредѣлили бы сущность интеллигенціи неполно, если бы указали на ея отщепенство только въ вышеочерченномъ смыслѣ. Для интеллигентскаго отщепенства характерны не только его противогосударственный характеръ, но и его безрелигіозность. Отрицая государство, борясь съ нимъ, интеллигенція отвергаетъ его мистику не во имя какого-нибудь другого мистическаго или религіознаго начала, а во имя начала раціональнаго и эмпирическаго.

Въ этомъ заключается глубочайшее философское и психологическое противорѣчіе, тяготѣющее надъ интеллигенціей. Она отрицаетъ міръ во имя міра и тѣмъ самымъ не слу-

житъ ни міру, ни Богу. Правда, въ русской литературѣ съ легкой руки, главнымъ образомъ, Владиміра Соловьева установилась своего рода легенда о религіозности русской интеллигенціи Это въ сущности—примѣненіе къ русской интеллигенціи того же самаго воззрѣнія,—на мой взглядъ поверхностнаго и не выдерживающаго критики,—которое привело Соловьева къ его извѣстной реабилитаціи, съ точки зрѣнія христіанской и религіозной, противорелигіозныхъ мыслителей. Разница только въ томъ, что западно-европейскій позитивизмъ и раціонализмъ XVIII в. не въ такой полной мѣрѣ чуждъ религіозной идеи, какъ тотъ русскій позитивизмъ и раціонализмъ XIX в., которымъ вспоена вся наша интеллигенція.

Весь недавно очерченный максимализмъ русской интеллигенціи, формально роднящій ее съ образомъ ибсеновскаго Бранда („все или ничего!“), запечатлѣнъ указаннымъ выше противорѣчіемъ, и оно вовсе не носитъ отвлеченнаго характера: его жизненный смыслъ пронизываетъ всю дѣятельность интеллигенціи, объясняетъ всѣ ея политическія перипетіи.

Говорятъ, что анархизмъ и соціализмъ русской интеллигенціи есть своего рода религія. Именно въ вышеуказанномъ максимализмѣ было открыто присутствіе религіознаго начала. Далѣе говорятъ, что анархизмъ и соціализмъ суть лишь особыя формы индивидуализма и такъ же, какъ послѣдній, стремятся къ наибольшей полнотѣ и красотѣ индивидуальной жизни, и въ этомъ, говорятъ, ихъ религіозное содержаніе. Во всѣхъ этихъ и подобныхъ указаніяхъ религія понимается совершенно формально и безъидейно.

Послѣ христіанства, которое учитъ не только подчиненію, но и любви къ Богу, основнымъ неотъемлемымъ элементомъ всякой религіи должна быть, не можетъ не быть вѣра въ спасительную силу и рѣшающее значеніе личнаго

творчества, или, вѣрнѣе, личнаго подвига, осуществляемаго въ согласіи съ волей Божіей. Интересно, что тѣ догматическія представленія новѣйшаго христіанства, которыя, какъ кальвинизмъ и янсенизмъ, доводили до высшаго теоретическаго напряженія идею детерминизма въ ученіи о предопредѣленіи, рядомъ съ ней психологически и практически ставили и проводили идею личнаго подвига. Не можетъ быть религіи безъ идеи Бога и не можетъ быть ея безъ идеи личнаго подвига.

Вполнѣ возможно религіозное отщепенство отъ государства. Таково отщепенство Толстого. Но именно потому, что Толстой религіозенъ, онъ идейно враждебенъ и соціализму, и безрелигіозному анархизму, и стоитъ внѣ русской интеллигенціи.

Основная философская мысль соціализма, идейный стержень, на которомъ онъ держится какъ міровоззрѣніе, есть положеніе о коренной зависимости добра и зла въ человѣкѣ отъ внѣшнихъ условій. Недаромъ основателемъ соціализма является послѣдователь французскихъ просвѣтителей и Бентама Робертъ Оуэнъ, выдвинувшій ученіе объ образованіи человѣческаго характера, отрицающее идею личной отвѣтственности.

Религія такъ, какъ она пріемлема для современнаго человѣка, учитъ, что добро въ человѣкѣ всецѣло зависитъ отъ его свободнаго подчиненія высшему началу. Основная философская мысль всякой религіи, утверждаемой не на страхѣ, а на любви и благоговѣніи—есть „Царство Божіе внутри васъ есть“.

Для религіознаго міросозерцанія не можетъ поэтому быть ничего болѣе дорогого и важнаго, чѣмъ личное самоусовершенствованіе человѣка, на которое соціализмъ принципіально не обращаетъ вниманія[1]).

[1]) Ср. мою статью о Львѣ Толстомъ въ Русской Мысли, августъ 1908 г. (эта статья перепечатывается ниже).

Соціализмъ въ его чисто-экономическомъ ученіи не противорѣчитъ никакой религіи, но онъ, какъ таковое, не есть вовсе религія. Вѣрить („вѣрую, Господи, и исповѣдую“) въ соціализмъ религіозный человѣкъ не можетъ, такъ же, какъ онъ не можетъ вѣрить въ желѣзныя дороги, безпроволочный телеграфъ, пропорціональные выборы.

Воспріятіе русскими передовыми умами западно-европейскаго атеистическаго соціализма—вотъ духовное рожденіе русской интеллигенціи въ очерченномъ нами смыслѣ. Такимъ первымъ русскимъ интеллигентомъ былъ Бакунинъ, человѣкъ, центральная роль котораго въ развитіи русской общественной мысли далеко еще не оцѣнена. Безъ Бакунина не было бы „полѣвѣнія“ Бѣлинскаго, и Чернышевскій не явился бы продолжателемъ цѣлой традиціи общественной мысли. Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева съ Бакунинымъ и Чернышевскимъ для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отдѣляетъ свѣточей русскаго образованнаго класса отъ свѣточей русской интеллигенціи. Новиковъ, Радищевъ, Чаадаевъ—это воистину Богомъ упоенные люди, тогда какъ атеизмъ въ глубочайшемъ философскомъ смыслѣ есть подлинная духовная стихія, которою живутъ и Бакунинъ въ его окончательной роли, и Чернышевскій съ начала и до конца его дѣятельности. Разница между Новиковымъ, Радищевымъ и Чаадаевымъ, съ одной стороны, и Бакунинымъ и Чернышевскимъ, съ другой стороны, не есть просто „историческое“ различіе. Это не звенья одного и того же ряда, это—два по существу непримиримыя духовныя теченія, которыя на всякой стадіи развитія должны вести борьбу.

Въ 60-хъ годахъ съ ихъ развитіемъ журналистики и публицистики „интеллигенція“ явственно отдѣляется отъ образованнаго класса, какъ нѣчто духовно особое. Замѣчательно, что наша національная литература остается об-

ластью, которую интеллигенція не можетъ захватить. Великіе писатели Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Тургеневъ, Достоевскій, Чеховъ не носятъ интеллигентскаго лика. Бѣлинскій великъ совсѣмъ не какъ интеллигентъ, не какъ ученикъ Бакунина, а главнымъ образомъ, какъ истолкователь Пушкина и его національнаго значенія. Даже Герценъ, несмотря на свой соціализмъ и атеизмъ, вѣчно борется въ себѣ съ интеллигентскимъ ликомъ. Вѣрнѣе, Герценъ иногда носитъ какъ бы мундиръ русскаго интеллигента, и расхожденіе его съ дѣятелями 60-хъ годовъ не есть опять-таки просто историческій и исторически-обусловленный фактъ конфликта людей разныхъ формацій культурнаго развитія и общественной мысли, а нѣчто гораздо болѣе крупное и существенное. Чернышевскій по всему существу своему другой человѣкъ, чѣмъ Герценъ. Не просто индивидуально другой, а именно другой духовный типъ.

Въ дальнѣйшемъ развитіи русской общественной мысли Михайловскій, напр., былъ типичный ителлигентъ, конечно, гораздо болѣе тонкаго индивидуальнаго чекана, чѣмъ Чернышевскій, но все-таки съ головы до ногъ интеллигентъ. Совсѣмъ наоборотъ Владиміръ Соловьевъ вовсе не интеллигентъ. Очень мало индивидуально похожій на Герцена Салтыковъ такъ же, какъ онъ, вовсе не интеллигентъ, но тоже носитъ на себѣ, весьма покорно, мундиръ интеллигента. Достоевскій и Толстой каждый по-различному срываютъ съ себя и далеко отбрасываютъ этотъ мундиръ. Между тѣмъ весь русскій либерализмъ—въ этомъ его характерное отличіе отъ славянофильства—считаетъ своимъ долгомъ носить интеллигентскій мундиръ, хотя острая отщепенская суть интеллигента ему совершенно чужда. Загадочный ликъ Глѣба Успенскако тѣмъ и загадоченъ, что его истинное лицо все прикрыто какими-то интеллигентскими масками.

Въ безрелигіозномъ отщепенствѣ отъ государства русской

интеллигенціи—ключъ къ пониманію пережитой и переживаемой нами революціи.

Послѣ пугачевщины и до этой революціи всѣ русскія политическія движенія были движеніями образованной и привилегированной части Россіи. Такой характеръ совершенно явственно присущъ офицерской революціи декабристовъ.

Бакунинъ въ 1862 г. думалъ, что уже тогда началось движеніе, соціальное и политическое, въ самыхъ народныхъ массахъ. Въ какой моментъ началось движеніе, прорвавшееся въ 1905 г. революціей, объ этомъ можно, пожалуй, долго и безконечно спорить, но когда Бакунинъ говорилъ въ 1862 г.: „Многіе разсуждаютъ о томъ, будетъ ли въ Россіи революція или не будетъ, не замѣчая того, что въ Россіи уже теперь революція“, и продолжалъ: „Въ 1863 году быть въ Россіи страшной бѣдѣ, если царь не рѣшится созвать всенародную земскую думу“—то онъ, конечно, не думалъ, что революція затянется болѣе чѣмъ на сорокъ лѣтъ.

Только въ той революціи, которую пережили мы, интеллигентская мысль соприкоснулась съ народной – впервые въ русской исторіи въ такомъ смыслѣ и въ такой формѣ.

Революція бросилась въ атаку на политическій строй и соціальный укладъ самодержавно-дворянской Россіи.

Дата 17 октября 1905 года знаменуетъ собой принципіальное, коренное преобразованіе сложившагося вѣками политическаго строя Россіи. Преобразованіе это произошло чрезвычайно быстро въ сравненіи съ тѣмъ долгимъ предшествующимъ періодомъ, когда вся политика власти была направлена къ тому, чтобы отрѣзать націи всѣ пути къ подготовкѣ и осуществленію этого преобразованія. Переломъ произошелъ въ кратковременную эпоху довѣрія и былъ, конечно, обусловленъ банкротствомъ внѣшней политики стараго порядка.

Быстрота, съ которой разыгралось въ особенности послѣднее дѣйствіе преобразованія, давшее подъ давленіемъ стихійнаго порыва, вдохновлявшаго всеобщую стачку, актъ 17 октября, подѣйствовала опьяняюще на интеллигенцію. Она вообразила себя хозяиномъ исторической сцены и это всецѣло опредѣлило ту „тактику", при помощи которой она приступила къ осуществленію своихъ идей. Общую характеристику этихъ идей мы уже дали. Въ сочетаніи этой тактики съ этими идеями, а вовсе не въ одной тактикѣ—ключъ къ пониманію того, что произошло.

Актомъ 17 октября по существу и формально революція должна была бы завершиться. Невыносимое въ національномъ и государственномъ смыслѣ положеніе вещей до 17 октября состояло въ томъ, что жизнь народа и развитіе государства были абсолютно замкнуты самодержавіемъ въ напередъ установленныя границы. Все, что не только юридически, но и фактически раздвигало или хотя бы угрожало въ будущемъ раздвинуть эти границы, не терпѣлось и подвергалось гоненію. Я охарактеризовалъ и заклеймилъ эту политику въ предисловіи къ заграничному изданію знаменитой записки Витте о самодержавіи и земствѣ. Крушеніе этой политики было неизбѣжно и, въ связи съ усложненіемъ общественной жизни и съ войной, оно совершилось, повторяемъ, очень быстро.

Въ моментъ государственнаго преобразованія 1905 года отщепенскія идеи и отщепенское настроеніе всецѣло владѣли широкими кругами русскихъ образованныхъ людей. Исторически, вѣками слагавшаяся власть должна была пойти на смарку тотчасъ послѣ сдѣланной ею уступки, въ принципѣ рѣшавшей вопросъ о русской конституціи. Рѣчь шла о томъ, чтобы, по подлинному выраженію соціалдемократической публицистики того времени, „послѣднимъ пинкомъ раздавить гадину". И такія заявленія дѣлались тогда, когда

еще не было созвано народное представительство, когда дѣйствительное настроеніе всего народа и, главное, степень его подготовки къ политической жизни, его политическая выдержка никому еще не были извѣстны. Никогда никто еще съ такимъ бездоннымъ легкомысліемъ не призывалъ къ величайшимъ политическимъ и соціальнымъ перемѣнамъ, какъ наши революціонныя партіи и ихъ организаціи въ дни свободы. Достаточно указать на то, что ни въ одной великой революціи идея низверженія монархіи не являлась напередъ выброшеннымъ лозунгомъ. И въ Англіи XVII вѣка, и во Франціи XVIII вѣка ниспроверженіе монархіи получилось въ силу рокового сцѣпленія фактовъ, которыхъ никто не предвидѣлъ, никто не призывалъ, никто не „дѣлалъ".

Недолговѣчная англійская республика родилась, послѣ вѣковъ существованія парламента, въ великой религіозно-политической борьбѣ усиліями людей, вождь которыхъ является, быть можетъ, самымъ сильнымъ и яркимъ воплощеніемъ англійской государственной идеи и поднялъ на небывалую высоту англійскую мощь. Французская монархія пала вслѣдствіе своей чисто политической неподготовленности къ тому государственному перевороту, который она сама начала. А основавшаяся на ея мѣстѣ республика, выкованная въ борьбѣ за національное бытіе, какъ будто явилась только для того, чтобы уступить мѣсто новой монархіи, которая, въ концѣ концовъ, пала въ борьбѣ съ внѣшними врагами. Наполеонъ I создалъ вокругъ себя цѣлую легенду, въ которой его личность тѣсно сплелась съ идеей мощи и величія государства, а возстановленная послѣ его паденія династія была призвана и посажена на престолъ чужеземцами и въ силу этого уже съ самаго начала своей реставраціи была государственно слаба. Но Бурбоны, въ лицѣ Орлеановъ, конечно, вернулись бы на французскій тронъ послѣ 1848 года, если бы ихъ не предупредилъ Наполео-

нидъ, сильный національно-государственнымъ обаяніемъ первой Имперіи. Паденіе же Наполеона III на этой подготовленной къ государственнымъ переворотамъ почвѣ было обусловлено полнымъ, безпримѣрнымъ въ исторіи военнымъ разгромомъ государства. Такъ въ новѣйшей французской исторіи почти въ теченіе пѣлаго столѣтія продолжался политическій круговоротъ отъ республики къ монархіи и обратно, круговоротъ, полный великихъ государственныхъ событій.

Чужой революціонный опытъ даетъ наилучшій комментарій къ нашему русскому. Интеллигенція нашла въ народныхъ массахъ лишь смутные инстинкты, которые говорили далекими голосами, сливавшимися въ какой-то гулъ. Вмѣсто того, чтобы этотъ гулъ претворить систематической воспитательной работой въ сознательные членораздѣльные звуки національной личности, интеллигенція прицѣпила къ этому гулу свои короткія книжныя формулы. Когда гулъ стихъ, формулы повисли въ воздухѣ.

Въ ту борьбу съ исторической русской государственностью и съ „буржуазнымъ“ соціальнымъ строемъ, которая послѣ 17 октября была поведена съ еще большею страстностью и въ гораздо болѣе революціонныхъ формахъ, чѣмъ до 17 октября, интеллигенція внесла огромный фанатизмъ ненависти, убійственную прямолинейность выводовъ и построеній, и ни грана—религіозной идеи.

Религіозность или безрелигіозность интеллигенціи, повидимому, не имѣетъ отношенія къ политикѣ. Однако, только повидимому. Не случайно, что русская интеллигенція, будучи безрелигіозной въ томъ неформальномъ смыслѣ, который мы отстаиваемъ, въ то же время была мечтательна, недѣловита, легкомысленна въ политикѣ. Легковѣріе безъ вѣры, борьба безъ творчества, фанатизмъ безъ энтузіазма, нетерпимость безъ благоговѣнія—словомъ тутъ была и есть

налицо вся форма религіозности безъ ея содержанія. Это противорѣчіе, конечно, свойственно по существу всякому окрашенному матеріализмомъ и позитивизмомъ радикализму. Но ни надъ одной живой исторической силой оно не тяготѣло и не тяготѣетъ въ такой мѣрѣ, какъ надъ русской интеллигенціей. Радикализмъ или максимализмъ можетъ находить себѣ оправданіе только въ религіозной идеѣ, въ поклоненіи и служеніи какому-нибудь высшему началу. Во-первыхъ, религіозная идея способна смягчить углы такого радикализма, его жесткость и жестокость. Но кромѣ того, и это самое важное, религіозный радикализмъ апеллируетъ къ внутреннему существу человѣка, ибо съ религіозной точки зрѣнія проблема внѣшняго устроенія жизни есть нѣчто второстепенное. Поэтому какъ бы рѣшительно ни ставилъ религіозный радикализмъ политическую и соціальную проблему, онъ не можетъ не видѣть въ ней проблемы в о с п и т а н і я человѣка. Пусть воспитаніе это совершается путемъ непосредственнаго общенія человѣка съ Богомъ, путемъ, такъ сказать, надчеловѣческимъ, но все-таки это есть воспитаніе и совершенствованіе человѣка, обращающееся къ нему самому, къ его внутреннимъ силамъ, къ его чувству отвѣтственности.

Наоборотъ, безрелигіозный максимализмъ, въ какой бы то ни было формѣ, отметаетъ проблему воспитанія въ политикѣ и въ соціальномъ строительствѣ, замѣняя его внѣшнимъ устроеніемъ жизни.

Говоря о томъ, что русская интеллигенція идейно отрицала или отрицаетъ личный подвигъ и личную отвѣтственность, мы, повидимому, приходимъ въ противорѣчіе со всей фактической исторіей служенія интеллигенціи народу, съ фактами героизма, подвижничества и самоотверженія, которыми отмѣчено это служеніе. Но это лишь на первый взглядъ. Нужно понять, что фактическое упражненіе самоотвержен-

ности не означаетъ вовсе признанія идеи личной отвѣтственности, какъ начала, управляющаго личной и общественной жизнью. Когда интеллигентъ размышлялъ о своемъ долгѣ передъ народомъ, онъ никогда не додумывался до того, что выражающаяся въ началѣ долга идея личной отвѣтственности должна быть адресована не только къ нему, интеллигенту, но и къ народу, т.-е. ко всякому лицу, независимо отъ его происхожденія и соціальнаго положенія. Аскетизмъ и подвижничество интеллигенціи, полагавшей свои силы на служеніе народу, несмотря на всю свою привлекательность, были, такимъ образомъ, лишены принципіальнаго моральнаго значенія и воспитательной силы.

Это обнаружилось съ полною ясностью въ революціи. Интеллигентская доктрина служенія народу не предполагала никакихъ обязанностей у народа и не ставила ему самому никакихъ воспитательныхъ задачъ. А такъ какъ народъ состоитъ изъ людей, движущихся интересами и инстинктами, то, просочившись въ народную среду, интеллигентская идеологія должна была дать вовсе не идеалистическій плодъ. Народническая, не говоря уже о марксистской, проповѣдь въ исторической дѣйствительности превращалась въ разнузданіе и деморализацію.

Внѣ идеи воспитанія въ политикѣ есть только двѣ возможности: деспотизмъ или охлократія. Предъявляя самыя радикальныя требованія, во имя ихъ призывая народъ къ дѣйствіямъ, наша радикальная интеллигенція совершенно отрицала воспитаніе въ политикѣ и ставила на его мѣсто возбужденіе. Но возбужденіе быстро сыграло свою роль и не могло больше ничего дать. Когда оно спало, моментъ былъ пропущенъ, и воцарилась реакція. Дѣло, однако, вовсе не въ томъ только, что пропущенъ былъ моментъ.

Въ настоящее время отвратительное торжество реакціи побуждаетъ многихъ забывать или замалчивать ошибки пе-

режитой нами революціи. Не можетъ быть ничего болѣе опаснаго, чѣмъ такое забвеніе, ничего болѣе легкомысленнаго, чѣмъ такое замалчиваніе. Такому отношенію, которое нельзя назвать иначе, какъ политическимъ импрессіонизмомъ, необходимо противопоставить подымающійся надъ впечатлѣніями текущаго момента анализъ моральнаго существа того политическаго кризиса, черезъ который прошла страна со своей интеллигенціей во главѣ.

Чѣмъ вложились народныя массы въ этотъ кризисъ? Тѣмъ же, чѣмъ они влагались въ революціонное движеніе XVII и XVIII вѣковъ, своими соціальными страданіями и стихійно выраставшими въ нихъ соціальными требованіями, своими инстинктами, аппетитами и ненавистями. Религіозныхъ идей не было никакихъ. Это была почва, чрезвычайно благодарная для интеллигентскаго безрелигіознаго радикализма, и онъ началъ оперировать на этой почвѣ съ увѣренностью, достойною лучшаго примѣненія.

Прививка политическаго радикализма интеллигентскихъ идей къ соціальному радикализму народныхъ инстинктовъ совершилась съ ошеломляющей быстротой. Въ томъ, какъ легко и стремительно стала интеллигенція на эту стезю политической и соціальной революціонизаціи изстрадавшихся народныхъ массъ, заключалась не просто политическая ошибка, не просто грѣхъ тактики. Тутъ была ошибка моральная. Въ основѣ тутъ лежало представленіе, что „прогрессъ“ общества можетъ быть не плодомъ совершенствованія человѣка, а ставкой, которую слѣдуетъ сорвать въ исторической игрѣ, апеллируя къ народному возбужденію.

Политическое легкомысліе и недѣловитость присоединились къ этой основной моральной ошибкѣ. Если интеллигенція обладала формой религіозности безъ ея содержанія, то ея „позитивизмъ“, наоборотъ, былъ чѣмъ-то со-

*

вершенно безформеннымъ. То были „положительныя“, „научныя“ идеи безъ всякой истинной положительности, безъ знанія жизни и людей, „эмпиризмъ“ безъ опыта, „раціонализмъ“ безъ мудрости и даже безъ здраваго смысла.

Революцію дѣлали плохо. Въ настоящее время съ полною ясностью раскрывается, что въ этомъ дѣланіи революціи играла роль ловко инсценированная провокація. Это обстоятельство, однако, только ярко иллюстрируетъ поразительную недѣловитость революціонеровъ, ихъ практическую безпомощность, но не въ немъ суть дѣла. Она не въ томъ, к а к ъ дѣлали революцію, а въ томъ, что ее вообще д ѣ л а л и. Дѣлали революцію въ то время, когда задача состояла въ томъ, чтобы всѣ усилія сосредоточить на политическомъ воспитаніи и самовоспитаніи. Война раскрыла глаза народу, пробудила національную совѣсть, и это пробужденіе открывало для работы политическаго воспитанія такія широкія возможности, которыя обѣщали самые обильные плоды. И вмѣсто этого что же мы видѣли? Двѣ всеобщія стачки съ революціоннымъ взвинчиваніемъ рабочихъ массъ (совѣтъ рабочихъ депутатовъ!), рядъ военныхъ бунтовъ, безсмысленныхъ и жалкихъ, московское возстаніе, которое было гораздо хуже, чѣмъ оно представилось въ первый моментъ, бойкотъ выборовъ въ первую думу и подготовка (при участіи провокаціи!) дальнѣйшихъ вооруженныхъ возстаній, разразившихся уже послѣ роспуска Государственной Думы. Все это должно было терроризировать и, въ концѣ концовъ, смести власть. Власть была, дѣйствительно, терроризирована. Явились военно-полевые суды и безконечныя смертныя казни. И затѣмъ государственный испугъ превратился въ нормальное политическое состояніе, въ которомъ до сихъ поръ пребываетъ власть, въ которомъ она осуществила измѣненіе избирательнаго

закона. Теперь потребуются годы, чтобы сдвинуть страну съ этой мертвой точки.

Итакъ, безрелигіозное отщепенство отъ государства, характерное для политическаго міровоззрѣнія русской интеллигенціи, обусловило и ея моральное легкомысліе, и ея недѣловитость въ политикѣ.

Что же слѣдуетъ изъ такого діагноза болѣзни? Прежде всего—и это я уже подчеркнулъ выше,—вытекаетъ то, что недугъ заложенъ глубоко, что смѣшно, разсуждая о немъ, говорить о политической тактикѣ. Интеллигенціи необходимо пересмотрѣть все свое міросозерцаніе и въ томъ числѣ подвергнуть коренному пересмотру его главный устой—то соціалистическое отрицаніе личной отвѣтственности, о которомъ мы говорили выше. Съ вынутіемъ этого камня—а онъ долженъ быть вынутъ—рушится все зданіе этого міросозерцанія.

При этомъ самое положеніе „политики“ въ идейномъ кругозорѣ интеллигенціи должно измѣниться. Съ одной стороны она перестанетъ быть той изолированной и независимой отъ всей прочей духовной жизни областью, которою она была до сихъ поръ. Ибо въ основу и политики ляжетъ идея не внѣшняго устроенія общественной жизни, а внутренняго совершенствованія человѣка. А, съ другой стороны, господство надъ всей прочей духовной жизнью независимой отъ нея политики должно кончиться.

Къ политикѣ въ умахъ русской интеллигенціи установилось въ концѣ концовъ извращенное и въ корнѣ противорѣчивое отношеніе. Сводя политику къ внѣшнему устроенію жизни—чѣмъ она съ технической точки зрѣнія на самомъ дѣлѣ и является,—интеллингенція въ то же время видѣла въ политикѣ альфу и омегу всего бытія своего и народнаго (я беру тутъ политику именно въ широкомъ смыслѣ внѣшняго общественнаго устроенія жизни). Такимъ

образомъ, ограниченное средство превращалось во всеобъемлющую цѣль,—явное, хотя и постоянно въ человѣческомъ обиходѣ встрѣчающееся извращеніе соотношенія между средствомъ и цѣлью.

Подчиненіе политики идеѣ воспитанія вырываетъ ее изъ той изолированности, на которую политику необходимо обрекаетъ „внѣшнее“ ея пониманіе.

Нельзя политику, такъ понимаемую, свести просто къ состязанію общественныхъ силъ, напр., къ борьбѣ классовъ, рѣшаемой въ концѣ концовъ физическимъ превосходствомъ. Съ другой стороны, при такомъ пониманіи невозможно политикѣ во внѣшнемъ смыслѣ подчинять всю духовную жизнь.

Воспитаніе, конечно, можетъ быть понимаемо тоже во внѣшнемъ смыслѣ. Его такъ и понимаетъ тотъ соціальный оптимизмъ, который полагаетъ, что человѣкъ всегда готовъ, всегда достаточно созрѣлъ для лучшей жизни, и что только неразумное общественное устройство мѣшаетъ ему проявить уже имѣющіяся налицо свойства и возможности. Съ этой точки зрѣнія „общество“ есть воспитатель, хорошій или дурной, отдѣльной личности. Мы понимаемъ воспитаніе совсѣмъ не въ этомъ смыслѣ „устроенія“ общественной среды и ея педагогическаго воздѣйствія на личность. Это есть „соціалистическая“ идея воспитанія, не имѣющая ничего общаго съ идеей воспитанія въ религіозномъ смыслѣ. Воспитаніе въ этомъ смыслѣ совершенно чуждо соціалистическаго оптимизма. Оно вѣритъ не въ устроеніе, а только въ творчество, въ положительную работу человѣка надъ самимъ собой, въ борьбу его внутри себя во имя творческихъ задачъ...

Русская интеллигенція, отрѣшившись отъ безрелигіознаго государственнаго отщепенства, перестанетъ существо-

вать, какъ нѣкая особая культурная категорія. Сможетъ ли она совершить огромный подвигъ такого преодолѣнія своей нездоровой сущности? Отъ рѣшенія этого вопроса зависятъ въ значительной мѣрѣ судьбы Россіи и ея культуры. Можно ли дать на него какой-нибудь опредѣленный отвѣтъ въ настоящій моментъ? Это очень трудно, но нѣкоторыя данныя для отвѣта все-таки имѣются.

Есть основаніе думать, что измѣненіе произойдетъ изъ двухъ источниковъ и будетъ носить соотвѣтственно этому двоякій характеръ. Во-первыхъ, въ процессѣ экономическаго развитія интеллигенція „обуржуазится“, т.-е. въ силу процесса соціальнаго приспособленія примирится съ государствомъ и органически-стихійно втянется въ существующій общественный укладъ, распредѣлившись по разнымъ классамъ общества. Это, собственно, не будетъ духовнымъ переворотомъ, а именно лишь приспособленіемъ духовной физіономіи къ данному соціальному укладу. Быстрота этого процесса будетъ зависѣть отъ быстроты экономическаго развитія Россіи и отъ быстроты переработки всего ея государственнаго строя въ конституціонномъ духѣ.

Но можетъ наступить въ интеллигенціи настоящій духовный переворотъ, который явится результатомъ борьбы идей. Только этотъ переворотъ и представляетъ для насъ интересъ въ данномъ случаѣ. Какой гороскопъ можно поставить ему?

Въ интеллигенціи началось уже глубокое броженіе, зародились новыя идеи, а старыя идейныя основы поколеблены и скомпрометированы. Процессъ этотъ только что еще начался, и какіе успѣхи онъ сдѣлаетъ, на чемъ онъ остановится, въ настоящій моментъ еще нельзя сказать. Но и теперь уже можно сказать, что поскольку русская идейная жизнь связана съ духовнымъ развитіемъ другихъ, дальше насъ ушедшихъ странъ, процессы, въ нихъ происходящіе,

не могутъ не отражаться на состояніи умовъ въ Россіи. Русская интеллигенція, какъ особая культурная категорія, есть порожденіе взаимодѣйствія западнаго соціализма съ особенными условіями нашего культурнаго, экономическаго и политическаго развитія. До рецепціи соціализма въ Россіи русской интеллигенціи не существовало, былъ только „образованный классъ“ и разныя въ немъ направленія.

Для духовнаго развитія Запада нѣтъ въ настоящую эпоху процесса болѣе знаменательнаго и чреватаго послѣдствіями, чѣмъ кризисъ и разложеніе соціализма. Соціализмъ, разлагаясь, поглощается соціальной политикой. Бентамъ побѣдилъ Сенъ-Симона и Маркса. Послѣднее усиліе спасти соціализмъ—синдикализмъ—есть, съ одной стороны, попытка романтическаго возрожденія соціализма, откровеннаго возведенія его къ стихійнымъ, ирраціональнымъ началамъ, а съ другой стороны онъ означаетъ столь же откровенный призывъ къ варварству. Совершенно ясно, что это усиліе безсильно и безплодно. При такихъ условіяхъ соціализмъ врядъ ли можетъ оставаться для тѣхъ элементовъ русскаго общества, которые составляютъ интеллигенцію, живой водой ихъ духовно-общественнаго бытія [1]).

Самый кризисъ соціализма на Западѣ потому не выступаетъ такъ ярко, что тамъ нѣтъ интеллигенціи. Нѣтъ на Западѣ того чувствилища, которое представляетъ интеллигенція. Поэтому по Россіи кризисъ соціализма въ идейномъ смыслѣ долженъ ударить съ большей силой, чѣмъ по другимъ странамъ. Въ этомъ кризисѣ встаютъ тѣ же самыя проблемы, которыя лежатъ въ основѣ русской революціи и ея перипетій. Но, если наша „интеллигенція“ можетъ быть болѣе чувствительна къ кризису соціализма, чѣмъ „запад-

---

[1]) См. мою статью Facies hippocratica въ Русской Мысли 1907, октябрь [Эта статья ниже перепечатывается].

ные“ люди, то съ другой стороны самый кризисъ у насъ и для насъ прикрытъ нашей злосчастной „политикой“, возрожденіемъ недобитаго абсолютизма и разгуломъ реакціи. На Западѣ принципіальное значеніе проблемъ и органическій характеръ кризиса гораздо яснѣе.

Такой идейный кризисъ нельзя лѣчить ни ромашкой тактическихъ директивъ, ни успокоительнымъ режимомъ безъидейной культурной работы. Намъ нужна, конечно, упорная работа надъ культурой. Но именно для того, чтобы въ ней не потеряться, а устоять, нужны идеи, творческая борьба идей.

Интеллигенція и народное хозяйство. [1)]

Все перечувствованное и передуманное за послѣднія 5 лѣтъ, весь этотъ огромный продѣланный нами историческій опытъ требуетъ, чтобы мы его осмыслили.

Было бы ошибочно думать, что мы пережили только „политическіе“ годы и нуждаемся только въ политическомъ поученіи, въ политическихъ выводахъ. Болѣе того, можно сказать, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ чисто политическая точка зрѣнія пока безплодна. Безплодна потому, что, какъ ни ясны нѣкоторыя политическія цѣли, никто не можетъ пока указать ясныхъ политическихъ путей къ этимъ цѣлямъ. Сравнительно съ до-октябрьскимъ прошлымъ Россія сдѣлала огромный принципіальный шагъ впередъ въ политическомъ отношеніи. Но сдѣлавъ этотъ шагъ, она очутилась передъ культурными проблемами, которыя, казалось, были оттѣснены на задній планъ политическимъ вопросомъ. Если прежде можно было сказать—и, по крайней мѣрѣ, психологически это было вѣрно,—что никакой культурный прогрессъ невозможенъ безъ рѣшительнаго, принципіальнаго политическаго разрыва съ прошлымъ,—то теперь такъ

[1)] Слово отъ 16-го ноября 1908 г. и Русская Мысль 1908, декабрь.

же рѣшительно можно утверждать, что никакой политическій шагъ впередъ невозможенъ внѣ культурнаго прогресса; безъ такого прогресса всякое политическое завоеваніе будетъ призракомъ, будетъ висѣть въ воздухѣ.

Изъ фатальнаго круга двухъ основныхъ политическихъ положеній: 1) необходима конституція, прочный правовой порядокъ и 2) правительство, которое въ политическомъ смыслѣ держитъ въ своихъ рукахъ положеніе, ведетъ всякую иную, только не конституціонно-зиждительную и конституціонно-консервативную политику, оно—плѣнникъ и исполнительный органъ реакціи,—изъ этого фатальнаго круга самого по себѣ невозможно извлечь ничего положительнаго. Все свести къ критикѣ правительства, значило бы безмѣрно преувеличивать значеніе даннаго правительства и власти вообще: источникъ неудачъ, разочарованій и пораженій, постигшихъ Россію, лежитъ гораздо глубже. Даже если бы какимъ-нибудь чудомъ политическій вопросъ оказался разрѣшеннымъ, рѣшеніе его лишь болѣе выпукло выдвинуло бы значеніе другой, болѣе глубокой задачи. Это значитъ: общество должно задуматься надъ самимъ собой. Мы переживаемъ идейный кризисъ, и его надо себѣ осмыслить во всемъ его національномъ значеніи.

Потерпѣло крушеніе цѣлое міросозерцаніе, которое оказалось несостоятельнымъ. Основами этого міросозерцанія были двѣ идеи или, вѣрнѣе, сочетаніе двухъ идей: 1) идеи личной безотвѣственности и 2) идеи равенства. Примѣненіе этихъ идей къ общественной жизни заполнило и окрасило собой нашу революцію.

И тутъ прежде всего вниманіе останавливается на судьбахъ русскаго народнаго хозяйства. Въ основѣ всякаго экономическаго прогресса лежитъ вытѣсненіе менѣе производительныхъ общественно-экономическихъ системъ болѣе производительными. Это не общее мѣсто, а очень тяжело-

вѣсная истина. Ее нельзя и не слѣдуетъ понимать „матеріалистически", какъ дѣлаетъ школьный марксизмъ. Болѣе производительная система не есть нѣчто мертвое, лишенное духовности. Большая производительность всегда опирается на болѣе высокую личную годность. А личная годность есть совокупность опредѣленныхъ духовныхъ свойствъ: выдержки, самообладанія, добросовѣстности, расчетливости. Прогрессирующее общество можетъ быть построено только на идеѣ личной годности, какъ основѣ и мѣрилѣ всѣхъ общественныхъ отношеній. Если въ идеѣ свободы и своеобразія личности былъ заключенъ вѣчный идеалистическій моментъ либерализма, то въ идеѣ личной годности передъ нами вѣчный реалистическій моментъ либеральнаго міросозерцанія.

Идею годности англичане выражаютъ словомъ: efficiency, нѣмцы—словомъ Tüchtigkeit. Французъ просто скажетъ: force и будетъ правъ. Ибо годность—сила.

Въ русской революціи идея личной годности была совершенно погашена. Она была утоплена въ идеѣ равенства безотвѣтственныхъ личностей. Идея личной безотвѣтственности есть прямая противоположность идеѣ личной годности. Я требую того-то и того-то, совершенно независимо отъ того, могу ли я оправдать это требованіе своимъ личнымъ поведеніемъ, во имя равенства всѣхъ людей—говоритъ идея личной безотвѣтственности. Я требую того-то и того-то, и берусь оправдать это требованіе своимъ личнымъ поведеніемъ—говоритъ идея личной годности. Эти противоположенія могутъ показаться отвлеченными, но мы съ болью въ сердцѣ наблюдали и наблюдаемъ ихъ значеніе въ русской дѣйствительности.

Я нарочно не употребляю слова: „соціализмъ", хотя идея безотвѣтственнаго равенства часто проповѣдывалась и проповѣдуется и на Западѣ, и у насъ подъ этой популяр-

ной кличкой, въ которую каждый влагаетъ свой смыслъ. Дѣло тутъ въ идеяхъ, не какъ отвлеченныхъ построеніяхъ, а какъ живыхъ силахъ. Если идея личной годности есть идея „буржуазная“, то я утверждаю, что всякій хорошій европейскій рабочій—органическій „буржуа“, который въ своемъ поведеніи такъ же не можетъ отрѣшиться отъ этой идеи, какъ человѣкъ вообще не можетъ разучиться передвигаться на двухъ ногахъ.

Русская интеллигенція воспиталась на идеѣ безотвѣтственнаго равенства. И потому она никогда неспособна была понимать самаго существа экономическаго развитія общества. Ибо экономическій прогрессъ общества основанъ на торжествѣ болѣе производительной хозяйственной системы надъ менѣе производительной, а элементомъ болѣе производительной системы является всегда человѣческая личность, отмѣченная болѣе высокой степенью годности.

Такъ, русская интеллигенція въ ея цѣломъ не понимала и до сихъ поръ не понимаетъ значенія и смысла промышленнаго капитализма. Она видѣла въ немъ только „неравное распредѣленіе“, „хищничество“ или „хапаніе“ и не видѣла въ его торжествѣ побѣды болѣе производительной системы, не понимала его роли въ процессѣ хозяйственнаго воспитанія и самовоспитанія общества. Подчеркивая это, я повторяю то, на чемъ я настаивалъ около 15 лѣтъ тому назадъ въ своихъ „Критическихъ Замѣткахъ“. Но слѣдуетъ откровенно сказать: проповѣдь и успѣхи марксизма въ этомъ пунктѣ по существу прошли почти безслѣдно для русской интеллигентской мысли. Болѣе того, самый марксизмъ въ своемъ широкомъ общественномъ выраженіи, въ русской соціалъ-демократіи, оказался лишь особой перелицовкой стараго народничества.

Въ томъ, о чемъ я говорю, я вижу одинъ изъ глубокихъ идейныхъ корней тѣхъ неудачъ, которыя постигли наше

общественное движеніе. Значеніе того, какъ думаетъ интеллигенція, чрезвычайно велико. О томъ, что между народомъ и интеллигенціей существуетъ идейная пропасть, въ настоящее время могутъ говорить только черносотенцы или тѣ черносотенцы на-изнанку, которые, повидимому, рекрутируются изъ бывшихъ декадентскихъ круговъ. Замѣчательный историческій и соціологическій урокъ русской революціи заключается именно въ томъ, что она показала, съ какой легкостью закрылась эта пресловутая „пропасть“: идеи интеллигенціи поразительно быстро проникли въ народныя массы и дѣйственно заразили ихъ. Въ силу этого отвѣтственность интеллигенціи за свое „умоначертаніе“ чрезвычайно велика. Оно перестало быть просто интеллигентскимъ дѣломъ.

Для того, чтобы не оставалось никакого недоразумѣнія, я, долженъ сказать что, на мой взглядъ, въ основѣ столкновеній общественно-экономическихъ міросозерцаній лежатъ различныя религіозныя міросозерцанія. Въ основѣ нашего интеллигентскаго экономическаго міросозерцанія можетъ лежать либо тотъ безрелигіозный механическій раціонализмъ, изъ котораго выросла доктрина западноевропейскаго соціализма, своего рода общественный атеизмъ, либо то религіозное народничество, самымъ яркимъ выразителемъ котораго является Левъ Толстой и для котораго идеалъ человѣка—„Иванушка дурачокъ“. Оба эти, рѣзко, до враждебности различныя міровоззрѣнія сходятся въ одномъ, что они не уважаютъ и не любятъ въ человѣкѣ „силы“ и не различаютъ въ людяхъ „качества“, т.-е. именно того, въ чемъ суть идеи личной годности.

***

Для тѣхъ, кто стоитъ на этой идеѣ, имѣющей, по моему глубочайшему убѣжденію, религіозный корень, должно

быть ясно, что русская интеллигенція нуждается въ коренной перестройкѣ всего своего общественно-экономическаго міровоззрѣнія. Я думаю, что такая перестройка уже совершается.

Этотъ идейный процессъ не можетъ не имѣть огромнаго реальнаго значенія. Рядомъ съ тѣмъ тупикомъ, въ который зашла интеллигентская мысль, съ тѣмъ кризисомъ, который она переживаетъ—встаетъ другой кризисъ, это—тотъ кризисъ, въ которомъ находится все наше народное хозяйство. Помимо причинъ случайныхъ и временныхъ—кризисъ этотъ обусловливается, въ концѣ концовъ, недостаточной производительностью народнаго труда. Если главный идейный дефектъ интеллигенціи состоитъ въ неуваженіи къ идеѣ производительности, то ясно, что этотъ дефектъ можетъ только подчеркивать и обострять жалкое положеніе народнаго хозяйства, движущей силой котораго могутъ быть только человѣкъ и его духъ.

Выходъ изъ этого положенія заключается въ коренномъ принципіальномъ, идейномъ измѣненіи отношенія интеллигенціи къ производительному процессу въ обществѣ. Въ особенности это вѣрно по отношенію къ промышленности, которая и у насъ въ цѣломъ уже давно сложилась въ капиталистическія формы. Интеллигенція, какъ таковая, иногда по найму служитъ производству, но въ общественномъ смыслѣ она всегда разсматривала и разсматриваетъ до сихъ поръ этотъ процессъ только подъ угломъ зрѣнія „распредѣленія“ или „потребленія“. Она остается не только чуждой, но, въ сущности, враждебной его творческой, активной сторонѣ, тому, что въ немъ есть „производство“, т.-е. созданіе благъ и приращеніе цѣнностей, питаніе и совершенствованіе хозяйства.

Она должна понять, что производительный процессъ есть не „хищничество“, а творчество самыхъ основъ культуры

Съ другой стороны, практическіе, экономически отвѣтственные дѣятели этого процесса, занимающіе въ немъ „хозяйское“ положеніе, не могутъ мыслить себя просто какъ представители групповыхъ или классовыхъ интересовъ. Интересъ имѣетъ лишь постольку оправданіе, отстаиваніе его есть лишь постольку культурное дѣло, поскольку въ основѣ самаго интереса лежитъ извѣстное общественное служеніе, осуществленіе извѣстной функціи, имѣющей творческое значеніе для общества въ его цѣломъ.

Въ возбужденіи той основной для всей общественной жизни функціи, которую выполняетъ національное производство, въ окрыленіи ея широкими идеями и перспективами состоитъ, на мой взглядъ, самая настоятельная задача современности. Безъ осуществленія этой задачи не возможное оздоровленіе національной жизни.

Къ этой задачѣ нельзя подступиться ни съ идеей безотвѣтственнаго равенства, ни съ идеей классовой борьбы, ни съ идеей опеки, осуществляемой надъ обществомъ стоящею в н ѣ этого общества властью. Ей соотвѣтствуютъ только идея и идеалъ наивысшей производительности и ея основы—наивысшей личной годности.

Развитіе производительныхъ силъ страны должно быть понято и признано, какъ національный идеалъ и національное служеніе. Развитіе это можетъ осуществляться только на основѣ свободной дисциплины труда, немыслимой внѣ идеи личной годности.

При свѣтѣ этихъ общихъ идей задача экономическаго оздоровленія Россіи, не теряя нисколько связи съ реальными условіями русской жизни, не можетъ не явиться задачей въ высокой степени идеальной и идеалистической. И этотъ двойной характеръ—реальный и идеальный—она должна сохранять. Хозяйственную жизнь страны нельзя, конечно, строить на отвлеченныхъ идеяхъ, лишенныхъ

связи съ жизнью и игнорирующихъ даже человѣческую природу. Но, съ другой стороны, окрылить общество и явиться творческой силой можетъ только широкая, истинно-національная и истинно-государственная задача, въ осуществленіи которой реальные личные и групповые интересы сливались бы въ національное служеніе.

Интеллигенція и національное лицо. [1])

„Инцидентъ“ съ г. Чириковымъ признанъ „исчерпаннымъ“ (см. „Нашу Газету“ отъ 8 марта). Самъ по себѣ онъ мало интересенъ и будетъ, вѣроятно, скоро забытъ. Но этотъ случай показалъ, что нѣчто поднялось въ умахъ, проснулось и не успокоится. Это проснувшееся требуетъ. чтобы съ нимъ считались и посчитались.

Это нѣчто есть національное лицо.

Есть Россійская Имперія и есть русскій народъ.

Русскую „интеллигенцію“ упрекаютъ и обвиняютъ—и пишущій эти сроки принадлежалъ къ самымъ рѣшительнымъ обвинителямъ—въ томъ, что въ ней слабо развитъ „государственный“ смыслъ. Это вѣрно вообще, но въ одномъ отношеніи въ русской интеллигенціи „государственное“ рѣшительно возобладало надъ „національнымъ“. Не знаменательно ли, что рядомъ съ „Россійской Имперіей“, съ этимъ въ глазахъ всѣхъ радикально мыслящихъ официальнымъ, казеннымъ чудовищемъ-Левіаѳаномъ, есть тоже „россійская“—соціалъ-демократическая рабочая партія. Не русская, а именно „россійская“. Ни одинъ русскій иначе, какъ

[1]) Слово отъ 10 марта 1909 г.

слегка иронически, не скажетъ про себя, что онъ, „россійскій“ человѣкъ, а цѣлая и притомъ наирадикальнѣйшая партія примѣнила къ себѣ это оффиціальное, ультра-„государственное“, ультра-„имперское“ обозначеніе. Это что нибудь да значитъ. Это значитъ: она хочетъ быть безразлична, безцвѣтна, безкровна въ національномъ отношеніи.

Вотъ чего—во имя государственности!—захотѣла русская интеллигенція.

Я не буду ставить здѣсь проблемы національнаго государства. Меня сейчасъ интересуетъ не эта сложная и громадная проблема.

Для меня важно сейчасъ подчеркнуть, что—ради идеала человѣчной, справедливой и разумной государственности—русская интеллигенція обезцвѣчиваетъ себя въ „россійскую“. Этотъ космополитизмъ очень „государственень“, ибо „инородцевъ“ нельзя ни физически истребить, ни упразднить, какъ таковыхъ, т. е. нельзя сдѣлать „русскими“, а можно лишь воспріять въ единое „россійское“ лоно и въ немъ упокоить. Но позвольте мнѣ, убѣжденному сторонніку „государственности“, возстать противъ обнаруживающейся въ этомъ случаѣ чрезмѣрности культа государственнаго начала. Позвольте мнѣ сказать, что такъ же, какъ не слѣдуетъ заниматься „обрусеніемъ“ тѣхъ, кто не желаетъ „русѣть“, такъ же точно намъ самимъ не слѣдуетъ с е б я „оброссіивать“. Прошу прощенія за это варварское слово, но его нужно было выдумать, ибо на самомъ дѣлѣ интеллигенція давно „оброссіиваетъ“ себя, т. е. занимается тѣмъ, что—во имя своего государственнаго идеала—безнужно и безплодно прикрываетъ свое національное лицо.

Безнужно и безплодно, ибо его нельзя прикрыть.

Когда-то думали, что національность есть раса, т. е. цвѣтъ кожи, ширина носа („носовой указатель“) и т. п.

Но національность есть нѣчто гораздо болѣе несомнѣнное и въ то же время тонкое. Это духовныя притяженія и отталкиванія, и для того, чтобы осознать ихъ, не нужно прибѣгать ни къ антропометрическимъ приборамъ, ни къ генеалогическимъ разысканіямъ. Они живутъ и трепещутъ въ душѣ.

Можно и нужно бороться противъ того, что въ холодныя и безстрастныя велѣнія закона, которыя должны быть основаны на государственномъ началѣ правового равенства, вторгаются и ихъ суровый строй нарушаютъ эти притяженія и отталкиванія.

Это само собой понятно.

Но „государственная" справедливость не требуетъ отъ насъ „національнаго" безразличія. Притяженія и отталкиванія принадлежатъ намъ, они наше собственное достояніе, въ которомъ мы вольны, мы всѣ, въ комъ есть органическое чувство національности, какова бы она ни была. И я не вижу ни малѣйшихъ основаній для того, чтобы отказываться отъ этого достоянія, въ угоду кому-либо и чему-либо. Даже въ угоду государственному началу.

Необходимо размежевать эти двѣ области: область правовую и государственную, съ одной стороны, и, съ другой стороны, ту область, въ которой правомѣрно дѣйствуютъ національныя притяженія и отталкиванія. Спеціально въ еврейскомъ вопросѣ это и очень легко, и очень трудно Очень легко, потому что еврейскій вопросъ формально есть вопросъ правовой, вопросъ простой государственной справедливости. Очень трудно, потому что сила отталкиванія отъ еврейства въ самыхъ различныхъ слояхъ русскаго населенія фактически очень велика и нужна большая моральная и логическая ясность для того, чтобы, несмотря на это отталкиваніе, бозповоротно рѣшить правовой вопросъ. Но трудность не только въ этомъ. При всей силѣ

отталкиванія отъ еврейства широкихъ слоевъ русскаго населенія,—изъ всѣхъ „инородцевъ“ евреи всѣхъ намъ ближе, всего тѣснѣе съ нами связаны.

Это культурно-историческій парадоксъ, но это такъ. Русская интеллигенція всегда считала евреевъ своими, русскими и—не случайно, не даромъ, не по „недоразумѣнію“. Сознательная иниціатива отталкиванія отъ русской культуры, утвержденія еврейской „національной“ особности принадлежитъ не русской интеллигенціи, а тому еврейскому движенію, которое извѣстно подъ названіемъ сіонизма. Пусть оно порождено юридическимъ положеніемъ евреевъ въ Россіи, но это фактъ. Я не сочувствую нисколько сіонизму, но я понимаю, что проблема „еврейской“ національности существуетъ, что она, есть, пожалуй, въ настоящее время даже растущая проблема. А въ то же время нѣтъ въ Россіи другихъ „инородцевъ“, которые играли бы въ русской культурѣ такую роль какую играютъ евреи. И еще другая трудность: они играютъ ее, оставаясь евреями. Неоспорима роль нѣмцевъ въ русской культурѣ и, въ особенности, въ русской наукѣ. Но нѣмцы, оплодотворяя русскую культуру, безъ остатка растворялись и растворяются въ ней, не индивидуально, а именно въ культурномъ смыслѣ. Не то евреи, если въ самомъ дѣлѣ есть еврейская „національность“, какъ утверждаютъ сіонисты. Допустимъ, что Брюлловъ былъ великимъ живописцемъ (въ чемъ я сомнѣваюсь). Можно спорить о томъ, какая національность, нѣмецкая или русская, вправѣ претендовать на эту честь, но совсѣмъ не тотъ смыслъ имѣетъ вопросъ, былъ ли Левитанъ русскимъ или еврейскимъ живописцемъ. Если бы я даже былъ „антисемитомъ“ и если бы конгрессъ сіонистовъ соборне и оффиціально провозгласилъ его еврейскимъ художникомъ, я бы продолжалъ твердить: а всетаки Левитанъ былъ р у с с к і й (не „россійскій“!) художникъ. И хотя

я вовсе не антисемитъ, я скажу: Левитана я люблю именно за то, что онъ русскій художникъ. Можетъ быть есть великіе еврейскіе художники, но они въ моей душѣ не шевелятъ и не могутъ шевелить ничего такого, что въ ней подымаетъ Левитанъ.

Эти чувства, національныя русскія чувства, которыя связываютъ меня съ Левитаномъ и могутъ меня отталкивать отъ г. Шолома Аша (съ произведеніями котораго я, впрочемъ, совершенно незнакомъ, и который есть для меня одно лишь „имя"), не имѣютъ ничего общаго съ вопросами о чертѣ осѣдлости и о процентѣ еврейскихъ студентовъ. И это нужно понять.

Я и всякій другой русскій, мы имѣемъ право на эти чувства, право на наше національное лицо.

Чѣмъ яснѣе это будетъ понято и нами русскими, и представителями нерусскихъ національностей, тѣмъ меньше въ будущемъ предстоитъ недоразумѣній. Рѣшеніе національныхъ вопросовъ можетъ быть основано лишь на моральныхъ и политическихъ принципахъ и не должно зависѣть отъ чувствъ.

Въ тяжелыхъ испытаніяхъ послѣднихъ лѣтъ выростаетъ наше національное русское чувство, оно преобразилось, усложнилось и утончилось, но въ то же время возмужало и окрѣпло. Не пристало намъ хитрить съ нимъ и прятать наше лицо [1]).

---

[1]) (Приписка 1910 г. Статья эта вызвала довольно много откликовъ въ печати. На два изъ нихъ я отвѣчалъ въ печатаемыхъ ниже полемитическихъ замѣткахъ).

Полемическіе зигзаги и несвоевременная правда. [1])

Моя статья „Интеллигенція и національное лицо“ вызвала отвѣтную статью П. Н. Мюлюкова. Къ сожалѣнію, въ этой статьѣ нѣтъ ни малѣйшаго обсужденія вопроса по существу, есть лишь туманныя психологическія сближенія и догадки, которыя я долженъ отклонить, и столь же туманныя соціологическія пророчества, въ которыя я не могу увѣровать. „Національное лицо“, съ которымъ, по моему мнѣнію, „не пристало хитрить“ которое не слѣдуетъ „прятать“, психологически сближается съ лицомъ какихъ-то, очевидно, крайне правыхъ изувѣровъ, которыхъ г. Милюковъ видѣлъ недавно на трибунѣ Государственной Думы.

Впрочемъ, П. Н. Милюковъ только „боится“, что „національное лицо“, о которомъ я говорю, „будетъ больше походить на изнанку“, и затѣмъ успокаиваетъ своихъ читателей словами—„конечно, нѣтъ“, для того, чтобы въ моемъ лицѣ завинить какую-то часть русской интеллигенціи въ томъ, что она „въ потѣ лица своего ищетъ экзотическихъ формулъ и гоняется за экзотическими чувствами“.

---

[1]) Слово отъ 12 марта 1909 г.

„Аполитизмъ такого интеллигента послѣдней формаціи непосредственно ведетъ его по наклонной плоскости эстетическаго націонализма, быстро вырождающагося въ настоящій племенной шовинизмъ“—утверждаетъ г. Милюковъ.

Такими полемическими зигзагами П. Н. Милюковъ сперва успокаиваетъ своихъ читателей и затѣмъ снова на ихъ глазахъ сводитъ то „національное лицо“, о которомъ я говорилъ, съ „искаженнымъ и тоже больнымъ почти лицомъ сумашедшаго и маньяка“ какихъ-то думскихъ изувѣровъ. А, въ заключеніе, „настроеніе“, которымъ продиктована моя статья, объявляется „нездоровымъ націонализмомъ“, порожденнымъ въ „гнилой атмосферѣ общественной реакціи“, и относительно такихъ людей, какъ я, „слѣпо произносящихъ слова, реальный смыслъ которыхъ они забыли или не знали“, выражается надежда, что они, встрѣтившись съ „проекціей своихъ словъ въ живой дѣйствительности... лучше научатся взвѣшивать свои слова и понимать ихъ общественное значеніе“.

Полемическіе зигзаги кончаются учительнымъ словомъ.

Къ сожалѣнію, ни эти полемическіе зигзаги, ни вѣнчающее ихъ учительное слово не могутъ оказать на такихъ людей, какъ я, ни малѣйшаго дѣйствія.

Ибо, прежде всего, для меня ясенъ притянутый за волосы полемическій смыслъ тѣхъ психологическихъ сближеній, которыя дѣлаетъ почтенный П. Н. Милюковъ. Вѣдь, когда онъ огульно осуждаетъ всевозможныя „искательства“, эстетическія, этическія и философскія, я вправѣ спросить: почему же, если эти искательства вообще столь вредоносны, газета „Рѣчь“ систематически преподноситъ ихъ образчикъ своимъ читателямъ въ статьяхъ Дм. С. Мережковскаго? Я не виню въ этомъ газету „Рѣчь“, ибо гораздо раньше эти „искательства“ появлялись на страницахъ редактируемаго мною журнала. Но я говорю объ этомъ для того, чтобы по-

казать, что въ „нездоровомъ національнзмѣ“, мною обнаруженномъ, непричемъ „искательства“, о которыхъ идетъ рѣчь, и что по существу вопроса подобное сближеніе ничего не говоритъ.

Далѣе, когда меня пугаютъ „проекціей“ моихъ словъ въ „живой дѣйствительности“, я совсѣмъ не пугаюсь. Просто это не аргументъ. Ибо такъ „аграрную программу“ партіи народной свободы можно опровергнуть ея предполагаемой „проекціей“, въ видѣ или всеобщаго земельнаго поравненія, или даже аграрныхъ погромовъ. И сколько разъ мы встрѣчались съ тѣмъ, что наши взгляды не опровергались по существу, а полемически ставились на очную ставку съ такой ихъ „проекціей“. Повторяю, это не аргументъ въ разсужденіи по существу, а психологическій пріемъ въ полемикѣ.

И когда я писалъ свою статью, я, конечно, не „слѣпо произносилъ“ слова, а хорошо понималъ ихъ „общественное значеніе“ и улавливалъ, какія „проекціи“ пожелаютъ имъ дать.

Итакъ—увы!—мой оппонентъ ничего не сказалъ по существу поднятаго вопроса. Пожалуй, больше его сказала или, по крайней мѣрѣ, откровеннѣе высказалась „Наша Газета“, недоумѣнно воскликнувшая: „своевременно ли?“

Въ самомъ дѣлѣ: своевременно ли говорить о „національномъ лицѣ“ и дѣлать тѣ выводы, которые я сдѣлалъ?

Какъ ни велика мудрость. заключающаяся въ этомъ вопросѣ, я ею воспользоваться не могу, ибо я уже совершилъ „несвоевременный“ поступокъ. И потому я постараюсь вкратцѣ еще разъ подчеркнуть свою мысль или, вѣрнѣе, нѣкоторые выводы изъ нея.

Къ національнымъ вопросамъ въ настоящее время прикрѣпляются сильныя, подчасъ бурныя, чувства. Чувства эти, поскольку они являются выраженіемъ сознанія своей на-

ціональной личности, вполнѣ законны и принципіальное ихъ подавленніе и угашеніе есть глубокая ошибка и великое уродство.

Такое угашеніе загоняетъ эти чувства внутрь, и они могутъ тогда вырываться наружу дѣйствительно въ искаженномъ и изуродованномъ видѣ и производить настоящія опустошенія. Разумное рѣшеніе вопросовъ права этимъ угашеніемъ національнаго чувства не только не облегчается, а, наоборотъ, затрудняется.

Разъ съ такой щедростью пускаются въ ходъ варварскія слова съ греческимъ отрицаніемъ „а“ и разъ пошелъ рядомъ съ „аполитизмомъ“, выдуманнымъ, кажется, С. Н. Прокоповичемъ, гулять по русской печати „асемитизмъ“, то да позволено мнѣ будетъ высказать, что этотъ самый ужасный „асемитизмъ“—гораздо болѣе благопріятная почва для правового рѣшенія еврейскаго вопроса, чѣмъ безысходный бой, мертвая схватка „антисемитизма“ съ „филосемитизмомъ“.

Ни одна нерусская національнось не нуждается въ томъ и не требуетъ того, чтобы всѣ русскіе ее непремѣнно любили. Еще менѣе въ томъ, чтобы они притворялись любящими ее. И, право, „асемитизмъ“, сочетаемый съ яснымъ и трезвымъ пониманіемъ извѣстныхъ моральныхъ и политическихъ принциповъ и вытекающихъ изъ этихъ принциповъ государственныхъ необходимостей, гораздо болѣе нуженъ и полезенъ нашимъ еврейскимъ согражданамъ, чѣмъ сантиментально-дряблый „филосемитизмъ“, не говоря уже о „филосемитизмѣ“ вынужденномъ или симулированномъ.

И далѣе: я, полагаю, евреямъ полезно увидѣть открытое „національное лицо“ той части русскаго, конституціонно и демократически настроеннаго общества, которая этимъ лицомъ обладаетъ и имъ дорожитъ. И, наоборотъ, для нихъ совсѣмъ не полезно предаваться иллюзіи, что такое лицо есть только у антисемитическаго изувѣрства. Вотъ почему,

возвращаясь къ вопросу, поставленному „Нашей Газетой“, я скажу и этимъ закончу: правда въ „національномъ вопросѣ“ своевременна, и „національное лицо“, о которомъ я заговорилъ, есть не Медузова голова, а честное и доброе лицо русской національности, безъ которой не простоитъ и „россійское“ государство.

Слабонервность или игра на слабыхъ нервахъ? [1])

Вы развѣ не видите, что Гучковъ это, въ сущности, Милюковъ?—такъ писалъ и продолжаетъ писать г. Меньшиковъ, когда кому-то нужно свергнуть одного министра, продвинуть направо другого, обломать самого Гучкова и обработать компанію почтенныхъ октябристовъ.

Когда пишетъ г. Меньшиковъ, то ясно, что въ дѣло замѣшанъ какой-то Шванебахъ.

Но никакой Шванебахъ не могъ же вдохновить Д. В. Философова на тотъ разборъ московскаго сборника „Вѣхи“ по методу Меньшикова, который онъ напечаталъ во вчерашнемъ № „Нашей Газеты“. Меньшиковъ всегда пугаетъ „кадетомъ“, который можетъ пролѣзть черезъ всякую не только октябристскую, но и канцелярскую, даже придворную щель, можетъ вселиться не только въ Гучкова и Вл. Бобринскаго, но и въ Трепова, въ Витте, въ Извольскаго, въ любого изъ братьевъ Столыпиныхъ, даже въ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Коковцова и генерала отъ кавалеріи Сухомлинова. Всѣ эти почтенныя особы могутъ

[1]) Слово отъ 29 марта 1909 г.

быть въ нужномъ случаѣ „проекціями“ ужаснаго звѣря „кадета“, или, наоборотъ, „кадетъ“ можетъ быть ихъ „проекціей“.

Г. Философовъ пугаетъ своихъ братьевъ-интеллигентовъ „волкомъ“, который „показался изъ лѣсу и оскалилъ зубы“. Этотъ волкъ „для всѣхъ одинаково страшенъ“.

Изъ-за чего шумъ? Я теряюсь въ догадкахъ. Только что Д. С. Мережковскій и Д. В. Философовъ приручили соціалъ-демократовъ и пріучили ихъ не кричать благимъ матомъ и даже не дѣлать буки въ присутствіи дамъ „Религіи“ (конечно, Третьяго Завѣта) и „Церкви“ (конечно, не существующей, а будущей). Превосходно. Но почему же тотъ фактъ, что явились нѣсколько литераторовъ и имѣли дерзость привести съ собой господъ „Патріотизмъ“ и „Націонализмъ“—все испортилъ? Оказывается, что въ присутствіи такихъ господъ „никакой откровенный разговоръ невозможенъ“. Почему? Потому что эти „господа“ не просто господа, а настоящій „волкъ“, который для всей интеллигенціи долженъ быть такъ же „страшенъ“, какъ всюду проникающій и всякое обличіе принимающій „кадетъ“ страшенъ для читателей г. Меньшикова. Въ присутствіи „Религіи“ и „Церкви“ г. Философовъ надѣялся „выйти изъ мелкихъ партійныхъ дрязгъ, перейти къ разговорамъ по существу“. Но теперь это невозможно. „Волкъ“ ему помѣшалъ. Какимъ же образомъ „націонализмъ“ превратился въ „волка“?—спроситъ изумленный читатель.—Какъ это ни странно, страшный волкъ весь „сдѣланъ“ изъ тѣхъ же пресловутыхъ „проекцій“, пущенныхъ въ ходъ П. Н. Милюковымъ[1]). Вотъ С. Н. Булгаковъ и Н. А. Бердяевъ. Неугодно ли прибѣгнуть къ „проекціи“, и вы получите проповѣдника „уваровской“

---

[1]) Я не говорю уже о томъ, что собственно въ „Вѣхахъ“ національный вопросъ оставленъ совершенно въ сторонѣ, а, въ частности, объ еврейскомъ нѣтъ ни слова.

тріады, д-ра Дубровина, „Гамзѣя Гамзѣича“. Вѣдь написалъ же соблазненный „проекціей“ одинъ провинціальный журналистъ саженный фельетонъ буквально подъ такимъ заглавіемъ: „Петръ Бернгардовичъ и Гамзѣй Гамзѣевичъ“.

Но, позвольте, такъ и я изъ „Религіи“ Третьяго Завѣта и изъ будущей „Церкви“ при помощи надлежащихъ „проекцій“ сооружу цѣлые костры инквизиціи и на этихъ „проицированныхъ“ мною кострахъ буду, въ посрамленіе всякой религіи и всякой церкви, сожигать ежедневно Д. С. Мережковскаго и Д. В. Философова.

Впрочемъ, хотя difficile est satiram non scribere, здѣсь мѣсто не столько смѣху, сколько скорби и даже негодованію.

Въ дѣло оздоровленія русскаго общественнаго сознанія вторгается нѣчто, съ чѣмъ рѣшительно нельзя мириться.

Худо ли, хорошо ли, но авторы сборника „Вѣхи“ по существу критикуютъ интеллигенцію, ея идеи и весь ея духовный укладъ. И вдругъ являются люди, которые вопятъ: „позорятъ“, „бьютъ“ свою собственную мать.

Прежде всего позвольте, для тѣхъ, кто „интеллигенцію“ критикуетъ, эта „интеллигенція“—либо они сами, либо нѣкая посторонняя духовная сила, а вовсе не мать. Вообще же развѣ правильно бороться съ идейной работой жалкими словами, напоминаніемъ перенесенныхъ оскорбленій, возбужденіемъ и взвинчиваніемъ чувствъ. Идейная работа требуетъ идейной борьбы. Не только со сдѣланнымъ изъ проекцій,—даже съ подлиннымъ „волкомъ“ нельзя такъ бороться, какъ борется г. Философовъ. Это все равно, что въ сраженіи на каждый вражескій выстрѣлъ отвѣчать размахиваніемъ рукъ и пронзительными криками.

Настоящую борьбу съ серьезнымъ врагомъ серьезные люди ведутъ, стиснувъ зубы, а не дрыгая руками и но-

гами. Прежде всего они оглянутся на себя и посмотрятъ, сухъ ли порохъ въ пороховницѣ и имѣются ли патроны. Такъ и дѣлаютъ тѣ критики интеллигенціи, противъ которыхъ г. Философовъ выдвинулъ свою батарею страшныхъ и жалкихъ словъ: „волкъ“, „мать“ и т. п. Даже съ чисто политической точки зрѣнія, которой вовсе не исчерпывается „критика интеллигенціи“, слѣдуетъ поступать именно такъ.

Хочется думать, что антикритика г. Философова есть просто порожденіе слабонервности, не способной даже понять, какъ можно стиснуть зубы и, вмѣсто воплей, заняться самоанализомъ и самопровѣркой. Если діагнозъ мой вѣренъ, посовѣтуемъ г. Философову укрѣпляющія средства, ибо иначе онъ не осилитъ никакого „волка“ и не защититъ ничьей „матери“.

Если же вопль г. Философова—полемическій пріемъ, то онъ, конечно, самъ понимаетъ, какая цѣна полемикѣ, играющей на больныхъ нервахъ русскихъ людей, изъ которыхъ одни измучены, другіе же раскисли.

На разныя темы.

I.

Крушеніе „направленства“. — Религіозный максимализмъ. — Отъ народническаго максимализма къ хамскому поруганію народа.— Къ характеристикѣ Н. К. Михайловскаго [1]).

Нашъ журналъ въ нѣкоторыхъ кругахъ принято считать „кадетскимъ“ ежемѣсячникомъ, на томъ основаніи, что редакторами его состоятъ два члена партіи, принимавшіе и принимающіе участіе въ активной политикѣ, и что среди ближайшихъ и постоянныхъ сотрудниковъ его значатся люди, имена которыхъ тѣсно связаны съ партіей народной свободы и ея работой. Но я лично долженъ сказать, что для меня идея „партійнаго“ толстаго журнала представлялась бы весьма странной и прямо несчастной.

Время „партійныхъ“ и даже „направленскихъ“ журналовъ, думается мнѣ, прошло. По умственной косности, по извѣстному идейному консерватизму они могутъ имѣть еще наибольшій успѣхъ въ кругахъ интеллигенціи, посвящающей свои досуги серьезному чтенію, но внутренно они мертвецы.

---

[1]) Русская Мысль, 1908 г., февраль.

О „партійномъ“ характерѣ не только беллетристики, философіи, литературной критики, но даже сколько-нибудь углубленной, сколько-нибудь философской публицистики странно говорить. Партія есть цѣнное и необходимое орудіе политической работы, но этотъ инструментъ имѣетъ свое опредѣленное назначеніе, подгибать подъ которое невозможно даже идейную работу и въ области политики.

Такая идейная работа должна раскрывать новые горизонты, которые часто невидимы для „партійнаго“ взора, прокладывать новые пути, по которымъ еще не можетъ шествовать такая тяжеловѣсная и громоздкая „машина“, какой неизбѣжно является всякая партія.

Въ области творчества неполитическаго это уже окончательно ясно. Въ философіи или религіи, какъ они могутъ твориться современнымъ человѣчествомъ, не можетъ и не должно быть мѣста „партійности“. Но русская національная литература—литература въ обширнѣйшемъ смыслѣ—и въ томъ числѣ наша журналистика не только должна не укладываться въ новыя рамки партійности; она должна разорвать и старыя, традиціонныя узы „направленства“.

Какъ сложилось „направленство“ въ нашей литературѣ,—разсказать объ этомъ значило бы въ извѣстномъ смыслѣ написать исторію русской мысли, если угодно, русской интеллигенціи за послѣднія сто лѣтъ. Тутъ дѣйствовали общія условія, вездѣ и всегда играющія роль, осложняемыя условіями специфически русскими. Но въ настоящее время, когда условія русской печати въ сферѣ высказыванія идей кореннымъ образомъ измѣнились, воинствующее „направленство“ и соотвѣтствующая ему идейная нетерпимость стали явленіемъ прямо смѣшнымъ. Какъ бы, напримѣръ, редакторы Русской Мысли ни относились къ тому дви-

женію, которое, подъ именемъ религіозно-философскаго, захватило извѣстные круги русскаго общества, съ ихъ стороны такъ оберегать читателей своего журнала отъ этого „направленія“ мыслей и умовъ, какъ въ свое время Современникъ оберегалъ своихъ читателей отъ Юркевича, а Русское Богатство отъ Волынскаго,—было бы смѣшной и уродливой претензіей. То же относится и къ разнымъ видамъ соціалистической мысли. Когда эта мысль выступаетъ не какъ продуктъ идейной работы, а какъ навязывающій себя приказъ партійнаго начальства или какъ установленный „образецъ“, ей конечно не мѣсто на страницахъ журнала, служащаго выработкѣ идей и культуры. Но когда она является мыслью, работой ищущаго духа, она необходимая участница въ общемъ культурномъ творчествѣ.

Мнѣ могутъ сказать, что подобныя различенія и разграниченія весьма текучи и весьма условны. Но дѣло здѣсь не въ формулѣ разграниченія, а въ живомъ пониманіи той черты, которая отдѣляетъ свободное общеніе съ читателемъ и между собой разныхъ ищущихъ писательскихъ индивидуальностей отъ веденія читателей писателями на помочахъ единоспасающаго „направленія“ или, еще хуже, партійной доктрины.

То, что я высказываю, не есть вовсе проповѣдь безпринципности или индиферентизма. Разница между Современникомъ 60-хъ гг. и современнымъ идейнымъ журналомъ не въ томъ, конечно, что у Чернышевскаго и его товарищей было свое міросозерцаніе, а у новѣйшихъ писателей его нѣтъ. Міросозерцаніе не есть догма. У пишущаго эти сроки есть сильнѣйшее отталкиваніе отъ всякаго догматизма и скептическое отношеніе ко всякой притязающей на абсолютное значеніе догмѣ. Но вѣдь это отталкиваніе отъ догмы есть своего рода міровоззрѣніе, пронизанное крѣпчайшими убѣжденіями.

Такое недогматическое міросозерцаніе, конечно, есть прежде всего фактъ, фактъ историческаго развитія человѣческаго духа. Были ли „догматы“ у Гете, у Шелли, у Герцена, у Ренана, у Ибсена, у Ницше? И въ то же время оно есть глубочайшая и—да позволено будетъ такъ выразиться—жесточайшая философская проблема духовнаго бытія современнаго человѣка вообще и русскаго въ частности. Посмотрите кругомъ себя. Старое „направленство“ рушилось. Но въ то же время именно за самое послѣднее время русскіе люди стремительно перешли отъ догматизма „позитивистическаго“ разныхъ оттѣнковъ къ догматизму „новаго религіознаго сознанія“. Русская Мысль охотно удѣляетъ этому направленію мѣсто на своихъ страницахъ Нашимъ читателямъ, конечно, памятны статьи Д. С. Мережковскаго и Н. А. Бердяева, наконецъ, умная и тонкая защита догматизма у Д. В. Философа въ его статьѣ „Весенній вѣтеръ“ [1]). Во имя дѣйственнаго догматизма воли тотъ же писатель на этихъ дняхъ въ ежедневной печати обрушился на увлеченіе русской интеллигенціи госпожами Дунканъ и Дузе [2]). Отъ этой статьи на многихъ читателей пахнуло духомъ 60-хъ гг. съ ихъ „разрушеніемъ эстетики“ или 70-хъ гг. съ ихъ проповѣдью „долга интеллигенціи передъ народомъ“. Даже корректно-радикальная, но не вполнѣ свободная отъ современныхъ настроеній и вѣяній редакція Столичной Почты сочла нужнымъ сопроводить статью Философова редакціонной оговоркой. Изъ читательскихъ круговъ она вызвала недоумѣвающій откликъ [3]). Видно, что призывъ къ догматизму, хотя бы и новому, встрѣчаетъ какой-то отпоръ въ душахъ современныхъ русскихъ людей.

---

[1]) Русская Мысль, 1907 г., декабрь.

[2]) Столичная Почта, № отъ 31-го января.

[3]) Письмо въ редакцію М. В. Х. въ № отъ 2-го февраля.

*

А въ то же время волны догматизма растутъ. И самымъ высокимъ гребнемъ ихъ является идейный, или религіозный максимализмъ нашихъ непримиримыхъ христіанъ. Съ нѣкотораго времени кружокъ лицъ, группирующихся около В. П. Свѣнцицкаго и В. Ф. Эрна, издаетъ свой органъ Живая Жизнь, изданіе чрезвычайно живое, руководители и сотрудники котораго подкупаютъ искренностью и тѣмъ внутреннимъ благородствомъ, котораго такъ мало въ нашей журналистикѣ. Даже когда они становятся грубы,— какъ, напримѣръ, грубъ по отношенію къ В. В. Розанову и, въ особенности, къ кн. Е. Н. Трубецкому В. П. Свѣнцицкій въ своей „защитѣ максимализма Бранда“ [1])—эта грубость не злая и не мелкая, не пошлая, а при всей своей жестокости, какая-то дѣтская.

Религіозный максимализмъ, провозглашающій: „все или ничего“ и во имя этой формулы защищающій максимализмъ политическій и соціальный отъ критики „постепеновства“, „обновленства“ и „примиренства“, ставитъ проблему догматизма во всей ея рѣжущей до боли остротѣ. Статья г. Свѣнцицкаго озаглавлена: „Въ защиту „максимализма Бранда“. Ибсеновскій герой служитъ какъ бы живымъ образомъ, воплощеніемъ того способа отношенія къ жизни и міру, который дорогъ нашимъ религіознымъ максималистамъ, которымъ они желаютъ регулировать все свое поведеніе.

Вопросъ о максимализмѣ, понимаемомъ въ такомъ смыслѣ, есть морально-философская проблема. Для нея нечего было русской публикѣ воспроизводить Ибсеновскаго Бранда въ яркомъ изображеніи Московскаго Художественнаго театра.

У насъ былъ свой живой Брандъ, могучій и безконечно

---

[1]) Живая Жизнь № 2 за 1907 г. (отъ 20 го декабря).

милый всѣмъ намъ, Левъ Толстой. Что онъ такое, какъ не моральный максималистъ? Проблема Бранда въ области нравственнаго дѣянія давно поставлена передъ русскимъ обществомъ Львомъ Толстымъ. Гдѣ же ключъ къ рѣшенію этой проблемы? Въ чемъ правда, въ жестокихъ ли словахъ: „все или ничего!“ или въ „примиренствѣ“?

Въ качествѣ человѣка, который не притязаетъ давать заповѣди, для всѣхъ непререкаемо-обязательныя, я могу черпать отвѣтъ на этотъ вопросъ только изъ своего душевнаго опыта. Но пусть читатель не подумаетъ, что я буду дѣлиться съ нимъ какими-либо автобіографическими, интимными подробностями. Дѣло совсѣмъ не въ этомъ, а въ томъ, что все, что я буду говорить ниже, будетъ философскимъ итогомъ „пережитого“. Съ объективной точки зрѣнія созданія и накопленія культуры идейный максимализмъ такъ же нуженъ, какъ и противоположный способъ отношенія къ міру и жизни. Это такъ ясно, что на этомъ не стоитъ останавливаться. Въ культурной цѣнности творческаго догматизма не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Но рѣчь идетъ не о культурной цѣнности тѣхъ или иныхъ человѣческихъ „способовъ“, а объ ихъ непосредственномъ моральномъ оправданіи.

Я думаю, что максималистомъ человѣкъ можетъ, вѣрнѣе, имѣетъ право быть только для себя и внутри себя. Всякая же проповѣдь максимализма, адресованная къ другимъ, есть догматическое изувѣрство моральнаго или иного деспотизма, если, что̀ еще хуже, она не покрываетъ собой лицемѣрія.

Но и для себя, или внутри себя человѣкъ не можетъ, не уродуя себя и не насильничая надъ другими, быть максималистомъ всегда и сплошь. Максимализмъ законенъ только какъ о д н о изъ настроеній въ творческой борьбѣ за свою личность.

Таковы границы максимализма. Всякій человѣкъ, пережившій какую-нибудь сложную душевную борьбу и оставшійся послѣ нея свободнымъ, д о л ж е н ъ, мнѣ кажется, ощущать это. Замѣчательно, что именно это и вложилъ Ибсенъ въ своего „Бранда". Въ „Брандѣ" нѣтъ никакой „морали", никакого „вывода"; его философское содержаніе „пережито" Ибсеномъ.

Я приведу — не въ качествѣ историко-литературной справки, а чтобы показать, чѣмъ можетъ быть максимализмъ для современнаго человѣка—нѣсколько мѣстъ о Брандѣ изъ переписки Ибсена [1]).

11 іюня 1870 г. онъ писалъ г-жѣ Лаурѣ Петерсонъ: „Брандъ"—всецѣло произведеніе поэтическое, и ничего больше. Насколько оно оказалось въ состояніи „разрушить или создать что-либо", меня совсѣмъ не касается. Явилось оно въ свое время результатомъ кое-чего пережитого, но не прожитого; мнѣ было необходимо путемъ поэтическаго воспроизведенія освободиться отъ того, съ чѣмъ я въ глубинѣ души уже покончилъ, и какъ только я такимъ путемъ освободился отъ этого, книга моя потеряла для меня всякій интересъ" (стр. 220).

Въ томъ же году Ибсенъ такъ поясняетъ свое внутреннее отношеніе къ Бранду въ письмѣ къ Петру Гансену:

„Пріѣздъ мой въ Копенгагенъ совпалъ съ паденіемъ Дюббеля [2]). Въ Берлинѣ же я видѣлъ торжественный

---

[1]) Генрикъ Ибсенъ. Статьи, рѣчи, письма. Переводъ съ датскаго А. и П. Ганзенъ. (Полное собраніе сочиненій. Изд. С. Скирмунта, т. VIII).

[2]) Рѣчь идетъ о знаменитомъ штурмѣ нѣмцевъ на окопы Дюппеля 6 (18) апрѣля 1864 г., одномъ изъ рѣшающихъ военныхъ дѣйствій въ борьбѣ Германіи съ Даніей за обладаніе Шлезвигомъ-Гольштейномъ. „Скандинавскій" патріотизмъ Ибсена былъ глубоко задѣтъ пораженіемъ Даніи. П. С.

въѣздъ Вильгельма съ трофеями войны. Въ тѣ дни зародилась у меня идея „Бранда“ и стала расти во мнѣ. Въ Италіи, куда я затѣмъ пріѣхалъ, идея объединенія уже была пущена въ ходъ, благодаря безграничной готовности народа къ жертвамъ, тогда какъ у насъ на родинѣ!... Прибавь къ этому Римъ съ его идеальнымъ миромъ, общеніе съ беззаботнымъ кружкомъ художниковъ, жизнь, которую по настроенію можно сравнить развѣ только съ Шекспировской комедіей „Какъ вамъ угодно“,—и вотъ тебѣ первоначальныя основы „Бранда“. Чистѣйшее недоразумѣніе, будто я изображалъ въ немъ судьбу Сёрена Киркегора (я вообще очень мало читалъ Киркегора, а понялъ изъ его сочиненій еще того меньше). То, что Брандъ—священникъ, въ сущности не важно; заповѣдь „все или ничего“ сохраняетъ свое значеніе во всѣхъ областяхъ жизни—и въ любви, и въ искусствѣ и т. п. Брандъ—я самъ въ лучшія минуты моей жизни; это такъ же вѣрно, какъ то, что я путемъ самоанатомированія нашелъ многія черты Пера Гюнта и Стенсгора. Въ то время, когда я писалъ „Бранда“, у меня на столѣ, въ пустомъ стаканѣ лежалъ скорпіонъ. Время отъ времени животное начинало хирѣть; и тогда я бросалъ ему кусочекъ мякоти плода, на который онъ съ яростью набрасывался, источалъ свой ядъ и опять выздоравливалъ.

„Не творится ли нѣчто подобное съ нами, поэтами? Законы природы сказываются и въ другихъ областяхъ“. (стр. 228).

Въ письмѣ къ Георгу Брандесу (отъ 26 іюня 1869 г.) Ибсенъ говоритъ о томъ же: „Бранда не такъ поняли; во всякомъ случаѣ—несогласно съ моими намѣреніями. Коренной причиной ошибочныхъ толкованій, видимо, является то, что Брандъ—священникъ и что проблема поставлена религіозная. Но оба эти обстоятельства совершенно несуществен

ныя. Я сумѣлъ бы построить такой же силлогизмъ, взявъ скульптора или политическаго дѣятеля, какъ и священника. Я могъ излить свое душевное настроеніе, заставившее меня творить, и въ сюжетѣ, героемъ котораго явился бы вмѣсто Бранда, напримѣръ, Галилей (съ тою лишь разницею, что онъ не сдался бы, не призналъ, что земля недвижна). Да, кто знаетъ, родись я сотней лѣтъ позже, я бы, пожалуй, могъ взять героемъ васъ съ вашей борьбой противъ „философіи компромиссовъ“ Расмуса Нильсена. Въ общемъ въ Брандѣ больше замаскированной субъективности, нежели до сихъ поръ подмѣчено, чѣмъ я и горжусь въ качествѣ поэта“ (стр. 205).

Какъ извѣстно, конькомъ вульгарной критики Льва Толстого, какъ моралиста, и толстовства, служитъ тотъ фактъ, что Левъ Толстой (и нѣкоторые толстовцы) въ своей личной жизни отнюдь не осуществляютъ цѣликомъ своей проповѣди. Въ томъ, что максимализмъ Льва Толстого остановился передъ его собственной семьей и не перешагнулъ черезъ нее, очень многіе видятъ лицемѣріе. Какъ моральный максималистъ, Левъ Толстой долженъ былъ бы бросить свою семью и разрушить тотъ экономическій фундаментъ, на которомъ она существуетъ. А онъ даже не лишилъ своей семьи права собственности на главнѣйшія свои беллетристическія произведенія. Однако съ точки зрѣнія живой морали именно это „лицемѣріе“ въ Толстомъ для меня гораздо цѣннѣе, чѣмъ его неумолимая проповѣдь максимализма, точно такъ же какъ „примиренскій“ эпизодъ съ грѣшницей въ исторіи Христа безконечно цѣннѣе „максималистскаго“ изгнанія торговцевъ изъ храма. Вѣдь моральный максимализмъ, распространенный на другихъ людей (и максимализмъ В. П. Свѣнцицкаго и его товарищей не составляетъ въ этомъ отношеніи исключенія), жестокъ, онъ топ-

четъ—во имя абсслюта!—чужую личность; „примиренство“ же, если оно не есть просто приспособленіе къ „подлости“, проникнуто совершенно другимъ отношеніемъ къ человѣческой личности, нравственно положительнымъ, а не отрицательнымъ. Это отношеніе создаетъ иную моральную атмосферу. Оставаясь въ сферѣ моральныхъ переживаній, можно сказать, что максимализмъ питается ненавистью, „примиренство“—любовью.

Что же выше?

Какъ ни высока можетъ быть культурная цѣнность той или иной формы максимализма, какъ ни привлекательны искренностью и порывомъ его представители, максимализмъ какъ проповѣдь и какъ всепоглощающая норма поведенія есть изувѣрство и деспотизмъ, непереносимые для современнаго человѣка. Тотъ же Ибсенъ уже на склонѣ лѣтъ прекрасно выразилъ это въ самой общей формѣ: „Я давно пересталъ ставить общія для всѣхъ требованія, такъ какъ больше не вѣрю во внутреннее право человѣка ставить такія требованія. Я думаю, что у всѣхъ у насъ нѣтъ иной и лучшей задачи, какъ стараться въ духѣ и истинѣ осуществить самихъ себя. Это, по моему мнѣнію, настоящее свободомысліе...“

То же въ сущности мы видимъ и на противоположномъ идейномъ полюсѣ. Развѣ свобода личности и индивидуализмъ не превращаются въ пошлую гримасу и—sit venia verba!—въ распутство, въ которомъ гибнетъ личность, когда люди начинаютъ обобщать въ норму поведенія то, что можетъ жить только какъ религіозное настроеніе, въ тайникахъ интимной жизни, и что, вынесенное на базаръ и предложенное улицѣ, разомъ въ корнѣ извращается? Будучи убѣжденнымъ индивидуалистомъ, я отрицаю, чтобы индивидуализмъ можно было проповѣдывать современнымъ людямъ. Вообще современнымъ людямъ нельзя пропо-

вѣдывать никакой религіи. Это не значитъ, что настоящая религія умерла въ людяхъ. Но она ушла внутрь человѣка, она стала стыдливымъ, интимнымъ, непоказуемымъ выраженіемъ человѣческаго существа.

Я знаю, что представители религіознаго максимализма, вѣрящіе въ осуществленіе апокалипсиса, со мной не согласятся. Тутъ сталкиваются не только различные принципы, тутъ сталкиваются различныя религіозныя міроощущенія.

Отъ религіознаго максимализма такихъ людей, какъ Свѣнцицкій и Эрнъ, какъ-то совѣстно переходить къ тому Katzenjammer'y народническаго максимализма, который недавно предъявилъ русскому обществу г. Михаилъ Энгельгардтъ въ своей нашумѣвшей статьѣ въ Свободныхъ Мыслях. Лично г. Энгельгардтъ мало интересенъ. Но его Katzenjammer заключаетъ въ себѣ одну очень серьезную проблему, на которой стоитъ остановиться.

Отсутствіе „направленства“ въ нашемъ журналѣ сказывается, между прочимъ, въ томъ, что мы даемъ на его страницахъ мѣсто такой статьѣ, какъ „Иванушка-дурачокъ“ г. Смирнова-Кутаческаго. Въ ней ужасно много народничества: оно такъ и переливается черезъ край. Между тѣмъ я лично никогда не былъ народникомъ и, думается, не только никогда имъ не стану, но еще съ нимъ повоюю.

Завелъ я объ этомъ рѣчь „примѣнительно“, а именно примѣнительно къ все той же статьѣ г. Михаила Энгельгардта. Долженъ сказать: послѣ прочтенія этой статьи я почувствовалъ бы себя народникомъ, если бы для того, чтобы возмущаться хамскимъ поруганіемъ русскаго народа, нужно было быть „народникомъ“.

Русскій народъ оказался „фефелой“, потому что не сумѣлъ осуществить ни одной политической программы,

„даже (sic! *П. С.*) программы кн. Е. Трубецкого или покойнаго Гейдена". „Усилія лицъ и энергія партій, — говоритъ г. Энгельгардтъ,—разбились о безсиліе, дряблость и мелкоту народа, массъ, большинство націи".

Въ движеніи 1904—1906 гг. впервые выступилъ на сцену народъ, масса, большинства населенія.

„Помню, какъ въ теченіе 1904 — 1905 гг. съ недовѣріемъ, съ колебаніями отмѣчали мы, публицисты, послѣдовательное присоединеніе къ движенію все болѣе и болѣе широкихъ круговъ населенія: городской буржуазіи, рабочихъ, крестьянства.

„Такъ ли? Вѣрно ли? Да, вѣрно пришелъ конецъ старому, изжитому. Проснулся народъ.

„Была тутъ и радость, и испугъ.

„Одни думали: всталъ Илья Муромецъ! Конецъ.

„Другіе скулили: всталъ сильный Самсонъ, но вѣдь онъ слѣпъ, крикнетъ: „погибни душа моя вмѣстѣ съ филистимлянами!" и обрушитъ капище Дагона, и погубитъ себя, а, главное, насъ. Эти трусили. Но и тѣ, и другіе ошиблись. Народъ, русскій народъ показалъ себя въ этомъ покушеніи на революцію не Ильей Муромцемъ, и не сильнымъ Самсономъ, а всего только Поприщинымъ, который вообразилъ себя Фердинандомъ VII, королемъ испанскимъ, и давай чертить. Начальство опѣшило, а тамъ, видя, что Поприщинъ только Поприщинъ, собралось съ духомъ. „Я тебѣ покажу, какой ты испанскій король". И показали!

„Мы думали, передъ нами вулканъ, анъ оказался пузырь! Пнулъ его носкомъ господскій сапогъ, и весь революціонный духъ изъ пузыря вонъ..." [1]).

Вотъ какъ пишется исторія! Говорю: исторія, ибо тутъ,

---

[1]) Свободныя Мысли, № 35, отъ 7 января 1905 г., статья „Безъ выхода" М. А. Энгельгардта.

конечно, не только обвинительный актъ противъ народа прокурора отъ интеллигенціи; тутъ вѣдь объясненіе „причинной связи“ между событіями. Эту „исторію“ надлежитъ запомнить: нужно, чтобы „Фефела“ и „Поприщинъ“ г. Энгельгардта перешли не только въ исторію, но и въ политику современности.

Оказывается, интеллигенція сдѣлала все, а народъ проигралъ.

Не будучи вовсе народникомъ, я долженъ сказать, что дѣйствительная исторія происходила какъ разъ обратно: народъ сдѣлалъ все, а „интеллигенція“, отъ лица которой говорили разные гг. Энгельгардты, все проиграла.

Народъ оказался способенъ на огромный подъемъ и огромный подвигъ въ своемъ октябрьскомъ порывѣ. Вмѣсто того, чтобы въ эту великую стихію внести разумъ и свѣтъ, стали безмѣрно подстегивать ее, въ то же время экономически обезсиливая народъ. Народъ всегда и всюду по существу есть стихія; отдѣльныя лица, организаціи, партіи представляютъ сознаніе. Къ стихіи нельзя предъявлять требованія, которыя можно и должно предъявлять даже къ... гг. Энгельгардтамъ. Даже если бы г. Энгельгардтъ въ своей объективной оцѣнкѣ народа былъ правъ, — на тѣхъ, кто систематически закрывалъ себѣ и другимъ глаза на объективныя свойства народа лежала бы отвѣтственность за событія.

Г. Энгельгардтъ говоритъ теперь, что народъ—„Фефела“, потому что онъ не осуществилъ даже мирнообновленческой программы. А самъ-то онъ, г. Энгельгардтъ, развѣ работалъ для осуществленія такой программы? Нѣтъ, онъ глупѣйшимъ образомъ призывалъ интеллигенцію и народъ къ немедленному осуществленію соціализма, т.-е. къ тому, что, за ничтожными исключеніями, всѣ образованные люди всѣхъ странъ, и въ томъ числѣ огромное

большинство соціалистовъ считаетъ завѣдомымъ шарлатанствомъ. Народъ не осуществилъ даже „программы покойнаго графа Гейдена“. Но г. Энгельгардтъ,—что же онъ то дѣлалъ и какъ просвѣщалъ онъ народъ? Во время первой Думы онъ—съ тѣмъ же усердіемъ, съ какимъ это дѣлаютъ теперь черносотенные дворяне—травилъ „кадетовъ“, какъ представителей „дворянской“, „неимовѣрно живучей, энергичной расы, характеризующейся замѣчательной способностью къ приспособленію“ [1]). Отъ нихъ онъ предостерегалъ крестьянъ и рабочихъ. Ссылаясь на пресловутое изреченіе Коффиналя; „Республика не нуждается въ ученыхъ!“, г. Энгельгардтъ находилъ въ немъ „зерно правды“ и подчеркивалъ, какъ „опасны для революціи“ служащіе „либеральному дворянству“ „свѣтила науки, адвокатуры и проч.“. Эти „дѣти солнца“ „мудрятъ отъ большого ума и великой учености—и перемудрятъ“.— Весь невѣроятный цинизмъ ссылки на Коффиналя, вѣроятно, ускользнулъ тогда отъ большинства читателей: Коффиналь вѣдь не просто сболтнулъ, онъ сказалъ эти слова, когда, будучи вице-президентомъ революціоннаго трибунала, отказывалъ великому химику Лавуазье въ отсрочкѣ казни на 15 дней, о которой тотъ просилъ, чтобы окончить важный научный опытъ.

„Представителямъ крестьянства и рабочихъ мудрить нечего. Они должны идти прямо къ цѣли. Они должны забыть дрянную пословицу: „прямо только вороны летаютъ“. Вотъ наши либералы столько лѣтъ ползли правыми путями, а куда приползли? А какъ выступилъ народъ, да по-

---

[1]) Газета Народный Вѣстникъ, №—отъ 26 мая 1906 г. Цитировано въ моей статьѣ „Черносотенный соціализмъ“ („Замѣтки публициста“ въ № 8 журнала Свобода и культура отъ 31 мая 1906 г.). [Перепечатано выше].

валилъ прямикомъ, такъ дѣло-то иначе повернулось. Такъ и продолжать нужно его представителямъ".

Въ теченіе менѣе чѣмъ двухъ лѣтъ г. Энгельгардтъ, описавъ полный кругъ, отъ народническаго максимализма дошелъ до хамскаго поруганія народа. Когда онъ травилъ „кадетовъ", какъ цѣпкихъ „дворянъ", я указывалъ на его писанія, какъ на „типичный образчикъ того паденія, до котораго дошла въ нѣкоторыхъ своихъ современныхъ развѣтвленіяхъ русская соціалистическая мысль. Это—полная безшабашность, теоретическая и моральная".

Есть люди, у которыхъ есть особливое призваніе, объективно необходимая миссія—собрать въ себѣ какъ въ фокусѣ извѣстную ложь, всенародно показать и тѣмъ обличить ее. Таково, очевидно, призваніе и г. Энгельгардта. Ложь интеллигентскаго максимализма, который, вопреки совѣсти и наукѣ, безъ всякой мысли объ отвѣтственности, разжигалъ народную стихію, эта ложь, въ лицѣ г. Энгельгардта, обличила и морально уничтожила самое себя.

Это—немалая заслуга. „Фефела" г. Энгельгардта послужитъ дѣлу оздоровленія политическаго сознанія русской интеллигенціи и — черезъ нее — всего русскаго народа.

Въ историческомъ журналѣ Минувшіе годы [1]) помѣщены чрезвычайно интересныя письма Н. К. Михайловскаго къ П. Л. Лаврову, относящіяся къ 1873 г. Въ этихъ письмахъ вскрывается съ полной ясностью чисто народническая подоплека Михайловскаго, какимъ онъ былъ въ началѣ 70-хъ гг., въ то время, когда онъ по поводу „Бѣсовъ" Достоевскаго такъ напиралъ „на мысль о предпочтительности соціальныхъ реформъ передъ полити-

---

[1]) Январь, 1908 г.

ческими“ [1]). Эта мысль владѣла въ то время Михайловскимъ.

Письма касаются вопроса объ изданіи заграничнаго „свободнаго“ журнала, къ участію въ которомъ Лавровъ приглашалъ Михайловскаго. Послѣдній отъ постояннаго участія, сопряженнаго съ переселеніемъ за границу, отказался, такъ какъ не считалъ себя „въ правѣ промѣнять 8,000 читателей, обезпеченныхъ прочнымъ соединеніемъ болѣе или менѣе крупныхъ литературныхъ силъ, на дѣло невѣрное и трудное“. Въ связи съ этимъ Михайловскій дѣлаетъ такое признаніе: „Я не революціонеръ, всякому свое. Борьба со старыми богами меня не занимаетъ, потому что ихъ пѣсня спѣта. Новые боги гораздо опаснѣе и въ этомъ смыслѣ хуже. Смотря такъ на дѣло, я могу до извѣстной степени быть въ дружбѣ съ старыми богами и, слѣдовательно, писать и въ Россіи“.

Въ другомъ письмѣ Михайловскій пишетъ по тому же поводу:

„Надѣюсь, вы не мечтаете направлять на путь истины правительство. Остаются двѣ цѣли: мѣсто, гдѣ можно вволю наплакаться и насмѣяться для однихъ, и повелительное наклоненіе для другихъ. Первыхъ вамъ придется искать и организовать съ большимъ трудомъ, потому что готовый человѣкъ—писать къ вамъ не пойдетъ. Я первый не пойду, пока я живу въ Россіи. Легко сказать: высказывайте, что въ васъ накипѣло, выкрикивайте, что въ васъ наболѣло, какъ будто человѣка, къ которому приглядѣлись, не узнаютъ съ перваго десятка строкъ и не упрячутъ въ тундры сибирскія, не лишатъ его общества и не лишатъ общества его. А ломаться, не быть искреннимъ, выкрикивать, что наболѣло, поддѣлываясь подъ чужой голосъ, развѣ это возможно? Вотъ почему я, незадолго передъ отъѣздомъ, сказалъ нашему посреднику: или я буду принимать въ журналѣ самое близкое участіе, или никакого.

---

[1]) Ср. Сочиненія, т. I, стр. 868—869, и мои замѣчанія по этому поводу въ предисловіи къ книгѣ Бердяева „Субъективизмъ и индивидуализмъ въ общественной философіи“.

Я думалъ тогда объ эмигранствѣ. Кстати, эта мысль, въ концѣ-концовъ мимолетная, неизвѣстна никому, ни даже самымъ близкимъ ко мнѣ людямъ. Считаю не лишнимъ предупредить васъ объ этомъ.

Что касается до повелительнаго наклоненія, то молодежь его очень ждетъ, и голосъ „Впередъ“, какъ бы онъ ни устроился, если только вы будете вести его, будетъ имѣть большой вѣсъ. Скажите же мнѣ ваше повелительное наклоненіе не въ теоретической области, а въ практической. Въ ожиданіи я вамъ скажу свое: сидите смирно и готовьтесь.

Другого я не знаю, другого, по-моему, русскій соціалистъ теперь имѣть не можетъ. Никакой радикально-соціалистической оппозиціи въ Россіи нѣтъ, ее надо воспитать. Задача молодого поколѣнія можетъ состоять только въ томъ, чтобы готовиться къ тому моменту, когда настанетъ время дѣйствовать. Само оно безспльно его вызвать и будетъ только задаромъ гибнуть въ этихъ попыткахъ. А что моментъ настанетъ и даже, несмотря на теперешнюю реакцію, въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ, это, по-моему, несомнѣнно. Японія, Турція имѣютъ конституцію [1]), долженъ же прійти и нашъ чередъ. Я, впрочемъ, не знаю, въ какой формѣ придетъ моментъ дѣйствія, но знаю, что теперь его нѣтъ и что молодежь должна его встрѣтить въ будущемъ не съ Молешоттомъ на устахъ и не съ игрушечными коммунами, а съ дѣйствительнымъ знаніемъ русскаго народа и съ полнымъ умѣніемъ различать добро и зло европейской цивилизаціи. Откровенно говоря, я не такъ боюсь реакціи, какъ революціи. Готовить людей къ революціи въ Россіи трудно, готовить къ тому, чтобы они встрѣтили революцію какъ слѣдуетъ, можно, и, слѣдовательно, должно. Въ тотъ часъ, когда это станетъ невозможнымъ,—я вашъ, несмотря ни на что, до тѣхъ поръ—нѣтъ“.

Суровая оцѣнка Михайловскимъ подготовленности русской интеллигенціи къ „революціи“ весьма интересна, она даже особенно пикантно и какъ-то современно звучитъ въ наше время, но, въ сущности, самое поучительное, что раскрываютъ цитированныя письма, не въ этомъ. Любопытнѣе и важнѣе, что самъ суровый судья подпадаетъ подъ свою

---

[1]) Ни въ Японіи, ни въ Турціи конституціи тогда не было. *П. С.*

оцѣнку. Вѣдь совершенно ясно, что подъ „старыми богами“ онъ разумѣлъ въ 1873 г. абсолютизмъ, а подъ новыми капитализмъ и буржуазію. Вѣдь такъ же ясно, что онъ считалъ интеллигенцію неподготовленною именно къ борьбѣ съ „новыми богами“. Въ этой постановкѣ на очередь проблемы соціалистической вмѣсто проблемы политической и культурной именно и заключалась идейная неподготовленность русской интеллигенціи къ ея общественнымъ задачамъ и въ 60-хъ гг., и въ 70-хъ гг., и въ эпоху революціи 1905—1906 гг. Вѣдь крайній политическій радикализмъ интеллигенціи въ послѣднюю эпоху былъ лишь выраженіемъ неспособности представить себѣ общественное развитіе страны въ надлежащей исторической перспективѣ. Конечно, съ „Молешоттомъ на устахъ“ и „съ игрушечными коммунами“ нельзя было ничего встрѣтить надлежащимъ образомъ, но съ „дѣйствительнымъ знаніемъ русскаго народа и съ полнымъ умѣніемъ различать добро и зло европейской цивилизаціи“ нельзя было также готовить русскую молодежь къ соціалистическому перевороту. А между тѣмъ именно этимъ занимался тогда Михайловскій, имъ владѣла мысль о борьбѣ съ „новыми богами“: революціи онъ потому боялся больше, чѣмъ реакціи, что отъ близкаго торжества революціи онъ—по своей народнической схемѣ—ждалъ пришествія капитализма и буржуазіи, къ борьбѣ съ которыми онъ считалъ молодежь (=интеллигенцію) еще неподготовленной.

Въ концѣ 70-хъ гг., какъ извѣстно, Михайловскій кореннымъ образомъ измѣнилъ свой взглядъ на соотношеніе между проблемой соціалистической и политической: выражаясь терминомъ конкретно-политическимъ, онъ сталъ „народовольцемъ“. Это не значитъ, чтобы онъ сталъ „революціонеромъ“. Говоря о себѣ въ 1873 г., что онъ „не революціонеръ“, Михайловскій характеризовалъ не только

то общественное міросозерцаніе, которое имъ тогда владѣло онъ весьма искренно и совершенно справедливо отмѣчалъ характерную черту, присущую его личности, входившую, такъ сказать, въ его натуру. Михайловскій былъ литераторомъ въ лучшемъ и самомъ возвышенномъ смыслѣ слова, но онъ былъ только литераторомъ. Въ его натурѣ не было той специфической дѣйственности и активности, которая создаетъ „дѣятеля“ и, при извѣстныхъ условіяхъ, неизбѣжно дѣлаетъ человѣка революціонеромъ.

II.

Синдикализмъ и махаевщина (по поводу статьи Н. М. Минскаго).— Къ спору о „Великой Россіи“ [1]).

Въ этой книжкѣ читатель найдетъ статью Н. М. Минскаго о „Рабочей партіи и рабочемъ классѣ“, съ которой редакція рѣшительно не согласна. Собственные идеи и идеалы автора неясны. Видно только, что онъ—противникъ политической и парламентской представительницы рабочаго класса — соціалъ-демократіи. Вмѣстѣ съ синдикализмомъ онъ, во имя „класса“, отрицаетъ „партію“. Но до какихъ поръ Минскій идетъ вмѣстѣ съ синдикализмомъ, этого изъ его интересныхъ разсужденій нельзя усмотрѣть. Мнѣ кажется, что его статья объективнымъ своимъ содержаніемъ всецѣло подтверждаетъ то пониманіе значенія и миссіи синдикализма, которое я развилъ въ своей, посвященной проблемѣ синдикализма, статьѣ „Facies hippocratica“.

Въ разсужденіяхъ г. Минскаго есть два пункта, слабость которыхъ ясна уже и теперь. Это, во-первыхъ, обви-

---

[1]) Русская Мысль, 1908 г., мартъ.

ненія правительства Клемансо и Бріана въ „реакціонности“ за его рѣшительную борьбу противъ синдикализма,

Обвиненія эти болѣе чѣмъ странны. Вопросъ, конечно, не въ личной искренности или неискренности г. Бріана. Дѣло идетъ о болѣе важномъ. Самъ же г. Минскій совершенно не скрываетъ того, что синдикализмъ есть проповѣдь и организація насилія революціоннаго меньшинства надъ большинствомъ общества и самыми основами его существованія. Борьба съ такимъ движеніемъ есть долгъ всякой государственной власти, и французское республиканское правительство, оставаясь властью, обязано и вынуждено вести такую борьбу. На синдикализмѣ лежитъ клеймо цинизма, отъ котораго свободенъ былъ прежній соціализмъ и свободна современная соціалъ демократія: соціалъ-демократія bona fide утверждаетъ, что она борется—во имя интересовъ большинства общества и не прибѣгая къ насилію надъ этимъ большинствомъ. Синдикализмъ откровенно говоритъ, что онъ представляетъ меньшинство общества—и во Франціи съ ея слабымъ развитіемъ промышленности и промышленнаго пролетаріата это совершенно ясно. И въ то же время синдикалисты столь же откровенно заявляютъ, что они сторонники насильственныхъ методовъ дѣйствія, которые вовсе не пользуются открытымъ сочувствіемъ и признаніемъ со стороны руководящихъ элементовъ культурной соціалъ-демократіи.

Непослѣдовательность и половинчатость соціалъ-демократіи, за которую ее порицаетъ г. Минскій, съ точки зрѣнія человѣчности и культуры, гораздо болѣе почтенна, чѣмъ искренность и „подлинность“ синдикализма. Послѣдній, въ идеѣ своей, есть варварское насильничество худшихъ элементовъ общества. Пусть буржуазія плоха, но изъ этого не слѣдуетъ, что изрыгающій циническія угрозы синдикалистскій пролетаріатъ хорошъ и даже лучше буржуазіи.

*

Апоѳеозъ синдикалистовъ, какъ выразителей „сознательнаго класса, не носящаго никакой маски, обладающаго простымъ, недвусмысленнымъ *я*“ (см. въ статьѣ Н. М. Минскаго стр. 25), это отношеніе, красной нитью проходящее черезъ всѣ построенія г. Минскаго, поражаетъ въ устахъ человѣка съ извѣстной философской складкой, какимъ является авторъ статьи „Рабочая партія и рабочій классъ“. Вѣдь признакъ классовой подлинности можетъ съ еще большей легкостью, чѣмъ противъ соціалъ-демократовъ, быть обращенъ противъ самого г. Минскаго, какъ защитника синдикализма и обличителя „партіи“? Въ чемъ гарантія классовой подлинности разсужденій г. Минскаго? Почему и онъ не является „личиноносцемъ“, „опекуномъ“, „адвокатомъ“, „благодѣтелемъ“? На почвѣ психологическаго сыска о „простомъ, недвусмысленномъ я“ можно препираться и обличать другъ друга до безконечности,—дѣло явно нефилософское, въ которомъ логическія ошибки сплетаются съ разными недобрыми чувствами. При извѣстной полемической ловкости такимъ путемъ можно доказать все.

Марксизмъ часто упражнялся въ этомъ психологическомъ сыскѣ, въ концѣ-концовъ для того, чтобы быть тѣми же пріемами обличеннымъ въ „буржуазности“ со стороны синдикализма и его уже совершенно дикой русской разновидности, „махаевщины“. Когда г. Минскій пишетъ (стр. 25):

„Маскарадъ оконченъ. Маски долой. Отнынѣ о всеобщемъ благѣ имѣютъ право заботиться лишь тѣ, чье классовое „я“ совпадаетъ съ общечеловѣческимъ „я“. Отнынѣ кто хочетъ говорить о пролетаріатѣ „мы“, долженъ стать пролетаріемъ, кто хочетъ быть апологетомъ синдикализма, долженъ жить синдикальною жизнью. Отнынѣ для каждаго общественнаго дѣятеля или изслѣдователя стало обязательнымъ уяснить себѣ свое классовое „я“ такъ же несомнѣнно и опредѣленно, какъ мы сознали свое личное индивидуальное „я“, ибо маскарадъ оконченъ и время посредниковъ, опекуновъ, адвокатовъ и благодѣтелей прошло“.—

онъ становится на одну почву съ софистически-злобной теоріей „классовой психологіи“, нашедшей свое завершеніе въ „махаевскомъ“ противопоставленіи рабочаго „ручного“ и рабочаго „умственнаго“.

Недавно объ этой психопатической формѣ классоваго соціализма появилась любопытная книга г. Иванова-Разумника [1]). Основная идея, idée maîtresse махаевщины сводится къ слѣдующему разсужденію. Во всѣхъ странахъ, во всѣхъ государствахъ существуетъ громаднѣйшій классъ людей, которые вовсе не имѣютъ ни промышленнаго, ни торговаго капитала и вмѣстѣ съ тѣмъ живутъ какъ настоящіе господа. Это классъ образованныхъ людей, классъ интеллигенціи. Они не владѣютъ ни землей, ни фабрикой, ни мастерской, а пользуются не меньшимъ грабительскимъ доходомъ, чѣмъ средніе и крупные капиталисты. Они не имѣютъ собственныхъ предпріятій, но они такіе же бѣлоручки, какъ средніе и крупные капиталисты, такъ же, какъ и тѣ, всю жизнь свободны отъ ручного труда, и если участвуютъ въ производствѣ, то лишь какъ управляющіе, директора, инженеры, то-есть по отношенію къ рабочимъ, къ рабамъ ручного труда, являются такими же командирами и господами, какъ и предприниматели-капиталисты. Такимъ образомъ интеллигенція есть особый общественный классъ характеризуемый монопольнымъ и наслѣдственнымъ владѣніемъ знаніями, средствами интеллектуальнаго производства, подобно тому какъ капиталистовъ характеризуетъ монопольное и наслѣдственное владѣніе орудіями матеріальнаго производства [2]). Обобществленіе средствъ и орудій мате-

---

[1]) Что такое „махаевщина“? Къ вопросу объ интеллигенціи. Спб., 1908 г. Стр. 159. Изданіе С. В. Бунина.

[2]) Ср. на основаніи подлинныхъ цитатъ изложеніе у Иванова-Разумника. Стр. 29.

ріальнаго производства—это требованіе, характеризующее собою, по мнѣнію махаевщины, весь современный соціализмъ, есть основное требованіе интеллигенціи; обобществленіе средствъ интеллектуальнаго производства, „обобществленіе знаній“—это требованіе, характеризующее собой махаевщину, есть, по ея мнѣнію, основное требованіе пролетаріата, идущее противъ интересовъ интеллигенціи. Поэтому соціализмъ есть классовый идеалъ и идеологія интеллигенціи, а махаевщина есть классовый идеалъ и идеологія пролетаріата [1]). Интеллигенція заманиваетъ пролетаріатъ по пути соціализма, суля ему золотыя горы и подмѣняя классовый идеалъ рабочихъ массъ—экспропріацію не только средствъ и орудій производства, но и вообще всего „образованнаго общества“—классовымъ идеаломъ самой интеллигенціи, однимъ только обобществленіемъ [2]).

Несомнѣнно; что махаевщина такое же „интеллигентское“ построеніе, какъ и соціалъ-демократизмъ и синдикализмъ. Въ сущности соціалъ-демократизмъ (=марксизмъ), синдикализмъ и махаевщина образуютъ одинъ непрерывный рядъ попытокъ спаять соціально-революціонную мысль интеллигенціи съ соціально-революціонными инстинктами массъ. Рядъ этотъ—растущій въ направленіи радикализма мысли и стихійности инстинктовъ, къ которымъ она обращается. Характеръ и развитіе соціализма, какъ „идеологіи“, желающей владѣть массами и ими двигать, опредѣляются тѣмъ фактомъ, что массъ нельзя уловить ни разсудочными расчетами, ни чистыми, отвлеченными идеями. Разсчитывающія и цѣлесообразно разсуждающія массы никогда не будутъ радикальными въ своихъ расчетахъ. Разсуждающія массы всегда—„мѣщане“. Онѣ орга-

---

[1]) Тамъ же. Стр. 35.

[2]) Тамъ же. Стр. 37.

нически неспособны увлекаться и руководиться отвлеченными построеніями, широкими и далекими перспективами. Ихъ путеводной звѣздой, поскольку онѣ разсчитываютъ и разсуждаютъ, могутъ быть только конкретные практическіе интересы и непосредственно достижимыя цѣли. Отсюда для соціальнаго радикализма фатальная необходимость апеллировать къ инстинктамъ и чувствамъ массы. Соціализмъ осозналъ это, выдвинувъ проповѣдь классовой борьбы, какъ рычага объединенія массъ на радикальныхъ соціальныхъ задачахъ. Въ формѣ марксизма, или соціалъ-демократизма возбудитель этотъ въ новѣйшее время пересталъ для соціальнаго радикализма дѣйствовать д о с т а т о ч н о о с т р о на инстинкты массы. Понадобились хотя бы и менѣе благородные, но зато сильнѣе дѣйствующіе возбудители. Они явились въ лицѣ синдикализма на Западѣ, „махаевщины“ у насъ.

Таково освобожденное отъ всякой идеализаціи, истинное существо синдикализма, увлекающаго Н. М. Минскаго. Увлеченіе это упирается, впрочемъ, въ какое-то критическое раздумье, которымъ какъ финальнымъ аккордомъ заканчивается интересная статья „Рабочая партія и рабочій классъ“. Это вполнѣ понятно у философски настроеннаго и размышляющаго автора.

Посмотримъ, къ чему приведетъ его то критическое раздумье, въ которомъ онъ остановился, разбирая проблему синдикализма.

Съ нѣкоторымъ смущеніемъ я отправлялъ въ печать свою статью „Великая Россія“. Дѣло въ томъ, что это былъ отрывокъ изъ цѣлой книги и такимъ образомъ мысли, высказанныя въ моей статьѣ, были вырваны изъ болѣе широкаго контекста и внѣ его, казалось, могли не то что возбудить недоумѣнія и кривотолки—ихъ я ожидалъ и не очень опасался—а затеряться и пропасть. Этого, къ моему величайшему удовлетворенію, не случилось...

Я не намѣренъ сейчасъ съ своей стороны подводить итоги спорамъ о „Великой Россіи“. Мнѣ хотѣлось бы только отстранить нѣкоторыя наиболѣе упрощенныя, наименѣе идущія въ глубь нападки.

Въ одной газетной статьѣ [1]) было высказано, что идеи мои вывезены изъ Германіи Бисмарка и Мольтке. Я бы предостерегалъ отъ того, чтобы подобнымъ указаніямъ придавалось какое-либо значеніе. Прежде всего, почему изъ Германіи? Отчего не изъ Англіи? Полемическое указаніе г. Левина напомнило мнѣ о судьбѣ одной англійской книги, изданной нѣсколько лѣтъ тому назадъ на русскомъ языкѣ по моей иниціативѣ. Это—классическія лекціи Сили о „расширеніи Англіи“, историческое евангеліе англійскаго имперіализма [2]).

Кардинальное понятіе этой книги, въ Англіи оказавшей могущественное вліяніе на умы, а у насъ залежавшейся въ книжномъ складѣ издательства—„Greater Britain“, по-русски удачно передано переводчикомъ и редакторомъ выраженіемъ „Великая Англія“, и оно именно въ этой русской формѣ засѣло у меня въ головѣ еще задолго до того, что я изъ устъ г. Столыпина въ Государственной Думѣ услыхалъ словосочетаніе „Великая Россія“. Самое выраженіе „Greater Britain“—гораздо старше книги Сили, появившейся въ 1883 году: если не ошибаюсь, оно впервые употреблено сэромъ Чарльсомъ Дилькомъ въ заглавіи его знаменитаго описанія путешествія по „говорящимъ на англійскомъ языкѣ странамъ“, появившагося въ 1869 году [1]), и такъ объяснено въ предисловіи: the development of the England

---

[1]) Д. Левинъ. „Наброски“ въ газетѣ Рѣчь отъ 29 февраля

[2]) Сили (Sir J. R. Seeley). профессоръ исторіи въ Кембриджскомъ университетѣ. Расширеніе Англіи. Два курса лекцій. Переводъ В. Я. Герда подъ редакціей В. А. Герда. Спб., 1903 г. Изданіе О. Н. Поповой.

of Elizabeth is to be found not in the Britain of Victoria, but in half the habitable Globe. If two small islands are by courtesy styled «Great America, Australia, India, must form a „Greater Britain“ [2]).

Странно было бы, если бы я не читалъ Сили и Трейчке, вообще не былъ знакомъ съ такимъ огромнымъ политическимъ и идейнымъ явленіемъ, какъ имперіализмъ. Но такія мысли, какія изложены въ моей „Великой Россіи“, не вычитываются изъ умныхъ книгъ. Кругъ идей и число ихъ сочетаній, если брать идеи отвлеченно, всегда весьма ограничены. Отвлеченныя идеи всегда повторяются. Но для общественной функціи идей ихъ отвлеченное происхожденіе, ихъ абстрактная филіація не имѣетъ значенія. Какъ общественная сила, идеи и внушаются, и перерабатываются жизнью. Въ основу русскаго славянофильства легли универсально-философскія идеи нѣмцевъ Фихте и Шеллинга. Но отъ славянофильства было бы смѣшно отдѣлываться ссылкой на нѣмецкое происхожденіе его идей: такъ очевидно, что сила и смыслъ ихъ заключались въ томъ питаніи, которое онѣ получали изъ русской жизни. Въ Россіи 70-хъ и 80-хъ гг. Марксъ имѣлъ огромное вліяніе. Чѣмъ же онъ былъ для Россіи? На это можетъ быть только одинъ отвѣтъ: главнымъ философомъ русскаго народничества. Неужели поэтому можно утверждать, что наше народничество было вывезено изъ Лондона съ маркой „Made in Germany“? Въ 90-хъ гг.

---

[1]) Sir Charles Wentworth Dilke. Greater Britain. A record of travel in englich-speaking countries during 1866 г. and 1867. London, 1869.

[2]) „Англія Елизаветы развернулась не въ Британію Викторіи, а въ цѣлую половину обитаемаго земного шара. Если два маленькихъ острова изъ вѣжливости были окрещены „Великобританіей“, то Америка, Австралія, Индія должны образовать „Великую Британію“.

русскій марксизмъ въ идеяхъ того же Маркса выражалъ пониманіе, діаметрально противоположное народничеству. Смѣшно говорить, что русскій марксизмъ 90-хъ гг. былъ просто списанъ съ Маркса и Энгельса. Что касается меня лично, то меня марксистомъ гораздо больше сдѣлалъ голодъ 1891—1892 гг., чѣмъ чтеніе „Капитала“ Маркса. Идейные переломы не вычитываются изъ книгъ; они даются историческими переживаніями.

Въ чемъ же смыслъ тѣхъ историческихъ переживаній, пройдя черезъ которыя русскій общественный человѣкъ могъ придти къ тѣмъ положеніямъ, которыя были высказаны въ моей статьѣ?

Я уже указалъ въ своемъ отвѣтѣ Мережковскому, что русская революція научила меня живо ощущать и понимать, что такое государство, и задуматься надъ отношеніемъ русской интеллигенціи къ государству и государственности.

И такъ, въ основѣ всего спора лежитъ огромная проблема государства. Въ дальнѣйшей разработкѣ этой проблемы я постараюсь раскрыть все ея содержаніе.

Но и то, что мною было высказано въ январской книжкѣ Русской Мысли, право, все-таки должно было бы побудить нашу „марксистскую“ журналистику предъявить публикѣ нѣчто болѣе достойное и умное, чѣмъ тотъ полемическій канканъ, который по поводу моей статьи протанцовалъ въ Современномъ Мірѣ г. Ник. Іорданскій [1]). Этотъ канканъ совершенно не соотвѣтствуетъ достоинству и смыслу даже тѣхъ марксисткихъ идей, которыя, такъ сказать, по наслѣдству получены бойкимъ публицистомъ и всегда, безъ особаго напряженія собственной мысли, находятся въ его распоряженіи.

[1]) Мартъ. Вопросы текущей жизни. „Гаденькій вальсъ“ и „поглупѣвшая марсельеза“.

Пусть „національная идея“, о которой говорю я, „не заключаетъ въ себѣ никакого другого содержанія, кромѣ представленія объ опредѣленной системѣ личныхъ и классовыхъ отношеній, отвѣчающей состоянію производительныхъ силъ данной страны и регулирующей ея производственную дѣятельность“.

Пусть „національная идея современной Россіи заключается въ освобожденіи страны отъ хозяйственныхъ и политическихъ пережитковъ крѣпостной эпохи и въ обезпеченіи свободнаго капиталистическаго развитія“.

Даже это куцое „матеріалистическое“ пониманіе національной идеи обязывало публициста Современнаго Міра къ чему-нибудь болѣе серьезному, чѣмъ полемическій канканъ на тему о „гаденькомъ вальсѣ“ и „поглупѣвшей марсельезѣ“. Долженъ сказать, мнѣ стыдно и обидно за марксизмъ, когда—при помощи его идей, хотя бы и односторонніхъ, но все-таки серьезныхъ—бойкія перья устраиваютъ какой-то литературный танцклассъ, который щекочетъ нервы читателей, но предательски усыпляетъ ихъ мозги.

Пусть я оказываюсь едва ли не октябристомъ, вродѣ какъ Лже-Дмитрій былъ „едва ли не жидомъ“, пусть я даже „реакціонеръ“, но неужели г. Іорданскій, въ качествѣ марксиста, не понимаетъ, что если бы даже все въ Россіи совершилось такъ, какъ того желали онъ и его единомышленники,—проблемы, поставленныя мною, оставались бы въ полной силѣ и выступили бы только болѣе выпукло?

Всего печальнѣе то, что мои идеи въ ихъ соціологическомъ существѣ вовсе не интересуютъ марксистскаго матадора. Для него это—„банальная казенщина“, поражающая „скудостью и легковѣсностью содержанія“. Г. Струве для него интересенъ только какъ предметъ, которымъ—для

вящаго утвержденія своей радикальной непорочности и своего классового величія—удобно швыряться въ недостаточно правовѣрныхъ публицистовъ Столичной Почты Они имѣли смѣлость отнестись серьезно и прилично къ моимъ идеямъ, и за это въ нихъ бросаютъ мною, какъ „октябристскимъ“ тѣломъ.

Всякій воленъ дѣлать изъ чужихъ идей какое ему угодно употребленіе. Но—при всей бойкости подобной полемики—русская публика настолько умственно развита, чтобы понимать, на чьей сторонѣ тутъ скудость и безсиліе мысли. Съ марксистской точки зрѣнія, чѣмъ „буржуазнѣе“ представляются мои идеи, тѣмъ онѣ должны были бы быть по существу важнѣе и интереснѣе для анализа современнаго момента русской общественной жизни. Но русскій максизмъ казеннаго образца даже въ такъ называемой „меньшевистской“ своей разновидности страдаетъ такимъ радикальнымъ недомысліемъ, питаемымъ партійно-политической злобой, что онъ не способенъ совершенно подняться на обязательную, казалось бы, для него теоретическую высоту.

Русская революція характеризовалась любопытнымъ идеологическимъ явленіемъ: почти сплошнымъ поглупѣніемъ русскаго марксизма, растерявшаго свои теоретическія идеи.

Полемическія упражненія г. Іорданскаго доказываютъ, что это плачевное состояніе послѣ революціоннаго угара, его объяснявшаго и, пожалуй, извинявшаго,—увы!—еще не прошло.

Мнѣ очень жаль, что изъ неистребимаго уваженія къ марксизму, какъ теоретическому построенію, я вынужденъ быть рѣзокъ по отношенію къ моему уважаемому литературному противнику. Но его замѣчательно гладкій слогъ и завидную бойкость пера я всецѣло признаю, и если бы эти свойства могли замѣнять идеи, я лежалъ бы повер-

женный во прахъ у ногъ такого блистательнаго оппонента.

Къ сожалѣнію, идеи не улавливаются на рапиры даже самыхъ ловкихъ журналистовъ.

III.

Три нападенія [1]).

Въ Московскомъ Еженедѣльникѣ помѣщена статья Д. В. Философова „Апоѳеозъ безпочвенности“ [2]), въ которой авторъ борется съ современнымъ „адогматизмомъ“, съ проповѣдью „отрицанія, небытія и безволія“.

Д. В. Философовъ ищетъ „церкви“, на лонѣ которой онъ и вся русская интеллигенція могли бы догматически успокоиться. И рядомъ съ этимъ онъ находитъ, что „старый Михайловскій требуетъ очень значительныхъ дополненій“. Это какъ бы вродѣ того, что человѣку, желающему съѣздить въ Центральную Африку, сказали бы: возьмите путеводитель по Парижу, но только самаго новѣйшаго изданія съ послѣдними дополненіями. Для Парижа красный Guide великолѣпенъ, но никакими дополненіями его нельзя приспособить къ государству Конго.

Между тѣмъ Д. В. Философовъ и его товарищи, какъ общественные философы, именно и хотятъ чего-то такого, по существу весьма страннаго. Ихъ проповѣдь напоминаетъ мнѣ сны, въ которыхъ комбинируются несоединимыя вещи. Выходитъ чрезвычайно занимательно, красочно, эффектно, но въ то же время безжизненно и бездѣйственно, ибо только—во снѣ. Никакой смѣсью Апокалипсиса съ Мар-

---

[1]) Русская Мысль, 1908 г., декабрь.

[2]) № 45 отъ 15 ноября 1908 г.

ксомъ и Михайловскимъ нельзя сдѣлать „церкви“, нельзя дать „воли“ и „вѣры“.

Я не буду отстаивать—не считаю себя къ тому призваннымъ—философіи „безпочвенности“ Шестова. Боюсь однако, что человѣкъ, увѣровавшій въ „догматизмъ“, любезный Философову, кончитъ адогматизмомъ похуже шестовскаго. Но мнѣ непонятно, почти смѣшно, когда Философовъ на одну доску съ Шестовымъ ставитъ, напримѣръ, С. Л. Франка [1]). И я знаю почему дѣлаются такія сопоставленія. Догматизмъ Философова требуетъ: либо вѣруй въ „звѣриное число“, либо погрузись въ „безпочвенность“. Позвольте, я (и Франкъ) не желаемъ ни того, ни другого. Мы хотимъ именно воли и вѣры, дѣйствія и дѣла. Между „звѣринымъ числомъ“ и „безпочвенностью“ помѣщается не „небытіе“ и „безволіе“, а вся человѣческая жизнь съ ея борьбой и творчествомъ, съ ея сочетаніемъ стихійнаго и разумнаго, малаго и большого. Между этими двумя „терминами“, изъ которыхъ насъ заставляютъ выбирать, лежитъ и вся обыденная жизнь человѣка, и вся общественность, и, наконецъ, вся наука.

Пусть Шестовъ „глумится“ [2]) надъ этой „серединой“ во имя „безпочвенности“, а Философовъ порицаетъ и отвергаетъ ее во имя „церкви“ или „апокалипсиса“, всетаки этой середины нельзя вынуть изъ жизни, не превративъ ея въ „балетный апоѳеозъ“.

---

[1]) Въ помѣщенной въ послѣдней книжкѣ „Критическаго Обозрѣнія“ рецензіи на книгу Иванова-Разумника Франкъ ясно обозначилъ свою позицію, прямо враждебную всякому нигилизму и безпочвенности.

[2]) Повторяю: о Шестовѣ я здѣсь не высказываю никакого сужденія ни за, ни противъ. О себѣ лично скажу, что если я скептикъ, то такой, который распространяетъ скепсисъ и на скептицизмъ. Поэтому мнѣ не только по существу, но и формально чуждъ „апоѳеозъ безпочвенности“.

Слѣдуетъ договориться до конца. Всякая „церковь“, всякая „религія“, всякая „мистика“ должна либо отворачиваться отъ міра сего, либо, проповѣдуя новую общественность, быть практической и практичной. Когда вы проповѣдуете новую общественность, вы не можете для себя быть утопистами, вы должны вѣрить, что ваша проповѣдь есть настоящее, т.-е. осуществимое, практическое дѣло. Хорошъ или худъ соціализмъ, но онъ держится на вѣрѣ въ себя, въ свою осуществимость и практичность. Общественность „звѣринаго числа“, апокалиптически-ново-церковная общественность никому еще не вселила такой вѣры въ себя. И она въ себя плохо вѣритъ, потому что иначе она не искала бы такъ страстно соприкосновенія и союза съ противорелигіозной и противоцерковной, радикальной „демократіей“.

Нѣтъ ни малѣйшихъ признаковъ, чтобы ново-церковная общественность могла настоящимъ образомъ увѣровать въ себя и вселить такую вѣру сколько-нибудь значительному числу людей. О Кромвелѣ было какъ-то вѣрно замѣчено, что его силу составляло то, что онъ былъ практическій мистикъ. Существенно, что онъ былъ мистикъ, но такъ же существенно, что онъ былъ практическій, что онъ могъ провести „Навигаціонный Актъ“, что съ мистической душой онъ желѣзной рукой устроялъ земное дѣло.

И вотъ, возвращаясь къ новой религіозной общественности, которая зоветъ вѣрить въ свой догматъ, мы скажемъ его „проповѣдникамъ“: люди, которые, мучительно переживъ огромный жизненный опытъ и передумавъ въ разныхъ направленіяхъ идейный матеріалъ „соціализма“, извѣрились въ него, не могутъ ужеповѣрить въ общественность „звѣринаго числа“. Адогматизмъ, простирающійся и на „соціализмъ“, и на эту проповѣдь, есть здоровый скепсисъ, не

парализующій „волю“, а дисциплинирующій ее, не упраздняющій „вѣры“, а очищающій ее.

Д. В. Философовъ жалѣетъ о томъ, что „литературныхъ группировокъ, партій съ вожаками—въ русской литературѣ болѣе не существуетъ“. Я не вижу ни малѣйшихъ основаній сожалѣть объ этомъ. Нѣтъ спора: „вожаки“ сыграли извѣстную роль въ русской литературѣ и въ ея развитіи. Но, спросимъ по совѣсти: чье, кромѣ Бѣлинскаго, вліяніе какъ вожака было благотворно въ русской литературѣ? А за исключеніемъ Бѣлинскаго самые крупные русскіе писатели никогда „вожаками“ не были. При „Отечественныхъ Запискахъ“ Некрасова и Салтыкова „вожакомъ“ состоялъ Михайловскій, который въ „литературѣ“ не былъ вовсе ихъ крупнѣе. Мнѣ совершенно чуждо умаленіе своеобразныхъ дарованій Михайловскаго, но если онъ далъ что-нибудь, то именно поскольку не былъ просто „вожакомъ“ и „пастухомъ“ интеллигентскаго стада, поскольку онъ былъ самостоятельнымъ мыслителемъ.

Я сказалъ, что между „звѣринымъ числомъ“ и „безпочвенностью“ лежитъ наука. „Вожаки“, „партіи“, „догматы“ встрѣчаются, конечно, во всѣхъ человѣческихъ дѣлахъ, а потому и въ томъ людскомъ дѣлѣ, которое зовется наукой. Но наукѣ въ идеѣ и по существу чужды всѣ эти категоріи.

Въ русской духовной жизни „вожаки“ и „партіи“ съ „догматами“, между прочимъ, потому играли такую непропорціонально-крупную роль, что—по условіямъ нашего историческаго развитія—настоящая наука, и въ частности наука общественная у насъ была слабо развита. Только въ самое послѣднее время „направленство“ у насъ преодолѣвается наукой и мыслью. Наука, конечно, не тождественна ни съ раціонализмомъ, ни съ позитивизмомъ, но борьба съ раціонализмомъ и позитивизмомъ, которая ведется

въ новѣйшей философіи, въ томъ числѣ и въ русской, лишь постольку есть здоровое и нужное дѣло, поскольку она ведется во имя науки.

Наука—трудное и мало благодарное, скучное и незамѣтное дѣло, въ особенности въ той области, въ которой изъ пріобрѣтеній науки не вытекаютъ ни летательные снаряды, ни телефоны, ни противодифтеритная сыворотка, ни цвѣтная фотографія. Наука о человѣкѣ и его духѣ, та, къ которой такъ часто обращаются ищущіе взоры, всего менѣе обѣщаетъ корысти, всего менѣе содержитъ полезныхъ приложеній. Но это не значитъ, чтобы она не была „дѣломъ", не имѣла практическаго значенія. И ея практическое значеніе заключается между прочимъ въ томъ, что она ведетъ борьбу съ тѣми „звѣриными числами", которыми такъ легко увлекаются люди. Общественная наука „полезна" тѣмъ, что въ ней всегда можно найти критику всѣхъ тѣхъ Wunderkuren, тѣхъ чудодѣйственныхъ способовъ лѣченія, которые предлагаются во имя общественности.

Культура не только творитъ новыя цѣнности, она разрушаетъ старыя цѣнности. Это тоже хорошее и нужное дѣло. „Безпастушность" интеллигентскаго стада, о которомъ скорбитъ Философовъ, съ этой точки зрѣнія не есть только отрицательное явленіе. Вѣдь прежнее существованіе „вожаковъ" и „партій" въ значительной мѣрѣ основывалось на неспособности общества къ качественнымъ оцѣнкамъ. Эта неспособность осталась до сихъ поръ, только выражается она въ хаотической формѣ, обнаруживается какъ процессъ быстраго разложенія. Прежде та же неспособность выражалась въ „пастушности", теперь—въ „безпастушности". Что хуже, что лучше,—трудно рѣшить или, пожалуй, становясь на объективную точку зрѣнія, я бы сказалъ, что современная „безпастушность" означаетъ нѣкоторую высшую ступень.

Я говорю это совершенно объективно: съ той „современной литературой“, о которой и противъ которой пишетъ Философовъ, меня ничего не связываетъ. Я ей чуждъ, но потому, можетъ быть, я могу относиться къ ней справедливѣе. Когда же Философовъ ополчается на „адогматизмъ“ вообще, изъ-за этой критики проглядываетъ философія „звѣринаго числа“. Я долженъ сказать: эта проповѣдь „богообщенія“ меня смущаетъ: въ новѣйшее время „богообщеніе“ не только проповѣдуется (и этого, пожалуй, было бы слишкомъ много!), но и назойливо рекламируется, и мнѣ невольно припоминаются слова Гете о піэтистахъ: Die Leute traktieren Gott, als wäre das unbegreifliche, gar nicht auszudenkende höchste Wesen nicht viel mehr als ihresgleichen“ [1]).

Наше время требуетъ теперь не только призывовъ къ „догматамъ“, а прежде всего ясной, отчетливой мысли о коренныхъ условіяхъ общественнаго совершенствованія, лежащихъ въ самыхъ основахъ личнаго поведенія, требуетъ обостренія идеи личной отвѣтственности. Я уже неоднократно говорилъ объ этомъ. Теперь лишь нѣсколько замѣчаній. Въ настоящее время намъ нужно больше реализма, больше вниманія къ „матеріальнымъ“ основамъ жизни, и въ то же время больше индивидуализма, больше личнаго творчества, личнаго напряженія, намъ нужны, словомъ, тѣ свойства, которыя создали „буржуазный“ строй. Въ знаменитомъ афоризмѣ умудреннаго опытомъ Герцена: „сыроватъ русскій фебринъ-церебринъ“, въ глубокомысленныхъ замѣчаніяхъ, разсыпанныхъ въ письмахъ Тургенева, въ томъ, что было „западническаго“ въ марксизмѣ,—во всемъ этомъ заключаются тѣ

---

[1]) „Эти люди трактуютъ Бога, точно это непостижимое высшее существо, котораго мы не можемъ даже мыслить до конца, для нихъ свой братъ“.

идейные импульсы, которые нужны для современнаго русскаго общества. Нужна творческая энергія, разумное употребленіе которой регулировалось бы здоровымъ чувствомъ мѣры и историческаго смысла. Пусть это звучитъ „буржуазно“, но вѣдь это тотъ итогъ всего пережитого, отъ котораго не уйти.

Если угодно, это тоже догматъ, но догматъ, изъ котораго вытекаютъ жизненныя „нормы“ дѣйствованія, ясныя, практически приложимыя, нормы, которымъ чуждъ элементъ взвинчиванія и экстаза, а присущъ, наоборотъ, элементъ мѣры и дисциплины. Высказывая все это, я думаю, я говорю не только за себя, но и въ духѣ тѣхъ сотрудниковъ Русской Мысли, которыхъ Философъ обвиняетъ въ „апоѳеозѣ безпочвенности“ и которыхъ называетъ, не упоминая меня. Мы всѣ хорошо сознаемъ весь трагизмъ создавшагося въ Россіи политическаго положенія, но у насъ достаточно сильные нервы, достаточно полическаго самообладанія, чтобы за этимъ трагизмомъ видѣть и нѣчто другое: глубокія культурныя задачи, безъ разрѣшенія которыхъ Россія будетъ переходить отъ одной трагедіи къ другой, оставаясь игралищемъ ничтожныхъ кучекъ и слѣпыхъ силъ. Въ той позиціи, которую занимаетъ Русская Мысль, при всей широтѣ взглядовъ, нѣтъ не только апоѳеоза безпочвенности, а есть, наоборотъ, непрерывный призывъ утвердиться на единственной прочной почвѣ, указуемой исторіей.

Отъ Д. В. Философова мнѣ какъ-то неловко переходить къ г. Кранихфельду, написавшему безсодержательную ругательную статью противъ Русской Мысли[1]). Сопоставленіе этихъ статей весьма любопытно. Въ то время какъ Философовъ не только отмежевывается отъ цѣлаго ряда

[1]) Ноябрь.

*

сотрудниковъ Русской Мысли, но даже сурово обличаетъ ихъ въ проповѣди безпочвенности, г. Кранихфельдъ ставитъ Мережковскаго, Гиппіусъ, Философова за общія скобки Русской Мысли, причисляя ихъ къ общему „буржуазному“ лику. Какъ ни несправедливъ Философовъ въ своихъ обличеніяхъ, въ нихъ есть своя мысль, своя точка зрѣнія. Иное дѣло статья г. Кранихфельда. Это донесеніе въ радикальный участокъ о несогласно мыслящихъ, равнодушныхъ къ интересамъ крестьянства и рабочаго класса, зловредно буржуазныхъ журналистахъ. Объ этой статьѣ пишутъ мои товарищи по журналу, и я скажу о ней только два слова. Я не буду говорить о всѣхъ передержкахъ, которыя позволилъ себѣ этотъ авторъ, за неимѣніемъ собственныхъ идей не могущій по существу предъявить ничего кромѣ трафаретовъ. Дѣлая передержки, онъ заходитъ такъ далеко въ этомъ занятіи, что на каждомъ шагу даже вынужденъ оговаривать эти передержки (на стр. 67—68 относительно меня, на стр. 80—81 относительно Галича). Г. Кранихфельда можно поздравить съ тѣмъ, что извѣстный специфическій полемическій пріемъ, который состоитъ въ томъ, чтобы, сдѣлавъ огромную передержку, прицѣпить къ ней крохотную оговорку, онъ культивируетъ съ развязностью неподражаемою. Было бы странно полемизировать съ такими противниками. Но нѣкоторыя особенности подобной полемики всетаки необходимо сигнализировать читателямъ. Прежде всего укажу на одно мѣсто, которое прямо уже обидно для читателя Г. Кранихфельдъ бичуетъ меня за то, что я въ одной своей статьѣ якобы самой цѣнной чертой Толстого призналъ его „лицемѣріе“ [1]).

---

[1]) „Никто иной, какъ Струве самой цѣнной чертой Толстого призналъ его лицимѣріе“. Ковычки принадлежатъ самому Струве, а вотъ его подлинный текстъ:

„Какъ моральный максималистъ, Левъ Толстой долженъ былъ

Что-нибудь одно: либо г. Кранихфельдъ признаетъ, что въ дѣйствіяхъ Толстого, о которыхъ идетъ рѣчь, есть подлинное лицемѣріе, а не только „лицемѣріе“, и тогда онъ долженъ былъ бы обличать Толстого, какъ лицемѣра, либо, говоря о всемъ этомъ, онъ при помощи словъ, въ расчетѣ на то, что читатель не разберется въ нихъ, морочитъ читателя съ цѣлью морально скомпрометировать противника. Tertium non datur.

И я спрашиваю публично г. Кранихфельда: что же, Левъ Толстой лицемѣръ? И продолжаю: а если г. Кранихфельдъ не думаетъ, что Левъ Толстой лицемѣръ, то какъ называется та полемика, которую ведетъ г. Кранихфельдъ?

Я совсѣмъ не хочу сказать, чтобы г. Кранихфельдъ былъ злодѣй. Я, наоборотъ, знаю, что онъ довольно добродушный человѣкъ. Но у насъ существуютъ „направленія“, „партіи“ (хотя бы безъ „вожаковъ“). Г. Кранихфельдъ „записался“ въ одно изъ такихъ „направленій“, и это не счастное обстоятельство заставляетъ его писать разныя гадости. Только и всего.

Въ душѣ своей этотъ добродушный человѣкъ, я увѣренъ, напримѣръ, стыдится той полемической легкости, того подмигиванія, съ которыми онъ подчеркиваетъ, что я б ы в ш і й

бы бросить свою семью и разрушить тотъ экономическій фундаментъ, на которомъ она существуетъ. А онъ даже не лишилъ своей семьи права собственности на главнѣйшія свои беллетристическія произведенія. Однако съ точки зрѣнія живой морали именно это „лицемѣріе“ въ Толстомъ для меня гораздо цѣннѣе, чѣмъ его неумолимая проповѣдь максимализма“.

Сдѣлавъ эту цитату изъ моей статьи въ февральской книжкѣ Р у с с к о й М ы с л и, г. Кранихфельдъ продолжаетъ: „Итакъ начавъ съ высокихъ устремленій въ область религіи и мистики, мы пришли къ весьма благополучному концу. Лицемѣріе, возведенное въ принципъ, это и есть высшая степень е в р о п е и з а ц і и, какой въ Р у с с к о й М ы с л и достигла русская мысль“.

„марксистъ“ и „соціалъ-демократъ“. Вѣдь онъ прекрасно понимаетъ, что мнѣ стать „бывшимъ“ было гораздо труднѣе, чѣмъ ему стать „настоящимъ“, и что каждый шагъ, которымъ я переставалъ быть марксистомъ, дался работой моей собственной мысли. Что же касается „марксизма“, то и теперь многіе изъ „настоящихъ“, а не „бывшихъ“ марксистовъ могли бы съ пользой поучиться марксизму у меня. А они подмигиваютъ, потому что къ этому ихъ обязываетъ „направленіе“.

Мнѣ до послѣдней степени непріятно вести подобную личную полемику, но по временамъ она является досаднымъ и мучительнымъ актомъ самообороны, безъ которой нельзя обойтись.

Съ тѣмъ существеннымъ идейнымъ разногласіемъ, которое въ такой ясной формѣ вскрылось въ статьѣ Философова, и которое не имѣетъ ничего общаго съ гаерскимъ подмигиваніемъ и пустопорожнимъ и пошлымъ подсиживаніемъ гг. Кранихфельдовъ, этихъ жертвъ пережившаго себя „направленства“, мнѣ и моимъ единомышленникамъ изъ состава сотрудниковъ Русской Мысли придется еще не разъ имѣть дѣло. Въ этомъ разногласіи — огромная проблема, отчетливая постановка которой, быть можетъ, означаетъ цѣлый переломъ въ русскомъ идейномъ развитіи.

Тоже я долженъ сказать и о той полемикѣ, которую началъ въ ноябрьской книжкѣ Русскаго Богатства противъ идей „Великой Россіи“ А. В. Пѣшехоновъ. Правда, авторъ статей „На очередныя темы“, мнѣ кажется, самъ не подозрѣваетъ, какъ глубоко затронутое имъ разногласіе, какое коренное значеніе имѣютъ тѣ проблемы, которыя онъ какъ-то простодушно умаляетъ до... „зеленаго винограда“ не сорванныхъ русской интеллигенціей политическихъ и соціальныхъ благъ. Но именно то простодушіе, съ которымъ г. Пѣшехоновъ ставитъ и разрѣшаетъ проблему русскаго

идейнаго и общественнаго кризиса, запечатлѣно искренностью и прямотой, вызывающей на нѣкоторыя окончательныя разъясненія и размежеванія. Отвѣтъ на это третье нападеніе, направленоое на идейную позицію Русской Мысли, я попытаюсь дать въ слѣдующей книжкѣ нашего журнала.

P. S. Моя статья была уже написана и набрана, когда въ Словѣ (№ 635) появилась въ отвѣтъ Философову статья С. Л. Франка „Стадность противъ безпочвенности". Обращаю вниманіе читателей на эту статью, основная мысль которой совпадаетъ съ моими возраженіями, но въ которой есть мысли, существенно и въ чрезвычайно удачной формѣ дополняющія эти возраженія. [1])

IV. [2])

Отвѣтъ г. Пѣшехонову.—А. И. Эртель, какъ религіозный типъ и воплощеніе идеи личной годности.—Борьба за вѣру и борьба за догматъ (нѣсколько словъ о Д. С. Мережковскомъ).

Въ прошлый разъ я обѣщалъ отвѣчать А. В. Пѣшехонову. Полемика публициста Русскаго Богатства съ идеями „Великой Россіи" [3]) есть любопытный образчикъ того „консерватизма интеллигентской мысли", о которомъ я писалъ въ Русской Мысли около 2 лѣтъ тому назадъ.

Этотъ консерватизмъ въ данномъ случаѣ не только объемлетъ и заполняетъ существо вопроса; онъ сказывается и въ формальной неподвижности ума, неспособнаго понять чужую мысль, подставляющаго подъ нее свои соб-

---

[1]) Теперь эта статья перепечатана въ сборникѣ статей С. Л. Франке „Философія и Жизнь".

[2]) Русская Мысль, 1909 г., январь.

[3]) Русское Богатство, ноябрь, „На очередныя темы".

ственныя воззрѣнія и съ ихъ точки зрѣнія критикующаго построенія, возведенныя на совершенно другомъ фундаментѣ. Объ этомъ я скажу еще ниже.

Съ другой стороны, консерватизмъ мышленія такого рода сказывается въ фатальной неспособности разсуждать по существу. Въ этомъ отношеніи я своей статьей „Великая Россія“ продѣлалъ любопытный психологическій экспериментъ. Совершенно ясно, что для выраженія идей, высказанныхъ въ этой статьѣ, мнѣ не было вовсе надобности въ самомъ словосочетаніи „Великая Россія“; еще менѣе было надобности въ томъ, что бы пустить это выраженіе со ссылкой на главу современнаго русскаго правительства; въ дальнѣйшей полемикѣ я указалъ, что самое словосочетаніе это въ томъ особенномъ политическомъ смыслѣ, въ какомъ я его употребилъ, есть русская перелицовка лозунга, съ которымъ въ свое время съ университетской каѳедры излагалъ и проповѣдывалъ англійскій имперіализмъ кембриджскій профессоръ Джонъ Робертъ Сили.

Ссылка на П. А. Столыпина была нужна мнѣ въ свое время, чтобы, съ одной стороны, противопоставить мою точку зрѣнія официальной доктринѣ русской великодержавности, а съ другой стороны, для того, чтобы экспериментально установить, способенъ ли традиціонный русскій радикализмъ разсуждать по существу.

Да, г. Пѣшехоновъ правъ: я „неслучайно“, а совершенно намѣренно свой лозунгъ „Великая Россія“ заимствовалъ не у кого иного, какъ у П. А. Столыпина. Я это сдѣлалъ—да позволено будетъ мнѣ такъ выразиться—„въ разсужденіи“ гг. Пѣшехоновыхъ. Это былъ общественно-психологическій экспериментъ.

Экспериментъ удался блистательно и—увы!—показалъ, что разсужденіе по существу недоступно интеллигентскому

уму, что онъ можетъ танцовать только отъ печки, т.-е. отъ правительства. „Заимствуя“ свой лозунгъ, я—увы!—не расшевелилъ мысли своихъ уважаемыхъ противниковъ, я только раздразнилъ ихъ благородное гражданское чувство и далъ имъ лишній поводъ показать, что „уклонъ воли, который пріобрѣлъ г. Струве.., очень... скользкій“, что я „очень ужъ близокъ къ дѣятелямъ старой государственности“. Правда, для того, чтобы подкрѣпить это утвержденіе, ставятся въ кавычки слова, которыхъ я не употреблялъ, фразы, которыхъ я не писалъ. Это формально недопустимо, и часто подобный пріемъ пускается въ ходъ по недобросовѣстности, но въ данномъ случаѣ, со стороны г. Пѣшехонова, это лишь публицистическая „вольность“ (licentia-poetica!) и литературная неряшливость, и онъ столь, можно сказать, глубоко-основательно и столь простодушно-искренно не понимаетъ меня, что рядомъ съ этимъ непониманіемъ нелойяльное употребленіе кавычекъ есть невинная шалость и такая мелочь, на которой не стоитъ дольше останавливаться, имѣя въ виду разсуждать по существу.

Правда, лица, полемизирующія со мной, разбирающія мои мысли, ощущаютъ по большей части какую-то неодолимую потребность говорить при такихъ оказіяхъ о моей личности. Я имъ этого, конечно, воспретить не могу. Также и г. Пѣшехоновъ вплетаетъ разсужденіе о моей личности въ полемику съ моими идеями. Но такъ какъ я пока еще не мертвое тѣло, то, я думаю, съ моей стороны по меньшей мѣрѣ естественно обнаружить реакцію нѣкоего живого существа на эти назойливыя личныя прикосновенія. И на нихъ я постараюсь отвѣчать тоже по существу.

Г. Пѣшехоновъ правильно указываетъ, что въ качествѣ „политическаго мыслителя“ я не пользуюсь „особой популярностью“. Когда-то „онъ (т.-е. я) былъ кумиромъ молодежи, но послѣ „измѣнъ“, какія за нимъ имѣются, довѣріе

къ нему уже подорвано и теперь едва ли онъ можетъ многихъ увлечь, несмотря на свойственную ему въ области мысли страстность". Отсюда г. Пѣшехоновъ дѣлаетъ выводъ, что я „неспособенъ играть сколько-нибудь значительную роль въ современной сумятицѣ", и потому, въ сущности, если не вполнѣ безвредный, то во всякомъ случаѣ не очень опасный субъектъ.

Указывая на мою непопулярность, г. Пѣшехоновъ совершенно правъ. Успѣха я не имѣю. Но въ то же время даже г. Пѣшехоновъ признаетъ, что идеи, за которыя я стою и которыя я выдвигаю, находятъ какой-то отголосокъ, и потому мой почтенный противникъ, отбросивъ меня лично, какъ человѣка неопаснаго, вынужденъ высказать опасеніе, что „и на этотъ разъ г. Струве, выдвинувшійся изъ к.-д. среды съ „Великой Россіей", является только провозвѣстникомъ новаго теченія, которое, быть можетъ, уже зародилось въ русскомъ обществѣ".

Относительно моего личнаго будущаго г. Пѣшехоновъ совершенно правъ—въ новые „вожди" я не могу попасть и не попаду. Правда, я вообще никогда не былъ „вождемъ", но если г. Пѣшехонову угодно меня называть въ прошломъ „вождемъ" „нарождавшагося марксизма" и „воскресавшаго либерализма", то я скажу просто: той роли, какъ бы ее ни характеризовать, которую я игралъ прежде и въ русскомъ марксизмѣ, и въ освободительномъ движеніи, я не могу и не хочу играть. Г. Пѣшехоновъ и многіе другіе, быть можетъ, подумаютъ и даже скажутъ: зеленъ виноградъ. Но рецепты полученія винограда личнаго политическаго успѣха, вообще говоря, настолько несложны, что, право, и тянуться къ этому винограду не приходится, онъ самъ дается въ руки тому, кто сумѣетъ продѣлать необходимыя тѣлодвиженія и произнести потребные звуки. „Вождемъ" можно быть лишь тогда, когда либо „толпа" покорно слѣ-

дуетъ за тобой, либо ты самъ приспособляешься къ толпѣ. Но абсолютно покорной толпы не существуетъ, и потому вести другихъ всегда значитъ итти съ другими, приспособляясь къ нимъ. Безъ приспособленія нѣтъ „вожаковъ“. Я употребляю это слово вовсе не въ охуждающемъ или осудительномъ смыслѣ. Приспособленіе необходимо не только для личнаго успѣха „вожака“, но и для успѣха дѣла веденія, и въ немъ можетъ не быть ничего морально отрицательнаго. Иногда, наоборотъ, для того, чтобы быть вожакомъ, нужно упражнять и закалять въ себѣ свойства, морально въ высшей степени цѣнныя.

Когда я былъ руководителемъ Новаго Слова и когда я былъ редакторомъ Освобожденія, я шелъ въ ногу съ другими, въ своей дѣятельности осуществлялъ нѣкое коллективное дѣйствіе, былъ—да позволено будетъ употребить народническое выраженіе—въ извѣстной мѣрѣ „артельнымъ человѣкомъ“. Это было нужно для дѣла и было нужно для меня. Теперь это совсѣмъ не нужно для дѣла и совершенно неинтересно и даже невыносимо для меня.

Вотъ и все. Если бы г. Пѣшехоновъ понималъ это, онъ могъ бы совершенно избавить себя отъ географическаго опредѣленія моего политическаго мѣста „гдѣ-то между к.-д. и октябристами“. Пожалуй, при помощи партійно-политическихъ меридіановъ онъ меня на своемъ глобусѣ совершенно не разыщетъ. И впрямь, прочитавъ статью г. Пѣшехонова, я ощутилъ, что онъ меня не на томъ глобусѣ ищетъ.

Сближая меня съ г. Столыпинымъ, почтенный наслѣдникъ мѣста и стиля Михайловскаго очень удачно полемизируетъ, аплодисменты ему заранѣе обезпечены, но вѣдь это грубое и убогое разсужденіе.

Мнѣ очень дороги политическіе принципы, но я глубоко равнодушенъ къ политическимъ формамъ. Вотъ по-

чему между такими людьми, какъ г. Столыпинъ, и мною цѣлая пропасть. Никто и ничто не можетъ меня заставить полюбить то, что любитъ г. Столыпинъ. Формально, по типу отношенія къ политическитъ формамъ, по эмоціямъ, съ ними связываемымъ, г. Пѣшехоновъ даже гораздо ближе къ г. Столыпину, чѣмъ я. Въ моихъ устахъ это не упрекъ, а лишь констатированіе психологическаго факта, изъ котораго я вовсе не желаю дѣлать какого-либо полемическаго употребленія.

При помощи своей радикальской абстролябіи г. Пѣшехоновъ не можетъ опредѣлить моего политическаго мѣста. Если, сближая мои идеи съ возрѣніями г. Столыпина, онъ взводитъ на меня напраслину, такъ сказать, съ своей точки зрѣнія отрицательную, то съ другой стороны или съ другого конца онъ взводитъ на меня напраслину иного рода, положительную, приписываетъ мнѣ добродѣтель, которой у меня нѣтъ. Съ его, пѣшехоновской, точки зрѣнія я гораздо хуже, гораздо порочнѣе, чѣмъ это ему кажется. Правда, та добродѣтель, которою меня не по заслугамъ награждаетъ г. Пѣшехоновъ, какъ-то плохо вяжется съ тѣми пороками, которые онъ мнѣ въ полемическомъ азартѣ приписываетъ. Но это такъ мимоходомъ. Существеннѣе и психологически даже интереснѣе, что онъ все-таки меня считаетъ гораздо болѣе добродѣтельнымъ, чѣмъ я являюсь на самомъ дѣлѣ. Это— то изумительное доказательство консерватизма интеллигентской мысли, о которомъ я говорилъ въ самомъ началѣ статьи. Почтенный сотрудникъ Русскаго Богатства не понимаетъ, какъ можно смотрѣть на что-нибудь не только съ политической точки зрѣнія и не только подъ угломъ зрѣнія текущаго момента. Наше народничество колебалось всегда между двумя крайностями: либо презрительно третировало свысока „политику“, либо весь свѣтъ видѣло только въ окошкѣ „политики“, понимаемой въ смыслѣ за-

воеванія народовластія. Мысль г. Пѣшехонова очень проста: онъ думаетъ, что то идейное перевоспитаніе, къ которому я зову русскихъ людей и однимъ изъ моментовъ котораго въ моихъ глазахъ является воспитаніе въ духѣ государственности, есть для меня лишь обходный, кружный путь къ „винограду“ политической свободы, что это для меня лишь средство къ достиженію завѣтной цѣли. Словомъ, что я соединяюсь съ государственностью и проповѣдую національную идею только ради цѣлей политическаго освобожденія. Кажется, такъ объясняютъ нашу позицію (говорю нашу, потому что не я одинъ ее занимаю) офиціозы изъ Россіи и такъ, по всей видимости, истолковываетъ ее г. Пѣшехоновъ. Совпаденіе въ данномъ случаѣ Русскаго Богатства и Россіи лишено всякаго политическаго значенія, и не для полемическихъ цѣлей я его констатирую, но нельзя не сказать, что оно весьма интересно съ культурно-психологической точки зрѣнія.

Смѣю завѣрить г. Пѣшехонова, что я не столь лукавъ и не столь добродѣтеленъ, какъ онъ предполагаетъ. Я и гораздо откровеннѣе, и гораздо порочнѣе.

Культурную эволюцію такой націи, какъ русская, нельзя втиснуть въ рамки какой-нибудь одной или двухъ политическихъ или соціальныхъ идей. Незрѣлость и умственный фетишизмъ русской интеллигенціи во время революціи сказался именно въ этомъ всепоглощающемъ политицизмѣ, который на нашихъ глазахъ превратился въ политическій Katzenjammer и въ политическую прострацію.

Г. Пѣшехоновъ полагаетъ, повидимому, что тѣ идеи, съ которыми я выступаю, есть тоже просто плодъ политическаго Katzenjammer'a, плодъ разочарованія въ политическихъ результатахъ революціи. Между тѣмъ я уже подчеркивалъ не разъ, что если бы революція дошла до того конца, до котораго ее хотѣлъ довести крайній лѣвый флангъ

освободительнаго движенія,—та проблема идейнаго перевоспитанія, о которой я говорю, стояла бы съ еще большей рѣзкостью и силой передъ общественнымъ сознаніемъ, чѣмъ она стоитъ теперь. Быть можетъ, самое крупное преступленіе реакціи, ея самое разрушительное дѣло состоитъ въ томъ, что она гальванизируетъ строй чувствованій и идей, которымъ пора уйти изъ русской жизни, тотъ духъ рабьяго противокультурнаго бунтарства, которымъ и интеллигенція и народъ оказались отравленными въ дни революціи. Это, повторяю, „цѣлый душевный строй, которому предшествовало цѣлое идейное воспитаніе".

Г. Пѣшехоновъ—мнѣ непонятно даже, почему и для чего—какъ-то умаляетъ существующее между нами разногласіе. Повторяю, вся острота, все жало этого разногласія теперь даже не чувствуется потому, что мы живемъ въ полосѣ реакціи, которая создала чисто призрачное успокоеніе и совершенно искусственное, неустойчивое равновѣсіе, основанное на произволѣ, и тѣмъ притупила антагонизмъ болѣе глубокій, чѣмъ антагонизмъ между „народомъ" и „бюрократіей".

Антагонизмъ этотъ не классовый и не соціальный, а идейно-культурный и идейно-политическій. Политическая буря вызоветъ его наружу въ политической и даже уличной формѣ, какъ свое неизбѣжное слѣдствіе. Если же Россіи суждена будетъ мирная политическая эволюція, онъ будетъ преодолѣнъ идейнымъ развитіемъ и идейной борьбой. Но компромисса въ этой борьбѣ, по существу, быть не можетъ. Это ясно, если смотрѣть на вещи именно поверхъ настоящаго политическаго момента, поверхъ третьедумскаго тумана, который такъ же разсѣется, какъ всякій туманъ. Для русской государственности, которая созидалась тысячу лѣтъ и простоитъ еще не пять и не десять лѣтъ, для которой свѣтъ клиномъ не сошелся на г. Столыпинѣ, не

можетъ быть компромисса ни съ Дубровинымъ въ какой бы то ни было потенціи, ни съ буквами „эсъ“ [1]). Г. Столыпинъ потому и не создалъ никакого настоящаго успокоенія и не далъ странѣ устойчиваго равновѣсія, основаннаго на правопорядкѣ, что его управленіе страной есть сплошной компромиссъ съ г. Дубровинымъ [2]). Вмѣсто того, чтобы хорошенько прикрикнуть на Дубровиныхъ, приказать имъ быть Половцевыми, онъ позволяетъ Половцевымъ подражать Дубровинымъ, а г. Гучкова заставляетъ всему этому пріятно улыбаться.

Но такъ же, какъ консервативное правительство, какимъ только и могло быть правительство г. Столыпина, не могло, не извращаясь въ своемъ существѣ, находиться въ компромиссѣ съ Дубровинымъ, такъ же точно никакое либеральное правительство, какъ бы оно ни было составлено, не могло бы находиться въ компромиссѣ съ буквами «эсъ». Это лишь необходимые политическіе выводы изъ того антагонизма, въ которомъ къ идеѣ государства стоитъ, съ одной стороны, вотчинно-холопское міровоззрѣніе «истинно-русскихъ» людей, съ другой—бунтарско-классовое міровоззрѣніе разныхъ «эсовъ».

---

[1]) Этимъ я не хочу вовсе сказать, что въ Россіи не можетъ быть соціалъ демократической партіи въ западномъ смыслѣ. Наоборотъ, всего вѣроятнѣе, что въ Россіи будетъ существовать классовая рабочая партія и при томъ подъ кличкою соціалъ демократической. Но, конечно, на „эсъ-дековъ“ дней свободы она походить не можетъ. Что касается „эсъ-эровъ“, то вѣдь это не политическая партія, а лишь особое „исключительное положеніе“, долженствующее исчезнуть вмѣстѣ съ другими „исключительными положеніями“. Остальныя партіи лѣвѣе кадетовъ суть либо интеллигентскіе кружки, либо наименованія группъ, лишенныхъ какихъ-либо устойчивыхъ идейныхъ признаковъ. Таковы трудовики.

[2]) Понимая Дубровина какъ политическій символъ и, съ позволенія сказать, политическую идею.

Г. Пѣшехоновъ могъ бы и изъ «Великой Россіи» и изъ другихъ моихъ статей вычитать, что въ нихъ рѣчь идетъ не о средствахъ къ полученію «винограда», а о цѣлой системѣ культурнаго міровоззрѣнія, которая должна быть положена въ основу духовнаго перевоспитанія націи. Онъ это даже знаетъ, но онъ настолько прикрѣпленъ къ своей собственной точкѣ зрѣнія, что мое міровоззрѣніе для него понятно лишь какъ сознательное или безсознательное политическое лукавство.

Что можно такъ мыслить, какъ мыслю я, независимо отъ политической цѣли, это ему непонятно.

Barbarus hic ego sum quia non intelligor illis. Поистинѣ такой человѣкъ для нихъ либо лукавецъ, либо варваръ, или по-русски—дикарь.

Можетъ быть, найдется какой-нибудь примиритель, который захочетъ «объединить» меня съ г. Пѣшехоновымъ. Этотъ примиритель укажетъ, что чрезвычайная охрана и режимъ Столыпина заставляетъ насъ быть заодно. Я не спорю, что на цѣломъ рядѣ формальныхъ вопросовъ, имѣющихъ и большое принципіальное значеніе, мы можемъ объединиться.

Но это объединеніе будетъ въ сущности столь же прочно, какъ прочно знакомство въ вагонѣ желѣзной дороги. Какъ ни могущественна чрезвычайная охрана, мы уже знаемъ, что думать только о ней прямо пагубно. Нужно подумать о себѣ и о своемъ содержаніи, о томъ, что мы можемъ и должны вложить въ жизнь.

А думая объ этомъ, размышляя о духѣ нашего строительства жизни, я не вижу возможности прочнаго и искренняго объединенія съ г. Пѣшехоновымъ. Примиреніе такого основного разногласія возможно только на почвѣ совершенно безпринципнаго оппортунизма. Это былъ бы не только промежуточный, но и гнилой, развращающій компромиссъ.

Г. Пѣшехоновъ пишетъ:

«Мнѣ кажется, что русская интеллигенція, какъ бы она ни хотѣла этого, уже не можетъ сдѣлаться религіозной; если же сдѣлается, то перестанетъ быть интеллигенціей. Точно также мнѣ кажется, что она не можетъ сдѣлаться націоналистической, а если сдѣлается, то не будетъ уже интеллигенціей».

Я съ этимъ совершенно согласенъ. Но я изъ этихъ посылокъ вывожу совершенно не то, что выводитъ г. Пѣшехоновъ. Я полагаю, что интеллигенція должна перевоспитаться и въ своемъ перевоспитаніи раствориться въ націи. Г. Пѣшехоновъ же полагаетъ, что интеллигенція должна воспитать націю по своему образу и подобію.

Это разногласіе важнѣе всего того, что занимаетъ насъ въ текущій моментъ, ибо основныя проблемы, заключенныя въ этомъ разногласіи, опредѣляютъ собой и «текущій моментъ», и засимъ, этотъ моментъ давно окажется протекшимъ, а, проблемы будутъ оставаться и требовать разрѣшенія.

Почти въ непосредственномъ сосѣдствѣ со статьей г. Пѣшехонова въ томъ же № Русскаго Богатства напечатана статья г. Кудрина-Русанова «Компромиссъ между капиталомъ и трудомъ въ Англіи». Въ этой статьѣ небезызвѣстный авторъ доказываетъ русскимъ читателяхъ, какъ плохо либеральное англійское правительство съ Аскитомъ во главѣ и какія мелкія реформы (вродѣ пенсій старикамъ!) оно провело. Съ высоты непорочнаго классоваго соціализма г. Русановъ клеймитъ «вредное для рабочаго класса сближеніе партіи труда съ либералами». «Въ то самое время, какъ мы присутствуемъ при идейномъ и жизненномъ крахѣ англійскаго либерализма, близко напоминающемъ крахъ французскаго радикализма, рабочая партія не находитъ въ себѣ достаточно мужества, чтобы рѣшительно отмежеваться отъ либе-

раловъ». «...Англійскій умѣренный соціализмъ становится на наклонную плоскость «сотрудничества классовъ», по которой сползъ въ объятія радикальной буржуазіи его французскій собратъ. По одну сторону Ламанша ex-соціалисты Вивьяни и Бріанъ, министры въ кабинетѣ бывшаго анархорадикала Клемансо, «участвуютъ» въ правительствѣ, подавляющемъ силою синдикальное движеніе рабочихъ. По другую сторону пролива бывшій соціалистъ Бернсъ, обѣщавшій когда-то «пропитать» (permeate) либерализмъ идеями соціализма, но вмѣсто того ставшій вульгарнымъ ренегатомъ рабочаго класса, «участвуетъ» въ министерствѣ, которое въ теченіе двухъ съ половиною лѣтъ успѣло какъ нельзя яснѣе обнаружить свое банкротство въ области соціальныхъ реформъ. Примѣры, которые должны служить, казалось бы, хорошимъ предостереженіемъ для защитниковъ интересовъ труда!»

Это «примиренческое» настроеніе англійскихъ соціалистовъ—указываетъ авторъ далѣе — тѣмъ болѣе опасно, что въ Англіи нѣтъ революціоннаго синдикализма, который, «несмотря на свои преувеличенія и тактическія ошибки, мѣшаетъ заснуть боевому политическому соціализму на лаврахъ». «А въ болѣе миролюбивой Германіи «сотрудничеству классовъ» мѣшаетъ, к ъ с ч а с т ь ю (ipsissima verba! Курсивъ мой *П. С.*), сама буржуазія, которая обнаруживаетъ такой сервилизмъ по отношенію къ полуфеодальной власти, какого, кажется, трудно найти во всей новѣйшей исторіи. Не то въ Англіи. Здѣсь уснувшія какъ будто за послѣднія 60 лѣтъ революціонныя стремленія массъ открываютъ широко ворота этой политикѣ компромисса труда съ капиталомъ, которая выражается въ томъ, что рабочій классъ идетъ на буксирѣ у очень ловко маневрирующихъ либераловъ и консерваторовъ и, довольствуясь частными реформами, укрѣпляетъ основную твердыню капитализма».

Вотъ какъ русскіе читатели поучаются оцѣнивать политическую и соціальную эволюцію западныхъ странъ, давать щелчки разнымъ Аскитамъ, Клемансо, Бріанамъ, Бернисконную самъ, однимъ за ихъ исконную „буржуазность“, другимъ за ихъ „ренегатство“. Въ этомъ духѣ верхогляднаго и безшабашнаго радикализма продолжается воспитаніе русской интеллигенціи ея призванными и признанными идейными „вождями“ [1]). Но пока продолжается такое воспитаніе русской „передовой“ мысли, вдохновители и вершители реакціи могутъ спать спокойно: ихъ господство обезпечено. На революціонныхъ фразахъ не воспитается никакой политической и моральной силы, которая смогла бы противопоставить себя произволу.

И я спрашиваю г. объединителей: прикажете и съ г. Кудринымъ—во имя чрезвычайной охраны!—идейно объединяться? При всей моей враждебности къ направленству и къ партійному сектанству, я еще большій врагъ безмыслія. Нельзя, во имя чрезвычайной охраны, провозгласить всеобщее „примиренческое“ смѣшеніе идей и довести его до полнаго безмыслія. Открытая борьба идей и міровоззрѣній теперь еще болѣе необходима, чѣмъ прежде. Мы на опытѣ убѣдились, что каша всеобщаго примиренія рождаетъ только неразбериху. Я готовъ итти „по одному пути“ съ человѣкомъ, который хочетъ итти дальше меня или, наоборотъ, не хочетъ итти такъ далеко, какъ я, но я не желаю итти съ человѣкомъ, который завтра впадетъ въ буйное умопомѣшательство и запуститъ въ меня булыжникомъ. А человѣкъ, который разноситъ министерство Аскита и ругаетъ Бернса за „ренегатство“, такой человѣкъ, въ роли руково-

[1]) Нетрудно было бы фактически опровергнуть г. Кудрина, но это завело бы меня слишкомъ далеко. Ср., впрочемъ, „Письмо изъ Франціи“ въ настоящей книжкѣ.

*

дителя русскаго общественнаго мнѣнія, внушаетъ мнѣ именно подобныя опасенія, и я ни съ нимъ, ни съ его воспитанниками не желаю „объединяться“.

Мы переживаемъ очень тяжелое время. Но мы, по крайней мѣрѣ, можемъ и обязаны имъ воспользоваться для того, чтобы собрать и упорядочить наши мысли. А вмѣсто этого намъ предлагаютъ—во имя чрезвычайной охраны! — привести ихъ въ первобытный хаосъ. Ничего худшаго мы не могли бы сдѣлать.

Пусть изувѣрство классовой борьбы въ устахъ г. Кудрина холодно, какъ ледъ, и безжизненно, какъ камень. Пусть его статья—коллекція акуратныхъ историческихъ справокъ и любопытныхъ цитатъ, неспособная никого окрылить и подвигнуть. Въ данномъ случаѣ интересенъ не конкретный случай и его непосредственное значеніе. Рѣчь идетъ, повторяю, о „цѣломъ душевномъ строѣ, которому предшествовало (и предшествуетъ, какъ мы видимъ) цѣлое идейное воспитаніе“. Холодный Zitatenprofessor этого идейнаго воспитанія, г. Кудринъ лишь яркій образчикъ явленія, которое поважнѣе всего того, что заполняетъ текущій моментъ. И я говорю не съ утилитарной точки зрѣнія, не въ духѣ того тепловатаго либеральнаго оппортунизма, съ точки зрѣнія котораго по нынѣшнимъ временамъ такъ же „неблаговременно“ разносить Аскита, Бернса, Клемансо и Вивіани, какъ и спорить съ гг. Пѣшехоновыми и Кудриными. Опытъ русской революціи жестоко наказалъ насъ за беззаботность насчетъ идей и міровоззрѣній, ибо онъ показалъ, что механически очистить страну отъ произвола невозможно.

Только борьба за принципы и идеи можетъ оправдать и освятить терпимость въ отношеніяхъ къ людямъ. У насъ же привыкли идейную безпринципность и личную терпимость смѣшивать и равнять подъ одно. Между ними въ существѣ нѣтъ ничего общаго: какъ послѣдняя есть не-

обходимое начало здороваго развитія и устроенія жизни, такъ первая есть признакъ ея распада.

Начитавшись писаній гг. Пѣшехонова и Кудрина, я съ отрадой читалъ и перечитывалъ драгоцѣнныя выдержки изъ писемъ А. И. Эртеля, печатаемыя въ настоящей книгѣ нашего журнала въ статьѣ Л. Ф. Нелидовой.

Для меня Эртель сталъ существовать только послѣ этой статьи. Я зналъ объ Эртелѣ, кое-что читалъ изъ его вещей, но счастья личнаго знакомства съ этимъ замѣчательнымъ человѣкомъ я не испыталъ, и потому Эртель для меня, какъ навѣрное и для многихъ другихъ, оставался—какъ принято говорить—„почтеннымъ“ литературнымъ именемъ. Но теперь мы узнаемъ, и это совершенно очевидно, что Эртель былъ одной изъ самыхъ замѣчательныхъ личностей своего времени. Болѣе того: какъ личность, онъ войдетъ въ исторію русской культуры вообще и займетъ тамъ свое мѣсто.

„А. И. Эртель отошелъ отъ литературы, чтобы заняться... сельскимъ хозяйствомъ. Исторія этого перехода, это въ сущности исторія жизни Александра Ивановича, драма его жизни“. Такъ пишетъ г-жа Нелидова. Это вѣрно, но именно въ этой драмѣ вся—да позволено будетъ такъ выразиться—замѣчательность этой жизни, вся ея красота. Эртель былъ „настоящая религіозная натура“. Совершенно вѣрно. Но религіозность натуры Эртеля проявилась вполнѣ именно въ драмѣ его жизни, въ его нелитературномъ дѣланіи, въ этой „лошадиной генеалогіи“, въ этой „бойнѣ и уборкѣ птицы“, въ этой „хлудовской пшеницѣ“.

Эртель—живое, яркое, дѣйственное воплощеніе тѣхъ идей, которыя въ отвлеченной и потому слабой, „литера-

турной", „книжной" формѣ я пытался выразить въ своихъ разсужденіяхъ о „народномъ хозяйствѣ и интеллигенціи" [1]). Его жизнь есть моральный и культурный урокъ русскому обществу, гораздо болѣе выразительный и поучительный, чѣмъ всякія разсужденія. И теперь, когда меня спросятъ, что я разумѣю подъ идеей личной годности и подъ религіознымъ отношеніемъ къ производственному процессу, я могу указать на „драму жизни" Эртеля. Эртель тяготился своимъ жизненнымъ дѣланіемъ, онъ ощущалъ его иногда и даже часто, какъ настоящій крестъ. Это человѣчески было болѣе чѣмъ понятно, но философски было съ его стороны ошибочно. То, что онъ дѣлалъ, было важнѣе и значительнѣе не только его литературной дѣятельности, но всякой и всей литературы вообще. Сажать капусту важнѣе, чѣмъ писать книги. И важнѣе не въ утилитарно-житейскомъ, а именно въ религіозномъ смыслѣ. Эта мысль заключаетъ одну изъ правдъ, содержащихся въ ученіи Льва Толстого. Ученіе объ опрощеніи лишь довольно убогій и практически безплодный выводъ изъ этой мысли, которую можно выразить менѣе конкретно такъ: жить и дѣйствовать важнѣе, чѣмъ разсуждать о жизни и дѣйствіяхъ.

Неся свой крестъ, Эртель чувствовалъ это, когда писалъ: „Быть гуманистомъ, сидя въ кабинетѣ или вообще вращаясь въ сферѣ словъ и книгъ, совсѣмъ не то, что сохранить за собою всѣ сіи высокія качества въ аду подлинной, не абстрагированной дѣйствительности, купаясь въ прелестяхъ „быта", особенно русскаго, донынѣ неправдоподобно-жестокаго быта. А между тѣмъ въ возможно правильной постановкѣ этихъ реальныхъ отношеній вся суть,

---

[1]) См. выше статью подъ этимъ заголовкомъ.

и пока ея не достигнешь, не будетъ толка изъ всѣхъ нашихъ теченій, направленій и настроеній".

Сильно и ярко проявлялась религіозная натура Эртеля въ его дѣланіи, но мы узнаемъ изъ его писемъ, что это дѣланіе было не безсознательно-религіозное, что оно освѣщалось подлиннымъ свѣтомъ религіознаго сознанія.

Не случайно онъ отвернулся отъ позитивизма и народничества. Какая ясность религіозной мысли въ его великолѣпныхъ словахъ: „основной рычагъ общественнаго поведенія долженъ быть установленъ безъ всякаго отношенія къ злобѣ дня, онъ долженъ опредѣляться не статистикой, не положеніемъ крестьянскаго быта, не тѣми или иными дефектами государственнаго хозяйства и вообще политики, но философски-религіознымъ пониманіемъ своего личнаго назначенія. Я полагаю, что для нашей молодежи первая и главная задача—пріобрѣтеніе устойчиваго принципа; все остальное приложится".

Вотъ—настоящая религіозная принципіальность, выраженная въ сильной и отчетливой формулѣ. Вотъ—драгоцѣнный призывъ всегда разсуждать по существу. И рядомъ съ этимъ какая мудрость человѣка, извѣдавшаго жизнь и измѣрившаго ея глубины: „безусловное пониманіе добра и зла, и условное дѣйствіе въ осуществленіи перваго и въ борьбѣ съ послѣднимъ,—вотъ что нужно для всякой дѣятельности".

Въ жизненной философіи Эртеля мнѣ видится крѣпкая дѣйственная вѣра, которую можно назвать здоровымъ догматизмомъ, столь нужнымъ въ наше время.

Что я стою на почвѣ такой вѣры, кажется, въ этомъ не могло бы быть сомнѣнія. И потому мнѣ совершенно непонятна та полемика, съ которой подъ заголовкомъ „Борьба

за догматъ" выступилъ противъ меня Д. С. Мережковскій [1]). Прагматическое или дѣйственное пониманіе догмата есть какъ разъ то, которое мы, коихъ ему угодно называть „адогматиками", всегда выдвигали. Но не мы первые выдумали и это пониманіе, и эту вѣру. Людей, чувствовавшихъ и думавшихъ такъ, до насъ было много. Быть можетъ, лучшимъ и самымъ мощнымъ проповѣдникомъ такой вѣры былъ Гете. „Всѣ эпохи—писалъ онъ,—въ которыя господствуетъ вѣра въ какой бы то ни было формѣ, блещутъ, подымаютъ духъ и плодотворны для современниковъ и потомковъ. Наоборотъ, всѣ эпохи, въ которыя безвѣріе, въ какой бы то ни было формѣ, одерживаетъ плачевныя побѣды, пусть даже онѣ временно красуются въ призрачномъ блескѣ, для потомства исчезаютъ".

Гете былъ вѣрующимъ, но онъ же сказалъ: „какъ мы мыслимъ себѣ Бога, это совершенно безразлично".

Что это: вѣра или безвѣріе? Догматизмъ или адогматизмъ? Мережковскій вводитъ новое понятіе догмата, подъ которое ни одинъ церковный догматъ не подходитъ и которое есть отрицаніе церковной догматики въ точномъ смыслѣ.

Я говорю: „новое понятіе", имѣя въ виду догматъ, какъ онъ понимался и понимается до сихъ поръ тамъ, гдѣ есть церковная или, что тоже, о б щ е с т в е н н а я догматика. Но въ отношеніи вѣры, ея объекта и процесса въ пониманіи Мережковскаго нѣтъ ничего новаго. Это—пониманіе Гёте и классической нѣмецкой философіи, пониманіе свободнаго религіознаго творчества. Причемъ тутъ борьба за д о г м а т ъ, я не понимаю. Тутъ пока только борьба за вѣру. Однако Мережковскій дѣлаетъ шагъ дальше и обнаруживаетъ свою истинную цѣль: непосредственно утверждаемую на религіоз-

[1]) Р ѣ ч ь № 307 отъ 14 декабря 1908 г.

ной вѣрѣ общественность. Мнѣ кажется, въ послѣдней лежитъ центръ тяжести всѣхъ стремленій Мережковскаго. Общественность можетъ быть построена на вѣрѣ двояко: безъ всякой видимой организаціи, творчествомъ свободнаго индивидуальнаго духа, свободной игрой душевныхъ силъ въ свободномъ, не связанномъ никакой организаціей общеніи умовъ и душъ или же въ формѣ связаннаго общенія, въ формѣ организаціи или церкви. Мережковскому нужна церковь, и потому ему сверхъ той вѣры, которою довольствуемся мы, нуженъ какой-то идейный цементъ, связывающій или склеивающій вѣрующія души въ нѣкое соборное цѣлое или единство.

Вопросъ, стало быть, въ томъ: нужна ли для вѣры церковь? Этотъ вопросъ можно поставить такъ: индивидуализмъ или соціализмъ въ религіи? Къ этому вопросу я вернусь еще не разъ. Пока скажу только: всякая новая церковь придетъ не на пустое мѣсто. У насъ уже есть церкви, корни которыхъ уходятъ въ глубь вѣковъ. Отъ ихъ исторіи и жизни нельзя отдѣлаться нѣсколькими радикальными фразами. Я думаю, что не всѣ онѣ мертвыя тѣла.

Быть можетъ, наибольшая ошибка Мережковскаго, его утопизмъ, какъ общественно-религіознаго дѣятеля, заключается въ томъ, что онъ замышляетъ творить церковную общественность помимо того, что создано исторіей въ этой области.

Какъ далеко подобное отношеніе отъ великихъ примѣровъ церковнаго реформаторства!

Проповѣдь новой церковной общественности ставитъ не только дилемму: индивидуализмъ или же соціализмъ въ религіи? Она ставитъ и другую дилемму: царство Божіе внутри васъ есть или же царство Божіе—космическая катастрофа?

Иначе это можно выразить такъ: спиритуализмъ или матеріализмъ въ религіи?

Всякая индивидуалистическая, свободная, неорганизованная религія рѣшаетъ вопросъ въ смыслѣ первой формулы. Всякая соціалистическая, связанная, организованная, общественная, церковная религія рѣшаетъ вопросъ въ смыслѣ второй. Религіозный соціализмъ есть въ то же время религіозный матеріализмъ, религіозный индивидуализмъ есть религіозный спиритуализмъ.

Въ христіанствѣ, какъ историческомъ явленіи, заключены эти два мотива, изъ противоборства которыхъ слагается вся историческая драма христіанства. По моему глубочайшему убѣжденію соціализмъ и матеріализмъ христіанства уже побѣжденъ его индивидуализмомъ и спиритуализмомъ. Историческій споръ уже рѣшенъ.

Утопизмъ Мережковскаго, какъ религіознаго мыслителя, и заключается въ его (впрочемъ, отнюдь не неоригинальной) попыткѣ—спасти отъ увяданія и возродить соціализмъ и матеріализмъ христіанства, вдохнуть въ него новую жизнь.

Какъ религіозный соціалистъ и матеріалистъ, Мережковскій ведетъ борьбу не за новое пониманіе догмата, а за возрожденіе старой преодолѣнной догматики христіанства. Неслучайно и въ то же время драматично тяготѣніе Мережковскаго къ интеллигенціи. Интелигенцію и Мережковскаго, какъ я уже указывалъ когда-то раньше, объединяетъ единая соціалистическая и матеріалистическая основа ихъ міровоззрѣній.

И въ то же время любовь Мережковскаго къ интеллигенціи безнадежна. Соціализмъ и матеріализмъ того въ сущности с т а р а г о христіанства, проповѣдникомъ котораго является Мережковскій, слишкомъ всетаки по существу суровъ, глубокъ и въ то же время тонокъ для того,

чтобы завоевать умы нашей радикальной интеллигенціи. Ей нужно нѣчто болѣе мягкое, плоское и въ то же время грубое.

А для людей, стоящихъ духовно внѣ интеллигенціи, религіозный соціализмъ и религіозный матеріализмъ прямо невыносимы. Ихъ религіозной настроенности соотвѣтствуетъ религіозный индивидуализмъ и спиритуализмъ, для котораго не нужна и не интересна матеріализація царства Божія.

И затѣмъ: видѣть въ возможныхъ и грядущихъ эмпирическихъ катастрофахъ исполненіе религіозной эсхатологіи значитъ итти на крушеніе, выражаясь вульгарно, на провалъ послѣдней.

Двойной утопизмъ Мережковскаго обрекаетъ всю его религіозно-общественную дѣятельность на неудачу. Тутъ для меня не можетъ быть вопроса.

Но къ чему эта неудача должна привести Мережковскаго и его друзей,—этого, я думаю, никто въ настоящее время предвидѣть не можетъ. Новая религіозная общественность—ставка не „тактическая“, и когда такія ставки проигрываются, новыми „директивами“ себѣ не поможешь.

V.

„Вѣхи“ и „Письма“ А. И. Эртеля.—По поводу статьи кн. Д. И. Шаховскаго [1]).

Сборникъ «Вѣхи» подвергся почти единодушному осужденію „прогрессивной“ печати. С. Л. Франкъ уже отмѣтилъ [2]) однако всю непринципіальность и оппортунистичность, про-

---

[1]) Русская Мысль, 1909 г., май.

[2]) „Вѣхи и ихъ критики“ въ газетѣ Слово отъ 1 апрѣля.

являющуюся въ этихъ осужденіяхъ. Апологеты интеллигенціи самую „идеологію“ ея отстаиваютъ какъ-то безъ идей, а точно по „долгу службы“, какъ полицейская часть, отряженная въ „нарядъ“, дабы пресѣкать всякіе безпорядки и безчинства. Защищая интеллигенцію отъ нападокъ „Вѣхъ“, они сами являютъ изъ себя даже не старовѣровъ, а какихъ-то маловѣровъ, которые потому и боятся „соблазна“, что они, подобно щедринскому либералу, вообще „всего опасаются“. Впрочемъ, настоящая воинствующая „интеллигенція“ еще не высказалась.

Дѣйствуютъ больше ея „обожатели“ вродѣ гг. Философова и Игнатова, люди, которые смотрятъ на самую воинствующую интеллигенцію со стороны и снизу вверхъ. Когда напишетъ г. Пѣшехоновъ, тогда только можно будетъ сказать, что заговорилъ подлинный „хозяинъ“, что Roma locuta est. А пока только воздыхатели стремятся показать и доказать, что они не за одно съ „скандалистами“, что они въ оскорбленіи величества не участвуютъ. Зрѣлище довольно забавное.

Но о немъ не стоитъ много распространяться. Гораздо интереснѣе и содержательнѣе, чѣмъ мертвый голосъ поклонниковъ интеллигенціи, звучащій изъ какой-то идейной могилы, тотъ живой голосъ, который раздался изъ свѣжей, но подлинной могилы А. И. Эртеля. Я имѣю въ виду его „Письма“. Отрывки изъ нихъ были уже напечатаны въ Русской Мысли и тогда же отмѣчены мною, какъ нѣчто поистинѣ замѣчательное [1]). Теперь они лежатъ въ видѣ цѣлаго, довольно объемистаго тома [2]). „Письма“ А. И. Эртеля по значительности и глубинѣ содержанія, по

---

[1]) См. статью Л. Ф. Нелидовой: „Александръ Ивановичъ Эртель въ его письмахъ“ и мои „На разные темы“ въ январской книжкѣ за текущій годъ. [Перепечатано выше].

[2]) Письма А. И. Эртеля. Подъ редакціей и съ предисловіемъ М. О. Гершензона. Москва, 1909 г.

великолѣпной выразительности и мѣткости языка должны стать классическимъ произведеніемъ нашей эпистолярной литературы. И до чего они своевременны! Сколько въ нихъ прозрѣній!

Участники „Вѣхъ“ не могутъ не радоваться одновременному появленію ихъ сборника и „Писемъ“ Эртеля. Мысли Эртеля, изложенныя въ интимнѣйшихъ письмахъ, никогда не предназначавшихся для печати, относятся преимущественно къ эпохѣ подготовки „освободительнаго движенія“. Но они изумительно, по своему духу, совпадаютъ и съ той критикой интеллигенціи, которая дана въ „Вѣхахъ“, и что гораздо существеннѣе, съ тѣми положительными идеями, которыя развиты въ этомъ сборникѣ и противопоставлены интеллигентской идеологіи. Передъ такимъ совпаденіемъ нелѣпые и свидѣтельствующіе о полномъ идейномъ безсиліи толки о томъ, что идеи „Вѣхъ“—продуктъ „общественной реакціи“, казалось бы, должны смолкнуть.

Считаю нужнымъ сказать при этомъ, что въ самихъ „Вѣхахъ“ есть нѣсколько струй. Меня (и С. Л. Франка) отъ С. Н. Булгакова и, еще больше, отъ М. О. Гершензона отдѣляетъ многое. Высказываясь поэтому о совпаденіи идей, выраженныхъ въ „Вѣхахъ“, съ мыслями Эртеля, я говорю исключительно за свой страхъ.

Основная положительная идея, которую необходимо противопоставить интеллигентской „идеологіи“,—это идея религіи, какъ построяющаго и освящающаго жизнь начала.

„Будетъ хорошо лишь тогда, когда впереди пойдутъ не дворяне, не буржуа, не разночинцы, не народъ, а именно люди съ р е л и г і о з н о й жаждою правды и свободные, свободные вполнѣ“ (стр. 279).

„Пусть, пусть ученіе Христа въ глазахъ народа одѣто аллегоріями, символами, обрядами, суевѣріями, предразсудками, мощами, Иверской, „батюшкой Царь-Градомъ“ и

„матушкой Пятницей“,—за всей этой шелухой все Онъ же любвеобильный, кроткій, мудрый,—Онъ, котораго, слава Богу, еще не превзошли никакіе Марксы и Чернышевскіе, подъ сѣнью котораго есть мѣсто и искусству, и наукѣ, всему, что не противорѣчить любви и милосердію. Этотъ-то первый шагъ нашей протестующей интеллигенціи нужно сдѣлать—надо полюбить Христа и понять Его“ (стр. 301). Это было написано въ 1892 г. въ замѣчательномъ письмѣ къ покойной А. В. Погожевой, имѣющемъ вообще огромное значеніе для характеристики міровоззрѣнія А. И. Эртеля. Тамъ же мы читаемъ: „Я склоненъ думать, что плодотворность 40-хъ гг. отчасти произошла отъ того, что протестующіе люди того времени испытали на себѣ самихъ глубокую и серьезную культуру... Намъ необходимо запастись болѣе надежнымъ багажомъ и прежде всего культурою нашего *я*“ [1]).

Изъ переписки Эртеля мы видимъ, какъ жизнь учила и научила его быть религіознымъ, т.-е. понимать, что внѣ отношенія къ Высшему, Абсолютному Началу человѣческая жизнь есть слѣпая игра слѣпыхъ силъ.

Но у Эртеля мы видимъ не просто религіозность. Его религіозность свободная [2]), отталкивающаяся отъ всякаго „догматизма“.

Вотъ пунктъ, на которомъ стоитъ остановиться. Что такое „догматизмъ“ и возможна ли религія недогматическая?

Объ этомъ вопросѣ мы находимъ у Эртеля чрезвычайно интересныя разсужденія. Въ спорѣ съ В. Г. Чертковымъ Эртель указалъ ему на его „догматизмъ“:

„Собственно въ томъ понятіи, которое опредѣляется словомъ „догматизмъ“, нѣтъ ничего укорительнаго. По-мо-

---

[1]) Ср. письмо 1902 г., къ Б. Д. Вострякову.

[2]) Ср. глубокое и захватывающее своей искренностью письмо 1908 г. кг А. Г. Пашковой о церкви и церковности, гдѣ Эртель говоритъ, что церковь ему не нужна.

ему, „догматизмъ“ будетъ тогда характиризовать образъ мыслей извѣстнаго человѣка, когда для него эти мысли претворятся въ плоть и кровь, сдѣлаются неотъемлемой частью существа, замкнутся въ какомъ-либо опредѣленномъ кругѣ, пріобрѣтутъ силу несомнѣнной и незыблемой истины. Такого рода догматизмъ есть непремѣнный спутникъ всякихъ искреннихъ убѣжденій и искреннихъ міровоззрѣній, когда пониманіе жизни, свойственное человѣку, изъ процесса мышленія становится вѣрою, отливается въ крѣпкія и законченныя формы.

„Такимъ образомъ, догматизмъ есть извѣстное состояніе мысли и даже болѣе того — состояніе сознанія. Весь вопросъ только въ томъ, рано или поздно появилось такое состояніе, т.-е. правильныя или ошибочныя мысли оно завершило. Но, во всякомъ случаѣ, та система мнѣній, которая уже подверглась „одогматизированію“, если можно такъ выразиться, мало доступна доводамъ отъ противнаго. Разложить ее, привести ее вновь въ состояніе броженія, придать оформленной неподвижности характеръ текучести, характеръ процесса, если и можно, если удается иногда, такъ отнюдь не логическими разсужденіями, а логикою фактовъ, логикою дѣйствительности, всею цѣлокупностью подлинной жизни съ ея подчасъ поразительными аргументами“ [1]).

Эртель тутъ недостаточно, какъ мнѣ кажется, ясенъ и принципіаленъ въ своемъ отрицаніи догматизма. Отрицаніе догматизма имѣетъ глубочайшее основаніе, метафизическое и въ тоже время религіозное и моральное. Въ догматизмѣ заключено внутреннее противорѣчіе. Догматизмъ есть притязаніе конечнаго сознанія на всецѣлое обладаніе безконечной или окончательной истиной. И какъ это ни можетъ показаться парадоксальнымъ, я утверждаю, что для совре-

---

[1]) Стр. 214.

меннаго сознанія усиленіе подлинной религіозности можетъ заключаться лишь во все большемъ и большемъ преодолѣніи догматизма. Въ области отвлеченной „вѣры“ это совершенно ясно обозначающійся процессъ. Въ современности мы имѣемъ тому яркій примѣръ. Самое крупное явленіе русской религіозной жизни современности—Левъ Толстой. Въ его „вѣроученіи“ буквально нѣтъ ни одного догмата. Религіозность Толстого отрицать безсмысленно, но выразить ее въ какомъ-нибудь „богословіи“ абсолютно невозможно. Толстой, если и догматиченъ въ вѣроученіи, то это догматизмъ отрицанія и разрушенія, иногда—нужно сказать правду—нестерпимый не только для вѣрующихъ, но и для третьихъ лицъ.

Но въ области морали Толстой дѣйствительно догматиченъ.

Любопытный, неосознанный, мнѣ кажется, самимъ пишущимъ, комментарій-оцѣнку этого моральнаго догматизма Толстого даетъ его послѣдователь В. Г. Чертковъ въ своихъ письмахъ къ Эртелю. Послѣдній принадлежалъ къ числу тѣхъ немногихъ русскихъ интеллигентовъ, которые по существу признавали и понимали огромное значеніе религіозно-философской дѣятельности Толстого. Онъ оцѣнивалъ эту дѣятельность такъ:

„Л. Толстой сдѣлалъ все, что могъ, это хорошо. Если онъ не повернулъ общественнаго теченія куда ему хотѣлось, такъ вѣдь это тоже хорошо. Ибо жизнь во всемъ ея объемѣ, во всемъ ея разнообразіи красокъ, тоновъ, выраженій не подлежитъ одному знаменателю, хотя бы этотъ знаменатель былъ не токмо Толстой, но даже Самъ Христосъ, Но Толстой лишній разъ и съ необыкновенною силою вдвинулъ въ общественное сознаніе понятіе о Правдѣ—и что тамъ ни дѣлай, какъ ни старайся зажать ему ротъ Побѣдоносцевъ съ Ко, какъ ни компрометируй его мыслей ар-

хіепископы Никаноры и Михайловскіе своими нападками, Буренины и Суворины своею защитою, Правда останется; и въ безчисленномъ количествѣ казусовъ, въ безчисленныхъ проявленіяхъ человѣческаго духа сослужитъ свою великую службу. Л. Толстой потерпѣлъ фіаско въ той части своей дѣятельности, которая задавалась цѣлью создать и осуществить извѣстный практическій идеалъ, перестроить типъ общества по образцу логическихъ категорій, свести все разнообразіе и богатство жизни къ единой схемѣ древлехристіанской общины,—фіаско неизбѣжное, если припомнимъ, что планы общественнаго устроенія отнюдь не осуществляются одною теоретическою работою мысли, ни даже однимъ личнымъ примѣромъ, а цѣлой совокупностью историческихъ условій и сложнымъ процессомъ общенароднаго сознанія. Но гдѣ Толстой отчасти выяснялъ и реставрировалъ, отчасти же воздвигалъ на невиданную еще высоту незыблемыя понятія любви, истины и, добавлю, красоты, онъ имѣлъ, имѣетъ и будетъ имѣть огромный успѣхъ. Правда, успѣхъ, мало уловляемый статистикой, какъ это всегда бываетъ съ таинственными процессами философской мысли и художественнаго творчества“ [1])

Слова эти вызвали отвѣтъ В. Г. Черткова. Онъ отрицаетъ, что Толстой претерпѣлъ фіаско въ своихъ „попыткахъ общественнаго переустроенія“. Тутъ будто бы заключается полное недоразумѣніе: Толстой никогда не пытался ничего переустраивать и „всегда, къ глубокому неудовольствію многихъ его друзей, отстранялся отъ всякихъ попытокъ въ этомъ направленіи“. Чертковъ указываетъ, что Эртель, говоря, что жизнь людей видоизмѣняется „цѣлою совокупностью историческихъ условій и сложныхъ процессовъ общенароднаго сознанія“, лишь повторяетъ одну изъ завѣтныхъ мыслей

[1]) Стр. 215—216.

Л. Н,. выраженную имъ въ „Войнѣ и мирѣ“, и снова подчеркиваетъ, что Толстой „никогда не задавался никакимъ переустройствомъ; онъ даже всегда отказывается, когда его спрашиваютъ, опредѣлять тѣ внѣшніе результаты, тѣ новыя формы жизни, которыя онъ желалъ бы видѣть осуществленными среди людей. Онъ только говоритъ, что такъ жить, какъ мы живемъ, не слѣдуетъ и предлагаетъ себѣ и другимъ жить иначе, избѣгая по возможности то злое, что намъ раскрылось въ нашей жизни. Что же изъ этого выйдетъ, къ какимъ внѣшнимъ формамъ жизни оно приведетъ, объ этомъ онъ (Толстой) никогда не думаетъ“.

Далѣе Чертковъ, какъ „ребячески-наивное“, отводитъ „сужденіе (Эртеля)...о томъ, что если спустя нѣсколько лѣтъ послѣ того, какъ Л. Н. высказалъ свои идеалы, современное общество не переустроилось, то это обнаруживаетъ безсиліе самихъ этихъ идеаловъ“. Это—„точка зрѣнія хроникера еженедѣльной газеты или внутренняго обозрѣвателя ежемѣсячнаго журнала“ въ примѣненіи „къ такимъ переворотамъ, которые, если имъ и суждено осуществиться, то могутъ совершаться лишь столѣтіями“. По нѣсколькимъ годамъ нельзя судить объ успѣхѣ въ обществѣ „міровоззрѣнія, которое борется не только противъ отсталыхъ внѣшнихъ формъ, но и противъ односторонности всей культуры данной эпохи“.

Эти мнѣнія В. Г. Черткова, повидимому, раздѣляемыя имъ и теперь, чрезвычайно интересны и знаменательны.

Въ нихъ сама собой вскрывается внутренняя несостоятельность и морально-религіознаго догматизма Льва Толстого. Догматизмъ изгоняется изъ своего послѣдняго убѣжища.

Моральный догматизмъ въ томъ и состоитъ, что онъ абсолютно предписываетъ (или „опредѣляетъ“) „новыя формы жизни, которыя онъ желалъ бы видѣть осуществленными среди людей“.

И если намъ говорятъ, что Толстой отказывается опредѣлить эти новыя формы, то это значитъ, что свои абсолютныя предписанія, какъ таковыя, онъ беретъ назадъ или, по меньшей мѣрѣ, онъ за ихъ осуществленіе слагаетъ съ себя отвѣтственность.

Пусть не говорятъ намъ, что Толстой отказывается „опредѣлить“, къ какимъ именно „внѣшнимъ“ формамъ жизни приведетъ исполненіе его моральныхъ указаній: разрушеніе всѣхъ „внѣшнихъ“ формъ жизни есть тоже извѣстная форма жизни, и, проповѣдуя такую форму жизни, онъ долженъ брать за нее отвѣтственность.

„Завѣтная“ же мысль Л. Н. Толстого, что измѣненія общественной жизни создаются „цѣлою совокупностью историческихъ условій и сложныхъ процессовъ“ общенароднаго сознанія,—эта мысль есть альфа и омега всякаго историческаго воззрѣнія на жизнь обществъ, и Левъ Толстой, какъ религіозный реформаторъ, боролся именно съ этой идеей, въ которой такъ легко погашается идея личной отвѣтственности человѣка за себя и за міръ.

Вѣдь эта „завѣтная мысль“ есть та же формула „историческаго матеріализма“, только шире развернутая. Все религіозное философствованіе Толстого есть сплошное опроверженіе какого-либо значенія для человѣческой жизни именно этой мысли. И въ самомъ дѣлѣ, признаніе этой мысли либо означаетъ невыносимое двоегласіе между разумомъ практическимъ и разумомъ теоретическимъ, либо приводитъ къ отрицанію догматизма (абсолютизма идей) въ области морали. Чертковъ въ своихъ уступкахъ Эртелю сдалъ главныя теоретическія позиціи толстовства. И онъ не могъ не сдать ихъ, потому что въ догматическомъ своемъ видѣ онѣ не защитимы.

А въ то же время я отмѣтилъ, что, не будучи вовсе догматикомъ вообще и толстовцемъ въ частности, Эртель

*

въ то же время ясно понималъ огромное значеніе для русской духовной жизни моральной проповѣди Толстого, и въ этомъ отношеніи стоялъ головой выше всѣхъ тѣхъ прогрессивныхъ писателей своего времени, съ Михайловскимъ во главѣ, которые считали своимъ долгомъ бороться съ Толстымъ.

Отрицаніе догматизма можно формулировать такъ: нѣтъ абсолютныхъ рѣшеній абсолютной задачи. „Догматы“ суть рѣшенія либо мнимыя, либо условныя, чисто относительныя.

Когда Чертковъ переноситъ осуществленіе толстовскихъ ученій въ неопредѣленное будущее, измѣряемое огромными промежутками времени, онъ обрекаетъ свои догматы дѣйствію всѣхъ тѣхъ историческихъ вліяній, которыя разрушаютъ ихъ такъ же, какъ атмосферическія вліянія разрушаютъ горныя породы. А это значитъ: онъ напередъ отрицаетъ за ними абсолютное, незыблемое, неотмѣнимое значеніе.

Дѣло не въ томъ, чтобы къ великимъ ученіямъ примѣнять точку зрѣнія „хроникера“, или „внутренняго обозрѣвателя“, а въ томъ, чтобы относиться къ нимъ, какъ живой человѣкъ относится къ живому слову, которое желаетъ и требуетъ всей полноты осуществленія. Только неабсолютное, не незыблемое, отмѣнимое „слово“ можетъ быть дѣйственно, можетъ воплощаться. Но оно должно воплощаться въ полной мѣрѣ. Нельзя говорить въ абсолютной формѣ: ты долженъ то-то и то-то, а за симъ прибавлять: но не печалься, исторія сама скоститъ съ твоего долга 90%, и въ этомъ нѣтъ ничего дурного.

„Долгъ“ или „задача“ жизни должна быть наполнена такимъ содержаніемъ, чтобы выполняющій свое дѣло не могъ бы и задумываться надъ тѣмъ, что безжалостная или снисходительная исторія заставитъ его или позволитъ ему уплатить по копейкѣ за рубль.

Вотъ почему настоящее дѣйствіе въ общемъ и цѣломъ должно быть основано на компромиссѣ, т.-е. оно заранѣе должно указывать такія „рѣшенія“, которыя находились бы въ предѣлахъ—пользуюсь тѣмъ же образомъ—исторической „состоятельности“ дѣятеля. Конечно, и тутъ возможны ошибки и иллюзіи; возможны добросовѣстныя историческія „спекуляціи“ и столь же добросовѣстныя историческія „несостоятельности“. Такія иллюзіи и банкротства могутъ быть даже полезны. Но сознательныя иллюзіи логически въ себѣ противорѣчивы и представляютъ въ моральномъ отношеніи цинизмъ. Тутъ вскрывается то моральное значеніе, та нравственная правда идеи компромисса, которую такъ живо чувствовалъ Эртель. Въ основѣ настоящаго компромисса лежитъ всегда идея правды, честнаго отношенія къ жизни.

Но Эртель чувствовалъ правду идеи компромисса не не только съ этой стороны. Онъ понималъ, какія моральныя опасности таятся въ самой идеѣ и психологіи б о р ь б ы; отсюда его принципіальное, но не догматическое отрицаніе борьбы насиліемъ. „Борьба насиліемъ отчасти представляется мнѣ тѣмъ, что уже давно отвергнуто криминалистами: „бить нещадно, дабы другимъ было неповадно“.

Принципіально отрицая борьбу „насиліемъ“, онъ не отрицалъ во всѣхъ случаяхъ принужденія. Онъ чрезвычайно тонко анализируетъ отдѣльные случаи и устанавливаетъ слѣдующій критерій: „весь вопросъ сводится къ тому чтобы въ личномъ поведеніи, и въ общественныхъ мѣропріятіяхъ до тѣхъ только предѣловъ вести борьбу, пока она не становится „возмездіемъ“ или „устраненіемъ“, или до тѣхъ поръ, пока допускаемое мною „принужденіе“ не затрогиваетъ неотъемлемыхъ правъ человѣка, не подавляетъ тѣхъ его свойствъ, которыя онъ можетъ употребить во славу разума и любви (если онъ самъ не хочетъ упот-

реблять ихъ съ этой цѣлью, это ужъ его дѣло)". „Гораздо труднѣе — признается Эртель—формулировать отношеніе къ оборонительной борьбѣ".

„Я... склоненъ думать,—говоритъ онъ,—что и такая борьба должна вестись тѣми же средствами; но вмѣстѣ съ тѣмъ отлично знаю, что бываютъ положенія, въ которыхъ трудно не прибѣгнуть къ инымъ. Оправдывать эти „иныя средства", желать ихъ я не могу, но чувствую, что временами не гарантированъ отъ невольнаго къ нимъ сочувствія и вообще не могу поручиться, что бы я сдѣлалъ, находясь въ одномъ положеніи съ тѣми, которые прибѣгаютъ къ „инымъ средствамъ", будучи вынуждены защищаться. Необходимо оговориться, что „защиту" я понимаю въ самомъ узкомъ ея смыслѣ, во всякомъ случаѣ не осложненную принципомъ „возмездія", а если и прибѣгающую къ „устраненію", такъ не въ силу какого-либо принципа, а въ силу неистребимаго чувства самосохраненія и жалости къ близкимъ людямъ.

„Что касается до Л. Н. Толстого,—я съ нимъ расхожусь тамъ, гдѣ онъ сходитъ съ исторической почвы, гдѣ онъ явно отрицаетъ необходимую послѣдовательность, связь, а стало быть, и неизбѣжность общественныхъ явленій,— однимъ словомъ, гдѣ онъ рекомендуетъ вмѣсто того, чтобы тихо и „законосообразно" сойти съ кручи по безчисленнымъ ступенькамъ, взять да и вообразить, что есть крылья и, стало быть, можно слетѣть во мгновеніе ока. Но, разумѣется, несмотря на такое несогласіе, я никогда не примкну къ хору его неразборчивыхъ порицателей" [1]).

Превращеніе борьбы въ самодовлѣющую функцію, въ какую-то самостоятельную цѣнность вызываетъ рѣшительный протестъ у Эртеля.

---

[1]) 137—138 стр.

„Нужно твердо памятовать вотъ что: борьба нужна только для торжества добра надъ зломъ. Разъ въ эту борьбу вмѣшиваются страсти, вмѣшивается игра личнаго самолюбія, разъ упускается изъ виду единственно разумная и достойная цѣль борьбы—торжество истины, осуществленіе добра,—тогда борьба теряетъ свой благородный смыслъ и становится источникомъ зла, источникомъ разъединенія между людьми, даетъ новый поводъ къ раздраженію, къ ненависти. Нужно избѣгать такой борьбы, дорогой мой. Цѣль всякой истинно-человѣческой, а не звѣриной, борьбы—присоединить къ себѣ людей, а не оттолкнуть, примирить ихъ, а не раздражить“ [1]).

Разсужденія Эртеля о борьбѣ интересны и значительны не только сами по себѣ, но и какъ образецъ живого принципіальнаго и въ то же время недогматическаго отношенія къ моральнымъ проблемамъ. Сопоставляя это отношеніе съ отношеніемъ Толстого, понимаешь, въ чемъ эти натуры въ моральной области глубоко разнятся между собой.

В. Г. Чертковъ упрекнулъ Эртеля однажды въ „пейзажномъ отношеніи“ къ православной церкви, въ томъ, что онъ церковь оправдываетъ эстетически. „Упрекъ“ этотъ содержитъ въ себѣ глубокую истину относительно Эртеля.

Такое признаніе однако не означаетъ для меня никакой укоризны по адресу Эртеля. Та черта, которую по-своему отмѣтилъ Чертковъ, даетъ ключъ и къ пониманію морали Эртеля. Эртель въ области морали, ея пониманія и, думается мнѣ, ея осуществленія былъ настоящій художникъ. Не только большій художникъ, чѣмъ Толстой, но именно художникъ въ отличіе отъ Толстого и толстовцевъ. О Толстомъ у любившаго его и понимавшаго его великое

---

[1]) Стр. 151.

значеніе Эртеля есть нѣсколько изумительно мѣткихъ замѣчаній: „жестокое несопротивленіе злу, какъ онъ сдѣлалъ въ письмѣ къ Энгельгардту, цѣломудріе даже до скопчества (въ „Крейцеровой сонатѣ"), самоотреченіе до уничтоженія личности—въ книгѣ о „Жизни"—все сіе, конечно, несомнѣнные продукты формальнаго мышленія... Въ его (Толстого) характерѣ, въ его натурѣ много есть гордаго и вообще неукротимаго и, сообразно сему, много есть черствости, фанатичности и самоувѣренности въ его разсужденіяхъ". И въ другомъ мѣстѣ (въ письмѣ къ толстовцу Чистякову): „Въ сущности всѣ вы, взывающіе къ любви, недостаточно ее чувствуете. И смѣю думать, что первый, кто органически ее чувствуетъ слабо или рѣдко,— это Л. Н. Толстой. Онъ ее великолѣпно понимаетъ, какъ логическую аксіому, это такъ. Но въ качествѣ логической хотя бы и аксіомы она ни на чорта не нужна. Ее нужно воспитать въ своемъ сердцѣ".

Въ построеніи догматика морали Толстого мораль—это формальная, алгебраическая или логическая, задача; для художника морали Эртеля она жива, она—живое дѣло, согрѣтое чувствомъ „благоволенія" къ людямъ, неразрывно и любовно связанное со всей картиной міра, а въ томъ числѣ и съ „пейзажемъ", съ „Вишневымъ садомъ" и даже съ „вещами" [1]). „Благоволеніе", которое воспиталъ въ себѣ Эртель, есть органическая основа того художества, той эстетики поведенія, которое должно быть проникнуто непосредственнымъ видѣніемъ и соблюденіемъ мѣры въ требованіяхъ къ людямъ и въ оцѣнкахъ людей. Эртель, повидимому, владѣлъ въ огромной мѣрѣ этимъ художествомъ и ясно понималъ, что въ немъ лежитъ вѣнецъ осуществленія нравственныхъ задачъ общежитія.

---

[1]) „Когда подумаешь, что нѣкоторые дома собирались десят-

„Мѣра“, которую такъ цѣнилъ Эртель, въ чемъ онъ сходился съ Гёте (in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister), не была мѣрой математической. Не въ постиженіи такой мѣры заключался морально-художническій талантъ Эртеля. Его мѣра была эстетической нормой, которую нельзя вычислить какъ „среднюю“. Ее можно только воспринять видѣніемъ, интуиціей. Въ этомъ эртелевскомъ художествѣ поведенія не было однако ничего общаго съ „эстетизмомъ“. Эстетизмъ имѣется тамъ, гдѣ эстетическое начало превращается въ изолированную стихію жизни, и этой изолированной стихіи придается господствующее значеніе, удѣ-

---

ками, иногда сотнями лѣтъ и многія поколѣнія срослись съ такимъ собраніемъ вещей—и вотъ набѣгаетъ шквалъ вродѣ „аграрныхъ безпорядковъ“ въ Россіи или такихъ же катаклизмовъ на Занадѣ, то такъ бываетъ понятно, что революціи имѣютъ столь страстныхъ и неуступчивыхъ враговъ. Тутъ дѣло не въ одномъ матеріальномъ, но въ томъ, что гораздо важнѣе и глубже матеріальнаго—въ грубомъ разрушеніи своего рода святыни, въ погромѣ интимностей, связывающихъ цѣлыя поколѣнія въ одинъ узелъ вещами, воспоминаніями, манерою жить и проч. Пусть вѣрно, что по „математическому“ расчету благоустроенныя „святыни“ существовали за счетъ чужого труда, чужого неустройства, подавленности, униженія, даже прямого рабства; но если это и такъ, все же въ каждомъ революціонномъ разрушеніи есть нѣчто глубоко несправедливое. О, если бы разрушались только гнилушки, пережитки, архаизмы въ законахъ, въ нравахъ, въ учрежденіяхъ, но не организмы съ переливающейся кровью въ жилахъ, съ біеніемъ живого сердца; а между тѣмъ „институтъ собственности“ именно и есть такой организмъ, и въ сущности огромнѣйшее большинство такъ называемыхъ революціонеровъ работаютъ—сознательно или безсознательно, это другой вопросъ—ради того же института, но только съ перемѣщеніемъ его преимуществъ въ пользу другихъ классовъ. Когда смотришь „Вишневый садъ“, то это только печально, какъ печальна естественная смерть; но когда вишневые сады истребляются озвѣрѣлою толпою по рецепту „эсъ-эровъ“, то это возмутительно, какъ убійство“ (Письмо къ дочери, стр. 394).

ляется, такъ сказать, командующая роль во всѣхъ человѣческихъ отношеніяхъ.

Эстетизмъ такъ же погрѣшаетъ противъ „мѣры“ въ художественномъ смыслѣ, какъ разные другіе „измы“. Эстетизмъ былъ совершенно чуждъ Эртелю. Въ „высшемъ типѣ искусства,—писалъ онъ Черткову,—надъ сумятицей изображаемой жизни, надъ всѣмъ зломъ и добромъ этой сумятицы, надъ ея красотою и безобразіемъ непрестанно долженъ носиться „духъ Божій“, непрестанно должно слышаться напоминаніе о томъ, что есть правда, есть добро, есть красота; что есть непререкаемое мѣрило всей этой нестройности жизни, всей этой толчеи и какъ будто безсмысленной и неуловимой пестроты жизненныхъ явленій. И у великихъ художниковъ это всегда есть. Есть у Толстого, у Шекспира, у старыхъ греческихъ трагиковъ, у Гёте (въ „Фаустѣ“)“. Въ другомъ гораздо болѣе позднемъ интимномъ письмѣ, въ которомъ Эртель мило и трогательно не оправдываетъ, а объясняетъ свои „эпикурейскія“ слабости (къ шампанскому и т. п. вещамъ), онъ говоритъ о своемъ „пониманіи человѣческаго назначенія“, какъ „обнимающемъ собою и Христа, и Анакреона“.

Въ этомъ пониманіи онъ, самъ, повидимому, не замѣчая этого, приближается къ Гёте, котораго онъ, очевидно, мало зналъ и плохо понималъ, т.-е. онъ не понималъ, сколь много въ его собственномъ міроощущеніи и міровоззрѣніи чисто-гетевскаго. Онъ думалъ, что онъ съ этимъ писателемъ вообще „не концентриченъ“, судитъ о немъ „со стороны“; не можетъ „войти въ его внутренній міръ, сродниться съ нимъ, жить имъ“. „Всетаки онъ (Гете) хотя и великій человѣкъ, но въ совокупности его жизни и большинствѣ произведеній смахиваетъ на великолѣпную скотину“. Эртель, очевидно, не уловилъ, что, будучи великимъ писателемъ, Гете былъ такой же художникъ жизни, какъ

онъ самъ, и что „благоволеніе“ было для Гете основнымъ и живымъ началомъ его художества жизни. „Если случалось призывать къ чему,—говоритъ о себѣ Эртель,—такъ къ чувству жалости и справедливости, къ пониманію вещей не по ихъ внѣшности, а по внутреннему содержанію, а главное—къ жизнеспособности, которая въ томъ и заключается, чтобы не забиваться въ узкую щель аскетическаго ли, „эпикурейскаго“ ли міровоззрѣнія, не впрягаться ни въ какія сектантскія оглобли“.

Lebe hoch wer Leben schafft!

Das ist meine Lehre, — говоритъ о себѣ Гете въ Tischlied.

Прочитать письма Эртеля значитъ узнать замѣчательную личность съ мыслями самобытными и смѣлыми, съ неукротимой жаждой жизни и творчества, значитъ отъ сѣрой вереницы нудныхъ и благонамѣренныхъ шаблоновъ и разныхъ образцовъ безъидейнаго и безсильнаго оригинальничанья, которыми до краевъ заполнена современность, перейти къ чему-то сильному и подлинному, что освѣжаетъ душу и движетъ впередъ умъ. Тутъ воочію видно, какъ новыя идеи, отъ которыхъ, какъ отъ „реакціи“ отмахиваются благонамѣренныя и добродѣтельныя классныя дамы, приставленныя наблюдать за идейными успѣхами и „гражданскимъ“ благонравіемъ русскаго общества,—какъ эти идеи зрѣли въ умѣ человѣка, далекаго отъ книжныхъ умствованій, въ которыхъ можно завинить другихъ людей. Эртель жилъ и жадно ловилъ впечатлѣнія жизни. И онъ не боялся никогда мыслить. Исчерпать все богатство мыслей и наблюденій, заключенное въ его „Письмахъ“, невозможно ни въ какой статьѣ. Эту книжку нужно прочесть, и кто ее прочтетъ, навѣрное, захочетъ ее перечитывать.

Я сказалъ выше о нелѣпыхъ и свидѣтельствующихъ о полномъ идейномъ безсиліи толкахъ о томъ, что идеи Вѣхъ—продуктъ общественной реакціи. Изъ этихъ словъ я ничего не могу взять обратно, хотя едва ли не всѣхъ рѣшительнѣе въ этомъ смыслѣ высказался о Вѣхахъ кн. Д. И. Шаховской [1]), человѣкъ, который принималъ живѣйшее участіе въ основаніи Освобожденія и сочувственной помощи котораго я лично много обязанъ въ веденіи этого дѣла. Мнѣ придется, можетъ быть, въ другомъ мѣстѣ еще остановиться на статьѣ кн. Шаховскаго. Здѣсь же я хочу только поставить вопросъ: можно ли тѣ идеи, которыя развиваются въ Вѣхахъ, хотя бы съ тѣнью основанія приписывать реакціи въ томъ политическомъ и общественномъ смыслѣ, который связывается обыкновенно и въ частности связывается у Д. И. Шаховскаго съ этимъ словомъ? Шаховской пишетъ:

„Менѣе семи лѣтъ тому назадъ, тотчасъ послѣ назначенія Плеве министромъ внутреннихъ дѣлъ на мѣсто убитаго Сипягина, Струве начиналъ изданіе своего заграничнаго журнала. Въ програмной вступительной статьѣ къ Освобожденію онъ тщательно отмѣчаетъ бросающуюся въ глаза пропасть между правительственной реакціей того времени и противоположнымъ ей общественнымъ настроеніемъ. Реакція общественная миновала, а при этихъ условіяхъ реакція правительственная не представляла опасности, ея владычеству предвидѣлся тотъ или другой неизбѣжный скорый конецъ.

„Теперь мы встрѣчаемъ имя того же Струве въ сборникѣ, который носитъ на себѣ всѣ черты показателя именно общественной реакціи, т. е. того, что во много разъ страшнѣе всякихъ внѣшнихъ репрессій“.

---

[1]) Въ статьѣ „Слѣпые вожди слѣпыхъ“, напечатанной въ ярославской газетѣ Голосъ (№ 32, 2 апрѣля).

Въ той же статьѣ Шаховской упрекаетъ авторовъ статей въ Вѣхахъ въ крайней отвлеченности и книжности.

Итакъ, наши отвлеченныя идеи—показатель „общественной реакціи?“ Это утвержденіе имѣетъ смыслъ либо объективнаго соціологическаго указанія, либо политическаго обвиненія въ реакціонности. Первое толкованіе, какъ мнѣ кажется, исключается двумя обстоятельствами. Во-первыхъ, статья озаглавлена: „Слѣпые вожди слѣпыхъ“. Значитъ, изслѣдуется не идеологическій процессъ самъ по себѣ, а именно его значеніе для общественной жизни. Правда, семь авторовъ вовсе не „вожди“. Можетъ быть, они и хотятъ вести кого-нибудь, но никто пока за ними не идетъ, въ томъ политическомъ и общественномъ смыслѣ, который можно придавать слѣдованію хотя бы „слѣпыхъ“ за „слѣпыми“. Ибо даже если придавать значеніе одобрительному отзыву о Вѣхахъ въ октябристскомъ Голосѣ Москвы и признать, что идеи авторовъ Вѣхъ совпадаютъ съ идеями (?) октябризма, то во всякомъ случаѣ мы должны были бы быть признаны страдающими комичнѣйшей маніей величія, если бы заявили претензію на званіе вождей октябристовъ. Съ той точки зрѣнія, съ которой Шаховской обсуждаетъ и оцѣниваетъ наши идеи, скорѣе октябристовъ слѣдовало бы признать нашими вождями, а насъ — семью болѣе или менѣе интересными овцами изъ октябристскаго стада. Какъ видите, читатель, я безжалостенъ къ себѣ и къ своимъ товарищамъ, но въ своей безжалостности, я, по крайней мѣрѣ, не нарушаю ни здраваго смысла, ни логики, въ чемъ, на мой взглядъ, прегрѣшаетъ кн. Шаховской, превращая насъ въ слѣпыхъ „вождей“ какихъ-то невѣдомыхъ слѣпыхъ.

Но это только отступленіе. Гораздо важнѣе основная тема. Могутъ ли такія „отвлеченныя“ идеи, какія изложены въ Вѣхахъ, означать общественную реакцію? Дѣлая это

допущеніе, наши противники въ сущности становятся на тотъ путь, который логически беретъ подъ подозрѣніе всякую философію и всякую науку, разъ изъ нихъ возможны тѣ или иные практическіе и въ томъ числѣ реакціонные выводы. Изъ нашихъ отвлеченныхъ идей, какъ таковыхъ, возможны, если не всякіе, то весьма различные, многообразные выводы именно въ смыслѣ практической политики. Какіе выводы будутъ сдѣланы,—это уже дѣло „психологіи“, душевнаго состоянія общества въ данный моментъ. Я не говорю, чтобы мы, семь писателей, не дѣлали изъ своихъ идей никакихъ ближайшихъ практическихъ выводовъ; нѣтъ, каждый изъ насъ дѣлаетъ ихъ и даже въ нашемъ сборникѣ есть намеки на эти выводы, не имѣющіе ничего общаго съ общественной реакціей. Я говорю только, что, абстрактно разсуждая, изъ такихъ идей возможны весьма различные выводы. Шаховской, очевидно, предвидитъ выводы реакціонные, ибо только на основаніи этихъ выводовъ онъ въ нашемъ взглядѣ на вещи можетъ видѣть не то „показатель“, не то даже „источникъ“ общественной реакціи.

Правда, обвиняя насъ въ реакціонности, т. е. приписывая намъ реакціонные выводы, кн. Шаховской въ то же время коритъ насъ „туманными, прямо сверхъ-интеллигентскими исканіями“, въ которыхъ мы „изнываемъ“ среди „натыканныхъ“ нами „вѣхъ“. Но какъ эти два обвиненія вяжутся между собой,—это составляетъ секретъ нашего обличителя.

Статьи, подобныя статьямъ кн. Д. И. Шаховскаго, тѣмъ характерны и тѣмъ вынуждаютъ отпоръ, что онѣ увѣковѣчиваютъ въ русской интеллигенціи одно изъ самыхъ плачевныхъ ея свойствъ—чрезвычайную поверхностность сужденій, вновь и вновь позволяютъ заживаться въ ней теоретическому легкомыслію, съ которымъ слѣдовало бы давно

покончить. И по отношенію къ идейнымъ основамъ явно реакціонныхъ писателей и дѣятелей популярная расправа съ ними, при помощи сакраментальныхъ словечекъ, вродѣ „реакція“, есть вопіющее и не „зловѣщее“, а воистину зловредное легкомысліе. Объ этомъ не должно бы быть спора для всякаго сколько нибудь образованнаго и размышляющаго человѣка. Вѣдь ни для кого не секретъ, что крупнѣйшіе этапы человѣческой мысли XIX в., историческое значеніе которыхъ громадно, идейно и психологически коренятся въ реакціи противъ французской революціи. „Реакціонный“ характеръ исторической школы въ правѣ несомнѣненъ, и въ эту же „реакціонную“ почву извѣстными своими корнями уходитъ соціализмъ Сенъ-Симона, явившійся въ значительной мѣрѣ идейнымъ источникомъ всего новѣйшаго соціализма, въ томъ числѣ и марксизма (такова же въ сущности генеалогія „позитивизма“ Конта). „Реакціонный“ характеръ ученія Мальтуса общеизвѣстенъ. А это реакціонное ученіе, какъ извѣстно, натолкнуло Дарвина на его теорію. «Реакціонные» элементы въ философіи Шеллинга и Гегеля неоспоримы. А отъ Гегеля произошло революціонное молодое гегеліанство. Возражать противъ идей ссылкой на «общественную реакцію» значитъ укрѣплять въ обществѣ подлинный устой реакціи — невѣжество и верхоглядство, устраняющія обсужденіе и оцѣнку идей по существу. И какъ все повторяется: вчера (въ 60-хъ гг.) естествознаніе было «революціей», сегодня (80-ые гг. и теперь) религія и метафизика—реакція (для Д. С. Мережковскаго наши противники дѣлаютъ, впрочемъ, исключеніе). Позвольте, у русскаго общества, которое располагаетъ какъ никакъ нѣкоторымъ количествомъ высшихъ учебныхъ заведеній, должны же, наконецъ, явиться другіе критеріи для оцѣнки идей, чѣмъ критеріи «благонамѣренности»!

Впрочемъ, въ концѣ концовъ Д. И. Шаховской поучаетъ

авторовъ Вѣхъ (а въ томъ числѣ, значитъ, и меня) такимъ образомъ:

«Справедливо указывая на присущія русской интеллигенціи черты нѣкоторой отвлеченности, «прямолинейности», «максимализма», они (авторы Вѣхъ) этими чертами охвачены въ гораздо еще большей степени, чѣмъ та среда, которую они взялись поучать. И вотъ оцѣнивая достигнутое съ точки зрѣнія отвлеченныхъ мечтаній, погружаясь въ которыя книжные люди привыкли, забывая реальныя условія и сроки, представлять себѣ общественные перевороты, они не могутъ помириться съ тѣмъ неизбѣжнымъ закономъ жизни, согласно которому самыя сильныя движенія не могутъ кореннымъ образомъ сразу и всецѣло измѣнить природу вещей и народовъ... Всякое движеніе происходитъ во времени. Призывая къ самоуглубленію и къ философскимъ исканіямъ, наши идеалисты забываютъ объ этой простой и давно извѣстной истинѣ".

Вотъ ужъ можно сказать, что насъ и, по крайней мѣрѣ, меня кн. Дм. Ив. Шаховской хочетъ, совсѣмъ помимо моего желанія, сдѣлать именинникомъ и на Антона, и на Онуфрія. Столько разъ меня казнили за мой «оппортунизмъ»; я еще будучи «марксистомъ», написалъ цѣлую, довольно тяжеловѣсную критику идеи „революціи", кульминировавшую между прочимъ въ подчеркиваніи преподносимой мнѣ теперь „простой и давно извѣстной истины", и вдругъ меня же теперь поучаютъ этой истинѣ! Это звучитъ не почти, а совсѣмъ комично.

Д. И. Шаховской заканчиваетъ свою статью словами: «Надо упорно искать новыхъ путей развитія и работы, исходя не отъ тяжелаго отчаянія и мрачнаго раздумья, а отъ спокойнаго сознанія одержанной побѣды и въ корнѣ измѣнившихся обстоятельствъ». Я искренно радуюсь „спокойствію", обрѣтенному, наконецъ, моимъ почтеннымъ со

товарищемъ по дѣлу Освобожденія, хотя не могу, по совѣсти, приписать это спокойствіе «побѣдѣ», ибо это послѣднее слово приложимо къ «пережитому нами историческому сдвигу» лишь въ такомъ «отвлеченномъ» и «философическомъ» смыслѣ, который гораздо удобнѣе и правильнѣе выражать другими словами. Я припоминаю, какъ, когда въ 1905 и 1906 гг. дѣло было ближе къ «побѣдѣ», многіе мои политическіе друзья, и въ томъ числѣ и Д. И. Шаховской, были въ состояніи не спокойствія, а такой ажитаціи, что цѣлыя бочки «простой и давно извѣстной истины», выливаемыя на ихъ головы между прочими и мною, не оказывали никакого дѣйствія, и нашъ общій другъ Н. Н. Львовъ въ отчаяніи говорилъ объ «опьянѣніи» «революціонной брагой». Грядущая «побѣда» рисовалась этимъ моимъ политическимъ друзьямъ тогда въ нѣсколько иномъ видѣ, чѣмъ рисуется теперь, когда она одержана, и тогда они отъ теперешняго ея вида, пожалуй, впали бы сразу въ «тяжелое отчаяніе и мрачное раздумье». Такъ было.

Но во всякомъ случаѣ «спокойное сознаніе»—столь цѣнное пріобрѣтеніе, что я охотно восклицаю по поводу финала статьи Д. И. Шаховскаго: лучше поздно, чѣмъ никогда! И недурно было бы, если бы обличитель съ «спокойнымъ сознаніемъ» перечиталъ Вѣхи.

VI.

Превосходная сентенція и иллюстрація къ ней.—Фармацевтическое пониманіе религіи, прописывающее „деизмъ“.—О томъ, что слова слѣдуетъ употреблять съ извѣстнымъ смысломъ.—Основныя мысли книги М.О.Гершензона.—Космическій порядокъ и раціоналистическое сознаніе.—Всякая этическая религія раціоналистична.—„Народъ“ у славянофиловъ, Толстого и Гершензона.—Почему невозможно даже философское возрожденіе славянофильства? [1]).

„Настроеніе не ищетъ аргументовъ, оно не нуждается въ нихъ; оно сразу начинаетъ съ послѣдняго средства, съ

[1]) Русская Мысль, 1909. Декабрь.

того, что нѣкоторые называютъ ultima ratio stultorum—съ брани... Какая бы при этомъ ни выходила музыка, она будетъ звучать великолѣпно для созвучно настроенныхъ ушей".

Эту превосходную сентенцію я заимствовалъ изъ статьи г. Д. А. Левина, напечатанной въ № 4 новаго журнала Запросы Жизни. Подъ одной обложкой со статьей г. Левина напечатана другая статья, принадлежащая г. Л. Ш-гу и озаглавленная „Старые и новые богоискатели". Въ этой статьѣ авторъ (очень жаль, что онъ не подписался своимъ полнымъ именемъ!) осыпаетъ умственную работу цѣлаго ряда русскихъ писателей бранными „эпитетами", вродѣ „убожество мысли", „политическая реакціонность", „клеветничество на общественные идеалы". Словомъ, статья эта написана точно для того, чтобы служить яркой иллюстраціей къ превосходной сентенціи г. Левина.

Полемизировать съ этой „ultima ratio stultorum" принципіально не слѣдуетъ и фактически не стоитъ. Можно только публично пожалѣть, что подобная брань дешевыми эпитетами выдается за серьезную публицистику и печатается въ изданіи, выходящемъ при ближайшемъ участіи М. М. Ковалевскаго, рядомъ съ статьями такихъ людей, какъ К. К. Арсеньевъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ стоитъ полемизировать съ авторомъ, который однимъ духомъ рекомендуетъ „деизмъ" Вольтера и Руссо (одно это сопоставленіе чего стоитъ!) и, по всей очевидности, рекомендуетъ его какъ полезное религіозное „средство", „приносящее успокоеніе мятущейся душѣ", въ отличіе отъ вредныхъ религіозныхъ „средствъ", подтачивающихъ нервную систему?

Бромъ или морфій?!

Одна религія дѣйствуетъ, какъ бромъ. Ее можно одобрить. Другая—какъ морфій. Ее слѣдуетъ отвергнуть.

Стоитъ-ли спорить съ этимъ поистинѣ фармацевтическимъ пониманіемъ религіи, которое совершенно естественно разряжается въ декламацію и брань? [1]).

Если г. Л. Ш—гъ совокупилъ Вольтера и Руссо въ единомъ одобряемомъ за политическую благонамѣренность „деизмѣ", то г. Водовозовъ въ тѣхъ же Запросахъ Жизни сдѣлалъ открытіе, что направленіе Русской Мысли „кадетски-клерикальное" (№ 2).

Небезполезно, по случаю такихъ открытій, напоминать, что слова должны быть употребляемы всетаки со смысломъ. Что такое „клерикализмъ" или „клерикальное" направленіе? Подъ клерикализмомъ слѣдуетъ разумѣть и разумѣется всѣми серьезными людьми такое политическое направленіе, которое удѣляетъ церковной организаціи (какой—безразлично) опредѣляющее вліяніе на политическую жизнь.

---

[1]) Впрочемъ, отмѣчу одинъ характерный образчикъ этой изумительной полемики. Г. Л. Ш-гъ утверждаетъ, что Мильтона за его Defensio populi „г. Струве не преминулъ бы окрестить... врагомъ отечества и извергомъ человѣческаго рода". Какъ извѣстно, Мильтонъ свою „Defensio populi" написалъ по прямому порученію правительства Кромвеля въ отвѣтъ Сальмазію на его „Defensio Regia". О Кромвелѣ же въ моей статьѣ въ Вѣхахъ имѣется совершенно опредѣленное сужденіе: „Недолговѣчная англійская республика родилась послѣ вѣковъ существованія парламента въ великой религіозно-политической борьбѣ усиліями людей, вождь которыхъ является, быть можетъ, самымъ сильнымъ и яркимъ воплощеніемъ англійской государственной идеи и поднялъ на небывалую высоту англійскую мощь".

Слѣдуетъ пожалѣть, что публицистъ Запросовъ Жизни заимствовалъ у Мильтона не его подлинный религіозный пылъ и даже не его идеи, а лишь нѣкоторые полемическіе пріемы, предосудительные по существу, но, быть можетъ, по человѣчеству извинительные въ разгаръ грандіозной борьбы, которая велась около 1650 г., но въ условіяхъ спора о Вѣхахъ обличающіе лишь дурной вкусъ.

*

Нельзя сказать, чтобы въ современной Россіи не существовало и не давало себя знать „клерикальное“ направленіе. Но и здравый смыслъ, и политическая добросовѣстность одинаково должны внушать, что русскаго „клерикализма“ слѣдуетъ искать совсѣмъ не тамъ, гдѣ его находитъ г. Водовозовъ. Русскій клерикализмъ—тамъ, гдѣ борются противъ свободы совѣсти и противъ преобразованія въ ея духѣ нашего законодательства. Такимъ образомъ не только кадетамъ, но даже лучшимъ и настоящимъ октябристамъ нельзя поставить на счетъ какого-либо клерикализма.

Чѣмъ же объясняется подобная непозволительная вольность въ употребленіи словъ, ясный смыслъ которыхъ долженъ былъ бы быть давно усвоенъ людьми, не имѣющими даже того спеціальнаго политическаго образованія, какимъ обладаетъ г. Водовозовъ?

Очевидно, въ этомъ повинно то „направленство“ въ которомъ воспитались умы большинства нашихъ писателей и вообще интеллигентовъ. Я полагаю, что они и Пирогова за его православіе зачислили бы въ „клерикалы“. Религіозная вѣра не можетъ мыслиться ими иначе какъ съ какимъ-либо политическимъ знакомъ; для нихъ это непремѣнно какой-нибудь политическій или общественный „измъ“. Въ томъ, что Русская Мысль удѣляетъ мѣсто религіозной мысли разныхъ оттѣнковъ, интеллигентскому „направленству“ видится клерикализмъ.

На самомъ дѣлѣ, Русская Мысль не есть органъ ни „кадетскій“ ни „клерикальный“. На ея страницахъ найдетъ себѣ мѣсто всякая свободная и свѣжая мысль, хотя бы она и не совпадала съ мыслями редакторовъ журнала. Вотъ почему страницы нашего журнала открыты и для всякой серьезной религіозной мысли. А для г. Водовозова всякая религіозная мысль находится напередъ подъ подозрѣніемъ въ „клерикализмѣ“, т.-е. въ тенден-

ціи подчинить политическую жизнь и организацію „вѣроисповѣднымъ“ цѣлямъ; если же эта мысль примыкаетъ къ какому-нибудь положительному „вѣроученію“, у него никакихъ сомнѣній въ ея „клерикальномъ“ характерѣ не возникаетъ.

Достаточно, однако, нѣкотораго знакомства съ исторіей новѣйшаго времени, чтобы видѣть, что положительная религія и даже преданность церкви отнюдь не обязываетъ къ тому, что между всѣми политически образованными людьми признается за клерикализмъ. Яркимъ доказательствомъ этого служитъ дѣятельность такого человѣка, какъ Гладстонъ. Но и у насъ на глазахъ кто въ Государственной Думѣ выступалъ въ защиту противоклерикальныхъ и истинно-государственныхъ проектовъ вѣроисповѣдной реформы? Главнымъ застрѣльщикомъ въ этой борьбѣ былъ такой глубоко религіозный и преданный православію человѣкъ, какъ В. А. Карауловъ.

Я спрашиваю: содѣйствуютъ ли органы печати политическому воспитанію страны, когда они прибѣгаютъ къ такому непозволительному употребленію „эпитетовъ“ и къ такому безсмысленному обращенію съ терминами, какое мы находимъ у публицистовъ Запросовъ Жизни?

Отъ злобной полемики, которая ведется оружіемъ обветшалыхъ фразъ, отрадно перейти къ серьезной работѣ мысли, которая, какъ таковая, не можетъ не держаться на извѣстномъ уровнѣ.

Только что вышедшая книга г. Гершензона [1]) несомнѣнно—значительное явленіе въ нашей литературѣ.

---

[1]) М. Гершензонъ. Историческія записки (о русскомъ обществѣ). Москва, 1910 г. Стр. 187. Содержаніе: I. Ученіе о личности (И. В. Кирѣевскій).—II. Ученіе о природѣ сознанія (Ю. Ѳ. Самаринъ).—III. Ученіе о жизненномъ дѣлѣ (Н. В. Гоголь).—IV. Смута.—V. Интеллигенція (этотъ очеркъ перепечатывается изъ „Вѣхъ“).

Въ ней превосходно изложены нѣкоторыя основныя философскія идеи славянофильства, и впервые въ русской литературѣ раскрытъ основной смыслъ Гоголевской переписки съ друзьями [1]).

Но не въ этомъ историческомъ содержаніи главный интересъ „Историческихъ записокъ о русскомъ обществѣ". Авторъ хочетъ быть больше чѣмъ историографомъ, онъ хочетъ быть философомъ-судьей нашего идейнаго прошлаго и настоящаго; и соотвѣтственно этому онъ даетъ свою собственную философію, искусно вплетая ее въ историческую характеристику духовнаго развитія образованной Россіи. Я не хочу сказать, чтобы г. Гершензонъ претендовалъ на оригинальность въ качествѣ философа. Его философскія положенія заимствованы цѣликомъ у Кирѣевскаго и Самарина. Но онъ не просто исторически „реферируетъ" этихъ учителей славянофильства, а излагаетъ ихъ мысли, какъ дорогія и завѣтныя для него самого идеи, которыя онъ раздѣляетъ всѣмъ своимъ существомъ [2]).

---

[1]) Этотъ очеркъ былъ напечатанъ въ Русской Мысли (май, 1908 г.).

[2]) Замѣчу мимоходомъ, что г. Гершензонъ не знаетъ, повидимому, смысла, соединяемаго въ русскомъ философскомъ языкѣ съ искусственнымъ словомъ „умопостигаемый", представляющимъ переводъ латинскаго термина „intelligibilis" и означающимъ объектъ, недоступный опытному познанію. „Умопостигаемое" философской литературы означаетъ такимъ образомъ „непостижимое" обычнаго словоупотребленія. Гершензонъ же употребляетъ это слово въ значеніи „доступнаго опытному познанію", т.-е. въ смыслѣ, прямо противоположномъ тому, который утвердился за этимъ искусственнымъ терминомъ въ нашемъ философскомъ языкѣ. Хотя этотъ смыслъ, слѣдуетъ признать, плохо вяжется съ этимологіей самаго термина, но онъ получилъ права гражданства и, отмѣняя его, г. Гершензонъ обязанъ былъ отмѣтить свое новшество. Повидимому, оно у него является не намѣреннымъ, а случайнымъ, порожденнымъ незнакомствомъ съ русской философской терминологіей.

Эта философія сжато и довольно ясно изложена на 12 страницахъ книги (стр. 128—139).

„Безсознательное ощущеніе мірового единства и его непостижимой, не логической цѣлесообразности—говоритъ Гершензонъ—составляетъ, если можно такъ выразиться, самый механизмъ нашей воли; мы живемъ всегда въ подчиненіи законамъ мірового цѣлаго, все равно сознаемъ ли мы это, или нѣтъ. Субъективно мы воспринимаемъ въ себѣ эту зависимость нашего личнаго „я“ отъ вселенной въ двухъ формахъ—какъ космическое чувство и, на высшихъ ступеняхъ, какъ религіозное сознаніе. И вотъ, чувство, а еще болѣе сознаніе мірового единства и его тайной цѣли бываютъ у разныхъ людей въ разной степени сильны и отчетливы. На крайнихъ полюсахъ стоятъ; человѣкъ, почти осязательно ощущающій Божій промыселъ въ каждомъ явленіи жизни и радостно подчиняющійся ему,—и человѣкъ разсудочный, въ которомъ космическое чувство совершенно атрофировано. Самыя эти крайности встрѣчаются нерѣдко, но въ большинствѣ люди стоятъ, разумѣется, ближе къ одной или къ другой“.

Повидимому, дѣйствуетъ „историческій законъ, согласно которому космическое чувство слабѣетъ и въ цѣломъ обществѣ и въ отдѣльной личности въ прямомъ соотвѣтствіи съ ростомъ образованности, т.-е. съ накопленіемъ и съ распространеніемъ научнаго знанія“. По существу это аномалія, такъ какъ научное знаніе должно не ослаблять, а обострять космическое чувство. Но, несмотря на это, въ современной культурной средѣ преобладаетъ типъ крайняго раціоналиста, люди съ живымъ космическимъ чувствомъ встрѣчаются рѣдко, еще рѣже люди съ яснымъ, развитымъ религіознымъ сознаніемъ.

До сихъ поръ я могу согласиться съ авторомъ. Признаніе космическаго порядка и лежащаго въ основѣ его

высшаго разума есть, конечно, сущность всякой подлинной религіи. И съ раціонализмомъ, который есть не что иное какъ тенденція уловить и уложить въ человѣческія „схемы“ этотъ высшій разумъ, настоящее ощущеніе космоса и настоящее религіозное сознаніе несовмѣстимы.

Но авторъ, изгоняя раціонализмъ въ одну дверь, въ другую вводитъ его и подчиняетъ ему полностью свою мысль.

Это, впрочемъ, не исключительная его особенность и не личный его удѣлъ. Это—удѣлъ всякой морализирующей религіи. Религія Гершензона раскрывается передъ нами и, такъ сказать, обличается именно какъ таковая.

„Для религіозно-мыслящаго человѣка основнымъ фактомъ бытія является господство въ мірѣ высшаго разума, т.-е. наличность нѣкотораго... разумнаго (но не въ человѣческомъ смыслѣ разумнаго) міропорядка, которому подчинено и служитъ все сущее въ своей совокупности и каждое отдѣльное явленіе въ немъ“.

Пусть такъ, но Гершензонъ сейчасъ же отдается во власть раціонализма, когда тутъ же и въ высшей степени непослѣдовательно в р о в е н ь съ этимъ высшимъ разумомъ ставитъ „свободный разумъ“ человѣка, при помощи котораго „вся душевная жизнь превращается въ одно цѣлостное и стройное орудіе міровой воли“ и „задача каждаго человѣка въ отдѣльности сводится къ тому, чтобы правильно устроить свой собственный духъ, т.-е. с о з н а т ь д о к о н ц а с в о е й н р а в с т в е н н ы й д о л г ъ [1]), какъ свое космическое или религіозное назначеніе, и сосредоточить всѣ свои душевныя силы на его исполненіи“.

Грандіозное противопоставленіе „религіознаго сознанія“ и „раціонализма“ на нашихъ глазахъ упраздняется

---

[1]) Курсивъ мой.

самимъ авторомъ. И мы видимъ, какъ это происходитъ. Между „космическимъ или религіознымъ назначеніемъ“ человѣка и его „нравственнымъ долгомъ“ ставится знакъ равенства. И человѣку дается задача чисто раціоналистическая—сознать до конца свой нравственный долгъ.

Гершензонъ тутъ идетъ по стопамъ Толстого, который точно также объявляетъ „нравственный законъ“, открываемый и осуществляемый „свободнымъ разумомъ“ человѣка, ровней космическому міропорядку или высшему міровому разуму. Круги религіи и нравственности для этого воззрѣнія принципіально совпадаютъ. Между тѣмъ—и въ этомъ именно состоитъ одна изъ тайнъ космоса—„высшій разумъ“ и разумъ человѣческій, и въ томъ числѣ человѣческое нравственное сознаніе, не совпадаютъ.

Моралистическій раціонализмъ впадаетъ въ ту же ошибку, что и раціонализмъ механистическій, но только, такъ сказать, съ другого конца. Стремленіе къ сознательному выполненію нравственнаго закона, какъ своего космическаго назначенія, есть такая же раціонализація этого космическаго назначенія, какъ по отношенію къ желѣзному строю детерминированнаго „естественнаго міропорядка“—введеніе въ него фактора человѣческой воли и разумѣнія. Вѣдь въ механическомъ міропониманіи раціоналистическій элементъ дается вовсе не „механизмомъ“, какъ таковымъ, а идеей, что человѣческій разумъ можетъ теоретически и практически овладѣть этимъ механизмомъ.

Мысль, что человѣческій разумъ и отъ него исходящій нравственный законъ вовсе не ровня космическому порядку, была въ новѣйшей міровой литературѣ всего сильнѣе и ярче выражена Львомъ Толстымъ въ „Казакахъ“, „Люцернѣ“, въ „Войнѣ и мирѣ“. И онъ же всѣхъ сильнѣе возсталъ противъ этой идеи, ибо все позднѣйшее рели-

гіозное обращеніе Льва Толстого было отпаденіемъ отъ нея, суженіемъ космической религіи до религіи этической

Можно, конечно, утверждать, что нравственный законъ есть велѣніе высшаго разума и что потому религія этическая совпадаетъ съ космической. Я не спорю, что нравственный законъ не есть просто выдумка человѣческаго разума, что онъ *какъ-то* связанъ съ космическимъ порядкомъ. Но споръ идетъ и можетъ итти не объ этой общей связи, а именно о томъ, *можетъ ли космическій порядокъ или высшій разумъ выражаться непосредственно въ нравственномъ законѣ*. Или, употребляя искусственный философскій терминъ,— можно ли нравственный законъ считать адэкватнымъ космическому порядку?

И мое непосредственное космическое чувство, и моя научная совѣсть одинаково отрицаютъ такое приравненіе одного другому.

Споръ на эту тему—не отвлеченный, чисто философскій споръ, а споръ двухъ кореннымъ образомъ различающихся міровоззрѣній, и притомъ міровоззрѣній дѣйственныхъ, построяющихъ жизнь въ каждую минуту ея теченія.

Это—споръ космической религіи съ религіей этической, которая есть лишь самый тонкій во всѣхъ отношеніяхъ видъ раціонализма.

Космическій порядокъ не только сверхразуменъ въ томъ смыслѣ, какой нашъ авторъ сопрягаетъ съ разумностью, но онъ и сверхнравственеиъ именно потому, что онъ сверхразуменъ. Космосъ ирраціоналенъ и несоизмѣримъ съ разумомъ и съ нравственностью. *Добра* въ космосѣ или вовсе нѣтъ, или оно не совпадаетъ ни съ добромъ нравственнаго закона, ни съ тѣмъ, что какой бы то ни было человѣческій разумъ въ обозримомъ для него отрѣзкѣ вре-

мени признаетъ за добро. Это есть въ сущности философское выраженіе всѣми признаваемаго факта. И объ этотъ фактъ разбивается всякій раціонализмъ, а потому и этическая религія, какъ особый видъ раціонализма.

Самъ Гершензонъ, являясь на словахъ глашатаемъ космической религіи, въ основѣ своей остается всетаки раціоналистомъ.

Правда, въ своемъ раціонализмѣ онъ идетъ не такъ далеко, какъ Левъ Толстой, съ тѣхъ поръ, что онъ отрекся отъ космической религіи „Казаковъ“ и „Войны и мира“. Такъ, Гершензонъ признаетъ права традиціи, но это лишь непослѣдовательно съ его собственной раціоналистической точки зрѣнія. Онъ очень вѣрно указываетъ, что „традиція вся соткана изъ тончайшихъ иррацональныхъ нитей“. „Раціоналистъ-общественникъ не въ состояніи не то, что оцѣнить, но даже разглядѣть эти нити, которыми личность или народъ срастаются съ извѣстнымъ укладомъ жизни, съ опредѣленнымъ институтомъ,—и еще меньше можетъ онъ понять цѣлостный строй народнаго духа въ разрѣзѣ и ходъ развитія его въ исторіи“.

Но когда Гершензонъ тутъ же говоритъ, что традиція „вся нравственно-существенна“, то это, конечно, совершенно невѣрно и съ точки зрѣнія философской, и съ точки зрѣнія простого здраваго смысла. Передъ „безусловнымъ единовластіемъ сознаннаго и добровольно, ради любви къ Богу, осуществляемаго нравственнаго закона“ никакая традиція, какъ таковая, не можетъ найти себѣ полнаго оправданія, не можетъ быть „вся нравственно-существенна“. Расхожденіе между „традиціей“ и „нравственнымъ закономъ“ есть частный случай расхожденія между объективнымъ космическимъ порядкомъ и субъективнымъ нравственнымъ сознаніемъ. Традиція, конечно, всегда дѣло людей, но такое дѣло ихъ, которое отвердилось въ нѣчто объек-

тивное и самодовлѣющее для тѣхъ, кто съ нравственной независимостью противостоитъ этой традиціи и беретъ на себя судить и осуждать ее. Традиція, какъ таковая, какъ нѣчто объективное и самодовлѣющее, выражаясь языкомъ Гершензона, всегда и вся нравственно-несущественна. Если, несмотря на это, мы должны, вопреки нашему нравственному сознанію, бережно относиться къ традиціи, то именно потому, что нашъ нравственный законъ и космическій міропорядокъ никогда ни въ какомъ отрѣзкѣ времени не могутъ совпадать.

Вотъ почему Толстой съ точки зрѣнія этической религіи гораздо послѣдовательнѣе г. Гершензона въ своемъ принципіальномъ, непримиримомъ, до конца идущемъ отрицаніи традиціи.

Нельзя при этомъ не отмѣтить, что въ „историческихъ запискахъ о русскомъ обществѣ“ почти отсутствуетъ важнѣйшій историческій фактъ новѣйшаго русскаго духовнаго развитія—ученіе Льва Толстого. Между тѣмъ собственное міропониманіе г. Гершензона, по существу, быть можетъ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще ближе къ идеямъ Толстого, чѣмъ къ ученію славянофиловъ. Религія славянофиловъ носила гораздо болѣе космическій, ирраціональный характеръ, чѣмъ религія Толстого (и Гершензона).

Ирраціональный и, я бы сказалъ, мистическій характеръ въ религіи Толстого прикрѣпляется непосредственно только къ наименѣе твердой, наиболѣе зыбкой и текучей части космоса—къ „народу“.

Прежде всего, что такое „народъ“? У славянофиловъ главными признаками народа являлись признаки вѣроисповѣдный и бытовой. Народъ православенъ и живетъ не такъ, какъ „образованные“ люди. У Толстого, послѣ его отпаденія отъ православія, остался одинъ только при-

знакъ—бытовой, съ особымъ удареніемъ на экономической сторонѣ быта. Народъ—это люди, занимающіеся физическимъ трудомъ въ условіяхъ деревенской жизни. Изъ этого экономически-бытового признака вытекаетъ признакъ духовный—извѣстный душевный строй, присущій народу. Этотъ душевный строй выше того, который присущъ лицамъ, не занимающимся физическимъ трудомъ, или даже, хотя бы они имъ и занимались, но—въ условіяхъ „искусственной" городской жизни. Понимаемый въ такомъ смыслѣ „народъ" праведенъ или во всякомъ случаѣ праведнѣе не-народа.

Вѣроисповѣдно-бытовое понятіе народа у славянофиловъ и экономически-бытовое понятіе его у Толстого, какъ бы мы ни относились къ нимъ, отличаются извѣстной наивной ясностью. Гораздо меньше такой наивности и ясности у Гершензона въ его разсужденіяхъ на эту тему. Какъ послѣдователь и неофитъ и, я думаю, также какъ человѣкъ, по воспитанію и впечатлѣніямъ дѣтства совершенно, органически чуждый русской національной стихіи, Гершензонъ въ своемъ возвеличеніи народа и отдѣленіи его отъ „образованныхъ людей" впадаетъ въ преувеличенія, поистинѣ безвкусныя. „Сказать, что народъ насъ не понимаетъ и ненавидитъ, значитъ, не все сказать. Можетъ быть, онъ не понимаетъ насъ потому, что мы образованнѣе его? Можетъ быть, ненавидитъ за то, что мы не работаемъ физически и живемъ въ роскоши? Нѣтъ, онъ, главное, не видитъ въ насъ людей: мы для него человѣкоподобныя чудовища, люди безъ Бога въ душѣ—и онъ правъ, потому что какъ электричество обнаруживается при соприкосновеніи двухъ противоположно наэлектризованныхъ тѣлъ, такъ Божья искра появляется только въ точкѣ смыканія личной воли съ сознаніемъ, которыя у насъ совсѣмъ не смыкались. И оттого народъ не чувствуетъ въ насъ людей, не понимаетъ и ненавидитъ насъ" (стр. 171—172).

„Народъ не чувствуетъ въ насъ человѣческой души, и потому онъ питаетъ къ намъ, вѣроятно, безсознательный мистическій ужасъ, тѣмъ болѣе глубокій, что мы свои. Каковы мы есть, намъ нельзя мечтать о сліяніи съ народомъ“ (стр. 176). [1])

Такія „чрезмѣрности“ трудно, да и не стоитъ критиковать фактически.

Гораздо правильнѣе и важнѣе указать, какія, помимо фактическихъ ошибокъ и преувеличеній, принципіальныя

---

[1]) За этимъ мѣстомъ въ „Вѣхахъ“ слѣдовали такія слова „бояться его мы должны пуще всѣхъ казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрмами еще ограждаетъ насъ отъ ярости народной“. Это мѣсто, которое, какъ я указалъ въ свое время въ печати, въ данномъ контекстѣ являлось безсмысленнымъ, теперь устранено самимъ авторомъ изъ окончательнаго, повидимому, текста. Лучше поздно, чѣмъ никогда. Фраза эта потому должна была быть признана безсмысленной, что ея единственный доступный читателямъ смыслъ, вытекающій изъ текста и контекста, не соотвѣствовалъ мысли и самого автора. Дѣло въ томъ, что культурно-философское воззрѣніе самого автора требуетъ того, чтобы причислять власть къ той самой интеллигенціи, которая отдѣлена, по его мнѣнію, такой непроходимой пропастью отъ народа. Въ умѣ же читателя пресловутой выше цитированной фразой создавалось представленіе, что интеллигенціи или образованному класу противостоитъ „народъ“, сдерживаемый союзной ему и родственной по духу властью. Этого же г. Гершензонъ, оставаясь вѣрнымъ своему основному воззрѣнію, сказать вовсе не могъ. Конечно, конструкція, по которой Столыпинъ и Дурново причисляются къ „интеллигенціи“, фактически чудовищна, но именно она и только она соотвѣтствуетъ основному, старо-славянофильскому воззрѣнію г. Гершензона. Въ той фразѣ, отъ которой отказался г. Гершензонъ, заключалась еще другая чудовищная несообразность; неужели признавая „народъ“ сосудомъ религіознаго духа, носителемъ праведности, можно ожидать отъ него поступковъ, запечатлѣнныхъ такой зоологической чертой, какъ „ярость“?

нелѣпости и несообразности заключены въ подобныхъ конструкціяхъ.

Говоря, что мысль русскаго народа „работаетъ существенно“, г. Гершензонъ хочетъ, очевидно, сказать то, что мы выразили выше въ такой формулѣ: русскій народъ праведнѣе образованныхъ людей. И сейчасъ же обнаруживается одно неизбѣжное логическое слѣдствіе такого воззрѣнія. „Народничество“ или „народопоклонство“ неотвратимо ведетъ къ своеобразному, непослѣдовательному и въ своей непослѣдовательности неизбѣжно неправдивому національнизму.

Русскій народъ праведнѣе русскихъ образованныхъ людей и онъ качественно отъ нихъ отличенъ. Эта послѣдняя черта очень важна для г. Гершензона. Экономическая рознь между „народомъ“ и „бариномъ“ существуетъ и на Западѣ, но тамъ это только „озлобленіе раба противъ господина и зависть голоднаго къ сытому“, на Западѣ „нѣтъ глубокаго качественнаго различія между душевнымъ строемъ простолюдина и барина“. Если такъ, то я позволю себѣ спросить: чья „мысль работаетъ существенно“, мысль русскаго „народа“ или качественно единаго, внутренне не расколовшагося на народъ и не-народъ „западнаго“ человѣка? Кто праведнѣе? Этотъ вопросъ неотвязно встаетъ, разъ дается особая этическая идея народа. Такъ эта идея необходимо влечетъ за собою мистически-національстическую идею богоизбраннаго народа, народа-Богоносца.

Передъ лицомъ фактовъ эта идея не можетъ оправдаться. „Праведность“ не можетъ быть измѣряема ни уголовной статистикой, ни посѣщеніемъ церквей, ни числомъ разводовъ. Какъ фактическое утвержденіе, тезисъ о праведности русскаго народа абсолютно не доказуемъ, все равно, какъ понимать „народъ“, въ смыслѣ ли славянофи-

ловъ, Толстого ли, или Гершензона. Богоизбранность къ тому же заключаетъ въ себѣ указаніе даже не на настоящія наличныя свойства народа, а на его призваніе и будущія судьбы. Любя свой народъ, мы можемъ и должны желать, чтобы онъ былъ праведенъ, но мы отнюдь не можемъ и вовсе не должны любить его з а т о, что онъ праведенъ. Національное чувство, единственно законное зерно всякаго не чисто соціальнаго „народничества“, есть начало ирраціональное и не нуждается ни въ какой этической санкціи. Требовать для національнаго чувства этической санкціи значитъ раціонализировать его. Изъ сказаннаго отнюдь не слѣдуетъ, что національное чувство не должно считаться съ нравственнымъ закономъ. Послѣдній ставитъ границы у д о в л е т в о р е н і ю національнаго чувства, отметая зоологическіе элементы въ патріотизмѣ (или, что то же, націонализмѣ). Но содержаніе національнаго чувства, самого по себѣ, совершенно независимо отъ нравственнаго закона, такъ же какъ настоящая материнская, дѣтская и всякая иная подлинная любовь, любовь-чувство, ни въ какомъ моральномъ оправданіи не нуждается.

Если славянофилы считали русскій народъ праведнымъ, какъ носителя православія, а Толстой видитъ въ немъ носителя Божьей правды и соціальной справедливости, то г. Гершензонъ почитаетъ въ немъ носителя космическаго чувства. Эта характеристика народа—наиболѣе общая, наиболѣе отвлеченная, наиболѣе безжизненная, наиболѣе темная изъ всѣхъ народопоклонническихъ характеристикъ.

„Православіе“ или „трудовая жизнь“—гораздо болѣе конкретные признаки, чѣмъ наличность трудно уловимаго космическаго чувства. И я не понимаю, какъ въ сколько-нибудь серьезномъ разсужденіи можно говорить о „народѣ“, какъ о совокупности людей, обладающихъ такимъ чувствомъ? Далѣе, если наличность космическаго чувства есть су-

щественная черта „народа“, то слѣдуетъ поставить вопросъ: дѣйствительно ли та совокупность людей, которую обычно принято называть этимъ именемъ, обладаетъ указанной чертой въ высочайшей степени?

Это—уже вопросъ факта. И безъ малѣйшей тѣни фактическихъ доказательствъ, безъ малѣйшаго критическаго раздумья рѣшивъ этотъ вопросъ въ утвердительномъ смыслѣ, Гершензонъ по прошествіи 50 лѣтъ точь-въ-точь воспроизводитъ ту же самую ошибку, въ которой онъ упрекаетъ славянофиловъ,—только въ болѣе грубой, логически аляповатой формѣ. Гершензонъ указываетъ (стр. 33), что историко-философское ученіе славянофиловъ, которое онъ формулируетъ въ 5 тезисахъ, построено „на цѣломъ рядѣ произвольныхъ утвержденій чисто фактическаго свойства“. Между тѣмъ собственное ученіе Гершензона о русскомъ народѣ и его отношеніи къ интеллигенціи страдаетъ этимъ порокомъ въ высочайшей степени.

То понятіе „народнаго духа“, которымъ, вслѣдъ за романтикой и исторической школой въ правѣ, такъ свободно и некритически пользовалось славянофильство и которое, какъ готовое клише, перешло и къ Гершензону, слѣдуетъ употреблять съ величайшей осторожностью. „Національный духъ—писалъ я въ другомъ мѣстѣ [1])—созидается въ вѣчно творческомъ процессѣ народной жизни, онъ не застываетъ никогда ни въ какую сущность до тѣхъ поръ, пока не прекращается этотъ процессъ; поэтому національный духъ не соизмѣримъ съ тѣми формулами, въ которыя его стремятся втиснуть отдѣльныя лица, направленія и поколѣнія, онъ не тождественъ съ тѣми содержаніями, которыя національ-

[1]) Въ статьѣ „Въ чемъ же истинный національнизмъ?“, первоначально напечатанной въ „Вопросахъ Философіи и Психологіи“ и перепечатанной въ сборникѣ „На разныя темы“ (стр. 526—555).

листы всѣхъ сортовъ такъ старательно пытаются одѣть его соблазнительною, вѣчно юною и пышною тканью. Никто и ничто, никакая формула, ни трехчленная, ни двухчленная ни одночленная не можетъ и не имѣетъ права сказать: національный духъ это—я".

Попытка возродить и возстановить славянофильство въ его философской сущности, попытка, интересная по замыслу и незаурядная по исполненію, не удалась г. Гершензону. И, я думаю, это не случайно. Славянофильское ученіе есть своеобразная метафизика. Метафизика стоитъ у преддверья науки и должна замыкать ее. Но она не должна пронизывать ее. Между тѣмъ именно это мы видимъ у славянофиловъ въ ихъ философскихъ построеніяхъ. У нихъ метафизика толстой скорлупой облегаетъ и безчисленными нитями пронизываетъ ничтожное положительно-научное зерно вмѣсто того, чтобы быть тонкой оболочкой на мощномъ ядрѣ научныхъ положеній. Кромѣ того, въ настоящее время метафизика должна быть критической. Трудно въ немногихъ словахъ выразить, что это значитъ. Скажу только: критическій духъ означаетъ методическое философствованіе, на каждомъ шагу подвергающее свои результаты строжайшей провѣркѣ и предъ судомъ общей логики, и предъ судомъ спеціальныхъ наукъ и ихъ методологическихъ требованій.

Русской философіи вообще, философіи культуры въ частности (и „правой", и „лѣвой"), до сихъ поръ недоставало въ общемъ и цѣломъ этого критическаго и, въ истинномъ и лучшемъ смыслѣ слова, позитивнаго духа. Въ этомъ отношеніи мы должны еще многому учиться на Западѣ, гдѣ критическій духъ есть плодъ многовѣкового развитія культуры и науки.

Если это такъ, то замыселъ нѣкоторыхъ молодыхъ русскихъ философовъ основать русское изданіе новаго между

народнаго философскаго органа „Логосъ“, посвященнаго синтетической (и въ то же время критической) работѣ въ области философіи, долженъ быть признанъ многообѣщающимъ починомъ. Въ русскихъ умахъ есть какая-то философская свѣжесть, которой часто изумляются и восхищаются болѣе культурные и дисциплинированные иностранцы, но для того, чтобы пустить въ ходъ эту свѣжую силу, необходимо ее дисциплинировать и настоящимъ образомъ ввести въ русло міровой мысли.

VII.

Раціонализъ и догматизмъ (нѣсколько словъ по поводу отвѣта М. О. Гершензона).

М. О. Гершензонъ, возражая на мою оцѣнку философскихъ построеній, содержащихся въ его Историческихъ Запискахъ, выдвигаетъ не болѣе не менѣе какъ выведенный изъ опыта „естественно-научный законъ человѣческаго духа, подобный тѣмъ законамъ матеріальнаго бытія, которые формулированы Ньютономъ, Кеплеромъ, Галилеемъ“.

Эта—и притомъ именно такъ выраженная—увѣренность уважаемаго автора въ объективной истинности его метафизическихъ построеній дѣйствуетъ трогательно и почти обезоруживаетъ критика. Тѣмъ не менѣе я позволю себѣ указать на то основное противорѣчіе, которымъ роковымъ образомъ запечатлѣны и „естественный законъ“ Гершензона, и всѣ иныя построенія такого же рода.

Правда, я боюсь, что мой оппонентъ снова упрекнетъ меня въ томъ, что я не понялъ его, но, быть можетъ, найдутся читатели, которые усмотрятъ, наконецъ, въ чемъ суть нашего разногласія, и замѣтятъ разграничительную черту между религіознымъ догматизмомъ Гершензона и тѣмъ пониманіемъ религіи, которое владѣетъ мною.

Наше сознаніе, конечно, коренится въ космосѣ. Но изъ

*

этого не слѣдуетъ, чтобы человѣкъ могъ космическую „волю“ сдѣлать критеріемъ дѣятельности своего сознанія и уловить космическую „идею“

Никакое сознаніе—повторяю я—не ровня космосу. И когда какое-нибудь сознаніе заявляетъ, что оно владѣетъ „космической идеей“, оно выражаетъ притязаніе чрезвычайно горделивое, но совершенно человѣческому сознанію, какъ таковому, т.-е. и какъ сознанію и какъ человѣческому, не приличествующее. Сознаніе не есть космосъ и не адэкватно ему.

М. О. Гершензонъ неизбѣжно приходитъ къ раціонализму, и это ясно доказывается его словами: „естественно-научный“ законъ человѣческаго духа „не есть предметъ вѣры,—напротивъ, онъ подлежитъ повѣркѣ разума и, слѣдовательно самъ по себѣ раціоналистиченъ“, „этотъ законъ опредѣляетъ... общее направленіе духовной жизни“.

„Естественный законъ человѣческаго духа“, который устанавливаетъ Гершензонъ, какъ двѣ капли воды, похожъ на тотъ метафизическій естественный законъ, за которымъ гонялась когда-то политическая экономія и идею котораго она унаслѣдовала отъ античной философіи.

Это построеніе формально противорѣчиво: естественный законъ тѣмъ и естественъ, что онъ нарушаемъ быть не можетъ и заботиться объ его выполненіи значитъ отрицать его силу и значеніе, какъ закона естественнаго, или въ своемъ человѣческомъ дѣйствованіи сознательно удвоять естественный ходъ вещей, обезьяничать природѣ, передразнивать космосъ. Въ ту минуту, когда мы формулируемъ въ терминахъ нашего мышленія космическій законъ, мы превращаемъ его въ раціоналистическую формулу.

Призывая къ ея выполненію, мы низводимъ космическое до человѣческаго. Гершензона восхищаетъ „универсальность“ его „основного закона“, и онъ утверждаетъ, что религіозные „догматы и правила тѣмъ достовѣрнѣе объективно, чѣмъ

они общѣе, т.-е. чѣмъ они непосредственно ближе къ этому основному закону душевной жизни".

Съ той психологической точки зрѣнія, которая лежитъ въ основѣ моего пониманія религіи, въ этихъ утвержденіяхъ Гершензона—опасный уклонъ въ сторону богословскихъ ухищреній. Раціонализмъ Гершензона даетъ универсальную вытяжку изъ Бога, а не подлиннаго и живого Бога. И если на то пошло: „обрядности культа", когда онѣ живы въ душѣ, ею переживаются, а не суть бездушныя тѣлодвиженія, несомнѣннѣе и обязательнѣе „общей вѣры въ Промыселъ", точно такъ же какъ Христосъ достовѣрнѣе „идеи Бога".

Живая религіозность есть чувство, гораздо болѣе могущественное, чѣмъ всякіе „универсальные" законы. Съ необыкновенный силой это выражено въ стихахъ-молитвѣ, приписываемой святой Терезѣ и перешедшей въ католическіе молитвенники. Привожу ихъ въ превосходномъ поэтическомъ переводѣ А. П. Колтоновскаго, сдѣланномъ по столь же превосходному нѣмецкому переводу Франца Брентано, бывшаго католическаго священника, а потомъ професора философіи въ вѣнскомъ университетѣ:

Не страхъ предъ вѣчностью пылающаго ада
Бѣжать съ пути грѣха мнѣ, грѣшницѣ, помогъ.
Не упованіе, что въ небѣ ждетъ награда,
Подвигнуло меня служить Тебѣ, мой Богъ;
Меня подвигнулъ Ты—Твои, Господь, страданья,
Твой ликъ поникнувшій, терновый Твой вѣнецъ,
Твой видъ въ послѣдній часъ, безумство бичеванья,
Плечо гнетущій крестъ и скорбный Твой конецъ.
Ты покорилъ меня съ такою страшной силой,
Что, и не вѣря въ рай и въ бездну за могилой,
Тебя бъ боялась я, любила бъ власть Твою.
Ничѣмъ не можешь Ты питать любовь мою,
Но, если бъ вѣра мнѣ, какъ свѣтитъ, не свѣтила,
Тебя я всетаки любила бъ, какъ люблю. [1])

[1]) Nicht Hoffnung auf des Himmels selig'e Freuden
Hat dir, mein Gott, zum Dienste mich verbunden,

Религіозное чувство, выраженное въ этой молитвѣ, нельзя адэкватно отлить ни въ какую „идею“, или формулу. Это то живое и интимное общеніе, которое въ идейномъ смыслѣ совершенно безформенно. Если угодно, оно безыдейно, но въ то же время оно могущественнѣе всякой идейности и всякихъ „универсальныхъ законовъ“. Это именно имѣетъ въ виду Джемсъ, когда говоритъ: „Пока мы мыслимъ въ космическихъ (слово „космическій“ Джемсъ употребляетъ въ иномъ смыслѣ, чѣмъ я и Гершензонъ) и общихъ терминахъ, мы имѣемъ дѣло только съ символами реальности, но какъ только мы приближаемся къ частнымъ и индивидуальнымъ явленіямъ, какъ таковымъ, мы касаемся уже подлинныхъ реальностей въ точномъ смыслѣ этого слова“ [1]).

Религіозный человѣкъ покоренъ космосу не такъ, какъ образованный человѣкъ признаетъ законы Ньютона, Кеплера, Галилея. Конечно, и въ признаніе законовъ естествознанія человѣкъ можетъ вкладывать нѣчто религіозное, но

Nicht Furcht, die ich vor ewigem Graus empfunden,
Hat mich bewegt der Sünder Pfad zu meiden.
Du, Herr, bewegst mich, mich bewegt Dein Leiden,
Dein Anblick in den letzten, bangen Stunden,
Der Geisseln Wut, Dein Haupt von Dorn umwunden,
Dein schweres Kreuz und—ach!—Dein bitteres Scheiden.
Herr, du bewegest mich mit solchem Triebe,
Dass ich Dich liebte, wär' kein Himmel offen,
Dich fürchtete, wenn auch kein Abgrund schreckte;
Nichts kannst Du geben, was mir Liebe weckte;
Denn würd'ich auch nicht, wie ich hoffe, hoffen
Ich würde dennoch lieben, wie ich liebe.
Franz Brentano. Vom Ursprung der sittlichen Erkenntniss. Leipzig, 1886. S. 87.

1) Джемсъ Многообразіе религіознаго опыта. Переводъ подъ редакціей С. В. Лурье. Изд. журнала Русская мысль. М. 1910 г., стр. 488.

это—та чисто-личная нота, которую онъ вноситъ въ пониманіе міра и которая въ наукѣ, какъ таковой, не нужна (хотя для научнаго творчества, для разысканія истины она можетъ имѣть огромное психологическое значеніе).

Въ какія неясности, и терминологическія, и по существу, запутывается М. О. Гершензонъ, видно на томъ смыслѣ, который онъ связываетъ съ понятіемъ идей „личныхъ“ и „безличныхъ“ Связь съ космосомъ воплощается въ идеяхъ „личныхъ“; разобщеніе съ космосомъ, сознаніе своей отъ него особности („иллюзія самочинности“) воплощается для человѣческаго духа въ идеяхъ „безличныхъ“.

Въ этомъ подведеніи богатой сложными сплетеніями и переливами душевной жизни подъ отвлеченныя категоріи „личнаго“ и „безличнаго“ я ощущаю прямое насилованіе живой психологической дѣйствительности религіознаго опыта. Любовь святой Терезы къ Христу въ высокой степени и лична и безлична. Это—самочинная покорность высшей волѣ. Повидимому, различеніе идей „личныхъ“ и „безличныхъ“ у Гершензона навѣяно Джемсомъ. Но заслуга американскаго мыслителя состоитъ именно въ томъ, что онъ раскрываетъ сверхраціональную, интимную, мистическую сущность религіи, тогда какъ Гершензонъ космическую религію оскопляетъ и обезкровливаетъ до идеи „закона“, да къ тому же „естественнаго“ и „универсальнаго“.

Человѣкъ сливается съ космосомъ только въ переживаніяхъ мистическихъ и эстетическихъ. Дѣйствующее внѣ этихъ переживаній сознаніе всегда противопоставляетъ себя космосу, всегда съ нимъ борется. И эта борьба тоже входитъ въ космосъ и въ немъ необходима. Человѣческая „индивидуація“, хотя и есть субъективно противопоставленіе человѣка космосу, космически необходима. Поэтому, въ обособленіи отъ космоса, въ бунтѣ противъ космоса можетъ быть тоже религіозная правда. И внѣ всякаго сомнѣнія:

высшая религіозная правда именно—въ сочетаніи особности и самочинности личности, въ сочетаніи высшей „индивидуаціи“ съ покорностью космосу и сліяніемъ съ нимъ.

Въ чудесномъ обращеніи къ юношамъ („An die Jünglinge“) Фридрихъ Геббель т а к ъ выразилъ очарованіе самочинности и индивидуаціи:

Пейте темный хмѣль вина!
Онъ вамъ въ душу свѣтъ прольетъ
И, раскрывши тайны дна,
Васъ къ отчету призоветъ.
Бросьте въ глубь пытливый взоръ:
Жизнь тамъ всходитъ, чтобъ расцвѣсть
И со всѣмъ сплестись въ узоръ,
Что святого въ мірѣ есть.
Стройте гордыя мечты,
Уходите въ страшный путь—
Воззовите съ высоты
Слово творческое: «Будь!»
—«Будь!»—отвѣтитъ Богъ; Его
Благодать—награда вамъ:
Не обманетъ Онъ того,
Кто себя возвыситъ самъ.
И молитесь въ оный часъ,
Но молитесь лишь себѣ,—
И возникнетъ Духъ изъ васъ
И преклонитъ слухъ къ мольбѣ.
Жить—глубоко въ мірѣ быть
Одинокимъ. Не дождямъ
Почки въ пышный цвѣтъ раскрыть;
Буйный сокъ ихъ вскроетъ самъ.
Богъ ликуетъ, если вы—
Не ничтожество предъ Нимъ,
Въ прахъ не клоните главы
Передъ Господомъ своимъ,
Но, подобно деревамъ,
Горды въ роскоши цвѣтовъ
И склоняетесь къ корнямъ
Лишь подъ бременемъ плодовъ.
Прочь вино! Въ комъ жара нѣтъ,

Недостоинъ пить вино,
Кто жъ огнемъ рожденъ на свѣтъ,
Въ томъ ужъ все просвѣтлено.
Пусть одна васъ радость ждетъ—
Путь сквозь бурю, въ ночь: тотъ путь
Звѣзды съ неба низведетъ
Въ вашу сумрачную грудь! [1])

[1]) Переводъ А. П. Колтоновскаго. Вотъ оригиналъ:

Trinkt des Weines dunkle Kraft,
Die Euch durch die Seele fliesst,
Und zu heil'ger Rechenschaft,
Sie im innersten erschliesst.
Blickt hinab nun in den Grund,
Dem das Leben still entsteigt,
Forscht mit Ernst, ob es gesund
Jedem Höchsten sich verzweigt.
Geht an einen schaur'gen Ort,
Denkt an aller Ehren Strauss,
Sprecht dann laut das Schöpfungswort,
Sprecht das Wort: es werde! aus.
Ja, es werde! spricht auch Gott,
Und sein Segen senkt sich still,
Denn den macht er nicht zum Spott
Der sich selbst vollenden will.
Betet dann, doch betet nur
Zu euch selbst, und ihr beschwört
Aus der eigenen Natur
Einen Geist, der euch erhört.
Leben heisst tief einsam sein:
In die spröde Knospe drängt
Sich kein Tropfe Thau's hinein,
Eh sie inn're Glut zerprengt.
Gott dem Herrn ist's ein Triumph
Wenn ihr nicht vor ihm vergeht
Wenn ihr statt im Staube dumpf
Hinzuknieen, herrlich steht,
Wenn ihr stolz, dem Baume gleich,
Euch nicht unter Blüten bückt,
Wenn die Last des Segens euch

Полная покорность космосу недоступна человѣческой личности внѣ мистики и художества. Космическое пониманіе религіи должно исходить изъ этого непреложнаго факта. Если оно это забываетъ, оно само превращается въ раціонализмъ и догматизмъ.

Отвѣтъ М. О. Гершензона лишній разъ подтвердилъ для меня это, и въ настоящей замѣткѣ я хотѣлъ лишь, опираясь на его собственныя заявленія, установить всю неизбѣжность такого превращенія [1]).

Приписывая М. О. Гершензону мнѣніе о праведности русскаго народа, я былъ, думается мнѣ, по существу правъ. Теперь Гершензонъ говоритъ, что таковъ (ибо „праведность“ есть мое с л о в о для обозначенія м ы с л и Гершензона)— всякій „простой народъ“.

Эта мысль, конечно, заключаетъ въ себѣ извѣстное зерно психологической истины. При прочихъ равныхъ усло-

---

Erst hinab zur Erde drückt.
Fort den Wein! Wer noch nicht flammt,
Ist nicht seines Kusses Werth,
Und wer selbst vom Feuer stammt,
Steht schon lange glutverklärt.
Euch geziemt nur *eine* Lust,
Nur ein Gang durch Sturm und Nacht,
Der aus eurer dunkeln Brust
Einen Sternenhimmel macht.

А. П. Колтоновскому, по моей просьбѣ переведшему оба приведенныя въ настоящей статьѣ стихотворенія на русскій языкъ, приношу искреннѣйшую признательность.

[1]) Любопытно слѣдить, какъ и „прагматизмъ“, превращая всю психологическую теорію въ нормы поведенія (совершенно какъ Гершензонъ!), самъ перегибается въ раціонализмъ и догматизмъ. Это ясно выступаетъ въ томъ обстоятельномъ изложеніи прагматизма, которое въ октябрьской книжкѣ Р у с с к о й М ы с л и за прошлый годъ далъ А. Лазаревъ.

віяхъ, „простой“ образъ жизни содѣйствуетъ сохраненію космическаго чувства, культура же ослабляетъ его.

Но космосъ все-таки сильнѣе городской мостовой и могущественнѣе классовыхъ различій. Да къ тому же и городская мостовая, и эксплоатація трудящихся, и вообще весь городъ, гдѣ „кричатъ афиши, пышно-пестрыя, и стонутъ вывѣсокъ слова“, все-таки входитъ въ тотъ же космосъ. Не даромъ „голосъ города“ говорилъ современному поэту:

Но живъ лишь я, и, вами не постигнутъ,
Смотрю, какъ царь, въ безмолвіе ночей.
Ты думаешь, что вами я воздвигнутъ?
Нѣтъ люди—атомы въ крови моей,
И, тѣла моего живыя клѣтки,
Дома—тяну я въ глубину полей [1]).

Я не хочу, чтобы мои слова были поняты, какъ апоѳеозъ города и городской культуры. Но все человѣческое—отъ космоса, и въ томъ числѣ и всяческая культура, относится къ космосу, входитъ въ универсально-космическое бытіе.

Да, конечно, „безсознательное“ ближе къ ядру космоса, чѣмъ сознательное. Это чувствуетъ всякій, кто ощущаетъ космосъ. Но нельзя „безсознательное“ возводитъ въ норму поведенія, ибо, становясь ею, оно входитъ въ „сознаніе“ и измѣняетъ свою природу. Въ „безсознательномъ“ голосъ космоса говоритъ безъ посредниковъ, но когда вы объявляете, что черезъ васъ, вашими формулами и идеями говоритъ космосъ, вы изрекаемыя вами мысли выдаете за неизреченныя мысли Бога. Въ извѣстномъ стихѣ Тютчева: „мысль изреченная есть ложь“ [2]), именно и выражено подлинно-философское и глубоко-религіозное пониманіе не-

[1]) Валерій Брюсовъ: „Пути и перепутья“. Т. III. Всѣ напѣвы. Москва, 1909 г., стр. 99.

[2]) Silentium.

соотвѣтствія между сознаваемымъ и человѣческимъ, что можетъ быть изречено, и безсознательно-космическимъ, божественнымъ и неизреченнымъ.

Мнѣ кажется, М. О. Гершензонъ забываетъ, что никакія, даже наилучшія мысли человѣка не могутъ быть приравниваемы къ мыслямъ Бога.

VIII.

В. В. Розановъ, большой писатель съ органическимъ порокомъ [1]).

Возвращаюсь къ этому писателю болѣе чѣмъ черезъ 10 лѣтъ. Въ 1899 г. приходилось убѣждать и доказывать, что Розановъ крупный писатель [2]).

Въ „прогрессивной“ печати видѣли тогда въ Розановѣ только Іудушку изъ Московскихъ Вѣдомостей, какъ его окрестилъ Вл. Соловьевъ въ знаменитой полемической статьѣ, изувѣра, писавшаго въ Русскомъ Обозрѣніи, что Ходынка есть искупительная жертва за 1-е марта 1881 г., нашедшаго затѣмъ себѣ теплый пріютъ на столбцахъ Новаго Времени и тамъ вволю юродствующаго.

Много разъ въ тѣ времена я на примѣрѣ Розанова (и еще—Константина Леонтьева) убѣждался, насколько труд-

---

[1]) Русская Мысль, 1910 г., ноябрь.

[2]) Если не ошибаюсь, моя статья о Розановѣ „Романтика противъ казенщины“, напечатанная въ журналѣ Начало за 1899 г. (и перепечатанная въ сборникѣ „На разныя темы“, Спб., 1902 г.), была въ прогрессивной печати первымъ указаніемъ на политическое и литературное значеніе писаній В. В. Розанова.

но „реакціонному“ писателю добиться въ русскомъ общественномъ мнѣніи даже чисто формальнаго признанія какъ литературной „величины“. Но время шло, силы писателя развертывались, захватъ его дарованія ширился, къ старымъ „интеллигентскимъ“ темамъ онъ подходилъ такъ своеобразно, что его нельзя было не замѣчать, и, кромѣ того, самъ онъ выдвинулъ цѣлый рядъ жгучихъ, проникающихъ въ самыя глубины „быта“ темъ, которыя заинтересовали и интересовали рѣшительно всѣхъ („Семейный вопросъ“!).

Въ русской литературѣ обозначился блестящій литературный талантъ, создавшій почти новый видъ художественно-конкретной публицистики, въ которой мысль, философская или политическая, всецѣло сливалась съ образами дѣйствительности, и исторической, и повседневной. Для художественнаго критика и для историка литературы благодарной задачей было бы сравнить абстрактную и сухую кисть Салтыкова-Щедрина, какъ сатирика современной ему „исторической“ дѣйствительности, съ конкретнымъ и сочнымъ карандашомъ Розанова, какъ публициста своей эпохи.

Кажется, можно было забыть давнія изувѣрства Розанова, тѣмъ болѣе, что по мѣрѣ того, какъ Россія шла къ „революціи“, Розановъ явно „лѣвѣлъ“, и въ то же время художественное дарованіе его крѣпло.

Но... и тутъ рѣчь должна итти о явленіи, можетъ быть, единственномъ въ русской литературѣ, на которомъ нельзя не остановиться.

Отъ реакціонной розановщины Московскихъ Вѣдомостей и Русскаго Обозрѣнія Розановъ, частью оставаясь въ Новомъ Времени, частью отправляясь на отхожіе заработки въ „либеральныя“ изданія, ушелъ такъ далеко, что далъ ни съ чѣмъ несравнимое въ осталь-

ной русской публицистикѣ обличеніе стараго порядка и любовно-художественное оправданіе освободительнаго движенія. Ничего подобнаго розановской книгѣ „Когда начальство ушло“ въ нашей литературѣ не имѣется—рядомъ съ этимъ произведеніемъ все, въ томъ же жанрѣ написанное, вяло, блѣдно, сѣро, безжизненно и безобразно. Превращеніе изъ реакціонера въ прогрессиста ничего удивительнаго не представляло бы, такъ же какъ ничего удивительнаго не представляло бы и превращеніе обратное. Но вотъ что изумительно: когда революція спала, когда начальство вернулось изъ своего отсутствія, Розановъ въ Новомъ Времени напечаталъ двѣ (а можетъ быть, и больше) статьи, въ которыхъ вмѣсто любовнаго оправданія революціи, съ невѣроятной злобой, съ которой можетъ только соперничать невѣжество, обличалъ русскую революцію. Пожалуй, даже и этому можно было не удивляться: почему въ развитіи идей у каждаго писателя можетъ быть только одинъ переломъ, почему въ его идейной линіи можетъ быть только прямой подъемъ въ ту или другую сторону и не можетъ быть спуска,—словомъ, почему его духовная линія не можетъ быть „кривой“? Изумительно и загадочно то, что свое любовно-оправдывающее революцію лицо Розановъ показываетъ одновременно съ лицомъ, ее злобно-обличающимъ. Ибо книга „Когда начальство ушло“ издана въ томъ же 1910 г., что и тѣ статьи въ Новомъ Времени, которыя сами просятся подъ другую обложку съ названіемъ: „Когда начальство пришло“.

Въ чемъ же правда для Розанова?—имѣетъ полное право спросить читатель. Или Розановъ стоитъ по ту сторону правды и лжи? Въ самомъ дѣлѣ, одинъ и тотъ же писатель (подъ своей фамиліей!) въ одномъ и томъ году оглашаетъ такія сужденія:

„Напоръ революціи есть напоръ дикости и самой грубой азіатской элементарности, а не напоръ духа и высоты. Революція не была другомъ философіи—это никогда не надо забывать. Она всегда шла враждебно поэзіи—это тоже фактъ. Весь застой Россіи объясняется также изъ революціи: не Магницкій, не Руничъ, не Аракчеевъ, не Толстой или Побѣдоносцевъ,—но Чернышевскій и Писаревъ были гасителями духа въ Россіи, гасителями просвѣщенія въ ней.

(Новое Время, № отъ 4 сентября 1910).

„Безъ Чернышевскаго и Современника Россія имѣла бы конституцію уже въ 60-хъ годахъ; безъ Желябова, какъ „благодѣтеля“, она имѣла бы ее въ 1881 году“.

(Новое Время тамъ же).

„Наша „революція“ или „эволюція“, смотря по вкусу и удачамъ будущаго, есть только фазисъ въ попыткахъ человѣка заработать счастье своими руками. Революція—отдѣлъ науки. Прежде всего въ ней бездна научныхъ элементовъ, она вся копошится научными теоріями и всѣ ея двигатели читаютъ и перечитываютъ книжки и брошюры,—думаютъ, спорятъ, и, словомъ, такъ же дѣйствуютъ „во имя науки“, „найденнаго и доказаннаго“, какъ мученики дѣйствовали, когда шли въ Римѣ „во имя Евангелія“. И какъ въ мученикахъ и побѣдѣ надъ Римомъ главное былъ не человѣческій составъ и не катакомбы, а Евангеліе, такъ и въ революціи главная суть не сами революціонеры, а наука.

Революція — отдѣлъ науки. И потому то она непобѣдима. Сѣкутъ головы, сѣкли, а она все двигалась, побѣждала ширѣла. Какъ и христіанство ширилось и послѣ казней, потому что было за нимъ Евангеліе“.

„Когда начальство ушло“. Спб., 1910. Стр. 351.

„Все, что творится въ спокойныя эпохи, выходитъ нѣсколько лѣниво, апатично, все, что творится среди бѣды, волненія, опасности, выходитъ живуче крѣпко. Такъ родился европейскій строй нашей арміи при

„А притѣсненія земства? А репрессія печати? Безъ этихъ „благодѣтелей“ мы шагнули бы впередъ какъ европейская держава въ точности на полвѣка: какъ Японія сумѣла же въ полвѣка преобразоваться изъ изолированно-дикой страны въ просвѣщенную по-европейски страну“.

(Новое Время, тамъ же).

Петрѣ и другія его преобразованія. Десятилѣтія мы жалѣли, негодовали, отчего конституція не даруется „своевременно“ и „сверху“; но теперь, кажется, можно только возблагодарить Бога, что мы не получили въ 81-мъ году мертворожденной Лорисъ-Меликовской или Игнатьевской конституціи, что все пошло своимъ чередомъ и до конца, старый порядокъ, можно сказать, „выворотилъ свою душу наружу“ въ японской войнѣ и конституція пришла какъ гнѣвъ возмездія, пришла сама, а не была „приведена за ухо“, что она явилась какъ энергія и работоспособность, а не благоразумное новое учрежденіе“.

„Когда начальство ушло“, стр. 255.

„Не будь министерства народнаго просвѣщенія, то въ Россіи, по крайней мѣрѣ, такъ же какъ въ Японіи 40 лѣтъ (sic)! назадъ [1]), въ эпоху трехгодичнаго плѣна русскаго адмирала Головина, были бы всѣ грамотны. Навѣрно, иначе и нельзя представить у народа съ исторіею, съ церковью, съ возможными ремесленниками-учителями по селамъ, съ учителя-любителями и филантропами. Вѣдь грамотны же всѣ у нашихъ

[1]) Головинъ былъ въ плѣну въ Японіи не 40, а почти 100 лѣтъ тому назадъ!—П. С.

> сектантовъ и старообрядцевъ. Но создалось министерство народнаго просвѣщенія и сказало просвѣщенію: „стопъ“. Оно стало „тащить и не пущать“ учениковъ, учителей, библіотеки, книги“.
>
> „Когда начальство ушло“, стр. 165—166.

Число такихъ сопоставленій можно было бы значительно умножить, но и сдѣланныя достаточно выразительны. Статья, изъ которой я заимствую розановское наивное восхваленіе революціи, помнится, была прочитана имъ въ 1906 г. въ одномъ религіозно-философскомъ собраніи, устроенномъ Н. А. Бердяевымъ. Присутствовавшіе въ этомъ собраніи С. Н. Булгаковъ и я возражали тогда же противъ этой, на нашъ взглядъ совершенно некритической идеализаціи матеріалистическаго радикализма 60-хъ гг., преподносимой рядомъ съ довольно грубымъ высмѣиваніемъ христіанства. Булгаковъ въ преніяхъ замѣтилъ тогда Розанову, у котораго онъ учился въ ливенской гимназіи, что они помѣнялись ролями: когда-то Булгаковъ, будучи гимназистомъ, благоговѣлъ передъ писаревщиной и ея наивнымъ культомъ положительной науки, а Розановъ стоялъ на почвѣ идеализма; теперь же Булгакову, ставшему идеалистомъ, приходится возражать Розанову, переживающему рецидивъ гимназическаго увлеченія писаревщиной. Свой докладъ, теперь напечатанный въ сборникѣ „Когда начальство ушло...“ подъ заглавіемъ „Отчего лѣвые побѣждаютъ центръ и правыхъ“, Розановъ хотѣлъ напечатать тогда же въ Русской Мысли. Я готовъ былъ помѣстить его съ надлежащей отповѣдью; но ни С. Н. Булгаковъ, котораго я просилъ написать эту отповѣдь, ни я самъ не собрались написать ее (то были дни второй Думы)—и такъ розанов-

скій гимнъ революціи, какъ наукѣ, оставался, если не ошибаюсь, ненапечатаннымъ до 1910 г., когда онъ оказался включеннымъ въ сборникъ „Когда начальство ушло“. Какъ далеко заходилъ Розановъ въ своемъ увлеченіи революціей, объ этомъ свидѣтельствуетъ блестящая статья „Ослабнувшій фетишъ“, напечатанная въ свое время отдѣльнымъ изданіемъ и теперь перепечатанная въ сборникѣ „Когда начальство ушло“. Эту статью я, въ свое время, рѣшительно отказался напечатать въ Полярной Звѣздѣ, хотя своимъ художественнымъ рисункомъ она плѣнила меня. Сдѣлалъ я это вовсе не потому, что тутъ приходилось считаться съ законами о печати. Ничего недопустимаго по законамъ о печати въ статьѣ не было, и она была въ этомъ отношеніи гораздо менѣе рискованной, чѣмъ другія статьи въ Полярной Звѣздѣ, за которыя прокуратура привлекала меня къ суду. Но въ 1906 г. поддакивать самому крайнему изъ русскихъ политическихъ настроеній и направленій, говорить ему пріятныя вещи, когда каждое слово имѣло практическій смыслъ, было отвѣтственнымъ актомъ, представлялось мнѣ въ моемъ положеніи, какъ политическаго дѣятеля-редактора, непозволительно легкомысленнымъ, прямо безчестнымъ. И я отказался напечатать литературно-эффектную статью Розанова.

Въ самомъ дѣлѣ: для Розанова написать такую статью—означало создать новую художественную арабеску, съ моей стороны напечатать ее—означало произвести политическое дѣйствіе.

Но всетаки я никогда не думалъ что Розановъ такъ легко отъ глубочайшей любовной солидарности съ самыми крайними теченіями освободительнаго движенія перейдетъ къ безпардонному оплевыванію этихъ теченій и даже доведетъ свой цинизмъ до того, что будетъ революцію и лобызать, и оплевывать одновременно, будетъ обличать

морально терроръ, одновременно съ усмѣшечкой признаваясь печатно, что онъ въ свое время радовался убійству Плеве [1]).

И, вправду, цинизмъ есть надлежащая и единственная надлежащая характеристика для этихъ литературныхъ жестовъ. Объ оправданіи ихъ не можетъ быть и рѣчи ни съ какой точки зрѣнія, ни съ консервативной, ни съ либеральной, ни съ революціонной ни, всего менѣе, съ человѣчески-морзльной. Тутъ можно только констатировать, описать фактъ и задуматься надъ его объясненіемъ.

Что же это такое?

Я думаю, загадочное и страшное явленіе, какъ оно ни кажется простымъ. Есть, конечно, люди, которые просто объяснятъ такое поведеніе низменными разсчетами, приспособленіемъ къ господствующей силѣ и велѣніямъ ея духа, носящагося въ редакціи Новаго Времени. Правда, въ отличіе отъ блещущаго талантомъ, художественнаго оправданія революціи, новѣйшія обличенія ея у Розанова вымучены и почти бездарны. Однако, я думаю, что объяснять весь этотъ маскарадъ разсчитаннымъ приспособленіемъ было бы слишкомъ просто и грубо. Конечно,

---

[1]) „Мой добрый другъ“ г. А. С—нъ въ самомъ началѣ революціоннаго движенія передалъ возмутительный случай о томъ, какъ соціалисты, заколовъ корову передъ сельской церковью, взяли отъ нея крови и „помазали иконы въ храмѣ“, и о томъ, какъ возмущенные мужики, связавши ихъ, „отрубили имъ всѣмъ головы передъ этой самой церковью“. Г-нъ А. С—нъ, другъ Соловьева и такой тоже прекрасный „вообще христіанинъ“, разсказалъ фазу событія прямо съ аппетитомъ (онъ очень негодовалъ на кощунство). Статью его я хорошо помню: ее хоть перепечатать для убѣдительности, для рѣшенія важнаго вопроса. И я не осуждаю его. Да я самъ осуждаю ли убійцу Плеве? Нисколько. Помню, тогда радовался“ („Когда начальство ушло...“, стр. 284—285. Подчеркнуто мной).

*

это—приспособленіе къ силѣ, конечно, надъ всѣми самоновѣйшими жестами Розанова можно было бы—подражая заглавію его книги—поставить заголовокъ „Когда начальство пришло“, но это объясненіе всетаки недостаточно. Оно слишкомъ примитивно и не даетъ понять самаго важнаго и самаго страшнаго. Розановъ потому такъ легко не то что приспособляется, а духовно льнетъ ко всякой силѣ, что у него нѣтъ никакого собственнаго стержня и упора, что онъ подлинный нигилистъ по отношенію ко всему „историческому“. Въ немъ, какъ въ литераторѣ и человѣкѣ, живетъ потребность не только быть въ „хорошемъ обществѣ“, ему пріятно и хочется въ то же время постоянно купаться въ самой нигилистической и нигилистически свободной атмосферѣ. Такова въ извѣстномъ смыслѣ атмосфера Новаго Времени. Онъ самъ не разъ подчеркивалъ, что „святыней“ для него является только частная жизнь, семья. Что такое Разановъ въ семьѣ, въ своей семьѣ,—объ этомъ я ничего не знаю и, пока онъ живъ, пока онъ не сталъ совсѣмъ „объектомъ“, историческимъ „предметомъ“, ничего не хочу знать. Но самъ онъ говоритъ, что это—его единственная святыня, и я ему въ этомъ вѣрю. „Я единственное утѣшеніе нахожу только въ домашней жизни, гдѣ всѣхъ безусловно люблю, меня безусловно всѣ любятъ, вездѣ „своя кровь“, безъ примѣси „чужой“, и „убійца“ не показывается даже, какъ „тѣнь“, „издали“, Кромѣ „домашняго очага“, онъ вездѣ стоитъ. Вотъ отчего я давно про себя рѣшилъ что „домашній очагъ“, „свой домъ“, „своя семья“ есть единственное святое мѣсто на землѣ, единственно чистое, безгрѣшное мѣсто: выше Церкви, гдѣ была инквизиція, выше храмовъ, ибо и въ храмахъ проливалась кровь. Въ семьѣ настоящей, любящей (я только таковую и считаю семьею), натуральной, натуральною любовью сцѣпленной—никогда! Въ семьѣ и еще

въ хлѣвахъ, въ стойлахъ, гдѣ обитаютъ милыя лошадки, коровы: недаромъ „въ хлѣву“ родился и „нашъ Боженька“, Который безсильно молился въ Геѳсиманскомъ саду...“ („Когда начальство ушло...“, стр. 278).

Въ политикѣ же, въ культурѣ, въ религіи Розановъ — нигилистъ, никакому Богу не поклоняющійся, или, что то же, готовый поклониться какому угодно Богу, по внушенію исключительно своего „вкуса“ въ данный моментъ и разныхъ „навожденій“. Вотъ гдѣ корень его публицистическаго безстыдства, безотчетнаго, органическаго. Это не приспособленіе Меньшикова, всегда до мелочей обдуманное и расчитанное; это нѣчто внутренное, стихійное, натуральное. Если бы Розановъ не былъ такъ уменъ и хитеръ, можно было бы сказать, что его безстыдство дѣтски безгрѣшно. Увы!—именно въ этой дѣтскости есть что-то гадкое и страшное.

Помню, еще гимназистомъ я былъ пораженъ мѣткой аксаковской (К. С. Аксакова) характеристикой Ивана Грознаго, какъ „художественной“ натуры. Какъ Иванъ Грозный былъ въ исторической жизни „художественной“ натурой, стоявшей внѣ добра и зла, правды и лжи, и потому и радикально-злой, и радикально-лживой, такъ и Розановъ-писатель въ своемъ отношеніи ко всему „историческому“: къ „революціи“, „правительству“, къ „республикѣ“, „монархіи“, тоже является художественной натурой. Онъ если не все, то многое видитъ. Но скажетъ ли онъ правду или ложь,—это очевидно, зависитъ отъ какого-то живущаго въ немъ мелкаго и низменнаго бѣса, который боится и трепещетъ всякой фактической, въ данную минуту непреодолимой или кажущейся непреодолимой силы.

Розановъ не то что безнравственный писатель, онъ органически безнравственная и безбожная натура. Между прочимъ органическая безнравственность Розанова, какъ

писателя, обнаруживается въ одной любопытной психологической чертѣ, или черточкѣ. Этотъ пѣвецъ конкретности, быта, этотъ наблюдатель мельчайшихъ чертъ реальности абсолютно беззаботенъ относительно фактовъ. Онъ фактовъ не знаетъ и не любитъ. Онъ ихъ презираетъ и безжалостно (безсовѣстно?) перевираетъ. По той причинѣ, что они для него не „факты“, не „дѣло“, а бисеръ въ его художественныхъ узорахъ. Поэтому-то онъ часто попадаетъ въ просакъ и цѣлые выводы строитъ на—sit venia verbo!—глупѣйшихъ фактическихъ ошибкахъ, т.-е. на невѣжествѣ или безграмотствѣ. Въ предисловіи къ книгѣ „Когда начальство ушло“ цѣлое разсужденіе исходитъ отъ утвержденія, что Кларанъ, Вевэ и Монтрэ—части „кантона Женева“, тогда какъ всякому, со вниманіемъ къ „фактамъ“ жившему въ тѣхъ мѣстахъ, или наведшему справки въ какой-либо „географіи“, извѣстно, что эти поселенія принадлежатъ къ контону Ваадту или Во. Вся характеристика Желябова, какъ „бреттера и хвастуна“, есть объективно плодъ совершеннѣйшаго невѣжества. Желябовъ не только не былъ тѣмъ, чѣмъ его изображаетъ безграмотный по этой части Розановъ, онъ въ исторіи нашего революціоннаго движенія—фигура прямо исключительная по своему государственному смыслу. Есть что-то глубоко трагическое въ томъ, что этотъ государственный умница сыгралъ заглавную роль въ такомъ противогосударственномъ и нелѣпомъ актѣ, какъ дѣяніе 1 марта 1881 г. В. Я. Богучарскій вовершенно правъ въ своей оцѣнкѣ размѣровъ л и ч н о с т и Желябова. И если Розановъ говоритъ, что Богучарскій не можетъ „привести хотя одного его (Желябова) слова, хотя одного его афоризма революціонно-философскаго“, то эти слова Розанова свидѣтельствуютъ только объ его глубочайшемъ невѣжествѣ. Ибо всякому знакомому съ исторіей нашего революціоннаго движенія хорошо извѣстны выдер-

жки изъ писемъ Желябова къ М. П. Драгоманову (убѣжденному противнику террора), въ свое время опубликованныя самимъ Драгомановымъ. Эти выдержки, въ которыхъ замѣчательны не только мысль, но и стиль, свидѣтельствуютъ объ огромномъ именно государственномъ умѣ и о національномъ смыслѣ Желябова, — въ этомъ отношеніи особенно характерны его сужденія о необходимости для Россіи политическаго преобразованія, къ признанію чего Желябовъ пришелъ, благодаря своему государственному смыслу и вопреки народническисоціалистическимъ предразсудкамъ, и его возраженія противъ федерализма.

Въ области фактовъ, повторяю, Розановъ—гомерическій неряха и выдумщикъ.

Въ литературѣ вообще, въ русской литературѣ въ частности, я думаю, еще никогда не было подобнаго явленія.

Какъ относиться къ нему?—надъ этимъ невольно долженъ задуматься всякій, для кого вопросъ о Розановѣ рѣшается не просто справкой о томъ, что онъ состоитъ сотрудникомъ Новаго Времени. Съ одной стороны, ясновидецъ, несравненный художникъ-публицистъ, съ другой — писатель, совершенно лишенный признаковъ нравственной личности, моральнаго единства и его выраженія, стыда.

Такое соединеніе именно потому является единственнымъ въ своемъ родѣ, что рѣчь тутъ не можетъ итти о паденіи или паденіяхъ Розанова. Нелѣпо, такимъ образомъ, говорить и объ его исправленіи. Я знаю, что я пишу нѣчто страшное, что нужно говорить весьма осторожно и весьма обдуманно. Да, Розановъ не падаетъ никуда, его безнравственность или безстыдство есть нѣчто органическое, отъ него неотъемлемое. Прежде и я думалъ, что Розановъ исправляется или, вѣрнѣе, исправился, излѣчился отъ реакціоннаго изувѣрства и сталъ „хорошимъ русскимъ

писателемъ, сочувствующимъ всему хорошему", только отъ „лютаго тѣлесе озлобленія", т. е. ради монеты, пишущимъ въ Новомъ Времени. Конечно, и въ Новомъ Времени онъ пишетъ, и въ „прогрессивныя" изданія онъ ходитъ на отхожіе заработки отчасти ради монеты. Но это не самое главное. Розановъ, даже если бы захотѣлъ, не могъ бы быть просто наемнымъ писателемъ. Цѣло, стало быть, вовсе не въ простомъ приспособленіи. Теперь даже, если бы Розановъ трижды отрекся отъ Новаго Времени, Меньшикова и пр. и пр.,—я бы этому отреченію не придалъ никакого значенія. Точно такъ же какъ—съ противоположной стороны—я не придалъ бы никакого значенія отреченіямъ Розанова отъ оправданія революціи и восхваленія революціонеровъ и торжественному обѣщанію никогда не ходить на отхожіе заработки въ прогрессивныя изданія. Отречься отъ себя Розановъ не можетъ, а безстыдство есть органическое существо его „художественной натуры".

Можете ли вы послѣ всего, что вы говорите о Розановѣ, давать его произведеніямъ мѣсто на своихъ страницахъ и можно ли вообще пускать его въ „прогрессивную" печать? —такъ спрашиваютъ меня тѣ, съ кѣмъ я дѣлился своимъ окончательнымъ мнѣніемъ о Розановѣ. Пока я вѣрилъ, что Розановъ падаетъ и исправляется, исправляется и падаетъ, я считалъ своимъ долгомъ не закрывать передъ нимъ a priori страницъ редактируемыхъ мною изданій. Не только изъ терпимости. Нѣтъ, однимъ изъ моихъ мотивовъ было всегда признаніе большой объективной художественной цѣнности писаній Розанова, на которую я указывалъ еще тогда, когда о Розановѣ не говорили иначе, какъ съ презрительной усмѣшкой. Розановъ одинъ изъ первыхъ русскихъ писателей, и его безстыдство есть большое горе нашей литературы.

Но всетаки литературныя произведенія суть творенія, а не выдѣленія, и литературное сотрапезничество есть общеніе между людьми, а не взаимодѣйствіе между нейтральными „организмами“ или „системами“, человѣческое естество которыхъ безразлично. Какъ ни замѣчательны въ литературномъ отношеніи произведенія Розанова, — именно въ нихъ такъ ярко обнаружилась его нравственная личность, что литературное сотрапезничество съ нимъ невозможно для человѣка, видящаго въ писателѣ не „выдѣлительный аппаратъ“, а цѣльную и отвѣтственную творческую силу.

Вопросъ о нравственномъ образѣ писателя, да и вообще всякаго человѣка, страшно труденъ. Но я этого вопроса въ общей формѣ здѣсь не ставлю. Случай Розанова, по моему глубокому убѣжденію, совершенно особенный, не похожій ни на какіе другіе. Во-первыхъ, тутъ вопросъ ставится не о частной жизни человѣка, которая можетъ быть безупречной или наоборотъ и до которой, впрочемъ, вообще никому дѣла нѣтъ. Даже, я повторяю, рѣчь тутъ идетъ не о литературныхъ паденіяхъ, вродѣ тѣхъ, о которыхъ Некрасовъ писалъ:

Не торговалъ я лирой, но, бывало,
Когда грозилъ неумолимый рокъ,
У лиры звукъ невѣрный исторгала
Моя рука...

Тутъ вопросъ ставится о чемъ-то основномъ, органическомъ въ писателѣ, объ его существѣ и естествѣ, неотъемлемомъ и непоправимомъ.

Большой писатель съ органическимъ порокомъ!

IX.

Толстой и „мы“,—Толстой и „соціальная революція“.—Жестокая поговорка и извращенная психологія.—Что же такое Россія? [1]).

Хотѣлось бы уловить смыслъ и силу того дѣйствія, которое смерть Толстого произвела на русское общество. Было ли тутъ длительное и глубокое дѣйствіе, которое пробудило работу сознанія, или то былъ просто какой-то особенный, ворвавшійся въ нашу жизнь фактъ, насъ поразившій, даже потрясшій, но нами не воспринятый въ глубины нашей душевной жизни, не усвоенный и не понятый? Я знаю, что многіе задаютъ себѣ этотъ вопросъ, задумываясь надъ тѣмъ испытаніемъ, которому Толстой и смертью своей подвергъ современниковъ.

Все яснѣе и яснѣе обнаруживается, въ какой мѣрѣ Толстымъ владѣла религіозная мысль, въ какой мѣрѣ онъ дѣйствительно жилъ религіей. И этимъ фактомъ, основнымъ фактомъ душевной жизни Толстого, объясняется та простая вещь, что безрелигіозная интеллигенція, несмотря на все впечатлѣніе, произведенное на нее смертью Толстого, по выраженію одного моего собесѣдника, внутренно растерялась и ничего не смогла выразить. Говоря о торжественномъ собраніи въ память Толстого, устроенномъ шестнадцатью петербургскими обществами, г. Пѣшехоновъ, вѣроятно, въ качествѣ очевидца, пишетъ:

„Оно прошло... вяло, безцвѣтно, безъ малѣйшаго подъема. Устроители и ораторы какъ будто больше были озабочены не тѣмъ, чтобы дать исходъ имѣвшимся у публики чувствамъ, а тѣмъ, чтобы не выйти за предѣлы, поставленные градоначальникомъ. Но и въ самихъ собравшихся не оказалось достаточно теплоты, чтобы въ атмосферѣ риторическаго холода и безсодер-

[1]) Русская Мысль 1911 г., январь.

жательнаго паѳоса, въ которую ихъ окунули, слиться въ общемъ чувствѣ. Никто не вспыхнулъ,— и человѣческій матеріалъ, собранный въ залѣ, остался не объединеннымъ. Каждый остался при своемъ чувствѣ, и ни въ чемъ, бытъ можетъ оно сейчасъ больше не проявится" [2]).

Фактъ переданъ, повидимому, совершенно вѣрно [3]), но причемъ тутъ „предѣлы, поставленные градоначальникомъ"? Полицейская власть, конечно можетъ многое сдѣлать съ устами, но надъ духомъ она не властна. И „атмосферу риторическаго холода и безсодержательнаго паѳоса" создала, конечно, не полицейская власть: ее принесли съ собой тѣ, кто ею—по свидѣтельству г. Пѣшехонова—наполнилъ залу собранія.

Обращаясь къ отклику самого г. Пѣшехонова, я нахожу въ немъ не «риторическій холодъ и безсодержательный паѳосъ". Напротивъ того, въ немъ есть „теплота" и даже—„вспышка". Но эта „теплота" какъ-то идетъ мимо подлиннаго Толстого, эта „вспышка" происходитъ по другому поводу. Съ Толстымъ, какъ религіознымъ мыслителемъ, ни теплота, ни вспышка г. Пѣшехонова не имѣютъ ничего общаго.

Я не желаю сейчасъ вести литературнаго спора, и не полемическія цѣли преслѣдуютъ мои строки. Фактъ „растерянности" по отношенію къ подлинному Толстому, который обнаружился такъ ярко и въ самомъ сильномъ литературномъ откликѣ нашей безрелигіозной интеллигенціи на смерть Толстого, въ статьѣ г. Пѣшехонова, интересуетъ меня вовсе не полемически. Я не только не упрекаю, напр., г. Пѣшехонова за эту „растерянность", но, наобо-

---

2) „Гора и море". Русское Богатство", ноябрь, стр. 17.

3) Я не пошелъ въ это собраніе, но все, что я слышалъ, всецѣло подтверждаетъ характеристику его, даваемую Пѣшехоновымъ.

ротъ, въ ней я склоненъ видѣть скорѣе свидѣтельство, безсознательное и тѣмъ болѣе, быть можетъ, цѣнное, о томъ, что смерть Толстого можетъ явиться толчкомъ для какой-то глубокой внутренней работы сознанія въ нашей интеллигенціи. И тотъ „откликъ, который нашла смерть Толстого въ академической молодежи", замѣчателенъ, конечно, не внѣшнимъ „стремленіемъ выйти на улицу", а внутреннимъ движеніемъ, которое коснулось молодежи не какъ „массы", не „растолкало" ее, какъ заспавшуюся „толпу", а затронуло и потрясло въ ней каждаго человѣка въ отдѣльности, т.-е. какъ-то разбудило религіозную личность..:

Меня сильно поразило слѣдующее характерное признаніе г. Пѣшехонова:

„Я пробѣгаю въ своей памяти жизнь этого человѣка и вспоминаю цѣлый рядъ моментовъ, когда онъ казался особенно большимъ, особенно важнымъ. Встаетъ въ моей памяти рядъ другихъ моментовъ, когда онъ становился какъ бы невиднымъ, казался неважнымъ и даже неинтереснымъ (курсивъ мой. П. С.). И странное дѣло! Получается такое впечатлѣніе, что онъ вставалъ передъ нами, когда мы опускались, и скрывался, когда мы поднимались (курсивъ мой. П. С.). Какъ будто его путь и нашъ путь—двѣ волнистыя линіи, не совпадавшія, а чередовавшіяся своими изгибами. Напоминаю два—три такихъ момента.

„Въ концѣ 70-хъ годовъ, когда мы бодро и быстро, хотя и небольшой кучкой, взбирались на гору, мечтая, что вотъ-вотъ достигнемъ перевала, Толстого вовсе не было видно на общественномъ горизонтѣ. Настали 80-е годы, годы общественнаго упадка, унынія и апатіи,—и Толстой со своими религіозными исканіями и моральною проповѣдью занялъ чуть не весь небосклонъ.

„Настала потомъ другая полоса общественнаго подъема, еще болѣе значительнаго, и вотъ, когда мы были наверху—въ 1905—1906 гг.—Толстого совсѣмъ почти было не видно и не слышно. Послѣ того мы скатились, попали въ какую-то глубокую яму, въ которой сидимъ, оглушенные и парализованные,—и вновь Толстой,

какъ никогда еще великій, всталъ передъ нами. Не смерть, не случайность привлекла сейчасъ къ нему общественное вниманіе; всѣ взоры обратились въ его сторону уже въ тотъ моментъ, когда онъ уѣхалъ изъ Ясной Поляны. И тогда же мы почувствовали, что онъ сталъ еще больше, чѣмъ какимъ мы его до сихъ поръ знали" [1]).

Итакъ, когда „мы" поднимались, онъ „становился какъ бы невиднымъ, казался неважнымъ и даже неинтереснымъ", конечно, для „насъ". Когда „мы" „опускались", онъ, наоборотъ, „вставалъ передъ нами". Г. Пѣшехоновъ совершенно искренно и вѣрно изобразилъ соотношеніе между религіознымъ мыслителемъ Толстымъ и безрелигіозной русской интеллигенціей. Но если это вѣрно, то что же это соотношеніе означаетъ? Какой смыслъ имѣетъ это историческое констатированіе? Становясь лучше, поднимаясь выше, „мы" забывали о Толстомъ, „мы" его не видѣли, имъ не интересовались; онъ „намъ" „казался неважнымъ".

Изъ этого „констатированія" можно сдѣлать два вывода, которые исключаютъ одинъ другой.

Одинъ выводъ таковъ. Если, забывая о Толстомъ, имъ не интересуясь, „мы" становились лучше и выше,—значитъ, онъ для нашего подъема вовсе не былъ нуженъ. И безъ Толстого, и безъ его „идеи" все обстояло хорошо въ нашемъ внутреннемъ мірѣ и въ нашемъ дѣланіи.

Но можно сдѣлать и другой выводъ, прямо противоположный, Если въ религіозной мысли Толстого было нѣчто цѣнное и нужное „намъ", то не значитъ ли это, что, не интересуясь имъ, забывая о немъ, какъ о „неважномъ", „мы" на самомъ дѣлѣ пренебрегали цѣннымъ и важнымъ? И, стало быть, не значитъ ли это устанавливаемое г. Пѣшехоновымъ соотношеніе между Толстымъ и „нами", что

---

[1]) Цит. статья, стр. 27.

наши „подъемы“, въ которые „передъ нами... онъ (Толстой) скрывался“, были поражены глубокимъ внутреннимъ порокомъ, и что когда нашъ путь своимъ изгибомъ не совпадалъ съ путемъ Толстого, у насъ, т.-е. внутри насъ, не было чего-то важнаго, большого, цѣннаго?

Альтернатива, которую я не сочинилъ для полемическихъ цѣлей, а вывелъ изъ собственныхъ утвержденій г. Пѣшехонова, неотразима. И, конечно, въ этой альтернативѣ пріемлемъ для меня лишь второй выводъ. Онъ указуетъ все огромное расхожденіе между религіозной мыслью Толстого и безрелигіозной мыслью нашей интеллигенціи.

Пусть Толстой былъ враждебенъ и даже грозенъ духу официальной, государственной и церковной, Россіи (это безспорно); пусть онъ былъ народникомъ (это тоже безспорно въ извѣстномъ смыслѣ),—этимъ не только не исчерпывается, но даже не опредѣляется ни его духъ, ни его путь. Его духъ былъ напоенъ мыслью о Богѣ, его путь былъ путь религіознаго исканія.

И теперь меня занимаетъ мысль: то общее, не общественное, а о б щ е е и въ то же время чисто л и ч н о е, интимное возбужденіе, которое произвела въ „людскомъ морѣ“ кончина Льва Толстого, сблизитъ ли оно „насъ“ съ его духомъ? Сможетъ ли это возбужденіе означать начало внутренняго духовнаго переворота въ жизни нашей интеллигенціи, болѣе того: въ жизни всей сознательной Россіи?

Вотъ о чемъ мы думаемъ, чего мы страстно желаемъ, на что надѣемся.

Толстой, дѣйствительно, не былъ „вождемъ интеллигенціи“. Скорѣе онъ былъ борцомъ противъ ея духа. Какъ бы ни были велики разногласія религіозно-настроенныхъ людей съ Толстымъ, имъ онъ близокъ, какъ живое воплощеніе въ русской жизни религіознаго начала. И когда отъ лица русской „интеллигенціи“ г. Пѣшехоновъ

заявляетъ, что „евангеліе у насъ (т.-е. у него и его товарищей) было общее съ Толстымъ“—я хотѣлъ было радоваться этому заявленію, какъ серьезному исповѣданію новой вѣры.

Но я боюсь, что исповѣданіе это, какъ оно ни искренно, не вполнѣ продумано и что въ немъ сглаживается то глубокое принципіальное расхожденіе, которое мимовольно, быть можетъ, но тѣмъ болѣе сильно подчеркнулъ самъ г. Пѣшехоновъ. И въ этомъ убѣжденіи меня утверждаетъ еще другое признаніе того же автора. Говоря объ уходѣ Льва Толстого изъ Ясной Поляны и характеризуя этотъ уходъ словами Свентоховскаго, какъ послѣдній геніальный аккордъ жизни Толстого, Пѣшехоновъ признается:

„Я не знаю, испытывали ли бы мы теперешнія чувства (къ Толстому), если бы этого аккорда Толстымъ взято не было... примѣсь опасенія, какая была въ нашемъ чувствѣ, исчезла; осталось одно восхищеніе“.

Да, конецъ Толстого былъ прекрасенъ. Но развѣ его „идея“ нуждалась для того, чтобы явить свою правду, въ этомъ конечномъ „подвигѣ“? И развѣ въ немъ, въ этомъ подвигѣ—въ особенности въ томъ земномъ смыслѣ, въ какомъ его понимаетъ г. Пѣшехоновъ—мѣрило и оправданіе идеи Толстого? Боюсь, что, присоединяясь къ толстовскому „евангелію мира, братства и любви“, г. Пѣшехоновъ, самъ того, можетъ быть, не разумѣя, присоединяется къ нему внѣшне и поверхностно. Поэтому до ухода Толстого онъ чего-то „опасался“ (чего, этого онъ намъ не говоритъ), а отъ ухода вынесъ только одно чувство—восхищенія передъ личностью Толстого.

Но, конечно, 20 лѣтъ тому назадъ уходъ изъ Ясной Поляны былъ бы въ глазахъ Пѣшехонова со стороны Толстого большимъ личнымъ подвигомъ, ибо онъ былъ бы подвигомъ земной жизни. Если Толстой въ 1910 году ушелъ

изъ Ясной Поляны, то это было прежде всего и по существу дѣйствіемъ чисто религіознымъ.

Въ декабрьской книжкѣ Русской Мысли былъ помѣщенъ рядъ посвященныхъ Толстому статей лицъ, вовсе не раздѣляющихъ ученія Толстого. Не будучи вовсе единомышленниками Толстого ни въ его соціальномъ, ни въ его религіозномъ ученіи, мы чувствуемъ однако, каждый по своему, нашу глубочайшую и крѣпчайшую связь съ его духомъ, съ идеей, его одушевлявшей. Эта связь не въ признаніи или отрицаніи того или иного внѣшняго порядка жизни, а въ признаніи неоспоримаго первенства внутренней жизни надъ внѣшней, словомъ, въ признаніи религіозной основы личной и общественной жизни. Если была у Толстого какая-нибудь основная, ясная и непререкаемая, идея, которой онъ оставался вѣренъ во всю свою долгую жизнь, то это была именно эта идея. Насъ она подлинно и тѣсно объединяетъ съ духомъ Толстого...

Вотъ почему мы съ потрясеніемъ, вызваннымъ во множествѣ душъ его смертью, связываемъ тѣ надежды, о которыхъ рѣчь шла выше. Это—надежды на глубокое духовное просвѣтлѣніе личности, а не просто на то таяніе и колыханіе замерзшаго „народнаго моря“, о которомъ говоритъ г. Пѣшехоновъ. Вѣдь когда это море было не замерзшимъ, а бушевало во-всю, оно было глухо къ голосу Толстого. И, быть можетъ, именно тогда оно было къ нему особенно глухо, хотя г. Пѣшехоновъ и называетъ Толстого „нашей совѣстью“. Это — споръ не о томъ, кому принадлежитъ Толстой. Вопросъ тутъ ставится о томъ, въ чемъ же смыслъ „одушевлявшей его идеи“ и къ чему обязываетъ этотъ смыслъ.

Если въ статьѣ г. Пѣшехонова чувствуется добросовѣстная внутренняя растерянность передъ огромной личностью

отошедшаго Толстого, всецѣло напоеннаго мыслью о Богѣ,— то попытка г. Н. И. Іорданскаго представить Толстого какъ „апостола соціальной революціи“ [1]) производитъ впечатлѣніе вовсе не растерянности. Здѣсь, наоборотъ, все очень хорошо обдумано...

Долженъ сказать, что я не представлялъ себѣ, чтобы возможна была подобная откровенная фальсификація Толстого. Толстой былъ, конечно, революціонеромъ по отношенію ко всему существующему; но онъ былъ также революціонеромъ и по отношенію ко всѣмъ тѣмъ пріемамъ и способамъ борьбы съ существующимъ общественнымъ строемъ, которые заключаются въ понятіи „соціальная революція“. Онъ не только не былъ пророкомъ соціальной революціи, но былъ ея непримиримымъ принципіальнымъ отрицателемъ. Хорошо это или худо, но это просто фактъ, о которомъ непристойно умалчивать и который стыдно затушевывать.

Въ сборникѣ писемъ Толстого есть въ этомъ смыслѣ нѣсколько заявленій, поразительныхъ по ясности и не оставляющихъ никакихъ сомнѣній относительно того, какъ думалъ и чувствовалъ Толстой. Толстой отрицалъ и „существующій порядокъ“ (государственный и общественно-экономическій), и „соціальную революцію“ не просто какъ факты, а въ самой ихъ идеѣ.

Нельзя поэтому, не извращая существа Толстого, говорить о томъ, что онъ стоялъ въ томъ или иномъ общественно-политическомъ лагерѣ. И если онъ былъ „народникомъ“, то только потому, что онъ—правильно или неправильно—вѣрилъ въ „народную“ душу. Подобно Тертулліану, который полагалъ, что всякая человѣческая душа есть прирожденная христіанка, онъ думалъ, что „простой народъ“ есть прирожденный христіанинъ въ его смыслѣ.

[1]) „Левъ Толстой и современное общество“. Современный Міръ. Декабрь.

Но въ проповѣди соціализма и соціальной революціи онъ видѣлъ совращеніе и развращеніе народа. Если онъ былъ „врагомъ буржуазнаго міра“, то вѣдь и соціализмъ онъ относилъ къ этому отвергаемому имъ міру.

Мы можемъ соглашаться или не соглашаться съ Толстымъ въ этомъ его отношеніи къ соціализму, это наше дѣло,—но совершенно непозволительно утаивать его истинныя мнѣнія и фальсифицировать его духъ.

Толстой хорошо видѣлъ, въ чемъ „революція“ и его проповѣдь, такъ сказать, прикасались другъ къ другу, и совершенно ясно высказался о томъ, какъ онъ понимаетъ эти „касанія“ и какъ онъ къ нимъ относится.

„По слабости своей,—пишетъ онъ въ 1906 г. нѣкоему Н. Г. С., — я радовался на вашу работу распространенія моихъ мыслей и былъ, и есмь благодаренъ вамъ. Говорю: по слабости, потому что не беру на себя знать, нужно ли, чтобы теперь распространялись мои мысли и даже, чтобы онѣ вообще распространялись. Знаю, что мнѣ надо было выражать ихъ, но не больше. Про то же, чтобы сознательно употреблять ихъ на дѣло революціи—насилія, зла—я знаю несомнѣнно, что этого не должно. Знаю, что противовоенныя мои писанія могутъ имѣть значеніе, какъ необходимый выводъ изъ христіанскаго міровоззрѣнія, но никакъ не желаю давать имъ главное — и еще менѣе служебное значеніе для цѣлей не только чуждыхъ, но прямо противныхъ мнѣ. Само собою разумѣется, что желательно, чтобы солдаты не стрѣляли въ братьевъ и вообще въ людей, но чтобы они воздержались отъ этого ради Бога, а не для того, чтобы содѣйствовать революціи, т.-е. замѣнѣ одной власти другою. Революціонеры не желаютъ, чтобы солдаты стрѣляли въ нихъ, но едва ли откажутся отъ того, чтобы солдаты стрѣляли въ ихъ враговъ. Они могутъ съ моими писаніями дѣлать что имъ угодно, я не

могу препятствовать имъ въ этомъ, но давать или содѣйствовать имъ — это все равно, что употреблять евангеліе (книжку) на поджогъ деревни“ [1]).

Въ томъ же революціонномъ 1906 году онъ пишетъ нѣкоему Н. Е. Ф.:

„Судя по вашему письму, думаю, что вы и не замѣтили, какъ давно уже перешли на переводной стрѣлкѣ съ рельсовъ христіанскаго пути на рельсы революціонные и катитесь по нимъ, воображая, что вы на христіанскомъ пути, въ особенности потому, что печатаете и распространяете книги христіанскаго духа. Вы сравниваете нравственныя величины революціонеровъ и правительственныхъ людей. Но вы сравниваете одни числители (это свойство молодости), не знаменатели. А я вижу знаменатели и потому безъ всякаго сомнѣнія знаю, что солдатъ, офицеръ, чиновникъ, губернаторъ, выросшіе на этомъ, кормящіе свою семью и покоряющіеся существующему, т.-е. человѣкъ смиренный, съ крошечнымъ знаменателемъ несравненно нравственнѣе г-жи или г-на Х., твердо знающихъ, что нужно для блага Россіи, и браунингомъ достигающихъ этого блага.

„Берегитесь, милый Ф., отъ окружающаго васъ гипноза. Христіанину надо жить передъ Богомъ и своей совѣстью, а воздѣйствовать на другихъ не надо и нельзя, потому что онъ не знаетъ и не можетъ знать, что для нихъ хорошо. Вы печатаете мои книги и распространяете ихъ, мнѣ это, каюсь, пріятно, но я не знаю, хорошо ли это, и вамъ слѣдуетъ точно такъ же не знать этого и не класть на это вашихъ силъ...

„Людямъ, желающимъ итти по христіанскому пути въ наше время, повѣрка въ отношеніи къ революціи. Нынче

---

[1]) „Письма Л. Н. Толстого 1848—1910 гг., собранныя П. А. Сергѣенко“. Москва, 1910 г., стр. 306—307.

*

же съ вашимъ письмомъ получилъ письмо (прежде уже было нѣсколько такихъ) отъ женщины, которая меня укоряетъ серьезно и горячо за то, что я не пишу о... войнѣ, возмущаюсь ея мученіями, не сострадаю ей. Вѣдь это ужасно. Несчастную дѣвушку, которая страшно жалка тѣмъ заблужденіемъ и развратомъ душевнымъ, который довелъ ее до хладнокровнаго убійства, требуетъ, чтобы мы жалѣли за ея физическія страданія. Да если бы она опомнилась, поняла, что она сдѣлала, она просила бы мученій, чтобы чѣмъ-нибудь загладить" [1]...

Я бы хотѣлъ, чтобы лица, прочитавшія статью г. Іорданскаго о Толстомъ, какъ „апостолѣ соціальной революціи", сопоставили ея содержаніе и духъ съ подлинными заявленіями самого Толстого, заключающимися въ его „Письмахъ". [2]

Не ради полемическаго состязанія, а для разъясненія своихъ мыслей я долженъ коснуться „отклика" А. В. Пѣшехонова на мою характеристику В. В. Розанова въ ноябрьской книжкѣ Русской Мысли. [3]

Всѣ „полемическія красоты" этого отклика, направлен-

---

[1]) „Письма", стр. 305—306. Письмо это напечатано, очевидно, съ погрѣшностями.

[2]) Въ послѣдній моментъ въ мои руки попалъ первый № новой газеты „Звѣзда" отъ 16-го декабря с. г., въ которомъ напечатана статья Г. В. Плеханова „о Толстомъ". Рядомъ съ попыткой Н. И. Іорданскаго—изобразить Толстого какъ соціалистическаго пророка статья Плеханова выгодно выдѣляется откровенностью и внутренней правдивостью. Съ точки зрѣнія Плеханова Толстой „не понялъ борьбы за переустройство общественныхъ отношеній, оставшись къ ней совершенно равнодушнымъ". Это совершенно вѣрно: именно „борьбу" въ марксистскомъ смыслѣ Толстой отрицалъ.

[3]) Русскія Вѣдомости, № 278, отъ 2-го декабря: „Отклики жизни. Безстыжее свѣтило, или изобличенный двурушникъ".

ныя противъ меня, я обхожу молчаніемъ. Онѣ для меня просто неинтересны. Но г. Пѣшехоновъ, снисходительно одобряющій меня за то, что я написалъ рѣзкое „изобличеніе“ Розанова, двухъ самыхъ важныхъ вещей не замѣтилъ и не понялъ въ томъ, что я написалъ. Онъ не замѣтилъ моей оцѣнки Розанова, какъ литературной силы, и онъ не понялъ того настроенія, которое продиктовало мнѣ мою замѣтку.

Г. Пѣшехоновъ ничего исключительнаго въ „безстыдствѣ“ Розанова не видитъ. Онъ, очевидно, не замѣтилъ и не прочувствовалъ со мной этого „исключительнаго“. Но для меня Розановъ вѣдь не ординарный „новременецъ“; для меня онъ, какъ я подчеркнулъ, „одинъ изъ первыхъ русскихъ писателей“, человѣкъ, награжденный большимъ писательскимъ дарованіемъ и чисто художественнымъ прозрѣніемъ, а не первый попавшійся газетчикъ. Подобная оцѣнка литературнаго значенія не мѣняетъ тѣхъ требованій, которыя мы можемъ и должны предъявлять къ писателю, но объективно вѣдь это—обстоятельство огромной важности. „Большой писатель съ органическимъ порокомъ“ объективно гораздо большая величина и большая сила, чѣмъ множество маленькихъ безпорочно-благонамѣренныхъ писателей. И потому его безстыдство есть большое горе русской литературы. Объ этомъ нѣтъ ни слова въ бойкой полемической статьѣ г. Пѣшехонова, но это достаточно ясно сказано въ моей замѣткѣ. Можетъ быть г. Пѣшехоновъ ни въ какой мѣрѣ не раздѣляетъ моей оцѣнки дарованія Розанова. Однако именно эта оцѣнка придаетъ моей статьѣ о немъ тотъ смыслъ, который она имѣетъ для меня и должна имѣть для моихъ читателей.

Что г. Пѣшехоновъ этого въ ней не замѣтилъ,—пожалуй неслучайно. Мнѣ кажется, что то, о чемъ я пишу

со скорбью, какъ о горѣ, г. Пѣшехонову доставляетъ какую-то радость, вродѣ того стихійнаго ощущенія, которое овладѣваетъ толпой, когда раздается крикъ: „вора поймали!“ Моя статья написана совсѣмъ въ другомъ настроеніи. Не удовлетвореніе я испытывалъ, когда я „разоблачалъ“ Розанова, а огорченіе. И не потому, что этотъ „завѣдомый двурушникъ“ — „около м е н я оказался“, какъ пишетъ г. Пѣшехоновъ, а именно потому, что я никого, и въ томъ числѣ и г. Розанова, не могу — безъ тяжелаго душевнаго испытанія—счесть „завѣдомымъ“. Между тѣмъ г. Пѣшехоновъ относительно цѣлаго разряда лицъ заранѣе „предполагаетъ“, что они тотъ колодецъ, изъ котораго нельзя пить, потому что въ него „опять плюнуть придется“,—какъ говаривалъ его „покойный учитель“ Н. К. Михайловскій. Какая противоестественная и жестокая „поговорка“! Какъ отразилась въ ней и вся извращенность русской жизни, и вся извращенность нашей общественной психологіи!

Мнѣ, конечно, скажутъ: въ этой извращенной психологіи повинны Н о в о е В р е м я, произволъ, правительство и т. д., и т. д.

Да, конечно, совершенно вѣрно: повинны. Но, кто бы и что бы ни были въ ней повинны, всетаки это—психологія извращенная: въ ней таится жестокость, злоба и гордыня.

Пусть г. Пѣшехоновъ трижды фактически правъ, провозглашая мудрый „завѣтъ“ своего покойнаго учителя,— м о р а л ь н о о н ъ н и к о г д а н е б у д е т ъ п р а в ъ. Это одинъ изъ тѣхъ случаевъ, когда мудрость житейская и мудрость этическая расходятся въ разныя стороны. Житейская мудрость учитъ насъ величайшему недовѣрію къ людямъ вообще, къ „грѣшникамъ“ въ частности. Но житейски мудрый завѣтъ: „не пей изъ колодца, опять плюнуть придется“ не можетъ быть превращенъ во всеобщее моральное правило. Въ справедливомъ гнѣвѣ и негодованіи

можно или, вѣрнѣе, извинительно плюнуть въ лицо человѣку, совершившему мерзость, но ни одного человѣка, самаго дурного, самаго грѣшнаго, нельзя разъ навсегда превратить въ плевательницу.

Читая замѣтку г. Пѣшехонова „Безстыжее свѣтило, или изобличенный двурушникъ", я не могъ отдѣлаться отъ тягостнаго впечатлѣнія, что г. Пѣшехоновъ по случаю моей статьи и радуется, и собой весьма доволенъ Радуется онъ „изобличенію" г. Розанова и доволенъ онъ тѣмъ, что самъ онъ, не въ примѣръ Струве, никогда не вѣрилъ Розанову, никогда съ нимъ не общался, а, наоборотъ, всегда готовъ былъ плюнуть ему въ лицо и за прошлое, и за настоящее, и за будущее. Злая радость! А самодовольство,—не одного ли оно духа съ знаменитой молитвой: „Боже! благодарю тебя, что я не таковъ, какъ прочіе люди, грабители, обидчики, прелюбодѣи, или какъ этотъ мытарь"?

У меня мало надежды, но мнѣ очень хотѣлось бы, чтобы г. Пѣшехоновъ задумался надъ моими замѣчаніями, не какъ надъ предметомъ полемическаго состязанія, а какъ надъ мыслями и настроеніемъ, которыя, быть можетъ, ему чужды, но въ которыя стоитъ вникнуть [1]).

---

[1]) Послѣ того, какъ были написаны эти строки, появилась въ Новомъ Времени (отъ 15 декабря 1910 г.) статья Розанова противъ Пѣшехонова. Защитительныя статьи Розанова вообще и, въ особенности, эта статья означаютъ такую глубину нравственнаго паденія, что писать о нихъ не имѣетъ смысла и даже невозможно. Тутъ, къ оожалѣнію, уже не только органическое безстыдство, а сознательная и до послѣдней степени лживая злоба. Но этотъ характеръ самозащиты Розанова не можетъ всетаки ни измѣнить моей оцѣнки его, какъ литературной силы, ни устранить того глубокаго расхожденія, которое существуетъ между Пѣшехоновымъ и мной, хотя мы оба возмущаемся Розановымъ.

Выше Русская Мысль открываетъ серію статей подъ общимъ заголовкомъ „Письма о національностяхъ и областяхъ“ — очеркомъ еврейскихъ настроеній, написанныхъ В. Е. Жаботинскимъ. Задача „Писемъ о національностяхъ и областяхъ“ — освѣщать для читателей нашего журнала національные и областные вопросы не со стороны, а изнутри, съ точки зрѣнія тѣхъ, кто является представителемъ данной національности или области. Къ темамъ этихъ статей редакція будетъ возвращаться и разбирать ихъ со своей точки зрѣнія, отправляясь отъ того матеріала и тѣхъ разсужденій, которые дадутъ авторы „Писемъ“. Очеркъ В. Е. Жаботинскаго представляетъ мнѣ для этого первый поводъ. Въ заключеніе своей весьма интересной и для русской публики поучительной статьи г. Жаботинскій высказывается противъ моей мысли, что Россія должна быть и не можетъ не быть національно-русскимъ государствомъ. Ему кажется странной претензія великорусскаго племени, составляющаго 43% всего населенія, на гегемонію въ Россіи.

Въ настоящихъ замѣткахъ я отнюдь не желаю ставить и разбирать вопроса, затрагиваемаго въ заключительныхъ замѣчаніяхъ г. Жаботинскаго, во всей его полнотѣ и сложности. Не буду я и напирать на то, чего хотѣлось бы мнѣ, а займусь главнымъ образомъ установленіемъ того, что есть.

Изумительно прежде всего, въ какой мѣрѣ политическая или иная тенденція способна слѣпить глаза и скрывать отъ зрѣнія самые внушительные и непререкаемые объективные факты. Какая-то упорная традиція, постоянно оживляемая интеллигентской политической тенденціей, скрываетъ отъ такихъ людей, какъ талантливый авторъ статьи о еврейскихъ настроеніяхъ, огромный историческій фактъ: существованіе русской націи и рус-

ской культуры. Именно русской, а не великорусской. Ставя въ одинъ рядъ этнографическіе „термины“ — „великорусскій“, „малорусскій“, „бѣлорусскій“, авторъ забываетъ, что есть еще терминъ „русскій“, и что „русскій“ не есть какая-то отвлеченная „средняя“ изъ тѣхъ трехъ „терминовъ“ (съ прибавками „велико“, „мало“, „бѣло“), а живая культурная сила, великая, развивающаяся и растущая національная стихія, творимая нація (nation in the making, какъ говорятъ о себѣ американцы).

Русская культура, конечно, неразрывно связана съ государствомъ и его исторіей, но она есть фактъ въ настоящее время даже болѣе важный и основной, чѣмъ самое государство. Есть Пушкинъ, есть Гоголь, есть Толстой; есть русская наука, которая, при всей ея отсталости и слабости, есть всетаки и абсолютно, и относительно очень крупная величина; есть русское искусство, которое тоже уже сказало свое слово. Это все огромныя культурныя силы.

Я допускаю, что можно быть въ Варшавѣ или Гельсингфорсѣ участникомъ мѣстной культурной жизни, не зная русскаго языка, но безъ этого знанія нельзя быть такимъ участникомъ ни въ Кіевѣ, ни въ Могилевѣ, ни въ Тифлисѣ, ни въ Ташкентѣ. И вовсе не потому, что васъ тамъ обязательно тянутъ въ участокъ расписаться въ почтеніи передъ русской культурой, а потому, что эта культура дѣйствительно есть внутренно властный фактъ самой реальной жизни всѣхъ частей Имперіи, кромѣ Царства Польскаго и Финляндіи. Я утверждаю, что человѣкъ, который въ Кіевѣ или Могилевѣ захочетъ быть культурнымъ человѣкомъ, не вступая въ общеніе съ „русской“ культурой, долженъ быть не только „малороссомъ“ или „бѣлоруссомъ“, но въ придачу еще и нѣмцемъ или французомъ, или ан-

гличаниномъ. Ибо съ одной „малорусской“ или „бѣлорусской“ культурой онъ, какъ культурный человѣкъ, прожить не можетъ. Нужно же вдуматься, что̀ означаетъ эта излюбленная постановка „великорусской“ культуры въ одинъ рядъ съ „малорусской“ и „бѣлорусской“. Это значитъ, что рядомъ съ русской культурой на всемъ, такъ сказать, протяженіи культурнаго творчества должны быть созданы параллельныя культуры—„малорусскія“ и „бѣлорусскія“. Вѣдь тутъ рѣчь идетъ не просто о „преподаваніи въ начальной школѣ на мѣстномъ языкѣ“, передъ нами не болѣе, не менѣе какъ огромный, поистинѣ титаническій замыселъ раздвоенія или растроенія русской культуры на всемъ ея протяженіи—отъ букваря до „общей патологіи“ и „кристаллографіи“, отъ народной пѣсни до переводовъ изъ Овидія, Гете, Верлэна или Верхарна.

Это значитъ, что „малорусская“ или „бѣлорусская“ „націи“ станутъ въ такое же отношеніе къ „великорусской“, въ какомъ чехи стоятъ къ нѣмцамъ или австрійскіе „украинцы“ къ полякамъ. Но вѣдь это значитъ еще, что „малорусская“ и „бѣлорусская“ культуры будутъ нарочно создаваемы.

И, въ самомъ дѣлѣ, какъ культуры, равноцѣнныя или равнозначныя съ той, которую любители этнографическихъ терминовъ называютъ великорусской, но которую и исторія, и здравый смыслъ предписываютъ называть просто—русской, культура „малорусская“ и „бѣпорусская“ еще должны быть созданы. Ихъ еще нѣтъ. Объ этомъ можно жалѣть, этому можно радоваться, но во всякомъ случаѣ это фактъ.

И этотъ фактъ объясняетъ другой, на который указываетъ самъ г. Жаботинскій. Когда евреи въ чертѣ осѣдлости ассимилируются, они пріобщаются и прислоняются не къ „малорусской“ или „бѣлорусской“, а къ „великорусской„=русской культурѣ.

Итакъ, пока въ Россійской имперіи существуетъ только одна единая русская культура въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы можемъ говорить о національныхъ культурахъ.

Но, можетъ быть, существуютъ рядомъ съ русской культурой равносильныя и равноцѣнныя ей „инородческія“ культуры?

Оставляя въ сторонѣ Царство Польское и Финляндію, области, которыя имѣютъ совершенно особую судьбу,—гдѣ есть въ Россіи культуры, которыя могутъ противопоставиться русской культурѣ, какъ объективно равноцѣнныя силы и, главное, какъ такія силы, которыя смогли бы итти впередъ, не опираясь на русскую культуру и тѣмъ самымъ не подчиняясь въ извѣстномъ смыслѣ ея гегемоніи? [1])

Я ихъ не вижу. И всего менѣе можетъ быть такой силой еврейство. Ибо недаромъ оно развилось и окрѣпло въ діаспорѣ, разсѣяніи среди другихъ народовъ. Все крупное въ еврействѣ переступаетъ національныя и вѣроисповѣдно-групповыя границы, ибо эти границы—таковъ историческій, фактъ, имѣющій роковое для еврейской „національности“ значеніе,—слишкомъ тѣсны для крупнаго культурнаго творчества.

Впрочемъ, я не собираюсь сейчасъ размышлять надъ проблемой еврейскаго націонализма. Я хотѣлъ только, разъясняя свою точку зрѣнія, показать, что Россія потому не можетъ не быть національно-русскимъ государствомъ, что единой русской націи [2]) историческимъ ходомъ вещей

---

[1]) Прибалтійскій край составляетъ только кажущееся исключеніе. Прибалтійскій край могъ пойти тѣмъ же путемъ, какимъ пошла Финляндія, но разъ этотъ путь ему оказался недоступнымъ, онъ силой вещей былъ вовлеченъ въ сферу русской культуры. Печать къ этому приложила неотмѣнимая руссификація дерптскаго университета.

[2]) По переписи 1897 г., русскія племена (великоруссы, малороссы, бѣлоруссы), образующія русскую націю, составляютъ болѣе 65% всего населенія Россіи.

предуготована не только политическая, но и культурная гегемонія въ Россіи. Не случайно и не вслѣдствіе какого-то „насилія“ гимназическое и университетское преподаваніе въ Кіевѣ ведется на такъ называемомъ „великорусскомъ“ языкѣ, а потому, что въ области университетской культуры этотъ языкъ является естественнымъ и необходимымъ органомъ творчества и общенія для всѣхъ русскихъ племенъ, которыя образуютъ единую націю. Но и для инородческихъ племенъ Россіи русская культура обладаетъ гегемоніей не только въ силу физическаго превосходства и численнаго преобладанія русскихъ. Такая гегемонія принадлежитъ ей въ силу ея внутренней мощи и богатства. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, въ Казанскомъ университетѣ преподаютъ на русскомъ языкѣ не только потому, что такъ приказываетъ уставъ и за этимъ слѣдитъ полиція.

Гегемонія русской культуры въ Россіи есть плодъ всего историческаго развитія нашей страны и фактъ совершенно естественный. Я не знаю, возможно ли преодолѣть и разрушить этотъ фактъ. Во всякомъ случаѣ такая работа въ моихъ глазахъ всегда будетъ представляться колоссальной растратой исторической энергіи населенія Россійской Имперіи. Ибо не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что постановка въ одинъ рядъ съ русской культурой другихъ, ей равноцѣнныхъ, созданіе въ странѣ множества культуръ, такъ сказать, одного роста, поглотитъ массу средствъ и силъ, которыя при другихъ условіяхъ пошли бы не на націоналистическое размноженіе культуръ, а на подъемъ культуры вообще. Я глубоко убѣжденъ, что, напримѣръ, созданіе средней и высшей школы на малорусскомъ языкѣ было бы искусственной и ничѣмъ не оправдываемой растратой психическихъ силъ населенія. Ибо историческое соотношеніе между русской („великорусской“) и малорусской культурой сложилось такъ, что

„русскій“ (= „великоруссъ“) можетъ быть культурнымъ участникомъ національной жизни и образованнымъ человѣкомъ, не понимая вовсе малорусскаго языка, но „малороссъ“, не понимающій русскаго языка, просто еще безграмотенъ въ національномъ и государственномъ отношеніи, еще не прочелъ національно-государственнаго букваря.

Мы можемъ такъ или иначе относиться къ этому созданному всей исторіей Россіи положенію вещей, но отрицать его значило бы отрицать очевидные всѣмъ факты.

Въ этихъ фактахъ и заключаются элементы рѣшенія вопроса: что же такое Россія?

Герценъ.

Рѣчь, произнесенная въ кружкѣ имени А. И. Герцена 9-го января 1908 г. [1]).

Очень нетрудно на имя Герцена нагромоздить рядъ громкихъ хвалебныхъ эпитетовъ, но не такъ легко разсмотрѣть его истинное лицо. Герценъ былъ великимъ публицистомъ, сильнымъ умомъ, крупнымъ художникомъ слова. Но публицистика есть родъ литературы наиболѣе бренный; сильный умъ Герцена не рождалъ отвлеченныхъ идей, которымъ, какъ таковымъ, было бы суждено длительное существованіе; художественные его образы не ведутъ отдѣльнаго и отдѣленнаго отъ ихъ творца, выражаясь школьнымъ языкомъ, „объективнаго“ существованія,—это не образы Гете, Пушкина, Тургенева, Толстого. Герценъ милъ намъ, дорогъ, великъ, вѣченъ не какъ публицистъ, не какъ мыслитель, не какъ художникъ. Сквозь всѣ эти „виды“ его существованія выступаетъ нѣчто болѣе важное, болѣе цѣнное, болѣе несомнѣнное.

Герценъ великій и вѣчный человѣческій типъ въ оправѣ мощной и красивой индивидуальности. Русская культура не знаетъ ничего подобнаго ни выше Герцена, ни рядомъ съ нимъ.

---

[1]) Р ѣ ч ь отъ 10 января 1908 г.

Въ чемъ же тутъ дѣло? Господа, я ужасно больно чувствую, какъ трудно разсказать, описать, убѣдительно и исчерпывающе выразить это словами. Есть, впрочемъ, одно слово, которымъ можно, правда блѣдно и бѣдно, сказать, чѣмъ же былъ Герценъ. Это слово: с в о б о д а.

Не въ томъ ограниченномъ смыслѣ, что Герценъ боролся противъ всякаго внѣшняго гнета—за политическое и соціальное освобожденіе. Эта борьба, конечно, стояла въ тѣснѣйшей связи съ его существомъ, была яркимъ излученіемъ этого существа. Но именно только излученіемъ чего-то еще болѣе важнаго, коренного, цѣннаго. Герценъ былъ воплощеніемъ свободы, какъ вѣчной стихіи человѣческаго духа. Онъ всегда боролся, всегда сомнѣвался, всегда искалъ—и въ этой борьбѣ съ другими и съ собой, въ этихъ исканіяхъ всегда былъ свободенъ, несмотря на всю свою пылкость, болѣе того страстность.

Это—человѣческій типъ, которому ничто человѣческое не чуждо, все понятно, но который самъ неспособенъ быть однимъ—деспотомъ. Герценъ понималъ даже деспотизмъ,—вспомните, какъ говорилъ онъ о Петрѣ Великовъ. Но деспотизмъ былъ для него внутренне чуждой стихіей. Вотъ почему у Герцена было такое отталкиваніе отъ тончайшей, наиболѣе духовной формы деспотизма, отъ догматизма. Такіе люди способны на всякую страсть, кромѣ самой жестокой—догматической. Такіе люди иногда умираютъ на баррикадахъ, но они никогда не призываютъ другихъ на баррикады и не тащатъ ихъ на эшафотъ.

Въ исторіи русской культуры есть другой образъ искателя и борца. Достоевскій искалъ Бога и боролся съ нимъ,—но всегда съ чуждою Герцену догматическою страстью, съ страстью—обрѣсти окончательное, послѣднее, покоряющее, освобождающее отъ исканій рѣшеніе. Среди нашихъ современниковъ и младшихъ современниковъ Герцена есть вели-

кій духъ, столь же и еще болѣе отличный отъ Герцена. Это уже не только искатель, воспламененный догматической страстью исканія,—это человѣкъ, съ догматической страстью утверждающій истину и все, во имя этой истины, сокрушающій. Левъ Толстой, въ процессѣ общественнаго развитія Россіи великій освободитель,—какъ человѣческій типъ воплощаетъ въ себѣ ту стихію человѣческаго духа, отъ которой Герценъ внутренне отталкивался: деспотизмъ. Толстой былъ свободенъ и творилъ свободно, какъ художникъ. Но не сокрушилъ или, вѣрнѣе, не сокрушалъ ли въ теченіе десятилѣтій на нашей памяти догматикъ художника?

Ближе, родственнѣе Герцену Тургеневъ. Можно сказать, что Тургеневъ такъ же, какъ Гете и Пушкинъ, воплощаетъ то же начало, что и Герценъ: начало свободы, свободнаго отношенія къ міру. Но Пушкинъ и Тургеневъ „объективны", они выше всего въ своихъ твореніяхъ, когда они переливаются цѣликомъ въ эти творенія—и тѣ начинаютъ жить отдѣльной отъ творцовъ жизнію. Въ этомъ образчикѣ того же типа нѣтъ страсти свободы, которою былъ движимъ Герценъ; въ немъ есть спокойствіе, которое было чуждо Герцену. Тѣ творили свободно, Герценъ былъ самъ свобода. Что и кто выше? Безплодный споръ. Въ искусствѣ Гете, Пушкинъ, Толстой—вершины, надъ всѣмъ возносящіяся. Пушкинъ понималъ это, когда уходилъ отъ бурнаго Байрона и отдавалъ передъ нимъ предпочтеніе спокойному Гете. Въ жизни и въ культурѣ, вообще говоря, всѣ типы одинаково нужны, одинаково велики и вѣчны: и властно-спокойные творцы, какъ Гете и Пушкинъ, и мятущіеся представители свободы, какъ Герценъ. Такой человѣческій типъ, какой являлъ намъ Герценъ, мы склонны оцѣнивать всего выше, когда бываемъ охвачены настроеніемъ, выраженнымъ Гете въ безсмертныхъ словахъ:

Nur allein der Mensch
Vermag das Unmögliche.
Er unterscheidet,
Wählet und richtet.
Er kann dem Augenblick
Dauer verleihen

Или какъ сказалъ Фетъ:

Не тѣмъ, Господь, могучъ, непостижимъ
Ты предъ моимъ мятущимся сознаньемъ,
Что въ звѣздный день твой свѣтлый Серафимъ
Громадный шаръ зажегъ надъ мірозданьемъ
И мертвецу съ пылающимъ лицомъ
Онъ повелѣлъ блюсти твои законы,
Все пробуждать живительнымъ лучемъ,
Храня свой пылъ столѣтій милліоны.
Нѣтъ, ты могучъ и мнѣ непостижимъ
Тѣмъ, что я самъ, безсильный и мгновенный,
Ношу въ груди, какъ оный Серафимъ,
Огонь сильнѣй и ярче всей вселенной.

Можно отвергать многое, что признавалъ Герценъ. Можно многое понимать иначе, чѣмъ онъ. Но нельзя сознательно отвергать то, что составляло существо Герцена—священное пламя свободы.

Русскіе люди—изъ всѣхъ человѣческихъ стихій—съ наибольшею страстью искали свободы и всего полнѣе извѣдали и испили деспотизма. Не только въ смыслѣ политическомъ, но и въ смыслѣ духовномъ. Самый послѣдній перегонъ нашей исторіи, тотъ, отъ котораго мы теперь отдыхаемъ въ еще болѣе утомительномъ затишьѣ, измоталъ насъ всяческимъ деспотизмъ. Здоровый инстинктъ толкаетъ насъ искать возрожденія въ свободѣ. Въ такое время тѣснѣйшее духовное общеніе съ Герценомъ и его твореніями будетъ обращеніемъ къ подлинному источнику воды живой.

Одинъ изъ національныхъ героевъ духа, Герценъ не принадлежитъ какой-либо партіи и какому-либо направле-

нію. Не готовыя рѣшенія и утвержденные рецепты, а духъ свободы и культуры и сіяніе красоты обрѣтаемъ мы въ его твореніяхъ.

Тѣмъ, что Герценъ воплотилъ съ такой мощью и красотой въ себѣ стихію свободы, онъ опередилъ свое время и предвосхитилъ тѣхъ, кто пришелъ гораздо позже его. Въ особенности это вѣрно по отношенію къ Россіи. Въ „иконоборческую", „направленскую" эпоху 60-хъ гг. Герценъ пришелся не ко двору не какъ политическій дѣятель, а именно какъ духовный типъ.

Наше время ближе къ нему. Многое изъ того, что новѣйшему человѣчеству явилось откровеніемъ отъ Ницше и отъ Ибсена, было заключено въ Герценѣ, правда, не отдѣленное и не отдѣлимое отъ его живой и красивой индивидуальности.

Какъ свободный умъ, Герценъ имѣлъ мужество смотрѣть въ лицо дѣйствительности и подвергать суровой провѣркѣ своей лучшія вѣрованія и чаянія. Я не знаю въ русской литературѣ произведенія въ этомъ отношеніи болѣе замѣчательнаго по безпощадной критической честности ума, чѣмъ послѣднее и посмертное произведеніе Герцена „Письма къ старому товарищу" (Бакунину). Тутъ Герценъ собралъ всю мудрость своей богатой жизни, и вся новѣйшая самокритика соціализма in nuce находится въ этихъ „Письмахъ".

Свободный духъ Герцена не зналъ никакихъ кумировъ и не боялся никакой правды.

Чѣмъ болѣе мы будемъ вѣрны этому завѣту неподкупной честности, тѣмъ легче и, главное, достойнѣе каждое поколѣніе пройдетъ свой кусокъ того тернистаго непрерывнаго пути „отъ освобожденія къ освобожденію", которымъ, спотыкаясь и падая, идетъ ищущее свободы человѣчество.

Левъ Толстой [1]).

I. Смыслъ жизни.

Было бы странно и пошло ознаменовывать восьмидесятилѣтіе Льва Толстого панегириками или даже фактическими справками о томъ, что сдѣлалъ за свою богатую творчествомъ жизнь великій писатель. Панегирики не нужны читателямъ, еще менѣе нужны они самому „юбиляру“, а всякая фактическая справка дастъ меньше того, что, въ сущности, знаетъ о Толстомъ даже средній читатель, и кромѣ того потонетъ въ необозримой литературѣ, имѣющейся о Толстомъ и его произведеніяхъ. Но, быть можетъ, не лишнее попытаться оцѣнить, въ чемъ значеніе и смыслъ дѣятельности Льва Толстого съ самой общей точки зрѣнія, какія проблемы культуры ставитъ и углубляетъ эта дѣятельность. Всякая такая попытка неизбѣжно обречена быть субъективной и отрывочной. Пищущій эти строки ясно сознаетъ такой характеръ предлагаемыхъ размышленій и проситъ у читателей напередъ снисхожденія.

---

[1]) Эта характеристика представляетъ соединеніе двухъ статей: одной, написанной по случаю 80-лѣтія Толстого (Русская Мысль, 1908 г., августъ), и другой, написанной подъ впечатлѣніемъ его смерти (Русская Мысль, 1910 г. декабрь), и произнесенной въ засѣданіи Спб. Религіозно-философскаго Общества, посвященномъ памяти Толстого.

1.

Исторія русской литературы знаетъ не одного, не двухъ, не трехъ великихъ писателей. Но въ ней есть только три громадныхъ явленія: Пушкинъ, Достоевскій и Толстой.

Пушкинъ первый великій русскій писатель. И тѣмъ только однимъ, что онъ жилъ, онъ произвелъ цѣлую культурную революцію. Въ то же время Пушкинъ,—самый широкій и могущественный изъ русскихъ писателей,—есть живой образъ творческой гармоніи. Есть что то для русской культуры пророчески-ободряющее въ томъ, что именно этотъ спокойный великанъ стоитъ въ началѣ русской національной литературы. Онъ какъ бы разъ навсегда показалъ, что русскій духъ не враждебенъ искусству и красотѣ.

Достоевскій громаденъ, какъ психологическая загадка и какъ моральная проблема. Въ его изъязвленной душѣ Богъ и Дьяволъ вели вѣчную борьбу. Громадность и единственность Достоевскаго и состоятъ именно, въ томъ, что въ немъ загадочно равны были элементы божескій и дьявольскій, сила Добра и сила Зла (и притомъ въ широчайшемъ ихъ толкованіи, включающемъ въ себя даже самое позитивное пониманіе). Борьба съ Богомъ и за Бога была внутри Достоевскаго, въ самыхъ глубочайшихъ глубинахъ его личности. Она была не только не позой, но даже не просто фактомъ его литературнаго и умственнаго развитія. Она была его натурой. Достоевскій былъ живымъ выраженіемъ той „непобѣдимой противоположности между Богомъ и человѣкомъ“, о которой говоритъ Паскаль. Слабымъ подобіемъ Достоевскаго въ этомъ отношеніи въ западной литературѣ является Оскаръ Уайльдъ. Ницше

же борется съ Богомъ литературно или, если угодно, идейно. Натурѣ Нитше—и это отличаетъ его отъ Достоевскаго—богоборчество совершенно чуждо.

Громадность Толстого, какъ явленія русской культуры, совершенно въ другомъ.

Толстой, какъ извѣстно, посвятилъ вопросу объ искусствѣ спеціальное сочиненіе. Оно думается мнѣ, проливаетъ больше свѣта на личность Толстого, чѣмъ даже его автобіографическія произведенія.

До начала 80-хъ гг. можно было спрашивать: кто такой Толстой? Теперь передъ всякимъ изъ насъ вопросъ ставится иначе: что такое Толстой? Каковъ смыслъ этого громаднаго явленія русской культуры?

Прежде, до религіознаго переворота съ нимъ происшедшаго, Толстой былъ великимъ русскимъ писателемъ. Но послѣ Пушкина появленіе великаго русскаго писателя уже не обозначало никакого культурнаго поворота и не заключало въ себѣ никакой загадки.

Случилось, однако, нѣчто такое, чему нѣтъ примѣра въ исторіи міровой культуры. Мощный художникъ сталъ борцомъ противъ красоты.

Гете сказалъ однажды:

„Кто владѣетъ наукой и искусствомъ, у того есть религія. У кого нѣтъ ни науки, ни искусства, да будетъ тому дана религія“.

Гете не предвидѣлъ, что можно „имѣя“ искусство, ради религіи отвернуться отъ него и возстать на красоту. Это, казалось бы, невозможное и даже немыслимое дѣло совершилъ Левъ Толстой. Въ этомъ его громадность и единственность, какъ мірового культурнаго явленія. Борцовъ противъ искусства и красоты было не мало до Толстого. Но нѣтъ другого примѣра въ исторіи міровой культуры, чтобы эту борьбу предпринялъ геніальный творецъ въ искусствѣ.

Толстой въ самомъ себѣ, въ своей личности и жизни воплотилъ противоборство Красоты и Добра въ здѣшнемъ мірѣ Художникъ, которому, въ его творчествѣ, дано было соединить величайшую лирическую тонкость и сложность въ выраженіи душевныхъ движеній съ эпической, чисто гомеровской изобразительностью всего „внѣшняго“ въ мірѣ, художникъ-властелинъ отрекся отъ искусства и сталъ борцомъ противъ красоты. Не будемъ затушевывать и скрывать отъ себя этотъ противоборства Красоты и Добра въ личности и жизни отошедшаго генія. Ибо именно въ этомъ противоборствѣ, значеніе Толстого, какъ громаднаго и единственнаго факта міровой культуры и религіозной исторіи. Толстой самъ сказалъ: „чѣмъ больше мы отдаемся красотѣ, тѣмъ больше удаляемся отъ добра“.

Онъ не на словахъ и даже не въ мысляхъ, а въ самой жизни воплотилъ величайшую метафизическую и религіозную загадку: что такое Красота въ отношеніи къ Добру? Есть ли Красота, такъ какъ мы ее чувственно воспринимаемъ,—„красота человѣческаго тѣла“ и „пріятныя на видъ зданія“, красота „панихиды“ [1]), красота звука и слова, красокъ и линій, есть ли тѣлесная, чувственная красота выраженіе начала божественнаго, принадлежитъ ли она къ „живому одѣянію Божества“, имѣетъ ли она религіозное значеніе и оправданіе? Или красота есть начало низменное и злое, есть просто „то, что намъ нравится“, есть лишь красивое слово для грубаго факта нашихъ пристрастій и похотей.

Это есть вѣковѣчная загадка „Плоти“ и „Духа“, перенесенная какъ бы на какую-то высшую ступень, духовно утонченная до противоборства „Красоты“ и „Добра“. Мі-

---

[1]) Ср. въ статью И. Ф. Наживина о его бесѣдахъ съ Толстымъ. Русская Мысль, декабрь 1910 г.

ровое значеніе Толстого не въ томъ, что онъ задалъ эту загадку, а въ томъ, что задалъ ее онъ, творецъ-художникъ, который самъ когда-то написалъ пантеистическую поэму, гимнъ божественной красотѣ природы („Казаки“).

Въ враждебномъ разъединеніи добра и красоты обнаруживается тотъ основной фактъ, что Толстой, какъ мыслитель, совершенно лишенъ всякаго метафизическаго воображенія. Красота, какъ проявленіе Божества, для него не существуетъ; скорѣе она для него сила дьявольская.

Отсутствіе у Толстого всякаго метафизическаго воображенія обусловливаетъ собой и полное отсутствіе поэзіи въ его религіи. Его религія лишена лучей, красокъ, свѣта, лишена видѣнія лицъ и жизни.

Онъ не вѣритъ ни въ какіе религіозные миѳы и не находится въ плѣну ни у какихъ догматовъ. Метафизическая концепція его религіи, хотя и не выработана, но очень широка. Въ этихъ отрицательныхъ опредѣленіяхъ религія Толстого сближается съ религіей Гете. Но Толстой, для котораго идея личнаго Бога непонятна [1]), былъ бы такимъ же пантеистомъ, какъ Гете, если бы онъ любилъ Бога-Природу, если бы въ немъ была сильна не только покорность нравственному приказу Бога, но и то страстное притяженіе къ „живому одѣянію Божества“, которымъ Гете былъ весь пронизанъ.

Было время, какъ я уже указалъ, когда и Толстой постигалъ красоту и любилъ Бога-Природу.

А Толстой нашихъ дней въ основу всей своей оцѣнки искусства положилъ разъединеніе Добра и Красоты.

---

[1]) „Молитва обращается къ личному Богу не потому, что Богъ личенъ (я даже знаю навѣрное, что онъ не личенъ, потому что личность есть ограниченность, а Богъ безпредѣленъ), а потому, что я личное существо“ („Мысли о Богѣ“).

„Добро, красота и истина ставятся на одну высоту, и всѣ эти три понятія признаются основными и метафизическими. Между тѣмъ въ дѣйствительности нѣтъ ничего подобнаго. Добро есть вѣчная высшая цѣль нашей жизни. Какъ бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное, какъ стремленіе къ добру, т.-е. къ Богу. Добро есть дѣйствительно понятіе основное, метафизически составляющее сущность нашего сознанія, понятіе, не опредѣляемое разумомъ.

„Добро есть то, что никѣмъ не можетъ быть опредѣлено, но что опредѣляетъ все остальное.

„Красота же, если мы не довольствуемся словами, а говоримъ о томъ, что понимаемъ,—красота есть не что иное, какъ то, что намъ нравится.

„Понятіе красоты не только не совпадаетъ со добромъ, но скорѣе противоположно ему, такъ какъ добро большей частью совпадаетъ съ побѣдой надъ пристрастіями, красота же есть основаніе всѣхъ нашихъ пристрастій.

„Чѣмъ больше мы отдаемся красотѣ, тѣмъ больше удаляемся отъ добра“.

Возражая тѣмъ, кто говоритъ о духовной красотѣ, Толстой замѣчаетъ: „подъ красотою духовной или нравственностью разумѣется не что иное, какъ добро. Духовная красота или добро большею частью не только не совпадаетъ съ тѣмъ, что обыкновенно разумѣется подъ красотой, но противоположна ему“ [1]). („Что такое искусство“, изданіе „Посредника“. М., 1898 г., стр. 60).

---

[1]) Тамъ же (стр. 57) сужденіе о грекахъ, „полудикомъ рабовладѣльческомъ народцѣ, очень хорошо изображавшемъ красоту человѣческаго тѣла и строившемъ пріятныя на видъ зданія“: они „были такъ мало нравственно развиты, что добро и красота имъ казались совпадающими и на этомъ отсталомъ міровоззрѣніи грековъ построена наука эстетика“.

Вѣковѣчная проблема соотношенія между Красотой и Добромъ никѣмъ, быть можетъ, въ исторіи человѣчества не была поставлена съ такой трагической рѣзкостью, какъ Толстымъ. Отрекшись отъ своихъ художественныхъ произведеній, предавъ анаѳемѣ почти все искусство, Толстой съ новой силой задалъ человѣчеству эту загадку.

Было, однако, время, когда онъ понималъ, что вообще во всякой широкой перспективѣ самая проблема Добра и Зла есть загадка для человѣческаго ума.

Въ 1857 году онъ написалъ такія строки, которыя теперь въ устахъ Толстого звучали бы дико:

„Несчастное, жалкое созданіе—человѣкъ со своей потребностью положительныхъ рѣшеній, брошенный въ этотъ вѣчно движущійся, безконечный океанъ добра и зла, фактовъ, соображеній и противорѣчій. Вѣками борятся и трудятся люди, чтобы отодвинуть къ одной сторонѣ благо, къ другой—неблаго. Проходятъ вѣка и гдѣ бы что ни прикинулъ безпристрастный умъ на вѣсы добраго и злого, вѣсы не колеблются и на каждой сторонѣ столько же блага, сколько и неблага... Если бы только онъ (человѣкъ) понялъ, что всякая мысль и ложна, и справедлива: ложна—односторонностью, по невозможности для человѣка обнять всю истину и справедлива — по выраженію одной стороны человѣческихъ стремленій. Сдѣлали себѣ подраздѣленія въ этомъ вѣчно-движущемся безконечномъ, безконечно-перемѣшанномъ хаосѣ добра и зла, провели воображаемыя черты по этому морю и ждутъ, что море такъ и раздѣлится. Точно нѣтъ милліоновъ другихъ подраздѣленій совсѣмъ съ другой точки зрѣнія, въ другой плоскости. Правда, вырабатываются эти новыя подраздѣленія вѣками, но и вѣковъ прошли и пройдутъ милліоны. Цивилизація—благо, варварство—зло; свобода—благо, неволя—зло... У кого въ душѣ такъ непоколебимо... мѣрило добра и зла, чтобы онъ

могъ мѣрить имъ бѣгущіе, запутанные факты? У кого такъ великъ умъ, чтобы хотя въ неподвижномъ прошедшемъ обнять всѣ факты и взвѣсить ихъ? И кто видѣлъ такое состояніе, въ которомъ бы не было добра и зла вмѣстѣ, и почему я знаю, что вижу больше одного, чѣмъ другого, не отъ того, что стою не на настоящемъ мѣстѣ? И кто въ состояніи такъ совершенно оторваться хотя на мигъ отъ жизни, чтобы независимо сверху взглянуть на нее? Одинъ, только одинъ есть у насъ непогрѣшимый руководитель— міровой Духъ" [1]).

Есть что то Гётевское въ этомъ признаніи относительности всѣхъ человѣческихъ оцѣнокъ и сужденій предъ лицомъ вѣчнаго и безконечнаго Бога-Природы. Но какъ это непохоже на моральное міросозерцаніе Толстого, какимъ мы знаемъ его теперь!

Теперь Толстой, т. е. Толстой, какъ религіозный мыслитель, не цѣнитъ и не любитъ Природы. Богъ въ Природѣ и Природа, какъ Богъ, совершенно чужды ему. Богъ-Природа, тотъ Богъ, которымъ и въ которомъ жилъ Гёте, для него не существуетъ. Еще одно сопоставленіе съ Гете. Толстой несомнѣнно одинъ изъ самыхъ убѣжденныхъ проповѣдниковъ христіанскаго нравственнаго ученія, но живая личность Христа для него неинтересна и даже не существуетъ. И тутъ какая разница по сравненію съ Гете, для котораго вся цѣнность христіанства состояла именно въ личности Христа!

Еще другой великій религіозный вопросъ, другую страшную метафизическую загадку поставилъ своей жизнью предъ нами Толстой.

Толстой не только возсталъ на красоту. Всѣ мы знаемъ,

---

[1]) „Изъ записокъ князя Д. Нехлюдова". „Люцернъ". Соч. гр. Л. Толстого. Ч. II, изд. 8-е, стр. 132.

что онъ не только безчувственъ къ Культурѣ, но и прямо ей враждебенъ. Именно,—культурѣ, а не только „цивилизаціи“, Шекспиру и Гете и всей современной наукѣ и техникѣ, а не только кинематографу и авіаціи. Почему „культура“ побѣждаетъ и подчиняетъ все ему дорогое „простое“, „мужицкое“? Толстой понималъ, что дѣло тутъ не въ простомъ внѣшнемъ насиліи, что корень зла лежитъ глубже. Онъ понималъ, что культура есть сила. Но у Толстого, какъ религіознаго мыслителя, нѣтъ ни малѣйшаго тяготѣнія и почтенія къ человѣческой Силѣ. Въ ней онъ не видитъ ничего божественнаго. Для него Сила, такъ же какъ Красота, есть начало злое, дьявольское. Добро и Богъ для него всецѣло исчерпываются и поглощаются началомъ Любви, и началу Силы, какъ началу положительному, въ его религіи, такъ же нѣтъ мѣста, какъ и началу Красоты. Сила для него въ нравственномъ смыслѣ всецѣло сливается съ насиліемъ, т.-е. съ грубымъ откровеннымъ принужденіемъ одного человѣка по отношенію къ другому. Сила если не тождественна, то равноцѣнна съ насиліемъ.

Въ этомъ отношеніи цѣлая пропасть лежитъ между Толстымъ и великими англійскими моралистами XIX в. Карлейлемъ и Рескинымъ. Борцы противъ „мѣщанскаго“ духа и „мѣщанской“ морали, оба, и Карлейль, и Рескинъ, страстно любили культуру и ясно видѣли въ ней творческую работу религіознаго начала.

Разногласіе между Толстымъ и великими англійскими моралистами есть не только разногласіе въ оцѣнкѣ культуры. Его захватъ гораздо шире.

Карлейль и Рескинъ любили въ культурѣ Силу. Отсюда—ихъ проповѣдь дисциплины и авторитета, защита государственнаго могущества и войны.

Это глубочайшее моральное разногласіе, упирающееся въ

разногласіе метафизическое. Болѣе того, тутъ прямо разныя, даже антагонистическія міроощущенія, различная религія.

Есть ли Сила, или точнѣе, превосходство въ силѣ, просто фактъ, или оно указуетъ на нѣчто основное, метафизическое, а потому имѣющее и огромный моральный смыслъ? Совершенно ясно, какое значеніе имѣетъ этотъ вопросъ для моральной оцѣнки всей современной культуры и какъ изъ различнаго отношенія къ Силѣ вытекаетъ различная оцѣнка этой культуры.

Какъ Добро связано съ Силой? Отрицательно или положительно? Моральная проблема силы есть какъ бы та загадочная метафизическая бездна, въ которую — передъ пытливымъ философскимъ взоромъ—расширяются всѣ предѣльныя проблемы современности: соціализмъ (равенство неравныхъ по силѣ!), вѣчный миръ (отказъ отъ войны!), національный вопросъ (есть ли національное самоутвержденіе нравственная правда или, наоборотъ, неправда?) и цѣлый рядъ другихъ жгучихъ вопросовъ, волнующихъ современнаго человѣка. Въ конечномъ счетѣ всѣ эти вопросы таятъ въ себѣ проблему Силы.

Великое религіозное значеніе Толстого состоитъ именно въ томъ, что своей личностью и своей жизнью онъ съ геніальной мощью поставилъ передъ современнымъ человѣчествомъ двѣ основныя проблемы мірового и человѣческаго бытія: проблемы Красоты и Силы.

И какъ бы мы ни рѣшали, какъ бы человѣчество въ своей коллективной жизни, которая, по слову самого Толстого, есть „столкновеніе безчисленныхъ произволовъ“, ни рѣшало эти проблемы,—Толстой въ своей суровости и прямолинейности далъ намъ великіе уроки такой послѣдовательности и честности мысли, отъ которой человѣчество почти отвыкло.

Онъ подвергъ своему суду не частности и выводы, а

основы и посылки всей современной культуры и культуры вообще. Въ этомъ отношеніи—да и не только въ этомъ—Толстой подлинный возстановитель христіанства. Подобно христіанству онъ моральному и религіозному сознанію человѣчества принесъ „не миръ, но мечъ“. И оскорбленіе памяти Толстого, думается мнѣ, будетъ заключаться не въ томъ, что мы мужественно и сознательно отвергнемъ его „мечъ“, а въ томъ, что мы изъ преклоненія передъ его личностью, по нравственной дряблости и умственной трусости, станемъ притуплять толстовскій „мечъ“ и обратимъ это страшное орудіе моральнаго разсѣченія и духовнаго проясненія въ безобидную игрушку, служащую для жалкаго примиренія непримиримаго и, хуже того, для лицемѣрнаго затемненія подлинной остроты загадокъ нашего нравственнаго и общественнаго бытія.

Отдавъ Красоту во власть Дьявола и изгнавъ изъ религіи всякую поэзію, Толстой превратилъ ее въ скорбную пустыню суровой морали самоограниченія личности.

Вотъ почему такъ проста и такъ безотрадно скудна его этика. Она не обвѣяна никакимъ личнымъ отношеніемъ къ личному Богу. Христосъ тутъ не присутствуетъ, какъ живой образъ Бога. А въ то же время высшая метафизическая и, если угодно, эстетическая проблема нравственности: какъ примирить самоограниченіе личности съ ея самоутвержденіемъ?—тутъ вовсе не ставится. Между тѣмъ только въ непрерывномъ разрѣшеніи этой проблемы можетъ состоять истинное моральное творчество.

Мораль Толстого такъ скудна потому, что Толстой слишкомъ моралистъ, что вся загадка міра разрѣшается для него въ моральную проблему всецѣлаго подчиненія нравственному велѣнію Бога.

И именно потому, что онъ слишкомъ моралистъ и въ своей морали узкій догматикъ, онъ не можетъ такъ подняться надъ нравственнымъ міромъ, какъ поднялись болѣе богатыя и глубокія религіозныя натуры. Въ его морали нѣтъ той улыбки снисхожденія и всепрощенія, которая озаряетъ лицо Христа. Нѣтъ у него и того глубокаго и примиряющаго проникновенія въ неустранимыя противорѣчія и убожества человѣческой природы, которое такъ характерно для родившейся изъ скепсиса религіи Паскаля.

2.

Почему Толстой не могъ стать великимъ религіознымъ реформаторомъ? Для того, чтобы быть таковымъ, нужна или великая личная святость, или огромное религіозное дѣйствіе.

Былъ ли въ возстаніи Толстого противъ красоты и искусства личный подвигъ? О б ъ е к т и в н о это былъ величайшій подвигъ, величайшая жертва, которую могъ принести такой человѣкъ. Съ этой жертвой можетъ быть сравниваемо развѣ только отреченіе отъ свѣтской науки такого ученаго, какъ Паскаль. Но с у б ъ е к т и в н о въ религіозномъ переворотѣ, совершившемся съ Толстымъ, не было или почти не было элемента личнаго подвига или жертвы. Этотъ переворотъ стоилъ ему, несомнѣнно, большихъ усилій мысли, но усилій воли не видно. Толстой н е о т о р в а л ъ с в о е й д у ш и отъ искусства и красоты, а просто у него не стало къ нимъ вкуса. Къ религіи онъ пришелъ, не возненавидѣвъ красоту и искусство, а изъ удручающаго сознанія пустоты жизни, которая была ими наполнена. Великій человѣкъ, онъ никогда не былъ великимъ грѣшникомъ и не могъ с т а т ь великимъ праведникомъ. А п р и р о ж д е н н ы м ъ праведникомъ онъ никогда не былъ; въ немъ не было никогда той святости, которая дается безъ борьбы и подвижни-

чества, которую прирожденный святой получаетъ изъ себя Вообще моральная личность Толстого не стояла на уровнѣ его проповѣди, она была меньше и слабѣе ея.

Недоступно было Толстому и то религіозное дѣйствіе, которое и безъ личной святости можетъ сдѣлать человѣка великимъ религіознымъ реформаторомъ. Для такого религіознаго дѣйствія Толстой былъ все таки слишкомъ литераторомъ и бариномъ. Для такой роли нужно было другое воспитаніе и другая натура, болѣе дѣйственная и въ то же время болѣе гибкая, болѣе властная и въ то же время болѣе пластическая.

Словомъ, Толстой не былъ ни Франциском Ассизскимъ, ни Мартиномъ Лютеромъ.

Тѣмъ не менѣе въ исторіи и психологіи религіи Толстой занимаетъ совершенно особое мѣсто. Именно, отсутствіе поэзіи въ его религіи, позитивная трезвость его религіознаго духа есть нѣчто своеобразное и замѣчательное. Проникновеніе религіей, религіозныя „обращенія“ весьма часто соединяются съ экстатическимъ, „патологическимъ“ состояніемъ духа. Вольтеръ считалъ религіозность Паскаля сумасшествіемъ; въ наше время говорятъ объ его наслѣдственной неврастеніи. И вообще часто замѣтна опирающаяся на извѣстные неоспоримые факты склонность—религіозное направленіе мысли и чувствъ разсматривать, какъ выраженіе психической неуравновѣшенности, какъ явленіе по существу ненормальное и болѣзненное въ человѣкѣ, ставшемъ на уровнѣ новѣйшей культуры. Съ этой точки зрѣнія примѣръ Толстого въ высшей степени поучителенъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ отдался религіи, онъ живетъ только ею: къ его религіозности не подмѣшивается никакихъ мотивовъ, постороннихъ религіи. И въ то же время религіи онъ отдался въ состояніи полнаго физическаго и душевнаго здоровья. Его „обращеніе“ къ Богу не можетъ быть объяснено никакими „физическими“ при-

чинами, никакой „физіологіей“ или „патологіей“. Это дѣло чистаго духа, фактъ моральный или „спиритуальный“ въ самомъ подлинномъ и самомъ позитивномъ смыслѣ слова. Именно этотъ характеръ обращенія Толстого къ Богу придаетъ ему особое и глубокое философское значеніе.

3.

Не будучи великимъ религіознымъ реформаторомъ—возможенъ ли вообще таковой въ наше время?—Толстой есть огромная сила въ культурномъ и общественномъ развитіи современности. Говоря о значеніи Толстого для нашего времени, не слѣдуетъ забывать, что онъ весь, и какъ художникъ, и какъ мыслитель, всего же болѣе какъ индивидуальность, стоитъ какъ бы надъ временемъ. Борьба такого великаго художника съ искусствомъ и красотой есть фактъ самъ по себѣ громадный, независимо отъ какихъ либо практическихъ послѣдствій его для общественной жизни, и имѣетъ, выражаясь философски, внѣвременное значеніе.

Но дѣятельность Толстого, связанная съ этимъ фактомъ, несомнѣнно имѣла и имѣетъ въ то же время огромныя практическія послѣдствія. Прежде всего—политическія. Я всегда думалъ и въ рѣзкой формѣ высказалъ это въ вступительномъ редакторскомъ словѣ къ первому номеру Освобожденія, что Толстой одинъ изъ самыхъ мощныхъ разрушителей нашего стараго порядка. Равнодушный къ политикѣ въ тѣсномъ смыслѣ, онъ проповѣдывалъ такія общія идеи и высказывалъ такія мысли по частнымъ вопросамъ, которыя имѣли огромное политическое значеніе, и этой его проповѣди была присуща вся та сила, которую давали геній и авторитетъ генія. Среди идейныхъ проповѣдниковъ свободы личности въ Россіи Толстой былъ самымъ мощнымъ и самымъ вліятельнымъ.

Общимъ мѣстомъ является теперь признаніе его вліянія, какъ моралиста. Внѣ всякаго сомнѣнія, множество людей, подъ его вліяніемъ, оглянулось на себя, подвергло себя внутреннему суду, обострило свою совѣсть и измѣнило такъ или иначе свое поведеніе. Въ половомъ вопросѣ вліяніе его было, по моимъ наблюденіямъ, особенно сильно. Но такова судьба всякой односторонней морали, всякой проповѣди, проникнутой деспотическимъ духомъ абсолютизма, всякаго безусловнаго велѣнія, что ихъ вліяніе, какъ бы оно ни было велико,—съ теченіемъ времени въ отношеніи къ однимъ и тѣмъ же лицамъ слабѣетъ. То же случилось съ толстовской моралью. Черезъ нее прошли очень многіе, въ ней остались очень немногіе. Но слѣдъ, ею оставленный и оставляемый, мнѣ кажется, весьма глубокъ. Вліяніе толстовской морали на то поколѣніе, для котораго оно было новымъ словомъ и которое складывалось въ 80-хъ гг. и вступило въ жизнь въ 90-хъ гг., было неизгладимо и очень велико.

4.

По своимъ соціальнымъ идеямъ Толстой по отношенію къ существующему обществу великій революціонеръ. Его отрицаніе всякой принудительной власти и въ то же время всякаго насилія дѣлаетъ его единственнымъ послѣдовательнымъ ан-архистомъ, вѣрнымъ началу абсолютно добровольнаго взаимоотношенія и объединенія людей. Ибо онъ единственный изъ ан-архистовъ отрицаніе насилія признаетъ не только принципомъ существованія идеальнаго человѣческаго общества, но и принципомъ его осуществленія. Въ этомъ различіи цѣлая практическая и прежде всего морально-религіозная пропасть между мирнымъ ан-архизмомъ Толстого и насильственнымъ другихъ ан-архистовъ. Пропасть эта такъ велика, что называть Толстого безъ оговорокъ и объясненій анархистомъ

значило бы затемнять самое существо его моральнаго и общественнаго ученія.

Какъ проповѣдникъ равенства, равенства экономическаго и культурнаго, какъ отрицатель частной собственности, Толстой несомнѣнно принадлежитъ къ соціалистамъ. Но и тутъ положеніе, занятое имъ, совсѣмъ особенное, проводящее рѣзкую грань между нимъ и большинствомъ соціалистовъ. Это различіе вытекаетъ изъ религіозности Толстого.

Современный соціализмъ часто называютъ религіей. Поскольку подъ религіей разумѣется лишь особое душевное состояніе, характеризуемое увлеченіемъ извѣстной задачей, доходящимъ до поглощенія всей духовной личности человѣка,—многіе современные соціалисты могутъ быть названы религіозными. Поскольку подъ религіей разумѣется совокупность стремленій и идеаловъ, имѣющихъ для даннаго человѣка или для данной группы людей значеніе высшихъ цѣнностей, къ которымъ примѣриваются всѣ прочія вещи и отношенія,—соціализмъ для многихъ людей является религіей. Но слѣдуетъ сказать правду: въ этомъ смыслѣ объектомъ религіи могутъ быть даже тотализаторъ и гончія собаки и всякій спортъ въ истинномъ спортсменѣ возбуждаетъ „религіозное“ отношеніе.

Очевидно, что такое чисто формально-психологическое пониманіе религіи ничего не объясняетъ въ ея идейномъ существѣ. Религія не можетъ быть просто увлеченіемъ чѣмъ бы то ни было, безразлично чѣмъ. Религія неразрывна съ идей Божества и содержаніемъ ея является отношеніе человѣка къ сверхприродному, міродержавному Существу. Но этого мало для современнаго человѣка. Разъ религія перестала быть поклоненіемъ Существу, внушающему страхъ, разъ Божество или та идея, которая замѣняетъ Божество, вызываетъ къ себѣ любовь, центромъ

религіи становится свободное и дѣятельное служеніе Божеству, основанное на чувствѣ личной отвѣтственности, на убѣжденіи, что осуществленіе мною Блага и мое спасеніе, какъ бы оно ни мыслилось, требуетъ напряженія всѣхъ моихъ силъ и прежде всего зависитъ отъ меня. Нѣтъ чувства и идеи болѣе существенной для религіи, которая поднялась надъ ощущеніями глухой зависимости и темнаго страха, чѣмъ чувство и идея отвѣтственности человѣка за себя и за міръ.

Каково же отношеніе соціализма къ этой идеѣ?

Соціализмъ выросъ на почвѣ того механическаго морально-философскаго міровоззрѣнія, которое было подготовлено въ XVIII в., и своего наивысшаго расцвѣта достигло въ Бентамѣ. Если бы самъ Бентамъ не былъ всецѣло порожденіемъ всей предшествовавшей ему философіи, если бы онъ не стоялъ на плечахъ Юма, Гельвеція и Гольбаха, то можно было бы сказать, что Бентамъ, этотъ осмѣянный Марксомъ буржуазный мыслитель, есть истинный философскій отецъ соціализма. И для того, чтобы убѣдиться, въ какой мѣрѣ надъ новѣйшимъ соціализмомъ носится духъ Бентама, достаточно заглянуть въ самый замѣчательный англійскій соціалистическій трактатъ начала XIX в. въ сочиненіе ученика Бентама Вильяма Томпсона „An inquiry into the principles of the distribution of wealth“ (1824). Томпсонъ былъ не только ученикомъ Бентама, онъ былъ также ученикомъ Годвина, автора „Политической справедливости“ и Овена. И Годвинъ и Овенъ оба выросли и созрѣли въ той же духовной атмосферѣ, что и Бентамъ. Овенъ, человѣкъ одной идеи, быть можетъ, ярче, чѣмъ какой-нибудь другой писатель и дѣятель соціализма, раскрылъ его морально-философскую сущность. „Лишь съ величайшими сопротивленіями и послѣ продолжительной душевной борьбы,—говоритъ

онъ въ своей „Автобіографіи“ [1]),- -я былъ вынужденъ отказаться отъ моихъ первоначальныхъ и глубоко во мнѣ укоренившихся христіанскихъ убѣжденій, но, отказавшись отъ вѣры въ христіанское ученіе, я вмѣстѣ съ тѣмъ былъ вынужденъ отвергнуть и всѣ другія вѣроученія. Ибо я открылъ, что всѣ они покоятся на нелѣпой мысли (absurd imagination), что „всякій человѣкъ создаетъ самъ свои собственныя свойства, опредѣляетъ свои мысли, желанія и дѣйствія и отвѣтственъ за нихъ передъ Богомъ и людьми“ (ковычки Овена П. С.). Мои собственныя размышленія привели меня къ совершенно инымъ выводамъ. Мой разумъ научилъ меня, что я не могу быть творцомъ ни одного изъ моихъ свойствъ, что они созданы природой, а что мой языкъ, религія и нравы созданы обществомъ и что я всецѣло порожденіе природы и общества“ [2]).

Воззрѣніе Толстого на общественную жизнь и на положеніе въ ней человѣка діаметрально противоположно этой кардинальной идеѣ соціализма, которая есть не только его теоретическая основа, но — что́ еще важнѣе — его морально-философскій лейтмотивъ. Въ старомъ, такъ называемомъ утопическомъ, или, вѣрнѣе, раціоналистическомъ соціализмѣ, который вѣрилъ въ силу разума и основаннаго на разумѣ воспитанія и законодательства, отрицаніе личной отвѣтственности парализовалось огромной ролью, приписываемой разуму въ дѣлѣ перевоспитанія человѣка и преобразованія общества. Годвинъ и Овенъ, отрицая лич-

---

[1]) The life of Robert Owen, Vol. I, 1857, p. 38.

[2]) Слѣдуетъ отмѣтить, что естествознаніе оказало непосредственное вліяніе на ходъ мыслей Овена. Въ эпоху выработки своихъ идей онъ находился въ идейномъ общеніи съ знаменитымъ химикомъ Дальтономъ, и представленіе о химическихъ соединеніяхъ, по его собственному признанію, послужило моделью для его представленія о человѣкѣ и человѣческомъ обществѣ.

ную отвѣтственность человѣка, возлагали на человѣческій разумъ неизмѣримо громадную задачу. Историческое мышленіе XIX в., практически-психологически коренившееся въ консервативной реакціи противъ революціоннаго раціонализма предшествовавшей эпохи, выдвинуло противъ него воззрѣніе на общество и его формы, какъ на органическій продуктъ стихійнаго, ирраціональнаго творчества. Это направленіе философски превосходно мирилось съ отрицаніемъ личной отвѣтственности, личнаго подвига, личнаго творчества. Въ марксизмѣ механическій раціонализмъ XVIII в. слился съ органическимъ историзмомъ XIX в., и въ этомъ сліяніи окончательно потонула идея личной отвѣтственности человѣка за себя и за міръ. Соціализмъ—въ лицѣ марксизма—отказался отъ морали и разума. Весь же современный соціализмъ насквозь пропитанъ міровоззрѣніемъ Маркса, которое есть амальгама механическаго раціонализма XVIII в. и органическаго историзма XIX в. Оба элемента этой амальгамы по существу одинаково враждебны идеѣ личной отвѣтственности человѣка, лежащей въ основѣ моральнаго ученія христіанства и Льва Толстого, въ частности.

Теперь спрашивается: нуждается ли соціализмъ въ идеѣ личной отвѣтственности человѣка и каково вообще значеніе этой идеи для совершенствованія человѣка и общества?

Въ чемъ философская сущность соціализма? Одно несомнѣнно—въ основѣ соціализма лежитъ идея полной раціонализаціи всѣхъ процессовъ, совершающихся въ обществѣ. Въ этомъ громадная трудность соціализма. По идеѣ соціализма стихійное хозяйственно-общественное взаимодѣйствіе людей должно быть сплошь замѣнено ихъ планомѣрнымъ, раціональнымъ сотрудничествомъ и соподчиненіемъ. Я нарочно подчеркиваю слово сплошь, ибо со-

ціализмъ требуетъ не частичной раціонализаціи, а такой, которая принципіально покрывала бы все поле общественной жизни. Въ этомъ заключается основная трудность соціализма, ибо, очевидно, что ни индивидуальный, ни коллективный разумъ не способенъ охватить такое обширное поле и неспособенъ всѣ происходящіе на немъ процессы подчинить одному плану. Это вытекаетъ изъ существа дѣла, и отсюда явствуетъ, что съ реалистической точки зрѣнія рѣчь можетъ идти только о частичномъ осуществленіи задачъ соціализма, а не о всецѣломъ разрѣшеніи проблемы соціализма.

Очевидно, что отмѣченная нами трудность лежитъ въ самомъ существѣ соціализма. Смыслъ послѣдняго въ полной раціонализаціи человѣческой жизни, а между тѣмъ тенденція къ раціональному не можетъ всецѣло овладѣть человѣческой природой. Но для поставленнаго нами вопроса указаніе на эту трудность не имѣетъ непосредственнаго значенія. Допустимъ, что она не существуетъ. Возникаетъ другой вопросъ: какое значеніе имѣетъ для соціализма и его осуществленія идея личной отвѣтственности? Очевидно, что для раціонализаціи общественной жизни первымъ условіемъ является раціонализація и дисциплинированіе индивидуальной жизни. Въ настоящее время въ обществѣ, основанномъ на свободной конкуренціи, такое дисциплинированіе достигается естественнымъ подборомъ, въ силу котораго „несостоятельные“ въ физическомъ и, что еще важнѣе, въ нравственномъ отношеніи экземпляры человѣчества низвергаются на дно соціальной жизни. Это происходитъ совершенно независимо отъ того, чего хочетъ большинство данной соціальной группы; примѣняя слово Маркса, сказанное по другому поводу, все совершается „за спиной“ этого большинства. Демократическій соціализмъ долженъ измѣнить этотъ общественный укладъ, раціональ-

ное устроеніе общественныхъ дѣлъ и, въ огромной мѣрѣ, также и индивидуальной жизни перейдетъ при немъ къ большинству общества. Что произойдетъ при этомъ съ идеей и чувствомъ личной отвѣтственности за себя и за общество? Ослабѣетъ оно въ индивидѣ, или же останется на среднемъ существующемъ уровнѣ, или же, наконецъ, усилится? Это—вопросъ факта, вѣрнѣе, научнаго предвидѣнія сложныхъ соціально-психическихъ соотношеній. Объ этомъ можно много спорить. Но вотъ что не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Соціализмъ немыслимъ при ослабленіи чувства и идеи личной отвѣтственности, и, такимъ образомъ, эта идея и ея крѣпость въ человѣкѣ есть необходимое (хотя, по всей вѣроятности, и недостаточное) условіе осуществленія соціализма. Между тѣмъ мы уже знаемъ, что философски соціализмъ исходитъ отъ отрицанія этой идеи. Въ ученіи о классовой борьбѣ она тоже совершенно исчезаетъ; абсолютно она чужда и философіи синдикализма (если воззрѣніе теоретиковъ синдикализма вообще заслуживаетъ названія философіи). Такимъ образомъ соціализмъ подрывалъ и подрываетъ одну изъ тѣхъ идей, безъ укрѣпленія которыхъ невозможно его осуществленіе. Это одно изъ интересныхъ противорѣчій современнаго соціализма, означающихъ его идейное банкротство и предвѣщающихъ его реальное крушеніе.

Впрочемъ, затронутая нами проблема имѣетъ даже болѣе широкое и общее значеніе, чѣмъ вопросъ о судьбахъ соціализма и объ отношеніи къ соціализму Льва Толстого.

И это значеніе даетъ поводъ подчеркнуть философскій смыслъ и культурную цѣнность моральной проповѣди Льва Толстого. Эта проповѣдь энергично подчеркиваетъ значеніе личнаго усовершенствованія, она побуждаетъ человѣка видѣть въ себѣ, въ своихъ собственныхъ душевныхъ дви-

женіяхъ, поступкахъ и свойствахъ самое для него и для другихъ важное и рѣшающее. Противопоставленіе и сопоставленіе „внутренней“ и „внѣшней“ реформы человѣка, не было бы, можетъ быть, вовсе нужно, если бы именно тѣ воззрѣнія, которыя до сихъ поръ пользуются наибольшимъ кредитомъ въ „публикѣ“ и у насъ и на Западѣ, и въ томъ числѣ и соціализмъ, не отправлялись постоянно, сознательно или безсознательно, отъ пониманія человѣческаго прогресса, какъ усовершенствованія „внѣшнихъ“ формъ жизни. Если вообще допустимо раздѣленіе человѣческой жизни на эти двѣ области [1]), то, думается мнѣ, религіозная точка зрѣнія, на которой стоитъ въ этомъ вопросѣ Толстой и которая на первый планъ выдвигаетъ „внутреннюю“ реформу человѣчества, и практически болѣе плодотворна и гораздо болѣе научна, чѣмъ противоположное антирелигіозное „позитивное“ воззрѣніе. Развитіе этой мысли завело бы меня слишкомъ далеко. Скажу только, что положительное изученіе хозяйства и его развитія, на мой взглядъ, доказываетъ самымъ яснымъ образомъ, что не миѳологическія „производительныя силы“, управляющія человѣкомъ, а человѣкъ и именно его религіозная природа имѣютъ рѣшающее значеніе для экономическаго „прогресса“. Часто бываетъ, что умы не научные стоятъ на научно болѣе правильномъ пути, чѣмъ умы научные. Въ своемъ религіозномъ воззрѣніи на ходъ человѣческаго развитія Толстой — я глубоко въ томъ убѣжденъ — гораздо ближе къ научной истинѣ, чѣмъ то, что признается или, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ признавалось за „науку“.

Но даже если это и спорно, то во всякомъ случаѣ дѣлу практическаго оздоровленія общественнаго мнѣнія точка зрѣнія, лежащая въ основѣ проповѣди Толстого, не

---

[1]) Конечно, оно допустимо лишь въ самомъ условномъ смыслѣ

можетъ не принести огромной пользы. Всѣ пережитыя нами за послѣдніе годы великія политическія событія и перемѣны были какъ бы грандіознымъ психологическимъ экспериментомъ на эту тему. Многія иллюзіи оказались развѣянными, многія постройки рушились, потому что подъ ними не было того фундамента, на которомъ только и могутъ прочно держаться большія и малыя человѣческія дѣла: нравственнаго воспитанія человѣка. Пусть Толстой, какъ моралистъ, суживаетъ человѣческую природу, пусть онъ слишкомъ вѣритъ въ силу проповѣди и потому слишкомъ просто представляетъ себѣ процессъ воспитанія (или, вѣрнѣе, самовоспитанія) человѣчества,—за нимъ та огромная заслуга, что онъ толкаетъ мысль человѣчества въ направленіи къ истинному свѣту. Послѣ всего мною сказаннаго эти слова, надѣюсь, не будутъ приняты за общее мѣсто, за обязательный реверансъ передъ общепризнаннымъ геніемъ или за выраженіе согласія съ какими-либо частностями воззрѣній Толстого. Дѣло тутъ не въ частностяхъ, а въ религіозномъ направленіи его мысли, въ идеѣ, что человѣкъ отвѣтственъ за себя и за міръ. Это—идея человѣка въ Богѣ и Бога въ человѣкѣ и ихъ неразрывной свободной связи.

II. Смыслъ смерти Толстого.

„Мнѣ очень хочется увидѣть Толстого, хотя и боязно. Это какое-то существо громадное и страшное, прожившее не одну, а нѣсколько человѣческихъ жизней и притомъ такихъ, которыя странно и страшно прожить одному человѣку“. Такъ писалъ я А. А. Стаховичу, когда мы условливались съ нимъ относительно совмѣстной поѣздки лѣтомъ 1909 г. въ Ясную Поляну. До 1909 г. я никогда не видѣлъ Льва Толстого, и я почувствовалъ, что долженъ его видѣть. Я понималъ, что скоро это будетъ невозможно.

Самое сильное, я скажу единственное сильное впечатлѣніе, полученное мною отъ этого посѣщенія, можно выразить такъ: Толстой живетъ только мыслью о Богѣ, о своемъ приближеніи къ нему. Онъ уходитъ отсюда—туда. Онъ уже ушелъ. Тѣлесно онъ одной ногой въ могилѣ, потому что ему 81 годъ, но онъ можетъ еще прожить не мало дней, мѣсяцевъ и лѣтъ, ибо тѣло его еще не разрушилось, способенъ же онъ чуть не каждый день ѣздить верхомъ, что для многихъ изъ насъ, вдвое его моложе, не только трудно, но и прямо непосильно. Но душевно и духомъ онъ тамъ, куда огромное большинство людей приходитъ только черезъ могилу, незримо и невѣдомо для всѣхъ другихъ. А онъ ушелъ, а я это видѣлъ, чувствовалъ о немъ и съ нимъ. И въ то же время я видѣлъ его. Въ этой очевидности ухода изъ жизни живого человѣка было нѣчто громадное и для меня единственное.

Въ бесѣдѣ со мной Толстой между прочимъ сказалъ: „неудивительно, что мы съ вами несогласны, вѣдь я болѣе чѣмъ вдвое старше васъ“. Помнится, я ничего не отвѣтилъ на это замѣчаніе, помнится, только взглядомъ я выразилъ, что понимаю его, ибо я чувствовалъ, что въ эти слова самъ Толстой вкладываетъ не простое указаніе на свою старость, а то самое ощущеніе нѣсколькихъ прожитыхъ имъ жизней, съ которымъ я, думая о немъ, направлялся въ Ясную Поляну.

Прожить такъ много, развѣ это не значило выйти изъ жизни? Но въ то же время означалъ ли этотъ выходъ изъ жизни, что Толстой уже являлъ собой мертвеца, что отъ него вѣяло смертью и тлѣномъ?

Нѣтъ, ибо съ нимъ произошло нѣчто рѣдкое и великое. Проживъ нѣсколько огромныхъ жизней, онъ изъ жизни вышелъ живымъ. Я ощутилъ это тогда, въ первый и послѣдній разъ увидавъ лицомъ къ лицу Толстого. Я окон-

чательно понялъ, осознялъ это, когда пришла вѣсть объ уходѣ его изъ Ясной Поляны, когда мы съ тревогой узнали, что его стережетъ тѣлесная смерть. Выйдя живымъ изъ жизни, духовно преодолѣвъ тѣлесную жизнь, онъ могъ пойти и радостно пошелъ навстрѣчу тѣлесной смерти. Будучи внѣ „жизни“ въ здѣшнемъ ограниченномъ смыслѣ, онъ сталъ неподвластенъ „смерти“, онъ ее „попралъ“.

Когда въ зимнюю ночь Толстой „бѣжалъ“ изъ Ясной Поляны, онъ уходилъ не отъ семьи и обстановки, не отъ собственности, барства и жизненнаго комфорта къ простотѣ и скудости „мужицкой“, „трудовой“ жизни. Онъ думалъ, конечно, и объ этомъ, но это не была его главная мысль. Не толстовство въ смыслѣ ученія о земной „жизни“ осуществлялъ онъ въ своемъ „уходѣ“. Земныхъ цѣлей этотъ уходъ не преслѣдовалъ и не могъ преслѣдовать. Не „Царства Божія на землѣ“ искалъ 82-лѣтній старецъ. Онъ уже тогда поднялся надъ „жизнью“ и „смертью“, ибо пошелъ къ Богу.

Его смерть, поэтому, такъ исключительна и значительна. Для меня это не „фраза“, не „построеніе“, для меня это очевидный психологическій и религіозный фактъ.

Очевидный, ибо я его видѣлъ. Я видѣлъ не физическое умираніе Толстого, не естественный физіологическій фактъ, а таинственное религіозное преображеніе. Я видѣлъ воочію и съ трепетомъ ощущалъ, какъ живой Толстой стоялъ внѣ „жизни“. И такъ же, какъ я считалъ своимъ долгомъ при жизни Толстого молчать объ этомъ, такъ теперь, передъ всѣми здѣсь собравшимися, объединенными одной мыслью и однимъ чувствомъ—религіозно почтить отошедшаго Толстого, я считаю своимъ долгомъ свидѣтельствовать объ этомъ великомъ фактѣ его религіозной жизни. Великомъ, ибо тутъ была одержана труднѣйшая побѣда, тутъ совершилось величайшее торжество—человѣка надъ смертью.

Роковые вопросы.

По поводу статьи Л. Н. Толстого „Неизбѣжный переворотъ" [1]).

„Московскія газеты полны описаніями грандіозной демонстраціи, устроенной населеніемъ Москвы „великому писателю земли русской". Безъ преувеличенія можно сказать, что Москва устроила Толстому царскіе проводы, какъ и подобаетъ Льву Великому"—такъ пишетъ г. Пругавинъ въ газетѣ Рѣчь [2]).

Долженъ сказать, что эти газетныя сообщенія о грандіозной демонстраціи въ честь Толстого производятъ странное впечатлѣніе на фонѣ того всеобщаго равнодушія, которое круги русскаго общества, вообще могущіе участвовать въ подобнаго рода „демонстраціяхъ", обнаруживаютъ къ мыслямъ Льва Толстого.

Рядомъ съ дешевымъ идолопоклонствомъ передъ лицомъ великаго человѣка обнаруживается довольно плачевное отсутствіе интереса къ работѣ его мысли, которая во всякомъ случаѣ теперь составляетъ единственное дѣло Льва Толстого. Мнѣ пришлось встрѣчать людей, которые даже не знали, что Толстой только что напечаталъ статью

---

[1]) Русская Мысль 1909 г., октябрь. Статья Толстого былъ напечатана въ Русскихъ Вѣдомостяхъ отъ 24 сентября 1909 г.

[2]) № отъ 24 сентября 1909 г.

„Неизбѣжный переворотъ“ въ Русскихъ Вѣдомостяхъ, и, кажется, далеко не всѣ русскія газеты отмѣтили и цитировали эту статью.

Толстой самъ такъ указываетъ на это отношеніе къ своимъ идеямъ въ началѣ статьи:

„Знаю, что много-много людей, особенно изъ числа такъ называемыхъ образованныхъ, заглянувъ въ это мое писаніе и понявъ, о чемъ идетъ рѣчь, только пожмутъ плечами, презрительно улыбнутся и не станутъ читать дальше. „Все старое непротивленіе... Какъ это не надоѣстъ ему“, скажутъ они“.

Вовсе не нужно быть согласнымъ съ идеями Толстого для того, чтобы огорчаться такимъ безучастнымъ отношеніемъ къ его мысли. Достаточно чувствовать, что въ писаніяхъ Толстого ставятся самые важные, самые первые (а потому и самые конечные) вопросы жизни, и ставятся съ такой силой, которая должна была бы дѣйствовать неотразимо, потому что это есть сила религіознаго убѣжденія.

Читая статью „Неизбѣжный переворотъ“, я испытывалъ это дѣйствіе, и оно было тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше я не соглашался съ авторомъ, чѣмъ яснѣе я чувствовалъ тотъ пунктъ, съ котораго моя мысль начинаетъ бороться съ его мыслью и уходитъ въ совершенно другую сторону. Но, именно не соглашаясь, и ощущаешь всю громадность, весь роковой смыслъ тѣхъ вопросовъ, которые ставитъ Толстой. Къ этому во всякомъ случаѣ нельзя относиться равнодушно.

Очень часто говорятъ, что Толстой плохо разсуждаетъ, и съ легкостью указываютъ тѣ противорѣчія, въ которыхъ онъ запутывается.

Это совершенно вѣрно, но въ то же время само по себѣ совершенно неинтересно. Ибо если вдуматься въ противорѣчія Толстого, то становится яснымъ, что источникъ ихъ

не въ нелогичности Толстого, а въ роковомъ характерѣ тѣхъ вопросовъ, которые онъ ставитъ.

И новѣйшее разсужденіе Толстого поражено такимъ роковымъ противорѣчіемъ, котораго онъ, къ своему счастью, не замѣчаетъ, но котораго для меня, къ моему несчастью, ничто не можетъ вытравить. Всѣ мои послѣдующія разсужденія и недоумѣнія не будутъ, мнѣ кажется, „полемикой“ въ обычномъ смыслѣ слова. Мнѣ важно вовсе не опровергнуть Толстого, а именно раскрыть глубочайшій, роковой смыслъ того, что онъ говоритъ, и того, о чемъ онъ говоритъ,—какъ я это понимаю.

Первое положеніе: Люди отвѣтственны за свои поступки, и важно только, какъ я буду поступать. Толстой выражаетъ это такъ:

„Что дѣлать? — спрашиваютъ одинаково и властители, и подвластные, и революціонеры, и общественные дѣятели, подразумѣвая подъ вопросомъ „что дѣлать?“ всегда вопросъ о томъ, какъ должна быть устроена жизнь людей. Всѣ спрашиваютъ: какъ должна быть устроена жизнь людей, т. е. что дѣлать съ другими людьми? Всѣ спрашиваютъ, что дѣлать съ другими, но никто не спрашиваетъ, что мнѣ дѣлать съ самимъ собой“.

Мысль Толстого тутъ совершенно ясна и не нуждается ни въ какомъ истолкованіи. Но съ ней въ кричащемъ противорѣчіи стоитъ

Второе положеніе: Все зло не въ людяхъ, а въ ложномъ и насильственномъ строѣ ихъ жизни. Толстой выражаетъ это такъ:

„Истинное благо дается только тому, кто исполняетъ законъ своей жизни. Законъ же этотъ ты знаешь и по разуму, и по ученіямъ всѣхъ мудрецовъ міра, и по влеченію своего сердца. Законъ этотъ — любовь, любовь къ высшему совершенству, къ Богу и ко всему живому и въ

особенности къ подобнымъ тебѣ существамъ — людямъ. Только пойми это каждый изъ насъ, и онъ тотчасъ же пойметъ и то, что причина страданій и его, и всего міра не въ какихъ-либо злыхъ людяхъ, виновныхъ въ томъ злѣ, которое совершается, а только въ одномъ: въ томъ, что живутъ люди въ условіяхъ жизни, сложившихся на насиліи, — условіяхъ, противныхъ любви, несовмѣстимыхъ съ нею, и что потому причина того зла, отъ котораго мы всѣ страдаемъ, не въ людяхъ, а въ томъ ложномъ устройствѣ жизни на насиліи, которое люди считаютъ необходимымъ“ [1]).

Въ этомъ противорѣчіи, которое въ нелитераторскомъ изложеніи Толстого само лѣзетъ въ глаза, не прикрытое никакими фразами, заключается основной и роковой вопросъ совершенствованія человѣческой жизни.

Возражая противъ идеи, что совершенствованіе жизни можетъ быть произведено „внѣшнимъ“ ея устроеніемъ, Толстой незамѣтно для самого себя подчиняетъ свою мысль именно этой соблазнительной идеѣ. Я говорю „соблазнительной“ не въ смыслѣ „производящей соблазнъ“. Идея возможности совершенствованія жизни путемъ ея „внѣшняго“ устроенія соблазнительна въ иномъ смыслѣ: эта идея, если предположить, что она вѣрна, означаетъ, что великій переворотъ замѣны жизни насильнической жизнью мирной, любовной не только возможенъ, но и очень легокъ Созданіе такого убѣжденія въ легкости коренного преобразованія человѣческой жизни могло бы быть даже признано полезнымъ, если бы оно не было—и на это указывалъ неутомимо самъ Толстой, въ чемъ его великая заслуга—неразрывно связано съ выборомъ совершенно негодныхъ „внѣшнихъ“ средствъ для осуществленія такого преобразованія.

[1]) Курсивъ мой. *П. С.*

Размышляя о томъ, почему люди живутъ дурно, мы можемъ логически прійти къ двумъ рѣшеніямъ. Либо они живутъ дурно потому, что они сами дурны или плохи. (Я нарочно не говорю: злы, потому что совершенно оставляю въ сторонѣ тутъ вопросъ моральной оцѣнки людскихъ качествъ). Либо они живутъ дурно потому, что они не умѣютъ устроить своей жизни хорошо.

Эти два рѣшенія кореннымъ образомъ различаются между собой и въ теоретическомъ, и въ практическомъ отношеніяхъ. Толстой и его послѣдователи могутъ со своей точки зрѣнія пренебрежительно относиться къ теоретическимъ различіямъ, какъ къ предмету ненужныхъ „умствованій“, но они не имѣютъ ни малѣйшаго ни основанія, ни права пренебрегать практическими слѣдствіями, вытекающими изъ этихъ двухъ различныхъ рѣшеній вопроса объ источникѣ зла въ человѣческой жизни.

Я глубоко убѣжденъ, что только первое рѣшеніе, которое утверждаетъ, что люди живутъ дурно, потому что они сами дурны или плохи, соотвѣтствуетъ религіозному пониманію жизни, что только оно можетъ быть дѣйственно и плодотворно въ жизни. Второе же рѣшеніе, рѣшеніе раціоналистическое, несовмѣстимо съ религіознымъ пониманіемъ жизни и роковымъ образомъ приводитъ къ подмѣнѣ задачи внутренняго совершенствованія человѣка задачей внѣшняго устроенія жизни со всѣми ложными выводами, вытекающими изъ такой подмѣны.

Безсознательно такую подмѣну совершаетъ и Толстой, и она обнаруживается въ томъ противорѣчіи, которое я показалъ выше. Для Толстого, какъ человѣка, эта непослѣдовательность не имѣетъ значенія, но на его служеніи, какъ учителя, она не можетъ не сказываться. Извѣстно, что Толстой увлекался и увлекается экономическими идеями Генри Джорджа. Зная это обстоятельство, я взялъ въ руки

главное произведеніе этого американскаго писателя и освѣжилъ въ своей памяти его идеи. И замѣчательно: именно у Генри Джорджа религія и внѣшнее устроительство жизни находятся въ полномъ смѣшеніи. Несомнѣнно, что у Джорджа есть своеобразное религіозное міросозерцаніе, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже метафизически болѣе оформленное, чѣмъ міросозерцаніе Толстого. Но въ то же время столь же несомнѣнно, что въ своихъ практическихъ предложеніяхъ онъ былъ просто на просто соціальный реформаторъ, стремившійся къ преобразованію „учрежденій", въ частности, къ податной реформѣ. Съ той подлинно религіозной точки зрѣнія, на которой стоитъ Толстой и которая цѣнна именно своей исключительностью, всѣ проекты „націонализаціи" земли и „единаго налога" столь же интересны и важны или, вѣрнѣе, столь же неинтересны и неважны, какъ, напримѣръ, третья Государственная Дума или проекты „мѣстной реформы". Недаромъ Толстой говоритъ, что „законъ любви не есть законъ общественнаго устройства того или другого народа или государства". Онъ гораздо важнѣе и больше, чѣмъ какіе-либо законы общественнаго устройства. И если и когда законъ любви осуществится въ жизни „каждаго отдѣльнаго человѣка",— вопросы о тѣхъ или другихъ „учрежденіяхъ", „законахъ", „порядкахъ" (и въ томъ числѣ вопросъ о „націонализаціи" земли) превратятся въ вопросы чисто „техническіе", лишенные всякаго нравственнаго значенія, и потому для людей чрезвычайно облегчатся. То, что я сейчасъ пишу, не есть, какъ я уже подчеркнулъ, полемика въ смыслѣ „уличенія" того, съ кѣмъ спорятъ, въ промахахъ въ томъ или иномъ смыслѣ, логическомъ или моральномъ...

Для того, кто вмѣстѣ съ Толстымъ думаетъ, что „всѣ усилія духа" необходимо перенести „изъ области общественной внѣшней дѣятельности въ исполненіе требованій своей

внутренней духовной жизни", именно для того, кто утвердился на этой позиціи, смѣшеніе этой задачи со всякими „націонализаціями земли", которыя сами по себѣ могутъ быть хороши или дурны (это совершенно особый вопросъ), непріемлемо. Повторяю, Толстому это смѣшеніе ничѣмъ не грозитъ, но его ученію, или вѣрнѣе, дѣлу проповѣди вѣры въ единственный путь спасенія—внутреннее освобожденіе людей, такое смѣшеніе грозитъ извращеніемъ и смертью. Вѣдь есть замѣчательные примѣры не только превращенія сторонниковъ насилія („лѣвыхъ" и „правыхъ") въ „толстовцевъ", но и наоборотъ—„толстовцевъ" въ сторонниковъ насилія. И эти превращенія совершались и будутъ неизбѣжно совершаться въ тѣхъ случаяхъ, когда ясная черта, отдѣляющая внутреннее совершенствованіе человѣка отъ внѣшняго устроительства жизни, будетъ стираться въ сознаніи.

Я не выдаю себя за единомышленника Толстого и не говорю какъ таковой. И я бы хотѣлъ подчеркнуть еще съ одной стороны то основное теоретическое разногласіе, которое, повидимому, раздѣляетъ насъ. Когда Толстой говоритъ о „насиліи" или о томъ „ложномъ устройствѣ жизни на насиліи, которое люди считаютъ необходимымъ", онъ какъ бы представляетъ себѣ это „насиліе" находящимся всетаки въ извѣстномъ смыслѣ внѣ людей, насилующихъ и насилуемыхъ. Это опять все та же мысль, что жизнь людей „устроена" дурно, потому что они не умѣютъ „устроить" ее хорошо.

Это просто фактически невѣрно. Такъ же какъ „Царство Божіе внутри васъ есть", такъ и Царство Дьявола, или зло внутри насъ въ органическомъ смыслѣ. Это значитъ: преодолѣно зло можетъ быть не простой проповѣдью, а сложнымъ, многообразнымъ дѣйствіемъ, проникающимъ всю жизнь и укрѣпляющимъ всего человѣка. Усовершенствова-

Д 15 5/10

ніе жизни и укрѣпленіе человѣка не можетъ быть простымъ „просвѣщеніемъ“. Самыя страшныя явленія человѣческой жизни, преступность и проституція, именно тѣмъ и ужасны, что они вовсе несводимы просто ни на индивидуальное невѣжество, ни на „соціальное устройство“. Люди не просто „не умѣютъ“ устраивать своей жизни. Пусть они не „злы“ и не „виноваты“, но они несомнѣнно с л а б ы.

Когда я понялъ это—а понялъ я это, не только изучая научно эти вопросы, но и сталкиваясь съ самыми явленіями въ жизни—я пересталъ быть соціалистомъ въ обычномъ смыслѣ, т.-е. пересталъ вѣрить въ рѣшающую силу „внѣшняго устроенія“ человѣческой жизни, на основѣ ли проповѣди, или насилія.

Дѣло, конечно, не въ томъ: „какъ сложится жизнь людей на основаніи любви, исключающей насиліе?“ Объ этомъ нечего ломать себѣ голову и печалиться, и Толстой въ этомъ отношеніи правъ. Стоитъ другой, гораздо болѣе трудный, прямо проклятый по своей загадочности вопросъ: какъ сдѣлаться людямъ достаточно с и л ь н ы м и для „любви, исключающей насиліе“?

---

*

Индивидуализмъ и соціализмъ.

Отрывокъ [1]).

Между личностью и культурой есть самая тѣсная связь: личность живетъ культурой, и культура осуществляется личностью и въ расцвѣтѣ послѣдней празднуетъ свои величайшія побѣды. Но въ то же время мы знаемъ, что личность борется съ культурой и отстаиваетъ въ ней себя, какъ цѣль. Въ этомъ живомъ и текучемъ, постоянно упраздняемомъ и постоянно вновь рождающемся противорѣчіи и состоитъ развитіе и утвержденіе культуры. Это – присущее самой жизни и творящее ея богатство противорѣчіе. Принципіально такое же противорѣчіе существуетъ между личностью и обществомъ. Грубыми пріемами мнимой логики или произвольными де-

[1]) Этотъ отрывокъ, напечатанный въ № 11 Полярной звѣздѣ за 1906 г., задуманъ и написанъ, какъ глава предпринятаго С. Л. Франкомъ и мною болѣе обширнаго сочиненія о культурѣ и свободѣ. Совмѣстно нами написанное введеніе ко всей книгѣ, оставшейся пока недописанной, было напечатано въ №№ 2 и 3 Полярной Звѣзды подъ заглавіемъ „Очерки философіи культуры".

кретами деспотической морали можно, конечно, объявить это противорѣчіе не бывшимъ и не существующимъ, недоразумѣніемъ, порожденіемъ ошибки или даже злого умысла. Наконецъ формулы всепримиряющей объективной метафизики могутъ „снять“ и въ абсолютномъ царствѣ абсолютной дѣйствительности упразднить это противорѣчіе. На самомъ же дѣлѣ оно въ живой дѣйствительности и въ культурномъ творчествѣ неупразднимо и допускаетъ не примиреніе, а примиренія, не полную гармонію, а лишь приближеніе къ ней.

Идея личности заполняетъ собою новѣйшее политическое развитіе человѣчества. Идея эта не была совершенно чужда древности, но только христіанская культура новаго времени облекла ее въ ясныя формулы. Политическая идея личности въ той формѣ, въ какой она уже сильной струей пробивается въ европейской культурѣ, начиная съ XVI вѣка—христіанскаго происхожденія.

Первыми глашатаями ея были религіозные реформаторы, и первымъ практическимъ приложеніемъ ея было требованіе свободы совѣсти, т. е. религіознаго самоопредѣленія человѣка.

Происхожденіе идеи и факта правъ личности несомнѣнно озарено возвышеннымъ свѣтомъ борьбы за свободу религіозной совѣсти. Но въ этой борьбѣ выступала на сцену не та тонкая, сложная, богатая, широкая личность, которая творитъ современную культуру, а болѣе узкая, бѣдная, тусклая личность религіознаго протестанта, въ глазахъ котораго дорогія современности яркія культурныя цѣнности носили печать грѣховности.

Личность эта молилась въ пуританскомъ храмѣ, эстетически скудной горницѣ частнаго дома, гдѣ не было ни яркихъ, чарующихъ красокъ, ни красивыхъ, ласкающихъ линій. Но формальную, алгебраическую идею самоопредѣ-

ленія личности суровые религіозные реформаторы Англіи поняли съ полной ясностью и высказали съ окончательной опредѣленностью. Не случайно, а, наоборотъ, соотвѣтствуетъ истинному существу религіи, что тѣ-же люди, которые установили автономію личности, первые съ полной ясностью провозгласили субъективность религіознаго переживанія и отвергли религіозный догматизмъ, идею всякаго внѣшняго, объективнаго упорядоченія религіи признали богопротивной. Такимъ образомъ въ области религіозной они почти дошли до пониманія личности въ современномъ смыслѣ—ея своеобразія и единственности. Даже въ морали нѣкоторые умы индепендентовъ приблизились къ такому пониманію.

Въ связи съ идеей самоопредѣленія личности, въ той же странѣ и при тѣхъ же условіяхъ возникаетъ и становится движущей силой идея самоопредѣленія общества. Когда изучаешь факты и идеи англійской революціи XVII вѣка, то ничто такъ не поражаетъ, какъ то обстоятельство, что въ эту изумительную эпоху какъ бы однимъ ударомъ въ законченной формѣ рождается и идея свободы личности, либерализмъ, и идея самоуправленія общества, идея демократіи.

Проникнутые религіознымъ энтузіазмомъ, радикальные солдаты арміи Кромвеля вмѣстѣ съ личной свободой требовали основаннаго на общественномъ договорѣ и общественномъ самоуправленіи государственнаго устройства.

Въ этомъ государственномъ устройствѣ права личности были бы прочно защищены отъ деспотизма даже демократически организованной власти.

„Народный договоръ“, который обсуждался въ Путнеѣ осенью 1647 г. на офицерскомъ совѣтѣ арміи Кромвеля, утверждаетъ государственное устройство Англіи на признаніи неотъемлемыхъ правъ личности, которыхъ не мо-

жетъ отмѣнить никакой парламентъ и на провозглашеніи всеобщаго и равнаго избирательнаго права. Пренія объ этомъ проектѣ англійской конституціи являются какъ бы прототипомъ всѣхъ позднѣйшихъ споровъ по основнымъ вопросамъ конституціоннаго права. Умѣренные, въ лицѣ Кромвеля и Айретона, высказываютъ опасенія, что принятіе принципа всеобщаго избирательнаго права отдастъ управленіе страной въ руки широкихъ неимущихъ массъ народа и поведетъ къ уничтоженію собственности, къ „анархіи“ (буквальное выраженіе Кромвеля); радикалы же возражаютъ на это и утверждаютъ, что мысль объ анархіи имъ такъ же чужда, какъ и ихъ противникамъ.

Послѣ англійской пуританской революціи политическая мысль человѣчества, воспринявъ идею либерализма, развиваетъ ее въ теоріяхъ и декларацiяхъ правъ человѣка.

Мы сказали, что вмѣстѣ съ идеей правъ личности англійская революція рождаетъ идею самоопредѣленія общества. Именно въ этомъ с о р о ж д е н і и двухъ великихъ политическихъ началъ заключается особенность и величіе той эпохи религіознаго и политическаго энтузіазма, ибо сама по себѣ идея самоуправленія общества гораздо старше англійской революціи.

Въ древнемъ мірѣ были безправные люди, безличности въ морально-политическомъ смыслѣ, рабы (servi sunt res); постольку можно утверждать, что идея самоопредѣленія личности и неразрывно связанная съ нею идея равноцѣнности людей была чужда древнимъ [1]). Но облеченные званіемъ личности люди древняго міра хорошо усвоили себѣ идею общественнаго самоопредѣленія, цѣнили ее и боролись за нее.

Демократизмъ былъ могущественнымъ дѣйственнымъ

[1]) Однако уже въ древней Греціи есть зачатки идейнаго движенія противъ рабства. Ср. Белохъ, Исторія Греціи, пер. съ нѣм. Гершензона, т. I (изд. К. Т. Солдатенкова. Москва 1897) стр. 372.

теченіемъ эллинской культуры. Можно сказать даже вслѣдъ за Бенжеменомъ Констаномъ, что въ древнемъ мірѣ каждый гражданинъ чувствовалъ себя живымъ источникомъ демократіи и непосредственно на площади общины-города наслаждался упражненіемъ своего народовластія.

Въ средніе вѣка идея самоуправленія общества и общественнаго договора становится орудіемъ борьбы: верховенства папы противъ свѣтской власти монарховъ, церковныхъ либераловъ и демократовъ (защитниковъ верховенста соборовъ) противъ самодержавія папы, протестантовъ-подданныхъ противъ католическихъ государей и, наоборотъ, католиковъ-подданныхъ противъ протестантскихъ государей и т. д.

Въ этой свалкѣ интересовъ идея самоуправленія общества искажается. Она входитъ, выражаясь химически, въ постоянное соединеніе съ идеей абсолютной власти государя, свѣтскаго или духовнаго, и черезъ это образуется идея „народнаго самодержавія“ (souveraineté du peuple). Государь самодержавенъ—такъ гласитъ доктрина одержавшаго по всей линіи побѣду абсолютизма. Стоило это понятіе безграничной власти государя перенести на общество и государство, и передъ нами идея неограниченнаго народовластія или абсолютнаго самодержавія (суверенитета) народа.

Теоретическое завершеніе и классическую формулировку эта идея получаетъ въ „Общественномъ Договорѣ“ Руссо, въ этой послѣ евангелія самой вліятельной книгѣ человѣчества. Но уже у Руссо идея самодержавія народа обращается противъ правъ человѣка, порождая чудовищное ученіе о гражданской религіи. Приписывая власти государства абсолютный характеръ, Руссо вступилъ въ непримиримое противорѣчіе со своими собственными воззрѣніями на „естественныя права“ людей, какъ таковыхъ.

Практика великой французской революціи съ ея революціоннымъ терроризмомъ была торжествомъ идеи само-

державія народа надъ правами человѣка, и она то вызвала противъ этой идеи въ XIX вѣкѣ глубокую реакцію. Во имя свободы личности индивидуализмъ начала XIX вѣка возсталъ противъ самодержавія народа, или всемогущества государства. Но ходъ развитія общественной жизни тогда же вызвалъ борьбу тѣхъ же, повидимому, идей личности и общества въ совершенно новой комбинаціи. Побѣда начала свободной конкуренціи въ Англіи и Франціи, связанная съ первыми успѣхами крупнаго производства, возбудила сильную и глубокую реакцію противъ хозяйственнаго индивидуализма, противъ экономической свободы. Въ культурную жизнь, какъ новая и могущественная сила, вступилъ соціализмъ. Онъ объявилъ войну индивидуализму и либерализму во имя организаціи и авторитета. Часто забывается, что соціализмъ первой половины XIX вѣка—въ лицѣ своихъ самыхъ грандіозныхъ представителей, Сенъ-Симона и его учениковъ сенъ-симонистовъ—сложился подъ вліяніемъ общественной реакціи и выступилъ рука объ руку съ явно реакціонной контръ-революціонной идеологіей Де-Местра, Бональда и Балланша. Эта первая и едва ли не самая оригинальная форма соціализма смѣется надъ „печальными божествами индивидуализма“, двумя „существами разума, сознаніемъ и общественнымъ мнѣніемъ“ и призываетъ власть, которая должна распространяться на все и быть вездѣсуща.

Къ свободѣ и правамъ личности сенъ-симонисты относились не только равнодушно, но и враждебно. Такъ какъ сенъ-симонисты были, если не творцами, то первыми систематическими глашатаями такъ называемаго „экономическаго“, или „историческаго“ матерьялизма, то и эта доктрина, ставшая въ рукахъ Маркса революціоннымъ оружіемъ, въ своемъ возникновеніи связана психологически съ реакціонной идеологіей начала XIX вѣка.

И это вѣрно по отношенію къ судьбамъ экономическаго матерьялизма не только во Франціи, но и въ Германіи, гдѣ задолго до Маркса, въ 1838 году, консервативный экономистъ и философъ Лавернь-Пегюельенъ формулировалъ съ замѣчательной ясностью основную идею экономическаго матерьялизма. Это совершенно понятно: экономическій матерьялизмъ есть частный случай выдвинувшагося на смѣну раціоналистическимъ концепціямъ ученія о томъ, что развитіе общества есть стихійный, независимый отъ сознательныхъ усилій личностей, органическій ростъ учрежденій. Практическимъ мотивовъ этого ученія была борьба съ идеями и практикой революціи. Таковъ основной смыслъ того, что противъ революціи выдвинули Беркъ, историческая школа въ правѣ (въ особенности Савиньи), Де-Местръ, Бональдъ и, наконецъ, Огюстъ Контъ.

Тѣмъ же антииндивидуалистическимъ и органическимъ духомъ была проникнута нѣмецкая послѣ-Кантовская философія Шеллинга и Гегеля. Во всѣхъ этихъ теченіяхъ мысли XIX вѣка воскресала и съ новой силой заявляла себя античная идея государства, того государства, которое есть само въ себѣ цѣль, и въ которомъ личность играетъ роль служебнаго органа.

Но несмотря на эти контръ-революціонные и антииндивидуалистическіе психологическіе корни новѣйшаго соціализма, было бы грубою ошибкою утверждать, что тѣ идейныя и практическія общественныя тенденціи, которыя объединялись и объединяются подъ этимъ именемъ, по существу, въ идеѣ антииндивидуалистичны и находятся въ непримиримомъ противорѣчіи съ либерализмомъ.

Есть два соціализма [1]). Или, вѣрнѣе, то, что

---

[1]) На это съ особенной ясностью указалъ въ литературѣ Г. Дитцель въ своей извѣстной монографіи о Родбертусѣ.

называется соціализмомъ, колеблется въ исторіи между двумя идейными полюсами. Въ одномъ соціализмѣ идейною сущностью является подчиненіе личности цѣлому: личность есть средство, общество—цѣль, или иначе, личность есть органъ, общество же организмъ. Въ другой концепціи соціализма цѣлью и вѣнцомъ является личность, общество же есть лишь средство или орудіе осуществленія цѣлей личности. Первый типъ есть соціализмъ принципіальный, философскій. Это—соціализмъ Платона, Фихте Адама Мюллера, Родбертуса. Идея этого соціализма превосходно выражена Пьеромъ Леру, который подъ нимъ разумѣлъ une organisation politique dans laquelle l'individu serait sacrifié á cette entité qu'on nomme la societé, хотя самъ Леру не выдерживалъ въ своемъ ученіи этой идеи соціализма. Въ основѣ философскаго соціализма лежитъ идея общества, государства, словомъ соціальнаго цѣлаго, какъ единаго, самодовлѣющаго, абсолютнаго организма, какъ реальности, стоящей надъ личностями и ими въ своихъ цѣляхъ пользующейся. Въ новѣйшемъ соціализмѣ, единственнымъ законченнымъ представителемъ этой философской идеи является Родбертусъ. Но ея значеніе и смыслъ раскрывается вообще не въ исторіи соціализма, какъ экономической проблемы, а въ исторіи философіи права. Всѣ тѣ мыслители, которые утверждали не только реальность. но и высшую цѣнность—сравнительно съ личностью—соціальнаго цѣлаго (общества или государства), учили философскому соціализму. Къ нему естественно приближаются и всѣ тѣ умы, которые,—какъ, напр., Ренанъ—видятъ въ обществѣ не „атомистическое соединеніе индивидуумовъ“, а нѣкоторое „устроенное единство“ [1]); нація, церковь, гражданская община въ ихъ глазахъ существуютъ больше,

[1]) Avenir de la Science.

чѣмъ личность, потому что личность приноситъ себя въ жертву этимъ цѣлымъ [1]). Огромное же большинство „соціалистовъ“, „коммунистовъ“, „коллективистовъ“ или вовсе не задумывалось надъ философскими основами своихъ практическихъ идей (это особенно характерно для такъ называемаго научнаго соціализма) или во всякомъ случаѣ не додумывалось до ихъ основоначалъ, за однимъ единственнымъ исключеніемъ, о которомъ я сейчасъ скажу нѣсколько словъ. Идею соціализма этихъ соціалистовъ мы вынуждены выводить изъ общаго духа и основного смысла ихъ ученій.

Въ результатѣ философскаго смотра разныхъ соціалистическихъ доктринъ можно установить, что въ основѣ большинства ихъ лежитъ вовсе не философскій соціализмъ, а, наоборотъ, идея индивидуалистическая, идея верховной цѣнности личности и служебнаго значенія соціальнаго организма. Исключеніе въ общемъ морѣ той философской неясности, въ которой бродятъ и бродили большинство индивидуалистическихъ соціалистовъ, представляютъ до извѣстной степени русскіе философы соціализма, П. Л. Лавровъ и Н. К. Михайловскій. Если и эти писатели не дали стройнаго философскаго и критическаго обоснованія индивидуалистическаго соціализма, то это объясняется главнымъ образомъ тѣмъ, что, какъ позитивисты и, главное, какъ „уравнители“, они идею личности подчинили идеѣ равенства; а какъ публицисты соціализма, они къ практической проблемѣ соціализма не съумѣли отнестись критически-свободно.

Отсутствіе принципіальной философской ясности въ построеніяхъ большинства „соціалистовъ“ отразилось чрез-

---

[1]) Dialogues et fragments philosophiques.

вычайно невыгодно на судьбахъ индивидуализма и либерализма. Глубоко потрясенные картинами угнетенія и нищеты трудящагося человѣчества, „соціалисты“ восприняли индивидуалистическую идею въ той грубой и пошлой формѣ, какую эта идея приняла въ писаніяхъ доктринеровъ политическаго и экономическаго либерализма. И потому „соціалисты“ очень часто съ идоловъ хозяйственнаго эгоизма, свободной конкурренціи, не знающаго никакихъ сдержекъ капитализма, наконецъ, политическаго господства буржуазіи свою критику и святую ненависть переносили на идеалы индивидуализма и совершенно безпринципно обезцѣнивали передъ своими послѣдователями и политическую свободу, и самую идею права [1]).

Эта политическая безпринципность индивидуалистическихъ въ своей основѣ „соціалистовъ“ отчасти объясняется тѣмъ, что ихъ индивидуализмъ—несмотря на частыя ссылки на христіанство—былъ глубоко пропитанъ матеріализмомъ и гедонизмомъ и идею личности понималъ въ самомъ грубомъ смыслѣ, не идя ни шагу дальше. Именно въ невниманіи къ идеалистическому содержанію личности заключался источникъ безпринципности и оппортунизма этихъ индивидуалистовъ. Съ другой стороны, какъ мы уже сказали, чистая идея индивидуализма не только загрязнилась, но и затерялась, попавъ въ руки апологетовъ капитализма, защитниковъ экономическаго и политическаго господства буржуазіи. По большей части и эти индивидуалисты были та-

---

[1]) Такъ, полемика противъ индивидуализма есть центральная идея философскаго введенія въ исторію французской революціи Луи Блана. Въ литературѣ фурьеризма есть поразительные образчики политической безпринципности и близорукости. Смѣхотворны, напримѣръ, тѣ восхваленія, которыя знаменитый Консидеранъ воспѣвалъ Николаю I.

кими же грубыми матеріалистами, какъ и ихъ противники. Когда идея такъ называемой „экономической свободы", т. е. практическіе выводы хозяйственнаго индивидуализма, были подорваны критикой соціалистовъ и соціальныхъ реформаторовъ, когда идея и практика государственнаго невмѣшательства въ экономическую жизнь капитулировала передъ „соціальной политикой", — въ этотъ кризисъ индивидуализма, какъ практическаго направленія политико-экономической мысли, была вовлечена и философская идея индивидуализма. Либерализмъ, казалось, былъ пораженъ въ своей первоосновѣ и получилъ смертельный ударъ. Постулаты соціальной политики были безъ труда (но, въ сущности, и безъ всякаго размышленія) выводимы изъ философскаго соціализма, и послѣдній получилъ огромный теоретическій престижъ. Правда, его теперь уже перестали додумывать до конца и возводить въ рангъ абсолютнаго закона. Катедеръ-соціалистамъ была чужда философская ясность Платона и Гегеля, и съ Родбертусомъ они были попутчиками только на полпути. Но еще менѣе продумывалась и додумывалась до конца философская противоположность соціализма—индивидуализмъ. Въ философіи культуры и общества окончательно наступила эпоха безпринципныхъ и безъидейныхъ компромиссовъ между соціализмомъ и индивидуализмомъ. Только въ самое послѣднее время могучій духъ Нитцше встряхнулъ философскую мысль и далъ почувствовать, что эклектическая кашица изъ соціализма и индивидуализма могла быть потребляема только въ состояніи умственныхъ просонковъ. Вспомнили также объ антиподѣ Нитцше—Кантѣ и, при помощи этихъ двухъ глубоко антагонистическихъ умовъ, стали выбираться изъ болота эклектизма.

Къ тому времени приспѣлъ кризисъ марксизма и постепенный, но неуклонный пересмотръ самой жизнью прак-

тическихъ идей и пріемовъ такъ называемаго научнаго соціализма. Вотъ гдѣ стоимъ мы въ эпоху, когда русскіе люди глубоко волнуются мыслями о политической и соціальной судьбѣ своей родины, въ эпоху, которая, несмотря на свой бурный характеръ, такъ страстно жаждетъ идей и такъ сильно въ нихъ нуждается.

Facies hippocratica.

Къ характеристикѣ кризиса въ современномъ соціализмѣ [1]).

Самымъ замѣчательнымъ процессомъ, переживаемымъ въ настоящее время человѣчествомъ, является глубокій внутренній кризисъ, происходящій въ соціализмѣ. Я подчеркиваю слово „внутренній", потому что имѣю въ виду не фракціонныя свары, не національные перекоры, не случайные отливы и приливы мнѣній, а гораздо глубже уходящій процессъ разочарованія и саморазложенія, совершающійся въ соціализмѣ въ связи съ огромными внѣшними успѣхами его идеи и съ огромнымъ ростомъ классовой солидарности пролетаріата.

Отыскать въ исторіи аналогію этому идейному процессу не такъ легко. Одна аналогія, конечно, бросается въ глаза. Если угодно въ одной краткой формулѣ выразить эту сторону вопроса, то можно сказать: соціализмъ вывѣтрился или вывѣтривается, какъ религія. Происходитъ обмірщеніе соціализма и падаетъ „хиліастическая" вѣра въ его осуществленіе.

Хиліазмомъ въ исторіи христіанства называется ученіе или вѣра въ близкое осуществленіе на землѣ тысячелѣтняго Царства Христова. Первоначальное христіанство все

---

[1]) Русская Мысль, 1907 г., октябрь.

проникнуто этой вѣрой; все горитъ хиліастическимъ энтузіазмомъ. Та же вѣра въ близкое, полное и осязаемое осуществленіе новаго мірового и жизненнаго уклада двигала людьми въ великую эпоху реформаціи, и времени великой революціи была не чужда эта вѣра и эта мысль.

Христіанство до сихъ поръ не можетъ внутренно переработать своего „хиліазма“. До сихъ поръ, именно около него кружится, страждетъ, борется съ собой философствующая христіанская мысль. Въ особенности вѣрно это относительно русской философіи христіанства, „богоматеріализма“ Владиміра Соловьева и его учениковъ, ожидающихъ „преображенія космоса“. Теперь, для современнаго христіанскаго хиліазма существенъ, конечно, не вопросъ о близости не вопросъ о срокѣ, а существо дѣла, вопросъ о матеріализаціи Царства Божія въ міровомъ и историческомъ процессѣ.

Христіанство, когда рухнула его вѣра въ близкое наступленіе Царства Божія, психологически потускнѣло, стало болѣе внутреннимъ и болѣе труднымъ, „сѣрымъ“. Осуществленіе его Царства Божія изъ божественной космической фееріи, всѣмъ доступной и для всѣхъ увлекательной, превратилось въ тончайшій психическій процессъ, безконечный, незавершимый, далеко не для всѣхъ доступный и не всѣмъ интересный. Современное „паденіе“ религіи связано съ этимъ вѣковымъ процессомъ ея „спиритуализаціи“, ея разрыва съ теологическимъ матеріализмомъ. Слѣдуетъ прямо сказать: религія въ наше время открѣпилась отъ всякихъ матеріальныхъ представленій и потому въ данную эпоху развитія человѣчества стала въ буквальномъ и точномъ смыслѣ слова дѣломъ аристократическимъ, доступнымъ немногимъ „лучшимъ“. Что бы ни говорили идеалисты матеріальнаго Царства Божія (изъ школы Соловьева), толпа утратила или все болѣе и болѣе утрачиваетъ способность

вѣрить въ его матеріализацію, а для религіи внутренней необходимо перевоспитаніе человѣка, утонченіе всей его духовной личности. Носить и творить Бога въ своей душѣ гораздо труднѣе, чѣмъ ожидать отъ него матеріальныхъ чудесъ.

Соціализмъ не христіанство; онъ даже въ своихъ самыхъ богатыхъ формахъ меньше, бѣднѣе и плоше христіанства. Но аналогія формальная все-таки остается вѣрной. Вѣра въ близкое, полное, механическое осуществленіе соціализма, вообще въ его „осуществленіе“ рушится или, вѣрнѣе, уже рухнула. Процессъ этотъ сложный, и я не могу здѣсь высказать всего того, что давно уже сложилось въ моемъ умѣ.

Недавно на русскомъ языкѣ появилась книга, на страницахъ которой съ поразительной ясностью выступаетъ современный кризисъ соціализма. Я имѣю въ виду „Размышленія о насиліи“ Жоржа Сореля [1]).

Въ 1900 году въ своей статьѣ о „Марксовой теоріи соціальнаго развитія“, напечатанной въ „Архивѣ“ Брауна [2]), я вскрылъ лежащую въ основѣ ортодоксальнаго марксизма „миѳологію понятій“ („Begriffsmythologie“) и въ то же время поставилъ вопросъ, какое реальное значеніе имѣла и имѣетъ въ соціальномъ развитіи эта „миѳологія“.

Это значеніе, на мой взглядъ, было очень велико. „Мысль, что только вѣрныя по содержанію или истинныя идеи могутъ производить полезное дѣйствіе на личную или общественную жизнь, есть раціоналистическій предразсудокъ. Научно ложныя идеи могутъ, въ силу своего психологически обусловленнаго дѣйствія, оказывать на общественную

---

[1]) Переводъ подъ редакціей прив.-доц. московскаго университета В. М. Фриче. Москва, 1907 г. (Книгоиздательство „Польза“), стр. 163.

[2]) T. XIV. Есть никуда негодный, сдѣланный безъ моего разрѣшенія, русскій переводъ этого критическаго опыта

жизнь могущественное и благотворное вліяніе. Онѣ могутъ приводить къ политически вѣрнымъ дѣйствіямъ". Но, когда я говорилъ о „полезномъ дѣйствіи" объективно ложныхъ мыслей [1]), я всегда предполагалъ, что и тѣ, къ которымъ обращена проповѣдь, и сами проповѣдники не только не сознаютъ объективной ложности проповѣдуемаго, но, наоборотъ, увѣрены въ его истинности. Словомъ, соціальныя иллюзіи не означаютъ соціальнаго обмана. Марксъ, Энгельсъ, Бебель, Каутскій въ самыхъ главныхъ, существенныхъ пунктахъ вѣрили (или вѣрятъ) въ тѣ „догмы", которыя они проповѣдывали.

Nous avons changé tout cela. Глубокимъ моральнымъ и идейнымъ разложеніемъ отдаетъ отъ тѣхъ разсужденій, въ которыхъ философъ синдикализма въ основу своей проповѣди кладетъ циническое признаніе миѳологическаго характера ея основной концепціи.

Сорель не вѣритъ въ афоризмъ Конта: savoir c'est prevoir, но изъ этого скептицизма по отношенію къ научному предвидѣнію въ соціологіи для него вытекаетъ не сознаніе практической сложности и отвѣтственности всякаго общественнаго дѣйствія, а, наоборотъ, безграничная свобода дѣйствовать во имя своихъ миѳологическихъ концепцій. „Я не придаю... большого значенія тѣмъ возраженіямъ практическаго характера, которыя дѣлаются противъ всеобщей забастовки. Мы вернулись бы къ старому утопизму, если бы стали смотрѣть на гипотезы о будущей борьбѣ и на средства уничтоженія капитализма, какъ на историческіе факты. Мы не имѣемъ возможности научнымъ путемъ предвидѣть будущее или даже спорить о преимуществахъ однѣхъ гипотезъ предъ другими; слишкомъ много памят-

[1]) Эту тему на разные лады, независимо отъ меня, развивалъ въ нѣмецкой литературѣ Георгъ Адлеръ.

ныхъ примѣровъ доказали намъ, что и самые великіе люди впадали въ глубочайшія заблужденія, когда желали стать хозяевами даже ближайшаго будущаго". Для иллюстраціи Сорель ссылается на апокалиптическій „миѳъ", лежавшій въ основѣ первоначальнаго христіанства; на не исполнившіяся „надежды" Лютера и Кальвина; на ту „волшебную картину, которая рисовалась передъ ослѣпленными очами" первыхъ пророковъ французской революціи; на „безумныя химеры" Мадзини,—словомъ, на цѣлый рядъ случаевъ, когда иллюзіи играли опредѣляющую роль въ исторической жизни. Изъ этихъ фактовъ для Сореля вытекаетъ слѣдующій выводъ: „Поэтому совсѣмъ не важно знать, какой изъ мелочей, составляющихъ миѳологическую концепцію, суждено осуществиться въ ходѣ историческихъ событій; это вѣдь не астрологическіе альманахи; возможно даже, что ни одна изъ деталей не осуществится, какъ это случилось съ ожидаемой христіанами катастрофой. На эти миѳы нужно смотрѣть просто какъ на средство воздѣйствія на настоящее, и споры о способѣ ихъ реальнаго примѣненія къ теченію исторіи лишены всякаго смысла: для насъ важна вся совокупность миѳологической концепціи; отдѣльныя ея части важны лишь постольку, поскольку онѣ позволяютъ рельефнѣе выступать заключающейся въ ней идеѣ. Поэтому совершенно безполезно разсуждать о тѣхъ случайностяхъ, которыя могутъ произойти во время соціальной войны, и о рѣшительныхъ столкновеніяхъ, могущихъ дать окончательную побѣду пролетаріату. Даже въ томъ случаѣ, если бы революціонеры во всемъ ошибались, рисуя себѣ фантастическую картину всеобщей забастовки, эта картина можетъ быть факторомъ великой силы во время подготовки къ революціи, если только эта картина включаетъ въ себѣ стремленія соціализма и выражаетъ совокупность революціонныхъ идей съ такой опредѣленностью и яркостью,

какихъ имъ не могли бы придать другіе методы мышленія... Для насъ совершенно неважно, есть ли всеобщая забастовка нѣчто реально осуществимое, или только плодъ народнаго воображенія (курсивъ мой, П. С.). Весь вопросъ состоитъ въ томъ, чтобы выяснить, заключается ли въ ней все то, чего ожидаетъ отъ революціоннаго пролетаріата соціалистическая доктрина“ [1]).

„Соціалистическая“ философія Сореля, выставляющаго себя вѣрнымъ продолжателемъ Маркса, знаменуетъ собой въ сущности полный отказъ отъ самой идеи научнаго соціализма.

Такой отказъ, родившійся въ нѣдрахъ самаго вліятельнаго соціалистическаго ученія, марксизма, есть яркій симптомъ разложенія соціализма. Въ то же время Сорель очень далекъ отъ критическаго соціализма. Въ области экономическаго истолкованія исторіи ему принадлежатъ едва ли не самыя чудовищныя матеріалистическія объясненія, когда-либо данныя, объясненія, на которыхъ мы теперь не станемъ останавливаться.

Но всѣ эти чрезмѣрности, очевидно, не продуманы Сорелемъ такъ же, какъ имъ не продуманы— съ „матеріалистической“ точки зрѣнія—его же собственная характеристика экономической современности.

Историческій матеріализмъ, сохраняясь у Сореля какъ словесная оболочка, превращается на самомъ дѣлѣ въ свою собственную противоположность. Въ лицѣ Сореля передъ нами чистѣйшій романтикъ, для котораго соціализмъ есть идеалъ мистическій и эстетическій.

Если бы я былъ ортодоксальнымъ марксистомъ,—такая характеристика въ моихъ устахъ означала бы сама по

---

[1]) Стр. 56.

себѣ наихудшую хулу. Но я вовсе не считаю романтизма просто реакціонной идеологіей. Въ романтизмѣ есть элементъ вѣчной цѣнности и красоты.

Превращеніе историческаго матеріализма въ романтически-эстетическое и религіозное построеніе есть, въ сущности, возвращеніе этой концепціи въ ея материнское лоно. Мнѣ уже приходилось не разъ указывать, что историческій матеріализмъ возникъ на почвѣ романтической реакціи противъ революціоннаго раціонализма XVIII вѣка. Генетически онъ стоитъ въ тѣсной связи съ развитіемъ „историзма“, или „историческаго духа“, характернаго для начала XIX вѣка.

Прежде чѣмъ стать идеологіей революціонной, историческій матеріализмъ былъ идеологіей консервативной или даже реакціонной. Луи Бланъ и, въ особенности, Марксъ и Энгельсъ раціонализировали въ революціонномъ смыслѣ историческій матеріализмъ, освободивъ его отъ романтическихъ или религіозныхъ мотивовъ. Сорель тѣмъ и интересенъ, что онъ, наоборотъ, въ раціонализированный Марксомъ историческій матеріализмъ вноситъ струю романтическую и мистическую,—отчасти подъ вліяніемъ Ницше, идеи котораго являются несомнѣннымъ возрожденіемъ романтики.

Проповѣдь „всеобщей стачки“ и „пролетарскаго насилія“, составляющая сущность новаго романтическаго марксизма, опирается на откровенное исповѣданіе мистицизма. „Позитивисты, которые представляютъ высшую ступень посредственности, самонадѣянности и педантизма,—пишетъ Сорель,—объявили, что философія должна исчезнуть передъ ихъ наукой; но философія не только не умираетъ, а, напротивъ, пробуждается. Относительно метафизики можно сказать, что она вернула свои утерянныя позиціи, вскрывая иллюзорность такъ называемыхъ научныхъ

рѣшеній вопросовъ, возвращая умы снова къ мистической области, области, которую такъ ненавидитъ „маленькая наука“. Позитивизмъ находитъ восторженныхъ поклонниковъ развѣ только еще среди нѣкоторыхъ бельгійцевъ, или чиновниковъ министерства труда, т.-е. людей, не играющихъ никакой роли въ мірѣ мысли“ [1]).

И въ разныхъ другихъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности Сорель вскрываетъ мистическое начало. Онъ отрицаетъ прежде всего, „чтобы исчезали и религіи“. „Наука объ искусствѣ“ невозможна, „потому что сущностью искусства является таинственность, незамѣтные оттѣнки, недосказанность; чѣмъ правильнѣе и совершеннѣе разсужденіе, тѣмъ болѣе способно оно заслонить достоинства произведенія искусства“.

«Въ каждомъ сложномъ цѣломъ надо различать область, доступную изслѣдованію, отъ области недоступной и... эта послѣдняя, можетъ быть, и есть самая важная“. Курьезны по существу, но весьма характерны для Сореля тѣ замѣчанія, которыя онъ подъ этимъ угломъ зрѣнія дѣлаетъ о морали, законодательствѣ и экономической жизни. „Въ экономической наукѣ... вопросы, относящіеся къ обмѣну, легко поддаются изложенію; методы обмѣна въ разныхъ странахъ очень похожи другъ на друга, и едва ли кто рискуетъ сказать слишкомъ очевидную нелѣпость относительно денежнаго обращенія (sic! П. С.); зато все, что касается производства, страшно запутано; какъ разъ въ этой области дольше всего сохраняются мѣстныя традиціи; можно безъ конца сочинять самыя смѣшныя утопіи о способахъ производства, нисколько не шокируя здраваго смысла читателей. Никто не сомнѣвается, что производство есть основа хозяйственной жизни; эта истина играетъ важную

[1]) Стр. 70.

роль въ марксизмѣ и признана даже тѣми писателями, которые не сумѣли понять ея значенія“ [1]).

Вершины своей этотъ мистически-историческій матеріализмъ достигаетъ въ характеристикѣ соціализма и въ религіозно-ницшеанскомъ обоснованіи всеобщей стачки. „Соціализмъ поневолѣ остается неяснымъ вопросомъ, потому что онъ есть прежде всего вопросъ о производствѣ, т.-е. о самой неизвѣстной и загадочной области человѣческой дѣятельности, потому что онъ ставитъ своей задачей произвести коренной переворотъ въ области, не поддающейся точному и ясному описанію, какъ другія области, лежащія болѣе на поверхности. Никакое усиліе мысли, никакой прогрессъ знанія, никакая логическая индукція не разсѣетъ той таинственности, которая окружаетъ соціализмъ: и только благодаря тому, что марксизмъ хорошо понялъ эту черту его характера, онъ завоевалъ себѣ право служить исходной точкой во всѣхъ соціальныхъ изслѣдованіяхъ. Спѣшимъ, впрочемъ, прибавить, что эта неясность и таинственность относятся къ тѣмъ разсужденіямъ, при помощи которыхъ хотятъ опредѣлить конечную цѣль соціализма; это, однако, нисколько не мѣшаетъ представить себѣ пролетарское движеніе самымъ полнымъ, отчетливымъ и точнымъ образомъ, при помощи той великой идеи, которая родилась въ душѣ пролетаріата во время соціальныхъ конфликтовъ и которая извѣстна подъ названіемъ всеобщей забастовки. Не нужно забывать, что все совершенство этого рода представленій мгновенно исчезнетъ, если попытаются разложить всеобщую забастовку на рядъ отдѣльныхъ историческихъ деталей; нужно принять ее, какъ нѣчто цѣлое, недѣлимое и разсматривать

---

[1]) Стр. 72.

переходъ отъ капитализма къ соціализму какъ катастрофу, процессъ которой не поддается описанію" [1]).

Мистическимъ туманомъ окутана у Сореля эта катастрофа. Для пониманія ея онъ проводитъ психологическую аналогію между борьбой за соціализмъ путемъ всеобщей стачки (слѣдуетъ отмѣтить сейчасъ же, что къ идеѣ всеобщей политической стачки Сорель относится съ величайшимъ презрѣніемъ) и революціонными войнами. Исходной точкой этой аналогіи является Ницшевское восхваленіе „бѣлокураго звѣря", „blonde Bestie".

Война и борьба вообще—стихія, эстетически привлекательная для Сореля. Жестокій безпощадный капитализмъ ему гораздо милѣе, чѣмъ капитализмъ, приспособляющійся къ пролетаріату, ищущій съ нимъ соглашеній и мира.

Сможетъ ли пролетаріатъ не только разрушить старый буржуазный міръ, но и создать новый пролетарскій? Этотъ вопросъ для Сореля имѣетъ тѣмъ большее значеніе, что между буржуазіей и пролетаріатомъ для него существуетъ не простая классовая противоположность, а зіяетъ какая-то чисто-мистическая пропасть. Загадочно, откуда берутся такія фантастическія представленія объ экономической и психологической дѣйствительности нашего времени: вѣрнѣе всего, что они являются плодомъ сочетанія извѣстныхъ чувствъ и эмоцій съ отсутствіемъ ясныхъ научныхъ представленій о реальномъ мірѣ.

Нелишне подчеркнуть, что сужденія Сореля объ экономической жизни поражаютъ наивностью и подчасъ невѣжествомъ [2]).

---

[1]) Стр. 74.

[2]) На стр. 158 читаемъ: „Если Германія не завоевала еще себѣ того мѣста въ экономической жизни, какое должно было бы ей принадлежать, благодаря минеральнымъ богатствамъ, скрытымъ въ ея почвѣ, благодаря энергіи ея промышленниковъ и знаніямъ

Несмотря на все свое легкомысліе въ экономическихъ вопросахъ, Сорель понимаетъ однако, что „нельзя никоимъ образомъ сравнивать ту дисциплину, которая побуждаетъ рабочихъ къ общей пріостановкѣ работы, съ дисциплиной, которая можетъ заставить ихъ съ наибольшей ловкостью управлять машинами“ [1]).

Отъ понятія и слова дисциплина Сореля нѣсколько коробитъ. Слово дисциплина „одинаково употребляютъ для обозначенія правильнаго поведенія, основаннаго какъ на внутреннемъ убѣжденіи, такъ и на внѣшнемъ принужденіи“.

Рѣшеніе проблемы Сорель, влюбленный въ войну, видитъ въ душевныхъ свойствахъ, которыя всеобщая стачка, какъ актъ войны, создастъ въ рабочихъ, и которыя будутъ опредѣлять поведеніе „свободныхъ производителей, работающихъ въ мастерской, въ которой нѣтъ хозяина“. Въ эпоху революціонныхъ войнъ, по словамъ Сореля, „каждый сол-

---

ея техниковъ, то это потому, что въ теченіе долгаго времени ея фабриканты не стѣснялись наводнять рынокъ плохими фабрикатами; хотя за послѣднія нѣсколько лѣтъ (sic!) нѣмецкое производство и сильно улучшилось, однако оно еще далеко не пользуется большимъ вниманіемъ“ (sic!). Вниманіе Сореля къ фактамъ дѣйствительно невелико. Германія по производству каменнаго угля занимаетъ въ міровомъ хозяйствѣ третье мѣсто, послѣ Соединенныхъ Штатовъ и Соединеннаго Королевства; по выплавкѣ чугуна—второе мѣсто послѣ Соединенныхъ Щтатовъ и передъ Соединеннымъ Королевствомъ (съ 1903 г.). Въ химической промышленности Германія занимаетъ первое мѣсто. Интересно, какое „мѣсто“ „должна была бы“ занимать Германія въ этихъ отрасляхъ промышленности и когда она удостоится „большого вниманія“ г. Сореля. Я отмѣчаю подобныя сужденія, потому что они бросаютъ свѣтъ на тотъ матеріалъ положительныхъ знаній, при помощи котораго возводятся теоріи, возвѣщающія полный переворотъ въ хозяйственной жизни человѣчества!

[1]) Стр. 152.

датъ смотрѣлъ на себя, какъ на личность, которой предстоитъ выполнить въ сраженіи нѣчто очень важное, а не считалъ себя лишь составной частью военнаго механизма, ввѣреннаго верховному управленію начальствующаго лица. Въ литературѣ этого времени обращаютъ на себя особое вниманіе постоянныя противопоставленія свободныхъ людей изъ республиканскихъ армій автоматамъ армій королевскихъ; и такія утвержденія отнюдь не были въ устахъ писателей простыми риторическими фигурами. ...Поэтому сраженія нельзя было тогда уподоблять шахматной игрѣ, въ которой человѣкъ играетъ роль пѣшки; они становятся средоточіемъ героическихъ подвиговъ, совершаемыхъ отдѣльными личностями, которыя находятъ побужденіе для своихъ дѣйствій въ своемъ собственномъ энтузіазмѣ“ [1]).

„Тотъ же духъ наблюдается и въ рабочихъ группахъ, возбужденныхъ всеобщей стачкой; дѣйствительно, эти группы представляютъ себѣ революцію, какъ огромное возстаніе, которое можно еще трактовать съ индивидуалистической точки зрѣнія: каждый дѣйствуетъ съ возможно большимъ воодушевленіемъ, отвѣчаетъ самъ за себя, не заботится о подчиненіи своихъ дѣйствій широкому общему плану, построенному на научныхъ основаніяхъ... всебщая стачка, такъ же какъ и войны за освобожденіе, представляетъ изъ себя наиболѣе блестящее проявленіе индивидуалистическаго духа въ поднявшихся массахъ“.

Вотъ то шаткое основаніе, на которомъ философски держится идея всеобщей стачки. Есть что-то безпомощно-наивное и въ то же время глубоко циническое въ этой мистической проповѣди соціальнаго переворота безъ плана, на авось, въ разсчетѣ на героизмъ, возбуждаемый „индивидуалистическимъ подъемомъ“ въ безпощадной войнѣ ме-

---

[1] Стр. 153—154.

жду классами. Но Сорель, по крайней мѣрѣ, въ революціонномъ синдикализмѣ не упраздняетъ этическихъ мотивовъ и силъ. Къ героизму индивидуалистическаго подъема на войнѣ, приводящаго къ „суевѣрной добросовѣстности, къ выполненію малѣйшихъ приказаній“ (хорошъ индивидуализмъ!), чуждаго всякаго корыстнаго разсчета и всецѣло проникнутаго самопожертвованіемъ, онъ присоединяетъ столь же безкорыстную „артистическую“ склонность къ изобрѣтеніямъ, къ нововведеніямъ. „Идея всеобщей стачки, постоянно обновляемая тѣми чувствами, какія вызываетъ пролетарское насиліе, создаетъ глубоко этическое настроеніе духа, и въ то же время направляетъ всѣ силы души въ сторону осуществленія идеи свободно функціонирующей и необыкновенно прогрессивной мастерской; мы признали наличность весьма близкихъ аналогій между чувствами, вызываемыми всеобщей стачкой, и тѣми чувствами, которыя необходимы для обезпеченія необходимаго прогресса въ производствѣ. Мы имѣемъ, слѣдовательно, право утверждать, что современное общество обладаетъ основнымъ двигателемъ, способнымъ создать мораль производителей“ [1]).

Не Жоржу Сорелю, а русскому религіозному философу г. Минскому было дано провозгласить и возвести въ перлъ созданія полную, животную безпринципность и безыдейность синдикализма [2]). Синдикализмъ—говоритъ онъ—„чуждъ доктринерства“.

„У анархо-коммунистовъ онъ (синдикализмъ) заимствовалъ антиэтатизмъ [3]), но не какъ идейное отрицаніе принципа власти вообще, а какъ отрицаніе современнаго аппарата власти, находя-

---

[1]) Стр. 162.

[2]) Статья „Рабочая партія и рабочій классъ“ въ № 11 журнала Перевалъ.

[3]) Т.-е. противогосударственный духъ. П. С.

щагося въ рукахъ чужого класса (курсивъ мой, П. С.). Относясь враждебно ко всѣмъ функціямъ буржуазной власти.., синдикализмъ нисколько не отвергаетъ принципа принудительной власти вообще, и у себя, въ своихъ классовыхъ организаціяхъ, практикуетъ въ самыхъ крайнихъ формахъ авторитетъ, принужденіе и дисциплину. Синдикализму нѣтъ дѣла до кислосладкихъ мудрствованій разныхъ „матеріалистическихъ идеалистовъ“ о священныхъ правахъ меньшинства, о личности, какъ самоцѣли исторіи, или о законѣ взаимопомощи, какъ противоположномъ закону борьбы [1]). Само собой разумѣется, что каждый рабочій, какъ личность, хочетъ освободиться отъ гнета капитала, но достигнуть этой цѣли онъ можетъ только тогда, когда за ея осуществленіе возьмется весь рабочій классъ. Поэтому каждый рабочій во имя своей личной воли отказывается отъ этой воли, сливаетъ ее съ волей всего класса и передъ ней исчезаетъ... Синдикализмъ, устраивая стачки, проявляетъ надъ меньшинствомъ штрейкбрехеровъ или надъ „желтыми“ самое рѣшительное насиліе, ибо безъ попранія правъ меньшинства ни одна стачка не удалась бы. Считая дозволительными въ борьбѣ всѣ средства, до ломки машинъ и порчи матеріала и продуктовъ (саботажъ) и до ужасовъ всенароднаго столбняка, въ который должна повергнуть страну всеобщая стачка, синдикализмъ будетъ практиковать политику борьбы по отношенію къ враждебнымъ классамъ и политику взаимопомощи по отношенію къ своему классу, т.-е. поступать такъ, какъ поступали всегда всѣ живые организмы, стремясь къ соціальнымъ цѣлямъ, достижимымъ силами многихъ. Синдикализму нѣтъ дѣла даже до того, какова будетъ психологія пролетаріата на слѣдующій день послѣ

---

[1]) Полемическая выходка противъ кн. Кропоткина.

революціи, ибо онъ самъ и есть этотъ пролетаріатъ, а отъ своей природы все равно никуда не уйдешь. Если окажется возможнымъ устроиться свободными союзами, пролетаріатъ ихъ устроитъ. Если понадобится принудительная власть, онъ создастъ деспотическую власть, но только свою собственную, пролетарскую, а не буржуазную" [1]).

Facies hippocratica! Такъ называли въ древности по имени великаго врача Гиппократа, нарисовавшаго живую картину приближающейся смерти, лицо, на которомъ лежитъ уже отпечатокъ кончины. Въ произведеніяхъ философовъ синдикализма передъ нами facies hippocratica соціализма, основаннаго на возведеніи классового начала въ абсолютъ.

Соціалисты и историки начала XIX вѣка открыли и разъяснили значеніе классовой борьбы въ развитіи общества. Но стремясь сами къ раціональному гармоническому построенію общества, они считали классовое разъединеніе зломъ и призывали къ единенію и союзу классовъ.

Марксъ, воспринявъ отъ своихъ предшественниковъ соціологическую оцѣнку классовой борьбы, возвелъ ее въ рангъ основного психическаго рычага преобразованія стараго буржуазнаго общества въ новое соціалистическое. Изъ начала злого и разрушительнаго, какимъ классовая борьба была для соціалистовъ, называемыхъ утопическими, она подъ руками Маркса и Энгельса превратилась въ начало доброе и творческое. Марксъ былъ вообще въ соціализмѣ философомъ не цѣлей и задачъ, а средствъ и путей. Но съ Марксомъ и съ марксистами случилось то, что почти всегда съ какой-то психологической фатальностью происходитъ въ такихъ случаяхъ. Фиксировавъ свое вниманіе на средствѣ, они превратили его въ абсолютъ, и оно вытѣснило изъ поля зрѣнія цѣль.

---

[1]) Стр. 28 указанной статьи.

Возведеніе классоваго начала и классовой борьбы въ абсолютъ есть отличительная особенность, сигнатура марксизма. Съ этой практической абсолютизаціей рука объ руку шла абсолютизація теоретическая.

Понятіе „классъ“ есть попытка для сложной системы многообразныхъ текучихъ общественныхъ отношеній указать какъ бы точку кристаллизаціи, выдѣлить такое единство, которое могло бы мыслиться, какъ верховный субъектъ и дѣятель этихъ отношеній. Это вполнѣ законная операція, но необходимо помнить ея границы и смыслъ. Марксистская соціалъ-демократія никогда объ этомъ не думала. Руководясь своей практической тенденціей организаціи и воспитанія рабочихъ массъ (преимущественно организаціи и воспитанія политическаго), она возвела идею класса въ миѳологическій абсолютъ и подвела самое себя, т. е. политическую партію, подъ это миѳологическое понятіе. Огромная организующая роль этой практической и теоретической абсолютизаціи идеи класса не можетъ быть оспариваема. Но сдѣлавъ классъ политической партіей, соціалъ-демократія неразрывно связала свое поведеніе съ современнымъ государствомъ, „буржуазнымъ“ и „капиталистическимъ“, и практически притупила о него остріе своей классовой идеи. Абсолютизмъ классовой борьбы, абсолютная враждебность государству, непримиримость съ нимъ превратились въ фразу, въ лучшихъ случаяхъ въ то, что нѣмцы называютъ „Sonntagsidee“, въ идею воскреснаго дня, на которой, ради духовнаго разнообразія, отдыхаетъ утомленный сѣрыми буднями умъ.

„Синдикализмъ“ и его философія есть послѣдняя отчаянная попытка спасти неприступную для буржуазныхъ искусителей и искушеній абсолютную святыню классовой идеи. На ней—что бы ни говорилъ Сорель объ этикѣ—лежитъ печать вырожденія и „звѣриной“ кончины: въ почти

восторженной философской реляціи г. Минскаго о синдикализмѣ чувствуется дыханіе этой звѣриной смерти. Устами новыхъ проповѣдниковъ „чисто волевой“, „первичной“ „стихійной“ классовой борьбы говоритъ нагота готтентотской морали, лишь умащенная пахучими румянами эстетизма.

Въ эстетизмѣ и мистицизмѣ, который хочетъ дѣйственно, практически прикрѣпиться къ „мозолистой рукѣ“ пролетарія, который гутируетъ запахъ пота, смѣшаннаго съ кровью, есть что-то глубоко-фальшивое и отталкивающее. Я понимаю Флобера, въ одномъ изъ своихъ чудесныхъ писемъ признающагося, что изъ всей политики, которую онъ, съ высоты своего одиночества, вообще презиралъ, онъ любитъ только одинъ „бунтъ“ (émeute). Но эстетически любя „бунтъ“, любуясь имъ, Флоберъ никогда не бралъ за него ни моральной, ни идейной отвѣтственности. Онъ бывалъ въ салонѣ принцессы Матильды, но не ходилъ на собранія, никогда не произносилъ передъ народомъ зажигательныхъ рѣчей и не издавалъ соціалистическихъ газетъ. Нечего и говорить о томъ, что Ницше, „blonde Bestie“ котораго вдохновляетъ Жоржа Сореля въ его миѳологіи всеобщей стачки, не призывалъ народныя массы къ мистическому „бунту“ во имя стихійнаго классоваго насилія.

Самое ученіе о великомъ творческомъ значеніи вражды. или войны одно—въ устахъ мыслителя, обозрѣвающаго съ уединенной вершины метафизическаго созерцанія міръ и людей, и другое—въ устахъ людей, предлагающихъ „устраивать“... стачки и проповѣдующихъ „action directe“. Звено великой космической системы, цѣлаго ученія о Божествѣ превращается тутъ либо въ смѣшную претензію овладѣть многообразіемъ соціальной жизни при помощи мистическаго заклинанія, либо, того хуже, въ эстетическую гримасу. Метафизическія и религіозныя идеи велики въ своей области; перенесенныя въ другую область онѣ становятся карикатурой. Въ соціальной философіи

Маркса и въ особенности Прудона и Лассаля еще чувствуется метафизическая широта построеній Гераклита и Гегеля. Но Гераклитъ, несмотря на всѣ эстетическія прикрасы, даже coiffé à la Nietzsche, не можетъ, не становясь смѣхотворнымъ, проповѣдывать „la gréve générale“ на 3, Rue du Chateau d'Eau.

Таковъ философскій синдикализмъ.

За его эстетическими гримасами скрывается смертельная болѣзнь соціализма, опирающагося на классовую идею какъ на абсолютъ. Она, эта центральная религіозная идея новѣйшаго соціализма, рушится вмѣстѣ съ вѣрой въ соціалистическій хиліазмъ.

Для реальнаго рабочаго движенія и для реальной соціальной политики рабочаго класса въ томъ процессѣ крушенія соціалистической миѳологіи, который знаменуется самымъ появленіемъ философскаго синдикализма, нѣтъ ничего опаснаго. Синдикализмъ возникъ и „могущественъ“ тамъ, гдѣ рабочіе союзы или синдикаты слабосильны. Его нѣтъ, какъ сколько-нибудь замѣтной величины, ни въ Англіи, ни въ догоняющей ее по развитію трэдъ-юніоновъ Германіи, ни даже въ Бельгіи. Онъ играетъ крупную роль во Франціи и въ Италіи. Обѣ эти страны, въ особенности по сравненію съ Германіей, суть страны, экономически-отсталыя. Франція—страна въ экономическомъ отношеніи почти неподвижная въ сравненіи съ Германіей. Сравненіе французскаго народнаго хозяйства съ германскимъ, думается мнѣ, показало бы, что первое проникнуто реакціонными началами и находится въ состояніи застоя. Экономически (и психологически) это, вѣроятно, связано съ остановкой въ ростѣ населенія. Реакціонному капитализму и малоподвижной буржуазіи соотвѣтствуетъ революціонный соціализмъ и бунтарскій пролетаріатъ. Впрочемъ, не слѣдуетъ думать, что революціонный синдикализмъ сож-

жетъ дотла буржуазную Францію. Французскій рабочій глубоко проникнутъ политическимъ разочарованіемъ и зараженъ политическимъ невѣріемъ, настоящимъ государственнымъ нигилизмомъ. Но соціальныя и политическія катастрофы родятся изъ такихъ настроеній только тамъ, гдѣ отсутствуетъ сильная государственная власть...

Синдикализмъ, какъ философія рабочаго движенія, связанъ, какъ я уже сказалъ, съ относительнымъ экономическимъ застоемъ, характеризующимъ французскую хозяйственную жизнь. Если философы синдикализма думаютъ, что „Франціи въ наше время снова предстоитъ сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ она была столько разъ донынѣ — исторической теплицей, обращенной на полдень культуры, страною, гдѣ революціонныя идеи и событія созрѣваютъ на много лѣтъ раньше, чѣмъ въ остальной Европѣ“, и что „синдикализмъ“ „относится ко всему прошлому соціализму“, „какъ высшая діалектически-необходимая органическая фаза, устраняющая и поясняющая всѣ пережитыя донынѣ“ [1]), то эти сужденія доказываютъ только экономическій дилеттантизмъ ихъ авторовъ и полное непониманіе ими историческаго матеріализма. Во Франціи м о г у т ъ, вопреки ея хозяйственной отсталости, благодаря политическимъ учрежденіямъ, демократіи, осуществиться широкія соціальныя реформы. Но еще дай Богъ, если удастся въ скоромъ времени во Франціи провести приличный подоходный налогъ и страхованіе на случай старости и неспособности къ труду. Во всякомъ случаѣ не нужно быть фанатическимъ сторонникомъ „историческаго матеріализма“, чтобы видѣть всю несообразность теоріи, которая ожидаетъ въ экономически-отсталой средѣ, характеризующейся застоемъ капитализма, появленіе новой высшей соціалистической идеологіи и близкаго осуществленія со-

[1]) Минскій: цит. статья, стр. 17 и 18.

D15 5/10

ціализма. Впрочемъ, самъ первосвященникъ философскаго синдикализма, мнящій себя „марксистомъ“ Сорель, ничто же сумнясь, пишетъ, что „англичанамъ вообще чужда идея классовой борьбы; ихъ мысль такъ и осталась порабощенной феодальными традиціями“ [1]), и не замѣчаетъ, что въ этой характеристикѣ англичанъ заключается, съ точки зрѣнія историческаго матеріализма, величайшій историческій парадоксъ и глубочайшая соціологическая загадка, о которой Марксъ, болѣе 30 лѣтъ прожившій среди англичанъ и въ Англіи написавшій „Капиталъ“, даже не подозрѣвалъ. Какъ въ капиталистическомъ обществѣ, послужившемъ „натурой“ для автора „Капитала“, пролетаріату могла остаться „вообще чуждой“ идея классовой борьбы,—это непонятно и съ точки зрѣнія здраваго смысла.

Въ концѣ концовъ, несмотря на всѣ свои теоретическія слабости и отчасти благодаря имъ, философскій синдикализмъ сдѣлалъ одно крупное дѣло: онъ еще яснѣе раскрылъ глубокую фальшь, разъѣдающую ортодоксальный марксизмъ и оффиціальную соціалъ-демократію. Онъ былъ и есть одинъ изъ факторовъ, подкопавшихъ гегемонію германской соціалъ-демократіи въ международномъ соціализмѣ [2]). Проблема практическаго безсилія германской соціалъ-демократіи, такъ блистательно поставленная Жоресомъ на амстердамскомъ конгрессѣ въ упоръ Бебелю, въ сущности, сводится къ банкротству классоваго соціализма въ политической области, банкротству, которое не можетъ

---

[1]) Стр. 55.

[2]) Это паденіе германской соціалистической гегемоніи весьма ярко изображено въ статьѣ Р. Михельса: „Die deutsche Socialdemokratie im internationalem Verbande“, въ „Archiv für Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik“. Juli-Heft, 1907.

*

быть прикрыто никакимъ лицемѣріемъ „революціонныхъ“ и „катастрофическихъ“ резолюцій.

Классовый соціализмъ не сотворилъ чудесъ въ политической области. Синдикализмъ обѣщаетъ, что примѣненіе классовой борьбы къ чисто-экономической области сотворитъ чудеса. Это такая же или, вѣрнѣе, еще худшая иллюзія. За ней нѣтъ того, чего нельзя отнять у оффиціальной соціалъ-демократіи—нѣтъ ни научной теоріи, ни организаціоннаго плана. Поэтому банкротство, идейное и практическое, должно наступить въ этомъ случаѣ гораздо скорѣе.

Религія и соціализмъ. [1]

Въ настоящей книгѣ Русской Мысли читатель найдетъ статью Д. В. Философова объ отношеніи между религіей и соціализмомъ.

На эту тему я въ докладѣ, прочитанномъ въ текущемъ году въ петербургскомъ религіозно-философскомъ обществѣ, формулировалъ нѣсколько тезисовъ, которые рѣзко расходятся съ тѣмъ, что развиваетъ Д. В. Философовъ. Ниже я попытаюсь возстановить суть тѣхъ тезисовъ, которые я защищалъ въ своемъ докладѣ, съ нѣкоторыми разъясненіями и дополненіями [2].

I.

Религія есть признаніе и переживаніе цѣнностей, которыя выходятъ за предѣлы личнаго или соціальнаго существованія, т.-е. жизни въ эмпирическомъ смыслѣ этого слова. Иными словами, религія есть признаніе и переживаніе трансцендентныхъ цѣнностей.

---

[1]) Русская Мысль, 1909 г., августъ.

[2]) Нѣкоторыя изъ этихъ мыслей были уже намѣчены мною въ статьѣ, помѣщенной въ сборникѣ Вѣхи (см. стр. 339—361 настоящаго сборника).

Въ этомъ философскомъ смыслѣ не все, что въ исторіи культуры зовется религіей, есть религія.

Религія, какъ признаніе и переживаніе трансцендентныхъ цѣнностей, начинается тамъ, гдѣ человѣкъ улавливаетъ трансцендентное, какъ таковое, и неспособенъ смѣшивать его съ имманентнымъ или эмпирическимъ [1]). Можетъ быть, для преображеннаго будущаго человѣка, для сверхчеловѣка не будетъ грани между трансцендентнымъ и имманентнымъ; и мы знаемъ, что для дикаря ея тоже, хотя и въ иномъ смыслѣ, не было (или нѣтъ). Но когда религіозныя чаянія осуществятся, тогда религія перестанетъ существовать; не будетъ также и „опыта“ въ философскомъ смыслѣ. „Религія“ и „опытъ“ существуютъ лишь тамъ, гдѣ человѣкъ ощущаетъ грань, проходящую между имманентнымъ, эмпирическимъ бытіемъ, и бытіемъ трансцендентнымъ, тѣмъ, которое переживается въ религіи. Когда намъ говорятъ, что „научный соціализмъ абстрактно раскрываетъ въ основныхъ чертахъ процессъ богостроительства, иначе называемый хозяйственный процессъ“ [2]), то очевидно, что слова „Богъ“ и „религія“ въ этихъ и подобныхъ разсужденіяхъ означаютъ нѣчто совсѣмъ иное, чѣмъ тѣ же слова у людей, которые способны признавать и переживать трансцендентныя цѣнности. Слова одни, но смыслъ безконечно различный. Сближать на основаніи сходства словъ столь различныя идеи—пустая, хотя и не всегда невинная, забава.

Когда дикарь мажетъ добраго бога по губамъ медомъ и въ гнѣвѣ разбиваетъ злого бога, онъ, конечно, разумѣетъ

---

[1]) Въ этомъ смыслѣ чистое философское понятіе религіи есть историческая категорія: „Die Historie ist immer religiös und die Religion muss ihrer Natur nach historisch sein“ (Шлейермахеръ).

[2]) См. въ статьѣ Философова цитату изъ г. Луначарскаго.

подъ именемъ Бога не то же, что разумѣлъ подъ этимъ именемъ основатель христіанства. Вѣрнѣе, у дикаря въ нашемъ смыслѣ религіи не было, такъ же, какъ ея нѣтъ у г. Луначарскаго, написавшаго книгу о соціализмѣ и религіи.

Дикарь обожествляетъ предметъ или вещь, имманентное, эмпирическое не отличаетъ отъ трансцендентнаго; „богостроитель“ въ стилѣ Луначарскаго хочетъ увѣрить современнаго человѣка, что онъ имманентное, міръ здѣшній, можетъ переживать какъ трансцендентное. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ нѣтъ религіи, нѣтъ богопочитанія въ философскомъ смыслѣ. Дикарь и Луначарскій—интересные объекты исторіи культуры; для религіозной философіи они пригодны только какъ примѣры того, что не есть религія.

II.

Разъ навсегда слѣдуетъ тутъ устранить то недоразумѣніе, по которому соціализмъ, какъ въ извѣстномъ смыслѣ вѣра и вѣроученіе, рождающее энтузіазмъ, признается религіей.

Голая психическая форма вѣры и энтузіазма не можетъ составлять религію. Вѣра въ небожественное и вѣроученіе не о Богѣ не есть религія.

Ссылки на разныя религіи „человѣчества“ и „человѣкобожества“ тутъ ничему не помогутъ. Я допускаю, что возможна религія, основанная на обожествленіи человѣка. Но такая религія обязательно должна вѣрить въ творческую роль и въ метафизическую свободу человѣка. Религія, обожествляющая человѣка, такого, какъ его разсматриваютъ біологія и соціологія, религія, обожествляющая человѣка, понимаемаго „естественно-научно“, есть contradictio in adjecto, есть религія, которая не есть вѣра въ божественное. Обожествить человѣка значитъ вынуть его изъ рамокъ „естественной необходимости“.

Это совершенно чуждо и позитивизму Сенъ-Симона и Конта, и матеріализму Фейербаха и Маркса. О религіи научнаго соціализма, объ обожествленіи человѣка въ этихъ вѣроученіяхъ можно говорить только фигурально.

Если что-нибудь научный соціализмъ всего менѣе способенъ обожествить—такъ это человѣка. Homo homini deus, формула религіи Фейербаха, это—конфетка, которой этотъ честный, но пасторски ограниченный борецъ противъ христіанства самъ себѣ подслащалъ горькую долю человѣка въ лапахъ желѣзной естественно-научной необходимости.

„Научный“ соціализмъ не вѣритъ въ Бога, какъ въ объективное по отношенію къ человѣку творческое начало. Онъ не вѣритъ также въ то, чтобы самому человѣку было присуще творческое начало, утверждающееся на его метафизической свободѣ. Словомъ, онъ не вѣритъ въ божественное.

Итакъ, нельзя серьезно говорить о религіозности „научнаго“ соціализма или марксизма. Но, можетъ быть, та промежуточная форма, которая подготовила марксизмъ и которая связана съ именемъ Сенъ-Симона, учителя Конта и подлиннаго творца „положительной философіи“, являетъ намъ примѣръ органическаго сочетанія религіи и соціализма?

Отношеніе ученія Сенъ-Симона къ религіозному началу сложнѣе, чѣмъ простая и откровенная въ своемъ атеизмѣ иррелигіозность Маркса. Творчество Сенъ-Симона (и Конта) принадлежитъ къ той послѣреволюціонной волнѣ, которая въ одно и то же время знаменуетъ собой и возстаніе противъ французской революціи, и продолженіе ея идей. Ученіе Сенъ-Симона есть—рядомъ съ соціологической доктриной Маркса—одинъ изъ самыхъ характерныхъ образчиковъ тѣхъ оптимистическихъ философій прогресса, на которые, слѣдуя Ренувье, обрушивается Д. В. Философовъ.

Напрасно только онъ, въ отличіе отъ своего перво-

источника, эту оптимистическую философію прогресса связываетъ исключительно съ проповѣдью экономическаго либерализма, провозгласившаго laissez faire laissez passer. Съ одной стороны, экономическій либерализмъ, какъ идейная сила, предшествовалъ французской революціи, не говоря уже о событіяхъ XIX в.: достаточно напомнить, что „Богатство народовъ“ Смита появилось въ 1776 г. А съ другой стороны, едва ли не самымъ краснорѣчивымъ глашатаемъ оптимистической философіи прогресса въ XIX вѣкѣ былъ соціалистъ Сенъ-Симонъ.

Съ Сенъ-Симономъ и Контомъ, какъ съ представителями оптимистической и механической философіи и полемизировалъ Ренувье [1]), этотъ величайшій французскій метафизикъ XIX в., значеніе котораго въ развитіи человѣческой мысли еще не достаточно оцѣнено и къ идеямъ котораго, на мой взглядъ, въ значительной мѣрѣ восходитъ все новѣйшее философское движеніе. Это значеніе можно формулировать такъ: Ренувье всего ярче, всего полнѣе возсталъ противъ детерминистическаго предразсудка, еще владѣвшаго и Кантомъ, для котораго объясненіе явленій всецѣло опредѣлялось принципомъ причинности. Свобода и творчество были у Канта въ логически-систематическомъ цѣломъ его построенія міра метафизической контрабандой рядомъ съ причинностью, для Ренувье же это—равноправный съ причинностью принципъ объясненія міра.

Тогда какъ Ренувье былъ проникнутъ идеей творческой личности и идеей свободы, Сенъ-Симонъ былъ детерминистомъ и эволюціонистомъ авторитарнаго типа.

Это наложило свой отпечатокъ и на „религіозность“ Сенъ-Симона. Сенъ-Симонъ былъ богатой и довольно слож-

---

[1]) Ср., напримѣръ, его „Esquisse d'une classification systématique de doctrines philosophiques“. Paris, 1885, T. I, pp. 168—170, 457, p. t. II, 358.

ной натурой, и онъ не былъ чуждъ въ чисто-психологическомъ смыслѣ извѣстной религіозности. Но для Сенъ-Симона, какъ мыслителя, религія была всетаки соціальнымъ средствомъ, а не цѣлью въ себѣ. Религія была для него какъ бы той силой, которая связывала воедино разные общественные элементы, духовно организовывала общество. Иначе говоря, она была для него психологическимъ цементомъ, скрѣпляющимъ общественное зданіе. „Ученія Сенъ-Симона и его послѣдователей,—замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ Ренувье,—суть продукты реакціи, которая на слѣдующій день послѣ французской революціи привела многихъ мыслителей, всецѣло одержимыхъ страстью къ порядку, къ отказу отъ идей автономіи, свободы и естественныхъ правъ, къ реабилитаціи и къ подражанію правительствамъ, дѣйствующимъ „свыше“, средневѣковый идеалъ которыхъ являлся въ ихъ глазахъ образцомъ, съ той разницей, что средневѣковыя вѣрованія они желали замѣнить приказами ученыхъ“. Сенъ-Симонъ (а также Контъ) былъ дѣйствительно „одержимъ“, по мѣткому выраженію Ренувье, страстью къ порядку и организаціи, и религію онъ цѣнилъ не самое по себѣ, а какъ организующую общественную силу, ради соціальнаго устроенія.

Отсюда то обаяніе, въ которомъ, какъ извѣстно, Сенъ-Симона и Конта держали католицизмъ и средневѣковье [1]): въ нихъ они цѣнили не религіозное содержаніе, которое вообще ихъ не интересовало, а соціальную форму, извѣстную стройную организацію.

Теперь спрашивается: означаетъ ли взглядъ на религію, какъ на силу соціальнаго устроенія, подлинную религіозность, есть ли такая соціологическая оцѣнка религіи сама по себѣ живое религіозное сознаніе? На этотъ вопросъ

[1]) Эта черта въ значительной мѣрѣ объясняетъ позднѣйшую симпатію Владиміра Соловьева къ Конту.

приходится отвѣчать отрицательно. Если не ошибаюсь, Наполеонъ былъ абсолютно равнодушенъ къ музыкѣ, но въ то же время очень высоко цѣнилъ психологическое дѣйствіе музыки на войско. Мыслимо такое же отношеніе къ религіи, и отношеніе къ ней Сенъ-Симона въ извѣстной мѣрѣ приближалось къ этому типу. „Вѣрованія“ церкви Сенъ-Симонъ хотѣлъ замѣнить ученіями науки, религію по содержанію слить съ наукой, сохранивъ для науки лишь старую, психологически могущественную форму религіи.

Тутъ въ этомъ отношеніи къ религіи сказывается двойственное происхожденіе ученія Сенъ-Симона. Оно родилось изъ двухъ источниковъ, изъ взаимодѣйствія двухъ идейныхъ силъ: во-первыхъ, просвѣтительства и раціонализма XVIII в. и, во-вторыхъ, органическаго или историческаго воззрѣнія, явившагося реакціей противъ этого раціонализма. Не нужно забывать, что обаяніе католицизма и средневѣковья сообщилось Сенъ-Симону (и Конту) черезъ де-Мэстра и Бональда. Ученіе Сенъ-Симона есть какъ бы органическій продуктъ взаимодѣйствія между Даламберомъ (или вообще духомъ просвѣщенія), съ одной стороны, де-Мэстромъ (или вообще контръ-революціонной реакціей) съ другой стороны. Это двойственное происхожденіе мы видимъ и въ прямомъ продолженіи ученія Сенъ-Симона и сенъ-симонистовъ: въ марксизмѣ, который есть тоже не болѣе не менѣе какъ попытка укрѣпить соціологическій раціонализмъ на „историческомъ“ фундаментѣ, на „эволюціи“ самыхъ основъ общества.

Реакція—въ лицѣ контръ-революціонной публицистики—первая обратилась къ историческому процессу, какъ таковому: въ немъ, въ его сверхъиндивидуальномъ и сверхрациональномъ характерѣ она черпала аргументы противъ преобразовательной маніи раціонализма. Новый соціалистическій раціонализмъ—въ лицѣ

Сенъ-Симона и Маркса—пытался вырвать этотъ аргументъ у реакціи, выдвинувъ идею, что раціональное преобразованіе общества есть функція, есть какъ бы историческая повинность самой эволюціи. Марксъ—черезъ Сенъ-Симона—является ученикомъ де-Мэстра, не въ индивидуальномъ смыслѣ, а въ гораздо болѣе общемъ и важномъ смыслѣ идейной зависимости всего эволюціоннаго соціализма отъ противораціоналистической реакціи конца XVIII и начала XIX вѣка.

Но возвращаясь къ религіи и религіозности Сенъ-Симона, мы спросимъ: развѣ религія, поставленная на службу соціальнаго устроенія, есть религія въ томъ смыслѣ, въ какомъ только и можетъ понимать религію современное сознаніе? Настоящимъ религіознымъ соціализмомъ мы назвали бы такой соціализмъ, въ которомъ соціализмъ опирался бы на религію, какъ на свою высшую санкцію, а не религія служила бы для соціализма формой осуществленія или методомъ воздѣйствія. Въ этомъ смыслѣ чрезвычайно поучительно сопоставить съ Сенъ-Симономъ Льва Толстого. Соціальныя идеи и нормы вытекаютъ у Толстого изъ его религіи. У Сенъ-Симона религія призывается поддерживать соціальныя идеи и нормы, по существу независимыя отъ религіи и для него гораздо болѣе интересныя, чѣмъ религія.

III.

Утвержденіе, что соціализмъ есть религія, сдѣлалось почти ходячей монетой всякаго сколько-нибудь—есть такое сантиментальное, рыхлое русское словечко—„вдумчиваго“ трактованія соціализма.

Но въ то же время мы слышимъ, и не даромъ, что „соціализмъ“ въ своихъ наиболѣе твердыхъ, наиболѣе граненыхъ формахъ объявилъ войну религіи, какъ совокупности такихъ представленій, призваніе которыхъ утѣшать

обездоленныхъ здѣсь, въ этомъ мірѣ, надеждами на лучшіе, иные міры, гдѣ не будетъ „ни воздыханія, ни печали". Изреченіе: „Religion ist Privatsache"—есть „тактическая директива" политики современнаго воинствующаго соціализма; иррелигіозность и даже антирелигіозность, наоборотъ, составляетъ его глубочайшее философское убѣжденіе. Религія предъ глазами современнаго соціалиста есть средство развлечь и отвлечь вниманіе, усыпить волю обездоленныхъ къ дѣйствію и борьбѣ. А потому соціализмъ есть врагъ религіи и ея правопреемникъ. Множество разъ я слышалъ изложеніе этой мысли изъ устъ соціалъ-демократическихъ агитаторовъ въ Германіи; очень часто оно иллюстрируется извѣстнымъ стихотвореніемъ Гейне, въ которомъ задорнополемически противъ христіанства требуется установленіе рая на землѣ, а не въ мірѣ иномъ (первая глава „Deutschland"):

Ein neues Lied, ein besseres Lied
O Freunde, will ich euch dichten;
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.
Wir wollen auf Erden glücklich sein
Und wollen nicht mehr darben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch
Was fleissige Hände erwarben.
Es wächst hienieden Brot genug
Für alle Menschenkinder
Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust
Und Zuckererbsen nicht minder,
Ja, Zuchererbsen für jedermann,
Sobald die Schoten platzen!
Den Himmel überlassen wir
Den Engeln und den Spatzen.

Что же такое соціализмъ: религія или начало, абсолютно противоположное религіи?

Очевидно, что соціализмъ есть одинъ изъ методовъ усо-

совершенствованія человѣческой жизни путемъ ея разумнаго внѣшняго устроенія. При этомъ отвѣтственность за жизнь и руководство ею перелагается съ отдѣльнаго лица на общественное цѣлое. Если таковы существенные признаки соціализма, то его религіозная оцѣнка довольно проста. Самъ по себѣ онъ стоитъ такъ же внѣ религіи, какъ желѣзныя дороги или телефонъ. Ибо религія въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ ее человѣчество со временъ христіанства, опирается на идею отвѣтственности человѣка за себя и за міръ [1]). Пусть это съ точки зрѣнія позитивнаго детерминизма—иллюзія, но безъ этой иллюзіи нѣтъ религіи. Даже въ тѣхъ разновидностяхъ религіи, которыя съ особенной силой выдвинули идею божественнаго предопредѣленія,—послѣднее отнюдь не устраняло идеи личной отвѣтственности и личнаго подвига. Современный соціализмъ, наоборотъ, въ самомъ своемъ рожденіи есть бунтъ противъ этой идеи, лежащей въ основѣ всего современнаго религіознаго сознанія.

Съ другой стороны, соціализмъ, въ томъ формально-психологическомъ смыслѣ, который я уже отклонилъ (религія какъ „увлеченіе“, какъ „энтузіазмъ“), носитъ несомнѣнно извѣстный „религіозный“ характеръ. Если религія можетъ быть сведена къ вѣрѣ и увлеченію, соціализмъ—религія. Но не происходитъ ли и въ этомъ отношеніи съ соціализмомъ эволюціи, вполнѣ аналогичной той, которая въ XIX вѣкѣ произошла съ либерализмомъ?

Либерализмъ по мѣрѣ своего теоретическаго закругленія и развитія, своего осуществленія и внѣдренія въ жизнь пересталъ одушевлять людей, пересталъ въ этомъ смыслѣ являться религіей.

---

[1]) Ср. мою статью о Львѣ Толстомъ въ Русской Мысли за августъ 1908 г. и статью въ сборникѣ „Вѣхи“ [перепечатаны выше].

Д15 5/10

Но отношеніе либерализма къ религіи, если брать либерализмъ на всемъ пространствѣ его исторіи и во всемъ значеніи его историческаго дѣйствія, гораздо сложнѣе. Современный соціализмъ никогда по своей идеѣ не былъ религіознымъ. Первоначальная же идея либерализма имѣетъ подлинные религіозные корни въ радикальномъ протестантизмѣ разныхъ оттѣнковъ и разныхъ странъ, провозгласившемъ религіозную автономію личности. Изъ этой идеи религіозной автономіи вытекало и начало вѣротерпимости—не какъ выраженіе религіознаго безразличія, а, наоборотъ, какъ высшее подлинно-религіозное признаніе идеи свободы лица Въ радикальномъ протестантизмѣ, въ его мистикѣ были и зачатки религіознаго соціализма, но они потонули въ волнахъ исторіи, между тѣмъ какъ либерализмъ выкристаллизовался въ огромную культурную и политическую силу. Въ христіанствѣ было начало, которое было нѣчто гораздо большее, чѣмъ простая идея: начало любви. Къ этому началу могъ бы прикрѣпиться мистическій соціализмъ; но этого не произошло: къ соціализму, какъ къ соціальному движенію современности, христіанское настроеніе любви совершенно не привилось.

Въ XVIII вѣкѣ происходитъ процессъ идейной секуляризаціи, обмірщенія либерализма. Его религіозные корни отмираютъ. Особенно ярко это выступаетъ въ этикѣ, именно потому, что этика по существу близка къ религіи и есть посредствующее звено между послѣднею и политикой. Религіозное обоснованіе этики смѣняется совершенно относительнымъ построеніемъ утилитаризма, который становится руководящей философской доктриной европейскаго либерализма и радикализма [1]).

[1]) Любопытно при этомъ, что утилитаризмъ всего усерднѣе культивируется въ средѣ радикально-протестантскаго духовенства Англіи.

Современный соціализмъ выросъ на стволѣ либерализма въ ту эпоху, когда религіозные корни либерализма уже отмерли. Это, весьма характерно обнаруживается между прочимъ, въ томъ, что Сенъ-Симонъ свои „религіозные“ мотивы беретъ у католицизма и средневѣковья, что реформацію онъ упрекаетъ за возвратъ къ „первохристіанству“. И не религіозной ли смертью либерализма объясняется то, что онъ оказывается идейно такъ безпомощенъ въ борьбѣ съ соціализмомъ, который практически лишь гораздо послѣдовательнѣе своего секуляризованнаго родителя, а идейно съ нимъ совершенно тождественъ!?

Итакъ, въ процессѣ развитія европейской культуры либерализмъ секуляризовался, обмірщился идейно. Соціализму нечего было продѣлывать этого процесса: идейно религіознымъ онъ никогда не былъ. Но въ томъ указанномъ нами выше смыслѣ, который мы назвали формально-психологическимъ, соціализмъ былъ „религіей“. Онъ былъ вѣрой въ тысячелѣтнее царство, которое принципіально отличается отъ всей предшествующей исторіи, являясь, какъ съ довольно забавной метафизической наивностью сказалъ Энгельсъ, „прыжкомъ изъ царства необходимости въ царство свободы“. Именно эта формальная религіозность, этотъ энтузіазмъ, прикрѣплявшійся къ соціализму, представлялъ себѣ, вопреки принципу эволюціи, будущее общество не просто какъ усовершенствованное, или преобразованное, а какъ совершенное, или преображенное.

Теперь этотъ энтузіазмъ гаснетъ, и камень соціалистической вѣры вывѣтривается и уже вывѣтрился. Соціализмъ обезцвѣтился, посѣрѣлъ, размѣнявшись на побѣдоносную соціальную политику [1]).

---

[1]) Ср. мою статью „Facies hippocratica“ въ Русской Мысли за 1907 годъ, октябрь [перепечатана выше].

Когда это окончательно обнаружится,—всесторонній процессъ секуляризаціи идеи внѣшняго общественнаго устроенія жизни закончится. И тогда соціализмъ идейно такъ же умретъ, какъ умеръ либерализмъ, поскольку онъ оторвался отъ своей религіозной основы. Процессъ этотъ совершится только еще быстрѣе, ибо подлиннаго религіознаго корня у соціализма нѣтъ.

Рядомъ съ этимъ и либерализмъ и соціализмъ будутъ осуществляться. Либерализмъ можетъ быть осуществленъ вплоть до полной демократіи; предѣловъ соціализма, какъ соціальной политики, какъ совокупности мѣропріятій въ пользу трудящихся, ни поставить, ни представить себѣ нельзя.

Но какъ бы далеко ни заходилъ подобный соціализмъ, онъ не будетъ религіей. Пожалуй, чѣмъ дальше онъ зайдетъ, тѣмъ меньше въ немъ будетъ даже того подобія религіи, которое создается психологическимъ фактомъ энтузіазма.

Мы уже подошли вплотную къ этой секуляризаціи соціализма. Объ этомъ, на мой взглядъ, не слѣдуетъ особенно жалѣть. Ибо соціализмъ, поскольку онъ создавалъ подобіе религіи и религіозности, давалъ человѣчеству суррогатъ и фальсификатъ. Это былъ не обманъ, а самообманъ, и теперь человѣчество начинаетъ его сознавать.

IV.

Что же придетъ на смѣну этому самообману? Другой самообманъ или новый подъемъ подлиннаго религіознаго творчества, подобный христіанству и его возрожденію въ реформаціи?

До сихъ поръ вся высшая культура, весь „этосъ“ человѣчества былъ живъ тѣмъ запасомъ религіозной энергіи, который былъ созданъ въ эти эпохи. Не изсякаетъ ли или

даже не изсякъ ли уже этотъ запасъ? Не идетъ ли, поэтому, „этосъ“ человѣчества неудержимо на убыль? Эту проблему можно формулировать въ чисто соціологическихъ терминахъ, даже, какъ это дѣлаетъ Бенжаменъ Киддъ, въ терминахъ дарвинистической соціологіи.

Дѣло въ томъ, что значеніе религіознаго фактора въ развитіи человѣчества и, въ частности, въ созданіи современной культуры есть въ извѣстномъ смыслѣ „историческій фактъ“, совершенно независимый отъ того, каково наше субъективное отношеніе къ религіи. Поэтому вопросъ о религіозномъ оскудѣніи человѣчества или тѣхъ или другихъ частей его есть вопросъ ихъ культурныхъ судебъ. Можетъ ли человѣчество удержаться во всѣхъ отношеніяхъ на уже достигнутомъ уровнѣ или даже прогрессировать, если въ немъ заглохнетъ или уже заглохла религіозная жизнь? Является ли вообще высота „этоса“ рѣшающимъ факторомъ въ борьбѣ за существованіе разныхъ человѣческихъ культуръ и человѣческихъ типовъ? Не можетъ ли, наоборотъ, низшій „этосъ“ оказаться преимуществомъ въ борьбѣ за существованіе и не наступитъ ли торжество „Добра“ уже не въ предѣлахъ исторіи, а въ предѣлахъ эсхатологіи? Это тотъ основной трагическій вопросъ культуры: есть ли „Добро“—„Сила“?—вопросъ, который въ образѣ панмонголизма такъ волновалъ Владиміра Соловьева въ послѣдній періодъ его творчества.

Для человѣка съ законченной религіозной метафизикой, отвѣчающей на в с ѣ вопросы человѣческаго и космическаго развитія, отвѣты на эти и имъ подобные вопросы даны въ метафизикѣ. Но съ точки зрѣнія соціологіи (или философіи исторіи), какъ науки, тутъ налицо лишь сложныя и трудныя конечныя проблемы соціальнаго развитія, разрѣшеніе которыхъ можетъ имѣть лишь гипотетическій характеръ.

Одно несомнѣнно, къ вопросу о будущности религіи не-

возможно относиться равнодушно тому, кого волнуютъ судьбы человѣческой культуры вообще и отдѣльныхъ ея типовъ. Ибо до сихъ поръ религіозное начало играло въ этихъ судьбахъ огромную роль.

Въ заключеніе я могу и хочу подѣлиться лишь тѣмъ, что составляетъ мою личную вѣру.

Я думаю, что на смѣну современному религіозному кризису идетъ новое подлинно религіозное міросозерцаніе, въ которомъ воскреснутъ старые мотивы религіознаго, выросшаго изъ христіанства, либерализма—идея личнаго подвига и личной отвѣтственности, осложненныя новымъ мотивомъ, мотивомъ свободы лица, понимаемой какъ творческая автономія. Въ старомъ религіозномъ либерализмѣ недаромъ были такъ сильны идеи божественнаго предопредѣленія и божественной благодати. Всю силу творческой воли этотъ либерализмъ сосредоточилъ въ Богѣ. Современное религіозное сознаніе съ такимъ пониманіемъ Бога и человѣка и ихъ взаимоотношенія мириться не можетъ.

Человѣкъ, какъ носитель въ космосѣ личнаго творческаго подвига—вотъ та центральная идея, которая мирно или бурно, медленно или быстро захватитъ человѣчество, захватитъ его религіозно и вольетъ въ омертвѣвшую личную и общественную жизнь новыя силы.

Такова моя вѣра.

---

*

Памяти Людвига Гумпловича [1]).

Въ августѣ мѣсяцѣ телеграфъ принесъ извѣстіе о трагической кончинѣ грацскаго профессора Людвига Гумпловича, семидесятилѣтнимъ старцемъ покончившаго (вмѣстѣ со своей женой) жизнь самоубійствомъ.

Это извѣстіе вызвало во мнѣ цѣлый рой воспоминаній о покойномъ и его семьѣ.

Зимой 1892 года я съ нѣкоторымъ волненіемъ вступалъ въ одну изъ старомодныхъ и лишенныхъ всякаго „вида“ аудиторій грацскаго университета. Предстояло слушать Людвига Гумпловича, ради котораго я послѣ тяжелой легочной болѣзни рѣшилъ на время промѣнять скамьи самаго сѣвернаго русскаго на скамьи самаго южнаго австрійскаго университета. Жестоко-послѣдовательныя ученія австрійскаго ученаго, въ изложеніи которыхъ прямота односторонней мысли доходила до цинизма, производили на молодой умъ человѣка, только что прикоснувшагося къ изученію современной соціологіи, своеобразное обаяніе. Я рѣшилъ поѣхать за границу—учиться у Гумпловича.

Съ самаго начала меня ждало разочарованіе. Гумпловичъ не читалъ своего предмета: соціологіи. Если не оши-

[1]) Русская Мысль, 1909 г., сентябрь.

баюсь, онъ „сидѣлъ“ на каѳедрѣ „Oesterreichische Statistik und Verwaltungsrecht“ и имѣлъ „порученіе“ читать административное право. Когда на каѳедрѣ появился сѣдой, юркій и въ то же время всегда бывшій на-сторожѣ старичокъ семитическаго типа, я послѣ нѣсколькихъ минутъ его чтенія почувствовалъ, что онъ не преподаватель и не учитель. Это первое впечатлѣніе цѣликомъ подтвердилось впослѣдствіи. Гумпловичу было скучно излагать тотъ предметъ, который онъ „преподавалъ“, и въ немъ не было ни грана того педагогическаго прозелитизма, безъ котораго учащій не можетъ быть настоящимъ учителемъ. Пылкій, страстный, энергичный писатель, всегда бившій въ одну точку, онъ говорилъ скучно и вяло.

Почему онъ сдѣлался профессоромъ? Для него это было очевидно „образомъ существованія“, а вовсе не призваніемъ. Не была его призваніемъ также фактическая „изслѣдовательская“ работа. Она его не интересовала, и его учебники кишѣли фактическими ошибками. Его коллега, позднѣйшій вѣнскій профессоръ Бернатцикъ написалъ уничтожающую рецензію на его учебникъ австрійскаго государственнаго права, найдя въ немъ множество промаховъ. Въ душѣ своей самъ Гумпловичъ, вѣроятно, чувствовалъ, что фактическое изслѣдованіе и даже изложеніе фактовъ не его область, и занимался писаніемъ учебниковъ по мотивамъ чисто внѣшнимъ. Когда, послѣ суроваго разбора его „Австрійскаго государственнаго права“ Бернатцикомъ, министръ (кажется Гаучъ фонъ Франкентурнъ) назначилъ и Бернатцика, и Гумпловича ординарными профессорами, Гумпловичъ въ бесѣдѣ со мной такъ саркастически комментировалъ этотъ актъ начальства: „Министръ, вѣроятно, подумалъ, что одинъ изъ насъ непремѣнно долженъ быть ослomъ: Einer von uns muss entschieden ein Esel sein, und so hat er uns beide zu Ordinarien gemacht“ и—„потому онъ сдѣлалъ насъ обоихъ

ординаріями“ (т.-е. произвелъ въ ординарные профессора). Правда состояла однако въ томъ, что въ то время, какъ Бернатцикъ былъ изслѣдователь и юристъ, Гумпловичъ не былъ ни тѣмъ ни другимъ.

Интересно отмѣтить, что его старшій сынъ Максъ Гумпловичъ, тоже покончившій (гораздо раньше отца) жизнь самоубійствомъ [1]), наоборотъ, обнаружилъ выдающіяся дарованія изслѣдователя. Юристъ по образованію онъ посвятилъ себя историческимъ изученіямъ. Меня связывали съ нимъ дружескія отношенія, и я съ благодарностью вспоминаю, что онъ своими совѣтами помогъ мнѣ въ тѣхъ моихъ первыхъ литературно-научныхъ опытахъ на нѣмецкомъ языкѣ, на которые въ свое время направилась первая народническая полемика противъ „легальнаго“ марксизма въ 90-хъ годахъ.

Людвигъ Гумпловичъ былъ человѣкъ одной идеи, съ страстнымъ темпераментомъ публициста. Я не хочу этимъ сказать, чтобы онъ былъ только публицистомъ или даже вообще публицистомъ, т.-е. писателемъ, преслѣдующимъ ближайшія практическія цѣли. Наоборотъ, онъ былъ несомнѣнно теоретикомъ, но свою теоретическую идею онъ проводилъ и обосновывалъ со страстью и односторонностью практическаго дѣятеля.

Въ чемъ же состояла эта теоретическая идея?

Она выросла на стволѣ чрезвычайно цѣльнаго міросозерцанія, пожалуй, правильнѣе было бы сказать, міроощу-

---

[1]) Самоубійство это, какъ я слышалъ, произошло на почвѣ сильнаго чувства покойнаго къ одной изъ извѣстнѣйшихъ польскихъ писательницъ, которая была значительно старше его. (Приписка 1911 г. Въ настоящее время послѣ смерти М. Конопницкой можно сказать, что, какъ упорно говорили въ свое время, безнадежная любовь къ ней довела Макса Гумпловича до самоубійства].

щенія. Я не знаю и лично не встрѣчалъ бо́льшаго преклоненія передъ фактомъ и силой, чѣмъ то, которымъ Гумпловичъ былъ весь проникнутъ. Категорія должнаго для него не существовала, какъ нѣчто самостоятельное. Должнымъ что-либо становится лишь потому, что это что-либо есть фактъ и фактическая сила.

Въ жизни господствуетъ борьба расъ и классовъ. Гумпловичъ не только признаетъ этотъ фактъ, но и пріемлетъ его всей своей душой. Изъ борьбы расъ и классовъ вытекаетъ господство однихъ элементовъ надъ другими. Этотъ фактъ, какъ таковой, превращается для Гумпловича въ нѣчто, чему, выражаясь по-нитцшевски, онъ „говоритъ да". Фактъ своимъ бытіемъ для Гумпловича является нормой.

Будучи человѣкомъ одной идеи, Гумпловичъ не былъ вовсе мыслителемъ въ высшемъ и точномъ смыслѣ этого слова. Ему, поэтому, никогда не приходила въ голову мысль о томъ, что фактъ, какъ таковой, никогда не можетъ быть нормой, и что должное формально несводимо къ существующему.

Но не будучи мыслителемъ, онъ своимъ фанатическимъ высказываніемъ одной идеи,—идеи, что общественно-государственной жизни присущъ всегда элементъ основаннаго на неравенствѣ господства и принужденія, будилъ и толкалъ мысль. Отъ его характеристики государства, какъ организаціи господства меньшинства надъ большинствомъ, вѣяло почти цинизмомъ, но та прямота, съ которой онъ высказывалъ и не столько развивалъ и обосновывалъ, сколько на разные лады перевертывалъ эту идею, на достаточно стойкіе умы дѣйствовала какъ полезное раздраженіе, какъ возбужденіе къ умственной работѣ, къ критическому ощупыванію и разсѣченію болѣе мягкихъ и успокоительныхъ формулъ.

Есть два типа „монистическаго" пониманія обществен-

ной и, общѣе, человѣческой жизни. Одинъ типъ—яркимъ выраженіемъ его является та философія, къ которой на исходѣ своей жизни пришелъ Левъ Толстой—поглощенъ, я бы сказалъ, загипнотизированъ всецѣло должнымъ, точнѣе тѣмъ, что должно быть по нравственному закону; какъ складываются и развиваются факты, какія границы они ставятъ осуществленію идеала,—этихъ людей не интересуетъ. Все, не соотвѣтствующее „нравственному закону", или идеалу, какъ бы оно ни было фактически сильно, во всякомъ случаѣ подлежитъ уничтоженію или преодолѣнію. Факту эти люди ни въ какомъ случаѣ не желаютъ подчиняться; къ факту, какъ таковому, они въ высшей степени непочтительны. Другой типъ, противоположный—и однимъ изъ самыхъ законченныхъ выразителей этого типа въ области соціологической и политической мысли былъ именно Людвигъ Гумпловичъ,—видитъ и признаетъ только фактъ, и путемъ раскрытія факта создаетъ идею того, что должно быть. Передъ фактомъ эти люди напередъ преклоняются, ему они напередъ подчиняются.

Для разыскиванія научной истины, по существу, необходимо мышленіе, одинаково свободное отъ слѣпоты передъ фактомъ и отъ слѣпого фактопоклонства. Но далеко не всегда и даже очень рѣдко оба способа разсмотрѣнія и пониманія вещей гармонически-пропорціонально сочетаются въ одномъ лицѣ.

Для чистой науки тотъ монизмъ, выразителемъ котораго являлся Гумпловичъ, самъ по себѣ даетъ гораздо больше, чѣмъ тотъ монизмъ, который мы видимъ у Толстого. И именно потому, что мысль Гумпловича шла напроломъ, она дѣйствовала возбуждающе. Односторонности его фактопоклонства была присуща извѣстная сила и свѣжесть.

Я не стану излагать здѣсь тѣхъ примѣненій, которыя

получили отмѣченныя выше основныя положенія Гумпловича въ отношеніи къ цѣлому ряду проблемъ соціологіи и политики. Гумпловичъ написалъ много книгъ, но въ нихъ существенное содержаніе исчерпывается немногими мыслями, на мой взглядъ всего полнѣе выраженными въ его объемистомъ критическомъ трактатѣ „Rechtsstaat und Sozialismus“, вышедшемъ еще въ 1881 г. Общую, сжатую, но точную формулировку взглядовъ Гумпловича я пытался дать въ замѣткѣ, напечатанной о немъ въ „Энциклопедическомъ словарѣ“ Арсеньева и Петрушевскаго еще въ то время, когда извѣстность грацскаго профессора была гораздо меньше, чѣмъ въ настоящее время. Къ этой замѣткѣ я и отсылаю читателей.

Когда въ 1892 г. я молодымъ студентомъ представился Гумпловичу съ заявленіемъ, что ради его лекцій я пріѣхалъ въ Грацъ и записался въ студенты, покойный былъ, видимо, удивленъ и обрадованъ. Какъ полякъ еврейскаго происхожденія, онъ врядъ ли себя чувствовалъ по себѣ въ германско-національностическомъ Грацѣ, гдѣ не любятъ ни поляковъ, ни евреевъ. Какъ профессоръ и ученый, онъ дѣйствовалъ въ Грацѣ и вообще въ „академическомъ“ мірѣ въ несочувственной, пожалуй, даже враждебной ему атмосферѣ. Не будучи преподавателемъ и учителемъ, онъ не создалъ не только школы, но и учениковъ въ точномъ смыслѣ. И не удивительно, что онъ не былъ избалованъ притокомъ слушателей и послѣдователей. Правда, въ австрійской наукѣ его вліяніе сильно сказалось на Линггѣ и генералѣ Ратценгоферѣ, но эти люди находились внѣ кадровъ цеховыхъ ученыхъ. А въ наукѣ государственнаго права онъ былъ изолированъ. Противъ него стояла сплоченная твердыня юридической школы во главѣ съ Лабандомъ и Іеллинекомъ. Послѣдняго Гумпловичъ органически не выносилъ и въ самыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ высказывался о немъ.

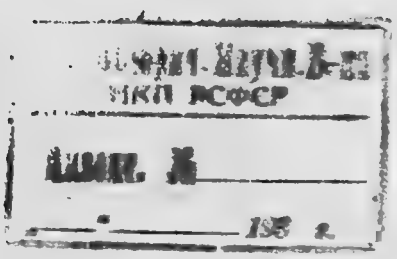
Встрѣчая враждебное и подчасъ снисходительно-презрительное отношеніе со стороны государствовѣдовъ-юристовъ, къ средѣ которыхъ Гумпловичъ принадлежалъ какъ профессоръ, въ пестрой международной братіи соціологовъ покойный грацскій профессоръ, правда, не сразу, но постепенно достигъ довольно широкаго признанія и занялъ опредѣленное мѣсто.

Отдѣльные мотивы соціологическаго мышленія Гумпловича неоригинальны. Не говоря уже объ отголоскахъ гоббсизма, эти мотивы восходятъ къ воззрѣніямъ учителя Гумпловича Лоренца фонъ-Штейна и къ той критикѣ современнаго общества и государства, которую далъ соціализмъ, въ особенности соціализмъ Маркса: разница только въ томъ, что Гумпловичъ призналъ естественнымъ и неустранимымъ, одобрилъ и благословилъ то самое, что соціализмъ осудилъ и проклялъ какъ превратныя человѣческія „учрежденія“.

Въ своей собственной семьѣ Гумпловичъ наткнулся въ очень яркой формѣ на вліяніе соціалистическаго идеала. Его второй сынъ Владиславъ (врачъ по образованію), первыя увлеченія котораго соціализмомъ развертывались на моихъ глазахъ, теперь является умѣреннымъ и разсудительнымъ „ревизіонистомъ“. Но въ началѣ своего соціалистическаго развитія онъ скоро превратился въ одного изъ самыхъ крайнихъ „молодыхъ“, и принялся за фанатическую борьбу съ признанными соціалъ-демократическими авторитетами въ духѣ анархо-соціалистическаго радикализма. За „зажигательныя“ рѣчи, произнесенныя передъ берлинскими безработными, онъ поплатился многолѣтнимъ тюремнымъ заключеніемъ и высылкой изъ Пруссіи. Такъ на судьбахъ своего собственнаго сына Гумпловичъ позналъ вербующую силу соціализма, у котораго онъ столь многому научился, но который онъ въ корнѣ отрицалъ.

Будучи неоригинальнымъ по своимъ мотивамъ, соціологическое мышленіе Гумпловича, однако, въ высшей степени своеобразно той энергичной спайкой, которую эти заимствованные мотивы у него получили и благодаря которой ихъ вліяніе на новѣйшую соціологію значительно усилилось.

Вотъ почему соціологическіе труды Гумпловича, несмотря на бѣдность и неоригинальность мотивовъ, еще долго будутъ возбуждать и двигать впередъ мысль. Въ нихъ сказался сильный и упрямый умъ, работавшій подъ диктовку боевого темперамента.


НКП РСФСР

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1911 г.

на ежемѣсячный литературно-политическій журналъ

РУССКАЯ МЫСЛЬ

(годъ изданія 32-й).

Редакторъ-издатель **П. Б. СТРУВЕ.**

Въ литературно-критическомъ отдѣлѣ ближайшее участіе принимаетъ **В. Я. Брюсовъ.**

Условія подписки:

Съ дост. и пер. въ Россіи. **15 р. 11 р. 25 к. 7 р. 50 к. 3 р. 75 к.**
За границу . . . . . **17 „ 12 „ 75 „ 8 „ 50 „ 4 „ 25 „**

На одинъ мѣсяцъ только для иногородныхъ внутри Россіи *1 р. 25 к.* Цѣна отдѣльнаго номера въ продажѣ *1 р. 50 к.*

При постоянномъ сотрудничествѣ: К. Д. Бальмонта, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяева, В. Я. Брюсова, С. Н. Булгакова, Андрея Бѣлаго, В. И. Вернадскаго, Л. И. Гальберштадта, М. О. Гершензона, В. Ф. Гефдинга, З. Н. Гиппіусъ, В. С. Голубева, Л. Я. Гуревичъ, И. М. Гревса, Д. Е. Жуковскаго, А. С. Изгоева, А. А. Кауфмана, А. А. Кизеветтера, Б. А. Кистяковскаго, С. А. Котляревскаго, С. В. Лурье, В. А. Маклакова, Д. С. Мережковскаго, В. Д. Набокова, П. И. Новгородцева, А. М. Ремизова, А. М. Рыкачева, Ѳ. Сологуба, кн. Е. Н. Трубецкого, кн. Гр. Н. Трубецкого, Д. В. Философова, С. Л. Франка, Л. Н. Яснопольскаго.

Въ 1911 году по отдѣлу беллетристики въ „Русской Мысли“ между прочимъ будутъ помѣщены слѣдующія произведенія: **Д. С. Мережковскій:** отдѣльныя главы изъ новаго историческаго романа „Александръ I и декабристы“. **З. Н. Гиппіусъ:** „Чортова кукла“, романъ изъ современной жизни. **А. И. Эртель:** „Урожденная Тибякина“. Посмертное произведеніе. **Валерій Брюсовъ:** „Алтарь побѣды“, повѣсть изъ четвертаго вѣка по Р. Х. **Борисъ Садовской:** „Двуглавый орелъ“, историческая повѣсть конца XVIII вѣка. **О. Миртовъ:** „Яблони цвѣтутъ“, романъ изъ современной жизни. **А. М. Ремизовъ:** „Галстукъ“, разсказъ. **Н. А. Крашенинниковъ:** „Барышни“. Романъ.

Въ отдѣлѣ статей будутъ между прочимъ напечатаны:

Литература и искусство.

Валерій Брюсовъ: „Великій риторъ“ жизнь и дѣятельность Авсонія, культурно-историческій очеркъ съ переводами стиховъ Авсонія. **Валерій Брюсовъ:** рядъ статей изъ литературной жизни Франціи. **Андрей Бѣлый:** „Природа у Пушкина, Баратынскаго, Тютчева“. Параллели. **М. Волошинъ:** „Нѣжность и жестокость въ творчествѣ Сологуба“. **М. Гершензонъ**—рядъ статей по характеристикѣ русскихъ писателей. **Л. Я. Гуревичъ**—рядъ статей подъ общимъ заглавіемъ „Замѣтки о литературѣ“. **Д. В. Философовъ:** „Борьба за стиль“. **К. Чуковскій:** „Шевченко“.

Философія, исторія, общественныя науки, публицистика.

Н. А. Бердяевъ: „Теософія Штейнера и христіанство“. **В. Я. Богучарскій:** „Изъ исторіи политической борьбы въ 80-хъ годахъ“. **С. Н. Бул-**

гаковъ „Христіанство и миѳологія“. **А. С. Изгоевъ**—замѣтки по общественной психологіи подъ общимъ заглавіемъ „На перевалѣ“. **А. А. Кауфманъ**: „Современное народничество и аграрная эволюція“. **А. А. Кизеветтеръ**: „Русскіе историческіе драматурги“. „Александръ I и Аракчеевъ въ ихъ взаимоотношеніяхъ“. **Б. А. Кистяковскій**: „М. П. Драгомановъ по его письмамъ“. **А. А. Корниловъ**: „Семейство Бакунинныхъ“. **С. А. Котляревскій**: „Россія и Германія“. Баронъ, **Б. Э. Нольде**: „Босфоръ и Дарданеллы“. **А. М. Рыкачевъ**: „О границахъ партійности“. **П. Б. Струве**—замѣтки подъ общимъ заглавіемъ „На разныя темы“. **Кн. Е. Н. Трубецкой**: „Крушеніе теократіи въ творчествѣ Влад. Соловьева“. **Кн. Е. Н. Трубецкой**: „Владиміръ Соловьевъ по личнымъ воспоминаніямъ“. **С. Л. Франкъ**: „Идея природы у Гете“.

Будетъ данъ рядъ статей по различнымъ отраслямъ естествознанія. Ближайшее участіе въ этомъ отдѣлѣ принимаетъ профессоръ-акад. **В. И. Вернадскій**.

Будетъ помѣщенъ рядъ статей разныхъ авторовъ подъ общимъ заглавіемъ: „Письма о національностяхъ и областяхъ“.

О еврействѣ (**В. Жаботинскій**), о Кавказѣ (**З. Д. Аваловъ**), о Прибалтійскомъ краѣ (**В. Н. Троицкій**), о Сибири (членъ Госуд. Думы **Н. В. Некрасовъ**), о Польшѣ, объ Украйнѣ.

Письма изъ-за границы:

Германія (**Г. Н. Штильманъ**), Австрія (**А. Глѣбовъ**), Франція (**А. Щепетевъ**), Англія (**С. Рапопортъ**), Америка (**П. А. Тверской**), Италія (**П. Рыссъ**).

Матеріалы по исторіи русской литературы и культуры.

Въ редактированіи этого отдѣла примутъ участіе **В. Я. Брюсовъ, М. О. Гершензонъ и А. А. Кизеветтеръ.**

Съ ноября 1910 г. введенъ новый отдѣлъ:

Въ Россіи и за границей. Обзоры и замѣтки.

Въ этомъ отдѣлѣ намѣчены слѣдующія рубрики: 1) Политическая жизнь Россіи (**А. С. Изгоевъ, А. А. Кизеветтеръ, В. Д. Набоковъ, П. Б. Струве**). 2) Самоуправленіе въ Россіи 3) Экономическая жизнь Россіи (**В. Ф. Гефдингъ**). 4) Соціализмъ и соціалистическое движеніе (**А. М. Рыкачевъ**). 5) Международныя отношенія (**кн. Гр. Н. Трубецкой, С. А. Котляревскій Л. И. Гальберштадтъ, П. Б. Струве**). 6) Русская литература (**Антонъ Крайній и Валерій Брюсовъ**). 7) Французская литература (**Рэнэ Гиль и Валерій Брюсовъ**). 8) Нѣмецкая литература (**А. С. Эліасбергъ**). 9) Польская литература (**Е. Загорскій**). 10) Искусство, театръ и музыка (**А. Н. Бенуа, М. Волошинъ, А. А. Кизеветтеръ, Н. Р. Кочетовъ, Г. Н. Тимофеевъ**). 11) Религія и церковь (**С. Н. Булгаковъ, Д. В. Философовъ, Г. Вильямсъ**) и др. 12) Военное и морское дѣло (**А. А. Свѣчинъ, Н. Л. Кржижановскій и др.**). 13) Наука и техника (**В. И. Вернадскій, М. А. Мензбиръ, М. Л. Франкъ и др.**).

Библіографическій отдѣлъ „Русской Мысли“ въ 1911 г. будетъ **расширенъ** въ **критическое обозрѣніе** по всѣмъ отдѣламъ знанія и будетъ включать въ себѣ не только рецензіи на всѣ выдающіяся книги, но и систематическіе обзоры литературы цѣлыхъ областей.

Къ этому отдѣлу присоединяется въ каждой книгѣ систематическій перечень выходящихъ на рускомъ языкѣ книгъ.

ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

Русская Мысль.

Г. БЕРГСОНЪ. 1) **Время и свобода воли.** Перев. *С. І. Гессена.* 2) **Введеніе въ метафизику.** Перев. *М. Грюнвальдъ.* Со вступительной статьей *С. І. Гессена* о Бергсонѣ. Ц. 1 р. 50 к.

В. ДЖЕМСЪ. Многообразіе религіознаго опыта. Перев. *В. Г. Малахіевой-Мировичъ* и *М. Б. Шикъ.* Подъ ред. *С. В. Лурье.* Ц. 2 р. 50 к.

А. С. ИЗГОЕВЪ. Русское общество и революція. Ц. 1 р.

А. А. КОРНИЛОВЪ. Общественное движеніе при Александрѣ II. Ц. 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 50 к.

А. А. КИЗЕВЕТТЕРЪ. Мѣстное самоуправленіе въ Россіи Ц. 50 к.

Готовится къ печати: **ФРИДРИХЪ ШЛЕЙЕРМАХЕРЪ** 1. **Рѣчи о религіи.** 2. **Монологи** (въ одномъ томѣ). Переводъ съ нѣмецкаго **С. Л. Франка** со вступительной статьей переводчика.

Только что вышла въ свѣтъ новая книга:

ЛЮДВИГЪ БЕРНГАРДЪ,

профессоръ государственныхъ наукъ въ Берлинскомъ университетѣ.

БОРЬБА ПОЛЯКОВЪ ЗА СУЩЕСТВОВАНІЕ ВЪ ПРУССІИ.

(Die Polenfrage.
Das polnische Gemeinwesen im preussischen Staat).

Съ разрѣшенія автора перевелъ со 2-го нѣмецкаго изданія *А. С. Изгоевъ.*

Съ предислов. **П. Б. Струве** и вступительной статьей **А. С. Изгоева.**

Изданіе В. П. Рябушинскаго.

Цѣна 2 руб. 50 коп.

ГОТОВИТСЯ КЪ ПЕЧАТИ И СКОРО ВЫЙДЕТЪ ВЪ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА:

В. К. ДМИТРІЕВЪ.

Критическія изслѣдованія о потребленіи алкоголя въ Россіи.

Выпускъ I изданія: **Изслѣдованія и работы по политической экономіи и общественнымъ знаніямъ, издаваемыя подъ редакціей П. Б. СТРУВЕ. Изданіе В. П. РЯБУШИНСКАГО.**

Куно Фишеръ

Исторія новой философіи,

8 томовъ.

Т. I. **Декартъ**, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣм. подъ ред. Н. Полилова. Стр. 459. Ц. 2 р. 50 к.

Т. II. **Спиноза**, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣм. С. Л. Франка. Стр. 583. Ц. 3 р. 50 к.

Т. III. **Лейбницъ**, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣм. Н. Полилова. Стр. 735. Ц. 4 р.

Т. IV. **Иммануилъ Кантъ** и его ученіе. Ч. 1-ая Пер. съ нѣм. Н. Полилова, Н. Лосскаго и Д. Жуковскаго. Изд. 2-ое. Стр. 632. Ц. 4 р.

Т. V. **Иммануилъ Кантъ** и его ученіе. Ч. 2-ая. Пер. съ нѣм. О. Аносовой и Д. Жуковскаго. Стр. 656. Ц. 3 р. 50 к. (Изд. т-ва Знаніе, Невскій 92).

Т. VI. **Фихте**, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣм. П. Струве, Н. Полилова, Д. Жуковскаго. Стр. 733. Ц. 4 р. 50 к.

Т. VII. **Шеллингъ**, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣм. Н. Лосскаго. Стр. 893. Ц. 5 р.

Т. VIII. **Гегель**, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣм. Н. Лосскаго.

Полут. 1-ый. Стр. 760. Ц. 3 р. 50 к.

Полут. 2-ой. Стр. 463. Ц. 2 р. 50 к.

Цѣна за всѣ восемь томовъ въ переплетѣ 40 р

Складъ изданій: **т-во „Общественная Польза“, СПБ Невскій 40, кв. 43.**

ИЗДАНІЯ Д. Е. ЖУКОВСКАГО.

С. Л. Франкъ. Философія и жизнь. Сборникъ статей. Ст. 389. Ц. 2 р.

Проф. Винденбальдъ. Прелюдіи. Философскія статьи и рѣчи. Перев. съ нѣм. С. Л. Франка. Стр. 374. Цѣна 1 р. 60 к.

Риккертъ. Философія исторіи, Пер. С. Гессена. Стр. 154. Ц, 75 к.

Шульце-Геверницъ. Марксъ или Кантъ? Пер. съ нѣм. Стр. 87. Ц. 50 к.

Фихте. 1) **Назначеніе человѣка.** Пер. подъ ред. Н. Лосскаго. Стр. 133. Ц. 50 к.

2) **Основныя черты современной эпохи.** Пер. подъ ред. Н. Лосскаго. Стр. 232. Ц. 75 к.

Шеллингъ. Философскія изслѣдованія о сущности человѣческой свободы. Бруно или о божественномъ и естественномъ началѣ вещей. Пер. съ нѣм. Л. М. Стр. 164. Ц. 1 р.

Жанъ-Жакъ Руссо. Объ общественномъ договорѣ. Пер. съ франц. Л. Неманова. Съ примѣчаніями и библіографіей. Стр. 247. Ц. 75 к., въ пер. 1 р.

Ницше. По ту сторону добра и зла. Пер. съ нѣм. Н. Полилова. Стр. 386. Ц. 1 р. 60 к.

Леклеръ. Къ монистической гносеологіи. Пер. съ нѣм. А. Ремизова. Стр. 60. Цѣна 50 к.

Волжскій. Изъ міра литературныхъ исканій. Сборникъ статей. Стр. 402. Ц. 1 р.

С. Булгаковъ. Карлъ Марксъ какъ религіозный типъ. Стр. 55. Ц. 25 к.

Теодоръ Гомперцъ. Греческіе мыслители. Т. 1. Стр. 485. Ц. 2. р. 75 к.

ПЕЧАТАЕТСЯ: Бергсонъ. Матерія и память.